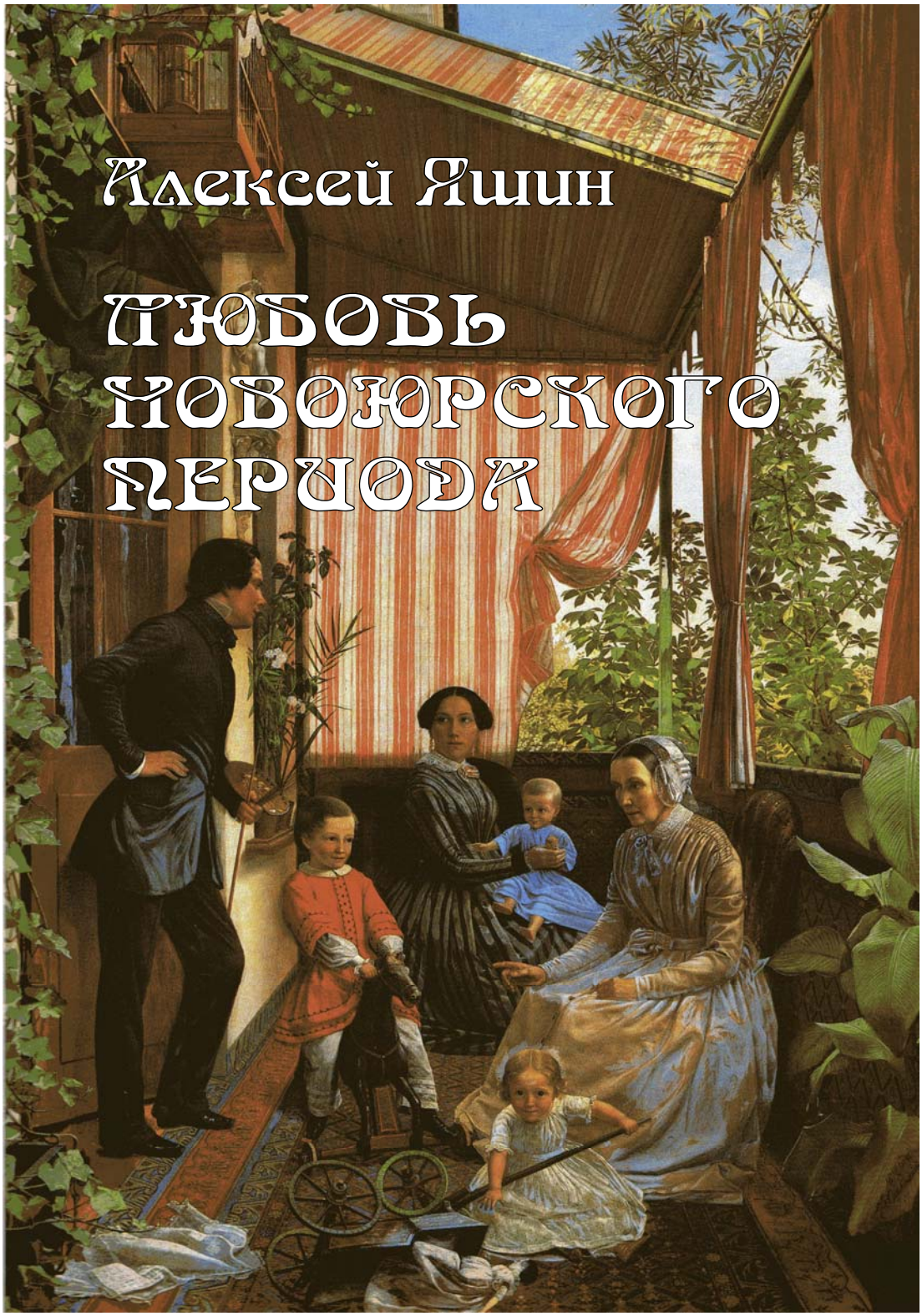
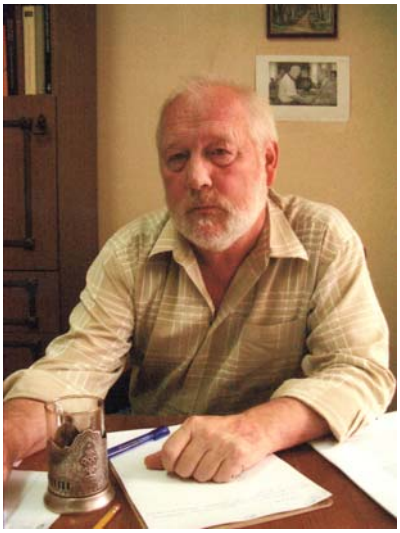


Алексей Яшин

Любовь новоюрского периода



Алексей Афанасьевич Яшин *родом из Заполярья (Мурманская обл.), с 1966 года живет в Туле. Образование получил в Тульском политехническом институте по радиотехнике, в Ленинградском госуниверситете по математике, в Литературном институте им. А. М. Горького СП СССР (семинар прозы Б. М. Зубавина). Член Союза писателей России (СССР) с 1988 года. Автор 16 книг художественной прозы (романы, повести, рассказы, эссе), публицистики и литературоведения и более 200 публикаций в периодике Тулы, Москвы, Воронежа и других городов. Главный редактор межрегионального литературно-художественного и публицистического журнала «Приокские зори», член редколлегий газет «Тульский литератор» и «Тульская правда», составитель и член редсоветов ряда литературных сборников. Член творческого клуба «Московский Парнас», член редсовета альманаха «Московский Парнас». Лауреат литературных премий им. Л. Н. Толстого (2005 г.), им. Валентина Пикуля с вручением Золотой медали (2007 г.), им. Александра Фадеева с вручением Золотой медали (2008 г.), лауреат Литературного агентства «Московский Парнас» (2005 г.). Награжден памятными медалями: «100 лет со дня рождения М. А. Шолохова», «100 лет со дня рождения Мусы Джалиля».*

Работает зам. директора Государственного НИИ новых медицинских технологий и профессором (зам. зав. кафедрой) Медицинского института Тульского госуниверситета. Заслуженный деятель науки РФ, доктор технических наук, доктор биологических наук, имеет два ученых звания профессора. Почетный радист России, лауреат премий Тульского комсомола (1977 г.) и им. Н. И. Пирогова (2008 г.), академик ряда российских, иностранных и международных академий. Почетный член Международного биографического центра (Англия, Кембридж). Удостоен ряда почетных наград, в том числе медалей им. А. Нобеля, Н. И. Вавилова, С. П. Боткина и И. М. Сеченова.

Автобиография А. А. Яшина опубликована в 10 энциклопедиях и биографических словарях (Москва, Тула, США, Англия); см. также: Л. В. Ханбеков «Тульский энциклопедист: Штрихи к творческому портрету Алексея Яшина» (М.: «Московский Парнас», 2008).

ПЕТРОВСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК И ИСКУССТВ
НЕЗАВИСИМОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ АГЕНТСТВО
«МОСКОВСКИЙ ПАРНАС»
БИБЛИОТЕКА ЖУРНАЛА «ПРИОКСКИЕ ЗОРИ»

АЛЕКСЕЙ ЯШИН

ЛЮБОВЬ НОВОЮРСКОГО ПЕРИОДА

Философский роман

МОСКВА
«МОСКОВСКИЙ ПАРНАС»
2009

ББК 84 Р7 (Рос.—Рус.)
УДК 882
Я 96

Яшин А. А. Любовь новоюрского периода: Философский роман в 3-х частях с эпилогом / Предисловие Л. В. Ханбекова: Петровская академия наук и искусств. Независимое литературное агентство «Московский Парнас».— Москва: «Московский Парнас», 2009.— 712 с., илл. (Библиотека журнала «Приокские зори»).

ISBN 978-5-73300-555-3

Новая, шестнадцатая по счету, книга известного русского писателя-прозаика, главного редактора межрегионального литературно-художественного и публицистического журнала «Приокские зори», лауреата многих литературных премий Алексея Яшина продолжает общую тему ранее изданных романов «В канцелярии» (Тула, 1991), «В конце века» (Тула, 2001), «Историк и его История» (Тула, 2004), «Подводная лодка «Капитан Старосельцев» (Москва, 2006): судьба нашего современника, неравнодушного к самым причудливым, героическим и страшным изгибам истории Родины, при этом не теряющего оптимизма. И еще: не хлебом единым живут герои книг Алексея Яшина, этого романа тож. Предисловие к роману написано известным литературным критиком Леонидом Ханбековым.

В книге использованы иллюстрации из староизданных (конец XIX — начало XX вв.) книг русской классики. Подписи к иллюстрациям, фактически миниочерки, «параллельные» тексту книги, написаны Алексеем Яшиным.

На обложке репродукция картины Федора Михайловича Славянского (1817 или 1819 — 1876; прошел путь от крепостного до академика живописи) «Семейная картина (на балконе)»; 1851, холст, масло, 102,5 × 68,5 см. Из собрания Государственного русского музея.

© Яшин Алексей Афанасьевич, 2009
© Яшин Алексей Афанасьевич, художественное оформление, 2009
© Яшин Алексей Афанасьевич, подписи к иллюстрациям, 2009

К ЧИТАТЕЛЮ

В определенном смысле настоящая книга продолжает общую тему ранее изданных Алексеем Яшиным романов: «В канцелярии», «В конце века», «Историк и его История», «Подводная лодка «Капитан Старосельцев». А тема эта куда как актуальна именно сейчас — судьба нашего современника, в высшей степени неравнодушного к самым причудливым, одновременно героическим и страшным изгибам истории Родины — СССР, России...

Творчество Алексея Яшина мы достаточно подробно исследовали ранее. Настоящий роман — шестнадцатая книга писателя, и каждая из них имеет свое «лицо». Но так же хорошо известно, что каждый писатель всю жизнь пишет одну, главную для него книгу, которая «дробится» на романы, повести, рассказы, а в случае с Алексеем Яшиным — и на эссе, литературоведение, критику и публицистику. Причем это не пресловутая всеядность, но стремление автора всеми удающимися ему жанрами выразить свое писательское кредо, традиционное для русской и советской литературы в лучших ее образцах: всеединство жизни в ее отображении через хара́ктерные персоналии, являются ли они движителями истории или не являются. Но при этом каждый персонаж — не дежурный статист, а типичный и во многом обобщающий представитель своего класса, своей группы, своей профессии, наконец.*

Второе непременное условие романа — погружение героя в обстановку и обстоятельства, не ординарные для устоявшегося движения жизни. Увы, для России XX и XXI веков таких

---

* Ханбеков Л. В. Тульский энциклопедист: Штрихи к творческому портрету Алексея Яшина.— М.: «Московский Парнас», 2008.

«устоявшихся» периодов практически не было. Разве что тридцатые годы трудного, но уверенно-оптимистического созидания? Первая передышка после бурной четверти века революций и войн. А также «золотые» шестидесятые-семидесятые годы.

Увы, те и другие оказались, действительно, передышкой перед самыми суровыми испытаниями. Особенно последние из названных. И герои романов Алексея Яшина живут во времена второго такого испытания, что длится и поныне. И конца которому пока не видно, а скорее всего лучше бы его и не видеть, не ведать...

И еще один момент, характерный для героев писателя: почти все они люди не просто мыслящие, но и размышляющие, умеющие в силу данных природой, воспитанием и образованием задатков не только анализировать происходящее, но делать из этого анализа выводы, синтезировать образы движущегося мира вещей и отношений, что делает их жизненную позицию активной и, как сейчас принято говорить, конструктивной.

Разве это типично? — спросит современный читатель, каждодневно наблюдающий округ себя мелкотемье мыслей и мельтешение людей-роботов с их постоянной заботой: у кого о хлебе насущном, а у иного и о включении своего Ф.И.О. в списки журнала «Форбс». Типично,— ответим мы непредвзято. Слишком высокий интеллектуальный «потолок» был установлен в стране к началу 80-х годов, и именно ориентированные на него люди сейчас и в предшествующие два десятка лет составляют активную часть современного русского, российского общества. Этот фенотипический, а сейчас уже и генетический потенциал, как не устает через размышления героев повторять автор, не может быть просто отброшен за ненадобностью, трансформироваться, распылиться в торговле бананами или самой Родиной. Нет и нет. Суммарный интеллект культуры, науки, морали и нравственности, наконец, как утверждали и утверждают блестящие русские философы-космисты, есть величина неделимая для народа, социума, всей планеты Земли.

Вот здесь-то и коренится авторский замысел не только на-

стоящего романа, но и предыдущих, названных выше. А он в сущности таков: не взирая на сложности, трудности жизни, не столько биологической (что называется на физическое выживание), сколько нравственной, этической, сумма интеллекта (как «сумма технологий» у Станислава Лема...) каждого народа, этноса, социума в той или иной степени должна сохраняться и передаваться, как не дóлжно в природе иссякать роднику или ручейку, питающему полноводную реку. Пусть временно родник истончается, а ручеек замедляется, растекается по разросшимся травам — все равно они в своей совокупности будут питать ту же тульскую речку Упу, которая около городка Чекалина, бывшего Лихвина, впадает в самую русскую реку Оку, та — в Волгу, питающую известное море: «Кто сказал, что Волга впадает в Каспийское море?..» Действительно, сердце и душу каждого человека питает не сугубый индивидуализм, бездумное накопительство, бездуховное времяпрепровождение, но сумма всего человечного, накопленного и рачительно сбереженного для нас нашими рачительными пращурами.

И горе тому, кто пробует в очередной раз пресечь эти родники и ручейки в сердце и душе русского — даже не по национальности, а по духу и исторической памяти — человека, и тихая, негромкая слава сберегающего их в тяжелую, порой непереносимую годину. Из таких сберегателей духа и герои романов Алексея Яшина — от изобретателя Старосельцева до «героев нашего романа» актрисы Леры и профессора Геннадия Красилина, книгу о которых ты, читатель, сейчас держишь в руках.

Обратим внимание читателя на определенную символику присущих Алексею Яшину подзаголовков к названиям его романов (смотрите об этом также в «Тульском энциклопедисте»). Это даже не просто символика, но определенный ключ-шифр к произведению. Действительно, почему «Историк и его История» именуется авантюрным романом? Сборник разножанровых произведений «В час волка» — литературным эссе? Понятнее, правда, подзаголовок «патриотический роман» к «Подводной лодке «Капитан Старосельцев». Но все же?

Вот и этот роман с созвучным переживаемому ныне време-

ни — «новоюрский период» — названием имеет уточнение: философский роман. Это вроде как у французских просветителей XVIII века: Дидро, Вольтера, Руссо. А здесь-то какая-такая философия?

Философия жизни — ответит вам автор.

Педантичные немецкие философы XIX века, «сумрачные гении» дифференцировали эту научную дисциплину, создав философии логики, истории, религии, эстетики, права... А вот активный участник нашего Творческого клуба «Московский Парнас» Александр Ореховский из Новосибирска профессионально разрабатывает основы новой дисциплины — «философии ответственности»...

Несомненно, и философия жизни, пусть в другой терминологии, явится объектом многих исследований. Надеемся, что и настоящая книга является полезной художественной иллюстрацией к таковой философии.

...И это нам представляется, что все мы сейчас плывем по водам жизни «без руля и без ветрил», как назвал автор свою предыдущую книгу. Это всего лишь период, хотя и тягостный, в жизни нашей страны, нашего народа. И как герои повествования, все мы должны по мере сил не дать иссохнуть родникам и ручейкам великой русской литературы.

И еще несколько пояснений для читателя, взявшего в руки настоящую книгу.

Есть в арсенале литературы, мировой и русской, такой известный прием, как стилизация. Здесь блестящий пример — «Огненный ангел» Валерия Брюсова. Или «Александрийские песни» Михаила Кузмина. И так далее, перечисление можно продолжить. Так и Алексей Яшин вроде как нарочито, но с подтекстом «секрета полишинеля» сохраняет в романе антураж «философского»: отсюда и эпиграфы к частям и главам из «Одиссеи», «Илиады» и философской же поэмы Лукреция «О природе вещей», и латинские тексты «Записок о галльской войне» Кая Юлия Цезаря, и многое другое. Но все это, при ближайшем рассмотрении, несет четко очерченную художественную нагрузку в контексте развертывания сюжета.

Мыслящий читатель сразу смекнет: а ведь все это некий специфический... юмор, характерный и для всех других яшинских книг, который в силу его характера позволяет излагать вполне и даже очень серьезные вещи, не выходя за рамки литературного, художественного. Это юмор «Тристрама Шенди» Лоренса Стерна, это стилизованный юмор. И здесь дело может и не столько в стилизации под англо-шотландских классиков давних времен, но и в генетической памяти Алексея Яшина — потомка тех шотландских кланов, что, спасаясь от нескончаемых религиозных войн, при царе Алексее Михайловиче переселились на русский Север. Вот эти-то новые насельники России и дали русской литературе Лермо́нтов и Бальмо́нтов, многих других. Замечательный советский, русский поэт Александр Яшин тоже был из их числа.

Другой момент. Как мне представляется, настоящий роман — первый для автора, где на роль главного героя уверенно выдвигается женщина, театральная актриса. И не случайно автор «подыгрывает» ей, выстраивая главы и даже части романа как сценические действия и мизансцены в соответствии с каноническими правилами драматургии. И из подтекста не менее явно следует: в наше сумбурное время спасение души, традиционного мировоззрения, самой «русскости» нашего народа во многом, если не в основном зависит от той русской женщины, чей образ, словно памятник на века, вычеканил Н. А. Некрасов в своих знаменитых стихах.

Удался ли автору этот образ, созвучен ли он времени, дает ли надежду? Об этом судить читателю.

...И заключительный аккорд. А именно о той нагрузке, которую несет почти сотня иллюстраций, весь смысл привлечения которых — подписи-эссе к ним. Мы уже писали в «Тульском энциклопедисте» об этом изобретении Алексея Яшина, успешно опробованном в предыдущих книгах. Это именно его нововведение в литературе. Ничего доселе похожего не было. Автор продолжает совершенствовать свое нововведение: в романе уже и сами иллюстрации-эссе, они же миниочерки, фельетоны и пр., сюжетно связаны как с основным содержанием романа, так и друг с

другом в своей последовательной соподчиненности. Уже и герои «второго ряда» романа суть персонажи этих иллюстраций: философский доцент Енукидзе, узбекский дворник-гастарбайтер Кизилов, провинциальные литераторы-сочинители Омшанников и Сухариков... Как представляется, в такой форме автор решает некую «сверхзадачу» — освобождает основную сюжетную линию романа, чисто художественную, от описательной, публицистической, нравоучительной, наконец, передав эти функции «роману в романе». Весьма эффектно и оригинально.

...Словами «земное — грешное — святое» завершает Алексей Яшин свой роман, правда, оставив еще место эпилогу. И если читатель согласится, прочитав книгу, с этой самой формулой, то, значит, новое произведение нашего автора состоялось.

Леонид Ханбеков,
вице-президент Академии российской литературы

Накануне уикенда, когда уже пошабашили и наработанное за день инкассатору сдали, зашел в лавку хозяин Матвей Силыч, присел, не раздеваясь, повел неторопкую беседу с приказчиками-менеджерами:

— Вот в газетах пишут, по радио и телевизору все о пользе малого бизнеса говорят, дескать, только он и подымет Россию на недосягаемую высоту. А вы, полупочтенные, как мыслите?

— Да-а, Матвей Силыч, так-то оно так, да вот в Америке и передовой Европе этот самый малый всего лишь пять-семь про́центов ВВП дает, ведь им самим авианосцев и марсолетов не осилить. А в какой-нибудь Мали или Таиланде, где все торгуют, действительно, до 90 % помалу бизнесменствуют. Что ж нам на них равняться?

— Ты, Недошлепкин, особо-то не умничай, даром что на родительские деньги частный университет, что за углом, окончил. Мы тоже не лыком шиты; я вот в советское время аспирантуру по философии прошел и диссертацию защитил. Так вот, есть такая философия стоицизма, еще в Древнем Риме созданная на основе учения Платона и ионийской школы. И согласно этому учению путь к личному самоусовершенствованию пролегает через стойкое, терпеливое отношение к самым нелепым обстоятельствам окружающего мира. Будем терпеть и мы. А как выйдет рескрипт авианосцы строить, так бросим эту

чертову лавку, засучим рукава... Эх, давай, ребята, выпьем!

Беседуют мирно два профессора философии, представляющие различные ее течения: один приверженец старорежимного марксизма-ленинизма, другой в русле быстротекущего времени истово исповедует пофигистский неопозитивизм.

— Что ж, батенька, вы это всерьез считаете социализм и коммунизм ложным ходом заблудившейся истории, а Марксово учение, то есть де-факто олитературенную диалектику Гегеля Георга-Вильгельма-Фридриха, о последовательности существования общественно-экономических формаций и их априорной смене друг друга масонскими происками?

— Дорогой Пал Палыч! Я очень уважаю и Маркса, и Гегеля тем паче. Про масонов я говорил, но совершенно в другом контексте. И диалектику глупо отвергать, даже в каком-то смысле и спираль развития верна. И вы не поленитесь основоположников неопозитивизма полистать, освежить в вашей уважаемой памяти. Ведь суть-то этого учения, ныне ведущего в цивилизованном мире, гениально проста: исповедуй на здоровье, коль голову более занять нечем, коммунизм, маоизм, сионизм, конфуцианство, агностицизм... но все это на фиг забывай, когда подходишь в табельный день к университетской кассе. А студиозусам, чтобы себе голову не напрягать, на лекциях рассказывай анекдоты из жизни великих и не очень мыслителей прошлого. Только без мата, конечно.

Всякий раз, когда творческая сила доминирует, человеческая жизнь направляется и формируется подсознательным против активной воли, и сознательное «Я» уносится подземным потоком, будучи не чем иным, как беспомощным наблюдателем событий. Произведение в итоге становится судьбой поэта и определяет его психическое развитие. Не Гёте создал Фауста, но Фауст создал Гёте... Здесь есть что-то, что живет в душе каждого немца и чему Гёте помог родиться.

Карл Густав Юнг

ПРЕДИСЛОВИЕ ОТ КЛАССИКОВ

Аполлон и Дионис — два взаимодополняющих персонажа величественной олимпийской мифологии. Аполлодор, самый краткий и конкретный, говоря современным русским новоязом, бытописатель Олимпа, так пишет об Аполлоне и Дионисе. Аполлон убил Марсия, сына Олимпа, причем убил по договору, победив его в мусическом искусстве, то есть игре на кифаре. Далее с Аполлоном на берегу реки Алфеи встретился Мелампод; под впечатлением разговора с Аполлоном последний стал лучшим прорицателем Эллады.

Также Аполлон наслал на Трою чуму, когда ему не заплатили: испытывая известное по слухам нечестие в делах Лаомедонта, он уподобился человеку и нанялся каменщиком на строительстве стен города-крепости.

А вот характеристика Диониса: он поверг в безумие аргосских женщин; правда, их потом исцелил все тот же Мелампод. Дионис нашел виноградную лозу — хитрый и коварный подарок Геры, которая посредством «продукта» этой лозы вселила в него безумие. Но и Дионис излечился от него с помощью добродетельной Реи. Поняв силу виноградной лозы, Дионис сам стал специалистом по вселению безумия. За ним всегда следовала веселая толпа сатиров.

Что-нибудь вам понятно? Пожалуй, ничего. Заинтересовать мо-

жет только поступок Реи, излечившей в общем-то малосимпатичного Диониса. Добродетельна ли при этом была Рея? По внешнему факту — несомненно. А вот если глубже копнуть... она поступила как подавляющее большинство женщин, то есть не удержалась от обычного женского стремления исправить поведение небезразличного ей мужчины. А что значит исправить? — Это значит переделать, перевоспитать его, то есть сделать противоположным самому себе. Это всеобщее качество женщин проистекает из отсутствия у них логического мышления и высочайшего самомнения.

Если Диониса боги-коллеги решили сделать главным пьяницей на Олимпе (как он обязательно имеется в любом нашем учреждении), то не женское дело перечить общему решению небожителей... В этом ошибка Реи, подруги Диониса.

Итак, Аполлодор со своей конкретикой явно не дает нам объяснения этих двух феноменов Олимпа. Но тогда почему со времен Возрождения (возрождения античной культуры в Европе) и особенно в «философские» XVIII и XX века образы Аполлона и Диониса стали, во-первых, неразрывно связанными друг с другом; во-вторых, стали символами человечества в эпоху высшего развития индивидуального разума (который с конца первой трети XX века явно пошел на убыль)?

Проще, конечно, каждому самому разобраться в этих вопросах, благо в отечественной умной литературе поводырей предостаточно: Мережковский, Вересаев, замечательные русские философы-космисты... Это которых Лев Давидович Троцкий выслал вон из новой России на «философском пароходе». Понятно почему: философия всеединства и антропокосмоцентризма явно противоречила постулатам талмудизма. А позже и особенно в новейшие времена «философский пароход» приписали уже полностью недееспособному Владимиру Ильичу.

...Но человек современный сугубо ленив. Не будет он ворошить пыльных и даже свежеизданных томов. Потому приходится растолковывать.

Кто такой Дионис? Понятно, что отец родной и духовный всем алкоголикам: клиническим и по характеру (обычно трезвому) поведения. А для таких людей характерно непререкаемое самомне-

ние. Как у Адольфа Алоисовича Шикльгрубера: «*Это поистине чудо нашего времени, что вы нашли меня. А то что я нашел вас, это счастье для Германии*».

А вот его единоплеменник Гёте в «Годах странствий Вильгельма Мейстера» дал емкое определение «генотипа» Аполлона: «*Благородное искусство поэзии вновь явило здесь свою врачующую силу. Тесно слитое с музыкой, оно до конца исцеляет все душевные страдания тем, что обостряет их, вызывая «из глубины и улетучивает в затихающей боли*».

Может ли человек одновременно совмещать в себе черты Аполлона и Диониса (их комплексы, говоря более конкретно)? — А мы утверждаем: они оба живут в душе каждого, порой даже на паритетных началах, либо во временно́м превалировании. Вспомните хорошо известный современный фильм «Ворошиловский стрелок». Кстати говоря, почему этот фильм продолжают столь часто показывать на ТВ? Ведь в рамках явно проводимой ныне «классовой толерантности», это когда библейские овечки и волки мирно улягутся на лужайке перед банками, офисами и нефтяными вышками, с успехом можно такое кино подвести под статью конституции, где говорится о прямом запрещении пропаганды социальной нетерпимости...

То есть соотношение аполлоновского и дионисиевского в человеке строгой логике не поддается, равно как и пресловутым житейским обстоятельствам. Это как в сфере религии. Опасаясь все же утомить читателя цитатами, приведем на этот счет мнение Достоевского из «Идиота»: «*Сущность религиозного чувства ни под какие рассуждения, ни под какие проступки и преступления и ни под какие атеизмы не подходят; тут что-то не то, и вечно будет не то; тут что-то такое, ибо что вечно будут скользить атеизмы и вечно будут не про то говорить. Но главное то, что всего яснее и скорее на русском сердце это заметишь, и вот мое заключение*».

Дионис и смех. Смех также часто маскирует глубокое и ненужно-выразимое горе, как и несерьезный тон письма — при обоюдном понимании и договоре пишущих и читающих — вовсе не свидетельствует о смехотворности содержимого. Отчего и откуда это произошло, что на очень грустные или очень серьезные раз-

мышления люди накладывают вроде бы бессмысленный юмор расхожих эстрадных словосочетаний? Как нам представляется — это изначальная «одежда» всех рассуждений скептиков. Когда «одежда» буквально надевается на героев-статистов философского романа, как у Томаса Карлейля в его «*Sartor Resartus*: Жизнь и мысли герр Тейфельсдрека».

Именно поэтому мы не приемлем «метод одежд», отдавая его Заштопанному портному (*Sartor Resartus*). Ближнее оружие скептика — отвергать метод и стиль всех предыдущих и ближних собратьев. Полная серьезность.

Аполлон и Дионис — страшная тема для современного романа. Но покойника ли вырываем и носим в раке истлевшие кости, крича в уши всем встречным: «Дионис! Дионис! Аполлон! Аполлон!» Но здесь другое: Аполлон и Дионис воскресли сто лет тому назад, успели прожить свою очередную жизнь и упокоиться. Но все дело в том, что они вкупе могут ежечасно воскреснуть в каждом из нас и натворить беды; и создать гения.

Где появляются «*проблемы Аполлона и Диониса*»? — прежде всего в нетерпении. Да и Томас Манн («Волшебная гора») отметил, что гражданин, как субъект государства, обязан быть спокойным, ибо от беспокойства, то есть нетерпения, один только вред.

Из тысячи умных людей, даже и просто обывателей, девятьсот девяносто девять (как в современном магазинном ценнике — слизано с Запада) определяет нетерпение как... стремление к пьянству. Действительно, более всех нетерпелив человек зело алкающий, пьющий по-русски сказано. А от нетерпения выпить рождается в душе горячечный, спущенный с цепи морали образ веселого и страшного одновременно Диониса. «*Кому какое дело, что та пьяная несчастная женщина в углу часто видит во сне, как ее преследует в роще толпа обнаженных лирических поэтов*» (Джон Чивер «Скандал в семействе Уопшотов»). Вот он — Дионис, порождение сна, тысячеглоточный пьяный лирический поэт...

Дионис сам-один; он пока что просто хулиган: его интересно до сладости видеть во сне, но страшно встретить на грязной темной улице, где, перепившись, блюют целые города и народы.

А вот что творит сам-один Аполлон. Тоже нечто жуткое: уби-

вает толпы обнаженных лирических поэтов. Это о нем пишет в «Эфирном тракте» Андрей Платонов: «*Девственность и женщин и мужчин стала социальной моралью, и литература того времени создала образцы нового человека, которому не знаком брак, но присуще высшее напряжение любви, утоляемое, однако, не сожительством, а либо научным творчеством, либо социальным зодчеством. Времена полового порока угасли в круге человечества, занятого устроением общества и природы*».

Истинно только в пьяном сне главное действующее лицо есть Дионис, а подлинный хозяин трезвого, добродетельного сна Аполлон. Только он в своей узкой, одинокой постельке разбойничает с разумом, перебирая всевозможные виды чисто логических построений... Как тут не вспомнить старину Монтеня с его «*Essay*», а именно то место, где он размышляет, глядя на самого себя со стороны: «*Ум мой порождает столько беспорядочно громоздящихся друг на друга, ничем не связанных химер и фантастических чудовищ, что, желая рассмотреть на досуге, насколько они причудливы и нелепы, я начал переносить их на бумагу, надеясь, что со временем, быть может, он сам себя устыдится*». Чего стыдится по утрам пробуждающийся разум, того не смущается природа. Он стыдится, но все аккуратно записывает. Так сны Аполлона пробуждают и питают творческий интеллект.

Кто лжет: Аполлон во сне, или он же, но творящий в угоду мамоне и дьяволу ретроспекцию построения сна? Но ведь сказано великим Леонардо в «*Codice sul volo deglinccelli*» («О полете птиц»): «*Если бы ложь для человеческого ума была даже пятою стихией, то и тогда истина все-таки оставалась бы наилучшей пищей для людей с тонким умом, а ложь — для людей с беспутным мышлением*». Ясно.

Два новонемецких мыслителя о том же: Карл Густав Юнг (см. выше) и Хайдеггер. Первый говорит о интроверсии Гёте и Фауста, а второй утверждает, что для своего произведения его создатель есть нечто индифферентное, но художник истончается, как шагреневая кожа Бальзака, уничтожая себя в процессе творчества.

Итак, Аполлон нашептывает во сне художнику, и тот становится оракулом Аполлоновых снов. Эти сны — бесконечно для-

щийся в истории человечества миф, который суть не отражение бытия, но стимул к действию. Роже Гароди, исходя из подобного тезиса, создал свой знаменитый «Марксизм XX века».

Когда человек открывает в себе способность понимать этот аполлоновский миф, он имеет все возможности стать художником. Это благо, это откровение и несет людям одинокий Аполлон.

Но разве можно так долго и тщательно, как бы препарируя, описывать достоинства одинокого Аполлона, в то время как толпы лирических поэтов все же в действительности не толпы, но толпишки. Дадим любопытную справку. В начале XX века в Скандинавии, особенно в малолюдной и нищей тогда Норвегии, один литератор приходился на двести сорок индивидуумов, не видящих снов Аполлона.

По официальной статистике в резолюциях VI Съезда Союза писателей СССР в стране — усреднено от Москвы и Ленинграда до замерзшего Заполярья и пустынь Средней Азии — на одного члена Союза, то есть профессионального писателя, приходилось более тридцати тысяч граждан, обычных, хотя и грамотных, членов общества развитого социализма. И поэтому аполлоновских профснов не видят ~ 99,998 % советских людей.

Гораздо более знаком, знаем гражданам, облик Диониса, хотя и не изысканного, но бога, имеющего отношение к литературным художествам.

Вот один из характерных литературных портретов Диониса: *«Он молод. Но мерзости в нем, как в тысячелетнем дьяволе. Жен он склоняет на разврат, юношей на порок, и трубят уже трубят боевые трубы грешных полчищ, и виден над полями лик сатаны, идущего за ним.*

— Троцкого?

— Да, это имя его, которое он принял. А настоящее его имя по-еврейски Ава́ддон, а по-гречески Аполлион, что значит губитель».[*]

...Только не пугайтесь: этот Дионис-Аполлион вовсе не тот, сноявляющийся Аполлон.

---

[*] М. Булгаков «Белая гвардия».

Типичная мыслишка «чистого» дионисийца: «*Да, однако же, если бы все сочинять стали, так кто бы стал переписывать?*»*

В Дионисовом царстве все предельно ясно, все грубо. В нем непритязательное общинное веселье, и люди, как смотрится со стороны, сливаются друг с другом не только в *coitus*, но и в духовном коллективизме. Но это только кажется. Посмотрите на современного «чистого» дионисийца, когда он веселится? Он не просто пляшет, развратничает, рыгает обожравшись... нет, он при этом не забывает о личной корысти, сребролюбии, постоянно чего-то добивается для себя: хоть мелочь, но прикарманить!

Наконец-то мы видим Диониса и Аполлона, объединившихся в одном человеке. Названные уже выше два немца (один из них австрияк) дали определение такому человеку, но разве они что-либо сказали о его судьбе? Разве их интересовала судьба конкретного Ганса Гансовича, либо Ивана Ивановича? «*Разве жизнь станет лучше, если вместо Николая II станет царствовать Петрункевич?*» (Л. Толстой).— Не так ли и они думали? Но глобальность — прерогатива благодушных философов, а как передрались Аполлон с Дионисом в душе этого Ганса Ивановича? — Они промолчали, не разглядев его.

Человек Аполлон и человек Дионис понятны. Они на поверхности несут свои мысли и чувства. Человек-загадка появляется лишь в аполлоно-дионисийском объединении. Давид Анахт: «*Мужчина и не мужчина, но все же мужчина, ударив камнем и не камнем, но все же камнем, убил птицу и не птицу, но все-таки птицу, сидевшую на дереве и не на дереве, но все-таки на дереве*» (*«Определение философии»*).— То есть евнух убил куском пемзы летучую мышь, сидевшую на шесте.

Ужас мира, когда маленький Аполлон ведет огромного Диониса. Таковы все великие завоеватели: Чингиз-хан, Тамерлан, Фридрих Великий, Наполеон, Гитлер. Это пагубное явление Диониса, объединенного с Аполлоном, но с преобладанием дионисийского.

И обратное к этому: возвеличивание Аполлона над Дионисом ведет к трагедии, но трагедии одного. Здесь классическая иллю-

* Ф. М. Достоевский «Бедные люди».

страция: «Мастер и Маргарита» Булгакова: «*Наутро он просыпается молчаливым, но совершенно спокойным и здоровым. Его исколотая память затихает, и до следующего полнолуния профессора не потревожит никто: ни безносый убийца Гестаса, ни жестокий пятый прокуратор Иудеи всадник Понтий Пилат*». Кстати говоря, меня всегда приводила в недоумение популярность таких вещей, как «Мастер и Маргарита» и «Москва — Петушки» Венедикта Ерофеева (моего земляка — из Мурманской области). Если отбросить эпатаж и (временный) запрет на публикацию, то что остается? Для чего они написаны? — Верно, для самих авторов. Вот это и есть пример слишком большого возвеличивания Аполлона над Дионисом.

«*Грубое притаптывание мужских каблуков и шарканье подошв напомнило ему, что он выше их всех по развитию*»*.— Это искус гордого Аполлона, гордящегося собой, даже в процессе самолюбования.

Гармония аполлоновского и дионисийского: «*Неверно считать сон свободной и дикой областью, где все, что запрещено днем, всегда может с лихвой взять свое. Того, что совершенно неведомо яви и начисто отрезано от нее, не знает и сон. Граница между этими двумя областями зыбка и проницаема; она неуверенно проходит через одно и то же пространство души, а что пространство это для совести и для гордости неделимо, доказало смущение, доказали стыд и тревога, охватившие Мут не только по пробуждении, но уже и во сне, когда ей ночью впервые приснился Иосиф*».**

Что есть по сути содержания Аполлон, Дионис и их союз? Болезнь разума, или это разум болезни? Так кто ответит? Понятно кто, Федор Михайлович ответил в «Идиоте»: «*Раздумывая об этом мгновении впоследствии, уже в здоровом состоянии, он часто говорил сам себе: что ведь все эти молнии и проблески высшего самоощущения и самосознания, а стало быть и «высшего бытия», не что иное, как болезнь, как нарушение нормального*

* * Джеймс Джойс «Мертвые».

** Томас Манн «Иосиф и его братья».

состояния, а если так, то это вовсе не высшее бытие, а, напротив, должно быть причислено к самому низшему. И, однако же, он все-таки дошел, наконец, до чрезвычайно парадоксального вывода: «Что же в том, что это болезнь? — решил он, наконец, — какое до того дело, что это напряжение ненормальное, если самый результат, если минута ощущения, принимаемая и рассматриваемая уже в здоровом состоянии, оказывается в высшей степени гармонией, красотой, дает неслыханное и негаданное дотоле чувство полноты, меры, примирения и восторженного молитвенного соития с самым высшим синтезом жизни?»

...Все же — как неаккуратно писал Достоевский? — Это в смысле грамматики, конечно. Кажется, Анна Григорьевна (или кто-то другой?) писала со слов своего мужа, дескать, хорошо было Льву Толстому в своей Ясной Поляне по десять раз переписывать «Войну и мир» или «Анну Каренину» — это на всем готовом-то. А мне надо расплачиваться по игорным долгам и на домашний обиход добывать деньги — взял аванс под повесть — и будь добр через три месяца ее выдать «на горá». Где тут отделывать, многократно переписывать?

...А ведь как прекрасно читаются эти многочисленные тома гения мировой литературы, написанные наспех и с единого приступа? Однако, вернемся к нашим античным делам.

Кто кого побеждает в итоге: Аполлон Диониса, или Дионис Аполлона? И где побеждает, когда и как побеждает? — Какое должно наблюдаться в едином человеке гармоничное сочетание аполлоновского и дионисийского? Есть ли это установление личной морали, общественно ли выработанной, исторически сформировавшейся? — Увы, мы в силах только вопросы задавать.

А как официальный, главный «надмировой» закон это все трактует? — «*Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства*». — Так начинается первая статья Всеобщей Декларации прав человека ООН (от 10 декабря 1948 года).

Конец жизни человека; после смерти все одинаковы и тленны: аполлоновцы и дионисийцы. Различен разве что переход в иное,

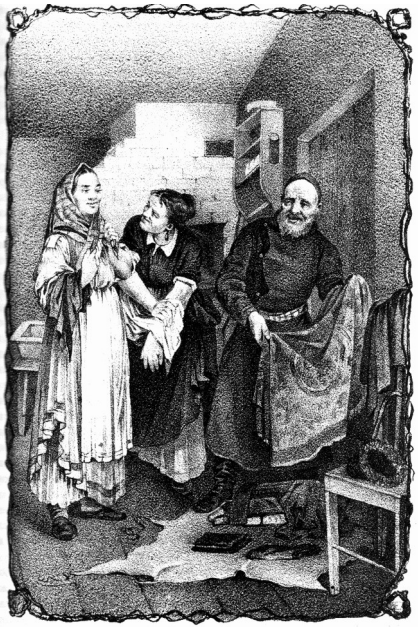
уравнивающее состояние.

Дионисийская смерть: «*Люди узкого кругозора, возможно, не без основания стыдятся уходить этим путем из мира, поскольку совесть может бросить им краску в лицо и сказать им, что они не заслужили такой чести; но глупцом будет тот, кто устыдится смерти на виселице, после того как не был в жизни слаб и не стыдился заслужить такую смерть*» (Генри Фильдинг «История жизни покойного Джонатана Уайльда Великого»).

Таким образом, дионисиец не имеет желания тлеть и в долголетнем тлении переходить постепенно из живого мира в царство теней. Дионисиец, как лихой гусар времен наполеоновских войн, умирает одинаково с желанием на гребне страсти к женщине или карточной игре и в свирепой баталии на поле битвы.

Аполлоновский человек гибнет вдали от скопища мирского: травится либо же иссыхает в келье мученика-раздумника.

Итак: расколотый арбуз и шагреневая кожа — содержание смерти дионисийца и аполлоновца.



Купец Хафизов, торгующий вразнос, зашел в дом к представителям среднего класса показать свежий товар из китайской мануфактуры. А среднеклассные дамы в это время горячо обсуждали накануне просмотренный по каналу «Культура» старый фильм Марлена Хуциева «Застава Ильича». Расхваливает Рэис Нигматуллович свой товар, а между делом с интересом прислушивается к дамским благоглупостям, благо когда-то давно, еще в прошлом веке и в другой стране получил филологическое образование в казанском университете.

— ...А я вот, Леночка Трофимовна, утверждаю: поэты-шестидесятники, самые из них — Женя, Робéрт, Андрюша, Риммочка, прямо-таки предвосхитили возрождение в России среднего класса. Ведь в их стихах тоска по светлому будущему, ожидание чего-то нового, свежего, оптимистичного, где не серый труд за станком или кульманом всю жизнь занимает, но высшее развитие человека как уникальной индивидуальности. Вот ты, Рэис, согласен со мной?

— Да-а, пожалуй. Вот взгляните, Елена Трофимовна и Нателла Епифановна, на скатерку: прямо из Шанхая товар!

— Фи, Рэис, какой-то ты прагматичный, все товар-деньги-товар. Прямо по Марксу-Энгельсу. Ты о душе больше думай, о гармонии человеческой. А скатерки точно такие же я сама в своей лавке продаю.

Запылал ясным огнем бутик Семирамидова в торговых рядах центрального рынка. Да так скоро огонь схватился, что явно без поджога с парой канистр бензина марки А-90 не обошлось. Сам хозяин отдыхал с любовницей-продавщицей в турецком Кемери. Еле успели приказчики — бутик торговал всякой компьютерной дрянью, поэтому продавцами были мужики — выбежать на улицу. Суетятся, бегают вокруг да около, ждут пожарную машину. И наспех обсуждают случившееся.

— Вот приедет Егор Сидорович и бошки нам поотрывает!

— Нам-то за что, пусть с «крышей» разбирается, что допустили...

— Да-а, третий раз за последний астрономический год горим. Все жадность Егора, скупится крышевикам платить, все на баб сверхприбыль спускает.

Потом поуспокоились, пожарку ждут, а Тимоха с погонялом Философ резюмею под пожар подвел:

— Скупой платит дважды, а горит трижды. И все потому, что малограмотный наш Егорка, не прочитал трактат Руссо об общественном договоре...

— Это с ментовкой что ли договор не перетер, или с братками?

— Бери выше! — С совестью договор не соблюл.

Перемигнулись приказчики, рассмеялись, достали из сюртуков бумажники-лопатники — скидываться на предоплату пожарным, чтобы помедленнее тушили...

Часть первая

«ОТ ПРОСВЕЩЕНИЯ ВЕСЬ ВРЕД»

Встала из мрака младая с перстами
пурпурными Эос;
Ложе покинул тогда и возлюбленный сын
Одиссеев;
Платье надев, изощренный свой меч на
плечо он повесил;
После, подошвы красивые к светлым ногам
привязавши,
Вышел из спальни, лицом лучезарному
богу подобный.

«Одиссея», песнь II, ст. 1—5

Глава первая.
ДИОНИС НЕПОНИМАЮЩИЙ

Подавить зевоту оказалось невозможным, но лекция подходила к концу.

Вот наш герой — Геннадий Красилин, Геннадий Борисович, вчерашний выпускник местного пединститута, а уже полгода как преподаватель обществоведения в окраинной школе. Вообще говоря, трудно в этом разбросанном на холмах городе отделить окраину от центра. Разве что по новопостроенным микрорайонам отмечают: вот это окраина. Впрочем и исторический центр тоже наполовину застроен этими микрорайонами, качеством чуть получше окраинных.

Сегодня же Геннадий на лекции по вопросам взаимоотношения двух нынешних противостоящих в мире идеологий. Посещение обязательно для учителей общественных дисциплин школ, техникумов и профтехучилищ, соответствующего профиля преподавателей обоих городских вузов и высшего военного училища. Также приглашались сотрудник гороно, облоно, городских райотделов и так далее по нисходящей до домов пионеров и клубных работников.

Начало в восемнадцать тридцать, место проведения: Дом политической пропаганды. Сегодня лектор был столичный, доцент МГУ. Как он пространно представился: автор пяти книг «почти академических издательств», участвовал в трех проблемных сборниках Института общественных отношений опять же Академии наук, член редколлегии идеологического журнала, регулярно публикуется в центральной периодике. Солидный, но отчасти молодящийся возраст, большой опыт лекторской работы, дикция, обаяние, хорошо владеет аудиторией. По секрету — отменный ораторский прием — сообщил заинтригованным слушателем: через полгода «выходит на защиту докторской...»

А вот Гена Красилин все зевает, ибо не спал прошедшую ночь. Двадцатипятилетние часто не спят весенние ночи, ибо — девушка, первая серьезная любовь. Днем же уроки с невнимательно слушающими школьниками. Теперь же сидеть в наполненном тремя сотнями людей зале, но думать о своем: приятном, сладком — лучший вид дремы.

Прострация: слова лектора втекают в уши, но разума вовсе не задевают. Одно желание: вернуться домой и поспать минуток шестьсот. Но и это отменяется, поспать придется пару часов, затем принять освежающую ванну и вновь встретить ее в сквере у театра.

— Проснись же,— это толкнул в бок сосед и коллега Евгений, двумя годами старше, ведет в старших классах историю. Знакомы еще по пединституту,— хоть окончание послушай, ведь послезавтра будешь в классах содержание лекции излагать, завуч наверняка с проверкой припрется... — Женька более опытен в жизни. И то верно, потому что справедливо.

— ...И вот в чем названная особенность, обратите, товарищи, особое внимание. Речь пойдет сейчас не о прямой идеологической диверсии. Та по крайней мере явна и сразу видна, причем даже неискушенному человеку. Я, товарищи, говорю о невидимой по поверхности опасности: опасности, как это ни парадоксально звучит, грозящей зрелому, интеллектуально воспитанному, образованному человеку.

Я даже не оговариваюсь: молодому. Нет, возраст, конечно, играет свою простительную роль, но роль — опять же вроде бы и непривычно, но ведь здесь, в зале, собралась достаточно квалифицированная аудитория: преподаватели, учителя, воспитатели, проводники нашей коммунистической идеологии, так вот, роль более способного к восприятию творческого ума, еще не закостеневшего в жизненных догмах...

В этот момент в зале раздался смешок-другой, возглас: «Рано хороните!»

— Ради бога, товарищи, бывшего, как теперь говорят, бога! Обиды в моих словах вовсе никакой нет, но не станете же вы опровергать биологическую науку, утверждающую об уменьшении творческой, воспринимающей активности человеческого ума к старости, примерно после пятидесяти пяти — шестидесяти лет? И вообще это я к слову сказал. После лекции желающие могут подойти ко мне по заинтересовавшему вас вопросу. Что смогу — расскажу, порекомендую и литературу научную и популярную.

А пока продолжу по теме нашей лекции. Так вот, товарищи, эта специфическая опасность возникает не под влиянием откровен-

ной пропаганды. Это опасность, так сказать, потенциально заложена в самом культурном багаже человечества и постоянно, непрерывно пополняется так называемыми спекулятивными теориями.

Вот этот враг, которому почему-то до сих пор уделялось так мало внимания, но теперь с ним приходится считаться, ибо это наиболее коварный противник всякой передовой, прогрессивной идеологии. Прежде всего, что означает сам термин «спекулятивная теория»? Это, товарищи, конечно же не сплетни спекулянтов на базаре о повышении в текущем квартале цен на водку и исчезновении из продажи на неопределенное время подсолнечного масла...

В зале опять послышались отдельные смешки.

— Нет, дело здесь намного более серьезное. Термин этот означает, что некая создаваемая философия, социально-экономическая, политическая и так далее теория оперирует не общепризнанной методологией своей науки, а привлекает для доказательств правоты присущие только ей самой методы, которые суть спекулятивные. В философским, научном смысле, конечно. Это все равно как в известной басне Крылова волк судит ягненка по своим, волчьим законам...

Уже доброжелательный смешок в зале окончательно разбудил слегка заинтересовавшегося Геннадия.

— Человечество рождает в своем поступательном прогрессе не только научно аргументированные теории и концепции, логически выверенные и обоснованные, но параллельно с ними зарождаются и всевозможные спекулятивные учения. Это вовсе не противоречит законам диалектического материализма. В таком, я бы сказал, параллельном развитии и существовании прогрессивных, нужных обществу и спекулятивных систем в общественных науках мы видим сложное взаимодействие законов отрицания отрицания и единства и борьбы противоположностей. Так что в общем плане научные теории только выигрывают, сокрушая и уничтожая эти самые надуманные «учения». Ну-у, к этому мы вернемся дальше...

Лектор отпил из стакана, стоявшего на трибуне.

— Я вам скажу, товарищи, что подобные теории существовали еще в античном мире. Наибольший интерес здесь представляет философия скептика Секста Эмпирика, в свое, очень древнее время

отвергавшего результаты большинства естественных наук, как известно, получивших значительное развитие в Древней Греции.

Но, товарищи, сейчас нам опасен не скептицизм Эмпирика (отдельные смешки в зале). Убыстрение темпов промышленного развития в прошлом веке, стимулировавший глобальный характер политики межгосударственных отношений, вовлечение всех народов в сферу некогда «удельной» европейской политики, наконец, переход повсеместно капитализма в свою высшую стадию, появление социалистических учений и оформление их в теорию марксизма, а в нашем веке — это образование лагеря социалистических государств, все это сопровождавшееся кровавыми бойнями, мировыми катаклизмами, муками целых народов и континентов — все это и породило массу спекулятивных философий и идеологий, являющихся естественной реакцией непонимания сущности мирового, в том числе геополитического, процесса.

Какие же эти основные, наиболее «боеспособные» в наши дни теории? Это, в первую очередь, учения Шопенгауэра, Ницше и Фрейда. Вы знаете, товарищи, как сумели урывками цитат из трудов первых двух мыслителей создать свою, нацистскую «философию» немецкие фашисты. И тревожит то, что сейчас в западном мире определенные круги идеологов с благословения власть предержащих вновь и все более усиленно пропагандируют обновленные варианты шопенгауэрианства и ницшеанства.

Известно вам и то, что фрейдизм лежит в основе современной буржуазной литературы и искусства. И второй одурманивающий поток — это литературно-философский пессимизм экзистенциализма; он также идет от века прошлого, от своего крестного отца датчанина Кьеркегора.

Надо сказать вам, товарищи, мы привыкли настороженно относиться к именам зарубежных, спекулирующих под прозвищами всевозможных «измов», философов, литераторов, политсоциологов, то есть упомянутых ранее Ницше, Шопенгауэра, Фрейда — так сказать, основополагающую четвертку вкупе с Сёреном Кьеркегором, модернизатором учения Фрейда Юнгом, шопенгауэрианцами — западногерманскими философами Хайдеггером и Ясперсом, окончательно порвавшими с прогрессивной наукой и искусством

Маркузе и Сартром, популярным в начале века Бергсоном, Эдуардом Гартманом, мистиком Новалисом, Уильямом Джемсом, религиозным интерпретатором естественных наук, измерителем интеллекта Чезаре Ломброзо, последователями Ницше в художественной литературе Габриэлем Д'Аннуцио и Кнутом Гамсуном. И — имя легион сотням, тысячам их второстепенных последователей.

Но следует помнить: и наша, русская философия и литература на смене веков породила массу талантливых умов, потянувших скептическую и пессимистическую лямку тех же теорий недоверия человеку. Это Лев Шестов, фигура, кстати сказать, не только русского, но и мирового экзистенциализма,— и, конечно же, Василий Розанов — незабвенный автор «Апофеоза беспочвенности», «Апокалипсиса нашего времени». Это Минский и Сологуб — не путайте, товарищи, с замечательным писателем XIX века, автором знаменитого «Тарантаса», графом Соллогубом! И конечно же — Владимир Соловьев и Вячеслав Иванов, дружная супружеская пара Мережковский — Гиппиус, русский поэт-ницшеанец Николай Гумилев и отчасти Велимир Хлебников; порнографист и своеобразный литературный иллюстратор Фрейда, автор двух томов «У последней черты» Арцыбашев. А также Сергей Булгаков и Философов. Близки к ним и Пильняк с Максимилианом Волошиным.

Однако, хватит имен, хотя в свое время и громких. Картина многолюдства вам ясна. И также вам всем понятно, что пустая и пошленькая доктрина никак не может впрячь в сани плеяду выдающихся умов — умов мировой литературы, товарищи!

Итак, в чем же эта притягательность? — А в том, что эти теории вроде бы в центр своего рассмотрения ставят личность человека. Они гладят по головке этого несчастного, затоптанного, униженного бесчеловечной системой капитализма индивидуума и говорят ему: только в тебе самом спасение мира, в тебе, если ты уйдешь в свой внутренний мирок и, познав непреложные законы природы о роли Я-личности, ты будешь со стороны своего понимания и собственного сверхзначения равнодушно смотреть на барахтающихся в своем же, извините, товарищи, дерьме толпу.

Главная ценность — ты, человек, индивидуум, а не те мифические конгломераты всяких социальных, обобщающих теорий: вся-

кие общества равно- и неравноправий, коллективы и иные массовые образования.

Это-то ли, на первый взгляд, не привлекательно? Это ли не гуманизм сорта «А»?

(Оратор допил остатки виды из стакана и наполнил его вдругорядь, но по этикету — на две трети...)

— Теперь возвратимся, товарищи, несколько назад. Напомню, я говорил: в общем плане борьба научной, марксистско-ленинской идеологии с так называемыми «учениями», порожденными этими, спекулятивными теориями, только способствует ее укреплению. Но это в общем. Когда же мы спускаемся на уровень «личности» — видите, я уже оперирую терминами наших идейных врагов (дружелюбный смех в зале) — то здесь мы увидим немало личных же трагедий. И вина в этом, конечно же, не наша. Да-да. Это и есть самая большая вина всех этих экзистенциалистов, ницшеанцев, «новых европейских марксистов» и прочая, прочая...

Вина, трагическая вина создателей лжетеорий, которые выплеснули в тома и многотомные собрания сочинений свое непонимание всей сложности и неоднозначности мироустройства, отчаяние и обаяние тонко чувствующего страдания и метания людей ума, боль своих недугов, личную или классово-групповую отчужденность. И эти тома и томища заполнены не сухими умозаключениями, не логикой Гегеля или Канта, но которые приятно и без умственного напряжения читают не только их коллеги или люди со специальной подготовкой... Нет, это истинно литературные шедевры, это страстная полемика, это апологетика человеческих страданий.

Авторы подобных сочинений, равно как религиозные проповедники — не зря многие из них и являлись таковыми — чутко реагируют на все возможные пустоты в душах и умах людей, живущих в нашем сложном, так часто и неожиданно меняющемся мире.

И вам, воспитателям молодежи — с детских до студенческих лет, когда формируется мировоззрение человека, кому как не вам следует первоначально, как полки и дивизии авангарда, ограждать своих юных подопечных от опасной язвы таких душеспасительных учений... я, пожалуй, оговорился, товарищи: не душеспасительных,

но душегубительных!

Только впитав в себя твердую идеологическую базу в школе, в институте, на первых порах житейской практики, наш молодой человек получает возможность и в дальнейшем избегать разочарований увлечения чуждого нам понимания мира. И тут нельзя не переоценить роль коллектива. Коллективу, я вам скажу, эти с позволения так их назвать, учения не страшны. Здесь они прямо-таки бессильны, ибо они по своему определению враждебны коллективному, *соборному*, как говорят тоже не лучшие наши друзья церковники (отдельные смешки среди слушателей и посерьезневшие лица дам из гороно). Враждебны прямо — в лоб! А ведь никто не стремится в объятия атакующему и упреждающему вас врагу! (Аплодисменты, ибо заскучавший народ почувствовал: вот и докладу конец!).

Еще раз повторюсь: в целом нашему обществу коварные теории и учения не страшны. Слишком смешно звучат их выводы в наше время, для наших людей. Но главный их все же вред — это трагедия отдельно взятого человека, индивидуального (не «частного»!) члена нашего общества. Ему это слепое увлечение неофита слишком дорого может обойтись.

Геннадий, в отличие от позевывающих слушателей, с интересом дослушал окончание лекции и, толкаясь в гардеробной, прислушивался к шумному, обрадованному говору: может это только он, как всегда не выспавшийся, равнодушно выслушал давно всем знакомое, заинтересовавшись только финальными эскападами лектора?

Но нет, народ говорил о своем, лично-частном; женщины намеревались побегать по магазинам и заглянуть в парикмахерские, мужчины же в ожидании своей очереди к плащам и шляпам, благодушные после буфетного пива (словно предчувствуя надвигающуюся «сухую» горбачевщину), покуривали в притемненных углах вестибюля и негромко разговаривали, не употребляя социально-политических терминов.

Однако и лектора мимоходом похваливали: красиво говорит, без бумажки, громко и убедительно. Сразу видно — из Москвы. Хвалили и лекцию: глубоко доцент копает!

Женька и его спросил: «Ну как?» — И следуя общему мнению, Геннадий тоже произнес несколько похвальных слов.

— Я кое-что записал, основные тезисы. Понадобятся — бери...

— Ладно, ладно,— отмахнулся Геннадий, на выходе распрощался с коллегой, поклонился головой двум-трем учительшам из своей школы и быстро пошагал к трамвайной остановке. Пока домой путь держал.

Все исполнил в тот день, как и мечталось, сидя на лекции: дома поспал пару часиков, постоял потом под теплым душем, надел выходной костюм, вышел на улицу. Через полчаса встретил Свету в сквере у театра. В ближнем кинотеатре посмотрели нашумевший фильм, в буфете пили пиво, она — смеясь и нарочито жеманясь, кокетничая.

Уже затемно зашли в кафе, а оттуда оба, слегка захмелевшие, но больше от близости взаимной, гуляли и бесконечно провожали друг друга. Домой он вернулся пешком — автобусы и троллейбусы уже спали по гаражам, а дежурный трамвай обегал город с часовым интервалом. Была половина второго следующих суток, а сам Геннадий укладывался спать счастливый и пьяный от поцелуев, слов, теплого юго-западного (будь хотя бы Запад не к ночи помянут...) ветра весны и непреходящего ощущения, что он крепко и нежно прижимает к своей груди горячее — через два плаща — бьющееся тело ее... его Светы.

Заснул тотчас, и снилась только она, но в более откровенной близости, нежели в этот вечер. Утром мать — голосом недовольно, но про себя довольным попрекнула: мало, мол, спишь, веки опухли и опять что-то кричал-мычал во сне. Спать надо больше и регулярно! «Да-да, регулярно надо...» — по своему понял ее Геннадий.

Пришел на прием к директору АКБ «Средневерхнерусский» клиент просить о кредите на инновационное развитие сети городских платных туалетов.

— Ну-с, и в чем, собственно говоря, эти ваши инновации заключаются?

— Да как вам сказать-то покороче, достопочтенный Вениамин Христофорович, чтобы не отнимать драгоценного времени директора такого солидного банка...

— Ну-ну, раз уж добрались до моего кабинета, так и излагайте. В вашем распоряжении пять минут.

— Очень вам признателен, Вениамин Христофорович. Как вы сами прекрасно понимаете, театр, говоря словами классика отечественной драматургии, начинается с вешалки, а вот общественный платный туалет должен предстать входящему в него страждущему чем, позвольте вас спросить?

— Никогда не задумывался. Наверное, с чистоты и отсутствия этих злобных фурий-уборщиц, что за тобой едва не до самого толчка тащатся с ворчанием...

— Можно и так рассуждать, Вениамин Христофорович, но ведь посетитель пришел справить, извиняюсь, естественную нужду, а последняя справляется тем лучше, чем меньше человек об этом задумывается, то есть его надо отвлечь с самого порога, а чем? Да лучше всего симфонической музыкой, желательно «живой» И тем самым, обеспечив по стране сотни тысяч, миллионы рабочих мест музыкантам, мы попутно стимулируем и открытие новых консерваторий и музучилищ. И станет наша страна самой музыкальной в мире!

Георгий Вильгельмович Гегельянц, профессор философии новоиспеченного университета в райцентре Федоровка — на базе бывшего педучилища, отдыхал после лекций в своем кабинете, покуривая кальян и вальяжно раскинувшись на вольтеровском кресле. «Чудесный городок, замечательный университет,— мечтательно размышлял Георгий Вильгельмович,— не зря я сюда приехал по контракту с районной администрацией, что дала объявление в нашей областной «Толоке». Конкурентов у меня здесь нет и не будет на сто лет вперед, ибо я один с кандидатской степенью. Остальные преподы — учителя всех трех городских школ. Да и сам диковинный этот университет возник единственно по прихоти местного главы администрации, вообразившего себя от безнаказности и самовластия этаким мини-Наполеоном. В студенты же, чтобы списочно заполнить все двадцать четыре факультета — от фундаментальной математики до кораблестроительного — поверстали все население района от семнадцати до тридцати пяти лет. Понятно, что все они делом заняты: на рынке торгуют и в недалекую Москву ездят вахтовым методом работать на стройках. Некогда им занятия посещать. На лекции ходят только самые бездельники, ни к чему другому не приспособленные. И те в дремоте маются. А значит и мне надрываться незачем». А намедни и вовсе инновацию в преподавательском деле сделал: записал свои лекции на магнитофон, приходит в лекторий, включает его, а сам спокойно сидит за столиком у грифельной доски и читает свежую прессу, особенно областную любимую «Толоку». «Да-а,— раззевался Георгий Вильгельмович,— надо подсказать Витьке-ректору, что пора переходить по американскому образцу на дистанционное обучение, выписать себе для ознакомления полугодовую командировку в Штаты, а освободившиеся корпуса отдать в аренду под торговлю и склады».

Глава вторая.
ДИОНИС И ВИНОГРАДНАЯ ЛОЗА; ГЕРА ВСЕЛЯЕТ В НЕГО БЕЗУМИЕ

Подняли руки они к приготовленной пище;
когда же
Был удовольствован голод их лакомой пищей,
вошло им
В сердце иное — желание сладкого пенья
и пляски:
Пиру они украшенье...

«Одиссея», песнь I, ст. 146—149

Понятно, что понятые по-своему, слова матери пролетели мимо ушей: «Мама, мамочка! Все б ты говорила и говорила свои милые, заботливые глупости: сколько много утром я ем. Все-таки малый сон надо чем-то компенсировать? — Сто грамм мяса заменяют два часа сна, бутерброд с маслом и сыром — час, одна сосиска — сорок пять минут, продолжительность урока. Но урок-то сосиску не заменит? Килограмм сосисок стоит: говяжьих — рупь-девяносто, свиных — два-ноль-ноль, молочных — еще двугривенный набрось-выложи. Пусть будет в среднем два рубля, металлических с портретом Ильича. В килограмме их, родимых, двадцать... нет-нет, пожалуй, пятнадцать. Дéбет-крéдит, ну-ка... О! Тринадцать копеек с дробью. А за академический час урока я получаю целковый с полтиной. Так, кажется, Женька считал вчера вслух в учительской. Нет, обратно — неравноценно: сосиска урока не заменит, только сорок пять минут недосыпа».

— Гена, не мечтай! Ты опоздаешь...

Плащ — по утрам холодновато еще, а днем можно в распахнутом. Кепка. Всегда она прическу мнет, волосы под ней как-то комкаются, слипаются, что ли? И как это женщины целый день могут в меховых шапках-тюрбанах просидеть в натопленном помещении, а снимут — все та же утренняя укладка-завивка?! Волосы что ли у них из иного биоматериала повыделаны? Может у женского пола и вовсе нет потовых желез на коже головы? — Этот как у собак...

нет-нет, как у котов с кошками: те мякишами лап потеют, а кожей им нельзя — запах зверя выдает в засаде на мышку-норушку. А собаки тоже стараются высунутыми языками потеть.

Кстати говоря, насколько человек уважает своих домашних зверей... Прислушайтесь в трамвае, просто в очереди за теми же сосисками, как женщины разговаривают о домашнем. Вот сам недавно слышал: «...Живем в двухкомнатной «хрущевке» сам-двое с мужем и сын, да еще кот Барсик *у нас живет*». А возьмите классику русскую, например, бесподобных «Два гусара» Льва Николаевича: «...И зазвал с собою Блюхера, огромную серую меделянскую собаку, *приехавшую* с ним».

— ...Обрати внимание, Светик, как это уважительно по отношению к коту и собаке: *у нас живет*, *приехал с ним*, а? То есть к собственно человеку приравнены Барсик и Блюхер! — как-то рассказывал Геннадий своей подруге. Та соглашалась, но мысли ее явно гуляли вольнолюбиво и Гена-любиво где-то вдали от блохастых котов и истекающих в жару слюнами с высунутых языков собак. Он не обижался.

...Вот интересно бы было: женщина в жару, не снимая соболью шапку, высовывает язык и им потеет... Тьфу-тьфу, что за мерзость в голову лезет. Бр-р... Света... Видно, правда, мало сплю.

Расстрелять бы из гранатомета «Муха» этот трамвай. Откуда народ только в него набирается? Вроде как и маршрут в стороне от центральных улиц. Абонемент... Ну как такой мышке-норушке не услужить, выручить. И не краснеет, отдавая алтын. Интересно представить такую обыденную ситуацию во времена, например, Антона Павловича? — Гимназистки, наверное, краснели бы. А вот стриженные барышни-курсистки вряд ли. И откуда, Геннадий, знаешь и берешься судить о незнаемом... Школьная привычка, хотя и учительствуешь с гулькин нос.

А девочка приятная. Приятненькая — о таких типажах говорят. Глазки такие... ну, прямо сверхглубокие. Молоденькая совсем, лет ей? А черт их сейчас разберет с косметикой: может и двадцать, но, подумав, лет по пять можно сбрасывать в обе стороны. Впрочем, здесь тридцать уже максимум, предел, ибо в тридцать в глазах разочарование, а вот в тридцать пять морщинки на коже

лица ничем не заштукатуришь.

Нет, скорее ближе к двадцати, хотя улыбочка и глазки-то того, блудноваты. Это не наивность Светика, хотя той и все двадцать семь.

Бабник я вправду что ли? О Светке только к вечеру и думаю, а с утра готов любую встречную, что без клюки, в пещеру утащить. Эк хватил? — В пещеру. А вот где-то я ее видел-встречал, и она вдругорядь глазки метнула, как будто вспоминая о том же. Дьявол! Пью часто, вот и память либо слабеет, либо путается в образах некогда виденного.

А все-таки весело жить в двадцать пять лет. Сегодня может потому и весело с утра бесповодно. Как весна — так одни пьянки.

— Здрав-желав, гав-гав-гавв! — уже казармы десантников пошли, следующая моя остановка. Интересно, та что с глазками — выйдет вместе со мною? Солдаты к параду готовятся. Ага, дальше поедет. Не могут ограду у школы поставить, и как это до сих пор никто из детишек с трамваем не столкнулся?

— Доброе утро теть-Настя! Сам повешу. Ну-ка, ребятки, не шумите, перемен вам не хватает для беготни и ора, с утра затеваете... — Сам ведь таким был, смешно вспомнить.

Перед дверью учительской — Женька:

— Привет и здравствуй, ну дай обниму тебя, сынку. Все молодцом, так и не заметишь в вольной жизни, как четвертый десяток разменяешь. Как самочувствие? Превосходно. Готов? Да, Светка как отреагировала?

— Знаешь, сегодня у них какой-то тематический вечер, она — дежурная, только к девяти освободится.

— Но ты сказал, чтобы сразу ко мне?

— Разумеется.

— Тогда *all right*!

— У тебя первый что? — В пятом «б». (Раздался заливистый с утра звонок, невесть чему радуясь). Пошел я к своим выпускникам. Давай. В большую уточним: что, где и кем, как говорится.

— Ага, привет!

* * *

В половине второго Геннадий дождался коллегу-именинника в учительской: сидел и переписывал тему из институтского еще конспекта: «Моральный облик строителя коммунизма», напевая про себя: «Русо туристо — облико морале, руссо турист — облико морале...» — на мотив из того же фильма. Пусто в комнате, лишь в противоположном углу шептались и посмеивались математичка, имени-отчества которой он до сих пор так и не запомнил, и Нина Васильевна. «Дебелые бабки»,— подумалось. Он ненавидел ту и другую за их вечные смешки, шепотки и крашеные в солому шестимесячные завивки. «Неужели и... такой будет через двадцать лет?» — Он вместо имени в мыслях своих поставил точки. Даже в абстракции казалось неудобным упоминать имя возлюбленной.

Вошел параднокостюмный Женька.

— Женечка! Растешь, голубчик.— Чмок-чмок! — И как он со всеми языки находит, включая шестимесячные завивки? Вот что значит полный мужской сексапильный набор. Впрочем, что это я ему завидую? И я по женской части не слабее, просто мне лень болтать языком с этими чучелами в соломе. Вообще-то говоря, я — человек сугубо логичный... Пока трезв.

Опять *Наша ворона* прилетела. Ветка прогнулась. Чертовые дети, что им ворона сделала, что они зимой ей правую лапку покалечили.

— В путь недальний, Геннадий Борисович...— вышли.— Ну, брат, такие планы: сейчас в гастроном, надо еще по бутылке водяры и вина поприличнее добавить; еще две персоны к столу наметились. А то, чем черт не шутит, Горби-консенсус сегодня к вечеру обещанный «сухой закон» объявит. Вот и повеселимся без опохмелки! Познакомлю; девица одна будет: пью-ю! (поцелуйный звук). Ягодка, но не переспелая. Опосля гастронома хозяйством займемся.

Дома у Женьки они провозились до четырех часов, по мере способностей готовили закуску, запустив на полную громкость взятый напрокат Женькой у приятеля стереомаг. Под конец, запарившись на кухне (двухкомнатная квартира: счастливчик, он да мать; мать в санатории, часто), хлопнули по рюмахе.

Звонок — и до пяти все ожидаемые к этому часу гости со-

брались: семь человек. Последними пришли две девицы, что рекомендовал давеча Женька... та, с голубыми глазками из утреннего трамвая, чмокнула именинника в щеку. При представлении оба — она, Наташа, давняя подруга Евгения, и Геннадий, она — от всегдашней веселости, он — от выпитой натощак рюмки — прыснули в унисон: дескать, знакомы уже, без имен, правда. Спасибо, по трамвайно-абонементной части выручил сегодня.

— И прекрасно,— сказал поначалу насторожившийся Женька,— сегодня незнакомых здесь нет. (Пришедшая с голубоглазой — случайное совпадение — из их компании) Прошу к столу. Девочки, девочки, не ругайте: два закоренелых, хотя и молодых, холостяка что смогли, то и сгоношили. Зато по коктейлевой части мы с Геной сто очков вперед дадим какому-нибудь негру Тому из забугорного бара.

Первый тост и первая пробка. Шампанское, смех и первое, самое приятное опьянение ровно на полминуты. Стереорев, закуска, коктейль: «Больше, больше вермута лей, Ниночка! И меньше льда, это же не гляссе?»

Второй тост — и Том, но только не негр, а Том Джонс из магнитофона.

— Вы не хиппи, Геночка, вы — тю-тю-тю! — вы мой старый, строгий учитель, хи-хи-хи! «А люди все кричали и кричали... — вам Высоцкий еще не надоел? — ... наверное, справедливости хотят... — Наташа, а почему вы без своего обожателя... — А может я тебя, Геночка, хочу сделать своим обожателем, хи-хи-хи... мы в оччч-ереди первыми стояли... — У вас прекрасные глаза, Наташенька, такие чистые, голубые... А те, кто сзади нас — уже едят!.. Ха-ха-ха! — Стоп. Надоело, давай Поля Мориа «*Love story*»! — Нет-нет, давайте лучше попрыгаем. Хотите анекдот... Женька, сегодня в ударе.— Пойдемте, Наташенька, еще выпьем!

— Не здесь только, шумит очень эта громыхалка.

— Тогда в кухню прошу. Там есть чего выпить, а сигареты я захвачу. (Ушли по-тихому от гостей.)

— Ребятки! Тсс... — именинник пригнул к себе головы двух приятелей,— клюнул ведь Генка на Наташку, и Светку свою забыл... Ха-ха-ха! Ну пусть порезвится, а то это интеллигентское

воздержание и ему, да и Светке во вред. А Натали — девочка очень даже бойкая и без комплексов,— и совсем доверительным шепотком,— клейм на ней достаточно, даром что молодая!

* * *

На кухне вдвоем; дверь, как в сказке, словно сама захлопнулась и задвинулась уголком пододвинутого стола. Словно и не Геннадий это все сделал. Все забыто напрочь, ничего не поел, но коктейлей много выпил. И все с ядреным вермутом местной выделки. Бес безумия и страсти. Она глубоко-глубоко затягивается сигаретой; страшно даже Геннадию: так глубоко и ритмично грудь ее уходит и вновь надвигается; как раздвоенная холмиками волна. Летом на море волна округлая, темно-зеленая и теплая. Вся тебя теплом охватывает. А у нее — вот он, бес хмеля, бес чувственного любопытства — смугловатая, с нежной шелковистой кожей.

— А я тоже прошлым летом на море была, ха-ха-ха! Найдем кусочек чистого берега — вот тебе и пляж нудистский... Милый, а если кто войдет? Да-да, стол... О-ох! Милый, ты мне больно делаешь. Сюда целуй, крепче, о-о-ох!

Она жарко шепчет ему прямо в ухо, а рассыпавшаяся прическа заволокла глаза обоих.

— ...Не надо так сильно, здесь синяки долго-долго не проходят, у меня кожа очень уж нежная.

— А разве кроме тебя и меня их еще кто увидит?

— Ха-ха... Милый, конечно, нет.

— Наташенька, милая, уйдем... Куда-нибудь, вдвоем, а?

— Но куда, да и неудобно так сразу и уйти, гости... Ведь еще девяти нет, время детское, давай уж до конца с ними повеселимся, а потом что-нибудь придумаем (скороговоркой про себя: «Ой, мамочка, не дай, бог, залетела... в первый раз в жизни на кухне!).

— Девяти? Что, что — девяти? О, господи! — Наташенька, сейчас я — на минуточку... — Евгению надо сказать, предупредить...

— Гена, Гена, подожди, я себя в порядок приведу, да все равно неудобно больше в кухне вдвоем... Так, все готово, ну, по-

целуй меня, милый... и-и пошли. Что-нибудь придумаем.

Они вышли и опять попали в крики, тосты, стереовопли. Геннадий и не успел что-то сообразить после тускловатой (мать Женьки — женщина экономная) кухонной лампочки, как уже быстро, сбиваясь говорил в углу Женьке: «...До девяти, будь добр, позвони, вот... — смотрит, не понимая чего ищет, перелистывает записную книжку, забыв то, что еще никогда ни стрезву, ни спьяну не забывал,— ага, вот по этому номеру позвони, пожалуйста, скажи, что я ушел рано. А что сказать — почему? Почему ушел? Скажи... черт, что же сказать? А-а, скажи, дядя мой харьковский приехал — проездом в командировке, мне позвонил из автомата. Вот я и ушел. Ладно? А почему сам не позвонил? — Что хочешь, то и скажи, дескать, у дяди пересменок между поездами у него полтора часа, вот я и побежал застать его, экономя каждую минуту. Бред, конечно, полный, но навскидку и это сойдет».

— А если к тебе домой заявится проверять, а тебя там тю-тю?

— Нет, не придет (слава богу, что очередь на установку телефона где-то три года тому замерла...). Она все чего-то стесняется и ни разу у меня не была. Выручи, Жень!

— Господи, ну, конечно, какой может быть разговор.

Подошли к телефону в крохотной прихожей, затворив дверь в шумящую комнату: звяк-звяк-звяк:

— Алло, областная библиотека? Можно попросить к телефону (как ее отчество? Егоровна?)... будьте добры, позовите Светлану Егоровну... Да-да, вы уж извините, понимаю — собрание официальное и скоро закончится, но здесь и причина очень серьезная... Да-да... Здравствуй, Света!.. Да ничего сверхординарного... да, да, это Евгений; просто надо было тебя как-то из твоего президиума вытащить. Так вот, Гена тебе звонил раза три, но все не хотели звать... Да нет, дядя его проездом в командировку заглянул на пару часов. Вот мать его и вызвала с уличного автомата... Да-да, ушел, скорее — помчался «дядю честных правил» обнять, а мне строго-настрого велел до тебя дозвониться... Да-да, пожалуйста, а может к нам все же заглянешь, а?.. Ну, всего хорошего, целую ручки.

— Мужчиной становишься, Генок! — хлопнул Женька его по

плечу,— пошли еще дерябнем. Иван такой немыслимый коктейль соорудил — в основном на базе водки. Освежает и, так сказать, мужское достоинство укрепляет, ха-ха-ха! Пошли.

Обнял Геннадия за плечи и повел его, несколько оторопевшего от быстроты сменяющихся событий, чуть-чуть в проблеске осознающего гнусную суть содеянного.

— Кстати говоря, что вы собираетесь с Натали предпринять? У меня есть совершенно конкретное предложение: занимайте одну из комнат, мы с Зиночкой в другой расположимся. Правда, Иван со своей пассией уже напрашивался, да бог с ним, и так часто амортизирует мою хату. Обойдется сегодня, пусть, коли невтерпеж, волочит свою «брунетку» на дачу. Хоть и холодно, зато городской автобус туда ходит.

— Слушай, Жень, неудобно. Так прямо ей что ли и предложу? — Знакомы всего несколько часов...

— Да-да, дескать, не по-джентльменски, нас еще на балу официально не представили... Как будто Беллинсгаузен Фаддей Фаддеевич только что с ней на кухне запирался. Ты хоть молнию-то на брюках до конца задерни!

— Нд-а-а, спасибо, дорогой.

* * *

Шум, крики, хохотки и все тот же стереолай. Танцы и полное отстранение красных, запотевших лиц — все это десятикрат контрастно в свете свеч в модном подсвечнике каслинского литья (мать Женьки в прошлом году ездила в санаторий куда-то аж под Челябинск). Да еще неяркий торшер в углу комнаты, где стоял орущий магнитофон. Но постепенно, под тон неяркому свету наступила томность, еле двигаются ноги слипшихся в объятиях и поцелуях пар.

Она — податлива, о, господи! Все тело жжет, вроде только и освободившееся от первой, дикой страсти там, не кухне... Милая, милая и ласковая Наташенька. Она же шепчет, все шепчет неразборчивое. Целуются. Все целуются, не обращая ни на кого внимания. Иван, огорченный сообщением хозяина, повел было (на без-

рыбье и рак рыба) свою жгучую «брунетку» в сторону кухни, но Женька великодушно остановил, отозвал в сторону. О чем-то пошептались, скабрезно ухмыляясь; Иван ушел со своей в свободную комнату.

— Чвак-а! — Ключ повернулся с другой стороны. Даже сквозь музыку, на сей томный час «*Amor*» Иглесиаса, звук расслышали все. Наташа снисходительно, компатриотски улыбнулась, а Женька подмигнул, кивнув на закрывшуюся дверь: «Пусть педагоги полчасика отдохнут!»

И действительно, минут через двадцать дверь отворилась, а отдохнувшая пара, как ни в чем не бывало, присоединилась к музыке и танцам.

— Мальчики! Все на брудершафт пьем по кругу!

— Чмок-чмок! — Наташенька, не ревнуй... — Гена, у вас испуганное лицо, а ты, Наташа, не ревнуй... — Вот так.— Смех, чмок! — Духи резкие, подруга Ивана — на брудершафт! Видно, что только что пудрилась в закрытой комнате. Только что с Иваном... а теперь ее целуй?

Магнитофон перескочил на старинного «*Распутина*» достопамятной *Boney M*:

— Попрыгаем, педагоги! Хоп — эй, хоп! Хоп! Помянем резвыми ножками старого блударя Гришку. Мне еще дед мой рассказывал, как мужики в шинелях на позициях Империалистической хохотали на фотки в газетах: Николашка, Александра Федоровна и сибирский пройдоха: «Царь с Егорием, а царица с Григорием!» Ха-ха-ха! Во, Генка дает-то? Иван, не шевели усами, не делай умное лицо — ты ведь педагог! Прыгай, ослабел, что ли, ха-ха-ха!

Уф-ф, дух перевести. Снова томное шарканье — Поля Мориа, наверное, по пятому заходу запустили. Наташа, прижавшись, исходит негой.

— Наташенька, хочешь, скажу: я тебе...

— Тс-с,— шаловливо зажимая ему ладошкой рот,— после, после, Геночка. Потом — все.

— Чмок-к!

Воздуха не хватает, свечи кадят, распирает грудь, нега сплошная. И в ушко ей: «*В игранье Грига такая нега. Вуалит негой*

фиордов сага...» — «Прелесть, это твое?» — «Северянин. Прелесть — да?» — Она прижимается еще теснее, словно заполняя все пространство вокруг него, уже невозможно ждать, терпеть... Его знобит. Воздуха, воздуха! И на ушко ей, ничего не видя и не ощущая, только запах ее волос, шепчет: «Он же — Северянин и только для тебя: «*...для утонченной женщины ночь всегда новобрачная... Упоение любовное вам судьбой предназначено... В шумном платье муаровом, в шумном платье муаровом — Вы такая эстетная, Вы такая изящная...*» — И, совсем осмелев, продолжил: «*...Но кого же в любовники! И найдется ли пара Вам?*»

Она посмотрела очень серьезно, с неожиданной силой худеньких рук притянула к себе и крепко, долго поцеловала, остановившись в танце, так что обе другие пары тоже замерли на миг и с интересом посмотрели в их сторону. А Женька тихо сказал своей визави, тоже посерьезнев: «Вот учишь мужика уму-разуму, учишь, а он все, как ушибленный с детства, в жизни всерьез воспринимает. Ладно, сам в Наташку сдуру втюрился, так ведь и она, глядя на него, в дурь попрет!»

Сердце заскакало, губы лепечут ранее незнаемое. До чего же внезапно счастье к нам приходит?

— Наташенька, ты не обидишься, если я тебе предложу...

— Что, что, милый?

— Видишь ли, можем сегодня так сразу и не расставаться... Может, это неожиданно для тебя, хотя мы с тобой уже и были близки, у Евгения есть свободная комната сегодня, и мы...

Она чуть потупила глаза, но скорее по женскому стереотипу, напрочь на миг забыв о кухонной сцене.

— Ты обиделась, извини ради...

Снова быстро и серьезно взглянула на него, ожгла, но — счастьем.— Ура! Ура! Ура! Господи, прижалась особо крепко и страстно, обняла и чуть слышно: «Хорошо, милый. Конечно».

Никаких мыслей. Дурашливые взвизгивания. А душа и сердце прыгают куда как высоко! И тело взносит вот как высоко! — До потолка, высокого потолка квартиры в «сталинском» доме. Какое-то безумие, все смеются, все потные; пот ручьями. Пол стонет. Ух, дадим соседушкам жару — пусть привыкают. Сами порой такие же

плясы затевают. Хорошо хоть люди нормальные. Какая-то из девиц, перебравши, уже слегка всплакнула. Это от чувств. Иван рухнул под общий смех, подняли — и снова о край стола шарахнулся. Зазвенело что-то разбитое, стеклянное. Хохот все усиливается.

— Танцуем до упада!

Визг. Подруга Ивана распустила собранные в затейливую прическу иссиня-черные волосы и кружится посреди комнаты соло: огонь свечей, ведьма, вороново крыло. А он уже не различает: кто, где, Наташа, другая. Поцелуи и объятия со всеми подряд. Эх! Жизнь одна. Хоп — эй, хоп! Мелькнуло: мать волноваться будет, никак не привыкнет. Эх, что стоило на всякий случай утром ее предупредить: то-то, мол, и то. А впрочем, соседям Никитиным недавно воздушный телефон подключили: у них, Никитиных, все три поколения в семье потомственные участники всех войн — едва не от Куликовской битвы до сегодняшнего Афганистана. Потомственные льготники.

Так. Наташенька? Где она? А-а, танцует сам-третья с Ивановой парой. Та-ак, полистать записную книжку, хорошо, номер записал, а георгиевский кавалер, старший, девяностолетний Арсений-дед предлагал хоть среди ночи приходить звонить. Правда, на день Парижской коммуны (она до Отечественной войны была праздничным, нерабочим днем) после трех рюмок говорил, затащившись в гости...

Ага, звяк-звяк: «Алло, Николай Арсе... Извини, Борис, это ты? А это я, как его... Геннадий беспокоит. Что?.. (Смех.) Да-да, малость у друга на дне рождения. Слушай, Борь, будь *дрбдрубом*... Что-что? — Да, мать позови к телефону. Спасибо... Мам-м... да не очень я пьян, чтобы (говорит в телефон волнующимся шепотком, чтобы никто не слышал, но все заняты только собой и своим интересом; шум, визг — притворить дверь в прихожую; кто-то с тоскливым стоном рвется в ванной). Мам-м! Сегодня останусь у Евгения. Да не волнуйся ты, просто веселимся... Да-да, сейчас спиритический сеанс будем проводить, блюдца вертеть. Ну — всего, ложись спать».

Хоп — эй, хоп! Крики, звон. Нашел в неверном свечном свете ее. Тихий танец Женька врубил. Она что-то ласковое говорит, но в ушах звон от выпитого, не понимает ни слова. Только

интонацию.

Вот и конец торжества, все расходятся, кто имеет желание разойтись. Рукопожатия, девушек целуют, а они меж собой поцелуйчиками, как воробышки на ветках, обмениваются. О чем-то коротко шепчутся, похихикивают. Ивана до вызванного по телефону такси коллективом поведут, сам не в состоянии. Что же, программу-минимум со своей чернявой выполнил, до максимума не допустили, так хоть в пьянке душу отвел.

Целуют в губы, красные, распухшие. При этом уходящие слегка как бы обижены, а остающиеся несколько снисходительны к ним, несчастным.

* * *

Громкость магнитофона Женька убавил раза в три. Тихая музыка: опять неизменный Поль Мориа. Знал бы он, так через Гаагский суд потребовал бы гонорар за эксплуатацию своих мелодий. Французы — самый жадный в мире народ после болгар. И сразу хмель осадил, все ясно и расставлено по своим местам: четверо сидят за краешком стола, Зина заварила кофе, лениво, устало и необязательно говорят, курят. Уже полночь, нет, далеко за полночь. Притворяются деловито-равнодушными.

— Ну, мальчики-девочки, пора и бай-бай.

— Хи-хи,— оборвался смешок Зины, а Женька приятелю на ухо: «Постельное белье в шкафу; мы в этой комнате, ну, спокойной ночи и... приятных сновидений».— Это уже им обоим.

Двое в комнате. После многолюдья несколько не по себе. Но приятно. Хмель проходит, куда-то оседает, видно, до лучших времен. С собой Геннадий захватил бутылку сухого, фужеры, тарелку с порезанными апельсинами и грушей. Еще на столике сигареты и зажигалка. За стеной приглушенные смешки. Там давно спевшаяся пара.

Нежно поцеловав его, Наташа незаметно прихватила сумочку, приоткрыла дверь в квартирный коридорчик: все в порядке, убежала в ванную. Он тем временем, чисто по холостяцкой инерции постелил. Без шума отворив дверь, вернулась Наташа со смытой

косметикой, но вновь, насвежо подведя губы. Чистая, свежая, улыбающаяся.— И я схожу.— В ванной открыл кран, подставил голову шеей под обжигающую холодом струю.

Вернулся, где она? — Под одеялом, одна головка в обрамлении распущенных волос, руки за голову.

— Милый, иди ко мне!

На коврик прикроватный сброшена ее одежда, колготки, туфли чуть обок ровно поставлены. Не в силах отвести взгляд... Щелкнул выключателем, торопясь, разделся. Ах-х! Обняла и, прильнув горячим телом, на миг замерла. И он.

Шепотом: «Не торопись, милый. Хочешь выпить?» В темноте, впрочем, луна уже в окно заглянула, шторы не до конца задернуты, разлил по фужерам. Выпили, поцеловались. Закурили. И вот тут толчком пришло дикое желание, как тогда на кухне, а хмель вернулся стократ усиленным. Она — ускользающим голосом: «Возьми мою сигаре... О-о-о, ми-лы-ый, люблю тебя... мил-лый...»

Полное непонимание произносимых обоими слов, но наслаждение без конца и края. Вся ночь впереди — их ночь. И больше ничья.

* * *

Когда и как пришел сон — не помнил. Только осталось ощущение, что заснули они засветло. Так оно, наверное, и было. Очевидно, спали не более полутора часов. Разбудил стук в дверь и веселый, чуть хрипловатый голос хозяина:

— Подъем, ребята, подъем! Труба зовет. На опохмелку — стройсь!

— О чем размечтался, брат Лапсердаков? Или просто репетируешь умное лицо? Зачем? — Ты ведь профессор.

— Да нет, Аполлинарий Митрофанович, не мечтаю я, а вроде как наоборот. Вот давеча сын намекнул: живем уже вторую пятилетку XXI века, в стране экономический подъем, у всех уже машины... пора и нам взойти.

— Ну и что, давно пора тебе «железо» приобрести, сейчас они сущие копейки стоят, особенно китайские. И сын себя человеком почувствует, а то у них, у молодых всем и вся движет принцип тусовки: если у Петьки дурацкий этот мобильник на пять рублей дороже, чем у Васьки, то значит, и Петькина горка! В наше время, как помнишь, такой директорией были джинсы и кроссовки. А сейчас и до самодвижущихся экипажей дело дошло. Против же коллектива, сам понимаешь, не попрешь. Год на умеренной диете посидишь и порадуешь сынка!

— Да купил бы, Аполлинарий Митрофанович, ведь не жмот, не будь я профессором философии, да еще со спецкурсом логики социальных отношений. Понимаете, вот разложу такую простую даже вещь, как покупка китайской железки на колесах, так и понимаю всю несуразницу этого. Ведь в нашем невеликом городе личное авто и даром не нужнó: на трамвае или троллейбусе в два раза быстрее доедешь. Опять же вони бензиновой меньше. А сколько хлопот прибавится? Действует обычный закон навязывания массам ненужных им вещей и...

— Ну и зануда ты, Лапсердаков! Надо тебя рекомендовать в комиссию по рассмотрению апелляций обиженных на экзаменах студентов — любого убедит, что тот идиот, а высшее образование сейчас есть фикция.

Пришел местный композитор Нотострочицкий Аким Стронгинович в департамент культуры областной администрации: может какие заказы имеются, а то совсем обнищал, даже музы, не говоря о земных женщинах, перестали его посещать. Принял его, правда, в коридоре, на ходу, не заводя в кабинет, чиновник по музыкально-хоровому разряду Тертуллианов Акинфий Амосович:

— Есть, дорогой вы наш Аким Стронгинович, заказ на музыкальное оформление к дню города; надобно спешно, в оставшуюся неделю сочинить пяток бравых маршей. Оплата, увы, по расценкам детского музыкального творчества. Сами понимаете, по культурной программе все выделенные средства ушли на перепрофилирование бывшего кинотеатра в досуговый центр.

— Вы что, Акинфий Амосович, издеваетесь? — Я про оплату и сроки.

— А что, других заказчиков у нас в городе вы не найдете, а сроки... Будьте проще. Возьмите забытые советские марши и скоренько переанжируйте их под уже готовые текстовки поэта Демьяна Омшанникова, кстати, вашего соседа по дому. И ничего здесь зазорного нет. Вот уважаемый Дмитрий Покрасс в Гражданскую войну, проживая в Ростове-на-Дону, где власть менялась раз в месяц, всегда про запас имел две аранжировки под схожие тексты: «Мы белые кавалеристы, и про нас былинники речистые ведут рассказ...» — Это для генерала Миллера. А для заменившего его Буденного под новый вариант текста всего-то три доминанты в нотах поменял. А его же марши 30—40-х годов очень даже напоминают марши Третьего Рейха. Так-то!

Подумал чистоплюй Нотострочицкий и отказался. Совсем забыли его губернские Музы, а из женщин только судебная приставша стала приходить — описывать имущество за долги по квартплате и электричеству.

Глава третья.
РЕЯ ИЗЛЕЧИВАЕТ ДИОНИСА ОТ БЕЗУМИЯ

Встала из мрака с перстами
пурпурными Эос;
С мягкой поднялся постели и Нестор,
герой геренейский,
Вышед из спальни, он сел на обтесанных,
гладких, широких
Камнях, у двери высокой служивших
седалищем, белых...

«Одиссея», песнь III, ст. 404—407.

О, чудо! Голова совсем не болит, а ведь даже проспав часов восемь-десять и после намного меньшего выпитого Геннадий обычно мучался по утрам. Еще не веря своему счастью, Геннадий осторожно-осторожно повернул на четверть голову, и лицо его защекотали отдуваемые из незакрытой на ночь форточки утренним ветерком волосы Наташи. В этот миг она тоже проснулась и, по-детски открыто улыбнувшись, потянулась к нему и мягко поцеловала припухнувшими, чуть пошершавившимися губами, в уголках которых красными комочками застыла вчерашняя, на ночь наведенная помада. Кровь, застоявшаяся было во время короткого сна, вновь резко прилила в голову, и, затрепетав всеми мышцами и кожей одеревеневшего за полтора часа тела, задерживая дыхание, он впился в эти припухшие губы. Тотчас пришло и желание.

— Встаем, милый,— потом сказала она.— Ждут ведь.

Пока она, что-то напевая, словно и не было бессонной, изнурительной ночи, одевалась, Геннадий, полуотвернувшись, но все видя, налил и выпил полфужера, закурил и стал уже прямо, в упор рассматривать ее. Она тотчас это заметила, улыбнулась по-женски уже, подошла и еще раз крепко поцеловала, инстинктивно отмахивая ладонью руки сигаретный дым.

Потрясение происшедшего, банальной, но волнующей измены *Ей*, Свете, нарождалось с возвращающимся, разбуженным несколькими глотками вина, легким хмелем. Стыда не было. Была

сладкая истома: неужели она, неужели я... что было ночью, о чем он ранее и помыслить не мог, что так остро и чувственно бывает?

...Никогда подобного не было с прежними, пусть правда, немногими подругами: и ему, и им в голову не приходило так полностью отдаваться любви. А те несколько ночей, проведенных месяц назад со Светой (ее родители уезжали, она оставалась дома одна)? — Ее милые и спокойные ласки, и он, так боявшийся быть грубым, откровенным... О Свете думалось привычно, спокойно, домашнее — Геннадий и не удивлялся этому и тут же ужасался до нервического холодка по всему телу: ведь что произошло! Как он станет ей в глаза смотреть? А может так и надо, может и нет причин для укоров самому себе?

Он не знал ответа на эти вопросы, да и знать сейчас не хотел, даже подскажи их ему некто всезнающий в жизни. И он сам, и Наташа — это прекрасно видно — в это утро воплощали собой спокойствие и дружелюбие, нежность. Они вели себя, более того — чувствовали себя как не очень давние супруги утром, понимающие только что проигранную в постели в тысячный раз любовь как некий вид двуединого существования плоти, когда страсть и целомудрие сплетаются в непредставимый логикой мышления симбиоз.

Она вышла в ванную, спокойно-лукаво кивнув ему. Геннадий мигом вскочил с постели, оделся, убрал с дивана все смятое в шкаф и по мере возможности навел в комнате порядок.

Через четверть часа, как две супружеские пары, которых свело в это весеннее утро вместе веление случая и судьбы, пили кофе, вино, отдыхая, курили. Девушки, обе розовощекие со сна и утреннего горячего душа, с чуть заспанными взглядами, выглядели невинными старшеклассницами. И... даже потупились, когда разошедшийся от трех подряд стопок Евгений сделал какой-то непозволительный для светского собрания намек-обобщение о пользе короткого сна в молодом возрасте.

Еще через полчаса все четверо одновременно посмотрели на часы, а Наташа, встав из-за стола, потянулась за сумкой:

— Мне пора. Спасибо гостеприимным хозяевам. Ты не проводишь меня, Гена?

Тот суетливо вскочил. Попрощались набело с хозяйской парой,

надели плащи и вышли на лестничную площадку. Дверь щелкнула замком, и через минуту, спустившись с третьего этажа, уже были на улице.

Утро свежайшее, каким и бывает начало позднеапрельского дня. Она твердо взяла друга под руку. Шли молча, время от времени она кивала подбородком в сторону нужного поворота.

— Вот и пришли. Мой дом.

Она оглянулась вправо, влево. Он это понял по-своему, полуобнял левой рукой, нагнулся, но Наташа мягко отвела руку, положила ладошку на его локоть и увела в подъезд. Там они застыли в долгом, мучительно-изнуряющем, проникающем поцелуе.

— Пора, Геночка. Предки, наверное, заволновались: сказала — к новой подруге, вы ее еще не знаете, в пригороде живет, на день рождения. Мой телефон,— достала из сумочки книжку, черканула, вырвала листок и, быстро поцеловав его, сунула бумажку в карман плаща. Он же не успел сообразить, что сказать, как она, ласково и нежно проведя ладонью по его щеке, губам, застучала каблучками по лестнице, послала воздушный поцелуй с первой площадки и исчезла за поворотом лестницы вместе с дробящимся, затихающим звуком. Он стоял. Высоко вверху позвонили. Хлопок двери — и все. Он медленно вышел из подъезда и побрел, зачем-то оборачиваясь на окна дома, сверкавшие пламенем утреннего солнца, низко и косо зажигавшего сотню окон большого, бетонным бастионом стоявшего на стрелке двух улиц дома, всему городу известного под названием «Китайская стена».

И все?

* * *

Вот тут-то заломило в голове привычной болью. А Света? — О, ужас. Но это потом, все потом... Сейчас, главное от боли избавиться. Он зашел в пивную — слава богу чудом открылась по расписанию, главное — народ трудовой и не очень не толпился в очереди. Залпом выпил первую кружку невкусного — для обожженных алкоголем рецепторов языка — пива, потом уже вперемежку с сигаретным дымом, не торопясь, потягивал вторую.

— Здорово, Генка! — Ба-а, что за маленький город у нас: за

спиной стояли двое, один незнакомый, а второй еще по школьной парте приятель Сашка Коваев. Оба тоже с похмелья. У Сашки белесое, припухшее лицо. Вытащил из разбухшего кармана потертого плаща огнетушитель* портвейна по рупь-семьдесят два; по очереди все трое выпили из пивной кружки, незнакомый сходил к стойке и принес еще три кружки.

Боль затихла. Приятный, второй уже за сегодняшнее утро хмель отбросил зародившиеся было тяжелые мысли о расплате за веселье.

— Еще? — предложил Сашка.

— Нет, Сашок, мне домой надо зайти, не был со вчерашнего дня.

— Ишь ты! Везет же людям...

Распрощались, а домой Геннадий для обретения полной ясности в голове медленно шел пешком. Он и вовсе гнал из головы постоянно накатывающуюся мысль о ней... и о той. Что делать? Даже не то что совесть, нет, не совесть, но холодный рассудок спрашивал: как теперь быть?

У самого дома, так ничего и не придумав, совершенно бессознательно зашел в телефонную будку, набрал библиотечный номер: по времени на часах и субботнему дню выходило, что уже полчаса как работает. Света ответила сразу сама, наверное, дежурила у телефона, совсем в противоположном конце огромного читального зала от ее стола выдачи книг. Это его совсем доконало, а совесть проявила себя порой расчувствованных хмелем слезинок.

— Светка, здравствуй, милая!

---

* В качестве ликбеза для подзабывших или вовсе не заставших реалии тех славных времен: огнетушителями — за солидный вес и пузатость — называли бутылки из-под шампанского. Известно, что шампанское затаривается в бутылки под давлением в несколько атмосфер, поэтому их повторно использовать нельзя — разорвет. Потому шампанские бутылки в ларьках стеклотары не принимали. Однако с начала 80-х годов, о радость, принимать начали. А все дело в том, что при «позднем Брежневе» на всех перекрестках и в присутственных местах развесили лозунги: «Экономика должна быть экономной!» А в подержанные шампанские бутыли начали разливать безатмосферный портвешок самого дешевого пошиба. Чтобы там сейчас не говорили о «застойных временах», но государство умело беречь копейку, потому и строили на страх американскому империализму по десять атомных подлодок за год. (Авт.)

— Ай, здравствуй, Геночка (кольнуло — и та его Геночкой...).

— Свет, Евгений вчера до тебя дозвонился? (О, подлый, подлый лицемер...).

— Да-да, сказал... про дядю (Ее голос увял, почему?..).

— У тебя что-то случилось? Голос печальный...

— Нет-нет, так... по погоде (А погода-то ведь великолепна?..).

— Света, ты сегодня как всегда до пяти?

— Да. Хочешь встретиться?

— Ну, конечно же. Ты что? — Или обиделась за вчерашнее? Так ведь я иначе не мог — он, дядька, проездом, мы с ним три года не виделись (Со всей силы ударил себя в бок левой рукой и даже сдавленно ойкнул...).

— Я понимаю. Значит как всегда у выхода будешь ждать? Ну, тогда — пока.

— Целую, милая,— и с грохотом надел трубку на рычаг, так что звякнула застрявшая на входе в утробу автомата не провалившаяся вовнутрь двушка. Дефицитную в телефонном деле монетку Геннадий вынимать не стал, а с пылающим лицом отбежал прочь — подальше от переносчика лжи — телефонного автомата.

* * *

Чтобы успокоиться — для родителей,— обошел вокруг дома и, наконец, ноги почти автономно понесли его в свой, средний подъезд. Дома все в сборе, отец посмотрел поверх газеты и ничего не сказал. Мать сухо:

— Есть будешь? — Отрицательно мотнул головой и пошел к себе, снял пиджак, стащил галстук и... полуодетый уснул как убитый.

Сон случился откровенным и страшным в своей замысловатости. Снилось все бывшее с ним за последние сутки, но только в интроверсии: заместо голубоглазой Наташи его визави была Света. И то, что они делали с Наташей, что казалось верхом чувственного удовольствия, то со Светой выходило глумливым бесстыдством. Она делала все это, повинуясь каждому его движению, а по щекам текли безостановочные слезы. Вдруг вспыхнул свет — яркий свет

направленных прямо на них, словно театральные софиты, прожекторов, осветивший их безобразные позы, а полукругом у постели, выдвинутой почему-то на середину комнаты, стояли подкравшиеся гости с хозяином и хохотали до упаду, тыча в них растопыренными пальцами. Наташа, «его» Наташа стояла за спиной хозяина-именинника и, обхватив его крепко руками, повиснув на шее, с бесстыдным любопытством смотрела на них, одновременно что-то, явно скабрезное, шепча на ухо Женьке.

Далее во сне был перебой с искрами и металлическим грохотом, как в телевизоре во время грозы, но дальше снилось еще более дикое, пьяное, что и словами он не мог для самого себя описать, проснувшись в холодном поту.

Половина пятого пополудни. Быстро, торопясь, умылся, почистил зубы, что-то съел на пустой кухне, выпил прямо из чайника холодной, настоявшейся заварки, хотел молча проскользнуть в гостиной мимо семейства, погруженного в телевизор, где бывший комбайнер с каиновой печатью на лбу что-то горячился насчет консенсуса и стагнации, но отец язвительно все же успел вставить пару слов в паузу генсека:

— К утру прикажете ждать, товарищ педагог?

Сквозь зубы, уже одеваясь в прихожей, ответил, что сегодня ждать следует прямо к ночи. Выбежал из квартиры и из дома — времени оставалось в обрез.

Проходя мимо злосчастной телефонной будки, покосился на нее и... заскочил в кабинку, набрал номер по бумажке, еще ею положенной в карман плаща; недовольный мужской голос ответил: Наташи дома нет.

...У облбиблиотеки, еще сворачивая с проспекта в проулок, увидел стоявшую с поднятым от вечерней прохлады воротником плаща Свету, подошел, молча и виновато поцеловал в щеку. Не сговариваясь, пошли куда глаза глядят и ноги выведут.

Весь вечер была она грустна, но о *том* не вспоминала и даже намеком, ничего не говорила. «Знает или не знает? Впрочем, откуда знать; скорее — женское сердце вещун — чувствует».

Хотели сходить в кино, но, увидев очередь еще на улице (суббота!) на входе в приземистый, чем-то ассоциирующийся с соба-

кой-таксой кинотеатр в колонном, псевдосталинском стиле — творении провинциальных архитекторов — раздумали. Побродили в соседнем скверике у театра. Она сказалась не совсем здоровой — весенняя простуда — и попросила проводить домой.

Прощались в подъезде. Целуя, прижимая осторожно ее хрупкое тело, через два плаща чувствовал, что она вся напрягается до невольной дрожи. И у него душа слезилась. (Подлец, подлец — пульсировало от лба до затылка; ощущение полного раскаяния.) Уходя, она ласково-устало коснулась губами его щеки и уголка рта:

— До свидания, милый. Завтра моя очередь дежурить в читалке. Звони.

И ушла, словно растаяв в полутемном подъезде.

По пути домой трижды звонил из разных автоматов: первый съел двушку; второй, очевидно, работал дуплексно-односторонне, он только слышал настойчивое женское (не ее!): «Алло, алло, слушаю...» Из третьего узнал, что Наташа домой еще не приходила.

— Как она может... мерзавка! — вырвалось грубо и громко, так что случайная встречная женщина испуганно отпрянула и потом раза три на ходу оборачивалась ему во след: «Шпана! А еще прилично одет...»

Поднимаясь по лестнице в своем подъезде, увидел на площадке второго этажа человек пять местных мелких хулиганов, пивших из горлышка по кругу рублевую бормотуху. Среди них Петьку-гепетэушника и двадцатипятилетнего слесаря-пьяницу Серого, своих, как он им порой и говорил в глаза, моральных врагов. Отставив горлышко ото рта, Серый процедил сквозь гнилые зубы, впрочем, вполне явственно: «Что, интеллигент, с *б*... идешь?»

Зверем посмотрел на дегенеративное, опухшее лицо-рожу Серого и прошел мимо. Тот ухватил было наперевес за горлышко полупустую бутылку «ноль-семь», но еще не пьяные друзьяки попридержали. Кто-то глухо пробормотал: «В тюрягу что ли захотели из-за этого шерхебеля? Пусть пока ходит-бродит».

И как всегда невольный холод-озноб подспудного опасения, почти страха, от таких слов пополз под рубашкой, по спине. Мерзко, но а я-то кто сам, а?

* * *

В воскресенье с утра он все-таки отыскал Наташу.

— Гена, милый,— обрадовался ее телефонный голос,— ...да-да, передавали, что звонил. Занята была... у подруги. Ну-у, знаешь, всякие женские дела, мужчинам это все непонятно и скучно. И кокетливо, что неприятно поразило:

— У вас, мужчин, тоже ведь свои заботы бывают?.. Сегодня?.. Знаешь, у нас дома гости воскресные, лучше завтра. Хорошо? Не огорчайся, милый. Значит завтра в семь у моего дома... Ага, целую, Генчик. Пока.

И обнадежила, и огорчила. Впрочем, к вечеру он огорчение это забыл: еще днем взял билеты в театр, Света обрадовалась, вроде отошла от вчерашней невольной (он уже полагал ее «невольной», подлец этакий...) обиды.

Прощаясь в ее подъезде после замечательного, лучшего в этом сезоне спектакля, целовала тепло, ласково; уходя, задержала его ладонь в своей на минуту-другую:

— До свидания, милый,— и, покраснев, шепнула на ухо, что-де на следующие выходные папа с мамой уезжают к бабушке в райцентр: проведать, но в основном огород вскопать. И убежала с веселым стрекотаньем каблучков. Сладкая волна прошла по телу, вдохновленному двойной чувственностью последних дней. Весело насвистывая, шел домой, уже почти с юмором оценивая свою ситуацию. Даже тотчас нашел литературную реминисценцию: это как в бунинской «*Натали*» — две юных любви сразу и одновременно. Но тут же досадливо поморщился, вспомнив, чем это все в бунинском рассказе закончилось...

Почему-то трезвые Петька и Серый — это в воскресенье-то? Может в сектанты подались? — сидели на дворовой скамейке и под светом фонаря играли в «очко» с кем-то третьим, загороженным тенью. Косо взглянули, ничего не сказали относительно столярного инструмента шерхебеля. «Попробовали бы! — так захотелось с радости набить им морды,— дегенераты, неандертальцы!»

* * *

В понедельник, уходя в школу, с порога, чтобы не услышать ответное, бросил, словно в голову стукнуло: «Сегодня может не приду, у Женьки останусь, он стереомагнитофон купил, музыку послушать...» И даже нарочито хлопнул дверью, чтобы все же не услышать язвительной реплики отца, укоряющего всплескивания руками матери. (Бедная Света, ведь на нее все мои грехи мать списывает! А у меня-то сердце сейчас как камень.)

На большой перемене, отозвав из учительской Женьку, спросил — просто так, на случай:

— Понимаешь, дело тут такое... Ты что вечером сегодня делаешь?

— Ясно, ясно, старик. Приходите, вот ключ. У меня второй имеется. Я под самую ночь приду, возможно не один.

Стыда не было, одна холерическая радость-предчувствие. Со Светой еще вчера договорился: занят допоздна, секция. Вечером встретился с Наташей. При встрече поцеловались почти по-деловому. Немного поговорили о том-сем, нейтральном, потом повел ее в «Центральный» ужинать. После зашли в дежурный гастроном, на последнюю пятерку (хорошо завтра зарплата) взял две бутылки сухого. Пошли к Евгению.

Хозяина, как тот обещал, дома не было. Также по-домашнему расположились, сварили кофе, выпили и покурили. Давешнего стереомага уже не было, поэтому тихо рокотал обычный кассетник. Не дождавшись Женьки, ушли в *свою* комнату.

...Утром поздоровались с хозяином и новой, не Зиной, молодой, не старше восемнадцати — ох, Женька, под статью просишься...— смущающейся девушкой.

На неделе он еще два раза брал у приятеля ключ. Оба вечера пили вино и кофе с коньком вчетвером, слушали кассетник и расходились по *своим* комнатам. Он уже слабо соображал, что нес по телефону Свете, а мать и вовсе перестала с ним разговаривать («Перебарщиваете, молодой человек, перебарщиваете»,— кивал на засуровевшую хозяйку дома отец): молча ставила на кухонный стол завтрак и уходила в спальню.

В остальные два дня по вечерам гулял со Светой, как на

службу ходил. Душа каменела. Очень боялся приближающихся субботы-воскресенья. Но, вот что странное и непонятное, обе ночи и оба дня провел с ней в освободившейся квартире с приятностью для тела и души. На вторую ночь с оторопью поймал себя на том, что сравнивает их... Если бы Света знала это, то пришла бы в негодованье не столько от факта наглой и бесстыдной измены, но именно от результатов сравненья, ибо, оценивая Свету, Геннадий невольно вспоминал любимого Бунина: «*Худая компаньонка, иностранка купалась в море вечером холодным*». Вот и пойми тут женский характер...

Так прошло два месяца. Весну сменило лето, на носу долгожданный отпуск. Все промелькнуло в пьяном — больше не от вина, но от разнузданной чувственности — угаре. Он похудел, сердце давно молчало, как бездушный часовой механизм. Похудел как мартовский кот. Приезжала на пару недель из очередного санатория мать Женьки, привела квартиру в порядок и укатила на все лето к старшему сыну в Прибалтику, служившему майором на радиолокационной станции в Скрундзе. Словно все демоны порока и соблазна сговорились против нашего Геннадия!

Порой чувствовал себя подлецом, но чаще преисполнялся сознанием гордости — гордости двуобладающего самца. Даже матерый «ходок» Женька приходил в восторг: «Это надо уметь два месяца подряд питаться только вином и любовью!»

...И хотя все это закончилось не по бунинской «Натали», но все равно не так хорошо, как началось. Наташу все реже и реже стал заставать по телефону. А ночами уже не была прежней; порой казалось, что в каком-то тумане, равнодушно и затвержено отвечает на его ласки. Пару раз — договоренных — и вовсе не являлась. Однажды, проходя по улице, увидел боковым зрением ее — шла по другой стороне улицы под руку со здоровенным, спортивного пошиба парнем с усами. И еще отметил как-то холодно и рассудочно: она его тоже заметила своими голубыми глазками, но не подала вида, не отняла руку у своего спутника. Даже показалось: демонстративно теснее прижалась к торсу провинциального Беккенбауэра...

Что ж, почти по-английски, без ненужных и нудных объясне-

ний. У него сил на отчаяние не хватило. А было ли оно? — Вечером, встретясь со Светой, почувствовал давно забытое явное чувство радости и любви к ней. Прежнюю радость и любовь. И еще он почувствовал освобождение от опутавшего его демона.

Месяц Геннадий не звонил голубоглазой. Теперь с комнатой приятеля познакомилась она, Света. Видно, что ей, особенно поначалу, было не по себе, по Евгений держался невозмутимым джентльменом.

В конце же концов, через этот месяц встреч, после одной из сладких ночей она спокойно, обняв его, сказала: все знала про *нее*. Геннадий уронил на пол только что зажженную сигарету.

— ...Я знала, это временное, ты ведь не переставал меня любить?

Трижды потрясенный, потерявший дар речи, он только и смог, что обнять ее и... расплакался как мальчишка, уличенный строгой, но любящей матерью в краже конфет из буфета, припасенных к празднику... ему же припасенных. Самое существенное, что потом несколько дней ему было стыдно не за сам факт выявленной измены, но за те давешние сравнения Светы с «*худой компаньонкой, иностранкой*». Тем более, что за месяц почти регулярных встреч-ночей она приятно округлилась где надо, а пополневшие груди явственно приобрели столь ценимую в мужском мире форму «аэродром». Понятно, что просветил его всезнающий по женской части Женька.

Итак, наступило просветление. Слезы радости и любовь. Так любовь исцеляет от чужебесия. Самое главное: впоследствии редко-редко, но встречался с голубоглазой блудницей. Оставались вдвоем в *прежней своей* комнате квартиры Женьки, но уже на пару часов днем, не ночью. Оба понимали: встречи чисто деловые; у нее пауза между двумя очередными спортсменами, а у него Света на пару недель уехала в Москву на какие-то курсы повышения библиотечной квалификации. Кстати, и без того очень высокой. Но начальству виднее. Да, Наташа девушка на редкость современная, без комплексов. И в каком-то смысле сумела подавить эти комплексы в Геннадии. «Время такое,— задумчиво говорила она после особо бурного соития, подложив левую ладонь под голову, а

в правой держа дымящуюся сигарету,— нельзя делать перерыва в чувственности, а то нюх потеряешь. И твоей *высокой любви* это не помеха, и мне не мешает с умным человеком хоть в постели поговорить, отдохнуть от этих тупоголовых, которых я на работе массирую. У них только шайбы-мячи в головах... да еще деньги».

Целуя его по-деловому утром на прощанье, она просто, как друг давний (да она и стала его другом...) смягчала его потревоженную было совесть:

— Дурачок, тебе нужно ножки своей Светке целовать. И не за мое явление в твоей жизни, а за исцеление тебя от позднеюношеской дури. Это я тебе как медсестра говорю; ведь кое-что в медицинской психологии понимаю.

Он отстраненно усмехался, но вполне с ней соглашался. В конце августа она как-то скороспело вышла замуж за усатого — но не того, а постарше — начальника отдела снабжения крупного военного завода и укатила с ним в свадебное путешествие в Крым. На время он потерял ее из виду; собственно и не вспоминал. Теперь он действительно целовал Свете ножки, жалея, что так мало выпадает удобного для этого благого дела ночей.

Командировало общество «Мартиролог» ~~своего~~ активиста Толерантова в центральноазиатское ханство, бывшую союзную советскую республику, реализовывать международную программу — со штаб-квартирой в американском городе мормонов Солт-Лейк-Сити — по защите прав сексуальных меньшинств. Доехал Толерантов по Транссибу до столицы ханства, с немалыми трудами и бакшишами добился аудиенции у Великого визиря.

— Чего приехал, чужеземец?

— Да вот, вашбродь, пергамент с меморандумом об уравнивании прав сексменьшинств в части пользования, извиняюсь, общественными туалетами привез.

— Это как понимать тебя, малопочтенный гяур?

— По американской программе реализуется программа создания по всему миру наряду с обычными «М» и «Ж» отдельных туалетов для представителей третьего пола: геев и трансвеститов.

Задумался визирь. Конечно, надо бы извращенческого ходатая сварить в бочке со смолой, но... хан совсем недавно объявил свое государство светским и уважающим общечеловеческие ценности. Сразу из-за океана и инве-

стиции в урюковую и кишмишевую промышленность потекли: не только Сам, но и он, и все паши-министры счета пооткрывали в стамбульском госбанке... нет, нельзя гяура даже высечь, тем более верблюдами растоптать. Толерантность, дэвы ее побери! Вызвал для совета писаря хаджу Раммади, бывшего ответственного секретаря республиканской писательской организации, поэта-песенника и Героя соцтруда. Тот подумал, намекнул на авторский гонорар и подсказал выход:

— Мой повелитель! Скажите неверному, что у нас все по-американски: ноу проблем. Мы соблюдаем фольклор и этнографию, поэтому оправляться ходим в степь широкую: аксакалы — направо, ханум — налево, а дети сатаны — только повежливее их назовите — прямо вперед и желательно подальше.

Обрадовался визирь и дал писарю бочку халвы тахинной.

Философия на православной Руси и в католическо-протестантском Западе зарождалась и развивалась совершенно различными путями. На бескрайней, малолюдной — от огромства территории — русской равнине мысли рождались подстать пространные, всечеловеческие, а потому и крайне абстрактные. Поэтому всего два направления оформились к началу XX века: русский космизм и философия православного мироощущения. Оба в практической жизни невостребованные. А вот в Европе, особенно в протестантской — англиканской, лютеранской и кальвинистской, любой дом — что твоя мастерская типа автосервиса: и в подвале, и в палатах, и во дворе все что-то тачают, крутят, из водоотливных машин накачивают. Словом, куют прибавочную стоимость не отходя даже по нужде. Отсюда и создалась философия прагматизма и позитивизма. А раз прагматизм, то любая железка, любая щепка идет в дело. Даже убогим телом и душой лениться не позволено, и им занятие придумали. Отсюда нынешняя гендерность, феминизм, толерантность, гомосексуализм, некрофилия и прочие общечеловеческие ценности. Все от экономии человеческого материала. А именно человек в протестантизме объявлен высшей ценностью: чем больше у него гульденов, фунтов и франков, тем он ценнее. А всякие рисковые философии навроде масонства и марксизма они испытывают на русских дикарях.

Но и русаки не лыком шиты: масонов царица Екатерина и царь Николай Палыч за Можай загнали, а марксизм генсеки переплавили в танковые армии, которые эту самую Европу полвека в почтительном страхе держали. Но все же отсутствие своей философии сыграло с нами злую шутку, привело к ничтожеству. Пора, однако, просыпаться и дергать куда-нибудь на Марс!

Глава четвертая.
ОРАКУЛ АПОЛЛОНА

В ужас пришел Одиссей, задрожали
колена и сердце;
Скорбью объятый, сказал своему он
великому сердцу:
«Горе! На что мне дозволил увидеть
нежданную землю
Зевс? И зачем до нее, пересиливши
море, достиг я?»

«Одиссея», песнь V, ст. 406—409

Вячеслав Гаврилович Ломакин, техник завода торгового оборудования и слушатель Школы молодого репортера при областной комсомольской газете «Юный ленинец», не видя перед собой ничего конкретного, лишь окутанные туманной мглой ничтожности спешащих по своим мельчайшим и незначительнейшим делам людишек, шествовал по главной улице города. В горячечной суете своих высоких мыслей он набело продумывал седьмой вариант доклада на завтрашнем занятии ШМР на тему «Роль общественного корреспондента в повышении производительности труда и фондоотдачи современного промышленного предприятия». И особо он держал в голове трижды повторенные руководителем семинара слова: «На занятие прибудет инструктор из райкома партии. Не ударь лицом в грязь, товарищ Ломакин!»

На углу проспекта и улицы Салтыкова-Щедрина, где еще в марте-месяце зачем-то вырыли две параллельные канавы, замаскировав их дощатым переходом, тем самым сузив прежде широкий тротуар до полутораметрового хлипкого мостика, его сбили с ног. Упав и потому вернувшись мыслями в реальную жизнь, Ломакин разразился беспредметной бранью, но тут увидел, что сбивший его с дружескими извинениями помогает подняться и сбивает с бортов ломакинского пиджака едкую дорожную пыль. Сбивателем с ног прохожих оказался Геннадий Красилин, с которым пострадавший в дорожном происшествии техник завода торгового оборудования и

слушатель ШМР был шапочно знаком, как бывает знакомы-знаемы все люди примерно одного возраста и одного района проживания в провинциальном городе.

— Куда это ты, не глядя, мчишься?

— Извини, Славик. Задумался. Так, о жизни, о всем происходящем. А иду в библиотеку, подруга там у меня работает.

— Знаю, знаю. Мы ведь со Светкой в детстве в соседних домах на Подъячей, то бишь Свердлова, проживали. И в начальных классах в одну школу ходили.

— Ты что? — Героем труда стал? — Изумился Геннадий, только сейчас заметив на лацкане пиджака Ломакина новенькую медаль «За трудовое отличие». Ну-у, поздравляю. С тебя, как говорится, бутылек! Это за какие-такие успехи в непрекращающемся со времен Ильича-старшего соцсоревновании?

Ломакин инстинктивно, чуть испуганно огляделся вправо-влево, но подтвердил: да, за успехи в труде по итогам третьего года текущей пятилетки. Самое интересное, но и учитель обществоведения, и рабкор областной комсомольской газеты, обоюдно обрадованные встречей, не сумели навскидку вспомнить номер этой, очередной пятилетки...

Опять же кстати: только через несколько лет, кода некогда тайное стало явным, Геннадий чисто случайно, совсем не по делу и в малознакомой компании узнал, что трудовую медаль рабкор Ломакин получил к 1-му Мая по спискам своего завода, но по рекомендациям *Органов*. Слава Ломакин уважал внештатную работу...

— Да, конечно, Света мне говорила. А ты как? В газету перешел? Ходили разговоры, что собираешься. Пару твоих корреспонденций в «Юльке» читал.

— Пока еще на заводе, не отпускают как специалиста. А так жду; должна в отделе пропаганды здорового образа жизни — а это сейчас архиактуально при новом руководстве партии и страны — вакансия открыться. Обещали. Уже и Главный намекал. Мне на Тургеневскую. Будь.

— До свидания.

Геннадий в прежней задумчивости продолжил свой путь, перейдя на этом же злосчастном перекрестке проспект и взяв курс

на ближнюю уже облбиблиотеку, которой, увы, уже недолго осталось носить гордое имя Вождя Октябрьской революции.

* * *

Несмотря на случившийся казус, думалось ему приятное. Жизнь в последний месяц лета установилась подстать бархатному сезону, спокойной и ласковой. Отошла прочь горячка метаний между Светой и *той*. Как пьяное наваждение заторкались далеко-далеко вглубь памяти эти, кажущиеся теперь ненастоящими, попойки, потные, переплетающиеся в диком плясе под магнитофон пары и те откровенные ночи в комнате Женькиной квартиры, о которых он до той поры полагал лишь как о пикантном аксессуаре западных романов...

Думал: почему же он с такой радостью возвратился к прежней, спокойной и теплой, ласковой жизни с солнышком-Светой? И решил без всякой грусти и сожаления о прошедшем, как многоопытный и все познавший муж, решил вроде бы и окончательно: не та у него натура, такая рассеянная жизнь не для него. И баста!

С подобными размышлениями дошел-дошагал до облбиблиотеки, от сугубой задумчивости даже чуть не прозевав поворот с проспекта в библиотечный проулок. Вошел в приземистое прохладное здание. Прохладнее в летнюю пору было когда-то только старое здание библиотеки, стоящее и посейчас внизу упирающегося в него проспекта, четыре километра полого спускающегося с верхней точки города.

По летнему времени в здании господствовала не только умеренная прохлада, но и тишина с пустотой. Поздоровавшись со старушкой при пустом же гардеробе, поднялся на второй этаж в общий читальный зал. За библиотечной стойкой сидели разморенные ничегонеделанием дежурные библиотекарши Света и Люда, лениво и тихо о чем-то необязательном беседовавшие.

Как всегда при появлении Геннадия Люда покраснела, потерялась и тихо засуетилась, щеки вспыхнули малиновым аллергичным румянцем. Все объяснялось ее тридцатисемилетним возрастом, стойким стародевичеством и доходящей до полной потерянности скромности, чудесно и необъяснимо (а что объяснимо в поведении

подобных девушек?) сочетавшейся с общительным и многолюдным характером работы библиотекаря в читальном зале, зимой, а особенно в сессионное время переполненном толпами студентов и прочего учащегося люда.

Он прошел за стойку и сел на мигом освободившийся стул; Людочка, как и всегда, бесшумно и мгновенно исчезла среди полок. Как дух сказочный испарилась...

Светины синие (не голубые!) глаза смотрели добро и покойно, а от хрупкой боязни за неустойчивость в житейском море этих двух нежнейших цепей, что добровольно набросили на себя двое людей, в глазах ее жил еще и трогательный испуг.— Мой милый, так мало мне надо от тебя, так много мне от тебя надо, так сильно нужен ты мне. В этом пустынном зале с высоким соборным потолком, но где на стенах не лики святых мелькают в свете вечерних огней трепещущих свеч, но витиеватым золотом отчуждения от застывшего воздуха тускнеют корешки уже под сто лет нечитаемых книг на языках латинских букв. И не в свете чудотворных лампад, но в утомляющемся уже потоке послеполуденного солнца...

На нанизывающихся друг на друга бесконечными нотами полифонии музыка в честь единосущего Спасителя дает откровение этому храму, но музыка эта высокая стоптана, сглушена негармоничными ладами городского уличного шума...

В этом храме поэтических муз за алтарными дверями сидели мы с тобой, мой милый, на нас — омфалосы благодеяния, вещные знаки любви... Господи, растопи своими голгофскими слезами искупления наш неустроенный мир. Наши цепи да пребудут короткими и никаким кузнецам чужого счастья да не раскованы. Мой милый! Чувствуешь ли ты хоть отзвук моей нежности, растопившей мое сердце при каждом взгляде на тебя? Рыдай, моя любовь от счастья, мой милый! Рыдает ли твоя душа... Но как узнать мне твою душу? И как же познаешь ты мою? — И хочешь ли ты познать ее, как равно познал мое тело... — Мысли твои я не ведаю, но читаю на лице твоем. Оно прекрасно твоей любовью ко мне. Любовь единосущна. Она — твоя, она для меня. Я — твой избранник, я — то пятно, что высветил луч твой случайно, но какое счастье и случайным быть? Ты — вся воплощение разлившейся по

телу любви. Как прекрасно твое тело, что познал я, но как познаю твою душу? Этот дом — храм, где в тишине венчаем мы свои сердца. Волосы твои — омфалос, струящийся по плечам, глаза твои небесной сини — откровение женщины...

* * *

— Пусто у вас...

— Как всегда. Лето еще не ушло, осень не скоро придет.

— Да-да, не в библиотеках сейчас ищут счастье.— Они быстро и коротко взглянули друг на друга; она почему-то покраснела. А он подумал: пошлейшая фраза. Оба рассмеялись.

В большом зале, по трем стенам, исключая оконную, заставленном высоченными, под потолок, старинными шкафами, тесно забитыми староизданными французскими и немецкими томами в золоченых переплетах — все реквизировано некогда из упраздненных помещичьих библиотек,— действительно маялись лишь несколько чудаков, не больше десятка, из тех, кто, кажется, круглый год не выходит отсюда, кроме как на домашнюю ночевку. Набор старинный и до боли родной: идиот, читающий подшивку газет за прошлый год; ему все равно, что читать, он не вникает в смысл печатного текста, ему услада сам процесс чтения, даже губами пришептывает. Поодаль ото всех — со смыслом сел — лысоватый, толстоватый и с бегающими глазками тупо и взволнованно глядит в раскрытую на цветной картинке женских половых органов энциклопедию...

Тихий шизофреник спокойно сидит в уголке зала — по диагонали к библиотечной стойке — и ничего не читает, но разглядывает патологическим взором трудолюбиво конспектирующую экономический учебник девушку-заочницу; видно, к тому же и двоечницу, готовящуюся к осенней переэкзаменовке. На ее же загорелые, крепкие и блестящие бедра, полуоткрытые короткой летней юбочкой искоса и трусливо погладывает парнишка. Для видимости он перелистывает номер журнала «*Филателия СССР*», кипа которых лежит перед ним на столе; сам же затискивает в память мысленную картинку для ночного сладострастного сновидения, а может и для чего-то паскудного...

Сидели рядком зачем-то две школьницы, листали книжку по краеведению, хихикали и шептались.

Сидит, как дубом в стол и стул врос, отставной полковник по интендантскому ведомству, ныне кряжистый пенсионер силовых структур, делает многостраничные выписки из военных мемуаров. Еще некто малоприметный что-то с увлечением читает, и, наконец, бледный, засыхающий без свежего воздуха и солнца, молодой мужчина в очках работает с грудой книг в истертых, староизданных переплетах. Наверное, диссертацию по истории машин и механизмов сочиняет. Словом, обычная картина в конце лета в этом богоугодном заведении.

...Они поговорили с десяток минут, а весь-то разговор клонился к одному: что они будут делать этим вечером? Как-то не сговаривалось; наконец до Геннадия дошло: это она на каждое его «да?» отвечает мягким и несколько неуверенным «но...». И здесь она по-своему мило, отведя глаза, краснея, начала было говорить — и он догадался о причинах ее нерешительности, ей следовало перейти свой Рубикон, ибо впервые она взяла инициативу в свои руки... По телу Геннадия пробежала мелкая-мелкая, но приятная волна: от нежности и ожидания.

— Может ты что-то другое хочешь предложить? — пришел на помощь и подтолкнул ее к развязке Геннадий.

— Да-а... Видишь ли, мы могли бы сегодня, а сегодня я могу уйти пораньше, даже сейчас... Людочка, ты ведь знаешь ее характер, и одна до самой ночи подежурит, все равно через час-другой зал опустеет...

— И-и что?

— Понимаешь, родители сегодня приглашены в гости, домой только к ночи вернутся... и-и,— быстро и покраснев,— может ко мне зайдем?

Геннадий взял ее голову в ладони, чуть пригнул, чтобы из-за барьера не было видно, поцеловал ее, все еще вздрагивавшую от волнения впервые проявленной инициативы.

Он остался за стойкой, а Света очень деловито, забыв вмиг о своей нерешительности, пошла в лабиринт книжных полок договариваться с Людмилой, Однако в этот момент по ту сторону барье-

ра послышались шаркающие шаги, Геннадий поднял голову: тот, очкастый, положил на столешницу барьера кипу своих древних книг и вежливо поздоровался. Он не в первый раз наблюдал его за барьером. Может и Геннадий не раз видел очкастого в зале, да не запоминал.

— Давайте я приму,— и Геннадий вытащил из ячейки билет очкастого, посчитал книги, отдал билет. Тот также вежливо попрощался и ушел, добавив, что книги ему эти еще будут нужны, пусть их девушки в хранилище не сдают.

* * *

Девушки же, к которым очкастый посетитель столь великодушно причислил и тридцатисемилетнюю Людочку, неясно разговаривали за глушащими любые звуки полками-стеллажами, набитыми книгами и журналами. От нечего делать Геннадий перебирал книги очкастого и... изумился: на древних, потрепанных книгах стояли имена, которые он привык встречать только с самыми ругательными определениями-эпитетами, те имена, о которых он слышал совсем недавно, в апреле-месяце от московского лектора. Тут же досадливо поморщился: ведь это на другой день после той лекции он закрутил с голубоглазой Наташей...

Однако, прогнав видение коварной соблазнительницы, продолжил листать книги. Он-то и не подозревал, что кроме ругательных имен существуют и их книги, и даже вот здесь, в тихом читальном зале библиотеки провинциального города. А он, простой учитель обществоведения, может держать их в руках, листать и даже читать!

Вот что его поразило, даже сразило наповал. Вот тебе и очкарик, вот тебе и диссертация по теории машин и механизмов... Его даже несколько залихорадило, как будто он зашел в магазинчик «Часы» в верхней части проспекта купить с получки дешевую «Ракету» в позолоченном, то есть в анодированном, корпусе и увидел под стеклом прилавка на черном бархате сверхмодные японские «Сэйко», а рядом на сиротской этикетке цена: двадцать пять рублей 00 копеек. Вот такое ощущение испытал наш учитель неразумных детей и сам — малый ученик жизни.

Наугад он открывал страницы, и ошеломляющие откровения,

которые и не произносятся явно в гладко обструганной жизни, заскакали в его глазах: *Бог мне свидетель, что я был и все еще остаюсь при полном убеждении в несуществовании материи...* — кричал с ветхих страниц Геннадию епископ Беркли.

Лишь религиозное может при помощи вечного провести до конца человеческое равенство, человечность, богоугодное, существенное, немирское, подлинное... — религиозность есть истинная человечность,— вторил Сёрен Кьеркегор.

Человек, многообразное, лживое, искусственное и непроницаемое животное, опасное для других зверей не столько силой своей, сколько рассудком и хитростью, измыслил чистую совесть для того, чтобы наслаждаться душой своей, как — чем-то простым; вся мораль есть дерзкая продолжительная фальсификация, благодаря которой вообще возможно наслаждение при созерцании души — а вот эту фразу Ницше цитировал тот самый апрельский лектор...

Девушки за полками все о чем-то говорили. На время даже нетерпение поскорее оказаться с ней, за запертой дверью квартиры — о, этот миг наслаждения, счастья, радости тела и души — куда-то отошло. Теперь где-то в глубине души и рассудка Геннадий приветствовал эти бесконечные женские прощания-разговоры. Ведь женщина даже на полчаса расставаясь с подругой, прощается не менее этого по времени. Даже когда одна из сейчас разговаривающих собирается — о, прости мою прямоту,— через эти полчаса лечь в постель со своим мужчиной.

...Он все перелистывал староизданные книги.

Жалкое создание! Напрасно ты румянишь, как старая блудница, свое морщинистое лицо, напрасно гремишь погремушками; ты мне постыла... Люди нелепы. Они никогда не пользуются свободою, которая у них есть, но требуют той, которой у них нет...

Без осмысления еще входили эти слова пессимиста, датского угрюмого страдальца Кьеркегора в душу его. И тут же Геннадий наткнулся, раскрыв очередную потрепанную книжку из стопки, на слова того самого, нещадно ругаемого лекторами из общества «Знание» Фрейда, которые он сам недавно чуть не дословно произносил, имея в виду свою персону: *Оба лица, предназначен-*

ные для цели обоюдного сексуального удовлетворения, демонстрируют протест против стадного инстинкта, против чувства массы: они ищут уединения. Чем сильнее они влюблены, тем больше удовлетворяют они друг друга. Протест против влияния массы сказывается как чувство стыда.

Инстинктивно Геннадий обернулся, прочитав фразу; девушки все разговаривали и даже тихо посмеивались. Может у них так чувство стыда проявляется? — Почти по Фрейду то есть... Он взял последнюю книгу, самую нижнюю бывшую в стопке, но не успел дочитать интересный абзац из Шопенгауэра, как подошедшая Света нагнулась к его уху:

— Пойдем, милый.

Она стояла рядом и, повесив на сгибе руки сумочку с длинной ручкой-ремнем, застегивала модный в этот сезон полосатый пиджак с остроугольными лацканами.

Геннадий поднялся со стула...

— А ты принял книги? Молодец, давай я их отнесу. Это ведь мучитель наш, постоянно заказывает кучу книг старых изданий, что не числятся в каталоге для читателей, приходится уточнять по общему, служебному каталогу. Сколько времени отнимает? А отказать нельзя: у него откуда-то имеются библиотечные шифры-указатели на эти книги...

— А я и не подозревал, что у вас подобные издания,— он щелкнул по стопке,— имеются.

— Да? Ну, если что понадобится, то милости просим, да, Людочка?

Та смущенно улыбнулась.

Они ушли, и день этот до полуночи был их эдемовым днем познания рая. Рай тот каждую минуту познают на Земле миллионы юных и неюных пар. И так длится от рода человеческого, и так будет длиться до гибели последних двух людей.

Только уходя и прощаясь, он вспомнил о тех книгах — хотелось бы на время взять кое-то почитать. Она даже невольно удивилась, как, наверное, удивилась бы Ева, спроси ее Адам в день грехопадения: куда это она подевала утреннюю газету, что он еще не успел прочесть...

То был оракул Аполлона.

Зашел после окончания своего присутствия в районной администрации чиновник Архип Селиверстович в колониальную лавку купца Гигиеншвили прикупить для детишек фунт арахисовых орешков. Зашел именно сюда, со смыслом: хотя и неслужебное время, но надобно совместить личный интерес с государственным, ведь Архип Селиверстович служил столоначальником по отделу инвестиций в промышленность района города, а не кто иной как Гигиеншвили совсем недавно, как владелец передового, динамично развивающегося предприятия малого бизнеса, оформил под поручительство администрации льготный кредит в банке «От альфы до омеги» на инновацию.

— Ну, Гурам Ираклиевич, отвесь-ка мне фунтик орешков да заодно отчитайся по инновации.

— Да-арагой Архип Селиверстович! Как вовремя-то зашли. Мне только что эту самую — ах какую! — Инна-авацию принесли. Вот садитесь на низкий краешек этой интересной скамеечки... бочком-с, бочком-с, и левый карман сюртука оттопырьте. Готово? — Вот и орешки в карманчик посыпались!

Довольный вышел Архип Селиверстович из лавчонки: будет теперь чем отчитаться перед городскими и областными властями; экую же инновацию Гурам сообразил?! Надо будет выхлопотать ему к очередному областному экономическому саммиту Почетную грамоту и денежный приз...

Бывший первый секретарь Кокташджуйского обкома нашей партии, а ныне визирь по освоению Марса, созданию компьютеров 8-го поколения и высокими технологиям небольшого центрально-азиатского ханства озабоченный явился с заседания курултая, где получил взбучку от самого калифа. Срочно велел нукерам взашей пригнать во дворец науки всех пашей по его департаменту.

— Собачьи дети! Про Марс и компутеры и говорить нечего, но где высокие технологии, недостойные дети выбракованных ишаков?

Молчат скорбно паши; старые, еще советской закалки, привыкли любое дело под сукно прятать, как говорится, время все исправит: либо хан помрет, либо ишак сдохнет... Молодые же выдвиженцы тайком посматривают на свои мобильники, высвечивающие текущий курс доллара, про себя матерятся: «Не успеем сегодня на биржу, а такое заманчивое соотношение курсов доллара и наших алтынчачей!».

— В советское время вы бы у меня все вмиг положили ярлыки и тамги, тьфу! То есть партбилеты на стол.

В это время влетел в дверь отсутствовавший доселе паша по гептатехнологиям:

— Ваше высочество! Ура, победа! В стране Белого царя все города и деревни увешаны плакатами, рекламирующими, о, прости, аллах, пиво в новых бутылках с прозрачными этикетками. Мы же с помощью китайских друзей, использовав гептатехнологии, создали этикетки для кумыса в десять раз тоньше!

Расцвел лицом визирь, вынул из кармана халата орден и наградил пашу, бывшего президента Академии наук союзной советской республики.

Глава пятая.
НАКАЗАНИЕ МЕЛАМПОДА, ИЗВРАТИВШЕГО ИСКУССТВО АПОЛЛОНА

Мрачно взглянув исподлобья, сказал
Одиссей богоравный:
«Будь благодарен ему; он тебя сохранил,
чтоб отныне
Ведал и сам ты, и людям другим
говорил в поученье,
Сколь здесь благие дела нам спасительней
дел беззаконных».

«Одиссея», песнь XXII, ст. 371—374

Выйдя из дома Светы, ежась в наступающем ночном холодке, Геннадий пробежался к трамвайной остановке. Шагов через пятьдесят, перед поворотом за угол, он притормозил, обернулся и различил в окне ее нечеткий, чуть видимый в отсвете настольной лампы (четверть часа назад он ее включил наощупь, еще лежа в постели с ней...) силуэт. Она смотрела вослед. Она провожала его взглядом, как любая женщина провожает сначала любимого, потом мужа... а потом, может, и любовника. Геннадий помахал рукой, и тотчас магнетической силой поднялась ее рука. Однако в этот момент донеслись чем-то знакомые голоса: мужчина и женщина явно шли с трамвайной остановки. Инстинктивно отступил с тротуара, перешагнув низенькую оградку в невидимку обочинных тополей. Мимо прошли ее родители. И тотчас растаял оконный силуэт, только маленькая настольная лампа подсвечивала обе половинки полузадернутых штор, в колебаниях еще хранивших память о ее руках и теле.

Стоял первый час ночи; хорошо еще у них обоих сработал некий соматический будильник, и, освободившись от сладкой дремы, он успел-таки одеться и выскочить из квартиры и дома до прихода вот бы уж поразившихся, нет, не самим фактом, но нынешним опрощением нравов, родителей.

Геннадий сел в пустой вагон удачно подскочившего трамвая. Впрочем, не совсем уж и пустой: через проход и на два ряда вперед сидел, борясь со сном, ни кто иной, как уже встреченный сегодня Вячеслав Гаврилович Ломакин, слушатель Школы молодого репортера.

И он боковым зрением заметил вошедшего и, сделав знак ладонью, подался к Геннадию:

— Издалёка путь держим?

— Около того...

— Ясно. А я малость устал, грузчиком сегодня трудился.

— В смысле?

— Помнишь Кириллова? Ну-у, того, которого собственные книги погубили. Да должен ты его знать.

Еще бы не знать печальную историю с бедолагой Кириловым? Не далее как полгода-год назад в городе только об этой истории и разговоры разговаривали в кругах местной интеллигенции. В газете некролог был. Хотя лично с ним Геннадий по жизни не сталкивался.

— А ты... знаком с ним был?

— А как же, он же у нас на заводе торгоборудования работал. Ну, от профкома участвовал в организации похорон после того трагического случая. Теперь же вдова с детьми переезжает в Дымов к тамошним родственникам, то есть к матери своей. Дом здесь продала, а у матери квартира трехкомнатная: все легче ей будет. Контейнеры со станции поздно подали, грузили до темноты, потом на росстанях выпили. Плакала она, печальное зрелище. Сам ведь себя человек погубил! Ну, пока... моя.

Техник-общественник вышел, а Геннадию еще три остановки, но, пораженный воспоминаниями о трагической смерти городского чудака и навязчивым за сегодняшний день все возвращающимся и возвращающимся к нему видением и словом *книги*, он сошел на следующей же остановке и побрел к своему дому по пустынным ночным улицам. Пустота их успокаивала. А страстные шепотки и звуки долгих-предолгих, какими и бывают они в ночи, поцелуев парочек, мышками сидевших на бульварных скамейках под балдахинами тополей, опять-таки возвращали его, наряду с книгами, к

тому недавнему, но уже где-то в сердце и памяти ставшему воспоминанием...

И дома он не смог сразу уснуть, как обычно бывало в позднем возвращении. Сидел у раскрытого окна, курил и опять мучался вопросом: почему этот Кириллов так внезапно, как будто дьявол его подкинул, всплыл в его памяти, и как некое, непонятное сейчас предостережение, стоял его молчаливый призрак. Вспоминались черты этого необычного типа человеческого характера. Симпатичен ли такой тип? — Смотря кому. Может и симпатичен, более того, наверняка он симпатизирует многим: и таким же чудикам, и другим. Все дело вкуса. Тысячи плюсов-минусов, совпадений, симпатий и антипатий варят здесь свою кашу.

* * *

Вообще говоря, симпатии — дело удивительно субъективное. Допустим, Геннадию неоднократно виделись сны о науке. Он и не знал: к чему это? Его работа школьного учителя-погонялы по скучнейшему для живых и подвижных ребят старших классов предмету обществоведению явно к научным устремлениям не побуждает... Но вот вроде бы Кириллов — тип личности, прямо противоположный образу классического поборника науки? Даже не касаясь своеобразной внешности его.— Ведь и тот, и другой равноправно могут быть и красавцем, и уродом? И мед, и деготь способны источать их языки, глаза, души... Таких людей, как подвижники науки и Кириллов, тотчас можно охарактеризовать как людей, которые не могут *одновременно* нравиться или не нравиться — не только конкретному индивидууму, но и всей совокупной группе — классу интеллигентно-абсорбированных людей!

Кириллов же являл собою при жизни пример человека с хорошими природными задатками, но неведомым роком, еще с рождения ему было начертано потерять себя в несущественном.*

---

* «Величайшая опасность — потерять самого себя — может подкрасться к вам незаметно, словно ее и нет; любую другую потерю — руки, ноги, бумажки в пять долларов, жены и так далее — вы непременно заметите» (Карсон Маккаллерс «Часы без стрелок»).

Итак, жил-был человек приятной наружности, достаточного ума, вежливый, воспитанный, с выразительной мимикой лица, со звучным и внушительным голосом. Был он очень начитан, искусно играл на семиструнной гитаре, тонко разбирался в житейских человеческих характерах, понимал серьезную музыку, рисовал медовыми акварельными красками. Это и был Кириллов до помешательства, то есть до двадцати-двадцатипятилетнего возраста.

Ко всему прочему отличался аккуратностью (может, это его и сгубило?). В детстве, потом и в юности домашние гости в един голос счастливили отца-мать: прекрасные задатки, замечательное будущее у вашего сынка!

Но вот именно предельная аккуратность, развитая в нем не менее чистоплотными родителями, настораживала даже этих великодушных гостей. В силу аккуратности и истинного понимания ценности печатного слова, величайшего изобретения ювелира из Майнца Иоганна Генсфляйша Гутенберга, в нем постепенно развивалось и к двадцати годам оформилось очень благоговейное отношение к книге. Также постепенно эта, в общем-то правильная, позитивная черта его характера, стала отличительным признаком Кириллова — в том смысле, что когда заходила речь о нем, то помимо всех его прекраснодушных черт и характеристик в головах у разговаривающих первым делом всплывало это благоговейное отношение, превыше всего чтимая аккуратность в обращении с книгой, причем неважно — шла ли речь о раритетном первом издании сборника Льва Шестова «Великие кануны» или об одиннадцатом, стереотипном выпуске справочника по элементарной математике Выгодского, что можно было купить за восемьдесят девять копеек в любом когизе.

Словом, Кириллов успешно шел к «пунктику», становясь личностью фанатической.

К двадцати же пяти годам жизни он уже считался Шейлоком. Обычный диалог:

Просящий: Э-э, Вадим Валентинович, у тебя, кажется, имеется, нет... точно есть, я от тебя и слышал, «Остров Буян» Степана Залыгина — это второй том из его четырехтомника восемьдесят первого года издания?

Кириллов (с радостью неподдельной): Есть! — делает ударение бодрости на первой букве слова и несколько ее растягивает), — и в отличнейшем, доложу я вам, состоянии!

Просящий: Ты не дашь мне ее на пару-тройку дней почитать, а то у меня курсовик горит ясным пламенем по псковско-новгородской истории XVI—XVIII веков. В библиотеках как словно сговорились против меня: областная в новое здание переезжает, в трех городских, где записан — на руках у любителей русской истории, в нашей же пединститутовской еще в прошлом году украли; видно, вроде меня бедолага...

Кириллов (сразу изобразив на добрейшем лице зубную боль, соскучившись и голосом черт-те как умудряясь выражать одномоментно и свое сочувствие к положению просящего, и неразрешимость ситуации): Видишь ли, Витек ты мой Михайлович, я не сомневаюсь, что ты к книгам бережно относишься, вернешь в срок и читать станешь даже дыхание влажное, пивом пропахшее, отводя в сторону от страницы, но... Ты ведь, как мне помнится, в частном доме живешь? И даже в деревя-янном?! Вдруг, не дай, конечно, бог, дом сгорит, и книга моя в том доме... И останется у меня неполный четырехтомник. Сам понимаешь, какая его цена тогда станет? Так что я бы и рад-радешенек, но...

* * *

И вот такими ответами Кириллов отучил всех знакомых от подобных просьб. Какие бы занимательнейшие и недоступные простым смертным книги не приносил с собой в отдел, уже никто не осмеливался повторить единожды когда-то заданный вопрос-просьбу. А после того, как в грозу сгорел деревянный дом студента Витьки, что интересовался «Островом Буяном», то уже простой суеверный ужас не позволял открывать рты просящие. А Кириллову, хотя он и не был по характеру садистом, доставляло истинное удовольствие приносить на работу редчайшие книги из своего собрания, особенно только что приобретенные, и зачитывать в избранном кругу наиболее аппетитные, с точки зрения интеллектуального восприятия, конечно, места, фразы и сентенции.

Из Кириллова мог выйти прекрасный тренер по собаководству: со своим однообразным педагогическим даром он с одного-другого повтора внушал бы самой глупой псине «апорт» и «дай лапу».

И псу в голову бы не приходило ослушаться, ибо такова была страстная убежденность Кириллова в том, что он творит тройное добро: себе, тебе и обществу: собачьему ли, человеческому... Что касается последнего, то формула добра варьировалась: добро делалось себе, просящему и книге. То есть себе — избегать волнений, просящему — не впадать в искушение, книге — от гибели и порчи.

Так вот такое дело. В роковой день, который был к тому же, предновогодним, Кириллов возвращался со службы домой. На улицах — хохломская роспись провинциального святочного (без упоминания этого старорежимного слова) веселья. Падал крупный пушистый снег; свет фонарей, реклама вывесок магазинов и присутственных мест, развешанные вдоль тротуаров улиц лампочные гирлянды, шум людской, не только машинный, уже явно веселые от вина голоса, как и Кириллов расходящихся из учреждений по домам — все это радовало, но только не Кириллова.

Он же осматривал встречных несколько недоверчиво; в голове у него было иное, да и шум, яркость света и белый свежий снег слегка угнетали.— Так пугало его еще не осознанное предчувствие несчастья.

Свернув с многолюдной центральной улицы, Кириллов зашагал озабоченно по тихой своей, застроенной особняками Серебрянской, дошел до дома номер сорок четыре «А» и отомкнул спецключом калитку. От обычных ключей отличался он тем, что не проворачивался в замке, а только вставлялся. Однако замок срабатывал только после определенного числа возвратно-поступательных манипуляций ключом. Число таких циклов знает только хозяин ключа. Подобные охранные приборы очень распространены в этом городе, еще с XVI века славящимся скобяным производством.*

...И вошел во двор. По аккуратной и только что расчищенной — по висящему в прихожей графику, утвержденному главой

* Увы, все это в прошлом. Сейчас в городе даже замки разучились делать, благо китайскими завалены все рынки (Авт.).

семьи на неделю — от снега дорожке Кириллов прошел к дому. В коридорчике-прихожей снял шапку, снова приоткрыл дверь на улицу и аккуратно снял с шапки из крашеного кролика комки снега. Вдругорядь затворил дверь и *надел* шапку на вертикальный спецкрючок с диском-подпятником в размер днища шапки. Такое устройство предохраняет мех на ободке от вытирания, что неизбежно, если класть шапку просто на полку или на обычный стенной крючок.

Затем Кириллов, стараясь не просыпать на пол ни снежинки, сохранявших еще в тепле дома свою естественную форму*, на цыпочках прокрался к входной двери, вновь отворил ее, вышел на крыльцо и отряхнул зимнюю верхнюю одежду. Возвратившись в прихожую уже в третий раз, повесил пальто на плечики собственной конструкции, имитирующие форму плечей, шеи и бюста своего размера, и убрал во встроенный шкаф. В заключение опять вышел на крыльцо и просяным веником обмел верх ботинок. Вернувшись (в четвертый раз), снял их и, аккуратно уложив внутрь концы шнурков, поставил наклонно к полу на специальной плинтусообразной подставке из экологически чистого елового бруска.

Надо заметить, что с собой Кириллов принес газетный сверток. Во время процедуры раздевания тот лежал на коридорном столике рядом с телефоном — абонентский номер 33-22-09. Уф-ф-ф!

* * *

Надев домашние туфли, вовсе не шлепанцы какие-то размахренные, Кириллов взял сверток в правую руку и прошел в комнату — первую слева по коридору.

Это была гостиная, то есть общая комната, и все в ее облике говорило о праздничном дне: парадно раздвинутый стол находился в стадии полуубранства, что намекало на давно начатые приготовления к торжеству, но до начала его остается еще несколько часов.

Дети бегали вокруг елки с трещащими в их руках бенгальски-

---

* См.: Кеплер И. О шестиугольных снежинках: Пер. с лат. Ю. А. Данилова.— М.: Наука, 1982.— 192 с.

ми огнями. «Та-а-к,— попутно отметил про себя Кириллов,— недолго и до пожара». Двое рано приблудившихся гостей из холостяков, которым неуютно в своих домах, сидели на диванчике и развлекались шахматишками; дети все порывались надеть на них маски волка и лисы. Хозяйка метеоритом металась в фартуке и с посудой в руках. Пахло хорошей пищей.

Пришлось остановиться из вежливости и поддержать легкий разговор гостей о преимуществах сицилианской защиты в ситуации двойного прыжка белого слона перед всеми другими защитами в шахматном мире... Однако Кириллов все это время беспрерывно косился на детей, Машу и Петю, и старался держать свой газетный сверток, закрывая его собственным корпусом, подальше от их ужасных факелов. Затем, сославшись на переодевание к праздничному ужину, прижимая сверток к груди, ушел в святая святых дома — в свою комнату, она же кабинет для умственных упражнений, она же основное книгохранилище.

Лицо его, доселе кисло-вымученное, прояснилось в един миг; сам затхлый воздух книгохранилища — духовного капища чудесно омолодил Кириллова. На специальном столике с табличкой *Первичная обработка книг* он развернул пакет и выложил на замшевую столешницу дневную добычу: третий запасной, обменный экземпляр шестого тома собрания сочинений Стендаля и иллюстрированный справочник по кумранским археологическим раскопкам. Бормоча про себя «да ей цены не будет через сорок-шестьдесят лет», Кириллов наклеил на форзац справочника листик экслибриса и вписал в переплетенный в бархат каталог полные библиографические данные.

Прежде чем проделать то же самое со Стендалем, тщательно пролистал книгу, проверяя наличие иллюстраций и — если повезет — заначенных прежним хозяином кредиток. На сто двадцать седьмой странице глаз его помимо сознания выхватил фразу: «*Спинелло д'Ареццо... наделен был художественным воображением. У него на родине еще показывают его «Падение ангелов» с Люцифером, таким страшным, что Спинелло, увидев его во сне, сошел с ума и вскоре за тем умер*».

Кириллов побледнел и отложил светло-коричневый том; был

он слегка спиритуалистичен и опасался туманных и страшных предсказаний. Прошумело в голове, и уже не отпускало несколько защемившее сердце. Чтобы развеяться, Кириллов подошел к стальному сейфу, набрал шестизначный номер, менявшийся им каждое утро и вечер, вынул недавнее приобретение: полудрагоценный томик прижизненного издания стихов основоположника акмеизма Иннокентия Анненского со штемпелем профсоюзной библиотеки фабрики «Красный треугольник» от 1929-го года.

Первые же строки, но скорее чувство полной личной собственности* на раритетную книжицу, успокоили Кириллова, но, увы, ненадолго. Было это обманчивое, лихорадящее спокойствие «на час». Ведь и несчастная троица городов — Стабии, Помпея и Геркуланум —потому и погибли со всеми жителями, что последние — развеселые и вечно пьяные латиняне,— слыша гром и вздрагивая от толчков, сочли что легче и менее хлопотно убедить себя в полной безопасности, чем в панике собирать пожитки и, обливаясь потом, долго и трудно убегать от приговоренных городов...

Трагедия Кириллова и была отзвуком последнего дня... История! — Читай и плачь, читай и... смейся!

* * *

Однако же пора и к гостям выходить. И вышел он, и сел во главу стола. И дождался, когда за столом ошуюю и одесную рассядутся гости — век бы их не видеть! Хозяйски тоскливо оглядел стол: о, господи, к чему эта мещанская роскошь? Роскошь и расточительство в еде, когда ясно, что в обычные дни никто не лопает семгу и ананасы. Апельсин в обычные дни нет в вольной продаже в радиусе двести километров, то есть до ближней столицы, а за копченой селедкой стоят мордобойные очереди.

О, бог мой! Эта икра... Кириллов в душе застонал, переведя все на стоимость полиграфической продукции: сорок экземпляров «Трактата о счетах» изобретателя двойной бухгалтерии Луки Пач-

---

* В те времена словосочетание «частная собственность» не употреблялось (Авт.).

чоли; четыреста брошюр любой серии «Знание»; десять томов Большой медицинской энциклопедии в 30-ти томах же; наконец, не поддающееся исчислению количество газет, чистой нелинованной бумаги в пачках по сто листов...

Кириллову стало скучно, тоскливо и гадко. Тоска супреждь всего. Вся жизнь его шла в постоянной тоске по покою, идеальному порядку, четкой, субординированно-организованной жизни, чтению в прохладной тишине, постижению накопленной на стеллажах библиотеки-книгохранилища многотысячелетней мудрости. Всегда он опасался своих шумных детей; они ведь в любую минуту могут нарушить его покой, изорвать его любимые книги, наконец, могут поджечь бенгальскими огнями дом!

А жена? — Она требует денег, а ведь деньги нужны, чтобы множить истинных своих детей: книги, тома, фолианты, крохотные сувенирные книжки размером шесть-на-восемь сантиметров, альбомы роскошной дрезденской и будапештской печати и попроще — издательства «Аврора», что в Ленинграде. Но какую радость доставляли Кириллову золототисненные тома староизданных книг типографий Вольфа и товарищества А. Ф. Маркса, аккуратные, подбористые томики издательства «*Academia*» тридцатых годов.

Какая поэзия в книгах... и какая тоска, боязнь, вечный страх в этой жизни.

Кириллов сидел, потупив голову. Гости, особенно два холостяка, смеялись, вели какие-то свои, не о книгах, разговоры-суесловия. Включили для выслушивания поздравления от диктора и руководителя страны телевизор — добротный львовский аппарат с финским цветным кинескопом и только-только входившим в моду дистанционным пультом. Что-то говорил диктор, кого-то предварительно поздравлял государственный деятель высокого ранга...

Кириллов с безразличием посмотрел на экран, гости наполнили бокалы розовым венгерским шампанским экстра-класса «Мадам Помпадур», что местная торгбаза сдуру завезла в их уличный овощной магазин. Машинально выпил с ними и Кириллов. Отборное мадьярское шампанское ударило в непьющую голову совершенно странным образом: на миг ему показалось, что заслуженный

диктор, его однофамилец, поздравляя трудящихся 1/6 части света с новым годом, вдруг поднял руки над экраном, высунул их из ящика телевизора, схватил с ближней полочки лежавший там для чтения женой дефицитный третий том серого цвета (то есть собрания сочинений Чехова), развернул его на 483-ей странице, утащил с собой в телевизор и втиснул во весь экран разворот этой страницы, на которой траурной каймой были обведены слова рассказа-предложения:

> *Подумав немного, он положил на блины самый жирный кусок семги, кильку и сардинку, потом уж, млея и задыхаясь, свернул оба блина в трубку, с чувством выпил рюмку водки, крякнул, раскрыл рот... Но тут его хватил апоплексический удар.*

Этого видения уже надломленный и испуганный донельзя Кириллов не вынес. Он вскочил, зашатался, переборол кое-как дурноту и головокружение и вышел из гостиной, промямлив перед гостями извинение. Ушел в свою комнату, ушел утешаться не к жене, не к детям, но к ним — истинным детям его, Ивана Федорова, Корвина, Иоганна Геннсфляйша Гуттенберга...

Гости же поумолкли, жена тихонечко всплакнула на кухне, дети испугались и им захотелось спать.

* * *

Второй раз за вечер — и уже наступившую ночь — Кириллов посетил свое святохранилище. И мы, досужий читатель, как тень его, дважды тоже допущены туда. Потому имеет возможность познакомиться с его убранством. А убранство соответствовало характеру владельца и олицетворяло аккуратность, добротность, опасение чуждого вторжения, священное же накопительство.

Уходящие, как и в областной библиотеке им. В. И. Ленина, под потолок шкафы почти мореного дуба (секвойя; на их приобретение были погребены отпускные деньги Кириллова и жены за десять лет беспорочной службы) полностью скрывали подлинный

цвет стен комнаты. Чудеса переплетного искусства, редкости малотиражных изданий, немыслимого дефицита, почти не появляющегося нигде, кроме как мест их типографского производства, стояли на полках строго по ранжиру, сериям изданий и собраний сочинений.

В красном углу стоял уже наш знакомец — несгораемый шкаф с ценнейшими изданиями. Он поражал своей надежностью и добротностью, купленный по случаю при списании обновляемого оборудования областного госбанка. Понятно, что по законам Минфина он подлежал отправке на переплавку по акту, но Кириллов нашел ключ к душе банковского завхоза: тот страстно увлекался коллекционированием современных дензнаков...

Но это далеко не все. На полуметровом расстоянии от шкафов и высотой метр-двадцать всю комнату опоясывала изгородь из колючей проволоки над напряжением, очень даже повышенным с помощью встроенного в свободный участок стены трансформатора *220/1600 вольт*. Как полагал Кириллов, это наиболее эффективная защита книг от неразумных детей...

Но середина комнаты — самой большой в доме — приятно радовала взор своей просторностью; кроме столика первичной обработки книг, там располагалось лишь покойное вольтеровское кресло, в котором Кириллов сладостраствовал в чтении любимых книг всю свободную часть своего времени — свободную от службы и утомительных переговоров с директорами облкниготорга, библиотек, ассортиментных кабинетов книготоргов, книжных отделов райпотребсоюзов, сельпо и ОРС'ов, ларьков «Союзпечати» и, конечно же, книжных магазинов: универсальных «Книжных миро́в», специализированных по технической, научной, сельскохозяйственной, медицинской, нотно-искусствоведческой и пр. литературе.

Добыча же вновь выходящих книг занимала бо́льшую часть внеслужебного времени. Много сил душевных и физических занимала и подстраховка — заготавливание дублирующих, запасных, обменных вторых, третьих и четвертых экземпляров книг.

Массу энергии отнимали требовавшие ловкости и душевного альтруизма переговоры с заведующими и продавщицами двух городских букинистических и антикварного магазинов, а, учитывая частые командировки,— и аналогичных магазинов всей европей-

ской части СССР. Денег и все того же дефицитного времени стоили вымаливаемые им у начальства командировки в далекие южные города — не совсем по специализации их предприятия, где люди ходят в полосатых халатах и барашковых папахах, пьют, несмотря на запрет Корана*, обычную водку, кушают шашлык, но книг читать вовсе не хотят. Поэтому «южные» книги, скапливающиеся в огромных количествах и ассортименте за зиму, закупают малым оптом — сколько на себе увезешь — в курортный сезон ходоки и посланцы книгоголодной Среднерусской возвышенности и сибирских университетских городов по трассе Транссиба.

...Кириллов вошел в библиотечную комнату и медленно побрел вдоль книжных стен, опоясанных концлагерной колючкой под напряжением. Как ни удручен он был дурными предзнаменованиями, все же взор помимо сознания скользил по корешкам, и мозговые центры, ведающие у человека удовольствиями и наслаждениями, возбуждались при каждом взгляде тонизирующими щелчками: щелк-пощелк, щелк-пощелк...

Вспышки эти длились столько, сколько зрительные органы Кириллова воспринимали на сетчатку отражения названий любимейших, то есть ценнейших по стоимости, томов:

М. А. Булгаков. Избранное, 1974, тираж 30000 экз. Цена на черном рынке уже в момент печатания тиража 80 рублей, сколько теперь? — Одному богу и Кириллову известно.— *Яркая вспышка*!

...И так далее... Вспышек было столько, сколько названий книг успевало обработать его сознание при неспешной ходьбе вдоль колючей про.., тьфу, вдоль книжных шкафов. Это — всплески величайшего счастья обладания; обладай Кириллов столькими же прекраснейшими женщинами, радость его была бы несравнимо меньше, чем его книжное обладание... Но это были и всплески облегчения от страданий, мучений и невероятного терпения, потраченных на приобретение этих книг.

---

* * Советские мусульмане — это, едрешь твою..., не какие-то там нынешние «фундаменталисты». Они свято следовали словам пророка в священной книге: не пить вино! Но ведь про водку-то в Коране ни полаята не написано?!

...За «*Quo vadis*»* Сенкевича еще в юности Кириллов отдал свою собаку, что верой и правдой служила ему восемь лет. За цезарские жизнеописания Гая Светония Трансквилла он уплатил первую студенческую стипендию. За «Жизнь царей» Забелина и «Дневник горничной» Миабо студент Кириллов сдавал чужие экзамены по физике на заочном факультете. Наконец, за счастье обладать набором книг в триста томов по фантастике он... женился.

Уникальная книга Сергея Нилуса «Великое в малом. Антихрист как близкая политическая реальность» (Москва, 1905 г.) стоила ему разрыва с лучшим другом детства; он ее у него украл, за что и был сильно побит.

Все былое промелькнуло перед ним, вся его предшествующая жизнь, запечатленная в этих десяти тысячах томов. Его недюжинная энергия, среднего, но добротного размера талант, его потенция художественно чуткой натуры — все рассыпалось и равномерно распылилось в этих книгах.

Но что казалось смешным в глазах других, то искренне и самозабвенно радовало Кириллова, взбодряло и украшало его жизнь. Верно, что смешное мы только в других и видим, относительно же себя очень и очень даже серьезны.

* * *

Остановившись у шкафа с французской поэзией, Кириллов, как он это сотни раз в минуты горя и хандры делал (горе — это когда у него из-под носа перехватывал раритетную книгу коммерсант Офицеров), протянул руку поверх колючки под током к томику Аполлинера, раскрыл наугад и прочитал грустные строчки «Моста Мирабо». Стихи тронули его своим созвучием с состоянием опечаленной души. Опять слабо защемило сердце, и Кириллов, оступившись, задел запястьем левой руки за проволоку заграждения, которую он по нелепейшей случайности-забывчивости, войдя в комнату, не обесточил, как обычно делал строго и неукоснительно.

***1600 ВОЛЬТ*!!!** — даже для аскета и йога-теоретика Кириллова оказались не подарком; томик Аполлинера отбило искрой в

* То есть «Камо грядеши?..»

сторону, а сам Кириллов, взмахнув руками, как спортсмен-лыжник перед тем как покинуть трамплин, неестественно выгнулся и, развернувшись угрем на полоборота вокруг своей оси, ударился головой о книжный шкаф.

И надо же было случиться такому, что именно в этой секции полок шкафа имелся брак времени: пробравшийся в книгохранилище жучок-древоед подточил опорную ножку столярного изделия. Шкаф-секция зашатался, но ничего страшного бы не случилось, если бы не третье по счету совпадение: в том же месте стены, но с противоположной стороны самый пьяный гость-холостяк в этот момент попытался облапить моложавую сестру хозяйки дома, та его резко оттолкнула (все же водительница троллейбуса!), и холостяк тоже что есть силы стукнулся головой о стену. Двойное совпадение несчастий — случай хорошо известный в психологии, даже имеет научное название: закон парных совпадений. Но, согласно этому закону, далеко не всегда парное совпадение несчастий дает общий эффект полной беды. Тройные же совпадения, в силу своей статистической редкости, всегда приносят либо высшую радость (это как простонародные женщины говорят: дескать, повезло Верухе-то нашей: и муж есть, и любовник, да еще вчера в кабинете начальник ее трахнул спьяну...), но чаще знаменуют трагедию.

В тот новогодний день, точнее — в ночь, суждено было случиться последнему, хотя никто не мог бы исключить и первого; например, от синхронного удара головами стена проломилась бы в сторону гостиной и накрыла, рухнув, сразу всех гостей, а перед этим бы (вот и тройное тебе совпадение!) Кириллов взял у каждого из них почитать по пять-шесть редкостных книг.

Гостей бы отвезли к патологоанатому, а библиотека Кириллова пополнилась двумя-тремя десятками раритетов. Мечты-мечты, в чем ваша сладость?

Но, к сожалению, и для Кириллова, и для всех жителей города, знавших и по-своему любивших его за чудачество, как любят в народе юродивых, тихих помешанных на почве страсти к театру, цирку... словом, случилось последнее, а именно: голова холостого, любвеобильного гостя оказалась медной, и шкаф, получив результирующий импульс-толчок, накренился в сторону несчастливца

и под тяжестью томов медленно поначалу начал оседать на Кириллова. Тот же, парализованный электрошоком, не смог даже пискнуть «мама!». Только мелькнула мыслишка: «И ты, мол, Брут!» — и был сбит ударом в висок углом секции-шкафа. Тело его было погребено грудой книг, а коль скоро упал он на колючку с током, то и обожжено до неузнаваемости.

Кириллов скончался не приходя в сознание. Его похоронили на загородном кладбище и поставили памятник, которого он и заслужил: в канареечную клетку установили на четырех вязальных спицах сорок второй том Британской энциклопедии. А от дождя, снега, ветра и воров все это покрыли кубом из бронебойного стекла, вцементированного в бетонный пьедестал. Рядом высадили анютины глазки и поставили табличку с надписью «*Ex Libris*».

Таково было завещание Кириллова, заверенное им у городского нотариуса. По этому же завещанию новопреставившегося все книги, исключая «Энциклопедию домашнего хозяйства» в двух томах, оставленную жене и детям, были зарыты на пятиметровой глубине в котловане под строящимся новым зданием центральной городской библиотеки.

Не обошлось на двойных похоронах и без конфуза. Когда зарывали книги, из любопытствующей толпы вышел не знакомый родственникам гражданин с номером «Книжного обозрения» в руках, в котором был напечатан некролог Кириллову, и, выхватив из кучи сваленных в котлован книг «Письма» Цицерона из серии «Литературные памятники», пытался убежать с добычей, но был схвачен и побит родственниками покойного. Били его увесистыми фолиантами трехтомного издания Белинского в черных переплетах. И все сторонние зеваки удивлялись: как вор внешне похож на Кириллова? Особо отмечали, что в его глазах наблюдался тот же постоянный жадный и неугасимый блеск приобретателя, который так украшал Кириллова при его светлой жизни...

Правду сказать, всем в душе было жаль этого неудачливого похитителя, жаль что вместо глупых латинских писем он не выхватил из кучи «Вечного жида» Эжена Сю или «Мертвые души» Гоголя Николая Васильевича и не убежал с ними счастливо... Тогда бы он торжествовал: наконец-то нашел литературное обоснование

того типа людей, к которым принадлежал и он сам, и Кириллов, и еще сотни и тысячи людей на земле.

Может быть, ему стало легче...

* * *

Геннадий, вспоминая эту нашумевшую в городе и окрестностях историю, подумал: да, действительно, не один Кириллов такой на белом свете. Как-то он совершенно случайно забрел в городской клуб книголюбов: там и толпились братья-близнецы покойного... И он все думал, думал о неясном, бессмысленно глядя в рассветающее уже небо.

...Но зависти достоин тот, кто умрет, либо кто счастливо продолжает движение по жизни. Жить этой жизнью... жизнью с единым, занимающим всю ее увлечением, стремлениями, извращениями, наконец. Не все ли равно, каким словом это назвать?

Ибо в этом мире не копеечная социальная или экономическая польза дает удовлетворение человеку, но процесс, сам процесс устремленного марша — пусть к несбыточному, но столь полно отдающему личность на полный пансион хотя бы даже совершенной белиберде.

И ведь верно, что человек фанатически увлеченный уже не должен ломать голову ни над смыслом жизни, своей тем более, ни над вопросом собственности или какого иного счастья. Поэтому коллекционирование, собирательство, так называемая увлеченность однообразными действиями, например, писанием романов и повестей, политический и иной фанатизм — не что иное, как облегчение своей жизни путем ухода от более сложного понимания своей роли в биосоциальном назначении человека в цивилизаторском и биологическом процессе к намного более простому и ограниченному акваторией плаванию по избранной протоке.

Но достойны сочувствия люди, которые уже долго шли по этому легкому пути, но вдруг его не достойную мыслящего человека сущность перевели, как поезд по стрелке, на путь высоких чувств, страданий и поисков. Им очень трудно и тяжело идти по усложнившемуся пути. Равно тяжело любящему, что потерял пред-

мет своего чувства: матери повзрослевшего и отдалившегося сына, престарелому мудрецу, не понятому людьми, которому изменил последний его ученик — его надежда, оказавшийся ренегатом.

Все путалось в голове засыпающего наконец-то Геннадия. Последние полчаса в мыслях мешалось невообразимое: он сам уже мало что сознавал — что ему думается? Он грезил в полусне-полуяви, перевозбудившись за нескончаемо долгие день-ночь.

...Так Аполлон, тот, что наказал Мелампода, впервые пристально посмотрел на нового своего ученика.

Срочно собрался совет директоров ПАКБ (патриотического акционерного коммерческого банка) «Наше дело правое». Слово взял председатель:

—Господа-товарищи! Из администрации области получено предписание: провести учение на случай теракта. Итак, ваши действия, Акинфий Ионович и Серафим Демьянович? Изобразите в лицах и действиях.

Мигом бросился Серафим Демьянович к общаку банка и начал набивать купюрами карманы, а Акинфий Ионович мигом ухватил его за фалды фрака, оттаскивает от денег.

— Ну-у, что вы такое делаете?! Это же несерьезно, по-детски как-то,— огорчительно развел руками председатель ПАКБ,— никакой жизненности. Террористу не деньги нужны, а заложники. И вряд ли он во фраке на дело пойдет.

— Вы нас не поняли, Дормидонт Казимирович, это Серафим Демьянович изображал служителя банка, бросившегося спасать общак, а Акинфий Ионович в роли террориста препятствовал этому.

Совсем огорчился председатель, махнул рукой, дескать, как друзья вы не садитесь, в музыканты не годитесь... Отпустил он коллег, а сам на всякий случай пересчитал деньги в общаке. Увы, двух пачек по 10 000 USD не хватало. «Молодцы, ребята!» — восхитился он, позвонил в охрану: задержать и обыскать двух директоров, а затем набрал номер племянника: «Ну что, Егорка, твоя выдумка сработала. Видно, делу учат в Гугенхеймовской школе бизнеса. Так что с понедельника вступай в должность в ПАКБ.

...Через год племянник кинул дядю по полной, с доставкой в СИЗО. О времена, о нравы!

Вызвал халиф Кишмишстанского ханства визиря по идеологии для доверительной беседы:

— Знаешь, Саулбек Биригендерович, моя дочка Зульфия, которая, как ты хорошо знаешь, в МГУ на филфаке учится, намедни позвонила. Дали ей сложную тему для курсовой работы по политологии: «Большевизация и современная американизация Средней Азии в исторических параллелях»...

— Вот, неверные, как закрутили, мой повелитель!

— Погоди, Саулбек, не на митинге мы, не на телевидении. Давай к делу. Референт мой кое-что скачал с Интернета, но нужны практические примеры. Нарой что-нибудь по памяти.

— А чего тут рыть. И сами, ваше... сам, дорогой Назым, знаешь по моей биографии. Дед Барлык-хан в двадцатые годы был главным басмачом в наших местах. Три года за его отрядом конники Ворошилова безрезультатно гонялись. Кровушки реку немалую дедуся пролил. Но затем, как человек умный, первым дал клятву Клименту Ефремовичу в верности партии и народу и обменял именной маузер — от английского короля Георга — на должность первого секретаря обкома. Убывая беседовать с аллахом, передал ее отцу Биригендеру Барлыкхановичу, а тот, как сам опять же знаешь, меня в наследство ввел на закате нашей бывшей родной власти. Теперь вот ты меня подобрал... вроде как все в обратную сторону двинулось.

— Эт-то ты на что намекаешь? Знай все же меру, хотя и в ВПШ вместе учились! Кстати, сегодняшний курс поганого доллара к нашему алтынчачу узнавал?

Глава шестая.
АПОЛЛОН ПРИСМАТРИВАЕТСЯ, ИЛИ СОН

...Но теперь сокрушает мне сердце
Тяжкой своею судьбой Одиссей
хитроумный; давно он
Страждет, в разлуке с своими, на острове,
волнообъятом.

«Одиссей», песнь I, ст. 47—49

Сон, наконец, сегодня-таки сморил Геннадия. Да еще нашел он в себе силы, многажды отнятые за прошедшие сутки входящей в роль женщины Светой и дремотно-бессонной ночью, подняться с кресла, сбросить одежду. Спасибо, хоть мать постелила загодя; залез под простынь, но уже вливался в растворенное окно предутренний холодок, и он последним усилием подтянул скатанное у ног легкое байковое одеяло. И заснул опрометью.

Только что заснул и увидел сон, но какое удивительное ощущение, что уже с десяток лет он шагает в первой центурии второй манипулы когорты всадника Августа Целеруса знаменитого XIII-го легиона. И ноги его истоптали едва ли не миллион стадий галльских, британских, фракийских, трансильванских и дакийских дорог.

Gallia est omnis divisa in partes tras, quarum unam incolunt Belgae, aliam Aquitani, tertiam qui ipsorum lingue Celtae, nostra Galli appelbantur...[*]

(Надо отметить, что выпускник историко-филологического факультета местного пединститута Геннадий Красилин знал начатки латыни, то есть во сне подсознание выдавало совершенно автоматически перевод).

...И уже не чувствует он тяжести панциря и шлема, рука привычно держит щит и копье, спина и плечи не оттягиваются ранцем с немудреными пожитками легионера и немалой долей общего груза: пяти кольев для палатки и медного пищевого котла.

---

[*] *C. Julii Gaesaris. Commentarii de Bello Gallico* (лат.) — Кай Юлий Цезарь. Записки о галльской войне.

Hi omnes lingua, institutis, legibus inter se different. Gallos ab Aquitanis Garumna flumen, a Belgis Matrona et Sequana dividit...

...Десятый год день каждый проходит в марше; впереди, сколько видит глаз, извивается, огибает горы, переползает через них, серо-стальной лентой прорезает лес колонна легиона. А за спиной его тянется все эта же лента, пресекаясь где-то у горизонта, да нечасто ему доводится смотреть на пройденный путь. Обернешься и увидишь злобу и усталость в сотнях пар глаз легионеров, а главное — дубинку в руке центуриона.

Horum omnium fortissimo sunt Belgae, propterea quod a cultu atque humanitate provincial longissime absunt, minimeque...

...Он шагает десять лет. А может, больше? Да, много больше. Иные его товарищи уже другой жизни не помнят: что было у них в детстве, юности? Что они делали, как и где росли, чем дышали до поступления в легион?

Их выцветшие от африканского зноя глаза беспокойно мечутся в глазницах-углублениях желтой, морщинистой, почти неживой кожи лица, иссушенной пустыней, обветренной британской непогодой, избитой пылью дунайских предгорий. Они силятся вспомнить и ответить на вопросы товарища, молчаливые, глазами — тоже только взглядом. Но — тщетно. Уже нет в них воспоминания о своей матери, забыли, где остались жены и дети. Все ушло, ушло, ушло... и не отражается воспоминанием в бесцветных глазах старых легионеров. Утомив себя напрасными потугами мысли, они ругают, порой даже бьют его — любопытного, все оглядывающегося на идущих за ним товарищей. Главное — не прозевать придорожную харчевню: завидев ее за две стадии, отскочить от колонны, бегом обогнать впереди идущую центурию, заскочить, пропить последнюю монету и без того неаккуратно выплачиваемого жалования — все на ходу! — И успеть снова вскочить в свой строй, поравнявшийся с придорожным кабаком, пока добрый центурион делает вид, что ничего не замечает.

И верх их мечтаний — найти в деревушке себе на ночь штирийскую или покладистую валашскую девку, заняв денег для оплаты ласк в долг у маркитанки.

...Ad eos mereatores saepe commeant atque ea, quae ad effeminan-

dos animos pertinent, important, proximique sunt Germanis, qui trans Rhenum incolunt, quibuscum continenter bellum gerunt...

...А утром, после душной ночи в заполненной потными телами палатке, и вовсе бессмысленны глаза старых, да и более молодых легионеров. Мучает только мысль, что вчера мало выпил, либо слишком много задолжал маркитанке или проиграл в кости. Снова течет лента растянувшегося легиона — серого и по серой же ленте пыльной дороги, послушная воле начальника: в золотых, драгоценностями усыпанных одеждах, полубога в мире и бога в легионе.

Qua de causa Helveti quque reliquos Gallos virtute praecedunt, quod fere cotidiais procliis cum Germanis contendunt, cum aut suis finibus eos prohibent, aut ipsi in eorum finilus bellum gerunt...

...Только он, богоподобный, знает: куда идет XIII-й легион, что ждет каждого солдата и что ждет его самого, начальника.— Слава? Пост консула? Завидное ли положение в сенате или бесчестье в африканских песках? Унизительная служба в глухом галльском гарнизоне?.. Только он один знает, только он ведает собой и чертит себе судьбу на свитке жизни.

Так ли? А бездумные легионеры идут, как овцы за бараном-вожаком с вызолоченными витыми рогами и знай себе поют привычное и хвалебное про свой XIII-й легион, про Цезаря, про коварный Альбион и славную, но — увы, проигранную ими битву с ордой Германа Херуска в Тевтонбургском лесу...

* * *

Хлопнула дверь, и Геннадий проснулся, а в голове медным, размеренным тактом звучали чеканные строки латыни, чудесным образом, уже будучи забытой напрочь со студенческих лет, всплывшей из глухих кладовок подсознательной памяти.

— Гена! Уже семь часов, тебе не пора?

Он сообразился и, пересиливая медно-чеканную латинскую речь, ответил, что у него сегодня уроки во вторуюю-ю....

— Ну, ладно, спи себе, полуночничаешь все.

А он, даже не разобрав: солнце ли в окно светит, или невыключенная лампа на столе... снова опустился в сон, и снилось уже

другое: был он в облике паука*: большого, пепельно-темного, с мохнатыми лапами, а на спине красивый и ужасный белый крест, данный ему в давние времена верховным богом всех мелких гадов за его верность и усердную работу в ткачестве.

Он плел очередную сеть... Вспоминая утром, окончательно проснувшись, этот кошмарный сон, Геннадий случайно нащупал истоки такой дикой сюжетности сна: перед этим, за несколько дней, готовя к новому учебному году обязательные планы-конспекты, обратил внимание на одну цитату из Маркса: «*Паук совершает операции, напоминающие операции ткача*». Это и запало в подсознание, которое, как известно, высвобождается во сне.

Решая эту головоломку, Геннадий совсем развеселел: второй такой случай у него со стариком Марксом. Первый имел место быть в студенчестве. Готовил он конспект тож, только по политэкономии. Даже сейчас номер тома собрания сочинений Маркса и Энгельса вспомнил: том сорок шестой, подтом, то есть часть первая. Писал там классик учения его же имени: «*Голод есть голод, однако голод, который утоляется вареным мясом, поедаемым с помощью ножа и вилки, это иной голод, чем тот, при котором проглатывают сырое мясо с помощью рук, ногтей и зубов*».

А в последующую за этим днем ночь он приснился себе сам в образе неандертальца, обгладывающего сырые бараньи кости. Правда, несколько смущало, путало слегка причинную связь, то обстоятельство, что он в то время уже вторую неделю жил самодин в квартире (родители, как сговорясь, в командировки укатили), стипендию прогулял с приятелями, а в день накануне вещего сна питался только чаем с зачерствевшей булкой. Но ведь и авторитет Маркса что-то же да значит!

...Итак, он плел очередную сеть: долго сидел в потрескавшейся штукатурке нежилой каморки, и когда повеяло с улицы через разбитое стекло окна болотным смрадом, и воздух повлажнел, он вылез на стену. Угол облюбовал сразу: почти напротив разбитого окна. Глупые мухи, влетая через это отверстие в замкнутый объем,

---

* Это не дань сегодняшней моде на человека-паука, ибо паук, как символ, традиционен в литературе (Авт.)

именно в силу совей глупости и неумения думать, прежде чем что-то предпринять, попадают всегда вот в такие углы с паутиной.

Он добежал до потолка и обнаружил небольшую щелку в самом подпотолочном сходе со стеной. Это хорошо, не так будет душно работать и долгие часы сидеть в ожидании жертвы.

Распространено мнение, что пауки, в силу своего великого умения плести хитроумные сети, подобны разбойникам, которым только стоит затаиться и терпеливо ждать; дескать, только это искусство прятаться и ждать тому и другому дают добычу. И при минимальной затрате энергии и чуть большей — рабочего времени разбойник всегда при деньгах, дни и ночи проводит в кабаках, сутками спит со своей марухой после удачного грабежа: налета или гоп-стопа.

Увы, если бы все так просто было? Труд паука утомителен, однообразен и нелегок. В нем нет и капли пресловутой хитроумности, изобретательности, что увлекает и скрашивает даже самую нудную работу. Все здесь выполняется по велению инстинкта, что за сотни миллионов, почти за миллиард лет выработался у его предков: могучих, в сотни, в тысячи раз его бóльших-страшных чудовищ первозданного мира. И вот он, худородный потомок длинного, бесконечного ряда вырождений, должен довольствоваться гнусными, зловонными навозными мухами, тощими комарами с чужой кровью и мелкой домашней нечистью.

Он ощупью нашел шляпку проржавевшего гвоздя; возможно, иконка на нем висела в живые дни этой хибары, а может и портрет лубочного царя наполнял комнату официальностью? Но ему, пауку, рассматривавшему шляпку гвоздя *a priori* его функциональному назначению, все равно: кто и за что висел. Он же закрепил на шляпке исходную нить-основу. А затем, беспрерывно суча лапками, начал выделять клейкую слюну и, вытягивая нить из себя, медленно пополз вниз, вися в воздухе на чудесной, крепкой нити. Через какое-то время сработал абсолютно автономный инстинкт, и он понял, что ниже опускаться нельзя; нить достигла той длины, предел которой мог еще выдерживать его вес. А потому раскачался, уцепился за стенку и закрепил нить за выступ потрескавшейся

штукатурки.

Еще сложнее и труднее плести от середины нити-основы боковые лучи. Здесь приходится и сучить нить, и цепляться бог знает за что, отходить вбок, все вбок и вбок, одновременно же вниз; вбок — вниз, вбок — вверх, вбок — влево, вбок — вправо...

Но опять же эта сложность и трудность, как конкретные понятия, знакомы в труде только высшим животным организмам. Паук же не способен это осознавать. И только ощущение близкого голода заставляло выполнять эту нудную, тысячи раз повторяющуюся работу. Да и орден за геройский труд, как ударницам-ткачихам сестрам Виноградовым, не дадут...

* * *

Однако же по прошествии времени все лучи сплетены. Теперь проще; переходя с луча на соседний луч, он в какой-то час оплел их, двигаясь по все увеличивающемуся радиусу. А затем и пошабашил, протянув из центра в угол-схрон сигнальную нить. Затаился. Потянулись долгие, голодные часы ожидания.

Эта вторая — после плетения паутины, опоэтизированная досужими людьми сторона деятельности пауков: сидеть в засаде, злобно всматриваясь в свои рукотворные тенета, держать в лапках сигнальную нить, вожделея о скорой и — обязательно у поэтов — невинной жертве. Как будто для жертвы спокойнее, если она невинна...

И сколько завышено людское мнение об уме плетущего сети паука, столь же неправдивы слова о довольстве, злорадстве и мании всевластия в часы ожидания жертвы. Лишь голод, да и тот — не человеческий, побуждающий, но примитивно-животный, бессознательный в серости и тоске непонимания его причины!

Влетела в разбитое окно такая же глупая, не осознающая своих действий, как и он паук, муха и с малодовольным жужжанием запуталась в сетях его клейкой слюны. Дернулась сигнальная нить, и он, вырожденный ужас и мерзость животного мира, побежал к ней. Никакого ощущения радости, злобной ли удовлетворенности — нет их! Даже ни проблеска ощущений, когда, впившись в

несчастную хлопотунью навозных куч, высосал ее содержимое и, оставив мушиную шелуху пылиться в сети, уполз в свой угол-схрон ждать следующую жертву.

Был голод — нет голода, но впереди снова маячит его приход. Был труд, передышка в труде — и снова работа, вечная работа из поколения в поколение много сотен миллионов, скорее — миллиард лет.

Скорбь и ничтожество этого сна объяснимо. Ибо Геннадий часто наблюдал людей с такой паучьей жизнью. Хотя в свои двадцать шесть лет он еще мало прожил для аргументированных выводов, но столь часты в жизни такие судьбы, что не требуется вовсе особой наблюдательности для их анализа.

Живет себе такой человек и поживает, и всю жизнь работает-вкалывает. Когда-то и что-то он выделял как объект своей привязанности, увлечения, любви, наконец. Но скудный ум, серое окружение, бездуховность, отсутствие интеллектуального вспоможения — извлекли из души его добрые зачатки. Остались лишь глухие, безусловные инстинкты животной жизни. Серый, однообразный, никого в мире не восторгающий труд, дающий ему пропитание телесное...

Труд этот мелок, незначителен. И результат приносит мушиный, достаточный лишь для поддержания жизни и удовлетворения примитивнейших потребностей, для приобретения простейших радостей, без которых и эта серая жизнь бы захирела, зачахла.

Инстинкт, один инстинкт содержит его в миру. Он духовно убог и в человеческом окружении сугубо одинок. Угол жизни — его место не по желанию, не по склонности, но потому, что большего ему и не дадут, да и это большее ему вовсе не нужно. Он просто и не знает, что делать с бóльшим и как с ним совладать.

Относительность такой личности в миру людей; кому-то он представляется по-паучьи отвратительным своим видом, образом жизни, ничтожеством. А кому-то он жалок: пресмыкающееся куска ради... Третьим он страшен своей неукротимо-однообразной жизненностью и упорным трудом ради сохранения и тиражирования самого себя, страшен именно этой необъяснимой, протяженной

энергичностью, вялой могучестью этой энергии. И страшно, что она может быть направлена на что угодно ради куска хлеба и своей мелкой несокрушимостью и терпением, что и бетонную стену пробуравит.

В нашем мире это стереотип человека по преимуществу. Он лучше выживает, отдавшись только течению волн и положившийся исключительно на унаследованные инстинкты приспособления и терпеливости. Словом, *без руля и без ветрил*.

Куда ни посмотри — всюду взор обнаружит такого индивида. Зайди в любую контору, и каждый второй из тех, что потише, и есть человек-паук, а вторая половина, которые энергичные — суть деловые сороки, которые и пошумят, и украдут, что блестит, а где надо, так и схитрят, и совьют гнездо потеплее.

* * *

После уроков Геннадий опять зашел в библиотеку к Свете и между делом захватил с собою почитать одну из книжек, благо очкастый просил сегодня отправить ее назад в книгохранилище. «Благо есть чем вечер занять»,— думал Геннадий, возвращаясь сам-один домой, ибо этим вечером дома у Светы ожидались ответные гости-родственники во главе с ее крестным отцом. Света, извиняясь, сказала, что все это скучно, но в общем-то необходимо поддерживать родственные отношения. «Чтобы и родители иногда к ним ходили»,— шепнула ему на ухо, совсем уж расшалившись.

Вызвали философствующего по долгу службы профессора Платона Сократовича Терпсихорова (в третьем поколении философствует, отсюда и погоняла такие...) к ректору. А там же и проректора по науке и учебной работе. Насторожился Терпсихоров.

— Уважаемый Платон Сократович! Конечно, вы ученый аж в Москве известный и педагог, что называется, от бога. Но... тут вот дельце щепетильное. Словом, есть жалобы на вас от родителей студентов, причем людей очень солидных: директор банка, председатель комитета из облдумы, полковник милиции, владелец сети супермаркетов «Ашехан» и кое-кто помельче.

— В чем суть претензий, Вадим Трофимович?

— Как бы это сказать поконкретнее... Словом, будто вы свои лекции основываете на устаревшей доктрине марксизма и даже Иосифа Виссарионовича цитируете. Как-то это не гармонирует с современными, прогрессивными веяниями.

— Понятно. Жалобщиков этих хорошо знаю. Все у нас когда-то учились, в те еще времена. Все у меня получали неуды за тупость и лень. Вот и мстят.

— Да-а, дорогой Платон Сократович. Какой-то вы нонконформист. В советское время позволяли себе намеки на догматизм самого передового учения; помните, как я, тогда парторг института, ставил вам на вид? А сейчас хвалите это самое, бывшее передовое...

— В точку попали, Вадим Трофимович! Это и есть действие закона отрицания отрицания, что и доказывает абсолютную истинность философии диалектического материализма.

Махнул ректор рукой безнадежно и отпустил с миром.

Народ все госдуму ругает (ибо другие власти ругать уже запрещено, чай не 90-е годы на дворе). Особенно поминают оппозиционные фракции: КПРФ, ЛДПР и еще какие-то партии-односезонки, названия которых в памяти не закрепляются. А зря ругают не подумавши, не разобравшись. Действительно, при нынешнем укреплении вертикали власти надежд у них на реальную законодательную власть ровным счетом никаких. Класс-гегемон победил окончательно, быть может, и навсегда. Постепенно широкие народные массы начинают даже как-то забывать об их существовании: на телеэкран уже не пускают, количество выборов, где можно о себе напомнить, резко сократилось. Даже правительство их пожалело и назначило официальное денежное содержание. Оклад жалования, так сказать. И опять же партиям этим мелкопоместным конституционно оставлены легальные методы борьбы за свое влияние. А как прикажете влиять? Супротив партии власти выступать нельзя, а то совсем неприлично будет: ведь власть-то и дает деньги на поддержание реноме! И вот от скуки думских заседаний, где их малочисленные голоса ничего не решают, начинают они вполне легально брыкать друг друга — это как в телепередаче «К барьеру». Порой настолько увлекаются, что начинают путать слово л е г а л ь н ы й с л я г а л ь н ы м.

Глава седьмая.
ДИОНИС И АПОЛЛОН БЬЮТСЯ ЗА ДУШУ ГЕННАДИЯ В КОСМОСЕ

Я пробудился и долго умом колебался,
не зная,
Что мне избрать, самого ли себя уничтожить,
в пучину
Бросясь, или, молча судьбе покорясь,
меж живыми остаться.
Я покорился судьбе...

«Одиссея», песнь X, ст. 50—53

Как снег на голову, внезапно, как ураганная шизофрения у доселе тихого сумасшедшего, навалилась горбачевщина, явление которой ознаменовалось в чисто русском стиле исторического параноидализма очередным «сухим законом». Мытарства с отсутствием в вольной продаже ханки Геннадий испытал на своей шкуре, ибо пришлось срочно жениться на Свете. Как имеющий — после прошлогодних курсов в областном институте повышения квалификации педработников — «корочки» учителя-методиста, он столь же методично, как три пальца об асфальт, мог сам себе — честно, и всем друзьям-приятелям и родителям (к вящей радости матери) объяснил три основных довода в пользу скорого бракосочетания: во-первых, Света ему всегда ровно нравилась, а в последнее время ее легкая фригидность улетучилась, и разбуженное для любви тело стало достойно новомодных шоу-королев; во-вторых, вовсе не надо дожидаться ее вот-вот грядущего двадцатисемилетия; в-третьих и основных — ранее, почти два года любовной жизни не «залетавшая», по всей видимости из-за остатков все той же затянувшейся подростковой фригидности-инфантильности, да еще усугубленной душевной стерильностью библиотечной работы, Света в ночь на пятницу тринадцатого числа (ее родители пребывали в каком-то партийном пансионате в Подмосковье), слегка смущаясь, но в то

же время уже и по-женски безапелляционно сообщила о беременности. Сообщила, инстинктивно умело подгадав момент: у распаленного двукратным соитием и жаждущим третьего Геннадия закончились презервативы:

— Милый, нам они больше не нужны.

...Кстати, несколько позже он высказал свои претензии Женьке, который, как истинный друг, за месяц до той памятной ночи под пятницу тринадцатого числа вернулся из коммерческо-туристической поездки по линии облоно из Польши и презентовал слегка младшему, потому и опекаемому товарищу пару дюжин сомнительного производства резиново-санитарных изделий:

— Я и сам ими пользовался с Зинкой, Катькой, твоей бывшей, извини, Натальей... — перечислял до глубины души обиженный Женька,— вот так оно и получается: не хочешь нажить врага, так не делай добро!

После третьей «раиски»*, с боем взятой в обход гигантской очереди в шестьдесят седьмом специализированном вино-водочном, друзья помирились, вспомнив, что гуляют они сам-двое на мальчишнике по поводу послезавтрашней женитьбы Геннадия. Правда, допивая на брудершафт третью и последнюю «раиску», купленную на месячный талон Женьки, Геннадий нет-нет, да и возвращался к злосчастным польским презикам:

— ...Всей Европе известно: посполитые всегда готовы халтуру подсунуть; все эти их кооперативы-мануфактуры от частнособственнического мышления юзефов. Недаром у них, вроде как единственных в СЭВ, сельское хозяйство сугубо частное. А частник, то есть микрокапиталист, как старина Маркс говорил в «Капитале», за сколько-то процентов прибыли и мать родную продаст.

— Так, Ген, и у нас сейчас кооперативы в обиход входят? Тоже страну мурой завалят, а! Хорошо, если только резинками не-

* Память людская, что вода текущая... Уже и не столь давние ветераны битв в водочных очередях второй половины 80-х гг. подзабыли тару «раиска» (тем более, что в СМИ ее лицемерно именуют «чебурашкой»); это бутылка 0,33 л, в которую тогда разливали фанту и пепси-колу. А почему «раиской» нарекли? — Этого забыть нельзя (Авт.).

качественными, нам ведь надо рождаемость поднимать, ха-ха-ха! Не обижайся, друг, может все оно — я твои со Светкой дела имею в виду — и к лучшему: раньше родишь, быстрее в школу пойдешь!

— Так-то оно так, друг Евгений, с детьми может в стране что и получится, но вот даже кооперативной дрянью мы СССР не завалим. Менталитет, как Горбач хоркает по-ставропольски, не тот. Все воровством закончится и продажей страны оптом и в розницу. Помяни мои слова.

* * *

Сны всегда были друзьями Геннадия, истинными друзьями: правдивыми, ободряющими, но не льстивыми. В ту ночь после мальчишника с Женькой и выпитым на двоих литром водки Геннадий заявился домой не заполночь, но в детское время: из включенного телевизора еще звучали финальные аккорды «Спокойной ночи, малыши». Был он на этот вечер официально отпущен Светой, самой устроившей девичник, и три «раиски» на двоих опять же клонили в глубокий и многозначительный сон. В кои-то века и мать не то что претензий не высказала, но все пыталась накормить сынка настоящими домашними пельменями: говядина, свинина и баранина в пропорции *33,3:33,3:33,3* %. Он вроде почти согласился на ужин, но когда счастливая скорой женитьбой сына мать, оттого и крайне словоохотливая, как настоящая инженерша-проектировщица с четвертьстолетним стажем назвала для убедительности эту пропорцию, Геннадий мигом вспомнил такую же пропорцию для трех «раисок», только не в процентах. Но в десятых-сотых литра, организм его не выдержал, и жених с невнятным мычанием устремился в санузел.

— Не заматерел еще мужик,— тоже почти одобрительно заметил отец, листавший перед включенным телевизором «Известия»,— литровку на двоих еще не может осилить.

— Ну-у, это дело наживное,— заметила мать,— лучше и не матереть для такого дела. Иди, доешь пельмени, пока не остыли.

А сама пошла на кухню, налила литровую жестяную кружку

холодного компота и отнесла в комнату сына, все сожалея, что тот так и не попробовал ее пельменей.

Сон же Геннадию в ту ночь приснился явно под впечатлением только что прочитанной, взятой из запасников облбиблиотеки, редкостной книжки Вивекананды по його-ведической философии и с учетом того момента, что три дня назад, досадуя поначалу трате времени, побывал по облоновской разнарядке на очередной лекции общества «Знание»

— Кому, как не тебе, молодому, подающему большие надежды педагогу общественных наук, сходить на интересную лекцию? — убеждала его директриса,— не Нину же Васильевну с ее домашними заботами посылать? А от друга твоего Евгения со вчерашнего вечера, или ночи, не знаю уж как там у него с внешкольным расписанием, сильновато попахивает... Вот предписание из района получили о создании школьного отделения общества трезвости, так...

— Что, Женьку председателем назначить?

— Ну-ну, остряк ты наш,— нахмурилась директриса,— иди на лекцию, пожалуйста.

Получилось так, что Геннадий вовсе не пожалел о потраченном времени. Лектор оказался молодым московским профессором, только что прошедшим трехмесячную стажировку в солидном американском университете, чуть ли не в Гарварде. Человек новой формации, истовый демократ. Даже заявил с легкой иронией, что только наличие у него *пока* партбилета заставило приехать хотя и в ближнюю, но все же периферию. «И это, товарищи, в то время, когда в столице такие дела намечаются! Бурлит демократическая общественность, люди все такие интересные приезжают, о планах грандиозных реформ та-а-кие вещи говорят!? — Дух захватывает. Геннадий Бурбулис из Свердловска, признанный глава тамошней школы социальной философии; Толик Чубайс из Ленинграда, наш, московский Гаврила Попов, Собчак, недавно из Узбекистана переехавший в северную столицу — все выдающиеся молодые экономисты. Да с ними СССР за два-три года перестройки станет самой демократической, самой процветающей страной в мире!»

Народ в зале настороженно помалкивал, дожидался, пока профессор перейдет к лекции на объявленную тему: «*Перспективы*

информационного общества в век научно-технической революции».

...Не знал Геннадий, что еще умеет — и умеет ли? — делать моложавый процессор в жизни, но вот говорить, завораживать даже сухую педагогическую аудиторию, умел блестяще. Геннадий сам имел хорошо подвешенный язык, да и знал кое-что, особенно получив благодаря Свете полный доступ к спецхранилищу облбиблиотеки, но... куда ему до лощеного москвича, да еще с гарвардской стажировкой...

А главное — как все подавал? Даже матерые женщины-учительницы, в мыслях которых вертелись только внуки и уже заработанная пенсия, на эти полтора часа перенеслись в иной мир — мир современного естествознания, глобальных выборов человечества конца века и тысячелетия. Особенно слушателей привело в восторг впервые услышанное ими слово «миллениум» — надвигающийся переход в XXI век.

Большинство присутствовавших, в основном по разнарядке, ожидало услышать нечто давно навязшее в ушах про научно-технический прогресс в СССР и роль в его беспрестанном развитии «нашей славной, ленинской КПСС, ее мудрого политбюро и лично...». Но опытный лектор с первых фраз завлек весь зал в иной, глобальный мир вселенского царства информации, ее главенствующей роли в создании единого сообщества людей Земли, где не будет государственных конфликтов, классовых и национальных антагонизмов, не будет почвы для шовинизма, фашизма, расовой нетерпимости (о существовании в том светлом мире сионизма лектор умолчал), но воссияют человеческая всеобщность, толерантность, гендерная и иная гармония... «и господство доллара и американского империализма»,— в тон перечислению, но тихо, для соседей, продолжил Николай Игнатович, известный во всем городе, старейший и заслуженный учитель из восемнадцатой школы, сидевший рядом с Геннадием.

...И все эти блага — по убедительным словам лектора — будут возможны только при качественном развитии информационного общества и всепланетной телекоммуникационной системы.

По всей видимости, лектор, имевший докторскую степень по

философии и кандидатскую по физико-математическим наукам, как это значилось в программе месячного расписания занятий общества «Знание» и о чем напомнил сам профессор, уточнив, что он не просто философ, но специалист по комплексным проблемам естествознания... так вот, энергичнейший Арсений Клавдиевич много нахватался в Гарварде, потому и с первых минут своего экспрессивного доклада прямо-таки ошарашил робких провинциалов-догматиков от педагогической работы.

* * *

— Во-первых строках, уважаемые товарищи, я обрисую вам общую постановку в теме нашей лекции,— с легким юмором последней страницы «Литературной газеты» начал он свое выступление.— Ни для кого сейчас уже не новость компьютер, управляющий заводом, научным экспериментом и так далее. На успешно загнивающем, так сказать, Западе уже не в диковинку и персональный, настольный компьютер. И наша промышленность их уже серийно выпускает. Да кое-кто из вас, товарищи, уже и работает на них: чертит чертежи, подбивает баланс предприятия и так далее. И в учебном процессе их используют. Так что здесь я вам Америки не открою, хотя только что оттуда приехал...

А в ведущих центрах мира, в том числе и у нас в Зеленограде, Минске, в Тбилиси — это школа академика Прангишвили, уже разрабатывают принципиально новое поколение ЭВМ, так называемых нейрокомпьютеров, то есть устройств, работающих по аналогии с головным мозгом человека. Находящиеся в зале слушатели с биологическим образованием, или медицинским, хорошо это себе представляют. Для остальных поясню, что называется на пальцах; не буду затуманивать ваши головы специальными терминами: аксоны, синапсы, дендрит и так далее. Главное здесь — что от каждой мозговой клетки отходят, беспрестанно разветвляясь, как дерево от корня до последнего листочка, особые нервные волокна, которые и связывают между собой все клетки мозга и подчиненные им информационно все органы и системы — до клеточного уровня — человеческого организма. Все это в совокупно-

сти называется нейронной системой. Также организована и структура нейронной ЭВМ, или, как мы уже привыкаем называть по-цивилизованному,— нейрокомпьютера.

Именно вычислительная структура нейрокомпьютера позволяет зримо описать вселенский, космический процесс информационной доминантности. В глобальной нейронной картине мира нашу Вселенную можно ассоциировать с гигантским, распределенным нейрокомпьютером, в структуре которого возникают и развиваются виртуальные, то есть условные, существа. Но эти условные существа воспринимают всю приходящую к ним информацию подобно реальным биологическим особям, то есть подобно нам в наших мыслительных действиях. Здесь, однако, важно отметить: это вселенское восприятие информации, как, впрочем, и все в мироздании, выполняется по законам квантовой механики, но только в рамках необъятного, космического пространства — времени.

При этом каждое, отдельно взятое необратимое событие интерпретируется как свободный акт выбора решения, принимаемого нашей гипотетической виртуальной личностью, спектр ассоциативной памяти которой в элементарном случае соответствует волновой функции физического объекта...

Извините, товарищи, я, может, слишком смело ввожу такие глобальные аналогии, сыплю на ваши головы достаточно сложными понятиями современной науки, но... надо, надо и нам уже в полете своей мысли отходить от учебников Краевича и Перышкина*, приобщаться к новейшим достижениям мировой науки. Должен также заметить, что я взял на себя смелость изложить вам свою авторскую концепцию; не буду скромничать: она была положительно воспринята научной общественностью после моего доклада в октябре прошлого года на международном симпозиуме по квантовой теории информации в Амстердаме.

...Итак, операторы, то есть «руководящие» описанием процессов уравнения, преобразования состояния объектов во времени также имеют простейшие личностные свойства, так сказать, подобие

---

* Краевич — автор учебника физики для гимназий и реальных училищ, почти сорок лет в конце XIX — начале XX вв. являвшегося базовым; Перышкин — автор аналогичного учебника для советских школ в 50-80-е гг. (Авт.).

наших черт характера. Развитие же их суть обозначение некоторых высших, космических существ. Взаимодействие же нескольких субъектов приводит — по квантовым законам — к возникновению новой, обобщающей личности.

Именно в сказанном выше смысле все племена, нации, силы природы и даже вся Вселенная в целом имеют некоторые личностные свойства, отраженные, например, в различных, сохранившихся до нас преданиях, канонических религиозных сводах типа Ветхого Завета и так далее.

Что касается физики таких процессов, то в такой глобальной нейронной структуре первостепенна роль электромагнитного поля, как пронизывающего всю Вселенную — от атомов до галактик. И мы, живые люди, помещены в силовые, информационные линии и пучки такого поля...

Явно красуясь в своем элегантном, кремового оттенка костюме, явно европейского покроя, профессор повернулся к демонстрационной учебной доске, взял в руки мелок и красивым, профессиональным почерком написал пару формул, как он снисходительно пояснил: «Это, товарищи, не пугайтесь, математическое выражение для нейронной интерпретации квантовой механики, основанной на сходстве выражений для смены состояний квантового объекта и нейронной сети».

Геннадий, как истинный гуманитарий, ни черта не понял, даже и не старался понять с давно забытым школьным объемом математических познаний, но боковым зрением отметил: сидевшие справа от него и двумя рядами позади доценты из местного политеха (в областном городе все друг друга шапочно знают) одобрительно переглянулись, а один даже достал из портфеля блокнот и переписал с доски.

Соскучившись, как то с ним часто бывало при чтении научных и наукообразных книг, если внезапно встречалась лихая формула, при виде написанного на школьной доске, Геннадий мигом упустил доселе внимательно отслеживаемую линию рассуждений лектора, а поэтому дальше слушал вполуха, все более размышляя о предстоящих свадебных хлопотах.

Но похоже и лощеный профессор понял, что переборщил с

формулами и терминологией из Гарварда, не учел явно сниженный, нестоличный менталитет периферийной аудитории. А скорее всего его сбила с толку, переключив высокую научную мысль на явно чувственное, известная в городе красотка, инструкторша Пролетарского райкома партии Татьяна Серегина, во всем своем сексуальном великолепии холеной двадцативосьмилетней натуральной блондинки сидевшая в первом ряду, положив ногу за ногу в импортных ажурных колготках, с открытыми коротенькой юбочкой бедрами изумительной овальной формы. Также весь город знал, что Татьяна — штатная утеха жизни второго секретаря обкома Харламова, тоже красавцá, матерого, моложавого и любвеобильного, мастера спорта по самбо, делающего стремительную карьеру по протекции московского тестя-замминистра.

Увы, профессор этого не знал и уже обдумывал ходы: как познакомиться с роскошной блондинкой и задержаться в городе еще на пару-тройку дней. Но, как бы там ни было, лекцию он скомкал, аудиторию потерял. Даже доценты, раскрывшие было свои блокноты, вновь их захлопнули, положили в портфели и начали между собой тихий разговор о последних веяниях в реформе высшей школы, то есть об увеличении должностных окладов.

Арсений же Клавдиевич, уже в упор пялясь на ажурные бедра инструкторши, еще с полчаса без интереса и внутреннего импульса мямлил о векторах состояния волновой функции, структуре информационных сигналов в глобальном нейрокомпьютере, нейронной интерпретации квантовой механики.

Под конец лекции в зале дома политпросвещения уже вполголоса велись женские и мужские разговоры. Концовка и вовсе оказалась смятой: сексуальная инструкторша от КПСС взглянула на свои золотые часики, поднялась с кресла во всем великолепии идеального для фотомодели сочетания роста и вайтлса и скоро вышла в боковую дверь. Сидевший же у окна Геннадий, помимо воли сравнивавший формы блондинки и Светы, также боковым зрением заметил на улице: к входу подкатил черный «членовоз» второго секретаря обкома.

...Расписываясь в ведомости на оплату и заверяя путевку-командировку в служебной комнате, профессор, на лице которого

заиграли злые малиновые пятна, не преминул заметить даме-патронессе областного «Знания», что на будущее надо тщательнее относиться к подбору слушателей, приглашая специалистов высокого класса.

— Аудиторию нужно готовить,— поморщился Арсений Клавдиевич, увидев в ведомости сумму оплаты,— слушатели ведь те же кадры, а их всегда надо подбирать!

— Да-да, Арсений Клавдиевич,— сдерживая улыбку на полном почтительной серьезности лице, согласилась руководительница областного «Знания», много в жизни повидавшая, прошедшая за сорок лет работы партийные, профсоюзные и иные огни, воды и медные трубы Лилия Георгиевна. Во время лекции она сидела в крохотной боковой ложе зала и зорко отметила интерес московского профессора к лярве Таньке Серегиной:

— Конечно, вы правы, Арсений Клавдиевич, но ведь порой и *кадров на всех не хватает*!

Профессор, пораженный не принятой ранее провинциальной наглостью, скомкано схватил со стола бумаги, не прощаясь, вышел. «Ишь чего захотел, постреленок столичный,— уже явно усмехнувшись, подумала Лилия Георгиевна,— поезжай домой к своим москвичкам подержанным,— а на наших-то б... и своих кобелей найдется».

* * *

Ассоциативная память — основное свойство человеческой личности, организованной по нейросетевой схеме, да еще и перемеженная идеями индуса Вивекананды, мудреной лекцией московского профессора, а более всего выпитыми на двоих тремя «раисками» — преподнесла Геннадию чудной сон. Ощущал он себя целой, все расширяющейся Вселенной, причем само это расширение — и по сей день со времен Пуанкаре, Гильберта, Фридмана и Эйнштейна камень преткновения для астрофизиков — он вполне естественно воспринимал как простое добавление к своему телу — космосу нейронов и связей между ними, причем в совокупности эти невещественные нейроны и связи создавали вполне реальные локализованные объекты его тела, которые беспрерывно развивали его личностные качества.

В то же время Геннадий ощущал себя и виртуальной личностью, которая помимо его желания и воли принимала за него все решения: сколько «раисок» выпить с Женькой, сколько раз за ночь доставить удовольствие себе и Светику, сколько... Нет-нет, первое надо исключить: здесь свободы выбора не было; сколько дадут в этот месяц на талон, столько и будет выпито. Здесь недурственная память Геннадия прямо выдала из подсознания цитату Арсения Клавдиевича: «*Степень развития подобной личности определяется размерами фрагмента нейросети — количеством нейронов и связей между ними, а также его обособленностью от остальной Вселенной*».

А дальше сон потек уже без зримого или угадываемого по цитатам участия щеголеватого профессора, вкусившего от гарвардского пирога импортного знания.

...Уже намного позже, проживая в другой стране, но в том же городе, Геннадий в беседе с действительно умным человеком вспомнил и рассказал о давнем странном сне. Собеседник, чуть подумав, растолковал. Все дело в том, что в душе, то есть в уме человека соседствуют две личности: статическая и динамическая, причем по мере умственного взросления первая из них постепенно теряет непосредственную связь с внешним миром, а на некоторой стадии эта личность достигает уровня, при котором уже осознает свою сугубую индивидуальность, но еще не обособится, лишь отделяется зыбкой гранью от неодушевленной и вообще неживой природы. Вот эта слабеющая, но еще вполне ощутимая связь с общей памятью нейронной Вселенной непременно должна проявиться в мифах и легендах, потрясающих воображение потомков, которые в процессе цивилизации, с развитием абстрактного, логического мышления, увы, утрачивают дар естественной интуиции.

Но в то же время традиционная, реальная физическая картина мира предполагает постепенное, монотонное развитие познания, при котором более просвещенные потомки снисходительно объясняют свойственное предкам олицетворение природы страхом, дескать, первобытных дикарей перед неведомой их зачаточному знанию стихией окружающего мира.

Расспросив же Геннадия о конкретике давнего сна, умный собеседник и вовсе разъяснил все неясности.

В наблюдаемом нами сейчас варианте развития Вселенной существует достаточное число преданий древности, происхождение которых необъяснимо в рамках нашего знания. Общепризнанно, что наиболее характерным и ярким из них является древнеарийский кодекс религиозных гимнов «*Ригведа*». Совершенно различные толкователи этого памятника древней мысли, в том числе и упомянутый Вивекананда,— все сходятся в признании невероятно глубокой интуиции древнеиндийских мудрецов, открывших путь высвобождения спрессованного в подсознании времени, что и позволило им переживать воспоминания о формировании жизни на Земле и даже о становлении Вселенной.

Так вот, в свете нейронной интерпретации — тут несколько прав и упомянутый же Арсений Клавдиевич... кстати, он сейчас председатель совета директоров солидного «Бета-банка». Так вот, естественно предположить, что эти воспоминания — следствие ослабленных нейронных связей статической личности с космической памятью, остатки ее былого единства с мирозданием, в целом, и с высшими существами, в частности. Например, наличие во Вселенной в целом личностных свойств могло проявиться в мифах о Пуруше — праличности, космическом гиганте, из тела которого и создается мироздание.

«Все остальное, Геннадий Борисович, вам ваш же сон и рассказал,— закончил умный собеседник,— а проще говоря, в вашей тогда еще молодой душе боролись два демона, что в более близкой нам, нежели древнеиндийская, античной традиции можно ассоциировать с извечным противостоянием Диониса и Аполлона».

* * *

Великолепная по мощи и безбрежности пространства тела-космоса Геннадия картина разворачивалась во сне: космогоническое жертвоприношение изображалось в нем как протянувшийся через все небо процесс тканья, в котором приняли участие все боги «Ригведы» (а от лукавых слов давешнего лектора все же прорва-

лось в сонное сознание: это и есть алгоритм развертывания комплексной нейросети с трехмерным адресом нейронов, вложенные циклы которого суть аналогия с движением челнока по гигантской двухмерной ткани-покрывалу...). Время же этого вселенского спектакля сменялось от цикла к циклу. И только во сне человек современный может осознать ту простую для мудрецов древности истину, что объединение группы субъектов создает качественно новую личность; так и все атомы космоса-тела Геннадия, объединившись, создают новую вселенскую личность, имя которой — Пуруша древнеиндийских мудрецов.

Но сам Пуруша многолик, личность его постоянно перевоплощается, персонифицируясь то в одном, то в другом боге или герое арийских эпосов. Видимо, Геннадий повернулся на другой бок, ибо мысленно перевоплотился в образ Варуны — носителя и защитника риты, олицетворяющей всю силу управления миром, божественный инструмент воплощения воли риты. Если Пуруша суть обобщение всех возможных состояний Вселенной, то Варуна есть его частное проявление.

Осознав себя и Пурушей, и Варуной, Геннадий-вселенная как бы распался на противоборствующие воплощения верховного бога. Здесь прямо-таки сцепились два главных бога-антагониста: Вала и Вритра. Они суть раздвоенная, некогда единая личность, а теперь — враги-двойники, внешне похожие как однояйцевые близнецы человеческих существ. Если Вала постоянно создает условия, при которых Вселенная, то есть распределенное тело и разум Геннадия, пригодна для развития разумных существ — а это очень даже узкая область маловероятной флуктуации фундаментальных мировых констант, то его двойник-антипод Вритра также постоянно противодействует Вале, стремясь вывести Вселенную в неразумное состояние, то есть свернуть все ее пространство в косную струну, лишенную разума и души, то есть в ничто.

Геннадий четко понимал: Вритра стремится в вечной битве с Валой вернуть Вселенную в ее исходное, зародышевое состояние. Это и есть струна или спираль, из которой когда-то в результате Большого взрыва и образовалась наша нынешняя Вселенная. Свернутое же состояние соответствует нейрокомпьютеру, который рабо-

тает вхолостую, без развития глобальной нейросети, без наращивания нейронов и их взаимосвязей.

Трудность подбора параметров, при которых нейросеть раскроется, развернется как безграничная Вселенная, выражает арийский же миф о долгом вынашивании Индры — олицетворения оператора-алгоритма перехода Вселенной в антропное, то есть разумное состояние.

...Наутро Геннадий более всего изумлялся: как он, истовый гуманитарий, понимал во сне физическую сущность борьбы Валы с Вритрой с переменным союзничеством богов Индры, Вишну и Варуны. Но ведь понимал! И даже по пробуждении не забыл суть этого понимания?

Так вот, Геннадию было совершенно ясно, что именно для вынашивания Индры, как несущего Вселенной антропного состояния, понадобилось ввести фактор случайности в схему смены состояний квантового нейрокомпьютера. И вот, наконец, ключевая комбинация найдена, и начинается процесс развертывания столь привычных современному человеку трех измерений пространства, отраженное в мифе о трех нарастающих шагах Вишну.

Сценарий схватки богов за душу Геннадия-вселенной материализовался в пространстве с развернутыми тремя измерениями; здесь одномерный по определению Вритра уже не может помешать Индре перевести Вселенную из состояния Вала в наблюдаемое нами состояние, которое в начальный момент имеет нулевую энтропию.

Впоследствии начинается рост энтропии и, следовательно, необратимый поток времени, ассоциируемый с потоком освобожденных от Вритры космических вод.

Человекоподобное, то есть антропное состояние неустойчивое, любой неудачный ход динамической личности в сверхнапряженной космической битве может привести к обратному свертыванию Вселенной в прежний вид Валы. Предчувствие катастрофы вызывает частые обращения риши к Индре, Вишну и Варуне с просьбами не ослаблять контроля над мирозданием в постоянной борьбе со змеевидными операторами, пытающимися вновь свернуть пространство космоса в невещественную спиральную струну.

И боги пока не подводят. На каждом такте алгоритма вселен-

ского нейрокомпьютера они перебирают все нейроны и удачно корректируют состояние квантовой нейросети, в соответствии со свойственной им целевой функцией, так что Вселенная на исходе такта сохраняет свойства привычного нам мира, обеспечивая победу над Вритрой и его сородичами, целевая функция которых, видимо, несколько другая.

В долгом и тягучем хмельном сне Геннадия шла нескончаемая битва за душу-вселенную учителя обществоведения, которое, кстати говоря, уже скоро отменят, как излишнюю роскошь в воспитании строителей новой России — уже без СССР... В этой битве посильную помощь богам-строителям могут оказывать только статические личности, но только если будут правильно активизировать доступные им нейроны и связи — прежде всего в своем внутреннем мире.

Уже просыпаясь в тягости похмельного синдрома, Геннадий тем не менее четко осознавал: положительный эффект достигается только при чистоте, соответствии нравственным нормам собственных поступков и помыслов, важнейшими из которых являются постоянные раздумья о возникновении и устройстве мироздания.

...Только залпом выпив стоявшую обок постели на журнальном столике поставленную матерью кружку холодного компота, Геннадий, ошарашенно помотав головой, вырвался их своих космических видений. «Вот так-то, Геннадий Борисович,— угрюмо подумал он, — пора бросать пить, скорее жениться, плодить детей, разумное, доброе и вечное. Да и книжки из спецхрана облбиблиотеки до добра не доведут».

В свадебных хлопотах постепенно утратилось тревожное обаяние странного космического сна, а дальше и вовсе веселая жизнь пошла. Только через несколько лет, когда всю страну обклеили своими прокламациями невесть откуда взявшееся на малочерноземных просторах племя кришнаитов, и на разбитых мостовых областных и даже районных городов и городишек зазвучали их бубны и хрипловатые напевы-заклинания «харе Кришну, харе Вишну...» — только тогда вспоминался ему давешний сон, но уже как-то отстраненно, словно не он сам олицетворял тогда Вселенную, за существование которой вели нескончаемую битву боги Древней Индии.

Купец Абдулов, владелец ресторации с номерами для отдыха «Светлый путь», зазвал на уикенд пожарного полковника Очумелова Мелентия Сидоровича. Тот с устатку — неделя выдалась сложная, двое подчиненных сразу на вымогательстве попались — скушал поросенка с кашей и хреном, пекинскую утку, порционную стерлядочку, шашлыки карский и нахичеванский, все это запил бутылкой армянского (0,7 литра) и полубутылкой «Финляндии» (1 литр). От номеров для отдыха отказался, ибо торопился к семье, воспитывать детушек. Понесли его к служебной машине половые Федот и Нигматулла. Абдулов же проследовал в свой кабинетик, раскрыл конторкорректную книгу своей двойной бухгалтерии и начал сводить дéбет с крéдитом: «Та-ак, расходы: жратва и пойло полкашу — из сэкономленного на лохах-посетителях; от девки отказался — тоже экономия. Итого: расход ноль рублей по официальной смете. По неофициальной: в карман мундира сунуто две тонны баксов. Сэкономлено по подписании полковником акта приемки якобы новой сигнализации за вычетом 2 000 USD 347 тысяч 528 рублей 00 копеек». Подумал педантичный купец и добавил к ним стоимость угощения и девки на ночь. «Экономика должна быть экономной»,— вполне справедливо подумал он.

Доцент философии Енукидзе не любил частной собственности. Чужой. Своей же не имел по причине низкой зарплаты и благодушной лени характера, хотя и был родом с предприимчивого Кавказа, точнее — Закавказья. Короче говоря, обрусел уже в третьем поколении, а истинный православный русский человек на эту самую собственность прибор положил... Нынешние идеологи объясняют такое странное свойство пресловутым, принудительным коллективизмом: замкнутые в глухих лесах роды племен вятичей и древлян, крестьянская община при крепостном праве и после него вплоть до Столыпиных реформ и революций; наконец, силой загнанные в колхозы-совхозы. Но зачем же сдвигать мотив на цель, как говорят философы, — ведь и в Европе была схожая история, но коллективизмом там не пахло и вовеки на запахнет. Все дело в православии, которое русские приняли, как дети, всей душой, а православное христианство напрочь отвергает частную собственность.

...Иногда снилось доценту Енукидзе, что он юн и с братишкой Гогой работают в сельской кузне: плавят, куют, вытачивают. Любо-дорого посмотреть на них со стороны! И самим весело, хотя и жара банная от горнового пламени, от раскаленного инструмента и остывающих поковок.

Проснется доцент, потянется в постели, заулыбается. И тут же заугрюмился: «Вот-вот, так эта зараза и затягивает. Хорошо детям играться в кузнецов. А подрастут, женятся, и бабы алчные стравят их с Гогой на почве дележа прибыли, топоры в руки возьмут. В итоге — один на вечный покой, другой — лес валить в Коми-республику...»

Глава восьмая.
АПОЛЛОН ТЕСНИТ ДИОНИСА, НАСЫЛАЯ НА МИР ПРЕДТЕЧУ ПАРАНОЙИ

Петь и безмерно смеяться и даже плясать
заставляет;
Часто внушает и слово такое, которое
лучше б
Было сберечь про себя. Но я начал, и
должен докончить.

«Одиссея», песнь XIV, ст. 465—467

С водкой дело решили; во-первых, ввели в обиход «талоны на ящик» — на свадьбы, похороны, юбилеи; во-вторых, Егор Трофимович, грядущий тесть Геннадия, работавший в облисполкоме, хотя и не переносил на дух мелкого блата, но для дочери поспособствовал. Сложнее оказалось с организацией самой процедуры торжества. Антиалкогольная паранойя горбачевщины уверенно набирала обороты. Директриса школы по долгу службы даже тоскливо предложила своему учителю обществоведения «сыграть первую в родном педколлективе комсомольскую свадьбу», естественно, с безалкогольным шампанским и лимонадом «колокольчик», но сама же и устыдилась своих слов. Была она бальзаковского возраста, не замужем при видной фигуре, на высокую должность попала совершенно случайно: прежнюю взяли на повышение в облоно, а две старые, матерые грымзы-престолонаследницы умудрились уравнять свои шансы и в группах поддержки в школе, и в гороно-районо. Устав от равнозначных письменных, устных и телефонных доносов грымз друг на друга, наробразовское начальство приняло соломоново решение и утвердило директоршей скандальной школы тридцатисемилетнюю Римму Васильевну, красивую и спокойную характером полутатарку, до того преподававшую математику в старших классах и вовсе не стремившуюся к школьно-местечковой власти.

Обозленные грымзы, конечно, сразу всем уши прожужжали: дескать, на Риммку-татарку имеет виды завгороно, известный бабник Пичугин из бывших обкомовских инструкторов, за пристрастие

к прекрасному полу и «армянскому» так и не преодолевший первой же партступеньки...

К Геннадию Римма относилась по-доброму, а говоря по должности явные глупости, отчего-то даже слегка смущалась. В такие моменты Геннадий вспоминал давешнюю пьяную похвальбу Женьки, что тот еще старшекурсником-практикантом после школьной восьмимартовской вечеринки зазвал математичку к себе в гости, а после первого своего учебного года в школе они «случайно» одновременно провели пару недель на приокской турбазе со статусом пансионата. «А почему бы и не верить Женьке? — размышлял Геннадий, обдумывая ответ директрисе в части комсомольской свадьбы,— во-первых, только один раз и в сильном подпитии сказал, что само по себе уже заставляет верить; во-вторых, Римму и сейчас хоть под венец, а лет пять-шесть назад и вовсе красавицей была, как это по-татарски... *алтын чач* — золотая коса. Наконец, это ее еле-еле угадываемое смущение при разговоре с ним тет-а-тет? Она ведь хорошо знает о его приятельских отношениях с Женькой, а женщины в силу подозрительности своего характера, черты патологической и всеобщей для их пола, всегда думают о мужиках хуже, нежели они есть на самом деле».

— Понимаете, Римма Васильевна, конечно, с комсомолом, как поется, не расстанусь никогда. И напиток «колокольчик» в жаркую погоду уважаю... но, понимаете, каюсь, но не поспеваю я в своем самосознании за стремительной динамикой и энергией перестроечного процесса. Увы, грешен.

— Ох, мне бы твой, замечательно подвешенный язык, Геннадий Борисович,— почти по-домашнему улыбнулась Римма,— как мне этого порой не хватает на всяких гороновских совещаниях и семинарах! Ну, да ладно, наше дело предложить, а...

— А наше — попросить вас, Римма Васильевна, оказать честь своим присутствием.

— Спасибо за приглашение, но, сам понимаешь, напряженность момента. Извини, но на последнем семинаре озвучивали разные разности по линии трезвости и свадеб-крестин; вон в Рязани и Челябинске два школьных директора уже расстались с партбилетами за участие в аналогичных мероприятиях. Так что — по-

здравляю тебя и Свету — привет ей от некогда ее «училки»; как говорится: мысленно с вами.

* * *

Геннадий Борисович Красилин, старший преподаватель кафедры истории КПСС политехнического института, дремал в утренней электричке, возвращаясь из столицы домой. Только что проехали Чехов, еще два с половиной часа пути. Хорошо что по раннему времени вагон почти пустой, не набитый под завязку «колбасниками» из родного города — они сейчас как раз навстречу едут, а после полудня, затарившись, усталые, но довольные, двинутся в обратный путь. Намял Геннадий бока, по три-четыре часа стоя в тамбуре или плотно набитом проходе, за последние полгода, едва не каждую неделю мотаясь в Москву по диссертационным делам. И погода за окном не хмурая, солнце распускает лучи щедро, но это мало радует: устал. Устал от позавчерашней защиты, устал от вчерашнего обильного возлияния с Женькой.

Как все поменялось за прошедшие три года? Правильно тесть приговаривает: темп жизни ускоряется в двух случаях — когда страна делает гигантский рывок вперед, либо же летит неоглядно в пропасть. Увы, соглашался с ним Геннадий, сейчас налицо исключительно второй вариант...

Конечно, за прошедшие небольшие, но все же годы в личной жизни, что-то и к лучшему изменилось. Сынишка совсем скоро — не далее как через полтора вузовских семестра разменяет четвертый годик от рождества своего. Сам он сразу после женитьбы — с доброго совета и помощи опытного в жизни, хотя и вовсе не безоглядного карьериста-деляги тестя Егора Трофимовича — вовремя ушел из школьного омута, немало огорчив добрую Римму Васильевну. Ох, Римма-Риммочка, как тебя не любить-уважать — первое все-таки, хотя и явно мезальянсно по возрасту, когда-то досталось Женьке, что он не далее как вчера серьезно подтвердил — при твоей расцветшей второй молодости и непонятном никому безмужестве?

— Впрочем, Геннадий, ты правильный шаг делаешь,— сказа-

ла она на прощанье доброе слово,— ведь школа сугубо бабье царство; здесь либо мужчина-педагог бабой станет по характеру, либо сопьется и... ну, сам понимаешь, но хода ему по карьерной лестнице никак не дадут. В добрый путь, Геннадий Борисович!

Так он и ушел из школы со смутным обаянием золотоволосой красавицы, все ждущей своего принца. Даже библиотечная душа Света, хорошо помнившая свою учительницу, понимала суть происходящего и как-то сказала Геннадию во время разговора, где мельком всплыла и Римма:

— Понимаешь, по всем ее статьям принца она достойна, но... как бы это сказать, даже красавице и умнице за него надо бороться, даже в космы кое-кому уметь вцепиться, а Римма слишком добрая, а добро в женщине гасит инстинкт охотника у мужчины...

— Так ты хочешь сказать, что Васильевна — добрая давалка, а хищники-мужики всякое доброе к ним отношение лишь только для утоления похоти используют и на этом крест ставят, да?

— Фи, зачем же так грубо-образно, Геночка. Начитался ты книг из спецхрана, того же Фрейда. Хотя... в общем-то правильно. Но только уж, будь добр, сам к ней не пробуй даже на вороных подъехать! Я, как ты убедился, по характеру не ревнивая, ибо себе цену знаю, но Римма слишком воспитана, чтобы вступать в интрижки с молодым мужем бывшей ученицы. Это не комильфо, а она по отцовской линии из столбовых дворян, даже ее родители — они и посейчас в Саратове живут — имели в молодые годы всякие неприятности. Это мне доподлинно известно; я ведь в школе у нее в любимчиках числилась.

Света вроде как шутливо, но серьезно глядя на него своими глубокими синими глазами, предостерегающе помахала перед его лицом пальчиком. Геннадий все свел к дежурной шутке, впрочем, не выдавая Римму с ее коротким романом с Женькой. Что-то не позволяло бросать тень на ее имя.

Света тоже знала, что говорила. Когда в самом конце первого учебного года в политехе попал он на недельный семинар для работников вузов и школ — что-то по части набившего оскомину идейно-патриотического воспитания — и встретил там улыбающуюся, невероятно расцветающую по каждой весне Римму Васи-

льевну, то словно током острого желания его пронзило. Чуть позже он сообразил: это злую шутку сыграла его чувственность, в последнее время до предела взвинченная «второй любовь» к Свете, которая после родов превратилась в роскошную женщину, страстную и любвеобильную — словно в этот естественный для женщины освежающий период природа компенсировала в ее теле некоторую задержавшуюся в ней инфантильность предмужних лет... Поэтому даже короткая разлука с ней теребила тело и требовала естественной разрядки.

Да и обстановка тому способствовала. Семинар проводили в *ОШК'е* — областной школе комсомольского актива, по соседству с санаторием на Оке. И, несмотря не антиалкогольный маразм, традиции лихих пьянок и простоты нравов на природе, на которых стряхивало с себя одурь и притворство комсомольское и нижнечинное партийное руководство города и области, здесь остались. Правда, о выпивке приходилось заботиться загодя и потреблять ее узкими коллективами, а не как ранее — в обеденном зале в первый же «вечер знакомства». Но это не меняло суть дела и также создавало атмосферу студенческой вольницы, всеобщего флирта и отстраненности от забот жизни и нелегких карьерных битв.

Геннадий с доцентом Григорьевым представлял партийную кафедру политехнического, а Римма — в составе директорского корпуса общеобразовательных школ, ПТУ и техникумов. Соответственно, и расселились в двух- и трехкомнатных номерах отдельного корпуса *ОШК'и*. Геннадий оказался в компании Григорьева и его друга из пединститута, такого же шестидесятилетнего доцента. Оба они вышли из заводских парткомов, то есть пили по-серьезному, много и внешне не пьянея. Геннадию же, в последнее время как-то отдалившемуся от зеленого змия, уже после первой, разгонной поллитровки на троих ударило в голову, а главное — пониже пояса.

После ужина по номерам здесь было принято завершать вечер в танцзале санатория, где Геннадий сразу же ангажировал на все танцы свою бывшую директрису. Та тоже была довольна, поскольку за ней поначалу пытался приударить какой-то техникумовский парторг. Был он на полголовы ниже Геннадия, потому скоро отстал.

...Да и сама Римма, по весеннему времени и тоже ужину с со-

седками по номеру сбросила с себя директорскую осмотрительность и самоконтроль и слегка подыгрывала партнеру по танцам. Геннадий ей всегда импонировал, порой она задумчиво смотрела ему вслед — после разговора — и про себя вздыхала: почему бы ей было не родиться на десяток лет позже?

И когда, возвращаясь в комсомольско-партийный монастырь, в тенистой боковой аллее парка, где можно прогуляться помимо толпы веселых и хмельных активистов, уже дошедших до откровенных анекдотов, Геннадий крепко прижал к себе ее — теплую, упругую, щекочущую лицо распушенными золотистыми волосами,— она поначалу не противилась, а ее губы податливо отвечали на страстные поцелуи. А потом он почувствовал ее внутренний смех, вскоре и тихий звук смеха, в котором сквозила доброта и даже какое-то сожаление. Геннадий даже застыл, все так же крепко прижимая к себе ее упругие, чуть острые груди.

— Нет, Геночка, не будем мы с тобой любовь с итальянского переводить, как в песенке поется. Не получится у нас и набоковская Лолита, так сказать, наоборот полами. Дело даже не в возрасте, а в тебе. Ты успокойся, потерпи несколько дней — и к Светику своему вернешься, будешь счастлив и с чистой мужской совестью. Хотя, Геночка, жаль!

Она крепко, с серьезной страстью поцеловала ошалевшего Геннадия, отстранилась, взяла под руку и повела к зданию школы.

* * *

С переменой работы и вовсе просто. Не зря все-таки тесть Егор Трофимович работал завотделом культуры и образования облисполкома: пара звонков к чиновным знакомым, соученикам по *ВПШ* (не московской — ленинградской с «гуманитарным» уклоном) — и дело сделано.

Более того, саму идею вовремя завязать со школой и избрать более престижный путь восходящего движения по жизни, как догадывался Геннадий, подсказал тот же тесть, но по-умному: через дочь. Да и Свете вовсе не пришлось уговаривать, ибо здесь доброе семя упало в добрую же землю.

Вообще говоря, узнав близко, насколько можно это сделать в супружестве, Свету, Геннадий крепко зауважал ее; все в ней, ранее глубоко спрятанное, как бы дремавшее до поры до времени, раскрылось уже в первый год совместной жизни в совершеннейшей гармонии: страстная любовница, нежная мать, заботливая жена, просто умная — не в житейском даже, но в обычном человеческом смысле — женщина. При этом не словоохотливая патологически, как большинство этой братии-сестрии, чистюля, не злопамятная, ревнивая в меру, главное — не склонная к обжорству и сопутствующей полноте сверх сексуальной меры.

Так что вполне допуская инициативу тестя, Геннадий полагал все же главным движителем своего жизнеустройства супругу. Многое за это говорило, но внутреннего противодействия вовсе не вызывало; действительно, так оно часто и бывает в нормальных, благополучных семьях. Даже приходила на первый взгляд и вовсе нелепая мысль о том, что именно Света подстроила ситуацию, использовав подвернувшегося очкастого завсегдатая читального зала, чтобы он заинтересовался умными, на многое открывающее глаза книгами из книгохранилища облбиблиотеки. Чем черт не шутит!

Но вот быстро написанная-наработанная, а позавчера успешно защищенная в Московском госпединституте диссертация кандидата философских наук — прямая заслуга Светы. Причем сделала она это чисто по-женски, но таким завуалированным путем, что когда до него это дошло, Геннадий, сам любитель тонких шахматных партий, пришел в неподдельный восторг.

Разумеется, он сам прекрасно понимал: если не иметь в виду остепенение, то и не стоило менять школу на институт. Но полагал, что с необходимой раскачкой и всем необходимым антуражем ему потребуется лет пять-шесть. Но Света безапелляционно срезала этот срок в два раза:

— Это очень долго, Геночка. Во-первых, через три-четыре года нам предстоит другим делом заниматься: заводить второго бэби. А во-вторых и в основных... сам понимаешь, какая погода на дворе стоит; сам нынешние госкампании типа борьбы с пьянством называешь предтечей паранойи. Поэтому, пока эта самая паранойя не взбудоражила, не взмутила весь уклад жизни, надо взять мак-

симум от прежней стабильности. Словом: два с половиной, максимум — три года тебе дается.

— А если не постараюсь, или просто не успею,— рассмеялся Геннадий,— ты что, в постельном удовольствии мне будешь отказывать или ограничивать?

— У женщины много возможностей как простимулировать, так и огорчить,— загадочно ответила Света,— для начала и тотчас я тебя простимулирую.

...Разговор этот велся в постели перед отходом ко сну.

А через пару дней Света принесла с работы несколько книг — по списку, в основном, изданий 10-х — начала 20-х годов, то есть еще не подпавших под знаменитые ограничительные списки комиссии Луначарского-Крупской. Света с Еленой Авдеевной занялись приготовлением ужина: дочь спешно проходила у матери, искусного кулинара от бога и воспитания, ликбез семейного хозяйствования. А Геннадий, как не менее классический муж, полуприлег на диван и начерно пролистывал принесенное: томик Андрея Белого издательства Сабашниковых, одного из последних частных в СССР, пара брошюр с работами Фрейда двадцать четвертого года издания, выпуск журнала «Клинический архив эвропатологии» свердловского психиатра и тоже одного из последних частных издателей. Но особенно заинтересовал его томик изящного формата, изданный эмигрантским русским издательством в Берлине. Фамилия автора ничего Геннадию не говорила, но книга содержала прелюбопытные воспоминания о встречах и беседах с известными писателями первой четверти XX века: Леонидом Андреевым, Максимом Горьким, Александром Куприным, Дмитрием Мережковским и другими.

Поначалу Геннадий, увидев только название книги, решил, что это сборник чисто литературных воспоминаний третьеразрядного, напрочь сейчас забытого писателя о своих известных современниках. Однако неведомый автор все свое, достаточно проницательное внимание сосредоточил на окололитературной жизни знаменитостей, впрочем, оставаясь достаточно объективным.

...Здесь его позвали к столу. И Егор Трофимович сегодня со службы пораньше пришел. Между делом Геннадий поинтересовал-

ся у жены относительно занимательной книги. А-а, да это очкастый просил сдать назад в книгохранилище. Видно, я по инерции — Людка сегодня что-то разболталась, отвлекла — вместе с *твоим* Фрейдом и положила в сумку. Что — чушью оказалось?

После ужина он уединился в боковой комнатке — «бабушкиной», как ее называли в доме, и продолжил увлекательное чтение о литературном закулисье между первой и последующими русскими революциями. Читать начал, как книжный аккуратист, с самого начала, с Алексея Максимовича, но, переворачивая очередную страницу, скользнул ногтем среднего пальца по верхнему торцу и что-то зацепил им. Заинтересовался и обнаружил заложенный где-то в середине томика аккуратно сложенный фантик от конфеты «Кара-Кум». Фантик был свежий, даже характерный для этих конфет чуть-чуть горьковато-мускусный запах различался. «Все-таки этот библиотечный очкарик педик, конфеты, как женщина, постоянно сосет,— усмехнулся незлобно Геннадий,— и что это его здесь заинтересовало? Ага, Куприн, конечно, бытописатель нравов публичных домов. «Яма», приказчики от Керешковского фигуры кадрили выплясывают...»

Однако заинтересовался и от несколько скучноватого в жизни основоположника соцреализма перескочил на автора «Поединка». А на заложенных в развороте страницах автор с юмором описывал, как супруга Александра Ивановича, человека по характеру часто впадающего в азиатскую лень, перемеживаемую застольями-загулами с друзьями-приятелями, стимулировала его творчество, на плоды которого, как ни крутись, но ей нужно было вести домашнее хозяйство.

Приходилось ей и запирать заленившегося супруга сам-один в его комнате, обещая выпустить и накормить по написании среднего размера рассказа не менее десяти страниц. Какого? — Это ей было как-то безразлично; газеты и журналы стояли в очереди к ее талантливому, но несколько беспутному супругу.

Как описывал автор воспоминаний — с чьих-то слов, а может и просто придумывая на ходу,— наиболее часто супруга использовала традиционный женский прием — еще со времен Евы-прародительницы и библейской Эсфири, используя тот момент, что Ку-

прин, при всей его беспутности, являлся однолюбом и весьма страстным обожателем своей красивой и приятной во всех отношениях супруги. Поэтому, когда в дом начинал частить рассыльный из редакции журнала или книжного издательства с записочками все же ускорить работу и сдать рукопись новой повести или рассказа в срок по договору, она прекращала оказывать ласки своему любвеобильному супругу — впредь до написания нового шедевра.

...И действительно, обладавший недурным литературным вкусом — это от бабушки-словесницы — Геннадий, ранее читая Куприна, непроизвольно отмечал: многие его вещи как бы в два приема написаны — начало неспешно и обстоятельно, но где-то с середины или последней трети темп действия резко ускоряется, как будто Александр Иванович на поезд опаздывает.

Проснувшись на следующее утро, он непонятно почему вспомнил, что позавчера Егор Трофимович, баловавший своих женщин, принес домой килограмм «Кара-Кума», а Светка сразу шаловливо ухватила две горсти конфет и положила в свою сумочку: «Завтра Людочку угощу».

«Да,— чуть не вслух сказал Геннадий,— диссертацию надо клепать срочно и быстро, а то действительно — правильно Егор Трофимович говорит — паранойя уже на дворе стоит...».

Мифологический и эсхатологический символ быстротекущего времени — ангел с косой, сидящий на шаре. Образность такого представления самоочевидна. Подошел к Символу профессор философии Артемидов, сложил по-наполеоновски руки на груди, запахнулся в академическую мантию, сделал умный вид... все же профессор! Не выдержал Символ:

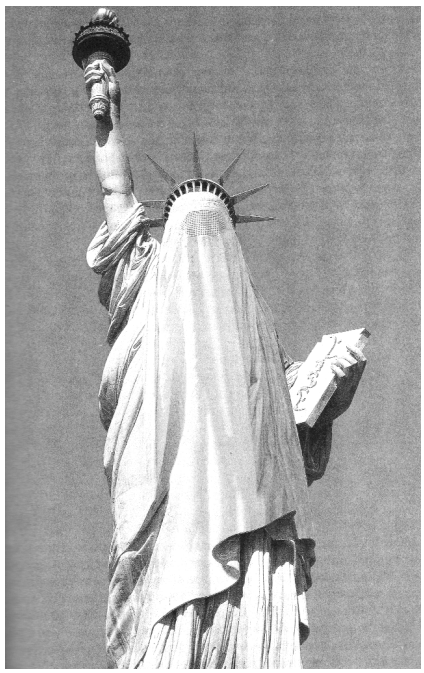
— Почто уставился, муж высокоученый из города Тамбова?

— Да вот я о тебе, то есть о сущности времени, недавно книгу издал. Толстую, под тысячу страниц, почти как Библия... или Коран, или Тора — кому как нравится.

— Никому, док, ни сравнение арифметическое, ни сама книга не понравятся. Даже жене твоей, поскольку гонорара тебе не заплатили; сейчас ведь и за науку, и за псевдонауку не платят. Иначе все бросятся в сочинители.

— Но почему? Я ведь все по диалектике Гегеля Георга Вильгельмовича выверял. Про Платона и Канта не забывал...

— А как можно время описать, даже на тысяче страниц? Оно ведь пришло из бесконечности, промелькнуло и устремилось вновь в бесконечность, но только в будущую. И ухватить его, как тебя за твою новомодную косичку — молодишься что ли? — невозможно. Тем более описать. Так что, док, не пиши более трактатов обо мне, а используй отведенный тебе отрезок времени с большей пользой, например, сделай ремонт в квартире; сколько моего времени жена просит?



В истории каждый дар одного государства другому — троянский конь, который рано или поздно изрыгнет на дар принявшего сонм неприятностей. Но самое интересное, что еще чаще дар боком выходит и дарителю! О чем думали свободолюбивые французы, даря Северо-Американским соединенным штатам статую свободы? Наверное, что-то сентиментально-романтическое. Дескать, мы под трехцветным знаменем liberté — egalité — fraternité первыми подняли в Европе простого человека из житейской грязи и провозгласили личностью. И этот идеал с самого начала стал краеугольным камнем молодой американской демократии (про скальпы индейцев и негров-рабов они великодушно забыли). Прошло сто лет, и Америка отблагодарила вольнолюбивых галлов: заполнила их телевидение голливудским мусором и завалила ничем не обеспеченными долларами, так что в стране начался стихийный бойкот американских фильмов вплоть до выбрасывания телевизоров в окна. На счастье Франции у руля был де Голль, человек сталинского типа: он поставил на место ихнее Гостелерадио, собрал все доллары и отправил их в Нью-Йорк для обмена на золото форта Нокс...

Люди! Будьте бдительны. Бойтесь данайцев, дары приносящих, но упаси вас, бог, делать великодушные дары самим. Ибо всякое доброе дело наказуемо.

Глава девятая.
АПОЛЛОНОВЫ ЗАБАВЫ: СМЕХ СКВОЗЬ СЛЕЗЫ

Сын Одиссеев тем временем шел и пришел
напоследок
К дому, где множество было в закутах
свиней и где с ними,
Сторож их, спал свинопас, Одиссеев слуга
неизменный.

«Одиссея», песнь XV, ст. 555—557

Геннадий прикорнул под мерный стук колес электрички на длинном перегоне и вышел из дремоты только когда та резко затормозила на каком-то полустанке перед Серпуховом. Считай, половину тягостного пути миновали. Хорошо, нашлось ума отказаться утром от Женькиного настойчивого предложения дернуть на дорожку стопку-другую. Заодно и опохмелиться.

А все-таки очень даже отлично иметь в Москве где остановиться на день-другой! С содроганием вспоминал он первый свой «диссертационный» год с бесконечными мотаниями в ближнюю столицу — за одни день в оба конца, каждый за четыре часа, да еще чаще на ногах в переполненной электричке томишься. А вот теперь дружбан Женька уже год как москвичом заделался, хотя знаменитое наше *ехай* еще выдает в нем недавнего провинциала. Но покрой одежды и прическу уже сменил. Также забросил школьную тягомотину и трудится — в ожидании скорых светлых времен — барменом в кабаке на Новослободской. «Первый шаг в столице, даже в нынешние либеральные времена, всегда сопряжен с той или иной формой лакейства,— самокритично пояснял он,— сейчас трудящиеся массы вот-вот двинутся в безудержную торговлю и неподзаконное воровство, а там все строится на понятиях и личных взаимоотношениями... это как с женщинами, вообще говоря, исключая, конечно, сексуальный момент. А где как не в баре входящего в моду среди местных деляг кабака можно влиться в эту струю?»

Все правильно говорил Женька, гуманитарий по образованию, весельчак и заводной кутила, но прагматик по жизненному пути. Включая и этот сексуальный момент. На таких скоро вся страна будет держаться... как перезревший гриб-поганка держится — качается на иссохшей тонюсенькой ножке.— Это уже слова мудрого тестя Егора Трофимовича.

...И таким людям почти всегда везет, а Женьке особенно с квартирным вопросом. И в родном городе — Геннадию ли не помнить его всегда гостеприимную для дневок-ночевок квартиру почти в центре, с заслуженной мамашей, что целый год то в очередном санатории, то по два-три месяца у своей старшей, незамужней по жизни сестры, тетки Женьки, в Москве, а теперь вот и в столице. Безмужняя и бездетная тетка ушла-таки на седьмом десятке на заслуженный отдых с должности зампреда профкома АЗЛК и решила воссоединиться с младшей сестрой, пожить сам-двое в недальней провинции, отдохнуть от угарной и торопкой жизни в Москве. А в чистенькую, уютную, умеренно обставленную однокомнатную квартиру, что тетка поимела от своего завода и неподалеку от него в спальном районе Текстильщиков, заселился любимый и единственный племяш. Сам Женька, впадавший между четвертой и пятой стопками очищенной в лирическую философию, обосновывал свое пристрастие к женскому полу с частой сменой объектов влечения сочетанием... законов Архимеда и Лейбница:

— Понимаешь, дорогой Геннадий, вспомни школьную физику: по греку Архимеду, жидкость в двух соединенных сосудах может их по-разному заполнять, но общий ее объем остается постоянным. А по закону Лейбница, угрюмого фольксдойча, природа не терпит пустоты; говоря по-русски: свято место пусто не бывает, если откуда-то отбудет, то куда-то прибудет, и так далее. Вот ты, например, вырос хотя и в малодетной, но нормально-полной семье. И теток-дядек, кузин и кузенов предостаточно; две бабки и даже один дед, хотя и в других местах живут, но ведь имеются! То есть в семейной твоей совокупности, говоря языком Фрейда, родовое либидо распределено равномерно. И тебе положенная природой часть ее досталась; это и называется в просторечье: все как у людей.

А вот мой род бог за что-то обидел, хотя и люди все приличные, по социалистическим меркам даже образцово-показательные. Но — деды и бабки до моего рождения все примерли; папашу морганатического в глаза не видел; единственная тетка, впрочем, как и мать, всю жизнь по-монашески прожили. Вот по этим самым законам Архимеда и Лейбница мне и приходится отдуваться по женской части едва не за три поколения!

Ну, давай еще раз за приобщение тебя сегодня к лику ученых мужей. А чего это ты обмывание защиты зажилил: ну-у, банкетик положенный где-нибудь организовать, на худой конец, ко мне пару-тройку профессоров привести, а?

— Ты, друг Евгений, перешел в другую классовую прослойку — в торгово-спекулятивный пролетариат, потому напрочь оторвался от народной жизни, скоренько забыл ее реалии..

— Ну-у, почему оторвался; третий год бодяга длится и конца ей не видно. Но ведь защита диссертации не комсомольская свадьба по-нынешнему, где за столом чинно давятся газировкой, а хлобыстнуть маленковский стакан водяры или очищенной поочередно выбегают на кухню или в кладовку... здесь ведь уровень-то другой, к тому же в научных кругах свои традиции, соблюдаемые при всех режимах, уклонах и веяниях. Или я не прав?

— Стопроцентно неправ. Я после защиты подходил к председателю диссертационного совета и к моему номинальному руководителю, который меня протежировал. Председатель отрицательно и молча покачал головой, а руководитель же рассмеялся, дескать, под его заведование кафедрой и так один высокопоставленный сынок копает, так зачем ускорять преждевременный уход на пенсию? «Я, Геннадий, еще в членкоры хочу побаллотироваться. Вот полгода назад дальний родственник из Белгорода у нас же защищался, у меня останавливался к тому же. Так я после окончания процедуры заседания демонстративно, в присутствии членов совета попрощался с ним: «Не опоздай на поезд, Георгий Семенович, а в Белгороде передай мой поклон вашему проректору по науке Евстигнееву, моему бывшему однокашнику». А сам пошел на кафедру и часа два там торчал якобы по делу. Георгий же по предварительному научению кружным путем — на всякий случай — доехал до

дома, с оглядкой вошел в подъезд и в квартиру, дождался меня. Пили не чокаясь, выключив свет в квартире, молча; ведь надо мной парторг института, а снизу профорг института проживают; дом-то институтскими заселен. А ты говоришь...».

И вот как дурак стою в вестибюле с портфелем привезенной водки. Хорошо, подскочил ученый секретарь совета, шустрый молодой доцент, какими-то закоулками привел в подсобное помещение, выгрузил бутылки: «Сейчас у нас так принято, сам понимаешь, а мы дней через пять после работы, вечерком, когда начальство и соглядатаи сгинут, выпьем за твое здоровье».

— Н-да-а, друг Геннадий, навалился класс-гегемон и на высоколобых. Значит, так. Сегодня, то есть сейчас хорошенько врежем. С утра отоспимся и поедем культурно опохмелиться в мой кабак. Я завтра выходной, то есть тоже побуду посетителем. А послезавтра благословлю тебя в обратный путь, в объятия, так сказать, радостно плачущих родственников. Давай за Светку выпьем. Все же ваша любовь закрепилась на моей территории!

* * *

Заведующим кафедрой истории КПСС оказался, как и следовало ожидать, очередной однокашник Егора Трофимовича по ленинградской ВПШ. В самом начале учебного года он зазвал Геннадия в свой крохотный кабинетик. Расспросил о житье-бытье, о Егоре Трофимовиче и его супруге. Сказал, что весело они учились в Ленинграде, дружно, хотя и были разновозрастными: сам Николай Игоревич на добрый десяток лет старше Геннадиева тестя, но все это нивелировалось, учитывая, что слушатели сюда не со школьной скамьи приходили, но имели за плечами кто по десятку, а кто и по два партийной, советской или профсоюзной работы.

От тестя Геннадий уже знал абрис жизненного пути своего нового начальника, недавно разменявшего седьмой десяток. Последние двадцать лет, защитив диссертацию кандидата исторических наук, Николай Игоревич трудился в высшей школе, в этом же политехе. Только в самом конце семидесятых на пару лет покидал его — ректорствовал в местном же пединституте, где пресеклась одна

потомственная династия руководителей, а другая еще не набрала веса в глазах обкома. Вот его и «командировали». Главное, что это никого не обеспокоило: невысокая ученая степень и звание «холодного» профессора, то есть не доктора наук, всем известная порядочность даже в партийном блатняке и карьерное безразличие являлись гарантией, что Николай Игоревич не будет цепляться за ректорство в нужный момент. Так все и получилось, а в качестве отступного при возврате в политех он получил вновь заведывание партийной кафедрой, орден Дружбы народов к своему 55-летию и новую квартиру взамен прежней в старом «профессорском» доме постройки тридцатых годов в стиле голого конструктивизма.

— Вот что, Геннадий... ты позволь мне тебя так называть по молодости и нашему давнему с Егором Трофимовичем знакомству. Надо тебе, не раскачиваясь, брать быка за рога, то есть сразу впрягаться в диссертационные дела. За установленную цель возьми максимум три года; больше не к чему тянуть, если не хочешь остаться вечным кандидатом навроде меня. Но у меня-то партийное реноме, а у тебя несколько неясная ситуация, надвигающаяся на страну. Словом, надо торопиться. И Егор Трофимович того же мнения.

Второй уточняющий момент: диссер будешь делать сам...

— Не понял, Николай Игоревич, а как же иначе?

— Вот-вот, еще одно подтверждение, что все сумеешь сам без так называемой «помощи». Я было поначалу сомневался, но Егор Трофимович дал тебе лестную характеристику, да и я успел присмотреться, хотя за короткое, но — время. Сам со всем справишься, да это только на пользу тебе пойдет.

Теперь к конкретике: защищаться будешь по философии... подожди, не перебивай старших, знаю, что не по профилю кафедры. Но я дело говорю. Видишь ли, поверь старому партийному волку — в позитивном смысле этой анимации, в смысле знающего свое место в стае, раз в нее попал. Так вот, чутье говорит мне, что нынешний либерализм — это не припадочное «потепление» меньшевика Никиты Хрущева, а итог «холодной войны», к сожалению, нами проигранной. И как знамение этого поражения — явление генсека с каиновым пятном. Ну-у, в общей политике и сам разберешься, парень ты с головой, хотя пока еще с неустоявшимися

мыслями, а где надо — так Егор Трофимович поможет; он из той же стаи, что и я.

А что касается наших слонов, то общественно-политические кафедры обречены: и наша история партии, и политэкономия, и родственная нам кафедра научного коммунизма... хм-м, вот этой-то науки мы так и не создали, а без науки и практика ничто. А кафедра философии под тем или иным наименованием останется, ибо таковые есть во всех западных университетах, а намечающаяся новая власть будет лихо обезьянничать с Запада. Резюме: чтобы остаться в институте, тебе и нужна философская степень. Все понятно?

Кстати, по этим же общим соображениям в партию тебе вступать вовсе незачем. Во-первых, уже явочным порядком отменена обязательная партийность при защите диссертаций по общественным наукам. И слава богу. Во-вторых, и в основных: даже при сугубой идейной убежденности, которой у тебя пока и нет, следует придерживаться вековечной мудрости: не подниматься на борт тонущего корабля, тем более прогнившего по тем или иным причинам, а нынешняя КПСС — пародия на прежнюю: ленинскую, сталинскую, даже в какой-то степени троцкистскую. Будут другие времена, будут другие партии, так что еще успеешь внести свою лепту, так сказать, в организованном сообществе.

А по техническим деталям твоего диссертационного дела — мне нужно что к чему прикинуть, это долгого времени не займет, тогда и потолкуем.

* * *

Действительно, через пару недель Николай Игоревич вновь зазвал к себе Геннадия и уже чисто по-деловому наметил диспозицию. Беседовали за служебным чайком с лимоном; при этом завкафедрой вольнолюбиво дымил «Казбеком» ростовской табачной фабрики; во всем он был постоянен, даже с куревом.

— Защищаться будешь, понятно, в Москве, ближе советов по философии не имеется. А именно в главном педвузе страны имени Владимира Ильича. Поясню для конкретности. Тамошний совет имеет и специализацию по философии социологии; это как в

Свердловске у Бурбулиса, будь он не ко сну помянут, о котором сейчас столько пишут в «Литературке», «Аргументах» и прочих вмиг полевевших газетках.

Дело, конечно, не в Бурбулисе, но в том, что философия социологии, до того у нас малопочитаемая, сейчас снята с привязи. Поэтому материалов незастолбленных в диссертациях здесь прорва, да и самому интересно, ведь не догматы же Маркса-Энгельса, при всем моем уважении к ним, без конца переписывать. А ведь даже такое нудное дело, как диссертация по общественным наукам, должно приносить определенное удовлетворение и расширение научного кругозора.

Главное — есть там хорошая зацепка: зампред этого совета Анатолий Степанович Чекмазов — опять же и вдругорядь мой однокашник по питерской ВПШ. Истинно палочка-выручалочка! Не зря же Высоцкий пел: «Стать мне президентом США или закончить ВПШ...» Но здесь ситуация еще теплее. Я потому и брал у тебя фору на пару недель, что завершал одно дельце, как раз с Чекмазовым и связанное. Дело в том, что Анатолий Степанович, кстати, членкор Академии педнаук, еще с начала лета «пробивал через свою академию и пединститут свой же включение в план издательства «Просвещение» издание учебного пособия для университетов и педвузов по революционной ситуации в России 60-х годов XIX века. И вот позавчера позвонил: в план включили, надо срочно рукопись готовить. Сам Степаныч писать-сочинять не мастак, он больше по разговорной части специализируется, но вспомнил, что я свою кандидатскую защищал по теме влияния на раннее народовольчество лондонских изданий Герцена: «Колокол» и «Голоса из России». Материалов я тогда нарыл — на две книги хватит. Я усажу за работу доцента Енукидзе: он писучий шельма, а потом фамилия привлекательная для нынешних либералов, то есть несколько скандальная в историческом плане. Ну, да ты с ним уже познакомился, можешь себе представить. Чекмазов, понятно, возглавит наш авторский коллектив. И заплатят хорошо, и жирная «галочка» в годовой и пятилетний план достижений кафедры.

Тебе в соавторы еще рано, но будешь курьером — возить Степанычу готовые главы на согласование, познакомишься с члена-

ми совета, примелькаешься, пообвыкнешь в той среде. То есть уже не как чужак на защиту выйдешь.

Теперь о теме. Надо брать кого-то из русских зарубежников; они у нас никак не разработаны по понятным причинам, но входят стремительно в научный обиход. Я тут в давешнем разговоре с Чекмазовым поинтересовался, имея в виду тебя, последними столичными веяниями. Тот советует: Ильина взять или Питирима Сорокина. Думаю, что Ильина пока рановато трогать; все же он больше литератор нежели философ, да и монархист очень уж ярый. А вот Сорокин по всем статьям подходит: не белогвардеец, к СССР вполне лояльно соотносился, да и социолог крупный, на Западе, как говорится, повсеместно признан за авторитет. Вот и тема тебе навскидку: «Философия социологии Питирима Сорокина в русле традиций русской общественной мысли конца XIX — первой четверти XX веков». Или что-то в этом роде, сам покрасивее оборот завернешь. С литературой, думаю, затруднений особых не будет. Егор Трофимович говорил, что через Свету,— привет ей большой от меня и всяческие поздравления, как-нибудь в гости к вам заверну,— нашел дорогу в святая святых фондов нашей «ленинки», а в столице тебя Чекмазов введет куда надо. Поработаешь в тамошних библиотеках, да и повод теперь для командировок в Москву и Ленинград, если понадобится, теперь есть: по делам учебного пособия и плану подготовки диссертации.

Через неделю у нас кафедральное, утвердим тему и твое соискательство. Чекмазов в принципе дал согласие твоим номинальным руководителем стать, то есть по конкретным делам к нему не приставай, сам все маракуй. Окончательное согласие — после беседы с тобой. Так принято в научных и,— Анатолий Степанович слегка ухмыльнулся,— особенно в околонаучных кругах. Столица, брат! Там люди делами заняты; это у нас делишки...

Понятно, что ни в какую аспирантуру тебе записываться не нужно: не сегодня институтский диплом получил, да и тебе же бумажной волокиты меньше. В конце этого месяца поедешь к Чекмазову: повезешь мой план-проспект по пособию и свой по диссертации.

* * *

И вот дело сделано. А за окном электрички, словно почуявшей близость родного дома и потому ускорившей перестук на стыках рельсов, уже мелькали названия подгородних городишек и поселков.

«Ехал до дому казак,— вертелось в голове, уже почти освободившейся от хмеля, но еще зацикленной на припевках.— Не казак, а примак»,— мысленно поправил он себя с привычной дисциплиной мышления.

Примаком в семье Варфоломеевых он стал почти без колебаний; хотя немного жалко родителей, да и сам по жизни с ними не расставался более чем на их или его отпускное время. В конце концов не на край света уезжает, куда поезда не идут, самолеты не летают и водного пути нет.— Всего лишь на расстояние двадцати минут езды на трамвае. Да и отец с матерью погрустили скорее для приличия. Все же не дети, реальности от жизни кому как не им знать, первые десять лет совместной жизни, сам-трое с появившимся сыном Геной, проживших в десятиметровой комнатке коммуналки. А по нынешним временам две семьи в двухкомнатной квартире, хотя и не «хрущевке»,— это уже не комильфо. Все же не пятидесятые годы!

Тем более они знали, к каким людям перебирается сын, с кем и в каких условиях будет жить.

Четырехкомнатную полнометражную квартиру в доме, который был знаем в городе как «новый обкомовский», Егор Трофимович получил — имеется в виду метраж — вовсе не за должность заведующего отделом облисполкома, а до этого третьего секретаря горкома партии, но просто на момент выдачи ордера еще бойко шустрила по дому его теща, а сын Андрей почти погодок Светы, но в меньшую сторону, еще не окончил школу. Но в положенный момент старушку, разменявшую девятый десяток лет, призвал к себе господь бог, а закончившего местное артиллерийско-ракетное училище Андрея — Вооруженные силы СССР служить в ракетном полку в Уральском военном округе близ Свердловска. Парень, под стать родителям, оказался принципиальным, не стал искать лазеек остаться в родных местах: адъюнктом или взводным офицером

в училище или военпредом на одном из многочисленных оборонных предприятий города.

...Так что уже через полгода супружеской жизни, а особенно после перехода Геннадия из школы в институт, молодая семья располагала просторной комнатой, а «бабушкина» как-то сама собой перевоплотилась в некоторое подобие кабинета молодого супруга. Во всяком случае там уже стоял шкаф-стеллаж с его книгами, привезенными из родного дома, письменный стол и — от прежней жилицы — аккуратный кожаный диван, где Геннадий любил порой отдохнуть после работы, читая принесенные Светой раритетные книги. Сам он в облбиблиотеку больше не ходил, разве что редко заходил за женой, когда они куда-то собирались, а потом, на последних месяцах ее беременности встречал в вестибюле библиотеки. Чем-то смущала его Людочка, ставшая к нему подчеркнуто холодно-жеманно относиться после замужества подруги.

Чем-то неуловимо похожими на его отца и мать оказались и родители Светы; все-таки одно поколение, почти тот же образовательный и социальный уровень. Надо сказать, что формально познакомился он с Егором Трофимовичем и Еленой Авдеевной, работавшей врачом-кардиологом первой горбольницы, едва не перед самой свадьбой. Так получилось, что до этого ему приходилось, по понятным причинам, стараться исчезнуть из квартиры до прихода допоздна загостевавшихся родителей Светы... «Будет о чем вспомнить в старости»,— шаловливо говорила она тогда, прощаясь у раскрытой уже входной двери, в то же время чутко прислушиваясь ко всем звукам в подъезде: шагам снизу по лестнице, моторному завыванию лифта.

...А теперь познакомились быстро и ладно. Без настороженности и мещанско-притворной предупредительности на первых порах. До женитьбы и знакомства Геннадия настораживал партийный статус главы дома, но это скоро рассеялось. Здесь показательным был легкий инцидент на свадьбе, когда Женька, приволокнувшийся за ослепительно красивой — с учетом искусного макияжа — и аппетитной в теле племянницей хозяйки дома, тридцатидвухлетней Стеллой, приехавшей на свадьбу кузины из соседней Калуги без командированного с Турбинного завода в Северодвинск мужа,

крайне развеселился и начал потешать собравшихся. Он накануне вернулся из Москвы, ездил под видом проведывания тетки за товаром — занимался легкой фарцовкой — и привез свежие столичные прибаутки. И в присутствии нескольких высоких партчинов города и области процитировал: «*Скачет тройка, мчится тройка — Мишка, Райка, перестройка*». Гости несколько замялись, косясь на партработников; те сделали вид, что не слышали, только Егор Трофимович громко расхохотался, а за ним и осмелевшие гости мужского пола. Женщины же искренне ничего не поняли, занятые обсуждением беременной невесты и явно отвечающей на Женькин флирт красотки Стеллы, потому с некоторым недоумением посмотрели на гогочущих мужчин.

Но Геннадий с той поры зауважал тестя и, надо сказать, в дальнейшем в нем не разочаровался.

А вскоре Геннадий и Света и вовсе порой стали чувствовать себя постоянными хозяевами обширной квартиры. Егор Трофимович возвращался из своего облисполкома затемно и очень часто вообще на два-три дня уезжал по делам в местные командировки, в соседние областные города или в Москву. А по летнему времени, прихватив супругу прямо у порога ее больницы в конце пятничного рабочего дня, на облисполкомовской «волге» уезжал на все выходные на дачу. Оттуда ехал на работу, завозя также в больницу Елену Авдеевну, то есть после уик-энда оба появлялись дома только к вечеру понедельника. Этот режим отдыха Геннадию был хорошо известен еще по холостой жизни...

И Елена Авдеевна близко не походила на классическую — из наблюдений жизни и анекдотов — тещу. Здесь сказывалось ее воспитание в многодетной семье в уральской казачьей станице (дед ее вовсе состоял в должности атамана) и медицинская профессия. К тому же она работала в специализированном отделении экстренной кардиологии, потому часто пропадала на суточных дежурствах, после которых, учитывая какой-никакой, но возраст, отдыхала, не вмешиваясь в домашние дела. Может поэтому Света умела терпимо готовить и не пренебрегала остальной докукой хозяйственных забот.

Молодая содержанка владельца сети супермаркетов «Копейка рубль бережет» Авдотья Никитична подготовку к ежегодному бизнес-балу городского купечества начала уже пополудни. И как положено у женщин — с прически. Горничная Глаша не нахвалится роскошными волосами хозяйки:

— Ах, барыня, что за роскошь у вас волосы: прядка к прядке, локон к локону, на перхоть даже намека нет. А все потому, что не используете все эти рекламируемые химикалии, а только натуральные отвары. И травы подбираете все правильные; это я вам как кандидат биологических наук, ранее доцент, говорю. И откуда вы только эту рецептуру знаете?

— А я, Глаша, ведь химик-фармацевт по образованию. И бабушка моя покойная была деревенской знахаркой, траволечением на жизнь зарабатывала.

— Почему же, Авдотья Никтична, по специальности не работаете?

— Обе мы, Глаша, давно уже не по специальности на хлеб насущный зарабатываем. У тебя, вот, наверное, НИИ за ненадобностью прикрыли, а я после конкурса красоты по рукам пошла, пока не закрепилась за нынешним хозяином.

— А не грешно, барыня?

— Грешно, Глаша, это когда грешишь, а я работаю, вот как и ты, но только по другой специальности — из самых древних женских.

Собрались три давние подружки и устроили посиделки-перемойки, то есть кости перемывают всем — от мужей и любовников до... аж страшно вымолвить! Перемыли и легче на душе у каждой стало. О чем еще потолковать? Тут Глафира, как на бывшем партсобрании, слово взяла: глупые мы, бабы, не можем всю жизнь мужиков своих около себя держать, то есть чтобы они обязанности свои мужские справляли все время. Как лет пять проживут с нами, так и на сторону их, кобелей, тянет. А надо, как в Америке; вот недавно по ошибке вместо «Дома-2» на ТНТ включила какую-то лекцию американской активистки, как его? Да, гендерного движения за права женщин и сексуальных меньшинств. Так она такого порассказала! Оказывается, при регистрации брака у них женщина заключает с будущим мужем брачный контракт, где все оговорено. Не выполнил, допустим, муж в какую-то ночь свою обязанность — плати ей поутру сто долларов. Заснул во время этого самого дела, не завершив его — двести гони! Против ее воли свершил, так и вовсе — либо в отсидку, или неустойку в агромадную сумму. Вот бы нам такой закон дума, или кто там их пишет, приняла?

Федосья промолчала, что-то считая на пальцах, а Христя потупила глазки, поерзала на скамье и все же выпалила: «Я пробовала со своим так-то, без всяких контрактов и гендеров, так он, паразит, деньги-то давал, хотя и с матом, но в получку их же и вычел. Здесь, мол, тебе не Америка! И вообще, она нам не указ, сказал».

Глава десятая.
АПОЛЛОН СПЕЛСЯ С ГЕРОЙ И НАСЛАЛ НА МИР БЕЗУМИЕ

...Это был сам Одиссей, возвратившийся тайно
В дом свой: в него мы швыряли; его поносили словами;
Долгое время он в собственном доме с великим терпеньем
Молча сносил и швырянье, и наши обидные речи.

«Одиссея», песнь XXIV, ст. 160—163

Так совпало, что безумие прорвалось, как нечистоты в забухтевший канализации, давно не прочищаемой и неремонтируемой, сразу после защиты Геннадием диссертации. Конечно, шумиха с первым съездом народных депутатов уже навязла в зубах, тем более что на семинарских занятиях, что вел Геннадий, ему самому приходилось объяснять студентам об исторической роли нового курса партии и правительства, важности и значимости перестройки и ускорения, наконец, о новом статусе народовластия, символом и эмитантом которого должен стать первый съезд. Пресса, телевидение, собрания всех уровней, листовочно-плакатная агитация на улицах — все это било в глаза, влезало в уши, застревало в головах. Но Геннадий эти последние месяцы так был всецело занят диссертационными делами, столько времени проводил почти в еженедельных поездках в Москву, что как-то пропустил всю предсъездовскую горячку. Даже студентам он объяснял все на каком-то словесном «автопилоте». Говорил, даже готовился к семинарским занятиям, читая кипы газет и журналов, но все механически, не оставляя себе ничего в памяти, ибо она требовалась для более важных дел.

Дома же жизнь как-то сама собой обособилась от событий, потрясавших всю страну. Телевизор, что стоял в общей гостиной,

Геннадий не смотрел, ибо все свободное время проводил в «бабушкином» кабинетике, самолично печатая на машинке диссертацию и целую кипу официальных бумаг под нее. Как ему объяснил Николай Игоревич, все эти бесконечные отзывы, протоколы, акты внедрения и так далее, вплоть до стенограммы защиты, никто за него сочинять и печатать не будет. Будь добр сам. Времени это отнимало немерено.

Егор Трофимович приходил домой только что ночевать, был малоразговорчив и на темы сугубой политики почти не разговаривал, дескать, и без того текучка заела, одно распоряжение за другим сверху спускают, и каждое противоречит предшествующему. Махнув рукой и скользнув раздраженным взором по экрану телевизора с горячащимся «консенсусом», уходил в спальню.

Света же с матерью, согласовав расписание своих работ в библиотеке и больнице, причем Елене Авдеевне пришлось закончить с суточными дежурствами, поочередно занимались воспитанием Триши, названного в честь прадеда — буденовца Первой конной и видного губернского организатора двадцатых-тридцатых годов. Личность в городе хорошо известная под прозвищем Хромой Трофим, причем определение «хромой» произносилось с уважительной интонацией. «Это как хромой Тимур — Тамерлан»,— пояснял за праздничным столом Егор Трофимович, слегка захмелевший от пары рюмок, когда речь заходила о его знаменитом отце.

Хромота эта, полученная от ранения при штурме Перекопа, не позволила показать себя на фронтах Великой Отечественной, все долгие годы которой он работал в системе наркомата боеприпасов, курируя военные заводы города, в том числе и эвакуированные в сорок первом году в Медногорск и Ковров. Был он доверенным лицом своего дядьки по матери, тоже городского уроженца, являвшегося в войну замнаркома боеприпасов.

Егор Трофимович показывал Геннадию фотографию этого двоюродного деда, помещенную в юбилейной книге об оружейниках времен Отечественной войны, выпущенной десять лет назад издательством «Машиностроение»:

— Кстати, благодаря ему мы в войну не одни щи с лебедой и пустую картоху трескали. Так-то довольно голодно жили, хотя го-

род, как ты прекрасно знаешь, всего месяц прифронтовым являлся, но все крупные заводы с мужиками-кормильцами эвакуировали до самого конца войны. Отец хотя и был далеко не рядовым работником, но тоже все эти годы то в Коврове, то в Медногорске и по всему Приуралью мотался; кое-что из еды привозил, конечно, но семья-то большая! Если бы не наш замнаркома, то мясной запах и вовсе бы забыли.

Я хотя и маленький еще был, но помню, как в конце октября сорок первого, прямо перед наступлением Гудериана и геройской обороной города — в окно дома смотрел — затормозила у наших ворот «эмка», вылез из нее здоровенный военный, но без знаков различия в петлицах, оттуда же вытащил и закинул за плечо большой, пятипудовый дорожный мешок, наполовину наполненный чем-то проседающим. Мать тоже глянула в окно, всплеснула руками: «Батюшки, сам Барсук приехал!» — И побежала во двор встречать гостя.

Тот же вошел в большую комнату, с трескотным грохотом сбросил мешок на пол в углу, поздоровался. Старшие в доме его хорошо знали. Что-то сказал матери, показав рукой на мешок, присел за стол на суетливо подвинутый матерью стул, достал из кармана галифе бутылку с сургучной крышкой, шлепнул о ладонь и разлил всем более или менее взрослым в принесенные матерью стопки. «Ну, я на минуту, а сейчас в Москву срочно. К своим вот тоже заехал. Как говорится, за свиданье на росстанях. Будьте здоровы, а немцев мы разобьем!»

Отец в этот день был, как он обычно говорил, «на объекте», но потом рассказал нам историю с мешком. Накануне замнаркома Барсуков инспектировал эвакуацию крупного склада боеприпасов на орловском направлении — уже почти на расстоянии пушечного выстрела наступающих немцев. Снаряды успели погрузить в несколько эшелонов, но вот для находящегося там же огромного армейского продовольственного подземного хранилища уже ни вагонов, ни времени не хватало. Отдал приказ: что можно распихать между снарядными ящиками в эшелонах, окрестному населению сколько смогут унести, а остальное залить нефтью из оказавшейся на путях цистерны и взорвать. Ординатору своему поручил погру-

зить в «эмку» рогожный куль с пятью пудами сырокопченой колбасы — все одно ехать в Москву через родной город. Полмешка отсыпал своим домашним, что не отправились в эвакуацию, а вторую половину нам завез.

Потом за время войны еще пару раз заезжал и всегда что-нибудь привозил.

Крупу давали на карточки, и отец где-то мешок бесхозной пшенки добыл. Картошку на огороде в пять соток выращивали. И все военные годы мать варила изумительный кулеш с запахом копченой колбасы и ее же мелко порубленными крупинками... Правда, с тех пор я копчености всякие не то что на вкус и на запах, но и на вид не переношу.

— Я это заметил, Егор Трофимович. Кстати, и книгу такую уже раньше видел: как-то к отцу его знакомый заходил и книгу приносил; он в НПО «Меткость» инженером работает, а здесь многие их разработки времен войны описаны. Я тогда еще внимание на замнаркома обратил. Прошу прощения, он ведь ваш родственник, но еще подумалось: не зря ведь все народы в языческие времена имели своих тотемных животных: племя Волка, род Бобра... А Барсуков так на настоящего барсука похож? — Крупные рябинки во все лицо, сильно скуластый, волосы чуть не с середины лба, и по фотографии чувствуешь: жесткие, прямые, словом, как у настоящего барсука. Я не обидно говорю, Егор Трофимович?

— Ха-ха! В точку попал. Это у нас у всех в роду; вон на стене в рамке фото Хромого Трофима, видишь — почти копия замнаркома. И твой покорный слуга чем-то похож, хотя уже без рябин, но абрис лица тот же.

Понятно, что тотемный зверь здесь ни при чем. Я как-то с одним профессором-генетиком, еще учась в Ленинграде в ВПШ, на эту тему разговорился. Он и объяснил: скулы и жесткие прямые волосы — это от Золотой орды, наших, так сказать, двоюродных предков. А рябины на лице, скорее всего от какого-то предка, который такой сильной оспой переболел, но остался жив, что даже в генах это закрепилось, по наследству передается, постепенно затухая по мере смешения в браках с теми, у кого такого ге-

нотипа нет.

Мы все с женой, когда Светка родилась, опасались: вдруг ей эти рябины, широкоскулость и жестковолосость передастся. Слава богу, в мать пошла, в уральскую казачку. Тот же генетик — мы с ним бутылку хорошего коньяка под икорку распили — сказал, что уральские казаки есть наиболее сохранившееся в чистоте крови русское племя, поэтому у них такие правильные, красивые лица, глаза, волосы, формы ушей, носа и подбородка.

...Итак, занимавшимся воспитанием Триши женщинам тем более не было дела до высокой политики. Она же грязная.

* * *

И вот оно грянуло в конце зимы, как неурочный гром небесный. Здесь уже уединиться, зашториться никому было невозможно. Геннадий хотя и был уже ученым человеком, но все же молодым: только через полтора года собирался отметить свое тридцатилетие.

Поэтому поначалу расставленные по всем вестибюлям корпусов института телевизоры, они же целый день включенные в кафедральных комнатах — все по указанию парткома — вызывали у него легкое восторженное ощущение ветра свежих перемен. Даже кой-каким жизненным опытом наработанный скептицизм как-то на время затаился. Порой сам над собой посмеивался: вот, мол, теория и практика? Ведь почти наизусть помнил недавно прочитанные книжки Фрейда и Лебона о психологическом подчинении в определенных ситуациях личности человека, даже вполне разумного, психозу масс, а надо же? И сам в какой-то степени поддался такой стадной психошизоиде...

Но как было оторваться от услужливо расставленных повсюду телевизоров? — Какие речи, какие персонажи со всех помоек страны набежали, как будто (а на самом деле так и было) их кто подбирал! Повращавшийся в последнее время в московской среде, тем более принадлежащей к общественно-научному истеблишменту, Геннадий уже многое знал, что выходило за рамки телеэкрана. Да и провинциальные реалии о многом говорили. Взять хотя бы саму процедуру подготовки и проведения выборов?

Как-то Геннадий зашел к родителям проведать их и занести отцу, домашнему любителю отечественной истории, том староизданного Татищева, понятно, из Светкиного спецхрана. И застал все того же давнего знакомца отца, семидесятилетнего инженера из НПО «Меткость», что ранее приносил показать книгу «Оружие Победы» с фотографией замнаркома Барсукова. Мать без возражений оставила ужинать; по причине сразу двух гостей отец откупорил бутылку талонной «зубровки». Потом пили чай хорошей заварки, что уже стало редкостью.

Понятно, что разговор вертелся исключительно вокруг громыхающих выборов делегатов I съезда народных депутатов. Лев Исаевич, как наиболее из собравшихся умудренный опытом жизни, скептически парировал осторожный оптимизм Геннадия и отчасти его отца:

— Поверьте мне, старому русскому еврею сталинской закалки, добром все это не кончится. Нельзя, кроме как специально и с тайным умыслом, весь народ бросать из огня да в полымя. Это только в спортивно-оздоровительных целях можно из раскаленной бани бросаться в снег — и обратно; так называемая холодо-тепловая терапия. А с сотнями миллионов людей — это почти преступление.

Это уже ясно по проваливающейся антиалкогольной истерии: сначала в целом-то не проносящий рюмки мимо рта народ — хотя мнение о русском пьянстве явно преувеличено — посадить на квас и напиток «солодок», а затем снова повернуть к низкокачественному пойлу — это значит споить его окончательно. Еще год-другой и мы убедимся в этом.

Еще хуже с резким переходом от традиционной не только для советского периода, но и вообще для русской истории, что называется, «сдержанностью на язык» к безудержному хулению всего и всея за последние семьдесят лет жизни страны.

Тут все кукловодами просчитано. Народ наш уже в трех-четырех поколениях привык верить власти, что, вообще-то и честно говоря, было весьма позитивно. Отсюда и врожденное доверие к средствам массовой информации, телевидению в первую очередь. И поэтому все сейчас вещаемое и показываемое с экранов автоматически большинство людей принимают на веру за правду. А с

этих экранов где явно, а где неявно несется одно: недоверие к сложившейся системе власти и образу жизни. То есть, взмутив воду, вроде как архидемократично, реальным всенародным волеизъявлением протащить во власть своих ставленников.

Вот вам живой пример нашего города — и в высшей степени показательный. Да вы его и сами прекрасно знаете: забаллотировали на выборах на съезд начальника и генерального конструктора нашего НПО, всем вам хорошо известного, единственного в городе академика Академии наук СССР, оружейника с мировым именем, крупнейшего знатока и практика высокотехнологической промышленности. Представляете — каким бы ценным для дела перестройки оказался его опыт и знания?

Так нет же, кто-то умело подсунул ему в конкуренты совершенно рядовую, никому не известную персону: инженера из конструкторского бюро при заводе радиодеталей. Печатные агитки-листовки сделали свое дело: дескать, руководитель «Меткости» — кондовый бюрократ и носитель регресса, а инженер с радиозавода энергичен, полон новых идей, почти символ заново возрождающейся страны. Ни много, ни мало... И народ, как стадо баранов, проголосовал за «энергичного».

А тот — только вчера сообщили, если не слышали — по словам прессы «сразу и крепко обосновался в межрегиональной группе», то есть среди крайне ангажированных либералов. А о его *мышлении*, как нас приучил произносить это слово Горбачев, говорит красноречиво его первое же интервью. На вопрос корреспондента нашего «Юного ленинца»; «А что вы, член КПСС, раньше с критикой происходящего в стране за последние семьдесят лет не выступали?» — ответил: «Я все эти годы копил в душе ненависть к существующей власти».

Как говорится, в чем и расписался...

* * *

А на экранах телевизоров, расставленных по вестибюлям и читальным залам института, словно в некоем живописном паноптикуме, все суетились и словоизливались невесть откуда взявшиеся

люди, тут же становясь всесоюзно известными — пока по именам, закрепляясь во внезапно инвертированной памяти сотен миллионов. Наверное, думал начитанный от политической истории страны обществовед Геннадий, такая же внешне холерическая, но хорошо организованная кампания сопровождала громкие процессы тридцатых годов... Тех самых, которые сейчас и стали главным объектом бешеных нападок.

Геннадий же, набравшийся «тонкостей» в отношении основных фигурантов либерального лобби съезда — из московского общения, комментировал коллегам по кафедре, не отрывавшимся в перерывах между лекциями и семинарами от телевизоров.

Вот типаж в ставшем уже знаменитым мелкоклетчатом светлом пиджаке с лающей фамилией, со временем ставший вторым Зиновьевым северной столицы, кстати, тоже не очень хорошо закончивший свою политдеятельность. В профессорских московских кругах уже ходили о нем анекдоты, правда, полностью фактологически достоверные. Геннадий сам видел передаваемый из рук в руки, извлеченный из архива какого-то ученого совета автореферат диссертации этого активиста, который в своих страстно-косноязычных речах камня на камне не оставлял от советской системы хозяйствования. Тема ее звучала как «*Совершенствование системы бытового обслуживания населения Узбекской ССР на этапе развитого социализма*».

Этот подвижник узбекского бытового обслуживания любил именовать себя бухарским эмиром, но, учитывая его любовь к десертному вину «алеатико» узбекской же лозы, за глаза его звали не иначе как эмирским бухаром. Выскакивал он на трибуну через каждые полчаса. Создавалось впечатление, что его мелкоклетчатый пиджак все время мелькает на телеэкране. Даже Горби его ласково осаживал на правах председателя съезда (и пока еще партии Маркса-Энгельса-Ленина), называя уменьшительно по имени.

Если эмирский бухар горячился и суетился, то второй популярный персонаж спектакля, темный ликом, в черной же пиджачной паре, который со временем возглавит Белокаменную, вел себя солидно, к трибуне выходил неторопко. В интервью газетам называл себя потомком причерноморских греков, на что Лев Исаевич похо-

хатывал: «Ишь, наш-то Гаврюшка уже в греки записался! Прямо по Карамзину: из варяг в греки...» Как и эмирский бухар, причерноморской грек также был выходцем из ученой братии. Темы его диссертации Геннадий не ведал, зато не далее как вчера зайдя в любимую свою «Буккнигу», с удовольствием купил в уцененном отделе за пятнадцать копеек его книжку — в твердом переплете и столичного издательства — по научной организации труда на современном предприятии; понятно, как и у эмирского бухара, с уточнением вида предприятия: социалистического.

По-человечески ему было жалко известного академика, только что возвращенного из «горьковской ссылки», которую тот проводил в квартире «сталинского» дома, получая нехилую зарплату действительного члена АН СССР. Его скандальная фигура уже много лет являлась крупной разменной монетой в последнем и решительном бое, что давало диссидентство советской власти. Уже всем давно было понятно, что попал почтенный и заслуженный, бывший сверхсекретный академик, один из «отцов» советской водородной бомбы, как кур в ощип благодаря своему окружению, прежде всего неугомонной супруге, в новейшие времена выдающей себя то за армянскую, то за западноевропейскую княгиню. Может и за причерноморско-греческую. Вертели академиком и бывшим трижды героем соцтруда как хотели.

...Все же видно бог сжалился и увел почтенного ученого от окончательного позора. Увел почти демонстративно, до окончания развального съезда.

Еще тоскливое чувство жалости вызывали беспомощные выступления функционеров уходящей власти: блеклые, малоубедительные по сравнению с полными экспрессии и энтузиазма обличительными речами межрегиональщиков. А если у кого и прорывалось что-то убедительное и гневно-протестующее, то в зале поднимался шум, слышались отдельные выкрики и даже групповое скандирование.

Геннадий был человеком своего времени и своего возраста, еще не отягченного многоопытностью, умением видеть невидимое, четко разграничивать первостепенное, второстепенное и вовсе ничего не значащее. Но в то же самое время бог не обидел его разу-

мом, причем именно таким, который принято называть самодостаточным. В итоге в начавшейся сумятице и разладе всего уклада жизни страны и ее людей Геннадий, как и миллионы других, уподобился кораблю, плывущему по коварному и бурному морю без руля и без ветрил...

Действительно, размышлял Геннадий, мне и сниться не снилось быть диссидентом или откровенным антисоветчиком. Диссидент целью жизни ставит переселение на Брайтон-Бич, а антисоветчик либо злобный дебил, но чаще это гипертрофированная семейная, родовая или национальная память некогда имевших место обид. «Игрою счастия обиженных родов»,— как сказал поэт. Умение прощать за других, прежде бывших — это черта характера разумного человека, именно разумного, не путать это качество с расчетливостью.

Будучи свободным от довлеющего желания и побуждения изменить весь уклад жизни страны, тем не менее, продолжал свои логические построения Геннадий, в стране назрела ситуация извечная для русской истории XX века и прекрасно сформулированная классиком политической мысли: «Верхи не могут жить по-прежнему, низы — не хотят».

Особенно четко Геннадий осознавал нехотение низов, то есть и свое сугубо личное. Причем нехотение это имело чисто национальную, русскую аранжировку: именно вялое нехотение, но никак не активное нежелание, пресловутое «авось». То есть хорошо бы все к несколько лучшему изменилось, причем непонятно к какому, но в случае чего и так сойдет.

Сложнее было ему представить себе образно и, так сказать, фактологически «немочь» жизни верхов. Долго он ломал склонную к логическому анализу голову, но ничего не придумал. Главное — он не мог соопределиться с самим составом советских верхов. Ответ дал Егор Трофимович в контексте на тему разговора:

— Как таковых, Гена, у нас в стране «верхов» нет, ибо нами управляет уже семьдесят лет, даже и в наше еще пока волчье время, не какой-то там конгломерат людей, классов, группировок и так далее, но — идея, воплощенная в самой системе власти и устройства государства. В этом-то и состоит величие того гран-

диознейшего эксперимента природы, которому, увы, приходит конец. Но будем оптимистами: на то он и эксперимент, чтобы доказать требуемое, закончиться, а со временем перерасти уже в обычное явление.

Так вот о верхах. Не зря, когда в шестьдесят четвертом Леонид Ильич скидывал с престола Никиту, то был последний заклеймен как волюнтарист. Вот этот-то волюнтаризм, как реакция на строгую, заметь — крайне необходимую, дисциплину сталинской эпохи, и создал наши своеобразные верхи: престарелых, впавших в легкую степень маразма партийных руководителей, довольных уже тем, что дожили до седьмого-восьмого десятка без инфаркта, паралича и «ежовых рукавиц», а главное — всю их партобслугу, наместников на местах и так далее вплоть до директоров крупных магазинов.

Вот и получилась ситуация, когда мы, то есть низы, ждем от быстротекущего времени какого-то свежего ветра обновления: не кардинального, упаси нас боже, но внушающего оптимизм. А самозваные верхи просто хотят неограниченной власти, обширной частной собственности, а кто помоложе — и вовсе гарема доступных баб.

Вот так-то, Гена, ларчик здесь просто открывается.

Вечеряет сам-шесть семейство Выхухолевых, пошабашив с дневными хлопотами и трудами. Сам, Тит Силыч, наломал сегодня спину, набегавшись по бесконечным коридорам администрации области, где который год выслуживает повышенную пенсию в должности младшего советника комитета науки, образования и культуры. Супруга и четверо детишек — от первоклашки Пети до студента Гриши — молча хлебово распробывают, сдержанно похваливая хозяйку.

А думы у Тита Силыча все невеселые: и по итогам трудодня, и вообще по чиновничьей жизни. Ведь когда-то был уважаемым человеком, приват-доцентом и замдекана в педагогическом институте. Студенты кланялись при встрече на улице, а девицы на лекциях усаживались в первых рядах в коротеньких юбочках и ажурных колготках, да беспрерывно ножку за ножку закладывают! Гормоны мужские все тело будоражат... отсюда и детей полон дом. А теперь... э-э-х, вот она, философия жизни: сейчас он никто, пешка в сверхусложненном аппарате администрации. Смешно сказать: ведает кандидат философских наук согласованием входящих и исходящих по столоначальству сектора передовых методов в образовательных технологиях. А главное, что самое паскудное, в столоначальниках у него бывший студент, хам и лентяй-двоеч-

ник. Всячески помыкает бывшим преподом. А что поделаешь? Пришлось в волчьи девяностые, когда в вузах вообще копейки платили, да и то неаккуратно, податься в чиновники. Хорошо, там много скопилось бывших студентов, оказались и не сволочи, как его столоначальник.

Правильно как-то сказал Борис Николаевич: во всем виноват... здесь в доме погас электрический свет. Правильно говорят: имя черта всуе не поминай!

Узбек Кизилов, приехавший в среднерусский город на заработки из солнечной Ферганы, определился в дворники. Так у нас повелось: таджики — в строители, узбеки — в дворники, всякие гордые кавказцы по-преимуществу в торговлю, включая руководство и владение казино, публичными домами, сетью супермаркетов и пр. Так уж получилось, так и повелось...

Радуется Кизилов, хорошо устроился, живет в общежитии ЖКХ, получает семьсот рублей в день за двенадцать часов работы. Русские ленивы, не хотят идти в дворники. А он за полгода скопит денег на строительство в пригороде, в своей Фергане большого дома для большой своей семьи.

Все хорошо, но вот невзлюбил он доцента Енукидзе из третьего подъезда, а все потому, что жена его Нина-ханум очень строгая, не любит выпившего мужа. Вот придет Енукидзе после заседания кафедры или дружеских посиделок в кафе «Сосенка» к своему дому и еще с час ходит-бродит по двору, пока винные пары не выветрятся. В хорошую погоду хоть какого знакомого соседа остановит, поговорит на общие темы. А в плохую, когда и собаки прячутся, один Кизилов трудится с метлой. Подойдет к нему вытрезвляющийся доцент и начинает нудить: ты, мол, мусульманин, Кизилов, и широкую русскоязычную душу никогда не поймешь. И начнет, будучи историком по образованию, рассказывать про зверства золотоордынского Узбек-хана. Обидится Кизилов, не знающий истории: «Какой Узбек-хан? У нас Карим-хан! Иды к Нине-ханум и проспись!» — И даже легонько подтолкнет его метлой в ворота караван-сарая, то есть в двери подъезда многоквартирного дома.

Глава одиннадцатая.
ТАЙНОЕ ОРУЖИЕ АПОЛЛОНА; ДИОНИС СОПРОТИВЛЯЕТСЯ

В умных советах никто там не мог наряду
быть поставлен
С ним: далеко опереживал всех
изобретеньем многих
Хитростей царь Одиссей, благородный
родитель твой, если
Подлинно сын ты его...

«Одиссея», песнь III, ст. 120—123

— Философу положено размышлять, Гена,— как-то за завтраком шутливо сказал Егор Трофимович,— а ты и по диплому теперь *философ*. Вот и думай о сути происходящего! Как мне представляется, мы присутствуем, увы, в качестве подопытных кроликов, при грандиозном эксперименте; в истории такого еще не было: искусственное создание массового психоза на 1/6 земной суши. Это *тайное оружие* наших врагов в действии.

Геннадий вяло доедал сосиску с яичницей и гречневой кашей, уныло согласительно покивал головой.

— ...И не кисни. Труднее и подлее времена на Руси бывали. Впрочем... похоже, подлее-то не припоминается.

— Геночка, ты не здоров,— и Света обратила внимание на унылость мужа,— ты и... — Здесь она смешалась и даже покраснела. Геннадий в душе пожалел ее: как маленькая совсем, чуть при родителях не проговорилась, что этой ночью он, притворяясь уставшим от событий прошедшего дня, не ответил на ее явное, хотя и деликатно-замаскированное желание. «Да,— подумала она тогда с легкой грустью,— ведь три года вместе живем; к сладкому быстро привыкаешь».

И почему-то все трое фигурантов утреннего разговора одновременно посмотрели на Елену Авдеевну, кормившую с ложки сидевшего у нее на коленях розовощекого Тришу. Та по возникшей общей паузе оторвала все свое внимание от внука и резю-

мировала по-медицински сухо и кратко:

— Пить не возбраняется, если это в радость, а уныние по утрам — симптом похмелья, а похмелье...

— Знаем, знаем,— мягко перебил ее Егор Трофимович из мужского компатриотства,— все вы, медики, перестраховщики: нет — подумать и решить, а вы сразу, белохалатники, одно под сурдинку: нельзя, строго исключить! И хватит Тришку на коленях тетешкать, здоровый уже парень, пусть на своем законом месте за столом сам ест!

Елена Авдеевна скормила внуку две последние ложки, отсадила его на личный стул с положенной на сиденье войлочной подушкой, обшитой ситцем, молча встала, что-то делала на кухонном столике, закрывая действие спиной; открывала холодильник и шкафчик на стене. Остальные, включая и Тришу, заинтригованно смотрели. А хозяйка дома развернулась и поставила перед зятем высокую стограммовую стопку с несколько мутноватой жидкостью.

— Ты что, мать, самогон начала гнать? — с восторгом спросил Егор Трофимович.

— Для тебя в диковинку, поскольку по своей партийно-советской выучке-дрессировке ты не опохмеляешься,— кротко ответила та,— выпей, Гена, это по лечебной рецептуре: медицинский спирт с глюкозой.

— Э-э, спасибо, Елена Авдеевна, но я как-то не ощущаю этого самого синдрома. Конечно, выпили вчера с Женькой, повод у него был, но...

— Все равно выпей, не повредит. Хотя, конечно, и пользы особой, исключая глюкозу, не принесет.

И Света мысленно поддержала мать, сопоставив кой-какие наблюдения супружеской жизни, не преминув слегка порозоветь. Мать внимательно посмотрела на нее и чуть — но в сторону — улыбнулась.

С полпути Геннадию со Светой было идти вместе.

— До вечера, начальница,— чмокнул ее в щеку повеселевший после фронтовых ста грамм Геннадий.

Свету, учитывая ее диплом престижного московского вуза, недавно повысили до заведующей отделом фондов и каталогов с пра-

вами замдиректора облбиблиотеки.

* * *

Утренняя вялость и унылость Геннадия объяснялась просто: ему было несколько страшно после странного сна и невыразимо стыдно из-за вчерашнего. Второй день в городе наблюдался Женька: привез из столицы тюк какой-то фарцы и распихивал ее среди местных перекупщиков. Впрочем, как пояснил он Геннадию, слово «фарцовщик» — уже забываемое наследие тяжелого прошлого. Сейчас торговля всем и всея успешно легализуется; кооператор и предприниматель ныне суть реинкарнация допотопного советского спекулянта. «Мы — молодая гвардия — но не рабочих и крестьян, при всем моем к ним уважении».

Разговаривали они позавчера по телефону:

— Знаешь, Ген, я сегодня и завтра первую половину дня по делам «молодогвардейским» толкаюсь, а завтра часикам к четырем дня подтягивайся. Отметим мой приезд, мое же недельной давности тридцатилетие; коллектив узкий, но ностальгический, прежний соберем. Что? Мать с теткой? Знаешь, это неизлечимо при любой власти и катаклизмах. Порой мне кажется, что и во время фашистской оккупации они умудрялись бы ездить куда-нибудь в Карлсбад или Симменталь, как там у них называется? Словом, обе старушки-сеструшки уже неделю как на местном курорте на Оке. Я потому и прикатил с товаром. Итак, жду. Свете — большой привет и скажи, что вечеринка будет чисто мужская. Святой обман и боги прощают!

К Женьке он пришел с противоречивым чувством. С одной стороны, это сулило встряску в обыденной, добротно устоявшейся жизни; с другой — слишком памятны были вечеринки у приятеля. Так оно и получилось, ибо войдя в знакомую квартиру, был встречен радостным визгом Зиночки и голубоглазой Наташи. Господи, все как три года назад! Прямо как в спектаклях Мейерхольда, лучшего друга Троцкого — отечественной ветви мирового театра формального абсурда... Подумалось это к тому, что в прошлую субботу театралка Света водила его, крайне не любившего «это

кривлянье на сцене и неестественные вопли», но крайне уважавшего оперу и симфоническую музыку, на гастроль ущербной заезжей труппы, именовавшей себя в афишах «Новой московской экспериментальной студией».

...А студия и режиссура Женькиных вечеринок поражала своим устойчивым консерватизмом.

Зиночка, явно намеривающая не мытьем, так катаньем стать москвичкой, судя по всему уже третий день не выходила из квартиры. Наташа, удивительно похорошевшая — именно красотой расцветшей женственности, но еще сохранявшей в свои двадцать четыре года все дерзкое обаяние недавней юности, встретила Геннадия как будто не видела его всего лишь пару недель, то есть успев соскучиться, но не настолько, чтобы как-то это проявлять. А не виделись они полтора года — дата последнего по ушедшему времени грехопадения Геннадия, не считая мимолетного двухдневного романа все в той же *ОШК'е*, доживавшей последние дни и уверенно превращающейся в загородный публичный дом при обкоме комсомола. Роман был с бывшей одноклассницей, ныне комсоргом кондитерской фабрики, торопившейся выйти замуж со своими остатками неброской уходящей молодости, потому и чисто дружеским, не оставившим никакого следа. Даже совесть молодого супруга при любящей жене вяло помучила пару-тройку дней.

Пока Зиночка, изображая в кокетливом фартучке (с собой, что ли, принесла? — Явно не фасон и размер матери и тетки Женьки...) хозяйку, накрывала на стол, Наташа вкратце поведала о себе: усатый муж устроил ее учиться в заочный финэк и на свой завод в финансовую службу.

— О тебе, Геночка, в курсе; есть информаторы. Поздравляю — пока словесно, остальное чуть позже — со степенью. Мой усач только что закончил выплачивать алименты за грехи молодости и первой женитьбы, намекает на продолжение рода. А вообще, милый, скажу тебе: когда муж старше тебя на двадцать лет, то любые грешки сама себе охотно прощаешь. Да и определенная гарантия от его кобеляжа: от добра добро не ищут. Как это у вас в педагогике — одобряется?

Она рассмеялась и только для нее характерным лисьим движе-

нием всего тела на миг прильнула к нему, вроде как даже ни на сантиметр не пододвинувшись на диване. Геннадий же, весь во власти нахлынувших воспоминаний, не отрывал опущенного взгляда от ее изумительных ножек, закинутых одна на другую, в рисунчатых тонких колготках, обнаженных вздернувшейся короткой юбочкой чуть выше середины овальных бедер...

— Вижу, вижу, милый, что педагогическая наука вовсе тебя не иссушила, как моего усача вечный страх быть пойманным на очередном снабженческой гешефте. Я уже на правах бывшего медработника рекомендую токоферол и метил-тестостерон принимать. Пока мне совсем скучно не стало. Ладно, что это шутки, а *дело* нас ждет. Надо же тебя по-женски поздравить с успехами в жизни, да и Зиночка, чертовка проворная во всем, уже к столу приглашает.

* * *

Пили привезенные Женькой виски *White horses*, ликер «амаретто», уже получивший кличку «бабоукладчик», и вполне приличный масандровский мускат — роскошь уходящей безалкогольной эпохи, теснимой не знающей высокой трезвой культуры кооперацией. Пили за первый жизненный юбилей хозяина, за ученое звание гостя, за пышно расцветшие прелести девушек, «истинного украшения и услады нашей нелегкой торгово-воровской жизни», как ерничал Женька.

В разгар веселья, уже под магнитофонные ритмы, в прихожей затренькала междугородка телефона. Женька взглянул на часы, понимающе кивнул и подмигнул всем, выключил музыку, жестом — ладонь ко рту — попросил помолчать и вышел из комнаты. Заинтригованные гости с интересом прислушивались через незатворенную дверь к чередующимся с длинными паузами выслушивания словам хозяина:

— ...Да, да, мама, отдыхаю душой и телом от московской колготы; дня два еще здесь пробуду, отгулов неделю накопил... Ничем не занимаюсь, вот нашел свои институтские конспекты по истории Средневековья, читаю с интересом... Нет, никого видеть не хочется, выхожу только за кефиром и хлебом, спасибо, что холодильник полный оставила... А ты что хотела? Ведь тридцать

стукнуло, надо и остепениться. Да везде теперь бардак, не только в вашем санатории. Да, да, Сталина на них нет... Целую, мамочка, тете Вере мой пламенный, и еще московские соседки ее все время просят поклоны передавать. Все — отбой.

Похохатывая, Женька вернулся в гостиную, всем налил по вкусам, поднял тост «за наших родителей, денно и нощно пекущихся о нас, малоблагодарных, и до глубокой нашей с вами, увы, неизбежной, старости не устающих учить нас правильной жизни. Ура!»

Закусывая тост, Женька передавал жалобы матери на тамошнюю санаторно-курортную жизнь:

— Крайне недовольны мои старушки. Избаловались совсем, не понимают современной динамичной жизни. Польстились на всесоюзную известность тамошних лечебных вод и грязей и дармовые путевки — дар уходящей советской власти. А там все не по ним. Ока, оказывается, за три версты через лес, где чуть ли не соловьи-разбойники молодецки посвистывают; местная же, санаторная речка насквозь провоняла, прошу прощения у дам, тухлой рыбой, что травит постоянно недалекая оттуда электростанция, прочищая свои котлы кислотой и сбрасывая эти очистки в водохранилище, из которого речка и вытекает.

Номера обшарпаны, персонал по-деревенски груб и злопамятен. Директор, он же главный врач, выжига, на всем экономит в свой карман. Даже танцы платные... конечно, старушкам без танцев не обойтись никак. Расписание процедур тоже их не устраивает, не говоря уже о их качестве и целебном действии. Массажа и особенно гидромассажа у врачей не допросишься; только блатным и за деньги. Еда отвратительная. Говорит, на пятую, то есть желудочно-кишечную, диету их посадили, а на стол ставят черт-те что: язвенникам и гастритникам (кстати, обе они абсолютно здоровы) — соленую селедку и копченую колбасу низшего сорта; щи и капусту, категорически запрещаемые этой самой диетой № 5. Но вершиной санаторного сервиса является услуга: платный прокат графина в номер (?!)

Да, разбаловала наша родная власть малотрудящийся народ. Всем хочется за бесплатную путевку сервис Куршавеля, Баден-Бадена и альпийских курортов иметь! Ну что, гости дорогие, ста-

рушки мои позвонили с тамошней почты и пошли, наверное, на платные танцы. Пора и нам пару часиков отдохнуть. Тем более, мы-то с Зинулей здесь уже по-домашнему, а вам после полутора лет разлуки, думаю, есть о чем поговорить наедине, предаться, так сказать, ностальгическим воспоминаниям. И мы вас за глаза поддержим. Гостям — хорошо знаемая комната!

Затворив дверь в гостиную, Геннадий прижал к себе Наташу, через теплую ткань шелковистой блузки ощущая ее теплое, податливое, но в то же время упруго-напряженное тело. Та ответила на долгий, иссушающий поцелуй, мягко и очень ловко, опять же по-лисьи, отстранилась, хорошо помня антураж комнаты, достала из шкафа простыни, деловито застелила разложенный Геннадием диван. Раздеваясь, не преминула чуть покрасоваться в импортном, дорогом белье высокого класса. Геннадий неловко пошутил:

— Оказывается, заводской отдел снабжения не только сталь для пушек и ракет заготавливает, но и а-кутюр дамский?

— Иди ко мне, милый, я по тебе, действительно, соскучилась.

Ее голубые глаза бездонно темнели, наполняясь страстью. Ни единой посторонней мысли не было и у Геннадия.

* * *

Пока шалуньи приводили себя в порядок после отдыха, по очереди занимая ванную и прихожую с зеркалом, Женька с Геннадием освежались отечественной «столичной» под родительские, маринованные еще с прошлого лета, подберезовики. Разговор вели в подчеркнуто серьезной интонации.

— Есть, Ген, серьезное предложение. Все же решил я Зинку с собой взять. Годик-другой так поживем, а потом может и все узаконим.

— А что, московские девки тебя не прельщают?

— Как тебе сказать, Генок. Москва она и есть Москва. Особенно сейчас, когда народ к деньгам потянулся. А деньги портят всех, но особенно слабых на умишко и передок баб. А когда тебе уже тридцать стукнуло, то валяться по чужим постелям или к себе стерв откровенных водить, рискуя у венеролога загостить, либо

того хуже — в спидоносцы податься, уже надоедает. Потом, сам не мальчик, женатый человек, понимаешь: все кошки в постели серы. Удовольствие же наше, в отличие от ихнего, скорее механическое. Да и Зинка по всем своим данным иной москвичке фору даст, в постели тем более. Главное — характер добрый и привязчивый, но без назойливости. Бабы опять же переимчивы, так что налет провинциализма в столице с нее скоро соскочит.

Опять же домашний быт какой-никакой пора налаживать. Я весь день в трудах и заботах: бар, фарца, а сейчас кооперация пошла, есть на этот счет кой-какие подвижки. В конце концов, надоело яичницу-скороспелку на ходу шамать и портить желудок во всяких забегаловках. А у меня еще со студенчества гастрит наметился. Вовсе не прельщает, как мои старушенции, со временем за санаторный стол № 5 усаживаться...

Главное, если дела с торговлишкой или чем иным пойдут, то свой бухгалтер понадобится, а у Зинки, сам знаешь, экономический диплом, да и практика уже солидная. Все к одному...

— Ну-у, дорогой, поздравляю!

— Подожди, сейчас девки напудрятся, так официально и объявим. Поздравишь, успеешь. Я тебе вполне конкретную вещь хочу предложить, с этим же и связанную. Дело в том, что недавно Зинка со своими родственниками, матерью с отчимом, бабкой и еще кем-то произвела какой-то многоступенчатый жилобмен. Теперь у нее однокомнатная «хрущевка» на Серебрянке, прямо через парк от твоего «обкомовского». Она ее уже успела отремонтировать, обставить вполне прилично для такого метража: что-то с прежней квартиры ей досталось, по мелочи прикупили. Хорошо это все у нее получается. Надеюсь, и мое московское логово тотчас в порядок приведет.

Так вот. Я, конечно, чту твои высокие моральные принципы и рад за тебя со Светкой, твое твердое устройство в жизни... но, сам понимаешь, порой хочется просто отдохнуть в одиночестве, не обязательно с девушкой с голубыми глазами... можно и с карими. Или действительно вовсе без них, без девушек. Например, с просто женщиной, с бутылкой, на худой конец — с умной книгой.

— Короче, Склифосовский! К чему, Женек, пургу гонишь?

— Фи, как некрасиво ты на современной фене ботаешь. Наслушался от своих студиозусов... Я к тому клоню, что можешь по своему разумению пользоваться Зинкиной квартирой. Не подумай, здесь *мы с ней* никакой корысти не имеем. Квартплату и за телефон — и это она умудрилась сварганить — по квитанциям из почтового ящика будет оплачивать соседка; Зинка с ней уже спелась, будет при наездах деньги ей оставлять. Ее же она и предупредит насчет тебя. Дескать, будет двоюродный брат заходить, посмотреть что и как; возможно — для храбрости — и не один.

Подумай, тебе хорошо, и нам раз в месячишко звякнешь: все, мол, в порядке, дом не сгорел, дверь не выломали. Но — никакой обязаловки сторожевой.

— Знаешь... заманчиво, да мне труда не составит раз в месяц заглянуть. Даже без использования жилплощади. Но... а если все-таки, например, зайду в тишине посидеть, книжку умную, как ты говоришь, почитать — ан, тут ее мать или кто еще придут, а? Ведь не успеешь объяснить, как в ментовку потащат!

— На этот счет не беспокойся, не такие у нас отношения с мамашей, чтобы ей ключ оставлять. Из-за отчима, понятно. Тот спьяну дважды пробовал Зинку трахнуть. Первый раз сковородкой по башке получил, а во второй — той же самой тыквой кинескоп у телика пробил.

— И что?

— А ничего, даже сотрясения не случилось; он ведь строителем лямку тянет; видно, привык, что кирпичи на голову падают. А после истории с кинескопом и мамаша на размен согласилась. Не потому, что дочь пожалела, а о себе подумала. Вот ведь как у баб биология над разумом преобладает: ее мужик дочь пытается изнасиловать, а виновата Зинка — мол, из вредности и безмужества отчима соблазняет. Так как?

— Пожалуй, да. И спасибо тебе.

— Во-о, догадался поблагодарить. Значит, так. Сейчас ключи не получишь, надо и Зинкину биологию учитывать; пускай в Москве себя хозяйкой почувствует, хотя в принципе она согласна. А через месячишко я прикачу с товаром и введу тебя, так сказать,

в домовладение.

Девочки! Давайте к столу, хватит помадиться, и так красивы.

* * *

Расходились перед самыми курантами после второго сеанса отдыха по комнатам. Зиночка провожала по-домашнему, в халатике, расписанном райскими птицами. Женька уже было набрал на телефонном циферблате *058* вызова такси, но Наташа заявила, что ей хочется прогуляться по городу в полночь, благо и спортивного телосложения провожатый имеется.

Девушки расцеловались, а Геннадий с Женькой дружески поручкались.

— Так ждем через месяц,— вдогонку сказал хозяин.

Судя по тому, что Наташа никак не прореагировала на эти слова, он понял: уже знает от Зинки. Выйдя из подъезда, она спокойно, уверенно взяла Геннадия под руку.

— Может все-таки такси? Твой суверен, наверное, беспокоится. Я-то своих предупредил, что поздно приду.

— Не ждет, не беспокойся, ибо еще позавчера отбыл на неделю в Пермь вышибать что-то по части... впрочем, неважно чего. Я в первом отделе подписку о неразглашении давала.

Чуть помолчала, приостановилась и заглянула ему в лицо:

— К себе не зову, ибо не хочу все портить. Да ты и сам это прекрасно понимаешь.

Они с полчаса шли по пустым улицам центра города, шли молча, но молчание это было теплым и доверительным. «Как добрые супруги из театра возвращаются»,— подумал он и внутренне поморщился, что вспомнил о театре. По понятной ассоциации.

— Думаю, что надолго нам прощаться не стоит,— многозначительно сказала она на прощание, рывком обняла, крепко поцеловала, улыбнулась как-то раскаянно и по-девичьи вбежала по ступенькам крыльца. Уже открывая подъездную дверь, обернулась:

— Стой здесь, я сейчас такси вызову.

Домой Геннадий явился к часу ночи, открыл дверь, не включая в коридоре свет, прошел в спальню, тоже темную. Нечувстви-

тельное доселе к боли сердце тоскливо защемило сложным чувством вины и жалости: выходя из такси, он видел квадрат окна спальни освещенным слабым неравномерным светом настольной лампы, что стояла на прикроватной тумбочке.

Также неумело притворяясь крепко спавшей и только-только полупроснувшейся, Света спросила тихо улегшегося рядом мужа:

— Вроде и не выпивши особенно... чем это вы с Женькой занимались заполночь?

— Так, ничем. Виски пили, потом кофе, и смотрели видик; Женька на продажу по заказу привез.

— Порнушку, небось? Типа «Заводного апельсина» или «Последнего танго», да?

— Спи, спи, Светик,— тихо отвечал он,— нет, не порнуху, а старые фильмы Стэнли Кубрика, «Лолиту» и еще два, я их названий даже раньше не знал. Видик и кассеты заказал помреж из драмтеатра; он вроде как диссер по искусствоведению сочиняет. Спокойной ночи, Светик, я что-то сегодня устал... да еще виски, как говорится, без содовой.

Света и вправду уснула, прижавшись к нему вполне определенно, но безответно. Геннадий мысленно махнул рукой на все свои сложные чувствования: потом, мол, разберусь, а пока спать. Приказал себе и тоже заснул.

Когда советские школьники, особенно золотых 60—70-х годов, на уроках рисования рассматривали репродукции художников Возрождения и чуть более позднего времени, то на картины с различными античными зверствами типа «Св. Марк освобождает раба» кисти Тинторетто смотрели несколько отстраненно. Для них это была такая историческая дичь, что невольно в наиболее умных головках возникала мысль: наверное, в те времена жили какие-то другие люди, которые также отличались от нас, как те же питекантропы и неандертальцы, про которых им на других уроках — по истории — Елизавета Степановна рассказывает.

Счастливые дети, счастливые времена! Это когда сейчас редкий день обходится без теле- или радионовостей с сообщением о краже людей в рабство, их редким освобождением. В Москве, белокаменной столице нашей родины, как с легкой гордостью сообщает теледиктор, даже открыли глубоко законспирированный приют для

беглых рабов. Главное, чего опасаются: чтобы прежние рабовладельцы вновь не вернули своих невольников. С ума сойти! А для чего же России МВД с численностью, превышающей строевую армию? И это в то время, когда свирепствует всякая толерантность. В приличном обществе или в официозе уже нельзя произнести самоназвание некоторых народов: негров, цыган... не говоря уже о ветхозаветных гражданах. Воистину, как любит говорить доцент Язвишин, мы уже живем в виртуальном мире, а это... как бы пополиткорректнее объяснить: все одно, что в сумасшедшем доме.

Гастарбайтный дворник Кизилов отчаянно невзлюбил жильца окормляемого им дома, доцента Енукидзе после истории с золотоордынским Узбек-ханом. Даже супруге его, Нинеханум жаловался. И когда доцент выходил утром трезвый из подъезда, или заходил в дом вечером несколько под хмельком, то Кизилов все норовил ему метлой под ноги угодить. Вроде нечаянно, хитрая мусульманская бестия! Но быть в вечной ссоре со своим дворником — все одно, что с тещей враждовать без перемирия, да еще проживая в одной квартире. Но как помириться? Одно дело — русскоязычный: принес бутылек-другой, выпили, и вот уже, обнявшись, поют в унисон «Сулико» или «Хасбулата»; Енукидзе причислял к русскоязычным мусульман Поволжья. А как с этим азиатом непьющим бишбармак сварить? В такие минуты горестных раздумий вспоминал Енукидзе строки Редьярда Киплинга: «Запад есть запад, восток есть восток, и вместе им не быть». Достанет доцент тайком от супруги Нины из личного тайника в кладовке заначенную плоскую бутылочку коньяка, выпьет на кухне, закурит и думает, думает... все о том же. И как это мы в СССР вместе хотели коммунизм построить за одну семилетку плюс две укороченные пятилетки? Водку не пьют, историю не учат, до денег жадные. Бог, точнее, аллах, с ними. И Енукидзе плавно перешел к более высоким категориям: вот, дескать, признал-таки народ новые порядки, а все потому, что коммунисты обещали рай на земле где-то в далеком будущем, а нынешняя власть уже сейчас его дала... правда, очень далеко не всем. Но зато даже у последнего бомжа виртуальная надежда появилась.

Глава двенадцатая.
ШКОЛА АПОЛЛОНА ИМ. СЦИЛЛЫ ЭРЕБСКОЙ

Страшная Скилла живет искони там.
Без умолку лая,
Визгом пронзительным, визгу щенка
молодого подобным,
Всю оглашает окрестность чудовище.
К ней приближаться
Страшно не людям одним, но и
самым бессмертным.

«Одиссея», песнь XII, ст. 85—88

— Вы находитесь, господа, в высшей школе резидентских кадров под эгидой пока еще тайного для непосвященных Правительства глобального миропорядка, в желтой и леворадикальной прессе именуемого «Тайным мировым правительством»,— зазвучали для нескольких десятков курсантов, собранных в овальном, умеренно затемненном зале, слова вышедшего из-за боковой портьеры к кафедре директора школы. Имя его не подлежало разглашению, а технический распорядитель рекомендовал называть его господином директором. А тот, судя по внешности и произношению английской речи, коренной американец с ирландскими корнями, продолжал:

— ...В определенном смысле вы — элита, отобранная из стран, занимающих 2/3 земной суши, включая СССР и некоторые лояльные нам мусульманские государства или общины-анклавы.

По каким признакам вас отбирали примерно из расчета одного на пятьдесят миллионов населения как конкретного, большого государства, так и групп стран, связанных исторически, экономически, религиозно и так далее? — Этого вам никто и никогда не скажет. Лишь приоткрою дозволенное: за каждым из вас с момента появления на свет велось незримое наблюдение, равно как и за всеми вашими предками по прямой восходящей линии на протяжении семи поколений. Более того, ваше воспитание корректировалось, опять же незримо, самыми современными, в том числе техническими, средствами.

Это наблюдение и коррекция велись в ситуациях, исключающих факт избранности для вас самих и всего окружения. Именно

поэтому до недавних времен ничто вас в жизни не выделяло в своем национальном, профессиональном, психосоматическом, интеллектуальном, групповом, цеховом усреднении. Поэтому не удивительно, что в предыдущем течении жизни вы были профессорами или в розницу торговали бананами, или, допустим, цветами; занимали высокие правительственные или партийные посты, или занимались мелочной спекуляцией; поучали прихожан с амвона церквей всех канонических религий или вели активную атеистическую пропаганду. И так далее, перечисление можно продолжать долго.

Опять же курсы ваши не первые и не последние; они собираются периодически. Многие из ваших предшественников уже активно проводят в жизнь идеи и задачи нашего правительства. Некоторые даже руководят государствами, являются министрами, руководителями корпораций в торговом мире, лидерами политических партий. Но — это необходимое нам исключение, большинство из них являются теневыми фигурами. Это исторически сложившийся стиль нашей многовековой работы, особенно активизировавшейся после сигнального мероприятия: Великой Французской революции 1789-го года.

Но, поскольку все тайное рано или поздно становится явным, мы не можем быть легитимными в полном секрете, поэтому в нужных случаях допускаем санкционированную утечку информации. В основном мы «сдаем» так называемому общественному мнению уже отработанный материал. Вот, например, стихотворение из малоизвестной леворадикальной газетки из России, которой уже недолго осталось красоваться своим гербом — серпом и молотом на фоне земного шара. Прослушайте, пожалуйста.

...Геннадий, как это бывает в перевозбужденном состоянии, понимал: все происходящее относится к сновидению, что сам он не «герой» сна, не курсант диковинной школы, но некий зритель со стороны — это вроде как мыслящая, тайно встроенная в стену малая шпионская видеокамера. Но и в таком, предельно фантазируемом сне Геннадий не смог бы предположить, что стихотворение с полностью схожим сюжетом, вплоть до поэтических образов, но только более искусно написанное, он встретит много лет спустя в заветной тетрадке любимой женщины, к которой он в неясных, неоформленных мечтаниях уже сейчас стремится, а свою большую лю-

бовь, но не растрачивая ее, как неопытный кутенок, что ищет свою мамку, тычась носом вправо-влево, примеряет то к Свете, то к Наташе. Так ему на роду написано было. Но — это все впереди. А директор школы со снисходительной интонацией читал строки, из которых вырисовывался убедительный портрет знаковой для Геннадия и трехсот миллионов его соотечественников фигуры — явного «выпускника» этой тайной школы: «...Его вели искусны кукловоды через Рейкьявик, Мальту, Лондон и Париж». Очень удался автору незатейливого стихотворения и обобщенный образ «пипла, хавающего, как скот» подачку «гуманитарной помощи второго сорта» с продовольственно-вещевых помоек Европы. Это в благодарность за все сданные некогда великой страной мировые геополитические позиции. Еще автор изобрел великолепное новое слове: *капитаклизм*.

А директор школы решил, что достаточно:

— И так далее на трех полосах малоформатной газеты. Как видите, в английском переводе звучит не очень литературно-образно, но смею вас заверить, что и в русском оригинале поэтические достоинства, мягко говоря, вторичны. Но смысловое содержание соответствует нашей санкционированной утечке.

Я вижу — вы внутренне насторожились, задумались о своей участи, да? Вам нечего беспокоиться, как говорится, своих мы не сдаем. И если необходимо ради достижения цели более высокой значимости легализовать нашего агента, то есть, попросту говоря, вывести из игры, то это для такого фигуранта равнозначно уходу на почетную пенсию с допустимой степенью роскоши жизни, с достаточной охраной, причем задача охраны состоит и в обеспечении безопасности фигуранта, и в сохранении им тайны всего известного ему. Но, как говорят русские, не бывает сотрудника КГБ на пенсии, поэтому и выведенные из активной работы фигуранты продолжают свою, то есть нашу, деятельность в легальной ее части. Обычно под эту деятельность создаются общественно-политические или культурно-образовательные фонды. В очень редких случаях возможны и те или иные варианты самопожертвования: от, к сожалению, физического уничтожения и тюремных сроков, до многолетнего исполнения роли якобы непримиримого врага идеи глобализма, Америки, мирового финансового империализма и так далее. Большая ваша часть может быть спокойна: эти варианты

относятся по преимуществу к мусульманскому ареалу, то есть к таким направлениям мировой бизнес-политики, как нефть, наркотики и ослабление и уничтожение СССР с его сателлитами в части отсечения его исламских союзников вплоть до прямой партизанской деятельности на его южных, особенно кавказских рубежах с постепенным вовлечением мусульманского Поволжья.

Кстати, сразу поясню тезис о трех «направлениях главного удара». Если нефть и уничтожение советской сверхдержавы самоочевидны, то вопрос с наркотиками требует разъяснения, ибо по этому вопросу мы не даем ни промили утечки информации.

* * *

— Итак, господа, казалось бы: зачем эти сложности с растительными наркотиками, когда современная химическая промышленность, тонкая органика может за считанные месяцы завалить весь мир дешевой синтетикой сврхубойной силы? Все дело не в самих наркотиках, но в цели, стратегии и тактики их производства и регулируемого распространения.

В современном мировом раскладе героин, морфий и марихуана не столько сверхдоходный бизнес, контролируемый, понятно, нами, сколько мощный геополитический фактор. Во-первых, это крепчайшая узда для стран-производителей; во-вторых, нормированием и распределением наркотиков по всему миру, включая, да-да, вне всякого сомнения, наши страны-гаранты, прежде всего Соединенные Штаты, позволяет нам гибко и эффективно нивелировать все мировое развитие: осаживать слишком зарывающихся и подстегивать, так сказать, заленившихся. Подумайте, и сами все расставите по полочкам. И поймите, что замена натурального продукта, как специально произрастающего в странах наибольшего интереса в узлах конфликтов, химией этот геополитический фактор начисто ликвидирует. И кроме того, намного преждевременно очистит планету от излишнего населения. Это все задачи будущего.

А теперь вернемся к основной теме и расставим все точки над «и». Самопожертвование и партизанские войны со своими же вам не грезят. Этим занимаются другие люди, проходящие другую школу нашего ведомства. Поэтому фальшивые джихады, якобы

угрожающие стереть американский империализм с лица Земли, руководимые явными и неявными агентами ЦРУ и Моссада, атаки самолетов на небоскребы Нью-Йорка и даже сам Пентагон, бесчисленные терроры по всему миру, включая благополучную Европу и приручаемую после разрушения СССР Россию — все это будут делать другие; вы же на ответственных постах будете «принимать» политические решения по факту этих, умело и хладнокровно направляемых событий.

И не подумайте, что я сболтнул лишнее; во-первых, вы должны быть в курсе наших действий с экстраполяцией на 5—10 лет вперед до их свершения; во-вторых, вы уже посвященные и за несанкционированную утечку информации несете неотвратимую ответственность; наконец, вам просто никто не поверит и прямой вам будет путь в спецпсихушку, кстати, под наблюдение наших же докторов.

Ваше же предназначение — работа политика, дипломата, финансового воротилы, организатора так называемого общественного мнения, кукловода, как пишет самодеятельный поэт в только что цитированной русской газетке.

...И все ради великой цели: власть над миром, власть избранных, имя и конгломерат которых вам пока еще не дано знать. А догадки попридержите про себя. Не исключена и возможность апокалипсиса; пусть меня извинят представители иных конфессий, хотя, сами понимаете, что в наших делах религия — дело сугубо служебное, но в данном аспекте я напомню вам соответствующее место Нового Завета: «*И когда Он снял четвертую печать, я слышал голос четвертого животного, говорящий: иди и смотри.*

И я взглянул, и вот, конь бледный, и на нем всадник, которому имя «смерть»; и ад следовал за ним; и дана ему власть над четвертою частью земли — умерщвлять мечом и голодом, и мором и зверями земными».*

У вас, кстати говоря, будет отдельный спецкурс использования религиозных традиций для решения текущих оперативных и стратегических задач. Поэтому просто приведу характерный пример такого использования. Коль скоро сейчас у нас направление главного удара — разрушаемый скорыми темпами СССР-Россия, то и при-

* Откровения Иоанна Богослова, гл. 6, ст. 7, 8.

меры я, как вы успели отметить, привожу по данному территориально-государственному образованию.

Так вот, возьмем навскидку самую глушь необъятной, но нами до квадратного метра контролируемой, России: поселок *Игра* — ударение на первом слоге — в малопроходимом еловом лесу близ реки Камы, в Удмуртской республике. Да-да, по вашему оживлению понимаю, что такую республику, то есть штат в СССР, вы уже знаете и знаете по той только причине, что на территории этого административного образования, а именно в промышленном городе Воткинске, сейчас свершается заключительный акт одной из наших недавних побед по лишению России ее военной мощи: под наблюдением американских специалистов на тамошнем крупном военном заводе свертывается производство советских ракет средней дальности — наиболее эффективного оружия современных войн. Да, мы принудили их это сделать через занимающих сейчас в СССР ответственные посты ваших коллег, только несколькими годами раньше прошедших посвящение и подготовку в нашей школе.

Однако, вернемся к поселку Игра. Дело в том, что коренное население тех мест, удмурты — народ угро-финского племени. Где-то до четырнадцатого-пятнадцатого веков они являлись язычниками. Затем, по мере роста влияния Московской Руси, освобождения от опеки Золотой Орды и расширения за счет восточных территорий, удмурты были крещены в православие знаменитым святителем Стефаном Пермским, высоко почитаемым Русской православной церковью. То есть уже полтысячелетия удмурты живут на канонической территории московского патриарха. Понятно, что в глухих лесных деревнях сохранились и приверженцы языческого культа и даже языческие священники. Никто на них внимания, ввиду малочисленности язычников и их нулевого влияния на духовную, культурную, тем более светскую жизнь, не обращал до недавних пор. Даже официальные атеистические чиновники из Удмуртского обкома КПСС.

И вот как-то просматривал в аналитическом отделе аннотированный обзор-дайджест по деятельности субсидируемого нами через подставные фонды типа «Всемирной амнистии» советского правозащитного общества «*Мартиролог*» и наткнулся на заметку из его печатного органа — газеты «Другой Октябрь», где в одобрительной

интонации сообщается, как в удмуртском поселке Игра наладилась своеобразная экуменическая практика: языческий священник, *восясь* по-тамошнему, одновременно поклоняется удмуртским богам и читает по-русски молитвы, крестясь на православный иконостас. И как положено, заметка заканчивается макиавеллевским вопросом: «Ведь прихожан не так много и почему им не быть всем вместе?»

...Как гласит русская пословица, скоморох попу не товарищ, а вот здесь все наоборот. Как говорится, все нашими молитвами. Хотя мы и сугубые научные атеисты. Понятно, что ни этот дикарь-восясь, ни даже «Мартиролог» со своим «Другим Октябрем» ни сном, ни духом не догадываются: откуда уши растут? — И кто надоумил восяся, кто ослабил бдительность местного епархиального руководства и обкомовцев из Ижевска? Вот это, господа, и есть низовая работа — создание всеохватывающей сети.

Итак, кто-то находит язычника с экуменическим уклоном, а кто-то уже на уровне средней и даже высшей церковной иерархии в Москве и Киеве заранее, за десятилетия наперед готовит и раздел канонической православной территории между будущими, но уже недалекими, самостоятельными государствами Россия и Украина...

Так, господа посвященные, я заканчиваю свое краткое введение в вашу будущую, так сказать, специальность. Все остальное в должной степени конкретики вы узнаете на лекциях и семинарских занятиях по специализированным курсам. Со мной же вы увидитесь через месяц на выпускных экзаменах.

* * *

Следующей по расписанию значилась вводная лекция по генофенотипическому регулированию в цепи поколений асоциальных трансформированных личностей, как функционеров Мирового правительства, исполнителей глобального переустройства всего мира.

— В определенном смысле, господа посвященные, тема этой и ряда последующих лекций и практических, лабораторных занятий во многом прояснит и технологию подготовки и отбора вас самих для предуготовленных целей,— заметил в самом начале лекции профессор Ольбрехт Занисски, которого курсанты до этих пор знали только как ярого антикоммуниста и организатора «холодной»

войны, занимавшего в 60-70-е годы высокие посты в администрациях Белого дома* и Капитолия. Многие сейчас полагали, что Занисски либо уже в аду, что естественно, или разменял свой девятый десяток, проживая на покое на своем ранчо где-то в штате Нью-Мексико... И вот он, подтянутый, умеренно моложавый в свои восемьдесят два года, легкий в профессиональном сценическом движении перед ними.

— Вы и сами прекрасно осознаете, что заметно отличаетесь от своих соотечественников, даже если вы коренной русак, живущий в России; прямой потомок Германа Херуска из Берлина; коренной пражанин или шейх-араб. Тем не менее это так. Как писал в своей блестящей повести «Рудин» русский писатель Иван Тургенев, Россия без каждого из ее жителей обойдется, а вот он, отдельно взятый, без нее будет несчастлив. Но вдвойне несчастлив тот, кто может обойтись без России. Вдумайтесь, господа! Но ведь все вы, де-факто отторженные от своих народов, социумов, государств, вовсе не ощущаете себя сколь-либо несчастными; даже совсем наоборот. Ибо вы так воспитаны, так отобраны из миллионов, так, в конце концов, запрограммированы. Даже присутствующие здесь русские... я говорю только об этнических русских...

Большинству курсантов из цивилизованных стран хорошо был известен «пунктик» Ольбрехта Занисски: его холерически враждебное неравнодушие к России, СССР, всему советскому и русскому; даже не столько к советскому, сколько именно к русскому: настоящему и историческому. С такой исторически обусловленной ненавистью к России могут относиться только выходцы из Польши, отчасти — Венгрии. Даже представители ветхозаветной нации, несмотря на полуторавековую «черту оседлости», в массе своей такого нигилизма лишены. На то она и нация мудрецов. А поляки во все времена помнили и будут помнить три раздела Речи Посполитой и с полдюжины больших и малых восстаний против русского царя, будут помнить штурмы Варшавы, силу русского

* Необходимо уточнение: обезьянничество в современной России дошло до абсурда; самые высшие руководители страны публично именуют здание на Краснопресненской «Белым домом»; просьба на путать: здесь речь идет о резиденции президентов США (Авт.).

штыка армий Суворова и Паскевича.

И еще они знали: Занисски — не тупой, напролом прущий ненавистник всего русского, но в высшей степени расчетливый, умный интеллектуал, политик и организатор «холодной» войны в кульминационной ее стадии. И о русских, о России он знал досконально все: от слабостей былых и нынешних правителей до фактологии и глубинных течений классической и советской русской литературы. Отсюда и его постоянные цитаты из Тургенева, Льва Толстого, Достоевского и даже Шолохова и Леонида Леонова. На прекрасном русском языке он любил к месту произносить строки его любимого стихотворения Федора Сологуба «Нюрнбергский палач»:

Кто знает, сколько скуки
В искусстве палача!
Не брать бы вовсе в руки
Тяжелого меча.
. . . . . .
Народною боязнью
Лишенный вольных встреч,
Один пред каждой казнью
Точу мой темный меч...

— Но вы, господа, вовсе не изгои, не «нюрнбергские палачи», выполняющие свою скучную и страшную работу. Нет, вы — провозвестники будущего. Мы, подобно коммунистам-утопистам и исповедующим христианство, уверены в этом будущем, но, в отличие от их воззрений, оно будет вовсе не святым и безоблачным. Будет оно во многом, если не во всем, таким, что узнай это, род людской добровольно воздержался бы от своего продолжения. Но так необходимо неумолимому ходу истории, всей дальнейшей эволюции человека разумного. И вы — его провозвестники, но тайные; вы — творцы нового мира стабильности и упорядоченности.

Мы создали вас толерантными к самой идее работы на такое будущее; теперь и ваша очередь пришла активно действовать, в том числе создавать последующие поколения себе подобных. Но для этого нужны власть, деньги и сакральное знание. Приобретением последнего мы с вами и займемся.

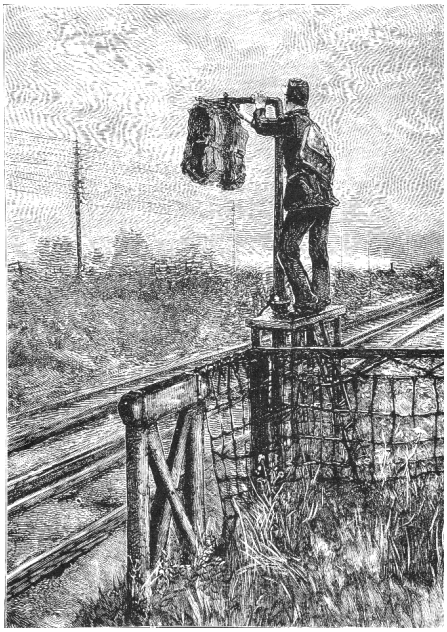
* * *

— И еще одна ремарка перед тем, как перейти к основному содержанию нашего курса. Вы достаточно подготовлены в рамках общеисторического и геополитического знания, чтобы не сомневаться в направленности движения этой истории и геополитики, по крайней мере с восемнадцатого века и особенно со «стартового» 1789-го года. Понятен, разумеется, и общий смысл наших усилий за эти прошедшие двести лет: замена реального монархического и тоталитарного правления в различных государствах, прежде всего европейских, а также в царской России и СССР, на управляемое демократическое. В нашем, конечно, понимании демократии: *наша* власть над становящимся все более *нашим* миром через ни за что не отвечающие фигуры, избранные посредством отработанных политтехнологий — информационного психотронного оружия.

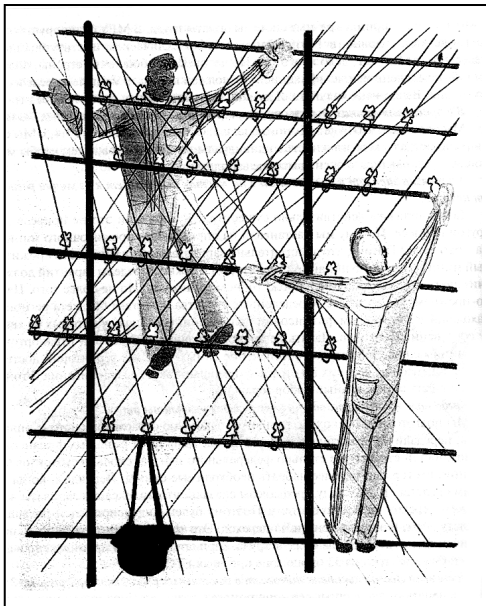
Поясню, почему нельзя было «приручить» монархов, включая сюда вождей XX века, и потребовалась их ликвидация; здесь исходим из аксиомы: цари правят, избранные правители — руководят. А это очень большая разница: править и руководить. Правление, особенно династическое, предполагает формирование в цепи поколений атипичных личностей, но не асоциальных, кого готовим мы, а надсоциальных. А это самый активный наш враг: его невозможно подчинить, а надсоциальность делает его богом своего социума, государства, то есть равновеликим для всех социальных групп, кроме люмпенов, понятно, и... наших клевретов.

Руководящие же правители в рамках демократических институтов, не имея, как правило, генофеотипической подготовки в цепи поколений, исключая нашу, тайную, конечно, не являются атипичными, а следовательно, и надсоциальными. Асоциальными? — Пожалуйста, но это и есть наши кадры.

Итак, сейчас мы переходим от общих рассуждений и вводных замечаний к изучению технологии подготовки асоциальных личностей, так сказать, в расширенном ассортименте. Это не штучный товар, каким являетесь вы, посвященные, но множественные ядра-вкрапления в структуру социума, в итоге своей деятельности либо перенастраивающие его в нужном нам направлении, либо его уничтожающие.



Станционный служащий Вельясов уже в третьем поколении работал по семейно-родовой профессии: готовил к сбросу спешную почту на проходящие скорые поезда: станция Песковатая столь мала и вдалеке от университетских центров, что они на ней не останавливаются. Изобретение пережило крепостное право и вот застало эпоху РАО РЖД и Интернета на глухой станции Песковатая. Конечно, никакие поезда уже не снимают сумку с почтой, но должность Вельясова забыли упразднить, и вот он к каждому проходящему поезду закрепляет сумку со старыми газетами на кронштейн, а по проходу состава снимает и относит в свою будку. А по вечерам, прихватывая и начало ночи, пишет семейные мемуары под названием «Поезда трех поколений. 1897—20... гг.». Как он полагает, последние цифры в названии он поставит, когда поезда перестанут ходить мимо Песковатой, а рельсы продадут китайским купцам. К этому дело и идет. При деде Вельясова составы безостановочно везли русскую пшеницу в Европу, обрекая крестьян на голод. При отце круглые сутки тяжелогруженые поезда везли станки, уголь, словом, все, что страна производила и сама потребляла. Этот период и сам Вельясов застал. А теперь? — Раз в трое суток пройдет неполный пассажирский, а товарняки и вообще редкостью стали. Оно и понятно: от них сникерсы и лекарства везут фурами, а к ним товар отправляют по трубопроводам.



«Электромонтер» А.А.Дейнеки (1930г.)— апофеоз художественного отображения великой индустриализации СССР. В музыке — это «Время — вперед!» Свиридова, в литературе — «Цемент» и «Энергия» Федора Гладкова, в архитектуре, конечно, конструктивизм Татлина и Ле Корбюзье. Все тогда служило идее образности, но без фантазий модернизма, функциональности, но при сохранении образности. Резюме: героическая эпоха требует для своего воплощения в искусствах приемов романтического реализма. А какое искусство сейчас у нас, в эпоху движения по жизни без руля и без ветрил? — Да как-то сразу и не сообразишь. Сразу в голову лезут беспрерывные скандальные вернисажи в выставочном зале на Крымском валу. Опускаем все пикантные подробности, живописуемые ТВ, просто скажем: в эпоху безвременья, особенно не обусловленного естественной сменой социальных формаций, искусства как такового нет, а есть некое ремесло, сочетающее творческую беспомощность, лакейское подражательство, веселую наглость и, в основном, экономическую заинтересованность. Подчеркиваем: в основном, то есть, здесь хотя бы понятен движущий мотив этого вида ремесленничества. А вот кто не имеет этого интереса к долларам, евро, на худой конец — к рублям, то это уже ближе к клинике, то есть... к неуемному модернизму. Итак, круг замкнулся.

Глава тринадцатая.
ШКОЛА АПОЛЛОНА: САКРАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ХАРИБДЫ

Волны соленого моря обратно
глотала Харибда,
Внутренность вся открывалась ее:
перед зевом ужасно
Волны сшибались, а в недре утробы
открытом кипели
Тина и черный песок. Мы, объятые
ужасом бледным,
В трепете очи свои на грозящую
гибель вперяли.

«Одиссея», песнь XII, ст. 240—244

— Итак, господа, сейчас мы на примере индуцирования параноидальных расстройств проиллюстрируем эффект формирования и расширения круга асоциальных личностей, далее будем для краткости его называть «асоциальной инфекцией» и учитывать то обстоятельство, что асоциальным личностям в определенной степени присущи симптомы паранойи.

Говоря об асоциальной индукции, мы располагаем лишь статистической картиной нарушения нравственного поведения личности. Но нас более интересует динамика, то есть собственно асоциальная инфекция, распространение такого расстройства на большую группу в структуре социума, а это в определенной, неконтролируемой стадии привело бы к критически неустойчивому состоянию всего общества; отсюда и межнациональные конфликты, общий упадок в жизни социума... далее это можно продолжить и на катастрофу всей земной цивилизации. Но, как сказал один из классиков новой европейской философии, всякая идея, доведенная до совершенства, есть абсурд. Поэтому, поскольку гибель нашей цивилизации пока

никого не прельщает, то мы и говорить будем о разумно управляемой инфекции. Здесь прямая аналогия с обычной медицинской инфекцией: несопротивление распространению холеры, чумы и даже столь привычному гриппу могло бы ликвидировать большую часть населения Земли. Индукцией же здесь является сама природа. Но и человек может быть индуктором эпидемий и пандемий; это эффект применения бактериологического оружия. В настоящее время это в общественном мнении и официальных международных актах полагается антигуманным, и всякий апологет этой идеи подлежит остракизму. Возможно и другое, более объективное мнение: бактериологическое оружие, впервые разработанное и опробованное на военкомплексах во Вторую мировую войну японцами на территории Манчжурии, опередило свое время.

Все дело в том, что в реальном мире, разобщенном, постоянно враждующем, биологическое оружие, равно как и химическое, активно примененное немцами в Первую мировую войну, в эпоху всеобщей доступности достаточно элементарных научных знаний и технологий, стало бы «атомным оружием» бедных стран, в том числе и стран-изгоев. Поэтому эти виды оружия и были запрещены под единым патронажем противостоящих во всем и всея держав и их сателлитных блоков. Но, возможно, другая ситуация в едином, глобализованном мировом социуме позволит и по-другому подойти к этому вопросу. Однако это дело далекого будущего, и вашему контингенту вникать в него излишне. Только замечу, что в конструируемом нами всемирном социуме понятие морали и общечеловеческих ценностей будет заметно отличаться от ныне принятых...

Теперь вернемся к теме нашей лекции.

* * *

— Итак, рассмотрим индукцию и инфекцию паранойи, как заболевания — наиболее эффективного источника асоциальных личностей.

Согласно международной классификации болезней — в ныне действующей ее десятой верификации,— паранойя относится к мо-

носимпатическим психическим расстройствам, так как единственным ее проявлением является устойчивый и не изменяющийся бред. При этом ложные мысли и идеи имеют обыденное содержание: больной полагает, что его преследуют, постоянно уничтожают, подчеркивают его неполноценность. Вне этого, достаточно узкого, специфического интеллектуального расстройства у больных обычно не имеется никаких других нарушений поведения, странностей или причуд. Поэтому в специальной литературе иногда используется паритетное определение заболевания: интеллектуальная мономания. Попутно замечу следующее. Паранойю весьма сложно констатировать. Здесь нужно достаточно длительное наблюдение за носителем этого заболевания. Поэтому знаменитая легенда о том, что якобы русский академик Бехтерев после рядового врачебного осмотра Сталина, жаловавшегося на переутомление, вышел от него со словами «он же параноик» — это для сущих болванов, на девяносто процентов из которых и состоит любая масса. Понятно, что миф этот выпущен из «наших мастерских» дезинформации еще при жизни генералиссимуса... И якобы эти слова стали смертным приговором ученому... Даже если бы Сталин и был параноиком, что есть, конечно, нонсенс, то диагностировать это за час с четвертью даже Бехтерев бы не сумел. Тем более, что этот русский академик вовсе не был практикующим психиатром, но, наряду с Павловым и Сеченовым, являлся выдающимся психофизиологом, что, вообще говоря, есть несколько другая медицинская специальность. Распространяя эту легенду, мы просто учли, что в России широко известны успокоительные капли «бехтеревка», потому в общественном сознании и затвердилось: Бехтерев — великий психиатр, а его диагноз Сталина есть истина в последней инстанции...

Удивляться, господа, здесь нечему. Это специфика психзаболеваний. Ведь даже человека с тяжелейшей формой шизофрении, наиболее тяжкого психического заболевания, достаточно сложно идентифицировать. Наиболее наглядно это выражено в известном медицинском анекдоте; в качестве разрядки приведу его вам.

Психиатрическая больница. Работает комиссия по выписке, санитары приводят больного *N*. Членам комиссии зачитывают обнадеживающую выписку лечащего врача. Они задают тестовые во-

просы и удовлетворяются ответами выздоровевшего. Уже подписывая разрешение на выписку, главврач обращает внимание на то, что *N*. держит все время правую руку за спиной; дальше — больше: в руке бечевка, а привязана она к галоше, которую пациент притащил за собой.

— А-а, что это у вас там, милейший?

— А это Жучка, собачка моя породы бультерьер.

Поскучнели члены комиссии и отправили *N*. на повторный курс лечения.

Через три месяца повторная выписка. Тот же обнадеживающий результат, но и галоша на бечевке. На соответствующий вопрос пациент весело смеется:

— Это галоша, захватил как в прошлый раз, чтобы повеселить вас.

Вышел *N*. из ординаторской с пропуском на выход из лечебницы, наклонился к галоше, погладил ее:

— Молодец, Жучка, не гавкала. Здорово мы их, белохалатников, провели?

Вот в этом и вся специфика психзаболеваний. И нам нужно научиться индуцировать таких личностей и регулировать их потребное число для наших целей: тактических, оперативных и стратегических долгосрочных.

Исходим из того, что совокупность различных расстройств личности на протяжении достаточно долгого времени в определенном смысле самовоспроизводится в генетическом и социальном смысле в некоторых, специфических группах социума. Вот эту-то динамику воспроизводимости в психиатрии и называют индукцией, то есть воздействие личностей друг на друга в части передачи идей, которые в быту принято называть бредовыми. У нас на этот счет иное мнение. Нас же более всего интересует ситуация паранойяльного бреда — интерпретативного, интеллектуального. В этой-то вот ситуации асоциальная личность вроде как правильно мыслит в пределах ложно установленных истин. Не надо путать с бредом параноидным; последний имеет чаще эмоциональный оттенок, например, бред преследования.

Индуктором передачи бреда являются, как правило, личности,

страдающие подлинным — в медицинском смысле — психическим расстройством. Пока не будем касаться явно социального аспекта передачи обычно хорошо законспирированного и сознательного бреда различными индивидуумами или организациями: клевета, очернительство, предвыборные и иные санкционированные *PR*-кампании. Тем более, что все это вы давно уже используете в своей практической деятельности.

Острые и преходящие психотические расстройства обычно первично связаны со стрессовыми ситуациями, имевшими место за десять — полтора десятка лет до появления симптомов расстройства. Они характеризуются острым началом психотических симптомов: бред, галлюцинации, расстройства восприятия, явное нарушение норм обычного поведения. Полное выздоровление — дело нескольких недель или даже месяцев. Такие расстройства либо вовсе не имеют симптомов шизофрении, либо же последние наличествуют: «вкладывание» чужих мыслей при остром бреде или при циклоидном психозе.

Далее пойдем. Индуцированное бредовое расстройство возникает для двух или более лиц, находящихся в тесном эмоциональном контакте. Запомните, господа: вся специфика ситуации здесь в том, что из этих трех или более лиц *только один* имеет истинное психотическое расстройство, а для остальных бред индуцирован при полном даже психофизическом здоровье. Поэтому у индуцированных бред сам по себе и исчезает при прекращении контактов, прежде всего эмоциональных, с больным-психотиком.

Таким образом, различают индуцированное параноидное расстройство и индуцированное психотическое расстройство, адекватное имеющемуся у индуктора.

* * *

— Характерным признаком, симптомом таких расстройств является их достаточно быстрая динамика. Нарушения поведения, как правило, завершаются выздоровлением в достаточно короткий — для стандартных психзаболеваний — срок: не более двух-трех месяцев. Даже на недели может идти счет.

Далее еще интереснее. Наблюдая последовательность смены поколений в определенной группе социума, чем-либо выделяющейся на фоне окружающей их среды, можно отметить: характерные устойчивые черты социального поведения этого «меньшинства» социума только частично можно объяснить тем же психотическим расстройством у их родителей и передачей феногенотипически вполне определенного бреда своим детям, вообще всем близким по нисходящей линии кровного родства. То есть это не обычное для медицины наследственное, генетическое заболевания.

Тысячелетний опыт психиатрии — от интуитивной древней до современной научной — свидетельствует: существуют такие состояния и модели поведения клинической значимости — именно это нас и должно интересовать,— которые имеют тенденцию к устойчивости и возникают как выражение *характерного* образа жизни индивидуума из данной группы или чем-то обособленной популяции и его взаимоотношений с окружающими в плане всей уже инфраструктуры социума. Некоторые из этих состояний и образом, моделью поведения рано появляются в ходе индивидуального развития-воспитания как результат одновременного воздействия конституциональных факторов и социального опыта, в то время как другие приобретаются на более поздних возрастных этапах жизни.

Расстройства личности и поведения в зрелом возрасте являются глубоко укоренившимися и длительными моделями поведения, что проявляется как, так сказать, негибкая ответная реакция на самые различные личные и общесоциальные ситуации. Такие расстройства есть значительные отклонения от способа, которым обычный человек конкретного уровня культуры и воспитания воспринимает, мыслит, чувствует и — что главное — общается с окружающими.

Такие расстройства чаще всего связаны с субъективными переживаниями и неувязками социального характера. Эти расстройства почти всегда связаны с выраженными личными страданиями и социальным распадом: внешность, отличающаяся от коренной национальности, развод родителей и так далее. Эти расстройства обычно проявляются в детские или подростковые годы и продолжаются в течение дальнейшей жизни.

Отметим далее лишь те расстройства личности, которые, как нам представляется, явно связаны со специфическими, ярко выраженными чертами поведения, по крайней мере, отдельных устойчивых групп, популяций в структуре социума. Это, прежде всего, параноидное расстройство личности: подозрительность, склонность к извращению действительности путем истолкования действий окружающих как враждебных или пренебрежительных, упорное сознание собственной правоты, преувеличенное самомнение.

Здесь отметим личности экспансивно-параноидные и обидчиво параноидные. Еще отметим диссоциальное расстройство личности: пренебрежение к социальным обязанностям, черствое равнодушие к «не своим», заметное несоответствие между поведением больного и базовыми социальными нормами, агрессивность, обвинение «не своих», правдоподобные объяснения своему поведению, приводящему их к конфликту, например, с коренным населением или просто к основной массе населения в мононациональном социуме. Вариантов здесь можно назвать множество.

Здесь отметим прежде всего личности аморальные и асоциальные — в агрессивной степени уже и вовсе антисоциальные. Отметим еще эмоционально неустойчивое расстройство личности, более характерное для женщин; пусть извинят меня три присутствующие в зале дамы: сварливость и конфликтность по отношению к «не своим», личная агрессивность. Наконец, отметим истерическое расстройство личности: театральность, эгоцентризм, отсутствие внимания к «не своим», внушаемость. Личности истерические и психоинфантильные.

* * *

— Господа! Прежде чем пытаться выдвигать гипотезы о некоей возможной последовательности-динамике этих расстройств или о динамике некоторых групп расстройств, что более вероятно, рассмотрим умозрительно и более подробно существующий опыт и обобщения в психиатрии подобных нарушений поведения.

Довольно близки к ним хронические бредовые расстройства, которые обычно устойчивы и иногда пожизненны. Здесь особо от-

метим паранойю, параноидальный психоз, параноидное состояние и их частные формы.

Практически общепризнано в мировой медицине, что основные причина бредовых расстройств относятся к психосоциальным. Главными провоцирующими моментами здесь являются психические травмы, особенно случаи унижения, физического или психического насилия в прошлом, преимущественно в детстве. В результате нормальное чувство базисного доверия не формируется, и такая личность оказывается исходно ориентированной на ощущение враждебности ближайшего окружения или всего мира, но в большинстве случаев выраженной патологии выявляются некие «особо опасные» лица или «специфические» для данного пациента группы лиц или ареала социальных отношений.

Манифестация расстройства обычно приходится на зрелый возраст с экстремумом где-то в сорок — сорок пять лет; далее оно имеет тенденцию хронического течения.

Паранойя относится к психиатрической патологии, но ее стертые или смазанные формы встречаются повсеместно и сопровождаются всеми теми же феноменами и эффектами, что и клинические случаи. Однако в случае психологического подхода мы говорим не просто о паранойе, а о — так сказать — «застревающей личности», для которой характерны следующие основные симптомы: трудности в смене психологических установок, чрезмерная фиксация на негативных переживаниях, склонность к аккумуляции неотреагированных эмоций в сочетании с упрямством, педантичностью, злопамятностью — и все это в сочетании с выраженной наивностью. Выберите, господа, свободные полчаса и, так сказать, ретроспективно пропустите через свою память свой же круг знакомых: вне всякого сомнения, встретите людей с названными выше симптомами.

Далее, среди способствующих факторов можно и нужно отметить завышенную самооценку, конфликтность в части требований и трудностей жизненной борьбы, повышенную эмоционаивность типа обильного жестикулирования, как у женщин, во время разговора, брызгание слюной при этом и так далее. В результате формируется

склонность оценивать и толковать жизненные опыты более или менее произвольным образом, с чисто личной, субъективной точки зрения, приводить их в связь с собственными желаниями и опасениями.

При всем этом направления мыслей ведут к убеждению в избранности, соединяющемуся со склонностью к публичной проповеди, поиску последователей, что довольно часто им удается. Замечено, что передача болезненных расстройств от одной личности к другой — так называемое индуцированное помешательство — чаще всего встречается именно при паранойе. При этом сомнения и предположения постепенно превращаются в уверенность и затем в непоколебимое убеждение.

Позвольте, так сказать, лирическое отступление. По долгу своей деятельности мне пришлось, как вы уже, очевидно, заметили, очень хорошо познакомиться с русской литературой — классической XIX—XX веков и советской. Выдающиеся русские писатели являлись интуитивно превосходными психологами. В частности, в рассказе «Два гусара» Льва Толстого описывается один персонаж, уездный помещик средней руки, который страстно мечтал всю жизнь стать военным кавалеристом, хотя в молодости прослужил всего лишь несколько лет в Белевском пехотном полку самым скромным юнкером.

Но желание иметь «кавалерийское прошлое» так возобладало в нем, что, как пишет Толстой, сначала он перевел это делание в якобы имевшую место действительность, а затем и сам поверил, что служил в коннице. Вот это, господа, и можно рассматривать как легкую, ни для кого не обидную или тягостную субпаранойю. И чтобы подчеркнуть эту необидность, великий писатель далее поясняет, что, несмотря на выдуманное кавалерийство, этот помещик оставался добрейшим и приятнейшим во всех отношениях человеком. Так что — читайте классику XIX века, господа, особенно русскую и французскую! Не будь это обидно для сидящих в зале представителей других этнокультур. Впрочем, все вы уже по определению не принадлежите ни к одной из них, ибо вы — граждане и функционеры надгосударственной идеи, граждане мира, как любил себя называть скандально известный русскоязычный поэт, лау-

реат Нобелевской премии, ныне покойный.

* * *

— И снова, господа вольнослушатели, ха-ха-ха, вернемся к России, только совсем недавней. Вспомним наших славных диссидентов. Именно *наших*. Ибо на них была опробована еще одна, особая модель асоциальных личностей — так называемый тип *параноиков борьбы*, когда бред выступает в форме активного утверждения собственной правды перед всем окружающим миром его социума. Типичные проявления расстройства в этом случае сочетают в себе идеи унижения, внутренней гордости — правоты и бреда величия. Такое расстройство достаточно часто инициируется каким-либо постыдным или унизительным переживанием.

В качестве рабочей гипотезы можно предположить, что при наличии в исторической генеалогии тяжелой психической травмы, связанной с некогда бывшим унижением, через какой-то достаточно длительный период могут вызреть ложные идеи, которые, при наличии сопутствующих условий, дополнительных негативных социальных, экономических или политических факторов далее превращаются в непоколебимую убежденность. За конкретными примерами, где индукторами выступает значительная часть социума, далеко ходить не надо. Это сорок миллионов негров в США с их памятью о рабстве на плантациях Техаса и Нью-Мехико; кавказцы в России с памятью о покорении в прошлом; там и старообрядцы, которых цари преследовали и унижали во много крат больше, чем представителей ветхозаветного народа; это целые народы: ненависть поляков к России, балканских народов к туркам за 500-летнее рабство и извечная, сейчас, правда, затаенная, ненависть немцев ко всему миру за унижение двух мировых войн. Свои «пунктики» есть у французов, англичан, испанских басков, ирландцев, венгров... словом, что ни город, то норов.

Следует помнить, господа, что наша психика устроена таким образом, что наиболее тяжелые, мучительные, вовсе непереносимые воспоминания вытесняются из активного сознания в подсознание: как в компьютере мы переносим отработанную информацию из оперативной памяти на винчестер. Тем не менее, именно

они определяют весомую часть поведенческих реакций и мотиваций сознательной деятельности, а применительно к социумам или субсоциумам — мифологию, искусство, политику, литературу, самооценку, отношение к своим лидерам и — особенно — историческим обидчикам.

Установлено, что детям от родителей передается нечто большее, чем просто тревожность или иные аффекты депрессивно-маниакального характера. То есть подвергшиеся тяжелой психической травме взрослые могут вложить травматизированный образ себя в формирующуюся идентичность своих детей. В итоге дети становятся носителями ущербного родительского образа. Общие темы унижения, обиды, оскорбления могут как бы отсутствовать в общественном сознании, но именно «как бы» — так как они всплывают каждый раз, как только речь заходит об обидчике.

Итак, господа, общая картина формирования асоциальных личностей вам, надеюсь, ясна. На практических занятиях с использованием психосоциального программирования и современных сверхскоростных компьютерных комплексов вы сможете моделировать всевозможные реальные ситуации. Так же вы научитесь дифференцировать параноидальные состояния личностей и масс, различая паранойяльный психоз, паранойяльное развитие, сенситивный бред отношения, паранойяльную акцентуацию и паранойяльное развитие личности, ее же расстройство, индуцирование бредового расстройства, индуцированное воздействие в цепи последовательных поколений и многое другое.

Все это вы освоите и в своей практической работе в своих странах будете плодотворно использовать полученные сакральные — сокрытые от масс — знания.

В заключении вводной лекции еще раз подчеркну именно этот практический момент. Знание путей формирования асоциальных личностей с преобладанием качества паранойяльного бреда дает вам эффективное психологическое оружие управления массами в *нужном нам* направлении. На первый, житейско-бытовой взгляд и само это утверждение кажется бредом: использовать сумасшедших для управления целыми социумами, государствами, а в итоге — и всем миром на этой не лучшей из планет. Но это именно так.

И только мы это ясно осознаем: миром правит и движет безумие! Но — нами жестко управляемое безумие.

Лекция окончена. Прошу пройти в лабораторию психофизиологического закрепления усвоенного материала.

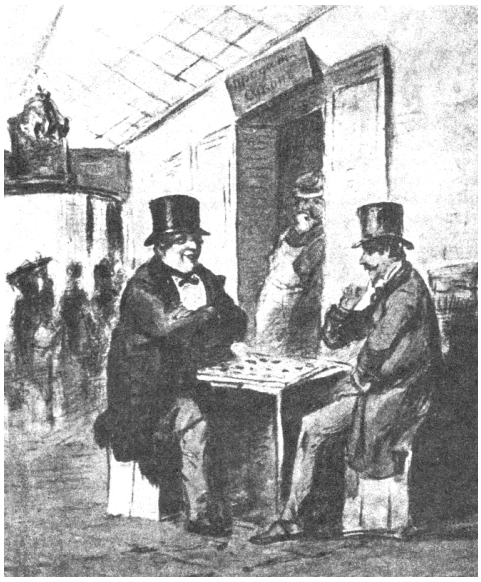
* * *

«Все,— подумал в первую секунду проснувшийся резко Геннадий,— пора прекращать читать книги из Светкиного книгохранилища. Больно умными были их авторы в первую четверть века... потому и накаркали две мировые войны, третью «холодную» и сотни малых, оттого не менее кровопролитных. Амба!»

Усилием воли и больной не столько по причине похмелья, сколько от страшного, методичного сна, каждое слово которого он ясно помнил, он отогнал навязчивый, монотонный голос Ольбрехта Занисски... и тут его прямо из холодного пота пробуждения бросило в жар стыда и раскаяния от вчерашней близости с Наташей.

«Все, надо с этим заканчивать; до добра это не доведет. Уже и не вспоминаю об элементарной порядочности. Стыдно, кандидат философских наук и воспитатель юношества!» — Несколько напыщенно (а это уже последствие алкоголя) завершил Геннадий внутренний монолог-раскаяние.

Осторожно повернул голову влево: Света спала, ровно и тихо дыша. Было бы уже запредельным бесстыдством будить ее обычным способом. Он осторожно встал с постели, накинул халат и пошел в ванную.



Играют в шашки, расположившись ради погожего дня на тротуаре, совладельцы бутика «Ткани и термометры» Ноздревский и Чичибоев. Одобрительно смотрит на увлекшихся хозяев старший приказчик Кузьма. Да и просто доволен он: жизнь вошла в спокойное русло. Жалованье получает хотя и невеликое, но регулярно. Дети уже оперились, а им со старухой хватает. Да и хозяева поугомонились — давно при них Кузьма, еще с тоталитарных времен, когда все трое работали в одной лаборатории ракетно-пушечного НПО «Меткость»: Кузьма уже ходил в ведущих инженерах, а Ноздревский и Чичибоев еще были молодыми специалистами по цехам опытного производства: проходили боевое крещение. Когда сверху раздался призыв «Купи — продай», то Сашка с Митькой мигом организовали кооператив по перепродаже бананов, куда позвали и Кузьму... И почти все девяностые годы не знал старик покоя, все переживал за хозяев. То срубят большую капусту и сами загуляют, или братки наедут и обдерут как липку. Чуть стабилизировался, как полет ракеты, бизнес — нет, потянуло их по-новомодному в депутаты. Не пролезли, однако, а убытков-то? Теперь остепенились, жены им попались хозяйственные и неалчные, уговорили жить хотя и с невеликим, но гарантированным достатком.

— Знаем, Дмитрий Евстигнеевич, как давно вы шашек в руки не брали!

«Касиу Ясь канюшину...» — сразу вспоминается старорежимное, даже глядя на модернистскую картину А. Ф. Пахомова, выпускника ВХУТЕМАС начала 20-х годов. С любой точки зрения — философской, социальной, искусствоведческой — модернизм в живописи имеет только одно-разъединственное оправдание — это когда его средствами прославляется труд и люди труда. При условии, конечно, что на картине все же нечто похожее на людей изображено, а не синюшные вурдалаки и «кубические шары». Но как только труд становится докукой или всего лишь способом безудержного накопительства, а человек труда, соответственно, лохом или офисным трудоголиком, так тут и заканчивается апология модернизма. Но можно, говоря языком математико-философской логики (по А. А. Зиновьеву), посмотреть и с другой стороны. А именно: только и только выраженный модернизм способен выразить сущность такого отношения к труду, то есть урод урода видит издалека, перефразируя миролюбивую присказку о рыбаках. А раз труд вызывает головную боль, то и ангажированный живописец-модернист вполне естественно отобразит это отношение в виде куба, вписанного в шар... или наоборот. А как живописать офисного ударника ненавистного ему труда? — Конечно, в образе синюшного вурдалака, прикованного стилизованной цепью из долларов к компьютеру. То есть получается, что в данной ситуации модернизм равноценен натуральнейшему из всех реализмов. Получается, что так.

Глава четырнадцатая.
ПРАЗДНИК АПОЛЛОНА И ЖАРКОЕ ЛЕТО

Было уж роздано мясо; уж чаши
вином наполнялись...
Полную жира хребтовую часть
острозубого вепря
Взявши с тарелки своей (для себя же
оставя там боле),
Царь Одиссей многославный сказал,
обратясь к Понтоною:
«Эту почетную часть изготовленной
вкусно веприны
Дай Делеодоку...»

«Одиссея», песнь VIII, ст. 470, 474—478

Франция в лице своей республики номер пять праздновала 200-летие взятия Бастилии — главный официальный праздник страны — родоначальницы триколора на госзнамени. Июль в этом году выдался жарким — под стать не столь давно завершившемуся эпохальному съезду народных депутатов, на котором под аплодисменты всего цивилизованного мира морально победили клетчато-пиджачные из Бухары, Свердловска, Ленинграда, Омска и других городов, поддержанные статистами типа известного Геннадию депутата из их города, несколько клинического облика, которого добрые граждане, измученные безалкогольной жизнью при развитом социализме, предпочли единственному в городе академику. Академик продолжил руководить созданием оружия, до которого американосам было еще далековато, а похожий на клиника депутат, потрудившись в межрегиональной группе, вернулся в родной город и приступил к строительству загородного коттеджа — на зарплату старшего инженера.

Франция с ее юбилеем Францией, но на дворе середина июля-месяца, несколько знойного для средне-русской полосы. И Геннадий с тестем в такую, располагающую к отдыху, погоду сам-двое

холостяковали в квартире, слава богу, не на солнечной стороне «нового обкомовского» дома. И за что этот бог, наш добрый православный бог, наказал законопослушных граждан, вовсе не демократов? — Егора Трофимовича как раз наказал за демократов, а Геннадия — за успехи в научно-педагогической деятельности.

Проще говоря, Егора Трофимовича, учитывая наступающее смутное время, «двинули» аж в замы председателя облисполкома. Дело понятное, в такие моменты всяк сторонится должностей, которые вот-вот упразднят и заменят другими; вот тогда-то набегут! Как шутят в научных кругах: основоположники набежали... А раз должность дали, то и разгребать все ранее навороченное, хотя бы и июль на дворе, будь добр.

А Геннадия еще в весеннюю сессию вызвал проректор по учебной работе, дескать, Геннадий Борисович, ректорат по представлению вашей кафедры и по согласованию с парткомом рекомендует вас, молодого ученого и уже сложившегося квалифицированного преподавателя, тем более с общественной кафедры, на этот год — с возможной пролонгацией и на следующий — заместителем председателя приемной комиссии института.

Против лома нет приема; к проректору его вызвали для проформы. Еще загодя его завкафедрой имел с Геннадием беседу. Николай Игоревич в тоне, который у него уже установился с новозащищенным сотрудником, то есть доверительным и без сугубой официальности, сразу взял быка за рога:

— Отказываться резона нет, отпуск отгуляешь в сентябре-октябре, тоже не самое худое время. А за это, в общем-то небольшое, неудобство получишь массу привилегий. Имей в виду, что твоя кандидатура предложена сверху. Это многое значит, тем более учитывая твою беспартийность. Конечно, сейчас всякие новые веяния, но на моей памяти — это первый случай. Я имею в виду беспартийность. Во-первых, не рассматривай эту докуку с приемной комиссией как какое-то наказание. Нет это принятая «отработка» за то, что тебе, новичку в институте, не воспрепятствовали в подготовке и защите диссертации. А уже к Новому году, отработав пару месяцев в комиссии, получишь должность, а

вскоре и ученое звание доцента. В обычной же ситуации ждал бы этого не менее двух-трех лет. Я говорю о звании.

Но это еще не все приятности, так сказать. Пробыв сезон зампредом приемной комиссии, конечно, без всяких ЧП, ты уже во всех письменных и устных списках начальства перейдешь из категории рядовых сотрудников в доверительную. На следующий год тебе уже могут предложить председательствовать, а на послезавтрашний год это повторится уже автоматически. После этого тебе не будут чинить препятствий с докторской диссертацией, а по защите ее первая же освободившаяся кафедра по профилю — твоя. Если кафедры все будут железобетонно заняты, как наша твоим покорным слугой, то пристегнут к преподавательской ставке какую-нибудь необременительную административную должность, а это деньги и повышение статуса.

Так что я докладываю проректору и в партком о твоем согласии. Договорились?

...Несколько обиженные, хотя и все понимающие женщины с Тришей уехали по семейной путевке на три недели с гаком в тот самый санаторий на Оке, что так ругали мать и тетка Женьки.

* * *

Елена Авдеевна, уезжая с дочерью и внуком в санаторий почти на месяц, не очень-то беспокоилась о бесхозности остающихся мужчин. Как человек с медицинской безэмоциональностью, Елена Авдеевна не верила в этакую романтическую беспомощность в части еды и стирки сильного пола. «На то они, сукины дети, и сильные в половом своем типаже,— с грубовато-профессиональным юмором говаривала она в женской аудитории,— что всюду сухими из воды выйдут». И в исполкомовской «волге», мчавшей их за сто километров в санаторий, известный своими пользительными вóдами и расположенный на Оке где-то посредине между старыми русскими городами Белевом и Алексином, она урезонивала было забеспокоившуюся Свету:

— Не входи в роль домашней хлопотуньи. Это тебе еще крайне рано, да и вообще ни к чему. Тем более, что твой типаж не

соответствует этому статусу; я имею в виду, что по мне и по отцу тебе не грозит располнение, то есть и в пятьдесят лет будешь выглядеть, в сумерках, конечно, как студентка старших курсов...

— Мама, а какая тут связь?

— Прямая. Вот сидишь в своей библиотеке и не набираешься опыта анализа окружающих А это как раз женщине надо уметь: с единого взгляда определить характер, и, так сказать, жизненное кредо человека, особенно своей виртуальной соперницы, то есть любой, взятой в отдельности бабенки любвеобильного, конечно, возраста.

— Может, хватит своих профессиональных медико-биологических сравнений?

— Я о деле. Всегда будь готова к отражению атаки, ибо мужик, даже самый распрекрасный, по этой самой биологии бабник, или, говоря толерантным языком — полигамен. И задача каждой самки, извиняюсь — женщины, это сочетанием кнута и пряника удержать мужчину до тех пор, пока его «левый» интерес ходока не переключится с возрастом на что-либо другое: шахматы, коллекционирование книг или марок, умеренное пьянство и так далее. Тогда жена облегченно вздыхает и начинает ездить на курорты уже одна, где невинно флиртует с седовласыми, но бодрыми джентльменами. Это и называется третьей молодостью.

А теперь — к делу. Удерживать же мужика можно несколькими способами, причем выбор конкретно определяется исключительно наследственной фигурой: толстая, стройная или середина на половину. Так вот, по твоей фигуре, которую не испортят вторые и даже третьи роды, не следует слишком демонстрировать домашнехозяйственное усердие, разумеется, все эти дела выполняя четко и в полном объеме. Но — без афиширования. И в эту же стратегию, она же и тактика, входит и периодическое предоставление домашнего хозяйства самим мужикам. Не оголодают!

И действительно, меньше всего тестя и зятя беспокоила кухонная докука. Их вполне устраивала утренняя яичница с помидорами и бутерброды. Егор Трофимович и в «мирной» жизни обедал в исполкомовской столовой, а на ужин приноровился заходить с коллегами в ресторан или закусочную, куда не всякого впускали — без

вывески. По долгу службы он и ранее не манкировал этими посиделками, благо его организм никогда не требовал чего-либо сверх скромной нормы, сейчас же и сам бог велел. Геннадий устроился еще лучше. Как зампреда приемной комиссии его на все лето прикрепили к столовой недавно выстроенного, роскошного — о девяти этажах и лечебно-хозяйственной пристройке — институтского профилактория. При желании, кроме обеда и ужина, он мог бы и завтракать там же. Но компатриотство с тестем не позволяло. Тем более что и поговорить им удавалось только за утренней яичницей, поскольку по вечерам уставший от наступившей в областной власти неустроенности Егор Трофимович только успевал начерно просматривать газеты, слушал новости по телевизору и уходил в спальню. Геннадий же, заварив себе и тестю чай, уходил со стаканом в «бабушкину комнату», уже ставшую его полноправным кабинетом, где допоздна читал и писал, ибо по совету Николая Игоревича, поддержанному и Егором Трофимовичем, без всякого отдыха-перерыва занялся докторской диссертацией.

— Понимаешь, Геннадий,— завел разговор завкафедрой в начале лета, после скромной, всего на несколько человек, «обмывки» только что полученного кандидатского диплома в кафе «Ромашка», что в Центральном парке,— времена сейчас динамичные. Как уже шутят в столице: «Куй железо, пока Горбачев!» Нельзя загадывать с какой-то долей уверенности даже на год вперед. В какой стране мы завтра проснемся? Такое впечатление, что страной уже управляют кураторы от Вашингтонского обкома... Одну позицию за другой сдаем без боя и даже с какой-то мазохистской радостью. Вот-вот страна на улусы развалится.

...Но жизнь, тем более твоя, Гена, молодая, продолжается. И сам бог велит воспользоваться надвигающейся сумятицей и под сурдинку защититься, раз уж ты избрал доминантой научную деятельность. А вся эта шумиха в прессе, все более становящейся желтой, насчет «отживших себя степеней» и что пора оценивать человека по его работе, а не по степеням, и что, мол, доплата за них есть артефакт прошлого, что только в СССР и Испании это сохранилось... все это, уважаемые друзья-коллеги, чушь. Кому-то это надо. Ибо как ввели степени еще в средневековых университе-

тах, так они и останутся при любых политических и экономических раскладах. Так что, Геннадий Борисович, дерзайте, ведь смелыми бог владеет. И умными — добавлю я. Твое здоровье!

* * *

— ...Ты думаешь, наверное, что в ВПШ нас только кондовому марксизму-ленинизму по учебнику Спиркина для домохозяек учили? — продолжил Егор Трофимович утренний разговор с зятем, отвлекшись на пару минут — выходил в прихожую на затренькавший спозаранку телефон,— не-е-т, уважаемый кандидат философии, не только; к тому же, позволь напомнить, у меня и диплом Воронежского университета, кстати говорят, довольно чтимого в кругу наших вузов. А в партшколе учат, как и разведчиков в их специальных заведениях: знать досконально не только достоинства своего оружия, но еще доскональнее — чем располагает противник. Вспоминай Половцева из «Поднятой целины», его слова при аресте в ответ на вопрос чекиста: зачем вам нужно было полное собрание сочинений Ленина?

Но все это нам подавали, доводили до наших голов очень умно, не голо-пропагандистски, но со сравнительными доводами. Не думай, то ты один такой умный и един же догадался о существовании неких надмировых сил, управляющих историей стран и народов и выявивших себя где-то с конца восемнадцатого века. Ты это по моде называешь тайным мировым правительством, у нас же это именовалось менее пышно и без излишней конспирологии: мировой империалистический заговор, подготовленный задолго до финансовой доминанты современного капитализма событиями эпохи его становления: промышленных революций в Англии и Нидерландах, а особенно — Великой Французской революцией, двухсотлетнюю годовщину которой мы с тобой вот сейчас и вспоминаем, не говорю — празднуем, за яичницей с помидорами, бутербродами с сыром российским и колбасой краковской, и посредственным чаем краснодарского ро́злива... сбора, конечно. Разливаешь ты — по возрастному принципу почитания.

...И учились мы, несмотря — у кого на возраст, у другого —

солидное «гражданское» образование, а у третьих и вовсе немалая партийная или советская должность,— учились охотно и увлеченно. Как писал твой любимый Сологуб, которого ты цитируешь самозабвенно после пятой рюмки:

И я учился в школе
В стенах монастыря,
От мудрости и боли
Томительно горя.

Ну-у, конечно, монастырем-то партшколу слишком громко называть,— Егор Трофимович машинально оглянулся на дверной проем кухни, но, тут же сообразившись, рассмеялся,— но все в меру и согласно возрасту... ну-у, и темпераменту, конечно.

Здесь Геннадий вспомнил, что слегка расслабившийся от наступившей временной холостой жизни, вчера тесть прибыл домой на исполкомовской «волге», закрепленной за ним и его коллегой по заместительству председателя близко к полуночи с явным запашком коньяка — роскоши горбачевщины. Отсюда и утренняя словоохотливость. И еще он сообразил, наконец, почему Егор Трофимович время от времени как-то искоса посматривает на старинный, резной настенный шкафчик, что являлся раритетом семьи уже в третьем поколении, явно не гармонируя с современной пластикополированной меблировкой.

Геннадий оторвался от яичницы, воспользовавшись паузой в монологе тестя, поднялся, вынул из купеческого шкафчика початую бутылку кизлярского коньяка, оттуда же граненую рюмку, по возрасту ровесницу шкафа, поставил на стол со стороны сотрапезника. Егор Трофимович коротко крякнул, заулыбался, потянулся к бутылке:

— Может, и себе?

— Да вроде не с чего; опять же у нас секретарь комиссии парткомовская делопроизводительница, по утрам всех троекратно обнюхивает.

— Ну да, конечно, тогда будем здоровы!

* * *

После двух рюмок тесть самолично убрал питейные приспособления в шкафчик, дополнительно поперчил в своей тарелке яичницу с помидорами, утолил возникший аппетит и за чаем с лимоном продолжил вольнолюбивую беседу-монолог.

— ...Или вот взять застарелый вопрос о происхождении, так сказать, нашей революции. Понятно, ты версии прекрасно знаешь по разным «радиоголосам». В прессе нашей после съезда уже появились пока осторожные публикации, но, думаю, уже в самом скором времени такой поток польется, только успевают эти версии сравнивать!

Ты вот полагаешь, что революция в России, вернее все три — от девятьсот пятого года до октября семнадцатого, есть просто одно из звеньев мирового масонского заговора по уничтожению империй и замене их так называемыми демократиями? Что ж, конспирологическая канва не была фигурой умолчания на лекциях в ВПШ. Но опять же, все это подавалось более объективно и фактологически, в том числе и необидно для вождей Октября и далее Советского государства. Что, впрочем, соответствует истине.

В частности, приводили факты... не домыслы, а факты по цифрам, трудам противоборствующих сторон, говорящие, что все три русские революции не есть лишь следствие ситуации, ну-у, про верхи и низы, с социально-экономической доминантой. Понятно, что в учебниках по истории для вузов и школ именно эта точка зрения основная. Так надо и так для всех и всея лучше, ибо политическая история страны всегда существует в том варианте, который более всего способствует стабильности системы. А это в случае нашего, то есть социально ориентированного, государства, в свою очередь, идет на пользу всем; и, так сказать, советским «низам» и необходимым в любом государстве верхам. Но партидеологи должны знать критическую правду — чтобы убедительнее говорить в нужном варианте... Вот в этом и состоит цель подготовки парткадров в ВПШ.

Итак, финансовое и социальное положение самой Российской империи и ее народа в начале нашего века не являлось очень уж

удручающим. Вовсе нет — и даже по сравнению с Европой и США — тогдашними, да и нынешними, ориентирами для тех, кто всю жизнь по-мещански мечтает «получше жить»... Хотя и сами не знают, что они хотят! В этом, кстати, и суть мещанства.

А Октябрьская революция готовилась, прежде всего, Англией, тогдашним центром западного капитализма, еще с середины XIX века. Вот в самом-то начале этой подготовки масоны выступили открыто: в лице декабристов, то есть наивных волонтеров мирового — тогда европейского — масонства. А дальше? — А дальше словами нашего великого и незабвенного: декабристы разбудили Герцена...

Чем занимались господа-товарищи Герцен и Огарев в городе Лондоне, в распоряжение которых издатель Трюбнер, тайный агент Ост-Индской кампании, контролируемой масонами, предоставил почти задаром свою типографию? Это тебе, Гена, как автору диссертации по социологии, должно быть понятным. Тем более, что ты несколько месяцев возил в Москву главы книги Николая Игоревича по революционной ситуации 60-х годов XIX века в России и, как сам говорил, с интересом их читал в электричке. Даже не только не от нечего делать...

Ты думаешь, что Владимир Ильич был столь наивен, что всерьез полагал линию «декабристы — Герцен — народники» и так далее как нечто самозародившееся в России как протест и так далее? Нет, конечно. Автор «Развития капитализма в России» и «Материализма и эмпириокритицизма» не мог позволить себе такой вольности опрощения мышления. Но так было надо для дела его жизни!

Кстати, я тоже прочел уже изданную книгу Меркулова. Николай Игоревич сумел-таки в своем сочинении подпустить — в рамках, конечно, парткорректности — перцу в задницу товарищу Герцену: это где он пишет о польском мятеже шестьдесят третьего года, прошлого века, конечно. Как помнишь из формальной истории, а из неформальной и вовсе надо знать, что мятежники зверски вырезали и стреляли всех русских в Польше без разбора. А в это время наш дорогой патриот и демократ писал в своих тюб-

неровских прокламациях, что Россию охватил *сифилис патриотизма*. Каково сказано, а?

Ну а дальше и сам все хорошо знаешь: тактика масонов по разрушению империй, да и вообще государств: раскачать общество, расколоть народ по социально-классовым, финансово-экономическим, религиозным и национальным группам, стравить их и воспользоваться ситуацией в своих сугубых интересах. Все это отслеживается в 1900-х годах и вплоть до прихода Иосифа Виссарионовича к реальной власти. Ну, это ты и сам все прекрасно знаешь. А мы,— Егор Трофимович взглянул на простенькие кухонные часы на стене,— пока на службу народу или кому там еще... может, и масонам. «...Все-таки пара рюмок кизлярского на похмелье подействовала в сторону игривости»,— добродушно усмехнулся про себя Геннадий. Во дворе коротко просигналила исполкомовская «волга».

* * *

У Геннадия оставалось еще полчаса до выхода из дома. Он неторопливо помыл посуду, небрежно прошелся с пылесосом по квартире — то что обычно делали Света или теща. При этом продолжал, имитируя про себя речь Егора Трофимовича, развивать тему утреннего разговора, точнее, монолога тестя.

Самое интересное, что революции семнадцатого года стимулировали не столько агенты Германии, что совершенно понятно с любой точки зрения, прежде всего военной, сколько союзники по Антанте: от их правительств и финансовых институтов до шпионских служб. Так что дело Герцена было живо! Как говорится, война войной, но финансово-экономические, геополитические интересы Англии и Америки намного дороже, а атлантисты явно не желали иметь после победы в Мировой войне промышленно развитого конкурента из числа континентальных держав. Ларчик просто открывался... да и сейчас тем же ключом открывается. И будет открываться до тех пор, пока либо мы их, либо они нас не приведут к ничтожеству. К сожалению, сейчас с активной помощью бывшего комбайнера вроде как сбывается второе.

...А тогда, в предреволюционные годы атлантический Запад явно не желал, чтобы сбылось не на пустом месте основанное высказывание Менделеева о России середины XX века с полумиллиардным населением, лидирующей в Европе и во всем мире в экономике, военной мощи, науке и культуре. Вот по науке и культуре-то Россия в начале века уже была «впереди планеты всей», а по темпам роста экономики уверенно теснила как атлантистов, так и континентальщиков.

И понимали извечные противники России с туманного Альбиона и ведомые ими «слоны» и «ослы» с берегов Манхэттена, что крупповским металлом осколочных снарядов Россию не возьмешь. Потому и нащупали тогда, как и сейчас, слабое место: определенный, врожденный «пофигизм» русского мужика, еще недавно крепостного, но главное — склонность к безответственному либерализму русской интеллигенции, которую прозорливый Владимир Ильич вовсе не без оснований иначе как гнилой не именовал... Сколь же умен был *наш* Ильич, имея за собой пеструю родословную, где русский простор мысли разумно сочетался с немецкой логикой, ветхозаветным прагматизмом и бесшабашностью «друзей степи» калмыков. Гремучая, но выигрышная смесь!

А для опытного пропагандиста-рейдера, или агента влияния, говоря по-нынешнему, такой склонный к безудержному либерализму интеллигент — идеальная «табула раша». Отсюда и англомания, сменившая на рубеже веков французскую мову у аристократии. Как это у Бунина? — «*Худая иностранка-компаньонка*...» Значит, непременно рыжая ирландка или скуластая шотландка. Откровенное западничество всего «образованного» слоя: от недворянской интеллигенции в первом поколении — чуть повзрослевших, но в общем-то мало поумневших разночинцев до щеголявших своим европейством заводчиков и купцов. Это, так сказать, пассивные агенты влияния, но атлантистская, пропагандистская закулиса напрямую поддерживала и революционеров-радикалистов. Здесь существенно, что финансовую «заботу» — а без больших денег не обходится ни одна революция — взяли на себя Ротшильд, Леб и Кун. У последних, кроме генеральной линии атлантистов-масонов на уничтожение потенциально могущественной Рос-

сии, довлел и сионистский мотив мести русской монархии за «черту оседлости», хотя бы даже Николай Кровавый ее и отменил после девятьсот пятого года. Но Тора — Пятикнижие Моисеево, равно как весь Ветхий Завет, не рекомендовали оставлять обиду, нанесенную богоизбранному народу гоями. Геннадий как раз недавно через Светкино, конечно, книгохранилище разыскал библию, второе синодальное издание, с интересом прочитал страниц двести, дальше соскучился. Библия и посейчас лежала на его столе в «бабушкиной» комнате. Наиболее любопытные места он заложил закладками. Одна из них отмечала текст в тему сегодняшних размышлений: «*Ты (Израиль) народ святой у Господа, Бога твоего: тебя избрал Господь, Бог твой, чтобы ты был собственным Его народом из всех народов, которые на земле... Не страшись их, ибо Господь, Бог твой, среди тебя, Бог великий и страшный. И будет Господь, Бог твой, изгонять пред тобою народы сии мало-помалу...; предаст их тебе Господь, Бог твой, и приведет их в великое смятение, так что они погибнут; и предаст царей их в руки твои, и ты истребишь имя их из поднебесной; не устоит никто против тебя, доколе не искоренишь их*».*

...Геннадий любил слушать и рассказывать одесские анекдоты, равно как и чапаевские и чукотские, но бытового антисемитизма не одобрял, справедливо полагая — на многое ему открыли глаза беседы с отцовым приятелем Львом Исаевичем,— что это, наоборот, бог их за что-то покарал, может, за строптивость характера, связав круговой порукой сионизма. Да и жизнь в двухтысячелетней диаспоре сами эти характеры не улучшает. Кроме того, как историка и обществоведа, его всегда выводило из себя всякое упоминание об антисемитизме в отношении к современным евреям. «Как! — воскликнул он в беседе на злобу дня,— чисто семитскими народами сейчас являются только арабы, эфиопы и евреи-сефарды. Но арабы — из целей геополитики, разумеется — уже тридцать с гаком лет как наши лучшие друзья. Про эфиопов и не говорю: такие же православные, как и мы; их, ныне покойный, император Хайле Силасие Первый, прямой потомок царицы Савской, при Никите и

* Пятая книга Моисеева. 7. 6, 21—24.

Леониде Ильиче со своей супругой-императрицей по два раза в год в Москву приезжал, как и — тоже покойный — шах Ирана с шахиней. Понятно, что приезжали-то они лично получать деньги от Госбанка СССР, шах — за северную иранскую нефть, эфиопский император — за доброе к СССР отношение, и тут же, не заезжая на историческую родину, перевести их в зарубежные банки... Но факт остается фактом.

А сефарды — это европейские евреи, потомки изгнанных Карлом I в 1500 году из Испании; люди малочисленные, тихие, законопослушные, в основном, трудятся профессорами в западноевропейских университетах.

А наши друзья и соотечественники, то есть ашкенази, порастеряли чистоту семитической крови во время двух тысячелетий странствий, особенно в период Хазарии Волжской. Так что говорить: ты, брат Петька, антисемит,— значит упрекать его в ненависти к эфиопам — братьям по вере и к арабам — братьям по борьбе с американским империализмом и мировым воинствующим сионизмом. Вот и Лев Исаевич подтвердит!»

Лев Исаевич, двадцативосьмилетним старлеем, комроты штурмовавшим Будапешт и Берлин, соглашался после третьей рюмки *очищенной*, то есть профильтрованного через активированный уголь томатного самогона, к которому Горби-консенсус почти что приучил даже малопьющих «семитов», однако по инерции оглядывался вправо-влево, сидя за праздничным столом. Все-таки круговая порука!

* * *

...Как бы там ни было с империализмом-сионизмом, но Ротшильд, Леб и Кун денег на русские революции, имея в виду прежде всего свержение царя и уничтожение де-факто последней в Европе самодержавной монархии, отвалили достаточно. А передавались они через агентов западных спецслужб: как Антанты, так и Германо-Австро-Венгерского блока. Судите сами: австрийский социалист Витюша Адлер, он же агент Габсбургов; Саша Парвус, он же Изя Гельфанд, двойной агент Гогенцоллернов и викторианцев и

так далее. Очень активно использовались сам Владимир Ильич и друзьяки его Троцкий и Мартов. А к Ротшильду, Лебу и Куну очень скоро примкнули со своими авуарами мощные американцы: Рокфеллер, Морган, Шифф. И такая круговерть началась, в связке которой каждая группировка преследовала свои интересы, используя деньги или влияние другой, третьей..., что участь царя была предопределена. И России заодно. И если бы не появился Иосиф Виссарионович, которого мелкоклетчатые депутаты только что смешали с самой зловонной грязью из прославленных целебных курортов, то... Тут Геннадий погрустнел, вспомнив о сегодняшних реалиях. Все возвращается на круги своя.

Допил чай, вымыл стакан и заварной чайник и отправился, как шутковал тесть, комиссарствовать.

Конец первой части

В недавние былые времена, когда литераторы жили хорошо, опекаемые Литфондом Союза писателей СССР и приписанные к издательствам, труд их был регламентирован и очерчен определенными рамками. Так, столичным писателям и «продвинутым» провинциалам, отмеченным высокими премиями, дозволялось сочинять на темы философски-отвлеченные, общечеловеческие — понятно, в рамках гуманизма, интернационализма; рекомендовалось попутно добрым словом отзываться о руководящей роли... и лично! Но от наиболее знаменитых и известных «за бугром» здесь требовался джентльменский минимум: прямо не восхвалять, но «пусть будет плохо тому, кто дурно об этом подумает». Провинции же, периферии потогдашнему, оставалась конкретика: воспевание людей труда и агитация за советскую власть. Здесь о партии и правительстве полагалось петь гимны, но в персонификации партайгеноссе не выше областного масштаба.

Сейчас социальный заказ остался только для запиаренных столичных сочинителей детективов, фантастик и глянцевых порнороманов. Провинциалам же, бывшим периферийщикам то есть, осталось только развлечение в виде пускания литературных мыльных пузырей тиражом в 100 экземпляров — своих кровных, или если полного дурака-благодетеля найдут. Вот соберутся они в крохотной комнатушке местного отделения писательского союза (их сейчас несколько) и пускают пузыри:

— О-хо-хо, были же времена хлебные?

— О-о-х, то ли еще впереди...

...Невзлюбил демократически избранный глава постсоветского эмирата своего великого визиря Селимхана и решил извести. И тут как раз прослышал, что прибыл в эмират солидный американский грант на развитие толерантности, который Селимка захапал и запил-загулял с профессионалками, выписанными из элитного московского клуба.

И вот ворвался во дворец великого визиря глава ОМОН'а эмирата сертиб (то есть мусульманский полковник) Мансур со взводом бойцов:

— Вставай, собака! Тебя сам эмир велел на короткой веревке притащить!

— Ну что, доигрался, Селимка! На водку и баб иноземных потратил грант наших заокеанских друзей!

Усмехнулся понимающе многоопытный визирь и как два пальца об асфальт разъяснил, что, не доверяя подчиненным, сам решил провести эксперимент по толерантности, а именно: пить запрещенную Кораном водку, общаться с иноверками, что не поощряют законы шариата. И так далее. А толерантность — это и есть принятая в цивилизованном мире терпимость к чужим обычаям, правам меньшинств, включая развратников, пьяниц и прямых извращенцев. Словом, выкрутился Селимхан, досадливо махнул рукой эмир, отпуская визиря завершать эксперимент с толерантностью. «Вот докука, — размышлял властелин целых двух оазисов,— отрабатывать эти гранты? А как от них откажешься? — Мигом набегут всякие комиссары и наблюдатели, обвинят в тоталитаризме, будут грозить отлучением от общечеловеческих ценностей, то есть долларов. О-хо-хо... тяжело сейчас быть эмиром».

Закончилась очередная сессия курултая в постсоветском султанате Улусурюк. Разошлись депутаты по кулуарам: визири с личной нукерской охраной, рядовые избранники султана-от-имени-народа сам-двое, сам-трое. Возле кумыс-буфета сцепились на потеху нукерам два визиря: национальной науки и шариатского образования.

— Да как ты смеешь, бывший ничтожный доцент Кокташджуйского пединститута, подвергать сомнению мудрую мысль великого султана? — упер руки в боки образовательный визирь.

— Ты сам, как бывший колхозный парторг, подумай: это же полный идиотизм — давать диплом о высшем образовании выпускникам профтехучилища! Тебе дворники с «вышкой» нужны?

— А как иначе заставить молодежь осваивать рабочие профессии, тем более такие сложные, как современная металлургия и точная сварка? Все ведь в торговлю урюком стремятся, в шариатские адвокаты и экономисты, а американцы, владельцы бывших наших заводов, первенцев сталинских пятилеток, требуют от нас квалифицированную рабсилу!

— Но так ведь аллах знает, до чего можно докатиться... Еще Лао Шэ, великий китайский писатель, в своем романе «Записки о кошачьем городе» обыграл эту ситуацию для Китая 30-х годов прошлого века; дескать, издали указ: давать аттестат зрелости знающему два иероглифа, а за пять — университетский диплом!

— Слушай, Хайрулла, а может на американские заводы позвать китайских гастарбайтеров? Вот ведь у Белого царя в державе их уже не один миллион...

— Никак ты, Фариз-хан, не избавишься от тяжелого наследия тоталитаризма все делать с оглядкой на Москву. Хотя... имеет смысл подумать; все одно — скоро под китайцами окажемся.

Часть вторая

«БОЙСЯ ДАНАЙЦЕВ, ДАРЫ ПРИНОСЯЩИХ» (ОДИН ДЕНЬ)

Истинно жил бы не беден и в злате
высоко ценимом
Тот не нуждался бы муж, у которого
было бы столько,
Сколько наград для меня быстроногие
вынесли кони!
Семь непорочных жен, рукодельниц
искусных, дарую,
Лесбосских, коих тогда, как разрушил он
Лесбос цветущий,
Сам я избрал, красотой побеждающих жен
земнородных.

«Илиада», песнь IX, ст. 125—130

Глава пятнадцатая.
АПОЛЛОН И ДИОНИС ПЛЯШУТ КАНКАН С МОЙРАМИ И МУЗАМИ

Гнев, богиня, воспой Ахиллеса,
Пелеева сына,
Грозный, который ахеянам тысячи
бедствий соделал:
Многие души могучие славных героев
низринул
В мрачный Аид и самих распростер их
в корысть плотоядным
Птицам окрестным и псам...

«Илиада», песнь I, ст. 1—5

...Страшное порождение Зевса-громовержца и дочери Урана Фемиды мойры Клото, Лахесис и Атропос метались в неистовом канкане Оффенбаха на подиуме самого известного парижского кабаре «*Moulin Rouge*», высоко вскидывая иссиня-узловатые кривые ножки, откидывая пышные юбки на впалые животы и иссохшие груди. В самый пик залихватской музыки справа и слева из-за боковых портьер выпорхнули их сводные сестры от мимолетного брака папы-Зевса с Мнемосиной: слева — Каллиопа с Клио и Мельпомена с Эвтерпой, справа — Эрато с Терпсихорой и Урания с Полимнией. Нечетная же Талия спрыгнула откуда сверху сцены, где располагаются софиты подсветки. Они вмиг оттеснили сводных уродиц вглубь подиума и засверкали перед ошеломленной публикой, случайно забредшей под ненастную ночь в кабаре отогнать скуку прошедшего серого дня, великолепием точеных ножек — особенно у Талии и Терпсихоры — и округлостью античных пышных бедер.

Но минутное смятение сошло сначала с Атропос, тотчас и с Клото с Лахесис. Они разорвали пляшущую цепь промеж Эвтерпы и Урании и снова выскочили к самой рампе. Музы как-то вмиг сникли в тон замедляющейся мелодии танца перед апофеозом, но в самые последние такты Оффенбахова чертовеселья по три на одну

вцепились с визгом в проволочные гривы мойр. Две фигуры-тени, Рея и Гера, быстро пересекли сцену справа налево: одна понуро глядя под ноги, другая же подмигивая в сторону публики. С интересом и хладнокровием узнал Геннадий в первой Свету, а во второй голубоглазую Наташу... Началась общая свалка, тотчас отсеченная от изумленных зрителей упавшим сверху занавесом — по взволнованной отмашке маэстро, со своей палочкой в полтуловища возвышавшегося над оркестровой ямой.

— *Les extremes se touchent**,— оживленно обменивались своими впечатлениями развеселившиеся буржуа, покидая зал кабаре и нахлобучивая атласные цилиндры на лысоватые головы с мощными, отожранными щеками и подбородками.

Геннадий с хрустом потянулся в покойном кресле, взглянул на циферблат, слабо освещаемый рассеянным светом торшера — ого, уже половина второго! — поднялся и наддал кнопку пульта. Телевизор погас вместе с окончанием модернистского французского фильма с сексом «ню», и более всего с клинической сексопатологией, который очень хвалила Наташа, почему-то вдруг ставшая косить под интеллектуалку.

«Опять, шельма голубоглазая, совратила невинного профессора»,— со спокойным ухарством подумал он,— оно, впрочем, и понятно: бабе тридцать, самая спелость, учитывая и врожденную слабость на передок — сама про свою мамашу рассказывала... А мужу уже полтинник, да и заботы, в основном, где хапнуть побольше, у коммерческого директора успешно растаскиваемого по частям завода, бывшей гордости «оборонки», отнюдь не способствуют поддержанию того уровня потенции, что потребен этой бестии с явным синдромом бешенства матки. Однако,— Геннадий машинально облизнул вдруг ставшие суховатыми губы,— бестии чертовски красивой и обаятельной. Даже в каком-то смысле, вовсе и не только в житейском, и умной. Скорее бы *мои* в доме все собирались!»

Последняя, тоже вовсе невольная мысль-искрометка и вовсе по-

* Крайности сходятся (фр.).

разила его: «Неужели старею? Это-то на середине всего лишь четвертого десятка и в бархатный месяц-август, сам-один в городе и квартире сожалеть, что все домочадцы его, бедного, покинули? Э-э, нет, конечно, просто трое суток, благо усатый коммерческий директор укатил по торговым делам за ближний «бугор», на Женькиной вилле дают себя знать. Это как самой высокосортной семги объесться или настоящей мадерой с острова Мадейра опиться!»

Успокоив свои подозрения, Геннадий вышел на балкон в наступившую-таки ночную свежесть душного августа. Услышав похохатывание и взвизгивание затемненных деревьями от луны парочек во дворе, опять с легким испугом отогнал усилием воли вновь всколыхнувшуюся мыслишку: «И чего это она ко мне привязалась? Неужели за десять лет не надоело?»

* * *

Балдырды алма — шабдалы шырыны.
Курамы-алма шырыны, шабдалы
Езбеси; криылтылган ширыннан
Жане езбеден дайындолган. Аслайтым
Сапыс тырмалы началдылыста
Сактау кажет. Ашылган пакетти
Тоназыткрышта бир тауликтен
Артык сактаманыэ...

Геннадий ошалело вышел из жаркого, позднеутреннего сна. Надо же такому присниться: с половины второго ночи до без четверти одиннадцати мирно покачивался он на верблюде двугорбом по раскаленным барханам неведомой пустыни и, как орденоносец и депутат Верховного Совета Джамбул в оные времена, все, что фиксировали его отяжеленные слепящим солнцем глаза, переводил в нескончаемую поэму. О чем? Судя по последней, запавшей в голову строфе, явно не о Ленине и Сталине. И на каком-таком восточном языке? Отродясь он ничего подобного не читал, не слышал, не декламировал... Жгущее солнце-то и пустыня, даже мерное покачивание — это все понятно: чересчур жаркое для середины августа, прямо-таки аномальное солнце било по лицу и глазам, в

особенности из-за незашторенного окна; восточная экзотика — от трехдневных рассказов, в перерыве между соитиями и получасовыми грешными снами без сновидений, Наташи, только что вернувшейся со своим усатым госкоммерсантом с отдыха в Египте. Ну-у, а о мерной качке между верблюжьими горбами — все в той же ассоциации — и думать нечего... «Грешен, грешен аки всякий смертный, — и вовсе рассмеялся — не согрешишь, не покаешься!»

Кстати, когда он встречал в печатном виде или изустно про двугорбого верблюда (еще маленький, но уже говорящий Триша как-то привел в полное смущение чинно-званых гостей на 55-летие деда, щегольнув принесенным из детсада словечком «верблядь...»), то усмехался — от обратной, инверсной по-ученому, по-философски аналогии, ибо тотчас на память услужливо подскакивали затасканные определения типа «гордый верблюд», «гордый британец» и так далее. Чем гордиться-то? — Тогда уж пусть и верблюд гордится своими двумя горбами, например, перед своим двоюродным братом одногорбым верблюдом. А тот перед ним. В конце концов чем хуже этот дромадер среднестатистического британца или обитателя горных арыков? Каждого в своем эволюционном виде конечно. Ибо верблюд, если он не в зоопарк для обозрения праздной публикой поставлен, по жизни своей тягостной трудяга каких поискать. А разве больше пользы приносит британец-рантье или базарно-фруктовый торгаш-перекупщик, бывший житель горных аулов?

...Геннадий не страдал комплексом великодержавного шовинизма, но профессия наложила на него свой властный отпечаток: уже и простейшие понятия он все больше начинал оценивать категориями логики и герменевтики*. Порой он этого развивающегося у него качества даже пугался, особенно когда в самые интимные моменты Света или Наташа, имея в виду, конечно, не герменевтику с логикой, интересовались слишком уж серьезным выражением лица. Как ни странно, но эта серьезность работала на него: Света начинала подозревать, что, дескать, нашел себе аспиранточку из нынешних, раскрепощенных... а синеглазая совратительница не к месту вспоминала, что они уже десять лет вместе. Поэтому обе, спохватившись, начинали тщательно

* Отрасль современной философии — теория понимания и интерпретации текстов, феноменов культуры и вообще всего на свете...

следить за собой и подчитывать из литературы спецназначения: Света — тайком в своей рабочем кабинетике, закрывшись на ключ — «*Кама сутру*» из фондов облбиблиотеки, попутно дивясь ее наличию в храме знаний областного масштаба, а Наташа — критически сравнивая себя с моделями в позах из порножурнальчика «*Флирт и знакомства для тела и души*», что привозил из столицы Женька, с хохотом отдавал Геннадию, а тот — Наташе: выбрасывать, как истинному другу печатного слова, было стремно, но не домой же нести?

— Ты что, для возбуждения Зинки и своих длинноногих секретарш их покупаешь?

— Ха-ха, отстал от жизни, профессор. На въезде в Москву по «варшавке», когда то и дело стопоришь, в машины посолидней типа моей в открытые окна молодцы педерастического пошиба бесплатно закидывают: выбирай, мол, объез-бизнесментер, как ты говоришь, красотку на вкус и цену, отдохни, труженик долла́ра в столице, оторвись по полной с гарантией от сифона и СПИД'а...

Он все потягивался и потягивался в жаркой, увы, только от солнца, постели: проклятая логика и герменевтика, и «отец» последней, ученый-немец Ганс-Георг Гадамер! И самые сладостные минуты — после пробуждения в хорошем настроении — портят! Все везде для себя растолковал из сновидения, откуда эта дикая песнь кочевника, явно на каком-то тюркском, чингизхановом языке.

Геннадий прекрасно знал свойство своей памяти: зачастую напрочь забывать, не помнить самого обыденного, но, хоть среди ночи разбуди, без запинки выпалить какую-нибудь чушь, услышав которую, православный человек аж перекрестится: «Чур меня, чур!». Так, из школьных лет, а учился он хорошо, он не помнил правильно ни одной стихотворной строчки по-русски, зато все что было прописано поэтического в учебниках немецкого языка — от «*Лерелеи*» до явно пролеткультовского «*Mein Bruder ist ein Traktorist in unseren Kolchose*»* — помнил даже после третьего часа обмывки нового Женькиного «Мерседеса» на заветной квартире на Серебрянской.

Но особенно он легко, непроизвольно и навсегда запоминал

* Мой брат — тракторист в нашем колхозе (нем.).

услышанное на азиатских языках. «Это в тебе, Гена, вечно живая Золотая Орда память о себе дает»,— замечал по этому поводу Лев Исаевич, непременный гость на праздниках родительской семьи. И отец его, Борис Аверьянович, более младший коллега Льва Исаевича по прежней работе в НПО «Меткость», а ныне предпенсионный ведущий инженер в ОАО ЦКБ агрегатостроения, подтверждал татарскую фамилию Красиулин, потом где-то и кем-то русифицированную...

И действительно, Геннадий сызмальства, со школы легко и с первого раза запоминал самые сложные татарские и еврейские имена-отчества; других «иностранцев» в те времена в бытовом и представительском плане в их провинциальном городе не наблюдалось. Причем, если татарам очень нравилось, когда юный, а потом повзрослевший Геннадий вместо псевдонимов именовал собеседников Ренатом Жилелятдиновичем или Ибрагимом Шарифовичем, то соплеменники Льва Исаевича испуганно на него смотрели и переводили, как люди воспитанные, разговор на другие темы, если Геннадий лихо обращался, например, тоже к коллеге отца Илье Александровичу, называя его родовым именем — Ицхаком Шуевичем...

И родители, и учителя в школе объясняли несмышленышу Гене, что так принято; дескать, русским людям сложно выговаривать непривычно звучащие имена. Из чего уже тогда склонный к рефлексии будущий философ делал вывод: русский народ несколько туповат по природе. ...Полегче стало после горбачевщины: и Геннадий поумнел, и Илья Александрович поощрительно улыбался на Ицхака Шуевича.

Но все же — откуда песня кочевника? Так ничего не придумав, Геннадий встал с постели и пошагал на кухню: выпить что-нибудь холодненького в это жаркое утро, уже уверенно перешедшее в день: вспомнил, что пару дней назад купил впрок несколько пол-литровых пакетов любимого яблочно-персикового сока с мякотью. Один из них на его счастье и изнывал простудными слезами в холодильнике. Он надорвал пакет, вылил содержимое в высокий стакан и уже собрался бросить тару в мусорное ведро, как на торце пакета увидел знакомые слова: «*Балдырлы алма — шабдалы*...». А на другом торце — уже по-русски расхваливались заме-

чательные качества сока, изготовленного в городе Липецке из концентрированного сока и пюре... Но, убей, бог, если он вчера-позавчера что-то читал на этом двуязычном пакете! «Чур меня, чур,— совсем перепугался Геннадий,— изыди, нечистая сила!» В этот миг что-то мягко-царапающее, вкрадчивое, но и мускулистое одновременно коснулось его плеча. Геннадий съежился и застонал от тоски и страха.

* * *

— Чертова твоя образина! Предупреждать надо! — И перешедший от полного душевного ничтожества к праведному гневу Геннадий воззрился на полуторагодовалого, жестко-пушистого, тигровой масти кота Сократа, сам-двое разделявшего в этот жаркий август холостое проживание собрата-философа. И как это он догадался, что самое прохладное место в квартире на крышке высоченного, в рост номинального хозяина, двухкамерного холодильника «Стинол», сработанного по лицензии все в том же Липецке и только начавшего занимать почетные места в приличных домах? Вот — догадался методом проб и ошибок, примеривая бессонными, положенными для их природы, ночами все возвышенные места квартиры. Равно как и затененные, типа кладовки. Главное, чтобы сквозняком не проняло, вредным для самочувствия и животного оптимизма.

Кот появился в доме прошлым летом по просьбе Триши, с одобрения любившей мелких домашних дармоедов Светы, позитивного согласия взрослых мужчин и, главное, медико-психологического обоснования Елены Авдеевны о пользе для развития душевных качеств ребенка присутствия в квартире малотребовательного к заботам о нем, самостоятельного по характеру животного.

Однако с самого начала подбора кандидата в проживальщики Егор Трофимович, как выросший в правильной семье и знающий реальную жизнь, отверг все посыпавшиеся по телефону, особенно от благодарных пациентов Елены Авдеевны, предложения взять («хоть задаром») котенка от родителей с родословной, восходящей едва ли не к первым котам в Египте времен Тутмоса и Рамзеса IV:

— Кот в доме должен быть с практическим уклоном, самостийным как нынешние хохлы в Киеве, желательно с помоечным стажем жизни, но, понятное дело, еще не заматеревшим. А глистов и блох, коль такие завелись, так их Авдеевна своими медицинскими химикалиями ликвидирует.

Женщины все же что-то о желательности какой-никакой породистости отстаивали, потому и поручили соломоново решение принимать Геннадию. Он же имел свою теорию — на то и философ — о происхождении пород котов. Точнее, полагал, что у них отродясь не было никаких пород, исключая злобных сиамских тварей, что росли за высокими горами, отгородившись от остального мира, потому и индивидуализировались. А так каждая кошка в очередной помет предоставит тебе любую «породу» на выбор: от британского короткошерстного до средневерхнесибирского или турецкого вана... как их именуют в книжках о котовских породах, что сейчас во множестве заставляют полки писчебумажных магазинов и лавок.

Поэтому, не забивая голову, и без того отягченную думами о нищенском жаловании труженика науки и образования излишними размышлениями, он как-то по летнему утру отправился в ближний центральный парк, где, регулярно гуляючи там после работы, давно заприметил семейство трехмесячных котят, выведенных кошкой, приписанной к закусочной-распивочной рядом с бюстом основателя парка. Все пятеро котят были на месте, нежились в травке прямо у постамента бюста. Рядом паслась и кошка. Геннадий решительно шагнул на газон и поднял с травки самого яркого по внешности, тигрового котенка. Нерешительно посмотрел на мамашу: как себя поведет, не бросится ли на похитителя? Но та почти благодарно посмотрела на благодетеля и даже пару раз приветливо взмахнула хвостом. А проходившие мимо две старушки даже похвалили:

— Другие вот целыми кошелками в парк котят приносят и стряхивают их, а вот молодой человек пристраивает. Сразу видно интеллигентного человека — учителя, наверное, не бандюгана-бизнесментера, или какого-либо демократа!

Похвалу Геннадий молча одобрил, а дружески успокоившегося на его руках упитанного котенка сразу нарек Сократом. «Такой же

умный на вид, а грамоте все одно никогда не разумеешь»*,— вполне серьезно подумал он при крещенье.

...Назвав Сократа чертом, Геннадий мысленно тотчас же извинился перед зверьком, ибо на нем самом висела вина: все трехсуточное отсутствие номинального хозяина кот с отвращением ел сухой корм, успешно продвигавшийся на отечественный рынок, полкило которого Геннадий сообразил-таки купить и засыпать в большую миску перед улетом на «длительное свидание», которое предоставляется раз в год исправным тюремным сидельцам за хорошее поведение. Все дело в том, что теща по-медицински обосновала полный вред сухой жрачки для нежных кошачьих желудков. Таким образом, в ситуации с котом случился с Геннадием, говоря его философским языком, *эффект инверсии*. По-русски: все наоборот и жене с тещей на радость. Ибо, горячо поддержав идею заведения кота, он имел подспудно-корыстную мыслишку: он не любил так называемого семейного отдыха — при всей любви и привязанности к Свете с Тришей. Да и Елена Авдеевна, вопреки расхожим анекдотам, не вызывала в нем раздражения. Но съездив пару раз — в Сочи и на ближнюю Оку — сам-четверо, Геннадий дал себе зарок в дальнейшем всеми правдами и кривдами отмежевываться, полагая, что лучший отдых — это когда на месяц остаешься один, в крайнем случае с тестем в квартире. Дело даже и вовсе не в хóдках «налево», то есть на известную квартиру на Серебрянской, а с недавних пор и на загородную Женькину виллу с Наташей. То есть если он и был ходоком, то, так сказать, моногамным... Нет, вовсе. Ибо по возрасту до оздоровительных санаториев было, слава всевышнему, еще далеко, южную курортную толкотню он люто ненавидел, а соседний центральный парк площадью в полторы сотни гектар вполне заменял в двух-трехчасовых прогулках заповедный лес.

Гениальное же разрешение возникшей коллизии подсказал, конечно, Женька с его не по годам обширнейшим знанием житейских ситуаций и способов их обхода.

— Заведи собаку или кота... нет, в твоем случае лучше кота,

* По малодостоверному преданию Сократ ленился учиться грамоте, а все его высказывания записывал Платон, знавший греческую азбуку...

ведь пса вполне могут взять пятым в вашу семейную компанию, если тесть-банкир, очень уважаемый мною Егор Трофимович, хотя он и отказал мне в долгосрочном, равно и краткосрочном кредите, оплачивает на курортах двухкомнатный люкс с отдельным входом. А кота перевозить нельзя, мигом удерет к местным своим собратьям — и не поймаешь потом. И все дело в шляпе! Ты — герой семьи, ради ее отдыха жертвующий собственным, прозябаешь жаркое лето в городской духоте и пробензиненном воздухе, окормляя толстого четырехлапого бездельника. Будешь скорбно и устало улыбаться, когда вернувшиеся с курорта, а тесть из деловой поездки из Италии — и какие они там дела по месяцу делают? — домочадцы, чувствуя свою невольную вину, станут тебя ублажать: ну-у, Светка по-своему, теща будет целый месяц готовить твои любимые домашние пельмени из баранины, а Егор Трофимович вручит к первому сентября, бывшему, так сказать, Дню знаний, ныне вовсе никому не нужных, золотой «паркер» ручной работы из «королевской серии» тиражом двенадцать экземпляров во всем мире...

Главное же — не вздумай сам инициативу о коте озвучивать! Черт их, баб, знает: глупы-то — глупы, а в чем-то и стократ догадливее нас — где их интересов коснуться может. Ты исподволь, через Тришку действуй. Вот гуляешь с ним — обращай внимание на дворовых котов, рассказывай всякие сказки о их пользе и доброте... чтоб им жилось, чертовым детям, как мне, когда кидают партнеры и от братвы последним центом откупаешься!

* * *

Вину свою перед Сократом, соскучившемся по человеческому общению и потому трудолюбиво выделывающему замысловатые восьмерки под ногами хозяина, умильно что-то свое напевающему в усы, столбом распушившим свой полосатый хвост, Геннадий искупал у кухонной плиты, варя прямо без разморозки — для скорости утоления котовского аппетита — вынутую из морозильника рыбу, старинного друга желудка с советских времен, добропорядочного хека.

Правда, поначалу Елена Авдеевна, активно наряду с Тришей

взявшаяся воспитывать и Сократа, убеждала во вреде кормления рыбой, что, по ее медицинским данным, ведет прямо к мочекаменной болезни, на что уж до пофигизма спокойный характером Егор Трофимович однажды не выдержал, вытащил из внутреннего кармана пиджака нехилую пачку стодолларовых и раздраженно кинул на кухонный стол:

— На, возьми и купи на все в армянском супермаркете черной икры. Только импортную, иранскую бери, а то наша астраханская вся левая, браконьерская, в антисанитарных условиях ошкеренная и сваренная, потому у котика понос может начаться!

Елена Авдеевна, в силу серьезности своего характера не оценившая черного юмора супруга, и икру, как рыбный ингредиент, забраковала, но осознав ситуацию, несколько смешалась. И даже с некоторым сожалением проследила за пачкой «зеленых», которую супруг возвратил в карман и вышел с кухни и вовсе из квартиры:

— С ума тут с вами сойдешь. Пойду к себе в банк; там хоть и стопроцентные идиоты, зато конкретные, по части денег, без медицинских и философских подоплек.

Вечером, извинившись перед невинным в утренней истории Геннадием — за упоминание философии,— презентовал ему бутылку коллекционного шотландского виски за полштуки долла́ров и редкостное издание трудов Аристотеля середины девятнадцатого века в роскошной позолоте кожаного переплета:

— Пройдохи-клиенты банка уже интересы нашего семейства лучше меня знают; возьмите, дескать, Егор Трофимович, для своего зятя-профессора, а то нам они ни к чему, нам бы кредитец по облегченным процентишкам... За-аразы! Коту вот тоже кило семги свежей купил.

...Реабилитировала рыбу Света, принесшая из библиотеки и заставившая мать прочитать в заложенных местах книгу о кормлении кошек аж «*академиком по котам и профессором по китам*». Там же рекомендовалось наряду с рыбой — естественной пищей балхашских тростниковых котов, родоначальников всего земного кошачьего племени — кормить четырехлапых и просяной кашей, тоже едой их предков. «Так вот где веники растут?» — обрадовался Геннадий, которого с детских лет мучил этот вопрос. А

спрашивать он стеснялся — вдруг засмеют?

Просо — не просо, но на соседней с рыбой конфорке Геннадий варил и кашу, засыпав, как учила-поучала перед отъездом на курорт Света, в маленькую кастрюльку две столовых ложки «без верха» какой-то микроскопического размера крупы желтого цвета. Название ее он никак не мог запомнить, но в голодные годы между ГКЧП и расстрелом Верховного Совета на Краснопресненской такую вот крупу по нескольку кило зараз раскупали в магазинах вполне прилично одетые женщины. Даже в их сравнительно благополучном доме — тесть еще не стал председателем совета директоров местного филиала московского банка АКБ «Столичный первый плюс» — несколько раз такую кашу варили. Егор Трофимович и Елена Авдеевна, помнившие военные годы, ели ее в охотку и с комментариями:

— Словно в детство вернулась! Правильно говорят: от тюрьмы да от сумы не отрекайся.

— Ты это, Авдеевна, на что намекаешь? Я вроде как взяток не беру... да и ты тоже.

— Да-да, ты с мелочью не хочешь пачкаться, а до крупняка, как сейчас говорят, чин не тот. Мне же в скорую кардиологию привозят с инфарктами, не до бакшишей. Это я так, в смысле что все рано или поздно возвращаются на круги своя.

— Навалился, *понимаш*, как уже Борис Николаевич с похмелья говорит, класс-гегемон вороватый!

Вспомнив давешние разговоры на кухне, Геннадий заулыбался, но дело требовало серьезности: каша доходила, а нужно было еще слить с хека кипяток, растолочь разварившуюся рыбу, смешать с кашей, остудить. Взглянув случайно на часы, изумился: почти час готовит едово Сократу. А он обычно упрекал Свету, что она все утро занимает кухню, готовя кошачью еду: «Такое впечатление, моя дорогая, что ты консоме с пашотом или утку по-пекински сварганить решила в честь первого вторника на неделе!».

Оно, конечно, кухарня — дело тонкое и торопливости не терпит, но когда пять человек с утренним аппетитом целый час дожидаются своей очереди похрумкать нехитрый салат и яичницу с колбасой, то невольно начинаешь неодобрительно посматривать на Со-

крата, сидящего на кухонном подоконнике и абсолютно трезвым, нарочито строгим, как у проституток из Женькиных журнальчиков, взглядом наблюдающего за священнодействием хозяйки у плиты.

С остуживанием рыбного кулеша и неторопливым, гурманским причмокиванием закусывающего Сократа и вовсе двенадцатый час дня прошел. И опять получалось, что все при деле, один он черт-те чем занимается вместо дописывания главы двенадцатой своей философской монографии, чему он по мере сил и возможностей и планировал посвятить двухмесячный преподавательский отпуск.

Действительно, категорически отказавшиеся от суматошной поездки в «наши» Сочи и в «не наш» Крым, тем более в Турцию или еще куда, что соответствовало статусу семьи банкира, Света с матерью и перешедшим почти отличником в третий класс Тришей сейчас возвращаются с прогулки и готовятся к обеду на полюбившемся им, как раньше матери и тетке Женьки, недальном курорте на Оке. То есть, строго исполняя распорядок дня, все при деле. Про Егора Трофимовича и говорить нечего: укатил еще две недели тому назад и обещал вернуться только «к середине последней декады августа», как объяснил он суконным языком профессионального хозяйственника. Маршрут его, в основном по изысканию для банка клиентов, транзакций, инвестиций и контрагентов, пролегал самым чудным образом от Норильска на севере до Бхилаи в Индии, а с востока на запад от Сургута до Мадрида с пересадкой в швейцарском Базеле. «Торгую бывшей родиной оптом и в розницу,— с серьезным видом, не хуже как у Сократа, объяснил он семейству на росстанях,— месяц-август у нашей братии год кормит: все контракты сейчас и оформляются; надо же «золото партии», на котором и сидит наш банк, прокручивать!» Геннадий так и не понимал до конца про золото партии — шутит или всерьез тесть говорит?

...Наконец, и Наташа тоже при деле, при своей должности главной медсестры спортивно-оздоровительного центра; сегодня у нее первый после отпуска рабочий день. «Ой, Геночка, до сентября даже и не звони, занята буду по горло на работе,— щебетала она вчера разохотившемуся профессору, выйдя из ванной и доканчивая свой туалет перед лжевенецианским зеркалом в гостиной

Женькиной виллы, впрочем, уже достаточно ей знакомой,— только что отделку нового объекта завершили, вот-вот оборудование завезут. За всем глаз да глаз нужен!

— Какой объект? — помотал головой Геннадий, все мысли которого были явно о другом. В том числе и запоздалое раскаяние.

— Как какой? Весь город знает, а ты, извиняюсь, в постели от члена — опять же извини за невольный каламбур — попечительского совета и акционера ЗАО «Спортивно-оздоровительный центр» узнаешь? Ресторан «Олимпикс» с комнатами отдыха открываем...

— Это что? Публичный дом, что ли?

— А навроде того. Надо же досуг новоиспеченных триллиардеров* обеспечивать.

— Ты же, значит, еще и мамкой-марухой будешь?

— Во-первых, дорогой, негоже профессору путаться в терминологии: мамка в досуговом заведении — это одно, а маруха — это девка бандита низшего пошиба. Во-вторых, у меня совсем другая должность; я с персоналом не работаю. Потом, сейчас мы все в силу обстоятельств занимаемся делами, несколько не соответствующими официальным наименованиям. Сам же постоянно твердишь, что и твое высшее образование — преподавание в эпоху демократии есть разновидность коллективного онанизма. Так что, Геночка, как ни верти, но все сейчас вертится вокруг денег и, так сказать, мочеполовой специфики человеческого организма.

— Хм-м, куда уж мне понимать, сирому и убогому, *quod licet Jovi, non licet bovi*!

— Ладно, не умничай. Мы тоже в своем медико-кулинарном техникуме латынь проходили. И еще неизвестно, кто здесь бык, а кто Юпитер. Главное, мы с тобой уже любовники со стажем, интереса друг к другу не потеряли, циниками в отношениях не стали. И, дай, бог, так и дальше продолжать. Жизнь сурова и переменчива, а нам с тобой, милый, негоже не четвертом десятке лет менять друг друга, благо и тылы у нас хорошо обеспечены. Это не цинизм все тот же, но философия жизни. Учись ей, мой профессор

* Напомним, что дело происходит в 1996 году, когда газета стоила несколько тысяч рублей-кириенок.

философии! Я уже губы подвела, целуй в щечку — и поехали.

* * *

Все при делах. Вот и Сократ, в меру обожравшись, пошел искать себе уютное местечко для послеобеденного сна, а Геннадий задумался: сейчас сразу приняться за докучливую главу своей книги или сначала сходить в парк, на обратном пути затарившись для пополнения холодильника, но здесь раздались два коротких звонка со стороны прихожей — ага, значит, кто-то в этот жаркий месяц, как и он, не нежится под солнцем, а все строчит и строчит. Вот и Надя заказное письмо или бандероль принесла.

Накинув полосатый «бухарский» халат, отворил дверь и взял из рук почтальонши, застаревшей девушки Нади, бывшей инженерши из ЦКБ агрегатостроения, где сейчас работал его отец, заказное письмо в официальном конверте, протянул ей на ходу положенную в карман халата маленькую шоколадку. Улыбнулись друг другу. Геннадий затворил дверь, мельком взглянул на конверт, тут же его лицо исказилось гримасой и, не сдерживая себя, он в голос заорал в пустоту квартиры: «Будь ты проклят, урод! Чтоб тебя в ад мойры утащили!»

...Ни в чем не повинный Сократ, выглянувший в коридор прихожей на звонок, принял этот крик как адресованный ему, поджал тигровый свой хвост и ушмыгнул, затаившись в углу под креслом.

Озадаченные вышли от хозяина, директора и владельца научно-производственной фирмы «Урюккишмишторг», старшие приказчики Подлизалов и Недоплюйкин, репу чешут:

— Да, брат Подлизалов, похоже переутомился Сам на Мальдивах с Веркой-секретуткой. То-то она, стерва, идет по офису, грудями и задом болтает, компьютеры расталкивает.

— Да нет, коллега Недоплюйкин, тут дело совсем в другом, я как раз у Верки выведал. Хозяин на отдыхе законтачил со столичной братвой и взял откуп на отмывку трех мешков денег ежедневно. Сам понимаешь, на нашем гнилье такое не отмыть, мигом инкассация смекнет и — пиши пропало, полгорода придется харчить.

— А-а, понимаю. Так-так, дай прикину: три мешка — это значит на кассе придется афишировать продажу ста тонн урюка за трудодень. Каково? Ну и молодчага наш Илья Гургенович, такую мазу вмиг придумал!

— Да-а, чай не тыква голова у него, жизненный опыт огромный. Говорят, при совковой власти пять ходок сделал, причем первую за разбавление водой марочного цинандали у себя под Кутаисом. Ладно, пошли в рекламную фирму заказ делать.

На следующее утро перед «Урюккишмишторгом» через всю улицу-проспект сверкала свежей краской растяжка: «Беспрецедентная акция: теперь мы продает оптом и в розницу индийских и африканских слонов и носорогов».

Литераторы губернского масштаба Омшаников и Сухариков случайно встретились напротив бывшего издательства-кормильца. Вспомнили прежние времена, когда по нескольку раз за год заходили туда за солидными по провинциальным меркам гонорарами, повздыхали, позлословили о бывших и нынешних коллегах. Теперь оба нищей пенсией живут, изредка удается подрабатывать толику сочинением агиток на выборах-перевыборах. Поговорили и порешили, что единственное сейчас стоящее дело — пробиться в почетные граждане города: и приплачивают немного, и квартплату не требуют, на всякие торжественные мероприятия с буфетом, а то и вовсе с банкетом, непременно зовут.

— Да, хорошо бы,— мечтательно протянул Сухариков.

— Совсем недурственно, сударь мой,— поддержал Омшаников, поглаживая свои пушкинские бакенбарды.

Повздыхали, еще раз вспомнили недобрым, язвительным словом коллег-литераторов и разошлись. Пока до своих домов шли, все мечтали-фантазировали: как же почетное гражданство ухватить? Сухариков склонялся к совершению какого-либо трудового подвига, вернувшись к юношеской профессии оператора доильных установок. Долго мучался и Омшаников, а в конце концов позвонил — посоветоваться — руководителю местной писательской организации, разбудив того. «Брось писать, и за это тебе сразу почетного дадут»,— сердито буркнул литначальник.

Глава шестнадцатая.
СОСТЯЗАНИЕ АПОЛЛОНА И ДОЧЕРИ УРАНА ФЕМИДЫ

Страшную брань меж троян и ахеян
оставили боги;
Но свирепствовал бой, или здесь, или там
по долине,
Воинств, один на других устремляющих
медные копья,
Между брегов Симоиса и пышноструистого
Ксанфа.

«Илиада», песнь VI, ст. 1—4

— Даже в наше безалаберное время, Гена, когда все и всея бросились в омут накопительства и приобретательства, а науку по разряду престижности поставили где-то посредине между наемным базарным торговцем и водителем троллейбуса, все одно защита докторской диссертации сопряжена со многими моральными издержками,— говорил Николай Игоревич, некогда шеф Геннадия по кафедре истории КПСС. Кстати, все его давние слова сбылись: все партийно-политические кафедры в одночасье ликвидировали, оставив нетронутой только философскую, куда он сумел «втолкнуть» своего подопечного. А из трех упраздненных скоренько слепили монстра под названием кафедры современной политической истории и движений двадцатого века, куда «холодный» профессор Меркулов, по возрасту достигший пенсии, и ушел, но уже, понятно, не заведующим, а рядовым профессором без докторской степени.

Впрочем, диковинное название продержалось не более полутора семестров. Хорошо известно, что в вузах любят экономить на всем, особенно на зарплате рядовым преподавателям и на писчей бумаге. Поэтому во всех документах внутреннего пользования — от служебных записок на оказание матпомощи до приказов об увольнении за халатное... и прочее пьянство на рабочем месте — названия факультетов и кафедр упоминают исключительно в виде аббревиатур, к каковым все быстро привыкают и уже используют

их чисто мнемонически, даже не вдумываясь в двусмысленность некоторых таких сокращений. Но вот свежему человеку этот тотчас в глаза бросается.

Как-то пополудни на скомбинированной общественно-политической кафедре раздался телефонный звонок. Секретарша подняла трубку, сразу взволновалась и протянула — по старшинству, заведующего на месте не было — Меркулову, пояснив служебным шепотком: «Сам ректор звонит!» Добрый профессор едва не впервые слышал столь раздраженный голос Генриха Семеновича, обычно вежливо и выдержанно, уже четвертый десяток лет уверенно ведущего по бурным водам жизни громадный институт, теперь университет, своими строениями занимающий несколько городских кварталов:

— Послушай меня, Николай Игоревич. Ты-то куда смотрел с твоим опытом работы и всего прочего? Как ваша новоиспеченная кафедра именуется, а?

— Да вроде на сегодняшний день, Генрих Семенович, кафедра современной политической...

— Нет, ты сокращенно ее назови,— прервал тот Меркулова, — впрочем, сам и назову: *СПИД XX века*! От меня вот только что вышел куратор из министерства, просматривал отчет за первое полугодие... экие, дескать, у вас, Генрих Семенович, мрачные юмористы в руководстве университетом, а может и с политическим, антидемократическим подтекстом?

...Неизвестно, как себя и свой вуз реабилитировал ректор Беркутов, но кафедру спешно переименовали в «Историю и культурологию». Причем все воспринимавший всерьез доцент Енукидзе, перешедший вместе с Меркуловым с истории КПСС, проверил на лояльность все возможные сокращения нового наименования и ничего крамольного не нашел, исключая не вполне вписывающееся в современное политическое устройство постсоветского пространства упоминание в одном из вариантов теперь чужестранного озера Иссык-Куль.

— Напротив,— возразил с серьезным лицом Николай Игоревич,— это свидетельствует о жизненности идеи СНГ, как бы ее не называли *наши* коммунистические оппоненты.

Енукидзе и все остальные промолчали, правда, вспомнив, что

Меркулов обменял еще в начале девяностых партбилет КПСС на аналогичный КПРФ и исправно раз в месяц ездит в Пореченский райком платить взносы Нине Васильевне, бывшей старшей коллеге Геннадия по школе, теперь пенсионерке и замсекретаря районной первички. Верный своему бывшему начальнику и прославленной фамилии Енукидзе также обзавелся партбилетом и встал на учет в том же райкоме.

Уже значительно позже, когда возникла обычная кафедральная склока при разделе нагрузки на очередной семестр, кто-то пустил провокационный слух, что именно Енукидзе, генетически потомственный сталинист и тоталитарист, по наущению махрового коммуняки Меркулова специально придумал *СПИД XX века* и как-то смел, используя через любовные интрижки молодых и глуповатых сотрудниц учебно-методического отдела, закрепить это название в официальном использовании.

* * *

— Так вот, мой дорогой кандидат в доктора философских наук,— развивал тему матерый педагог от истории бывшей партии, — это тяжелое, как сейчас говорят, наследие нашего имперского прошлого. Дело все в том, что различие между кандидатом и доктором не только количественное, но сугубо качественное. Хотя и категорию количества ни в коем случае отвергать не следует. Скорее наоборот, ибо в плане материальных и иных благ доктор-профессор, как ты и сам прекрасно все помнишь, в советской иерархии занимал видное место: и оклад со всякими надбавками за пятьсот полновесных, не подверженных никакой инфляции рублей, и знаки поощрения в виде премиальных лауреатств, почетных званий, орденов и медалей за удачно написанную монографию или учебник, а то и просто по успешному завершению очередной пятилетки. Последние — если ты особо приближен к ближнему ректорскому или, что существеннее, обкомовскому кругу. И, конечно, весь общественный пиетет, вполне искреннее уважение от младших (не сверстников!) коллег, всяких неофитов и малопосвященных... Наконец, прямо в полную противоположность нашему волчьему времени, даже не то что почитание — уважение со стороны сту-

дентов и аспирантов, но и некоторая боязнь: куда, дескать, мне, умом убогому, на равных разговаривать с Сан-Санычем или Николай-Николаичем, целую свору собак съевшем на своей научной дисциплине: проектированию канализационных стоков или, допустим, термоядерных реакторов. Засмеет еще!

Конечно, и кандидатам наук в недавнее доброе время жилось распрекрасно, но все равно это был уже другой, ниже расположенный уровень. А уровни иерархии любого социального образования, как нас учит марксистско-ленинская методология науки, складываются постепенно методом проб и ложных ходов и стабилизируются на достаточно устоявшемся этапе развития общества. Так и у нас эта иерархия окончательно сложилась где-то к середине семидесятых годов. До этого времени стабильности, стагнации-застою, как опять де сейчас говорят, мешало многое: революции, войны, ускоренное создание супердержавы, волюнтаризм и пробабилизм Никиты Хрущева, а главное — зоркий глаз Иосифа Виссарионовича, отмечавший каждую попытку тех же деятелей науки успокоиться в своих кабинетах и бесконечно устраивать пустопорожние дискуссии о прибавочной стоимости при социализме... С соответствующими выводами Иосифа Виссарионовича, конечно. А Никита, когда московские академики допекли его льстивыми намеками об увеличении оклада содержания, и вовсе разогнал всю ученую, пригревшуюся в столице братию по областным городам. Правда, уже при «раннем» Леониде Ильиче все они возвратились в свои московские квартиры, вовремя переписанные на ближних и дальних родственников.

А теперь, дорогой мой, и сам сообрази: что поддерживает стабильность иерархии социальной? Правильно, четкая численная пропорция между уровнями. Иначе все смешается и придет в ничтожество. Так и в нашем, учено-преподавательском вузовском мирке эта пропорция свято и строго блюлась. Взять наш университет; лет двадцать пять назад — ты-то этого, конечно, не застал, не знаешь — его предшественник, знаменитый на всю страну, даром что в провинции, политех с военно-промышленным уклоном на два десятка тысяч студентов и научно-административной, хозяйственной обслуги имел всего двенадцать профессоров! И то из них двое были «холодными». А вот теперь их число, уже почти без «холодных», перева-

лило за двести при сокращении числа студентов почти в два раза. И все. Слово «профессор» стало почти ругательным...

Теперь к технологии сдерживания числа профессоров-докторов в прежние времена. Она состояла, по преимуществу, из двух параллельно-последовательных действий: административных и корпоративных. Первое — это прерогатива своего, вузовского начальства и состояла из следующих действий: до пятидесяти лет никаких докторских защит, робких — изматывать бюрократической волокитой, наглых — утихомиривать санкционированным попаданием в вытрезвитель или подтасовкой по амурной части, наконец, очень уж умных — по научной части, конечно,— либо переводить на достаточно престижную административную должность, где они постепенно утрачивали свой преподавательский пыл, либо же хитроумным сочетанием кнута и пряника принуждали перейти в другой вуз, в НИИ-КБ, где они являлись полными чужаками и до пенсии трудились доцентами или начальниками расчетно-теоретических секторов. Самых неловких в жизни спроваживали в столицы и университетские центры, где их мигом «съедали». Очень важным инструментов являлось членство в *нашей* партии. По крайней мере, до самого конца семидесятых годов партийность являлась необходимым, но далеко не достаточным, условием всяких попыток прошмыгнуть в доктора. А для наших с тобой партдисциплин и вовсе обязательным. Как ни странно, но самые умные в науках почему-то забывали вовремя обзавестись книжицей с профилем Владимира Ильича, а до XX съезда еще и Иосифа Виссарионовича.

То есть, Гена, опять же новомодный административный ресурс был разнообразным по своим проявлениям. Но это только цветочки. Воистину же откровенными ягодками похуже белены и дурмана являлись и до сих пор — по традиции — являются корпоративные преграды, или, как их называют — *отзовисты*. Не путай с партийным термином времен царской госдумы и фракционной борьбы до начала сталинских пятилеток.

Кстати, не по теме, но отвлекусь. Меня, старую партийную лису, всегда приводила в полный восторг фраза «отозвать свою подпись». Особенно популярна она сейчас во времена расцвета перевертышей, проходимцев и конъюнктурщиков во власти. Это

прямо по Салтыкову-Щедрину Михаилу Евграфовичу: полный бюрократический восторг! То есть человек, серьезный по виду, в должности, в строгом костюме с галстуком, подписал некий манифест, обращение, кляузу и так далее. Затем ему порядочно заплатили или пригрозили увольнением, расследованием источника доходов для приобретения коттеджа на Рублевке или поместья в Испании, и он шлет куда следует отношение на официальном бланке, дескать, я, такой-то-такой, *отзываю свою подпись* из коллективного обращения о предании суду министра Головоногого, укравшего сто миллиардов долларов казенных средств, и вообще присоединяюсь к другой коллективной просьбе наградить оного министра Андреем Первозванным и назначить послом в Ливию, поскольку там он ничего не украдет уже более, ибо в Ливийской Арабской Социалистической Джамахирии за воровство отрубают руки.

Это же, Гена, блеск! — Отозвать подпись... Учись, будущий профессор!

* * *

— Вот эти отзовисты, мой юный друг, сродни функционерам того тайного мирового правительства, о котором ты любишь неосторожно порассуждать, блеща своей недюжинной эрудицией, на кафедральных предпраздничных посиделках. А надо, кстати, и поосторожнее быть. Сегодня на дворе крайний либерализм, а не успеешь и притормозить — ан уже и новый 37-ой на дворе! Только наоборот по сравнению с первоисточником.

Итак, отзовисты. Происхождение этого племени мутно и туманно. Даже в ВПШ о них как-то вскользь говорили профессора, инстинктивно понижая голос и оглядываясь через левое плечо — это где на человеке черт сидит. По всей видимости, и в партшколе всем отзовисты заправляли.

По всей видимости, профессия отзовист наследственная уже где-то в третьем-четвертом колене, считая от начала 20-х годов, когда на смену старой, контрреволюционной профессуре типа Вавилова, Вернадского, Мичурина и Тимирязева, людей чистых душой и помыслами, начали целыми дивизиями приходить рабфаковские выдвиженцы, начали складываться уже чисто советские

научные школы. Знаний у выдвиженцев явно не хватало, зато амбиций предостаточно. Главное — в отличии от представителей старой науки, снискавшей России на рубеже веков достойную ей в мире славу — они назубок знали первую главу первого тома «Капитала», названия основных работ Владимира Ильича и помнили до следующего съезда ВКП(б) резолюции предыдущего.

Из этой вот разнородной массы и начал выделяться слой советской профессуры — разными путями и способами. Кто корпел над диссертациями, а кто и за заслуженные подвиги сразу в охапку получал высокое ученое звание. Правда, здесь наше правительство что-то путало с воинскими подвигами. Вот, например, знаменитые папанинцы: вернулись на Большую землю — и, как орден с куста — троим из них, самому Ивану Папанину, «самому северному еврею СССР», как писала французская *Le Monde*, Федорову и Ширшову спецуказом выдали дипломы докторов географических наук!

— Это я знаю, Николай Игоревич, а вот почему четвертому-то, Кренкелю, в докторстве отказали?

— Ну-у, брат, это ты в нужное время и у нужного человека спросил. Ведь моя племянница-москвичка в шестидесятые-семидесятые годы работала делопроизводительницей, или как там ее официально называли, в Центральном радиоклубе СССР — это который всех радиолюбителей страны объединяет; кажется, и сейчас существует, только племянница уже на пенсии, чем-то подторговывает по мелочи. Тогда же она молодка из себя видная была, и Эрнест Теодорович, бессменный руководитель этого клуба, всегда звал ее на разные официальные и неофициальные сабантуи, что в те годы так были распространены в небольших организациях семейного типа.

Много чего в дружеских застольях рассказывал обиженный полярник. В частности, то ли в шутку, то ли всерьез — и сам навеселе — говорил, что когда остальные трое хотели встряхнуться от ледовитой скуки, то есть выпить по сто грамм казенного спирта для протирки оптики, то Папанин объявлял двухчасовое закрытое партсобрание, и Кренкеля, как единственного беспартийного в дрейфующей первичке, выставляли из палатки на мороз на законном основании. И диплома доктора наук ему не дали, как немцу и

не имевшему высшего образования. Лишь слегка подсластили обиду: специального для него ввели звание «Почетный радист СССР» и вручили ему удостоверение за номером один...

Ну, да ладно с ним, с Кренкелем. Вернемся к нашим слонам, то есть отзовистам. К середине тридцатых годов костяк советской профессуры подобрался основательный, с центром, понятно, в Москве. Поначалу было и в Ленинграде альтернативный намечался, но питерским выдвиженцам не повезло: сначала каким-то боком подпали под кировское убийство, потом — война с блокадой в три года, а сразу после нее — и снова ленинградское дело. А по гуманитарщикам ударила статья А. А. Жданова о журналах «Нева» и «Ленинград». Только один Иоффе в своем физтехе закрепился, да кое-кто еще в ЛГУ, в основном, по афро-азиатским языкам.

Формировалась эта профессура в основном по родственным и деловым связям. Когда столица ею наполнилась, то начали, как уличная кошка котят, распихивать своих смотрящих по провинциальным вузам. Нет, конечно, не все они стопроцентно были карьеристами от кормилицы-науки навроде твоих братьев-философов и обществоведов типа Презента, приставленного к Трофиму Денисовичу Лысенко, чтобы очень уж не зарывался в критике вейсманизма-морганизма. А то, глядишь, по широте русско-хохлацкого характера еще и структуру ДНК допрежде американцев Уотсона и Крика откроет? К чему, как ты сам мне только что рассказывал, был народный академик весьма близок...

Вовсе нет, здесь-то официальная историография советской науки ни в чем не грешит: очень и даже очень многие ученые внесли достойный вклад в отечественную и мировую науку. Да иначе и не могло быть, особенно в сталинские времена... Но еще больше было и есть сейчас приживальщиков, а они-то и являются контролерами.

Как то и положено в природе живого, смотрящие на местах обзавелись доверенными учениками, из которых путем строгого отбора и согласования с Москвой, а позже с Киевом, Свердловском и Новосибирском, и готовились умеренные кадры уже провинциальной профессуры. То есть наука становилась реальной производительной силой, а это, в свою очередь, требовало расширения круга причастных к ней людей, в том числе и с учеными степеня-

ми. Крестные отцы заволновались: размывание круга профессуры угрожало их статус-кво и модус-вивенди.

Вот в этот период, где-то между тридцатыми и пятидесятыми годами, с перерывом на войну, и возник институт отзовистов, самая кошмарная вещь для наивных кандидатов в доктора, не прошедших воспитательного сита выскочек, навроде, извиняюсь, тебя, Гена.

Не могу точно сказать: приплачивают им что-то и откуда-то, либо какие иные льготы имеют, но работали они, да и сейчас, на совесть. Ну-у, в крайнем случае, за страх, а не за совесть... Последнее для них есть понятие абстрактное. Узнать отзовиста, как это ни странно при его конспиративной деятельности, достаточно просто — но при условии, что ты знаешь о такой профессии и поставил себе целью выявить носителя таковой.

Во-первых, отзовист маскируется под среднестатистического доцента или «холодного» профессора, реже — под «горячего», то есть лет от сорока пяти до шестидесяти, анемично худощав, в очках, одет в безликого серого оттенка костюмчик, который единственный аккуратно носит с аспирантской молодости до ухода на заслуженный отдых лет в семьдесят пять. Обязательно при галстуке и белой рубашке, лицом бледен, скучен, но в глазах затаенная сумасшедшинка. Словом, именно про таких раскрепощенные девахи-студентки говорят: «Да я лучше, как последняя дура, толстенный учебник по проектированию канализации вызубрю и сдам на тройку, чем за пятерик лечь в постель с таким!».

Во-вторых, и в-основных, это поведение отзовиста после утреннего чтения им лекций, в так называемую «вторую половину дня», как мы пишем в индивидуальных учебных планах на каждый семестр. Пишем, понятно, всякую чушь: работа над учебным пособием, воспитательные беседы со студентами, подготовка предложений по повышению эффективности усвоения... и так далее. На самом же деле, как прекрасно знаешь, все занимаются личными делами: адюльтером, выпивкой на троих, стройремонтными работами в квартире или на даче; взяточники по десятому разу мытарят недогадливых «учеников науки» пересдачей зачета... Но не таков отзовист.

У него эта «вторая половина» еще на две подполовины разби-

та. С двух пополудни до четырех его обязательно встретишь на втором этаже главного корпуса, где во всех вузах гнездятся ректор, проректоры и виднейшие административные службы. Дел у него, собственно, особых здесь и нет. Ну, зайдет поздороваться и спросить об успехах внучки в школе к зам. начальника учебно-методического управления Палькину; у секретарши проректора по науке внимательно, дабы сэкономить ее драгоценное время, пролистает всю пухлую папку «На подпись», якобы ища неделю тому назад принесенную с их кафедры служебную записку о списании старого компьютера... Заглянет и в приемную ректора, якобы в поисках профессора Толстоногова, вроде как вызванного *Самим*. Заодно сделает незамысловатый комплимент вечно молодой восьмидесятилетней секретарше ректора Степаниде Ефимовне, участнице штурма Перекопа, при этом зорко осматривая посетителей.

Наконец, где-то в половине четвертого ему попадается первая рыбка-ласточка: неуверенно идущий в высокий кабинет доцент Несчастливцев с «кирпичом» диссертации в руках. Мигом наш отзовист ринется к «дорогому Славику, которого он не имел счастья видеть уже целых два дня», обо всем расспросит и даже даст дельный совет, впрочем, самый пустяковый. После чего, еще с четверть часа покрутившись по второму этажу и заглянув на третий в сектор аспирантуры и докторантуры, спускается на первый, где все левое крыло с полуподвалом занимает библиотека. Идет он прямо в сто тридцать первую комнату, где складируются обязательные экземпляры диссертаций, защищаемых в их вузе со времен основания в годы первой сталинской пятилетки.

...И до закрытия библиотеки, в компании двух-трех своих коллег-отзовистов, явно не показывая перед библиотекаршей и случайными посетителями своего с ними знакомства, он внимательно листает свежепоступившие «кирпичи», делая в особую тетрадь многочисленные выписки. А ко всему, кроме мизерной зарплаты, равнодушная библиотекарша даже не заинтересуется: почему это специалист по электросварке Бубенчиков кропотливо изучает диссеры по синтезу формальдегидных пластмасс и неявным марковским процессам в телемеханике на железнодорожном транспорте? Да и выбирает он себе чтиво, называя огорчительно скучающей Анфисе

Венедиктовне диссертации по фамилиям авторов, сверяясь все с той же тетрадкой для записей...

Николай Игоревич мельком взглянул на настенные часы и заторопился:

— Однако, Гена, мы с тобой заговорились. Вот она старческая болтливость! Надо еще поспеть домой к началу матча: сегодня ведь наши с барселонцами в одной восьмой финала сражаются! А тебе вот что скажу в качестве резюме: диссер докторский обязательно завершай, торопись, пока в официальной научной деятельности снова регламент не восстановили. И имей в виду живучесть племени отзовистов; и сейчас не все они в торговлю и в банки ушли, в Америку или Израиль уехали. Особенно по интересующей тебя философской части — те вообще ни здесь, ни там и даром никому не нужны, все одно делать ничего не умеют по жизни.

— Одну секунду, Николай Игоревич! А как эти самые отзовисты вредят?

— Способов много, главное, они по всей стране связь между собой тесную держат. Ты особо не радуйся, что сейчас о защите докторских диссертаций не публикуют загодя и вообще в «Бюллетене ВАК»*. Кому надо — узнают и сообщат по сети. Сейчас же, когда парткомов и обкомов нет, главный их метод — это назначить какого-нибудь шустрика из своих, желательно со справкой из дурдома на всякий случай, а он письмами-заявлениями не хуже кришнаитов завалит всю страну; имею в виду присутственные места. Так что готовься, студент! Я побежал...

* * *

Как в воду глядел матерый партайгеноссе Меркулов! Через полтора года после боев на Красной Пресне, только не девятьсот пятого, но девяносто третьего года, выждав положенные по неписанным правилам джентльменства пять — даже с небольшим лишком — лет после кандидатской, Геннадий защитил диссертацию доктора философских наук в том же совете, где однокашник Меркулова по ВПШ Чекмазов стал уже председателем. Прежний

* Высшая аттестационная комиссия (сейчас при Минвузе РФ).

же руководитель через племянника, среднеответственного клерка в администрации президента, поступил на госслужбу и получил пост посла в южно-американской банановой республике.

Анатолий Степанович нисколько не возгордился, даже отужинал за пару месяцев до защиты с соискателем и привезенным им в Москву на машине тестя Николаем Игоревичем в приличном частном ресторанчике на Таганке рядом со знаменитым театром.

— ...Ты, Геннадий Борисович, к этому заведению присмотрись: кормят недурно и цены даже для провинциала приемлемы. Мы ведь после возобновления банкетов теперь здесь защиты обмываем. А по диссертации... скажу, что смело, ново и живо. Так сейчас и надо. Чем мы хуже филфака МГУ? А там и Зюганов апробируется, и Вольфович тоже заявил о своей готовности выйти в доктора. Ну и что из твоей критики Вейсмана и Моргана и апологии Трофима Денисовича? Все, мол, ссылаются на авторитет академика Фролова, что придерживался противоположной позиции... Опять же, ну и что? Мы хорошо в свое время были знакомы, и Иван Тимофеевич в своих книгах по философии генетики и методологии биологических исследований очень осторожно и по мере тогдашней политкорректности, в меру объективно оценивал историю генетических противоборств. И у тебя вот иной взгляд, современный подход, добротно аргументированный. Никого особенно и не задеваешь... Ладно. Спасибо, что Николая Игоревича вытащил-таки в столицу! Рад, искренне рад видеть и слышать тебя, Коля! А помнишь, как на выпускном в ВПШ мы с тобой за Веркой-парторгом на пару приударяили? Ха-ха-ха! Так, мужики, давай закругляться. Гена, закажи на посошок еще ассорти осетрины и малый графинчик «Финляндии», а то мне сейчас в Горбачев-фонд на презентацию какого-то пасквиля — по долгу службы — ехать, а там народ скупой, не накормят, не напоят, зато несколько часов придется слушать про консенсусы и мышление. Никак не успокоится старый комбайнер... Все копит ворохи «зеленых».

Диссертацию Геннадий сочинял с нерастраченной энергией цветущего здоровьем и душой человека, едва-едва разменявшего четвертый десяток лет. Самое существенное, что писал не стандартную нудню, а испытывал восторг полета научной мысли, что

всегда характерно для людей мыслящих, причем мыслящих-разумеющих в направлении, избранном самим. Конечно, как уже профессиональный философ, или *филозоф* по доброй иронии тестя и отца, он понимал: наука эта достаточно далека от реальной философии жизни на этой лучшей из планет... по крайней мере, планет Солнечной системы, но она его увлекала. И еще он лукаво отгонял от себя мыслишку: творчески работать по самим собой избранному направлению — это разновидность определенной лени ума. Конечно, не в смысле примитивного ничегонеделания, вроде как наоборот — с абсолютно полным сосредоточением своего сознания и подсознания в направлении поиска... если не истины, то уж во всяком случае полуистины, четвертьистины и так далее. Порой он даже ловил себя на некой толике цинизма: в минуты самой интимной близости со Светой в голове вертелись категории диалектики и логики. Правда, с Наташей это не проходило; здесь ситуация авантюрного адюльтера занимала на время все воображение.

Нет, это лень особого рода, которую так гениально — и единственный среди писателей и вообще людей пишущих — описал Гончаров. Понятно, что пролеткультовская — она таковой и оставалась, а во многом и остается до сих пор — наша критика и литературоведение не заметили сущность Обломова, примитивно сблизив его с Маниловым. Это все равно, говоря словами более позднего классика, что столяра-краснодеревщика низвести до уровня городского плотника. Именно городского, не деревенского: первый непременно — халтурщик, а второй, в силу экономии лесоматериала и привередливости соседей-заказчиков, отчасти, и художник в душе. Даже необязательно по необходимости. Обломов — это мыслитель высокого полета, но мыслит он о том, что ему нравится, чисто по-русски. Это только немец, как мастерски отобразил это Гончаров в своем романе, с его протестантско-торговой, прагматичной душой тоже мыслит, даже очень высоко может мыслить, как трудяги Гегель, Фихте и Шеллинг (Кант, Шопенгауэр и даже Маркс с Энгельсом — это уже более вольнолюбивый разряд), но без полета и с уклоном в обобщающую абстракцию. То есть в самых высоких философствованиях создает некую полезную машину.

Так примерно рассуждал про себя Геннадий, почему-то стре-

мясь оправдать себя. И был однажды поражен донельзя, когда в одной из обычных, «разгрузочных» бесед перед уик-эндом, Николай Игоревич заметил: «Ты, дорогой Гена, второй Обломов! В том смысле, конечно, в котором его создал автор «Фрегата «Паллады». Кстати, если помнишь и знаешь: Гончаров-то сам всю жизнь состоял на госслужбе и долгое время являлся одним из главных литературных цензоров; это вроде как по старым советским меркам занимал должность замминистра — начальника Главлита с двойным подчинением: Госкомпечати и КГБ. И нам в ВПШ на спецкурсе по цензуре всячески рекомендовали изучать эту сторону деятельности Гончарова, то есть не «рубить» бездумно, но аккуратно отделять зерна от плевел. И что бы там сейчас не несли про свирепую советскую литцензуру, а организована она была, особенно когда в 50—60-е годы идиоты старой пролеткультовской закалки ушли из нее на пенсию, а на их места пришли обученные, в том числе и в ВПШ, образованные люди, превосходно и выполняла, по существу, не столько запретительные, сколько редакторские функции».

Геннадий хотел было сгоряча возразить своему учителю вузовской, специфической жизни, но, подумав, остыл и согласился с Меркуловым. А тот в это самое время перелистывал толстую пачку набранных на компьютере бумаг — главу диссертации, подшитую в скоросшиватель. Глава была посвящена обоснованию философских изысканий Геннадия с помощью новейших методов комплексной логики.

— Мудрено, мудрено, брат, пишешь. Наверное, сейчас так и надо. А я ни черта не понимаю, хотя и прослушал курс этой самой логики в ВПШ, да и в институте еще что-то такое было. А всего-то и запомнилось *tertium non datur*...

— Да-да, Николай Игоревич, третьего не дано. Увы, это основание классической логики Евклида — Аристотеля — Евдокса уже малоактуально.

— Уж вижу по твоим листкам. И еще вижу, что все это тебе удовольствие почище женщин и «очищенной» доставляет. Это и есть комплекс Обломова. Завидую тебе, Гена!

* * *

Надо самому себе признаться, тему Геннадий избрал крайне неординарную и требующую самостоятельно и на уровне, что называется, квалифицированного практического пользователя, изучить университетские курсы эволюционной и молекулярной биологии, математической логики и, само собой, все современные отрасли философского естествознания. Но в охотку и неволя, правда, на время, благоустроенным гостиничным номером покажется... Кстати, здесь прямо в масть оказалась его способность почти мнемонически запоминать самые сложные — для обычного житейского обихода — тексты и умозаключения.

Когда его спрашивали коллеги, знакомые и даже домашние, последние, впрочем, наперед одобряли все его дела: отчего он избрал тему докторской диссертации совсем не в контексте кандидатской, как то принято в этих сладострастных играх ума? — Он отвечал: да, совсем иную, ибо первая — это, так сказать, разминка, почти служебная докука, а вот докторская — это самооправдание человека, причастного к научным изысканиям.

Кто-то, что поумнее, понимал этот своеобразный юмор, слегка закрывающий вполне серьезную мысль. А иные, особенно из заматеревших доцентов и женщин, согласно кивали головами (женщины сочувственно к дурачествам вполне взрослого и неглупого мужика) и про себя отмечали, занося в память: надо с ним поосторожнее...

Подтолкнуло же его к избранию темы работы все то же посещение книгохранилища областной библиотеки, куда он получил свободный доступ, дабы не рыться в генеральном каталоге, ибо Света уже «выросла» до замдиректора с правом финансовых подписей. Ну, допустим, в эти волчьи девяностые годы у библиотеки финансов-то как раз не было никаких, но зато пока еще никто не расхитил сокровища книгохранилища. Люди, подобные покойному Вадиму Валентиновичу Кириллову, во власть имущую не попали, а если и случались в среде нынешнего городского бомонда коллекционеры, то очень уж специализированные: самые примитивы собирали разномастные иномарки, а интеллектуалы — чековые книжки наиболее солидных банков.

Разгуливая в подвале книгохранилища между подпотолочными

стеллажами, он много чего нашел, в том числе и труды Трофима Денисовича Лысенко пятидесятых годов издания. Как помнил Геннадий со школьных лет, Лысенко — олицетворение мракобесия в науке сталинских времен. В той же памяти еще был свеж роман «Белые одежды» известного писателя-шестидесятника. Все о том же Трофиме. Забрал эти книги домой, заодно захватив и труды Вейсмана и Моргана, а также достопамятного Вильямса и стенографический отчет той памятной сессии ВАСХНИЛ, где Лысенко одержал полную победу.

...А буквально накануне купил на книжном развале свежеизданную «Коммунизм как реальность» не менее скандально-знаменитого, в конце 70-х годов высланного на Запад Александра Александровича Зиновьева. Его имя он впервые услышал еще в студенческие годы по западным «радиоголосам». Из аннотации к книге узнал, что Зиновьев — крупнейший философ современности, создатель комплексного варианта логики.

Словом, через пару месяцев тема диссертации, что раньше никак не шла на ум, всплыла как рельефная надпись на мраморном фронтоне местного автовокзала, построенного в пятидесятые годы безыскусным местным Праксителем в стиле Парфенона, но непропорционально укороченным по высоте: *Комплексный логико-философский подход при анализе становления и развития генетических теорий в 30—50-е годы XX века*. Эпиграфом к введению он взял слова Лысенко: «*Нужно помнить, что мертвая природа есть первоисточник живого. Из условий внешней среды живое тело само себя строит и этим самым себя же изменяет*».

«...Будь ты проклят, урод! Чтоб тебя в ад монстры утащили», — как злобную молитву повторил еще раз Геннадий, с брезгливостью неся в руке и даже слегка отстраняя ее вперед и вправо казенное письмо со штампом прокуратуры их района в левом верхнем углу.

Не раскрывая конверта, Геннадий бросил письмо на стол гостиной, а сам полуприлег на диван, заложив руки за голову, прикрыл глаза и занялся успокаивающим аутотренингом, равномерно, стараясь быть спокойным, считая от единицы до ста и наоборот.

Страшный сон приснился директору департамента культуры областной администрации Амалфееву Венедикту Фемистокловичу, бывшему доценту античной истории и мифологии местного пединститута. Видно, перекушал он деликатесов на банкете по случаю открытия досугового центра на Старопавшинской (бывш. Новоиндустриальной) — нового очага культуры местного торгового олигарха Жоржа Кидалова. А снилось ему, что усиление вертикали власти добралось-таки до его департамента. С утра вошла в уютный их особняк пятиметрового роста Афродита и непререкаемо велела содрать всю позолоту со стен, побелить потолки, а восемьдесят процентов увольняемых за ненадобностью чиновников от культуры собрать в корзины и подносить к окну, куда она самолично их опорожняла. Под конец подозвала бледного, с дрожащими коленками Венедикта Фемистокловича:

— Зачем позоришь свою фамилию? Ведь ее родоначальница, олимпийская коза Амалфея подарила человечеству рог изобилия, а ты же из этого рога наплодил толпы никчемных, бездельных людишек! В наказание тебе лишаю должности, права на повышенную пенсию госслужащего и отправляю обратно доцентом в пединститут.

Проснулся от таких страшных снов Амалфеев с сердцебиением и в холодном поту. Потом до утра не мог заснуть, пугая добрую свою супругу и милых детушек, бездельников-переростков. А на утро предпринял контрмеры: явился к вице-губернатору с опережающим проектом сократить аппарат департамента на 0,35 %. Хмуро посмотрел тот на Амалфеева; он тоже вчера был на презентации у Жоржа Кидалова.

Возвратился с партхозак... тьфу-тьфу, с квартальных департаментских слушаний главный редактор независимой губернской газеты «Что посеешь» Бронекопытов и срочно вызвал к себе начальников отделов.

— Итак, господа, сегодня директор департамента озвучил последнюю установку оттуда, — Бронекопытов многозначительно указал пальцев в потолок.

— Это какую же, Амвросий Бенционович? О толерантности или пропаганде озеленения города?

— Нет, Лгуньков. Дело намного серьезнее. И Лука Феофилович эту установку сообщил в свойственной ему афористичной форме: «Самое гибельное зло — изобличение зла!»

— Это как же понимать, Амвросий Бенционович, в смысле конкретики и оргвыводов?

— А так и понимать, Поплюйкин; кстати, это особенно твоего фельетонного отдела касается. Хватит тебе злопыхательством заниматься: то городской голова виноват в том, что водопровод советской постройки не на тысячу лет рассчитан, то купец первой гильдии Жиромясов не угодил тебе тем, что заводской клуб перестроил под публичный дом... все равно завод этот китайцам на металлолом продали в прошлом году. Все! Намотайте себе на ус, а Поплюйкин на бороду, и идите работать по-новому.

...В следующем номере был помещен фельетон Поплюйкина о плохой работе дворовых общественных котов и кошек по отлову помоечных мышей и крыс.

Глава семнадцатая.
МУЗЫ СКЛОНЯЮТ АПОЛЛОНА И ДИОНИСА К СОЮЗУ ПРОТИВ ДОЧЕРИ УРАНА ФЕМИДЫ

Так произнесши, собрание быстрое он
распускает.
Все рассеиваются, к куще своей удаляется
каждый.
Тою порой мирмидонцы, принявши дары
примиренья,
С ними пошли к кораблю Ахиллеса,
подобного богу...

«Илиада», песнь XIX, ст. 276—279

«Как август, так обязательно непорядок; либо в стране, либо в доме»,— досадливо подумал Геннадий, сосчитав пульс: почти в норме; аутотренинг, вычитанный Светой из любимых ею популярных медицинских книжек, помог. А тут и Сократ, видно тоже вспомнив навязчивые назидания хозяйки о том, что коты снимают сердечные волнения, с мявканьем впрыгнул ему на грудь и внимательно посмотрел в глаза. Геннадий осторожно снял зверя-целителя с себя, усадил на подушку-думку, подошел к столу и оторвал кромку пахнущего канцелярией конверта.

В предписании районной прокуратуры от 16-го августа 1996-го года сообщалось, что в их адрес препровождено для дальнейшего разбирательства заявление гражданина Загрусткина Ильи Витальевича, работающего профессором в Краснодарском филиале Современного гуманитарного университета, направленное на имя президента Российской Федерации Ельцина Бориса Николаевича и содержащее обвинение профессору, заведующему кафедрой философии Красилину Геннадию Борисовичу. Сущность названных обвинений ответчик может узнать из прилагаемой факсимильной копии заявления гр-на Загрусткина, также пересланного им без комментариев из администрации президента.

В заключении сопроводиловки с явно читаемым между строк сожалением о том, что они вынуждены отвлекать по пустякам из-

вестного ученого от его актуальных упражнений на ниве образования, сообщалось: аналогичного содержания письмо с приложением *будет* отправлено в адрес университета — места работы гр-на Красилина, а также предлагается в месячный срок подготовить ответ по существу обвинений гр-на Загрусткина, дабы районная прокуратура имела возможность по инстанциям отправить свое отношение в администрацию президента. Геннадий, еще по институтской учебе помнивший азы судебной бюрократии, машинально отметил: в письме не указывался адресат ответа — то ли юридическое, то есть университет, то ли физическое лицо, то есть он сам. И еще показалось, что слово *будет* слегка подчеркнуто карандашом.

«Да-а,— уже спокойно, как пассажир, разволновавшийся от вокзальной толчеи и наконец-то занявший свое плацкартное место и обмякший душой, подумал он,— как говорится, теми же юристами, *consilia multorum requiruntur in magnis**. А лучший советский по житейским делам, конечно, Натали.

Геннадий подошел к телефону, набрал номер:

— Милый, я, конечно, польщена, что ты за день без малого уже соскучился по мне; это, как говорят классики любовной литературы, сулит нам с тобой много страстных минут и ночей в вечно возрождающейся любви...

— Ты что, небесноглазая, выпила пару коктейлей с утра?

— Не смешно. Геночка, я ведь тебе сказала, что у меня сейчас запарка со сдачей кабака, ты вообще чудом меня застал, на секунду к себе в кабинетик забежала,— в голосе абсолютно выдержанной Наташи он даже уловил нотки раздражения. Действительно, забегалась подруга.

— Я по делу. Опять идиот Загрусткин объявился. На этот раз через администрацию президента и нашу райпрокуратуру. И тесть где-то по заграницам разъезжает, не с кем посоветоваться.

— Та-ак. А ты чего хотел? Осень на носу, а у сумасшедших это сезонное обострение. Так-так, есть, конечно, у меня девахи и мужики знакомые в прокуратуре; приходилось по делам нашего

* В больших делах требуется совет многих людей (лат.).

скандально знаменитого Центра общаться. Посмотри-ка фамилию исполнителя... Ага, записала. Вот что, я тоже не каменная и, тем более, не климаксная, разговор с тобой даже по телефону возбуждает, да мне действительно никак от дел не оторваться. Поступим так: сейчас у меня есть минут сорок, пока пожарного полковника опохмеляют и ублажают длинноногой медсестричкой, я созвонюсь с кем надо из прокуратуры, а потом сразу тебе звякну. Не отходи далеко, а то...

— А что у тебя разве не длинные ножки?

— Дурак, если и лягу, то только с твоего разрешения и за большие деньги. Целую. Жди.

Нет хуже ожидания, но зато можно спокойно чаю попить. Как в воду, или еще в какую жидкость покрепче, смотрел партайгеноссе Меркулов: не обошлось-таки без отзовиста, да еще из наинеприятнейших — полного клинического идиота. Уже и не стоило читать его очередное послание, адресованное *Е. Б. Н.* И так все его обвинения он знал наизусть: плагиат его, Загрусткина, основополагающего сочинения «Лысенковщина и разгром советской генетической школы с позиции творческой диалектики», изданной на заре перестройки ростовским издательством «Фемистокл» тиражом 150 экземпляров; махровый, воинствующий сталинизм-тоталитаризм «некоего г-на Красилина, сугубого провинциала по месту проживания и масштабу мышления; кондово-домотканный лжепатриотизм означенного г-на, наверняка бывшего партфункционера, превозносящего в своем опусе, по сути мыльном пузыре, гонителей передовой генетической мысли, недоучек Лысенко, Тимирязева, Вильямса и примкнувшего к ним Мичурина. Отдельными пунктами обвинения значились: отрицание в духе достопамятной борьбы с космополитизмом величайших заслуг великих генетиков Запада: Менделя, Вейсмана и Моргана; сомнение в способности и желании руководства новой, демократической России под руководством выдающихся экономистов-реформаторов и лично *Е. Б. Н.* поддержать якобы высочайший уровень советской биологической науки... Наконец, «означенный лжеученый от философии, господин, а скорее всего затаившийся *товарищ* Красилин Е. Б., набрался, пользуясь научной безнаказанностью нашего сложного, хотя и соци-

ально-оптимистического времени, такой наглости, что напрямую утверждает и якобы логически доказывает: величайшее в истории биологии всех времен и народов открытие в 1958-м году выдающимися американскими учеными Криком и Уотсоном структуры дезоксирибонуклеиновой кислоты — *ДНК* было уже предвосхищено сталинским жандармом в науке Трофимом Лысенко. Полагаю, что, хотя у нас сейчас и демократия, но все же желательным было оказание психиатрической помощи г-ну Красилину путем принудительного лечения — для его же пользы».

* * *

Ровно через час Наташа позвонила:

— Дорогой мой, буду кратка. У нас тут *ЧП*.

— Что такое? Крыша что ли у кабака провалилась, а то вроде какой-то грохот с вашей стороны вроде донесся.

— Не остри, дело похуже крыши. Брандполковника перенакачали коньяком с виски, да и Томка-медсестра перестаралась в постели, так что инфаркт полкаша хватил, хорошо, не обширный. Но все одно в отделение твоей Елены Авдеевны с сиреной повезли. Давай к делу. Ты когда в следующий раз, ибо твой Загрусткин явно виски не пьет и с девочками не шустрит, поскольку сумасшедшим этого вовсе не нужно, получишь письмо из прокуратуры, то читай фамилию исполнителя...

— Ну-у, прочел: И. В. Горсткина. И что?

— А то, Геночка, что она у тебя в школе ученицей когда-то была. Не запомнить ты ее не мог: высокая блондинка, осиная талия и бюст под четвертый размер; я ее как-то видела в прошлом году, когда к ним по кляузному делу ходила. Веселая девка, она мне по телефону сказала, что намек даже сделала, подчеркнув в письме карандашом слово *будет*. А поскольку о наших с тобой отношениях не знает, то еще и похихикала: мол, на выпускном вечере ты и Женька ее по очереди лапали за грудь, зазвав в учительскую выпить на посошок. У-у, кобель ты этакий...

— Да-да, припоминаю; не про грудь, конечно, это она могла и выдумать, а по фигуре и фамилии. Так что?

— А то, что никакой телеги она в универ отправлять не бу-

дет, ибо им есть чем посерьезнее заниматься. Далее, ответ составь сам, покороче, не более полутора-двух страниц, все одно — читать никто не будет. Пиши конкретно, без научного своего мата, про сумасшествие истца не упоминай, а то он, в отличие от тебя, чистоплюя, заявление в суд подаст. Упирай все на несостоятельность обвинений. Да, подпись свою заверь у себя в отделе кадров. А Ирка отношение напишет в нужной тональности. Еще она — я представилась троюродной родственницей, что недалеко от истины — передает тебе дружески-пламенный привет, все же, наверное, ты не только и за грудь хватал, кобелина, ...так вот, просит уважаемого Геннадия Борисовича не задумываться: у них в конторе на письма-жалобы, пересылаемые из администрации президента, Госдумы и так далее, вплоть до Организации Объединенных Наций и Сената США, смотрят как на творчество умалишенных. Особенно если речь в них идет о философских дискуссиях, оспаривании приоритета в изобретении велосипеда и чтении по ночам трудов товарища Сталина. Да и при всем недобром желании не могут дать хода: нет юридических оснований. Все, милый; Ирку пышногрудую я тебе еще припомню... откушу чего-нибудь, ха-ха! Бегу по делам, должны с минуты на минуту братки приехать на согласование. Отдыхай, но — скучай!

Геннадий, совершенно расслабясь, даже тихо рассмеялся: Ирка Горсткина! Конечно, на выпускном и он потискал ее, но кто же в школе, исключая женщин и младших школьников, не прикасался к ее роскошным, от природы, конечно, не от силикона, данным грудям формы *аэродром*, что, как уверяют сексологи, и столетнего аксакала взбодрит. Но вот про Женьку-то она Наташе явно не досказала: не раз выдающаяся ученица выпускного класса «ночевала у подруги в дальнем Косолучье» в достопамятной Женькиной квартире! Женька же, как истинный джентльмен и испанский идальго в одном лице, в благодарность уговорил-таки Римму Васильевну, кстати, теперь завроно их района, распрекрасную полутаточку, подтянуть по отметкам Ирку к серебряной медали. Явно не в гармонии со своей роскошной фигурой была она еще и умна. Да, слышал, что закончила юрфак, причем настоящий — в МГУ, а не местный самопальный, что расплодились в каждом городском квар-

тале. Теперь, значит, по соседству трудится. Интересно, вышла замуж? Вряд ли, если Наташке про него и Женьку сказала. Точно, не замужем. А зря, засидится среди своих «расследовано-исполнено». Может, ответ на Загрусткинские послания ей лично отнести и посмотреть на нее? Куда там... мигом поделится с Наташкой, буду за Женькины грехи платить сполна.

Вот и Римма свет Васильевна засиделась. Раз в год да встретимся на улице. Сколько ей сейчас... так-так, где-то сорок семь выходит, а выглядит, как всегда, на тридцать с небольшим. Достаточно странно, ведь южная или татарская кровь должна давать о себе знать. Как это у Пушкина про прекрасных молодых грузинок, которые достаточно скоро превращаются в отвратительных старух? А здесь все наоборот. Также улыбается, явно затягивает обычную случайную встречу на троллейбусной остановке в получасовую беседу. И не сомневается, что предложи ее проводить до дома — ведь не откажется , забыв о некогда бывших рассуждениях о приоритете семейного над личным...

Эх, бабы-бабы, ведь вам намного труднее в жизни, особенно красивым и умным одновременно. «Не родись красивой, а родись счастливой»,— все правильно поется. Забыл — чья песня; судя по мудрости народной, Мокроусова — Фатьянова? Те же братцы-покрассцы, Дмитрий, Александр и Самуил, тоже порой с маршей на лирику переходили...

Зато мы вас и любим, очаровательные вы *наши*, впрочем — не обязательно наши. Любовь — за любовь, о верности помолчим, памятуя и свои грехи, а о деньгах и речь не идет. Вернее, не шла до сих пор. Сейчас другая генерация длинноногих появилась, для них уже не действует принцип *amor concordia gignitur**, как он помнил из институтской латыни... И испугался: сейчас сядет на любимого конька и будет, как тот же идиот Загрусткин, целый час сам для себя развивать дичайшую теорию, которой он уже всех давно утомил за дружескими посиделками, о том, что любая женщина при условии, что ей не исполнилось тридцать два года, она незамужем или разведена, не больна диабетом или щитовидкой,

* Любовь рождается согласием (лат.).

может при желании и терпении в течение полугода в угоду текущей моде изменить длину ног до восьми сантиметров в ту или иную сторону, вытянуть или втянуть шею на пять сантиметров, уменьшить вес до двадцати кило, убрать живот или, наоборот, вырастить аккуратный сексапильный животик, удлинить овал лица, убрать или — как сейчас архимодно — отпустить попу и так далее. Исключением Геннадий полагал только груди — без силикона. Здесь что природа дала, то и будет. При последних словах и Света, и Наташа одобрительно улыбались. При упоминании о шее и попке Света и вовсе горделиво посматривала на ошарашенных слегка гостей домашней пирушки, а Наташа на Серебрянской квартире, теперь и на Женькиной вилле, незаметно посматривала в сторону постели при параграфе трактата о животиках.

...На его счастье в это время со стороны кухни в тишине квартиры послышалось громкое чавканье с отрыжкой. Заинтересованный хозяин двинулся на звуки: изголодавшийся за три дня на сухом пайке Сократ, вроде как на глазах увеличившийся по ширине в полтора раза, с хлюпаньем пил воду, а плошка с солдатской пайкой рыбной каши была пуста.

«Хорошо хоть кошки в доме нет,— развеселился Геннадий,— а то и тебя, брат Сократ, кондрашка бы хватила не хуже того полковника-брандмейстера!».

* * *

«И чего это я разнервничался по пустякам?» — думал Геннадий, совершенно успокоившийся беседой-монологом с Сократом. Действительно, за два года тяжбы с Загрусткиным («В психиатрии это называется: сумасшедший привязался»,— пояснила Елена Авдеевна) все к этому привыкли. А в университете даже ректор Генрих Семенович, прошедший огни, воды и административно-партийные медные трубы, порой при встрече в коридоре вуза шутил, пожимая руку самому молодому профессору и завкафедрой: «Ну, Геннадий Борисович, давно не было вестей с Кубани. Наверное, там памятник Трофиму Денисовичу установили, и ваш оппонент все силы бросил на очернение местных властей! Как дела на *ка-*

федре, как поживает почтенный *Егор Трофимович*? Кланяйтесь ему от меня всенепременно».

Геннадий почтительно прощался с ректором, не преминув заметить: Генрих Семенович не может мимо него пройти, не напомнив, что кафедру он получил в неполные тридцать пять лет во многом благодаря тестю, который еще в облисполкомовскую бытность оказывал университету, тогда институту, посильную помощь. Хотя они и не учились вместе с Беркутовым в ленинградской ВПШ, но частенько заседали «с продолжением» на всяких комиссиях, партхозактивах и прочих деловых мероприятиях. Да и были людьми не из последних в городе, что означало принадлежность к достаточно узкому кругу, где все были заединщиками. И собутыльниками, порой, тоже. А теперь и банкир Варфоломеев кое-что подкидывал университету, совершенно изнывавшему без должного финансирования.

Но в первый год после защиты диссертации и особенно в период ее прохождения в ВАК'е, нервов Загрусткин из него повыдернул предостаточно. Возможно, связав их друг с другом, можно было и земной шар охватить... Доносы следовали за доносами. Друзья и родственники из деловых предлагали радикальные решения. Женька, гордясь, что у него, простого торговца-кидалы такой высокоученый однокашник, на полном серьезе брался съездить в Ростов-на-Дону, где школа киллеров, благо недалеко от Краснодара, нанять исполнителя и тем самым найти окончательный консенсус.

— А что, Гена, может, твоему Загрусткину денег дать? Разумеется, в допустимых пределах. Я как раз через полторы недели еду на Кубань на зональное совещание директоров филиалов нашего банка,— также на полном серьезе сочувствовал тесть.

Гуманитарный Геннадий отказывался: убийством грех на душу брать не хочет, а денег тот не возьмет, ибо идейным сумасшедшим они не нужны, равно как женщины и вино.

Копии всех писем, заявлений с многочисленными приложениями к ним, адресованных в ВАК, Минвуз, университет и пр., в итоге накапливались у ответчика. Уже к первому году после защиты их у него набралось на две толстенные папки, каждая из кото-

рых по высоте превосходила его пятисотстраничную диссертацию. Загрусткин не только сам писал-сочинял, но постарался привлечь своих коллег-отзовистов по всей России, более или менее цивилизованным странам СНГ, но особую надежду он питал на мировое общественное мнение, то есть на былых друзей-приятелей, уехавших на заработки или ПМЖ в Штаты, Германию, Израиль и другие веси, где, как говорится, славны бубны за горами...

Вот и теперь, на всякий случай добавив в мисочку Сократа утренней каши на случай приступа голода у измученного постом зверя, Геннадий — не хуже заидиотизированного офисного клерка — прошел в свой «бабушкин» кабинетик, достал с верхней полки книжного стеллажа второй том переписки по делу «*Загрусткин против Красилина*», положил на рабочий стол, раскрыл и аккуратно подшил свежеполученное письмо. Прежде чем закрыть папку и водворить ее на место до получения нового письма-доноса, он чисто машинально, но почему-то опасливо покосившись через плечо на дверной проем, записал в свою книжку фамилию и рабочий телефон исполнительницы. «Может, когда *пригодится*»,— настроил он себя на деловой лад.

За всеми хлопотами пик дня уже миновал: два часа пополудни, пора и мне, а не только потомку камышовых котов, пообедать чем бог послал. Тем более, что завтрак проспал. Хорошо, холодильник неделю назад, словно готовясь к чему-то, затарил на полные полмесяца. Заодно сейчас и супец дня на три-четыре сварганю. А потом пойду погуляю, за монографию — на то вечер и начало ночи человеку дадены!

Готовка, с учетом варки куска говядины под супчиковый бульон, чистки картошки и тушения ее с курицей местной «закатовской», как ее сейчас называли, птицефабрики, явно теснимой ножками Буша, заняла почти два часа. Тем более, что все готовилось на несколько дней вперед, чтобы только разогревать по мере аппетита. Как истинный ученый-логик, Геннадий все делал строго последовательно-параллельно, а потому в поварском процессе набралось поболее получаса автономного времени, которое он с пользой потратил на просмотр двух книг местного издательства, которые он на днях подобрал около своего подъезда: кто-то, явно разо-

чарованный, аккуратно положил два толстых тома на приступок внешнего коллектора мусоропровода, справедливо полагая, что их закинут в чрево машины спецавтохозяйства, когда она подъедет за накопившимся добром... Как истинный друг печатного слова Геннадий был не гордецом и книги забрал с собой, правда, дома их продезинфицировав тройным одеколоном и дважды протерев тряпочками: слегка влажной и сухой.

* * *

Успев начерно пролистать книги местных письменников, несколько ошарашенный, Геннадий отнес их в кабинет, намереваясь попозже еще почитать. Пока же, завершая готовку, он опять вспоминал содержимое томов переписки с Загрусткиным через официальных посредников.

Даже при поверхностном знакомстве с содержанием писем в поддержку краснодарского правдолюбца становилось ясно: бывшие его коллеги, понимая, что временно институт отзовистов дал трещину, не хотели обижать зарвавшегося товарища, но и тратить время всерьез не желали. Особенно проживающие на деловом, протестантском Западе. Поэтому зачастую отделывались отписками, причем проявляя чувство природного юмора, наглухо задрапированного галстуками и черными мосшвейпромовскими пиджаками советского тоталитаризма, но в вольнолюбивой Европе, Америке, Ближнем Востоке тож, раскрепостившегося. В основном, как понял развеселившийся Геннадий, использовались либо оригиналы бланков, или, что чаще, достижения современной компьютерной графики.

Из наиболее заметных и оригинальных посланий в поддержку Загрусткина Геннадий даже составил условную коллекцию раритетов. Бриллиантом этой кунсткамеры являлось послание давно почившего в бозе сенатора от штата Техас Барри Голдуотера, или «бешеного Барри», как его именовали в советской прессе 60—70-х годов — знаменитого вашингтонского «ястреба», который, как в Древнем Риме, тоже сенатор, Катон-младший (или что-то вроде этого, Геннадий точно не помнит), требовавший по-

стоянно разрушить Карфаген, каждое заседание сената США, пренебрегая повесткой дня, начинал словами о необходимости уничтожения СССР. На плохом, разговорном «брайтон-бичевском» английском языке, как это пояснил Геннадию приятель-лингвист из педуниверситета, лже-Барри, соблюдая свое реноме ястреба, особо негодовал восхвалением мистером Красилиным достижений советской генетики — даже не в частном, но в общем. По его мнению, величайший вклад в мировую, не говоря уже о советско-российской, генетику внес доцент Харьковского университета Лазарь Магазинер, в самом начале девяностых переехавший на ПМЖ «в истинную цитадель свободомыслия и самой передовой в мире науки» (*пер. с англ.*).

Судя по стилю изложения, явно отдающему привычными штампами родных партхозактивов, автором сочинения являлся сам Магазинер. Знакомясь в переводе приятеля-лингвиста с письмом, Геннадий, что называется, в тему, вспомнил высказывание известного юмориста Зиновия Высоковского, услышанное намедни из какой-то передачи УКВ-радиостанции (крутил по шкале в минуты хандры): «Нет такого предмета, из которого еврей не сделал бы фамилию, а китаец обед». За ужином повторил юмореску домочадцам со ссылкой на эстрадную знаменитость. Но Света тут же сообщила, что это известное высказывание Антона Павловича и даже назвала том полного его собрания сочинений. Правда, относительно китайца она не гарантировала аутентичность текста, обещала справиться с первоисточником, но, судя по всему, запамятовала — был также месяц август и были женщины в доме полны хлопот с подготовкой Триши «в первый раз в первый класс».

Имелись в коллекции то гневные, то рассудительно-нравоучительные послания за сомнительными подписями директора медицинского техникума, колледжа по-ихнему, из безликого городка штата Миннесота, частного университета в Анкоридже, штат Аляска... Не одна Америка, где густо осели друзья и бывшие коллеги Загрусткина, протестовала против «вопиющего научного безобразия философа-недоучки из глухой российской провинции»; замечательно были представлены объединившаяся Германия, город Амстердам, Испанское королевство и почему-то княжество

Лихтенштейн. Из малообразованного черного континента возопили только Центрально-Африканская Республика — это где совсем недавно правил император-людоед Бокасса, и Конго, тоже знаменитое своим долговременным вождем Жозефом Мобуту Сесе-Секу Рваза Мбвангва. Где баснописцы достали образцы бланков техникумов-колледжей этих экзотических стран, оставалось только догадываться, ибо входящий в силу Интернет дотуда еще не дотянулся...

Уже попривыкнув к затяжному заочно-виртуальному процессу, Геннадий, вспомнив, что он философ и логик, попробовал построить всю цепь субъектов, предикатов, утверждений-отрицаний и умозаключений, даже использовав комплексную многомерную логику Александра Александровича Зиновьева, кстати, все обещающего через прессу вернуться из Германии на родину, чтобы четко осознать: почему Загрусткин напал именно на него и отчего не хочет остановиться, если ВАК уже выдал ему диплом; более того, в издаваемом этим учреждением «Бюллетене» в очередном, квартальном обзоре защищенных диссертаций, в разделе социально-экономических и общественно-философских наук его работа была отмечена как «заметная, оригинальная по тематике, высокоактуальная и вносящая значительный вклад в решение философских проблем современной биологии и естествознания в целом»? Почему? Вот и ведущее сейчас в стране издательство «*Эдиториал УРСС*», специализирующееся на выпуске научной литературы, подписало с ним договор на издание монографии по его диссертации, чем Геннадий сейчас и занимается...

И пришел к определенному выводу, для проверки его истинности и, так сказать, взгляда со стороны, поведал о том Меркулову.

— В общем-то, Гена, похоже на то,— все же с некоторым сомнением в голосе сказал Николай Игоревич.— Самое существенное то, что из хорошо тебе знакомой философии стоицизма, равно неоплатоников и ионийской школы, следует: не вызывает нареканий только безвредный идиот, полный и необременительный для окружающих бездельник, неопасный мечтатель, а главное — ни к чему не стремящийся человек. Все же остальные, даже будь они ангелы во плоти, если они хоть на микрон решают выдвинуться вперед се-

рой массы, неважно — в науке, в администрировании, даже в успехе у другого пола или воровстве, то вызывают неудовольствие в лучшем случае, а то и активное, агрессивное противодействие.

Знаешь, все это хорошо запримечено в восточной мудрости, свод которой в популярном изложении — в сказках о Ходже Насреддине. В детстве моем всех этих магнитофонов не было, зато имелся старенький патефон и куча «заикающихся» — тоже от долгого использования — пластинок; ты их тоже застал, наверное: черные, тяжелые, большие, на семьдесят восемь оборотов. Откуда эти пластинки подмосковной апрелевской фабрики в нашем, не склонном к музыкальным и иным экзерциссам доме взялись? — Не помню, кажется, кто-то из соседей куда-то далеко уезжал и весь хлам прежней жизни пораздал.

Вот сейчас сожалею, что эти громоздкие пластинки куда-то, еще в мои детско-юношеские годы подевались. Скорее всего — на помойку. Ибо в основном это были литературно-художественные записки и фольклор. Моя же любимая пластинка называлась «Песня о мальчике, старике и осле», тож переложение с Ходжи Насреддина. Суть ее в следующем. По длинной улице кишлака возвращаются домой с базара старик, внук и молодой ослик. Дед сидит на осле, мальчик ведет его под уздцы, или как там у ослов называется. А вся улица обок заполнена народом: дехкане по случаю правоверной пятницы не работают. Впрочем, за исключением советских времен, там никто и никогда не работал...

И глазеющий от скуки на все движущееся народ начинает роптать: «Вот и кричит возмущенный народ: старый едет, а малый идет!» *Vox populi — vox dei*, как говорят люди ученые по-латыни, голос народа — голос бога. И аксакал этого придерживался. Вздохнул, слез с осла, посадил внука, тронулись. А народ еще сильнее кричит, все возмущеннее: малый, мол, едет, а старый идет!

Дальше — больше. Сконфуженный дед поочередно перебирает все варианты: оба на осле, оба пехотурой, осел как барин самодин движется, различные диспозиции: шеренгой, в колонну, каре... Но ничем доброму народу не угодишь. Совсем занервничал аксакал и использует единственно оставшийся вариант: сажает ослика себе на плечи: «Вот и смеется, кричит весь народ: старый

осел молодого везет!»

Это я к тому, Гена, что если ты хоть чуток вырвался вперед, то нечего самооправдываться, тем более прислушиваться к этому *vox populi*. Все одно — всем сразу не угодишь. А смысл твоих выводов правилен: тебе «повезло», попался худший вид отзовиста. И твое счастье, что уж полный идиот на тебя напал, перепутавший все реалии времени.

Так что, молодой мой друг, плюнь и разотри! Постепенно переставай на его бумажки отвечать, тем более — и ректор, и ВАК все уже в архив списали. Нет, конечно, из принципа можешь и судом этого краснодарского правдолюбца прижучить. Но, во-первых, это у тебя целый творческий год отнимет, да и тестю надоест оплачивать твои поездки в столицу Кубани; во-вторых, вспоминай одесских классиков, как героя-полярника Севрюкова чуть не превратила сила сутяжничества из кумира страны в рядового гражданина-истца; наконец, это только взбодрит достопочтенного Илью Витальевича, даст ему новый импульс. И слепому видно, что он этого и ждет, даже повод великодушно дает, сам себя сознательно под статью об оскорблении личности подводит — это где пишет о твоей клинической несостоятельности.

Сам понимаешь, ему сейчас скучно; провинциальная жизнь сейчас сера и занудлива. Парткомов, где бы он мог себе разрядку давать, чего требует специфика его формы шизофрении, увы, нет. Друзья-приятели, порушив всесоюзную паутину отзовистов, разъехались по зарубежным городам и весям. Туда его же никто не возьмет: стар, сумасшедш и ничего делать дельного не приучен. Так что впору нам, аки человеколюбцам, и пожалеть его.

* * *

Советы старшего товарища и учителя вузовской жизни Геннадий принял к сведению. Более того, кое-что из рассуждений Николая Игоревича приоткрыло ему глаза на вроде бы и очевидные вещи, в частности, на злободневную уже не первый год тему отъезда-оттока из страны научных кадров за рубеж.

Понятно, что в забугорье даром (и даже с приплатой!) не

нужны всякие «*философы*» типа Загрусткина и, если быть честным, его самого. Не потому, конечно, что у него, или даже у краснодарского отзовиста в лучшие его годы, все чушь и благоглупости в голове. Вовсе нет, просто на прагматичном насквозь Западе никакие философии общего характера уже давно не нужны; там всем и так все ясно: жри и б... в свое удовольствие, приобретай без остановки совершенно не нужные тебе вещи, против установленного порядка не возникай и люби своего лютеранско-кальвинистского и умеренно-католического бога,— на тебя и за тебя работает весь остальной, второй, третий и четвертый мир. А потом, уже как сам философ, рассуждал Геннадий: в каждую социально-экономически-историческую эпоху все общественные теории и учения создаются в период ее возникновения и становления. Также и с капиталистическим Западом. Теперь же, чтобы там неуверенно ни говорили наши выдающиеся демократы-реформаторы для *пипла, который все схавает*, капитализму-империализму приходит каюк. Исторические задачи, возложенные на него, все выполнены. Последнее его достижение, что свидетельствует о близкой агонии, это временная победа над СССР и ее блоком социализма. Как говорил товарищ Сталин, забывая сослаться на Гегеля: классовая борьба усиливается по мере приближения к социализму-коммунизму. И на последних, завершающих этапах эпохи капитализма никакие философии не востребованы: нового уже ничего не скажут, а в сказки практические люди Запада давно не верят... уже со времен Гофмана и братьев Гримм. Барона Мюнхаузена тож.

...Как весело пели на левых концертах в шестидесятые-семидесятые годы о своих земляках эстрадные шутники: «Не поедут к ним певцы и танцоры, не поедут евреи-шахтеры...» (Дальше неприличное о вечном старейшине советской и российской эстрады; опускаем). Ну-у, про певцов и танцоров все понятно. Но в самом развеселом сне не приснится такой юмор, что Западу вдруг понадобятся наши ученые-экономисты.

Но, возразят одураченные СМИ люди, ведь миллионы наших ученых и специалистов успешно трудятся в европах-америках, даже в австралиях и новых зеландиях? Однако стоит задать только три

вопроса, вроде как логически друг с другом не связанных, и обыватель задумается. А именно: почему высокоиндустриальная Япония не нуждается в наших «высоколобых»? Отчего что-то в списках нобелевских лауреатов, исключая почтенного годами Абросимова, да и то за заслуги советских времен, и других престижных лауреатств нет фамилий этих самых уехавших высоколобых? И третий вопрос: кто-нибудь слышал о наших врачах, даже наиболее выдающихся, что уехали на Запад?

Понятно, что опытный демагог-социолог на службе у правящих нашими головами СМИ более или менее похожими на правду словами как-то отвертится от этих вопросов, но именно правильный ответ следующий.

Геннадий, хотя и вовсе не прагматик-протестант, а наоборот, широко мыслящий православный человек с совсем малой, почти гипотетической (по семейным преданиям) толикой татарской и ветхозаветной крови, но вывод этот делал не только умозрительно, но и читая-сравнивая левую, правую и официальную прессу, а главное — беседуя с местными и московскими представителями ученого и инженерного мира, побывавшими на заработках за рубежом. Заодно он понял, почему все они крайне неохотно говорят о тамошней своей жизни. Равно в прессе и на телевидении что-то он не встречал восторженных откликов.

Итак, Западу и Востоку — прямо, усмехнулся Геннадий, по Гёте с его «Западно-восточным диваном» — никакие наши высоколобые, ни в ядерной физике, ни в компьютерной технике, ни в математиках с физиками, даже врачи-уникумы и проектировщики баллистических ракет, авианосцев и космических станций, абсолютно не нужны. Все, что относится к престижной и — особенно — высокооплачиваемой работе у них самих имеется. Это — в общем. Врачей туда и близко не пустят, ибо на Западе сверхприбыльная каста людей глухо замкнута. В Японии, где достигнута разумная гармония между занятостью населения, не нужны даже чернорабочие.

А куда же деваются эти самые миллионы высоколобых? Или это выдумка СМИ? Нет, не выдумка, но они востребованы там не по их квалификации, а занимают малопрестижные для разожрав-

шихся европейцев и америкосов, австралийцев и новозеландцев тож места: лаборанты, техники, технологи на нижних тарифных сетках, составители рефератов и обзоров, особенно — программисты. У нас почему-то принято с высоким пиететом отзываться о программистах, но на самом деле по нудности это занятие сравни с дворницким трудом, причем во дворе, где из всех форточек круглосуточно бросают окурки, которые надо постоянно выметать по запутанной сети криволинейно проложенных асфальтовых дорожек.

...Вот потому-то, вернувшись «оттуда», доктора и кандидаты наук молчат.

Однако уже четыре часа и пора наконец-то пообедать!

Принес аспирант кафедры философии Платонов своему научному руководителю, профессору Сократову-Задунайскому на согласование окончательный вариант диссертации. Через пару недель тот вызвал Платонова к себе в кабинет, сесть не предложил и устроил форменный разнос:

— Молодой человек! Вы словно застряли по времени где-то между ГКЧП и пальбой на Краснопресненской, забыли видно, что уже вторая пятилетка нового века заканчивается. Это все равно, как если бы ты, допустим, в годы сталинских пятилеток писал оды и гимны Бердяеву, Розанову и всем тем, кого Троцкий с Лениным выслали с «философским пароходом».

Ладно, Сережа, расслабься. Это я по-стариковски разворчался. Ну-у, меня не хочешь слушать, так хотя бы с отцом советуйся. Мы ведь, как ты знаешь, с Евгением Григорьевичем за одной партой в ленинградской ВПШ сидели, а два года назад чуть не в один день вступили в нашу новую правящую партию...

— Да некогда ему, Аристарх Теофилович, все в делах и заботах, вот новый супермаркет заладил строить.

— Вот-вот, а ты все в диссере про обновление социализма пишешь. Надо гибче быть, нос по вектору времени быстротекущему держать.

— Скучно все это, Аристарх Теофилович: партии, супермаркеты...

— Согласен, но ведь это и есть философия жизни!

Сколько тонн философских томов, включая философскую прозу всех оттенков, написано на одну тему: сизифов труд; то есть как человек, выполняющий всю жизнь нудную и однообразную работу, к тому же полностью лишенную смысла и цели, да еще зачастую подгоняемый плетью надсмотрщика, не сходит с ума, не вешается и не топится, а создает свою собственную философию, которая всему этому придает не только смысл, но порой и высокую цель (!?). Здесь, конечно, первенство держат те, что вьются вокруг экзистенциализма: Кьеркегор, Сартр, Кафка, наш отечественный Лев Шестов и отчасти Михаил Арцыбашев и Федор Сологуб, а впрочем... почти все философствующие литераторы (и наоборот) всего мира на рубеже XIX и XX веков. Господь им навстречу!

Но отчего же такой интерес к совершенно нелепой ситуации? Почему об этом вовсе не задумываются шофера, чиновники, клерки-офисники, станочники и фрезеровщики в серийном производстве, словом, до 98 % всех работающих людей-человеков.— То есть именно те, кто занят — в философском смысле — именно этим тупым и обезличенным трудом. А вот вольнолюбивых писателей-философов (и наоборот) это до крайности занимает.

Настолько занимает, что они пишут многотомные сочинения на заданную тему, за которые им «не светит» ни копейки гонорара. Что же это за чертовщина такая? — Увы, ларчик просто открывается. Дело все в том, тщательно скрываемом ото всех таким сочинителем, что не умея или полагая это низким для себя сочинять здравые философии или писать веселые, жизненные, оптимистические романы, они начинают строчить нечто маловразумительное. Написав же первый том, понимают: нет у них никакой цели, а чтобы не спиться, вживаются в роль Сизифа и пишут второй, третий... сороковой тома экзистенциальных ППС...

Глава восемнадцатая.
МУЗЫ КАЛЛИОПА, КЛИО, МЕЛЬПОМЕНА, ЭВТЕРПА, ЭРАТО, ТЕРПСИХОРА, УРАНИЯ, ТАЛИЯ И ПОЛИГИМНИЯ ПРЕДПОЧЛИ АПОЛЛОНУ ДИОНИСА

Первые быстрым возницам богатые
бега награды
Он предложил: в рукодельях искусная
дева младая,
Медный, ушатый с боков,
двадцатидвухмерный треножник
Первому дар; кобылица второму
шестигодовая...

«Илиада», песнь XXIII, ст. 261—265

Геннадий полагал, что рыбной каши Сократу сварено, как минимум на три дня, но потомок балхашских камышовых разбойников вновь возник на кухне, едва хозяин, испытывая сладострастные спазмы аппетита, налил себе полную тарелку свежесваренного супа, поставил ее на кухонный же стол и приготовил для чревоугодничества старинную мельхиоровую ложку с витиеватыми тиснениями диковинных растений на черенке. «Остатки чьей-то благоустроенной жизни»,— как говорила Елена Авдеевна, которая и сама не знала ее происхождения, хотя и полагала ложку частью своего скромного приданого.

Хотя и молодой, но не по годам умный, Сократ с наслаждением втянул в ноздри заманчивый супный запах на стопроцентном говяжьем бульоне, а затем с явным намеком кивнул хозяину на холодильник, куда Геннадий поставил кастрюльку с оставшейся кашей. Делать нечего, не так профессор воспитан, чтобы, подобно куркульскому ребенку, сжирать шоколадку, привезенную родителями в пионерский лагерь, ночью, съежившись под одеялом. А так как есть надо беззвучно, чтобы соседи по отряду не догадались, то надо не грызть, а постепенно заталкивая плитку в рот и рассасывая. Дело долгое, сон сморит, недоеденная-недососанная шоколадка

выпадет, растает в июльской жаре и изгваздает предательскими подтеками всю простыню, подушку и пододеяльник. Утром воспитатель отряда, грубый педагогический студент-второкурсник, зайдет в комнату, хмурый и невыспавшийся после ночного кофе-брик и водка-коктейль со старшеклассницами из первого отряда, и начнет срывать одеяла с ребятишек, делая побудку. И все увидят Димкину изгвазданную постель и... все, пропал Димка; теперь до пенсии у всех его знающих он будет известен под погонялом *Шокалоед*.

Дабы в глазах Сократа не опуститься до такого же, Геннадий вздохнул и достал из холодильника остатки каши с рыбой, слегка разбавил ее для теплоты парой ложек бульона из собственного супа и поставил в котовский уголок кухни. С голодным причавкиванием оба обитателя квартиры принялись за еду. Каждые за свою.

От пуза поев, благо почти трое суток питался только любовью и найденными в Женькином холодильнике виски, мартини и палкой иссохшейся сырокопченки. Без хлеба.

Коль скоро вспомнил о пионерском лагере, то не грех позволить себе и великую привилегию, доступную только детям и больным в богоугодных заведениях, будь не к ночи они помянуты: сон после обеда. Задремал философ с примостившимся рядком, сложившим себя «коробочкой» Сократом. У него таких привилегий — круглые сутки с перерывом на кормление и туалет. Даже задремывая, после сытного обеда, Геннадий оставался верен своей профессии, то есть попробовал логически обосновать тот известный житейский факт, что в многолюдном доме трудно кому-то заставить вольнолюбивого кота сидеть у него на коленях или умоститься рядом на лежанке. Но вот стоит остаться с ним *tete-á-tete*, как тот начинает ходить следом, мяукать жалобно, если запрешься в комнате, а только приляжешь, так и он вот рядом уже гнездо свил. А ведь вовсе не стайное животное? Даже Конрад Лоренц, вроде бы все знавший о животных в поведенческом плане, пару книг которого Геннадий с интересом прочитал еще в институтские годы, молчал об этом интересном факте.

Скорее всего, вяло думал он уже весь в пелене охватывающей дремы, отгадку следует искать в базовой психосоматике, в

устойчивых рефлексах, причем в условных, не филогенетических, в фенотипике. От мудреных слов дрема еще активнее накатывала. Так что же такое заставляет несчастного, то есть живущего-существующего в одиночку зверя, в данном случае Сократа, который трое суток прекрасно хозяйствовал в квартире, не испытывая дискомфорта, вот теперь держаться как можно ближе к нему? И почему при многолюдстве все в той же квартире он подчеркнуто индивидуален, автономен, а если зависит, то только по части жратвы?

Да-а, это тебе не диссертации сочинять и с клиническим бедолагой Загрусткиным виртуально сражаться. Все же это, скорее всего, начатки страха. Да, именно! Бесстрашный в битвах с сородичами по поводу и без повода кот учится у человека осторожности и высшей ее формы — страху. А страх, как воспитанная в нем уже черта при общежитии с людьми, возникает, если в окружающем мире происходят изменения. В данном случае — исчезновение сразу 4/5 населения квартиры. Может, Сократ думает, как животное по натуре подозрительное, что я их всех убил и ночью тайно вынес? И боится, что его такая же участь ожидает? Поэтому на всякий случай и подлизывается, играет под верного друга и неподкупного приятеля...

На этой жестокой мысли Геннадий заснул.

* * *

«Ого! — подумал он, проснувшись внезапно, как это бывает при дневном сне,— уже половина шестого». Торопиться ему некуда, но как-то бездеятельно-нелепо почти весь день прошел. И итоги его малоутешительны: надо на очередную кляузу Загрусткина отвечать, Сократу завтра с утра снова рыбную кашу творить (а сварю-ка я ему на неделю большую кастрюлю!), хорошо хоть себя усиленным пайком на три дня вперед обеспечил... А главное — монография, об издании которой он уже договорился по телефону с «Эдиториал УРСС», запылилась на странице *157*, что сиротливо лежит на столе перед пустым старинным стулом с высокой резной спинкой — похожие он видел на фотографиях кабинетов Иосифа

Виссарионовича и Адольфа Алоисовича, а вживую в кабинете ректора. Кстати, почему это сейчас в научном мире страны самое популярное издательство содержит аббревиатуру, которую они к тому же пишут в логотипе исключительно латинскими буквицами: *URSS*? Насколько он помнил из прежних времен, так именно писалось название *СССР* на французском и других романских языках. На что намекают? И сотрудники у них, особенно среднеруководящие, то с испанской фамилией, то с грузинским отчеством... Чуден наш мир стал!

А расслабившееся мышцами во время сладкого дневного, да еще и летнего, сна тело коварно подкинуло еще один малоутешительный моментик: почти до конца месяца обходиться без женских ласк, как законных, так и левопреступных. Да-а, чудны дела твои, господи... то есть личные, конечно. И принял соломоново решение пойти прогуляться по парку. С тем и вышел из квартиры, причем Сократ с тревогой в расширившихся глазах проводил его до двери и даже уселся на обувную скамеечку, словно собираясь ждать его в такой позе, если не вечность, но точно очередные три дня котовского загула. Причем последнее, несмотря на этимологию, относилось именно к нему, к Геннадию. Все перевернулось с ног на голову без хозяек дома, все в нем смешалось... как у Облонских.

Он рассчитывал час-другой неторопко погулять, сделать два больших круга, заглянув на пляжный большой пруд (в парке имелись еще каскадные верхний и нижний пруды), выкушать стопку коньяка на летней веранде кафе, что в осенне-зимние месяцы специализировалось на обслуживании бандитов средней руки с подачей стриптизерш... но уже сразу за входом наткнулся — почему-то иначе они не встречались — на Вячеслава Гавриловича Ломакина, который задумчиво осматривал небольшую полянку, как-то саму собой образовавшуюся слева от входа и напротив конюшни, где содержались кони и пони для верхового проката.

Памятуя, что теперь Ломакин откликается в основном на имя-отечество, Геннадий его поприветствовал, осведомившись о причине и возможных последствиях интереса. При всех своих чудачествах Славка был парень простодушный и незлобивый. Даже нынешняя его высокая должность заместителя представителя прези-

дента в области с правом распоряжаться батальоном ОМОН'а не отложила вроде как обязательную печать чиновной сановитости.

— О-о! Профессору наше почтение! А я вот тут отдых со служебными обязанностями совмещаю. Присмотрел свободное местечко под монумент с условным, рабочим пока названием: «*И свобода нас примет радостно у входа*».

— А вот братья меч-то, точнее, братки свои «беретты» нам не отдадут,— в тон ему съерничал Геннадий. Давно уже, хотя и изредка, но, общаясь с Ломакиным, он принял для себя за правило все сказанное бывшим слушателям школы молодого репортера воспринимать всерьез, но своего отношения к этому никак не выказывать. Ибо в противном случае у Ломакина идиотически загорались глаза и он, когда-то и зачем-то прочитавший все труды достопочтенного Георгия Валентиновича, основателя группы «Освобождение труда», редактора якобы ленинской «Искры», и публично называвший себя меньшевиком-плехановцем, начинал читать полуторачасовую лекцию о преимуществе плехановской модели социальной демократии перед всеми остальными: ленинской, троцкистской, сталинской и так далее вплоть до современной.

Поэтому Геннадий согласно кивнул головой и попросил конкретизировать, опустив идеологическое предисловие.

— Ага, ты же у нас философ и всю идеологию назубок изучил. А по делу задумка такая: на поляне, очищенной от бутылок, окурков и использованных молодежью презервативов, а также спланированной и залитой тюремным бетоном, установим решетчатую клетку, типа той, в которой Стеньку Разина или Емельку Пугачева везли к Лобному месту. Понятно, размером побольше; я вот тут шагами вымерял — получается, что размеры клетки должны составлять восемь метров на десять, высота — пять метров. Вокруг клетки, снаружи, ухватившись за прутья, вытянулись в позах протеста стилизованные музы, все девять штук, равномерно распределенные по периметру. В вытянутых руках они держат также стилизованные под пергаментные свитки актуальные для диссидентских времен плакаты. Так, муза Эвтерпа гневно протестует: «За нашу и вашу свободу» — это знаменитая демонстрация шестерых веселых ребят во главе с Файнбергом шестьдесят восьмого

года в Москве по чехословацким событиям. Муза Урания, мрачная ликом, взметнула над головой лозунг: «Помни 37-й год!» — Это понятно, о чем. Не без дела Мельпомена, Клио, Терпсихора и все остальные дочери Зевса и Мнемосины.

— Постой, постой, Слава, при чем тут музы?

— А еще философ! Масштабно надо мыслить, ведь музы есть символы свободы духа, тела, волеизъявления и самовыражения, и именно эти общечеловеческие устремления нещадно изгоняла из человека советская тоталитарная система...

— Ага, понятно,— испугался Геннадий, запамятовав, что античная мифология — еще один, если не конек, то уж шестимесячный жеребенок — точно,— а в клетке что? Или кто?

— А в клетке, размером в пол-Кинг-Конга — фигура борца, чем-то в профиль похожая на Плеханова, в фас — на академика Сахарова времен горьковской ссылки, в анфас — на ныне здравствующего Александра Исаевича.

— Тип телосложения, конечно, тоже кого-то символизирует? — И Геннадий увлекся занимательной фантазией.

— Конечно, нечто обобщенное, что неуловимо характерно для всех борцов и жерств сталинизма: худое, но с волевым напряжением всех мышц тело, вольно и широко расправленные плечи с худыми от тюремной баланды плечами...

— И татуировка на груди: «На забуду мать-демократию!» — засмеялся-таки Геннадий.

Ломакин сочувственно и скорбно усмехнулся, вынул из кармана пачку патриотической «Явы», закурил.

— Напрасно иронизируешь. Надо всю историю помнить, а не только «выбранные места из переписки» Энгельса с Каутским. Сейчас, понимаешь, угар частнособственничества, многие уже не помнят светлых имен борцов с тоталитаризмом...

— Ну-ну, Слава, не обращай на меня внимания, ведь я все же, как ты верно заметил, профессор. А это уже не профессия, а клиника. Продолжай, пожалуйста.

— ...Так вот, эта фигура, как стайер на финише, устремилась к выходу из клетки, причем не в виде вертухаевской двери, а в форме дыры-провала с рваными краями прутьев, как будто ее вы-

рвала целеустремленная воля борца, устремившегося из темницы на волю. Каково, а?

— Великолепно, одобряю. Пойдем на веранду, выпьем по стопке.

— Я вообще-то, как знаешь, не увлекаюсь этим, но с тобой пригублю. Пошли.

При входе на веранду стриптизного заведения халдей в белой рубашке и галстуке-бабочке попытался было загородить рукой путь Ломакину, не изменявшему вне должностного присутствия своей демократической одежде из неглаженых сиротских брюк (жил холостяком со старушкой мамой) и выцветшей клетчатой рубахи с закатанными рукавами, но тот, незлобивый по характеру, осерчал, вынул из оттянутого кармана штанов мобильник — роскошь даже для его должности — и, помахав им перед вмиг напугавшимся официантом, гаркнул, что он сейчас вызовет отделение омоновцев, которые, как парни простые, разметут этот кабак до фундамента. А из-за стойки хозяйка, узнавшая Ломакина в лицо из новостей местного телевидения, уже кричала несчастному что-то про увольнение...

Заулыбавшийся плехановец потрепал совершенно очумевшего полового по плечу, а Тамара Васильевна, выскочившая в зал и самолично смахивавшая что-то невидимое глазу со столика, откуда тотчас согнала бандитистого крепыша, уже расплылась в улыбке своим добрейшим лицом, одновременно приглашающее кивала вошедшим и командовала оттаявшим официантам:

— Алешка! Мечи скатерку свежую, или не видишь, что сам Вячеслав Гаврилович с профессором пожаловали!

* * *

Хотя и не по одной, но по тройке стопок вполне съедобного коньяка представители власти и науки в охотку приняли. Говорили в основном о течениях в современной провинциальной литературе — третий по счету конек бывшего слушателя Школы молодого репортера. Очевидно, только что описанный проект монумента с музами задал тему разговору. Ломакин все больше склонялся к

мелкотемью, избытку чувственных сцен, относя все это к издержкам наступившей демократии, резко пришедшей на смену железобетонному советизму-тоталитаризму.

Распрощавшись с Ломакиным, Геннадий сделал еще круг по парку и вернулся домой в начале девятого часа великолепного, сияющего еще достаточно высоко сидящим солнца вечера.

Сократ отдыхал на любимом кресле Егора Трофимовича в гостиной. Узнав по шагам в подъезде хозяина, успокоившись, хитрец делал вид, что его нимало не беспокоило отсутствие ВРИО главы дома.

Хотел было включить телевизор для звукового фона в пустой квартире, но кстати вспомнил слова профессора Преображенского из «Собачьего сердца»: «Никогда не читайте перед обедом советских газет — аппетит потеряете». Мысленно поблагодарив Михаила Афанасьевича за подсказку, Геннадий забрал из бабушкиного кабинета две давешние книги, подобранные у мусоросборника, и прилег с ними на гостиный диван. Для звука же включил на малую громкость кухонный динамик.

Оба тома, каждый страниц под пятьсот, были отпечатаны на отличной бумаге, одеты в добротные переплеты «под кожу» и с золотым тиснением. Одна же вовсе имела суперобложку с репродукцией тициановской «Вакханалии андрийцев» с обнаженными сатирами и красотками. Отдавши должное напиткам Бахуса — Диониса, античные хлопчики и девчата явно готовились к продолжению банкета; одна из них, помещенная на переднем плане, сняв все исподнее, уже подготовилась. Геннадий хмыкнул, мысленно сравнив ее со знакомыми дамами, одобрил и прочитал имя автора и название труда: Дементий Анатольевич Омшанников «Поэмы, стансы и акростихи». Как человек методичный, сразу прочел название и другой книги: Андрей Трифонович Сухариков «Тушите свечи, малыши: роман».

Да, имена эти были Геннадию знакомы; в их городе, что называется, на слуху у читающей публики. Автор «Малышей» и вовсе на исходе советской власти считался областным классиком. Более того, вспоминая школьные уроки литературы, а позже в институте лекции по литературному краеведению, везде он находил фа-

милию Сухарикова — «певца рабочего класса», как писали в аннотациях к его многочисленным книгам, самого из класса-гегемона, начинавшего трудовую жизнь оператором машинного доения коров в пригородном подсобном хозяйстве, скоро ставшем бригадиром дояров экспериментальной, чисто мужской бригады... И самою ее он очень быстро сделал первым в хозяйстве коллективом коммунистического труда. Партия и правительство высоко оценили трудовой энтузиазм мастера, присвоив ему высокое звание «Победитель соцсоревнования в третьем году IX пятилетки».

Геннадий хорошо помнил эти награды из анодированного алюминия на таких же колодках, крупного размера. Чуть позже, в семидесятые годы, их раздавали всем желающим, если не попал в текущем году в трезвяк. И еще Юра Стрекопытов, известный городской сумасшедший, бывший актер самодеятельного народного театра, зимой носил их, явно подражая Леониду Ильичу, сразу по пять штук в ряд на зимнем ватном пальто «гроб с каракулем»...

Вернулся к более нарядному тому в суперобложке. Поначалу — при регулярном чтении первых десяти страниц — показалось, что автор — талантливейший пародист-стилизатор в стихотворном жанре, что само по себе требует незаурядного таланта. Достаточно вспомнить родоначальников такой манеры в русской литературе — Тредиаковского, а особенно Александра Сергеевича с его достопамятной «Гаврилиадой»! В прозе — конечно, блистательный «Огненный ангел» Брюсова. Из тех же символистов начала века припомнил он поэтов Сергея Ауслендера и Михаила Кузмина. Первый в книге «Золотые яблоки» достаточно убедительно воссоздал стиль эмигрантской — после 1789-го года — французской литературы. А Кузмин в «Александрийских песнях», используя очень редкий в русской поэзии размер александрийского стиха, достиг очень красивой стилизации античной поэзии.

Несколько смущало то, что Омшанников дерзко нарушает святая святых поэзии — самым вольным образом смешивает поэтические размеры: начинает с дактиля, а заканчивает амфибрахием, умудряясь между ними втиснуть разнопестрье ямба, хорея и того же александрийского стиха. «Смело, смело»,— бормотал Геннадий. Однако дойдя до цикла стансов с удивительно однобокими

названиями: «О, Мари», «О, Гала́», «О, Тамари» и шедевральное «О, Верунчик!» — Геннадий расхохотался: надо же было на такую наживку клюнуть! А еще гуманитарий и доктор философии? Содержание же «стихов» абсолютно гармонировало с иллюстрацией на суперобложке.

Заинтересовавшись уже чистой фактологией, он прочел помещенную в книге творческую биографию автора и, узнав, что муза поэзии посетила маститого литератора на седьмом десятке лет, а до этого он совершил трудовой подвиг — сочинил литературно-художественное фундаментальное исследование, двенадцатитомную эпопею «Я и Пушкин», совсем зашелся в хохоте и метнул увесистый том с амфибрахиями и дактилями, намереваясь упокоить его на малом столике у окна, но душивший хохот напряг мышцы, и книга, вереща на лету размахрившимися страницами, серым соколом перепорхнула за подоконник раскрытого настежь по летнему времени окна. Геннадий замер. О, боже! С улицы послышался нечеткий удар, как бьют по чему-либо мягкому, за которым воспоследовал явственный вскрик, что бывает обычно не то что от боли, но от неожиданности.

Похолодев, слабо слушающимися ногами Геннадий бросился к окну и выглянул. На тротуаре стоял пожилой, чисто одетый мужчина слегка преклонных лет, который с интересом перелистывал книгу, поправляя выбившийся из-под обложки супер. Затем мужчина воровато оглянулся вправо-влево, посмотрел и вверх на окна дома (Геннадий на миг втянулся в комнату), затем зажал книгу подмышкой левой руки, а правой потирая слегка ушибленное левое же плечо, заторопился прочь.

«Чтобы освободиться от греха, передай его кому-то другому», — к месту всплыло ранее слышанное или читанное.

* * *

Вторую книгу — пера бывшего руководителя бригад коммунистического труда — он просматривать не стал, ибо вспомнил недавний разговор с доцентом Енукидзе, большим любителем современной литературы. Похоже на то, что он тайком, чтобы не сгла-

зить, сочиняет докторскую диссертацию по историческому литературоведению. Ну, господь с ним и всяческих успехов. В частности, Енукидзе по мере возможности прочитывал все книги местных авторов, получая их бесплатно на презентациях в областной библиотеке, Доме творческой интеллигенции или каком-нибудь музее города, либо же, ворча на низкое жалованье, в крайнем случае покупая их в магазинчике «Роспечати», внизу проспекта, у главпочтамта. Там инициативой продавщицы Ангелины Петровны, пописывающей лирические стихи, был организован на свободном подоконнике вернисаж, в котором литераторы, издавшие на свои кровные сто экземпляров творений, выставляли их для продажи. Правда, покупали их только Енукидзе, собратья-писатели для ядовитых рецензий и отзывов в местной же периодике и один таинственный мужчина в штатском, но с военной выправкой.

Теперь же Геннадий четко вспомнил: Енукидзе именно в этом магазинчике приобрел роман (ро́ман, как тот говорил, явно подражая то ли композитору Танееву, а может и вошедшей в моду даже у интеллигенции блатной фене) Сухарикова. Кратко пересказав сюжет заинтересовавшемуся от нечего делать — оба сидели в зале заседаний университета на каком-то дежурном мероприятии — профессору Красилину, резюмировал в том смысле, что написано профессионально, все-таки Сухариков окончил Литинститут и тридцать лет окормляется, вернее, окормлялся, около местного книжного издательства. И тема злободневная: губернские выборные спектакли, продажная провинциальная пресса... «Особенно колоритно выписаны — чувствуется рука мастера — местные политиканы,— докладывал Енукидзе,— и всякая мелкая шушера, что устремилась поближе к власти, коль здоровье и умственные ограничения не позволяют стать бандитами или торгашами-перекупщиками. Так что, генацвале профессор, он же друг мой Геннадий, можешь в свободное время почитать, лучше всего вслух в постели со знакомой женщиной — не женой, упаси господи! — если надо ее, заленившуюся, расшевелить. Главное — после использования спрячь подальше от знающих грамоте детей и других несовершеннолетних».

Заухмылявшись, Геннадий не поленился встать с дивана и

отнес книгу в спальню старших, где у Егора Трофимовича имелся свой письменный стол и настенная полка с книгами по экономике и читаемыми им на сон грядущий классическими детективами. «Чтобы от жизни не отстать», подумал он, неизвестно что имея в виду. Поставил книжку Сухарикова между томами Беляева и Агаты Кристи.

...Теща поначалу, когда Егор Трофимович начал директорствовать в банке, иногда заводила разговор то о новой, более поместительной квартире, то о загородном коттедже. Благо, с квартирой и вовсе никаких хлопот и расходов: с благословения своих столичных владельцев их филиал заканчивал строительство огромного, в треть квартала в центре города служебно-жилого комплекса, где под одной крышей должны разместиться операционно-расчетные и иные кабинеты и офисы, а также два десятка евроквартир для руководства учреждением. И под строительство коттеджа за городом, в очень живописном месте, с видом на реку, вплотную к лесу, с хорошей подъездной дорогой, имелся участок, перешедший банку за долги неудачливого кредитора, какого-то сомнительного ООО «Агроторгиндустрия».

Но Егор Трофимович как-то вяло отнекивался, а потом заявил конкретно и решительно:

— Тебе, Авдеевна, как практическому врачу, тем более кардиологу, должно быть хорошо известно: коней на переправе не меняют, в смысле — когда людям за полтинник, то местожительство менять нельзя, кроме как в тюрьму садиться или на ПМЖ в теплые страны оправляться. Но первое пока мне не грозит, а на историческую родину, то есть в наши с тобой деревни, тоже особого устремления ни у тебя, ни у меня нет. Это все одно, что кота, прожившего с десяток лет в одном жилище, попробовать переселить: сразу захиреет, шерсть облезет — и окочурится от тоски по прежней своей халупе.

А потом это же идиотизм полный: жить там, где на работе корячишься! Как в той же, уже упомянутой тюрьме повышенного комфорта. Все равно, что поселиться в доме на территории твоей больницы, да еще желательно рядом с моргом...

— Ну, Егор, и сравнения у тебя! И в другом месте можно

квартиру купить под видом служебной, инкассо, так сказать. Семья-то у нас — не маломерок. И своего кабинета у тебя нет. Молодым, может, хочется самим похозяйствовать. Да и Андрей только вчера звонил: уже вроде как подписан в Минобороны приказ о расформировании их полка...

— Да-да, зачем стране теперь полк, который самолет Пауэрса сбил? Вот что я тебе скажу. Кабинет мне и на хрен не нужен. Достаточно служебного. Я ведь не диссертации и книги, как Генка, сочиняю для души, а слежу, чтобы жулье всякое или прямые бандиты кредиты не обнулили. Дома же я, как это ни странно, отдыхаю. Молодым, как ты умильно именуешь взрослых людей за тридцать лет, коль скоро родители и тесть-теща одновременно из ума не выжили и вообще вроде как нормального поведения в быту, и не снилось отъединяться: со всего готового да во все хлопоты. Андрюхе же какой-никакой, но жилищный сертификат положен. Другое дело, что с этой бумажкой можно лет десять помыкаться, потом вставить в рамку и не стену повесить! Я же сертификат сразу активирую в банке и справлю ему, какую хочет, квартиру.

А твои буржуйские присловья насчет коттеджа... Вот научились импортным словечкам: коттедж, колледж вместо ПТУ, толерантности с геями там всякие! По-русский надо говорить: загородный дом. Так тебя в самую летнюю пору и на дачу о полутора этажах, с водой и кухней не выпроводишь, чтобы хоть недельку одному побыть, отдохнуть, а тут коттедж подавай!

И про машину мне не говори: есть персональная служебная и достаточно. Андрюха сам себе купит... скорее всего на мои деньги, а Генка — *философ*, ему положено не на мерсах разъезжать, а сочинять трактаты о светлом или незавидном — в зависимости от сварения или несварения желудка — будущем человечества и задумчиво прогуливаться, размышляя, по тенистым аллеям парка. Иногда, впрочем, заходя в тамошнюю рюмочную. Диоген вот и вовсе в бочке проживал, не требуя повозки с запряженными ишаками. Да и он сам не раз говорил, что не под знаком Марса рожден, питает отвращение к самодвижущимся механизмам. Выпивши говорил, значит, вполне искренне.

Негоже, Авдеевна, на старости лет — это я, конечно, только о

себе — куркулиться. В конце концов, как тот же Генка говорит в минуты уныния, все может вмиг вернуться на круги своя. Вот вернется прежний класс-гегемон, войдет в ту же евроквартиру или коттедж, как ты называешь, матрос Железняк: а-ачистить помещению в един миг, пока я с подъезду братишков не кликнул, и катись куда хошь! А мы здесь образцовую жилкоммунку имени товарища Пфаффенгольца, нашего комиссара, устроим. С буржуйскими дочками сисястыми и групповым чтением «Капитала»...

— Хватит ерничать. А к чему это ты про геев, грудастых девочек и недельный отдых без меня, спроваженной на дачу-развалюху, упомянул? Потянуло, что ли, на сладкое?

— Ха-ха-ха! Да чтобы до тебя дошло: роскошь и накопительство есть дело богопротивное. К тому же прекрасно знаешь: меня, когда советскую, исполкомовскую власть турнули, потому и в банковские директора двинули, чтобы был там хоть один человек, не занятый воровством и по мере возможности препятствующий этому. За то мне и зарплату повышенную платят, и акций толику дали. Я, как папа римский, должен быть вне подозрений, что исключает и накопительство. Все, Авдеевна, разговор окончен. А ты еще раз созвонись с Андрюхой, расспроси поконкретнее: когда их орденоносный полк прихлопнут? И когда ожидать его с семейством приезд — чтобы на время, пока сертификат не реализую, квартиру ему поприличнее снять.

Отправился купец второй гильдии Лавролюбов отмечать день работника торговли в бизнес-клуб, но вернулся оттуда ввечеру хмурый. Действительно, на кого из купцов ни посмотрит — у каждого в петлице академический значок: кто по Академии коммерции, а некоторые по естествознанию или вовсе член-корреспондентами Академии изящных искусств. Обидно стало Лавролюбову: один он без значка и титла на визитке. Интересуется: как записаться? Отвечают, что записаться можно, да платить нужно: вступительные, годовой взнос... отдельно за значок. А скуповат Лавролюбов. И решил свою академию основать. Позвонил в службу регистрации общественных организаций областной администрации, а там говорят: не менее трех человек с высшим образованием для учредительства нужно. А так мы с нашим удовольствием и по официальной таксе.

Вызвал купец двух подсобных рабочих своей бакалейной лавки, убедился в наличии у них дипломов, свой, свежекупленный в ближайшем к лавке университетском филиале, диплом экономиста приложил и отнес в службу регистрации. Через две недели на двери лавки, пониже вывески появилась мраморная табличка с золотым тиснением: «Академия фундаментальных инновационно-коммерческих наук». Стал Лавролюбов щеголять при значке, а расходы на оплату регистрации и изготовления значков компенсировал изъятием из зарплаты подсобных рабочих Унывайко и Неудачникова вступительных в Академию и членских взносов с предоплатой на десять лет вперед.

Погоревали Унывайко и Неудачников, но тоже стали щеголять значками на фартуках.

Директор департамента культуры и массовых развлечений Замухрайской губернии, бывший учитель физкультуры водопроводного техникума Турникетов в среду, как в бывший «партийный день», пополудни выслушивал доклады штатных доносчиков, а уже наутро вызвал ничтожнейшего чиновника-порученца Трудодеева:

— Ма-а-алчать! — С самого начала распекания взял Турникетов тон запугивания,— мне тут сообщили, что изволишь где-то подрабатывать, а?

— Так точно, Амвросий Поликарпович, жалованья не хватает, семья большая, деток учить-подымать надо, а новоситеты нынче все платные. Супруга хворая, родители престарелые и жертвы позднего сталинизма...

— Хва-атит! Оклад содержания у тебя, Трудодеев, соответствует табелю о рангах. Ты что — сомневаешься в правильности социально-экономического курса страны? Ладно, работал бы по ночам там... дворником или секретарем на телефоне, а то вот что выдумал — карикатурами в газете занимаешься? Значит ты эти саржи с критикой нашего департамента малюешь?

— Никак нет, Амвросий Поликарпович, вас неправильно информировали. Я не карикатурой, а вовсе корректурой подрабатываю.

— Ка-а-кая разница! Карикатуры там всякие, корректуры! Все одно литература, а нам в департаменте литераторы не нужны, нам нужны исполнители.

Трудодеев уволился из газеты и устроился истопником.

Глава девятнадцатая.
МУЗЫ, ПРЕДВОДИТЕЛЬСТВУЕМЫЕ ДИОНИСОМ, СПУСТИЛИСЬ С ОЛИМПА И СМЕШАЛИСЬ С ПЕЙЗАНАМИ

Все мы оставили небо, желая присутствовать
сами
В брани, да он от троян ничего не претерпит
сегодня;
После претерпит он все, что ему непреклонная
Участь
С первого дня, как рождался от матери,
выпряла с нитью.

«Илиада», песнь XX, ст. 125—128

Оставив в покое души местных мастеров поэтической и прозаической лиры, Геннадий все же включил для звукового фона телевизор, пощелкал кнопками пульта, выбирая что-нибудь потише, нейтральное. Главное, чтобы на экране не светился амфитеатр останкинской студии со штатными рукоплескальщиками, в центре которого бегал молодец с длинными сальными патлами и скороговоркой орал что-то маловразумительное, в основном о полном равноправии гомо- и гетеросексуальной любви. Впрочем, уже давно на *ТВ* последнее слово было заменено на его чисто физиологический аналог — секс. На этот раз нейтралью оказался какой-то скандинавский, скорее всего датский, фильм. Они, сколько их от скуки и нечего делать ни смотрел Геннадий, словно по одному сценарию сделаны и одним оператором сняты: нечто уныло-вяжущее, причем буквально сводящее скулы, да еще подчеркнутое съемкой в черно-белом цвете. Безликие скалы, поселок у грязно-пенного моря, заселенный ортодоксальными сектантами, бородатые старики в широкополых шляпах, а женщины в длинных платьях из саржи. Обязательно в кадр врывается молодец с принайтованной к берегу нефтяной платформы... И еще обязательнее — странная молодая женщина, одетая в униформу проститутки и отдающаяся всем встречным мужчинам, включая извращения средней степени тяжести, но

не за деньги, а кому-то, возможно, этому молодцу, таким способом мстящая. И постоянно — ветер, нескончаемый серый дождь. Видно, Тарковский использовал его в своих фильмах, часто бывая на Западе и насмотревшись этого самого черно-белого кино.

Геннадию же такие фильмы нравились, во-первых, тем, что их смотреть-то не надо; сюжет закольцован, а в действии ничего не изменяется все время демонстрации; во-вторых, сектанты и главные герои либо молчат, либо говорят очень тихо; наконец, это отвлекает от текущей действительности. Посмотришь в отрывках такое кино и легче станет: жизнь наша сейчас серая и паскудная, но ведь где-то еще мрачнее и безысходнее?

Выбрав нужное и вообще оставив смотреть в телевизор заинтересовавшемуся постоянно бегающий на экране охотничьей собакой Сократу, Геннадий, слегка укоряя себя за лень, вернулся к давешнему дивану, для приличия прихватив из своего кабинетика какую-то философскую книжку — потоньше, чтобы, упав с дивана на пол, когда он начнет засыпать (действует коньячок-то!), не произвела грохота.

Но прочитанные стансы и непросмотренные «Малыши» уже повернули мысли к литературе вообще и мелкопоместной в частности.

Сам он в жизни попыток, тем паче холеристических приступов сочинять что-либо художественное не делал. Ибо в юные и молодые года имелось расхожее мнение, что писатели посланы самим небом (Сухариков тогда сочинял о подвигах класса-гегемона, а Омшанников еще не сбежал от музы редактирования воспоминаний отставных полковников и ветеранов труда). Поэтому даже боялся мысли о собственном писании: куда нам со свиным рылом, да в калашный ряд! Занявшись же по-серьезному философскими изысканиями и вовсе логически обосновал свое нежелание знакомиться с соответствующими музами.

Во-первых, высоко ставя Гёте, одновременно выдающегося писателя и незаурядного естественника-философа, он искренне верил его словам о том, что вообще людям искусство более по плечу, чем наука, ибо первое по большей части принадлежит им сами, то есть конкретному человеку, а вот наука почти вся принадлежит миру.

А это для людей с необоримым инстинктом частнособственника уже малоинтересно... Но и более значимо. Геннадий выбрал всемирность и значимость.

Во-вторых, еще раньше он где-то прочитал известное высказывание: если можешь не писать, то и не пиши. Несколько раз позже он его встречал, приписываемое различным классикам как от русской, так и советской литературы. А в одном очень ученом трактате по литературоведению слова эти приписывались Некрасову. В это верилось, учитывая, что тот был лучшим редактором лучших русских журналов XIX века «Современник» и «Отечественные записки», вывел в люди почти всех великих русских писателей послепушкинской, послегоголевской поры. В то же время он не церемонился с графоманами.

Геннадий всегда удивлялся, что-то читая о Некрасове или перечитывая в который уже раз его «Последние песни»: и когда это Николай Алексеевич все успевал — редактировать журналы, общаться со всеми русскими литераторами второй половины века, слушать многоречивую госпожу Авдотью Яковлевну Панаеву, вроде как его доброго, но отнимавшего много времени ангела... Наконец, нужно было еще каждый день с утра до ночи, исключая перерыв на обед, играть в карты. Да еще, как гласит глухая молва, являться полковником жандармерии по линии внешней разведки; кстати, такую же службу приписывали Тургеневу, Достоевскому и Белинскому. По всей видимости, Штирлицем точно являлся Иван Сергеевич... То есть патриотами все они были не только на бумаге, но и в практическом деле.

Но ведь и в карты весьма успешно Некрасов играл, чтобы поддерживать издание в течение двадцати лет «Современника», а потом и «Отечественных записок»! А играл замечательно, без шулерства. Мог запросто с утра выиграть сто пятьдесят тысяч(!), к вечеру больше половины их спустить за тем же ломберным столом и уехать домой со смехом: эк, и полста тысчонок нету в кармане... Ничего, завтра на «утреннике» все двести возьму! И слово свое держал. За журнал платил. Правда, и себя не забывал, памятуя нищую молодость: жил в роскошном доме, выписывал из Англии ружья и охотничьих собак. И писал жалобное о тяжелой судьбе

русского народа. Даже не порывался уйти от роскоши, как Лев Николаевич. Хотя того женщины домашние довели...

Некрасов Некрасовым, но Геннадий, не будучи амбидекстром*, понимал: нельзя ему утром, например, писать книгу по логическим основаниям философии, а ввечеру для разрядки головы сочинять роман или вылущивать из чувственных отделов мозга лирические стансы... Не получится! Как у Сухарикова или Омшанникова не получится, обязательно ввернется философское обоснование историко-порнографического сюжета романа или лирико-эротической линии станса «О, Фекла́!». Поэтому пропадает весь простецкий шарм сочинений певцов местного литературного Олимпа. Как ни мало читателей у них, у него их будет еще меньше.

Но это полбеды. Полная же беда постигнет и его философское самовыражение: четкая логика то и дело будет прерываться шаловливой головой малопростейшими якобы примерами из реальной жизни. А последние все будут косить под Сухарикова и Омшанникова.

Нет, пироги должен печь пирожник... И спать ложиться ровно в двадцать три ноль-ноль. А не приниматься, беспокоя Сократа и будя домочадцев, до двух ночи тачать сапоги. Хотя бы и жене с тещей в подарок.

* * *

Все же он чувствовал: в его рассуждениях о литературе и ее творцах имеется некая неувязка. Долго не мог понять, в чем она, но вот сейчас, кажется, уловил неоформленную мыслишку за хвост. «Так-так,— нарочито замедлял он мышление,— надо все проиграть по порядку: от общего к частному, анализ частного и резюмирующее обобщение; субъект — предикат — высказывание».

Получалось следующее. Не имея чести быть лично знакомым с мэтрами Омшанниковым и Сухариковым, тем не менее Геннадию приходилось, что называется шапочно, встречаться с некоторыми местными литераторами, в основном, на всяких общественных ме-

---

* Медико-биологический термин, означающий человека, который с рождения обладает «симметрией» правого и левого полушарий головного мозга (а равно одинаково хорошо владеет обеими руками), то есть может одновременно заниматься сугубо научной работой и художественным творчеством.

роприятиях, включая шумные митинги начала девяностых, всякие творческие встречи в Доме творчества и в их университете, но чаще всего на различных закусках-банкетах по окончании этих и других мероприятий. Некоторых знал через Женьку, знакомого с половиной города. И по местному радио и телевидению наблюдал их вдохновенные лица и слушал не без интереса горячечное чтение собственных стихов. Прозаики были поскучнее, а на их рассеянных лицах явно читалось желание дернуть стопку-другую водки. На коньяк сейчас писатели не тянули.

Достаточно регулярно приобретал их книжки, выходящие тиражом в сто экземпляров. В основном по той причине, что самопальных авторов любила почитать перед сном Елена Авдеевна, а все свежие бестселлеры ей приносила Света. Теще же нравилась, по ее словам, словесная простота, незатейливость сюжетов и сравнительно малый объем книжек.

Все же ухватывая за хвост давно созревшую мыслишку, Геннадий не только и не столько губернских письменников имел в виду, но сюда же для сопоставления вводил и круг нынешних знаменитостей, и вообще всех знаемых им по книгам, а особенно по их изустным и печатным размышлениям о творчестве, по преимуществу о своем.

Для логически мыслящего человека получалась явная нелепица. Получалось, что литератор, занимающийся этим богоугодным делом профессионально, а особенно из поэтов, почти гордится своим незнанием вроде как приличествующих интеллигентному человеку вещей: истории, начатков философии естественных наук, музыки и многого другого. «Это пусть узкие спецы этим всем интересуются, — с ухмылкой превосходства говорили они,— а мы — инженеры человеческих душ, как метко определил Алексей Максимович». «Но,— возражал при подобном уклоне разговора Геннадий,— и душу-то лучше узнаёшь, если за своей-то, творческой душой, есть знание основ психологии и физиологии мышления, социального поведенчества, основ права и экономики, общественного устройства мира. Надобно непременно хорошо знать русскую грамматику; наконец, как вы выписываете в своих романах и стансах образы героев, вроде как профессионально чем-то занятых, если не ведаете и не

желаете ведать конкретику этой профессии? Вот ведь Леонид Леонов, когда писал «Русский лес», досконально изучил все связанное с этим лесом: экологию, землепользование, всякие научные дисциплины и теории о лесном деле. А Фадеев, хотя и архи- занят был делами руководства Союза писателей СССР, хозяйством огромным, сложным и крикливо-доносительным, при создании «Черной металлургии» не то что труды по доменному делу читал, но специально ездил на такие заводы и комбинаты...».

«Вот-вот,— возражал литературный оппонент,— Фадеев-то до того доучился доменному делу, что в итоге забросил свой роман, а потом и вовсе застрелился. А насчет грамотности, так на то редакторы и корректоры в редакциях и издательствах имеются; за то им и жалованье платят. Нет, Геннадий Борисович, вы, человек строгой логики и узкий специалист в философии и истории, не сможете понять сущность художника, творца. Нам все от бога, или как там у вас в философии... дано; как сказал поэт:

...А говорят, что ветреная Феба,
Купая Зевсова коня,
Громокипящий кубок с неба,
Смеясь, на землю пролила.

А мы, вдохновившись брызгами из этого кубка, и творим эпопеи, стансы и поэмы в трех томах! Конкретика и всякие психологии с социологиями нам ни к чему. Все это уже свыше дано поэту и пииту. Знай только вдохновляйся и записывай; главное, в душу себе поглубже заглядывай и переноси ее содержание на своих героев, в том числе и героев труда: социалистического ли, капиталистического... Смотря по тому, на что спрос в издательствах и редакциях на текущий момент времени имеется. Ведь даже сказал один классик: поэт должен быть немного глуповат!».

Обычно в таких случаях Геннадий вспоминал рассказ знакомого Женьки — редактора небольшого издательства, с которым познакомился на обмывке Женькиной виллы:

«...Понимаете, ребята, работа у меня не очень-то и денежная, зато вредная для здоровья, ибо среди этих самых поэтов-писателей очень велик процент клинических пациентов. Сейчас наше изда-

тельство выпускает литературный альманах под эгидой местного отделения Союза писателей. Поначалу они сами там у себя составляли номера и приносили уже подобранные материалы мне. Люди там просты, в основном послепенсионного возраста, условный трудодень проводят с пользой: играют в шахматы, пьют водочку, если кто из начинающих писарчуков принесет... Что-либо делать лень, потому, уже начиная с третьего выпуска альманаха, стали посылать авторов персонально ко мне, переложив на издательство и эти, несложные обязанности.

А в издательстве к этому времени сократили по причине безденежья до минимума технический персонал; поэтому, как это сейчас принято во всех редакциях и издательствах, и стали принимать от авторов их шедевры в набранном на компе виде с представлением дискеты с файлом набора. Поначалу, правда, предполагалась услуга: мы сами набираем, а авторы за это платят. Однако сама эта мысль для писателей-поэтов показалась дикой.

Вот здесь-то я и убедился в клиническом прошлом, настоящем или будущем многих местных литераторов. Причем самым причудливым образом сочетающемся с малочерноземной хитростью, абсолютной бестолковостью и немалой толикой хамства и наглости, когда их ставят на место. Приведу, чтобы не быть голословным, два свежих примера — два посетителя из авторов альманаха, к счастью, не состоявшихся в этом качестве, оба клиники; один — буйный, другой — тихий. Оба заявились по предварительному звонку местного литературного начальника — ответственного секретаря писательского союза. Первым явился Х.— не в смысле начальной буквы ругательного слова, конечно, ибо пишет-то он, в общем, хорошо, даже чуть выше провинциального уровня. Нет, просто имя его в интеллигентных кругах города уже четверть века на слуху; еще где ляпните со ссылками на меня? Мне неприятности ни к чему, дорогие друзья и собутыльники.

Я его видел впервые, поэтому ожидал встретить рафинированного, вежливого, чуть смущающегося литератора, известного литературного и музыковедческого критика, литературоведа и публициста. По одной из его ранних книг я еще курсовую в пединституте писал. Поэтому, несмотря на июньскую жару, повязал галстук,

что на всякий случай держу в шкафу своего кабинетика, надел пиджак к условленному времени.

Поэтому несколько удивился, когда Х. с грохотом, издаваемым его угловатыми движениями и стукотными ботинками, явно подкованными, ввалился ко мне, не вынимая изо рта дымящуюся сигарету, громко представился, плюхнулся на стул и поинтересовался — где у нас туалет. Тут же вышел и вернулся минут через десять.

— Та-ак, значит, вы редактор альманаха?

— Да-а, вот, с вашего разрешения.

(Надо заметить, что во все время разговора Х. нещадно матерился не хуже ломового извозчика.)

— Угу. У меня к вам два дела: большое и пустячок. Первое — это об учреждении журнала, возможно, под моим руководством, который бы восполнил нишу в нашем центре России, исключая, конечно, Москву. Второе — Василий Фомич рекомендовал опубликовать пару глав из моей новой литературоведческой книги. Саму книгу я сейчас пробую издать где-нибудь в столице...

Далее, ребята, он, все так же матерясь, понес ахинею об издании для всех областей центрально-европейской России журнала, объединяющего все лучшие литературные силы десятка областей, откуда уже два века «растет питательный корень великой российской словесности». Я его невежливо перебил: «Извиняюсь, русской или, как вы сказали, российской?» Он с подозрением посмотрел на меня, не ответил, и продолжал о своем, что-де журнал этот должен иметь свое, только ему присущее «лицо»: борьба литературными средствами против затаившегося советизма и тоталитаризма, равно и как против «грядущего хама», что сейчас пытается исказить идею демократии, увести народ от общечеловеческих ценностей...

— Позвольте, позвольте! А зачем всю кухню заново городить? Ведь есть же альманах, в редакцию которого вы пришли. Он уже известен во всех соседних областях, шлют нам оттуда свои материалы местные писатели и поэты. Потом, как вы мыслите финансовую, материальную базу гипотетического журнала? Государственного финансирования уже давно нет и не предвидится. Союз писателей нищ и наг, яко церковная мышь, или как там у вас, у писателей, говорят из Писания?

— Хха! Какой-то альманах тиражом двести экземпляров? Кто его читает и, главное, кто в нем печатается и руководит им? Нужен серьезный, солидный ежемесячный журнал, издаваемый многотысячным тиражом, с выплатой авторских гонораров. А финансирование надо искать у предпринимателей, бизнесменов...

Здесь мне наскучило слушать бред, прервал его:

— И вы беретесь это финансирование обеспечить?

— Почему я? Этими делами пусть писательские союзы центральных областей занимаются, ваше издательство, наконец. Конечно, я не откажусь взвалить на себя бремя главного редактора, но я — человек очень занятый, читаю лекции и веду семинары в педуниверситете, постоянно работаю над новыми своими книгами. Нет уж, от завхозовских дел увольте.

Я снял пиджак, повесил его на спинку стула, а галстук отправил назад в шкаф, демонстративно, не предлагая гостю, там же над полкой шкафчика налил из откупоренной бутылки — дар нормального посетителя-автора — рюмку коньяка, закурил. Вернувшись на место, напомнил Х. известное высказывание Маркса о десяти процентах прибыли, за которые капиталист мать родную удавит, и попросил, ссылаясь на занятость, завершить столь содержательную беседу изложением ранее заявленного пустячка.

Посетитель несколько обмяк и видимо потерял интерес ко мне. Достал из обтерханного портфеля, какие носят доценты (профессора уже все выучили наизусть, поэтому ходят без портфелей и саквояжей), стопку неряшливых бумаг, бросил на стол:

— Вот главы из моей новой книги. Фомич *велел* напечатать в ближайшем выпуске.

— Постойте, достопочтенный. Во-первых, Василий Фомич, которого я глубоко уважаю, редакции и издательству не указ. Потом, где дискета с файлами материалов, где фото автора и автобиографическая справка? Мы же на оборотной стороне альманаха в каждом выпуске печатаем правила предоставления рукописей авторами.

— Что до автобиографии и фото, то меня везде хорошо знают. Пусть они и представляют...

— Это кто такие «они»?

— Ну, не знаю. Фомич или кто там. А дискеты у меня нет.

Пусть они и набирают. Я вот запамятовал: туалет у вас направо или налево? — И с этими словами, не прощаясь, вышел в коридор, забыв закрыть дверь».

* * *

«Я тут же позвонил в союз писателей, но Василия Фомича не было, не пришел еще,— продолжал Женькин гость,— поэтому, сняв понятное раздражение еще двумя стопками коньяка, начерно просмотрел принесенные Х. бумаги, где чередовался компьютерный набор, машинописные строки, вклейки и надписи на полях неряшливым, нервическим почерком. Одна глава была посвящена злобной критике «Тихого Дона», а вторая не оставляла камня на камне от всего творчества Валентина Распутина.

Допил весь халявный коньяк, но писательский телефон не отвечал; по всей видимости, Фомич на недельку уехал творчески поработать на ближнюю историческую родину. Поэтому написал краткую сопроводиловку и с удачно подошедшим автором — из нормальных — передал для Василия Фомича; когда вернется.

Увы, на этом дело не закончилось. Через пару месяцев явился Х. за авторским экземпляром альманаха. Узнав же, что его бумаги передали в союз писателей, главному редактору, то есть Василию Фомичу, злобно выматерился и вылетел прочь из кабинета. «Сортир налево!» — успел я крикнуть вслед.

Звонил Фомич, извинялся за Х., но «понимаешь, дорогой, человек он в местных литкругах известный, напакостить может. А мы уж постараемся текст его набрать, фото из какой-нибудь его же книги возьмем, автобиосправку — из губернского биографического словаря, что недавно издали...»

Однако Виктор Фомич, памятуя о содержании листков Х., решил дело тянуть, пока не забудется, никаких редакторско-полиграфических действий не предпринимать. Но Х. в течение полугода беспрерывно звонил мне, даже по домашнему телефону, требуя попеременно то немедленной публикации, то возвращения ему материалов. Как-то я не выдержал и послал его... правда, цитатой из Маяковского: «...Ко всем чертям с матерями катись». Слава богу,

отвязался.

Второй клиник также пришел по рекомендации Василия Фомича, причем чувствовалось, что тот не менее часа вдалбливал литератору правила оформления рукописей в альманах. Это следовало из того, что частично он их запомнил, но — на малую совсем часть.

На этот раз после звонка из писательского союза пиджака не надевал, а галстук, хотя стояла зима и в издательство экономно давали тепло по причине неуплаты за него, специально снял и повесил в шкаф. К сожалению, никто в этот день бутылька, даже с ординарным портвешком, не принес. Что поделаешь, волчьи девяностые годы, народ обнищал, а литераторы — вдвойне. Одно радовало: весна на носу, вся биология человека оживает, а это уже оптимистично, хотя и не сулит никаких материальных подарков судьбы.

Посетитель робко вошел в кабинет, посмотрел на меня добрыми и ласковыми глазами:

— Я от Василия Фомича...

— Да-да, он звонил.

— Извиняюсь, вы, наверное, меня не помните, а мы с вами как-то разговаривали.

Конечно, я его сразу узнал. Прошлым летом областная писательская организация отмечала свой юбилей. С миру по нитке собрали к торжеству пару ящиков «кирки», кой-какую закуску. Кроме членов союза, пригласили представителей администрации и думы, еще кой-кого из причастных людей, в том числе и меня, как ответственного за выпуск только-только зародившегося альманаха.

После парадных речей и награждений почетными грамотами особо отличившихся, преимущественно за советский период, писателей и поэтов началось угощение. К концу сабантуя, когда почти все было выпито, литераторы, которых хлебом-водкой не корми, но дай выговориться (дома жены это пресекают, наскучившись речами и отсутствием денег), разбрелись по залу, по коридору Дома творчества, кто-то устроился в библиотечной комнате, а кто — в кабинете Фомича и секретарском предбаннике к нему. Я же оказался за полупустым столом рядком с молчаливым, средних лет письменником с добрым, ласковым взглядом.

Я еще раньше обратил внимание: во время всего банкета тот пил только фанту, тихо и ласково отводя рукой доброжелательно протягиваемые к его фужеру бутылки. И мысленно отметил про себя: не пьет, а у нас не пьют только больные, высокие начальники в официальной обстановке и сумасшедшие. Первым — это святое дело врачи запрещают. Вторые — пуще всего опасаются потерять бдительность и что-то неосторожное озвучить. А насчет сумасшедших мне тесть, работающий психиатром, все объяснил.

Вот для чего люди вообще пьют? — Чтобы создать на время в своем мозгу так называемый ложный медиатор, который берет на себя управление всем поведением человека киряющего: забываются обиды и неприятности, даже физическая боль, воцаряется в голове и теле веселость и счастливая легкость. Ну, не мне вам объяснять, господа-товарищи. А вот психбольным ничего искусственно таким образом делать не требуется. Они и так всю жизнь подчиняются этому самому медиатеру, только уже не ложному, но истинно-реальному. Потому и пить им не нужно, и организм не просит.

...Теперь же, рассматривая соседа, члена Союза писателей, как он представился тихим, ровным голосом, мысленно перебирал: на больного не похож; во время банкета очень даже с аппетитом кушал копченую грудинку, колбасу разных сортов, щедро обмазывая горчицей, а салат-оливье густо перчил. На начальника явно не тянул ни по каким статьям, даже на замаскировавшегося сотрудника из *органов*. Да и на хрен этим самым органам сдались нынешние писаки! Увы, оставалось только одно, тем более, что тот сам обнародовал свой диагноз во время нашей с ним беседы:

— ...Нет, почти не печатаюсь.

— А почему? Некогда писать, временные трудности с тематикой?

— Нет-нет, пишу много. Но все дело в том, что я очень хорошо, талантливо пишу. Настолько хорошо, что не хочу ни в какой журнал отдавать свои произведения печатать.

Я на всякий случай незаметно отодвинулся со стулом на полметра:

— Ну, почему же, ведь еще выходят «Новый мир», «Наш современник» и другие солидные издания.

— Нет, уровень их слабоват. Не хочу до него скатываться.

...Хорошо, Василий Фомич тут позвал меня в свой кабинет — обсудить кой-какие насущные дела, то есть в узком кругу продолжить банкетирование».

* * *

«И вот он явился ко мне. Я даже возгордился: ого! Видать, наш провинциальный альманах уже переплюнул «Новый мир» и «Наш современник», не говоря уже о захиревших «невах», «октябрях» и прочих «знаменах».

— Отчего же, хорошо помню вас и наш разговор. Что-нибудь принесли для альманаха, или просто так зашли, побеседовать о современных веяниях в литературе?

— Вот... принес; Василий Фомич сказал: дискета нужна. Вот дискета.

— Дискета — это хорошо, но вы правила оформления рукописей читали, наверное?

— Читал, но не все запомнил. Вот Василий Фомич просил дискету принести. Вот она, дискета-то.

Мне страшно захотелось выпить. Попросив литератора с дискетой пару минут посидеть, выбежал из своей комнаты и заглянул к соседу, редактору Федорцеву: уже второй час через стенку доносились веселые и все набирающие тембр голоса. Действительно, у Витьки сидели завотделом Костромин и, судя по всему, нормальный автор, пришедший не с одним «томом» рукописи. Все были на взводе веселья, а стол уставлен пустыми и еще полными бутылками, на тарелках расположены бутерброды с ветчиной и колбасой, открыта баночка с маринованными огурчиками венгерской фабрикации.

Меня мигом усадили — еле вырвался после второй штрафной, сославшись на присутствие автора.

— Послушайте, я вот дам вам — заметьте, бесплатно, что редкость в наше коммерческое время — экземпляр предыдущего номера альманаха, запомните: на последней странице обложки напечатаны правила для авторов. Там не только дискета, как вы прочитаете, нужна. Идите домой и все сделайте по правилам. Не задерживайте, потому что через неделю заканчиваю формирование

нового выпуска и отдаю верстальщику. А следующий будет только через полгода. Кстати, каков объем вашего материала?

— Да где-то сорок страниц с небольшим.

— А это небольшое сколько?

— Страниц десять-пятнадцать.

— Понятно, вы — приверженец сорокодичной системы исчисления. Не знаком с такой; десятиричную знаю, шестидесятиричную, как в Вавилонском царстве было, знаю... Впрочем, это ваше личное дело. Но сорок с гаком страниц — это много для первой публикации. Что там у вас в смысле жанра?

— Четыре рассказа.

— Ну и прекрасно! Выберете один, самый «ударный» — и мы этим рассказом представим вас читателям альманаха.

— Но они ведь все разные.

— Кто они?

— Рассказы на дискете. Они разные, не один это рассказ.

...Я в тот день основательно накушался с Федорцевым, Костроминым и щедрым автором. Иначе нельзя было, мне бы этот сочинитель с дискетой потом неделю бы снился.

Прошла неделя, другая. Ну, думаю, слава тебе, господи, наверное, курс реабилитационного лечения проходит. Ан нет! Через полгода явился голубчик. Но, увидев в его протянутой руке дискету и отсутствие каких-либо других бумаг — экземпляра распечатки, фотографии,— вспомнил о пустой полке в шкафчике и ушедшем в отпуск Федорцеве. Костромине тож.

— А где, уважаемый, ваша фотография и распечатка текста рассказа?

Тот поморгал добрыми, ласковыми глазами, почему-то тоже, вслед за мной, посмотрел на шкафчик с пустой полкой, промолчал.

— Я же вам номер альманаха давал, специально указал на напечатанные правила для авторов. И почему вы пришли спустя почти полгода? Теперь вам следующий выпуск еще столько же ждать.

— Эт-та, как его... Забыл я про фотографию; весна была, вот лето началось. Я в основном на даче живу. Там думается лучше.

— Понятно. Но распечатка-то где? Ведь мы договаривались: выберите один рассказ страниц на десять-двенадцать, запишете его

на дискету и сделаете один экземпляр распечатки, ну?

— Да здесь много распечатывать, дорого.

— Как прикажете понимать? Вам дорого десять страниц своего же, подчеркиваю — *своего*, рассказа распечатать, а мне, значит, недорого чужой рассказ распечатывать?

— Так там много... на дискете-то, страниц двести. Василий Фомич говорил: дискета нужна...

— Знаете что, любезнейший, поезжайте в Москву, в редакцию «Нового мира» или «Нашего современника». А то мы явно для вас не подходим. До свидания — и попросите Василия Фомича растолковать вам правила оформления авторской рукописи в наш альманах. На то он и главный редактор. Если это ему удастся, то все подготовленное и передайте через него. Сами ко мне больше не утруждайтесь.

Теперь вы, ребята, понимаете, почему у меня работа сложная и вредная для здоровья. Приходится все время стресс снимать после бесед с литераторами, а печень-то есть орган непарный, как почки и легкие, семенники-накопители тож, не предусмотрена природой система резервирования для нашего брата — редакторов журналов и альманахов литературных!»

* * *

Вспоминая этот незатейливый рассказ, Геннадий ухмылялся вдвойне: самой тематике редакторской исповеди отчаяния и, так сказать, продолжению банкета по обмывке Женькиной виллы. Ибо к полуночи гостей выпроводили, и до утра особняк в два с половиной этажа и с мансардой находился в распоряжении двух пар: Женьки с Зинкой и Геннадия с Наташей.

Тот факт, что процент неадекватных в поведенческом или клиническом плане у людей искусства намного выше, чем среднестатистический, Геннадию, понятно, был давно знаком. Он даже как-то написал рискованную статью для трудов философской конференции, проходившей в Калуге на базе местного педуниверситета, где с данных позиций провел анализ творцов кисти. И пришел к следующему выводу: чем ближе художник к реалистической манере

письма, тем меньше его собственная патология. Или таковая, чаще всего, отсутствует. И наоборот: уклон в модернизм, абстракцию и прочие «*акции*» сопровождается клиникой. Здесь простор для анализа и сравнения — французские импрессионисты конца XIX — начала XX веков, понимая импрессионизм расширенно: в модернистском плане. Действительно, в любого из этих, столь ценимых сейчас, *живописцев* плюнь (или пальцем укажи, если ты толерантен и воспитан) — и попадешь в клинику. Один ухо себе отрезал; Модильяни сам признавался Огюсту Ренуару, патриарху импрессионизма, что он сумасшедший. Кстати, и пьяница заодно, что несколько колебало теорию, слышанную Геннадием от редактора издательства; ну-у, исключения подтверждают правило. Остальные же черт-те что вытворяли круглосуточно в Мулен Руж.

Пожалуй, единственным здоровым среди них был враг Модильяни Пикассо. А что касается его якобы модернизма, то здесь Геннадий полагал две причины: во-первых, будучи, как и все испанцы, весьма хозяйственным мужиком, проживая в Париже среди всяких импрессионистов-абстракционистов, недурно зарабатывавших, он смекнул, в чем дело, и сам принялся калякать кистью по холсту. Во-вторых, он просто не умел рисовать, либо же ленился делать это хлопотное дело.

...По сравнению со всеми ними классики Возрождения Леонардо и Рафаэль, их ученики леонардисты, рафаэлиты и прерафаэлиты просто ангелы во плоти с их непритязательным вниманием к мальчикам. Впрочем, здесь надо помнить: *Возрождение* — это *возрождение* античных традиций в искусстве, а в Древней Греции и Древнем же Риме, особенно при Нероне и позднейших императорах эпохи упадка, пристрастие к мальчикам полагалось нормой. Скорее ненормальным в аристократических кругах считался равнодушный к ним... Прямо как сейчас у нас в артистическом истеблишменте. Впрочем, круг здесь широк, все слои и профессии затронуты.

То же примерно самое подметил Геннадий и в музыкальной среде. Приятным особняком стояло русское искусство: живопись, музыка, литература. Здесь кроме приписываемого — может быть, русофобами и намеренно — Петру Ильичу известного увлечения и

сексуальной окраски отдельных частей его концертов для фортепьяно с оркестром и симфоний, а также несколько сомнительного Набокова (но он ведь и жил на гнилом Западе!), Геннадий не нашел ничего криминального. Отдельно стоит вопрос с Гоголем и Достоевским, но ведь они не ставили свои болезни, кстати, не приобретенные, но врожденные, во главу угла своего творчества, а, наоборот, отмежевывались от них! Любители Бахуса Мусоргский и Бородин? — На то они и русские люди. И народ правильно говорит: пьяный проспится, а дурак — никогда. Ну, еще Илья Ефимович заставлял в своей Куоккале всех домашних есть варенотушеное сено и зимой спать на открытой веранде. И что? Заботился человек о своем и близких здоровье. Тем более, что оно ему было нужно для полезного дела — художественного творчества. А сейчас вот целая наука есть, называемая *валеологией*, где здоровье поставлено самодостаточной целью: не быть здоровым для полезного обществу труда, а здоровье для здоровья. Абсурд, конечно, но ведь никто ученых валеологов на медосмотры не ведет; наоборот, в учебные программы всех уровней эту самую валеологию включили!

...Однако, подумал Геннадий, часы уже пробили полночь, Сократ третьи свои котовские сны видит, а у меня совершенно пустой день был: рукопись монографии так и пылится на 157-ой странице, получил письмо по Загрусткинскому делу из прокуратуры, а главное — так и не сумел ухватить за исчезающий хвост беспокоящую мысль о соотношении содержания литературного творчества и характеров создателей романов, поэм и стансов.

Старый и заслуженный профессор философии Валентин Георгиевич Плеханский поздним вечером в расстройстве сидел в своем домашнем кабинете и ностальгически перебирал награды былых лет: знак лауреата Госпремии СССР за учебник марксистко-ленинской философии, орден Трудового Красного Знамени... Много чего еще и все за философию единственно верного учения. Вот и доучил, теперь самого, как мальчишку, на курсах перепрофилируют на новую философию, созвучную нашему динамическому времени. Но, если отбросить ненужный гонор, все же на этих курсах проводить время приятнее, чем сотрясать воздух в аудитории, где студенты с интеллектом пэтэушников даже для приличия не делают попыток что-либо понять. А придешь на курсы в столь знакомый и родной бывший Дом политпросвещения — ба-а! Знакомые все лица, все профессора бывших общественно-политических кафедр, прежние же секретари предприятий и райкомов. Лекторы только из молодых выдвиженцев, сами только окончили установочные курсы где-то за бугром. Вот и учат они его, лауреата и орденоносца, сами путая учения схоластиков и стоиков, а Платона с Плотиным. Хо-хо-хо, раззевался старый профессор, истинно сказано древними: упаси, господи, жить во времена великих перемен! Зато теперь он хорошо стал понимать сетования своего покойного отца, тоже приват-доцента философии, как и с какими внутренними мучениями тот переучивался после революции на марксизм-ленинизм...

Доцентов Егорушкина и Самохвалова с кафедры политологии срочно вызвали к ректору университета, а там и все основные проректора уже за совещательным столом заседают. Без всяких преамбул ректор набросился на вошедших:

— Вы что себе позволяете, господа! Почему на вчерашней встрече с кандидатом в депутаты, директором и владельцем спиртоводочного завода, нашим спонсором, уважаемым Никифором Спиридоновичем Рукосуйко вы задавали ему провокационные вопросы: дескать, как стал владельцем бывшего госпредприятия, на какие деньги избирательная кампания проводится, а? Зачем несмышлеными-шами-то прикидываться, ведь Рукосуйко — наш бывший студент, потом и вовсе глава университетского комсомола. И посильно помогает alma mater. А вы чуть было все не испортили. Что молчите? Отвечайте.

— Семен Борисович, но ведь этот Рукосуйко из комсоргов-то прямо в бандиты подался, приватизировал областную школу комсомольского актива и перепрофилиро-

вал ее под публичный дом. Так он и маршировал по жизни, а в итоге рейдерством занялся и завод этот захватил...

— Ну-у, это всем хорошо известно. Издержки первоначального накопления. Кто же в этом виноват?

— Наверное, Семен Борисович, Карл Маркс.

— Юмористы мне нашлись. Идите и думайте о чем говорите публично.

Летом вместо отдыха Егорушкин и Самохвалов залетели в приемную комиссию до середины осени. Но и Рукосуйко не дождался депутатского мандата: его вместе с заводом взорвали конкуренты из московской водочной мафии. Напророчил старина Маркс...

Глава двадцатая.
ДИОНИСИЙСКИЕ И АПОЛЛОНОВСКИЕ ИГРЫ С ПЕЙЗАНАМИ

Ты начни, Агамемнон: державнейший ты
между нами,—
Пир для старейшин устрой: и прилично
тебе и способно;
Стан твой полон вина; аргивяне его от
фракиян
Каждый день в кораблях по широкому понту
привозят...

«Илиада», песнь IX, ст. 69—72

Благими намерениями вымощена дорога в ад, как сказал кто-то из отцов церкви св. Петра, вроде как даже — припоминал Геннадий — Августин Блаженный. А потом его Данте в своей поэме повторил. Это и было первой, досадливой мыслью профессора, внезапно разбуженного. Он включил настольную лампу и посмотрел на часы: господи, пятнадцать минут первого! И проспал-продремал всего четверть часа, пока его не разбудил этот страшный грохот и вой за раскрытой настежь балконной дверью, завешанной лишь символической кисеей-марлей. И видно было в лунной полоске на полу, что и Сократ прервал свой отдых и, потягиваясь поочередно на передних и задних лапах, заинтересованно направился на балкон.

Геннадий опустил ноги в тапочки, не в силах сразу подняться с застеленного простынью дивана гостиной, на котором он спал, сам себе демонстрируя холостяцкую неухоженность — как от быстроты пробуждения, так и от очередной игры своего подсознания — как и в предыдущую ночь оно опять выкинуло в активную память иноземный текст, когда-то и зачем-то, но без заучивания, прочитанный или услышанный. Но на этот раз были не восточные мотивы про барлыков-елдирдинов, а стихотворный текст на английском, причем в сопровождении задумчиво-маршевой музыки смешанного

оркестра. Самое интригующее состояло в том, что английский он знал на уровне самоучителя, ибо в школе и институте проходил как «немец», а тут же в сознании всплыла и посейчас еще твердо сидела совершенно правильная *English*, да еще с характерным, картавящим американским диалектом. В силу своего любительского знания он «напрямую» не понимал смысле чужеземных слов, но только мысленно переведя их, что он тотчас и сделал. Первая строфа имела сообщить следующее:

Смотри, видишь ли ты в солнца первых лучах
С чем в заката часы мы простились глазами?
О, скажи, он ведь жив, полосатый наш флаг,
Цвета неба и солнца наше звездное знамя?
И летели ракеты, и снаряды рвались,
Подтверждая: форт наш ночью не сдался.
Ответь: это правда, флаг еще реет
Над землею свободных, родиной смелых?

...А переведя, рассмеялся, слегка напугав Сократа, опасливо — от уличного грохота и воплей — усевшегося на балконном порожке и даже прикрывшись от неведомого оконной кисеей, слабо колебавшейся от ночного ветерка — городского бриза и раскачивающей лунную дорожку на полу гостиной. И сразу потеплело на душе от нахлынувших воспоминаний, отогнав рассерженность внезапно и грубо разбуженного в самом зачатке сна человека.

Да, конечно, это третий курс пединститута, обмывка только что сданной зимней сессии, понятно, что на квартире у Женьки: мать его уже вошла во вкус не только летних, но и разносезонных поездок по санаториям, благо в такую пору путевки почти насильно навязывали. И нимало довольный этой благоприобретенной матерью чертой характера Женька переделал известный девиз «*отдых есть смена деятельности*» на «*деятельность есть смена форм отдыха*».

Народа тогда набилось много, причем разношерстного: их одногруппники, пара человек из политеха, еще откуда-то... Женька знал половину города, включая местных лабухов, молодых актеров из обоих городских театров, фарцовщиков и прочую подвижную

молодежь. Именно на этой вечеринке Женьку зацепила Зинка, тогда студентка политеха, постигавшая азы экономики на малопрестижном факультете тяжелого машиностроения, а сам Геннадий перешел в категорию мужчин, разменяв свою молочно-восковую спелость (пара случайных и неловких «спалок» на первом курсе не в счет) с девятнадцатилетней Лерой Труфановой, которая и сама толком не могла объяснить, как она попала сюда, ибо шапочно знала даже не хозяина квартиры, а какого-то его приятеля из лабухов ресторанного оркестрика. Кстати, сам джазмен отсутствовал.

Уже в постели, вдохновив пару раз неопытного юношу, Лера кратко рассказала о себе: работает костюмершей — под началом родной тетки — в драмтеатре, учится заочно на первом курсе МГИК'а* и иногда ее выпускают в массовке на сцену; «приручают»,— хохотнула она.

А до постели и официального представления друг другу в ней квартира на несколько часов превратилась в почти что явственно, материально ощущаемый сгусток веселья, табачного дыма, аромата недавно поступивших в парфюмерный отдел центрального универмага в большом количестве (на всех хватит!) польских духов, на общем обонятельном фоне которых тонко струился запах настоящих французских — от Леры: «презент одного..., то есть одной сокурсницы по МГИК'у» — как пояснила она Геннадию уже под утро... И, конечно, все это покрывал сложный дегустат «советского шампанского», недурственной болгарской «плиски» и вермутного разнотравья.

Когда сделали перерыв в танцах-обжиманьях и уселись уже по третьему разу за дастархан, Женька сделал пальцами долларовый знак внимания и поставил на диск стереопроигрывателя грампластинку, бережно извлеченную из звездно-полосатого конверта.— Он в то время занимался музыкально-пластиночной фарцой.

— Прослушаем, господа вольноопределяющиеся, гимн штатников! Для экзотики, конечно, не как руководство к действию — правильно я говорю, Леонид Ильич? — под общий хохот Женька с комической серьезностью посмотрел на красный угол комнаты,

* Московский государственный институт культуры.

где поверившая в свои болезни от частых поездок в санатории мать его недавно укрепила иконку, купленную по ее просьбе Женькой у знакомого фарцовщика по этой специальности.

Гимн оказался не очень веселым, но соло-певица тонким и высоким голосом четко выговаривала слова.

— Слабоват гимн-то против нашенского, а? — подмигнул всем сразу Женька и переменил пластинку: в прямом и переносном смыслах.

Гости с песнями разошлись после курантов. К этому времени во время медленных танцев-медитаций с выключенным светом — только косая полоска из-за полуприкрытой двери к коридор-прихожую — Геннадий вволю нацеловался с Лерой, а ее упругие, созревшие женские, уже не девичьи, груди и округлые бедра, словно слившиеся с его телом, ввели его в состояние окаменевшей возбужденности. Ни он, ни она даже не задумались: почему Женька, весело выталкивая расшалившихся гостей за порог, как-то ненавязчиво, неуловимым жестом руки попридержал их и кивком головы отослал на диван, где уже сидела Зинка, как-то сразу ставшая похожей на молодую хозяйку дома.

Затворив дверь за последним, комсоргом группы Витькой, все порывавшимся выпить «отвальную» на брудершафт с остающимися дамами, Женька произнес знаменитую фразу, ставшую впоследствии для Геннадия сакраментальной:

— Ну-с, мальчики — направо, девочки — налево! В смысле, мы с Зинулей — здесь, а Геночка с Лерочкой — бай-бай в спаленку.

— Секундочку, Женек,— мягко возразила Зинка, явно приученная дома к порядку,— сейчас мы тебе с Геной сделаем кофеек и заодно уберем со стола и помоем посуду. И комнаты не мешает проветрить.

* * *

Геннадий раззевался и окончательно встал со своего холостяцкого ложа, окончательно поняв: в ближайший час-полтора все одно не заснешь. Перешагнув через застывшего изваянием на балконной ступеньке Сократа, отвел кисею и вышел в теплый ночной мир.

Увы, мир этот явно перешкаливал грохот барабанов, рев и свист толпы, и все это временами перекрывал в тысячу раз усиленный техникой вопль ведущего, ди-джея по-нынешнему. Все это волнами катилось сверху по улице, упиравшейся в центральный парк.

Геннадий давно уже обратил внимание на такую специфическую акустику: днем из парка до его дома доносились лишь слабые звуки, если даже там на летней эстраде играла полковая музыка. Но к ночи словно дом их подкатывался к самой парковой ограде?! Объяснил ему этот эффект отец, разъяснил с инженерных позиций: дескать, достаточно широкая и прямая улица от твоего дома до парка, тем более достаточно круто идущая вверх, есть аналог аэродинамической трубы. Днем она почти «не работает»: шумы транспорта, немного разная нагретость воздуха вверху улицы и внизу, разнодующие ветра и так далее. А поздним вечером, особенно ночью лишние шумы убираются, ветер стихает, температура выравнивается, а главное — на пять-десять градусов падает, что важно для распространения звука. И получается почти идеальный волновод акустический.

Присутствовавший же в гостях у родителей Лев Исаевич тему поддержал, но в смысле истории улицы, о которой шла речь. Выходило так, что для нынешнего ее поименования в честь прославленного полководца Гражданской войны она не менее пяти раз меняла свое имя — как при царях, так и при генсеках. Называлась она Карантинной и Козловой, а одно, правда, короткое время и вовсе улицей Троцкого...

Труба трубой, даже бывшей троцкистской, но кто такой умный отменил едва ли не ветхозаветное правило после одиннадцати вечера не шуметь? Впрочем, вопрос риторический; время такое динамическое, как любит говаривать стрезву Е. Б. Н., что светлого времени суток для бизнеса не хватает никому, даже труженикам нотного стана. Барабана и синтезатора тож.

Не одного Геннадия подвела естественная аэродинамическая труба-улица и динамичность современного образа жизни: на балконе соседней квартиры теплился пульсирующий огонек сигареты, а затем и вовсе его окликнул Рыбалко, бывший третий секретарь обкома:

— Что, Геннадий Борисович, подышать свежим воздухом вышел или тамтамы разбудили?

— Да уж, Юрий Степанович. Может, сегодня какой-нибудь новый, демократический праздник? — слегка подыгрывая соседу, ответил Геннадий.

— Праздников сейчас не счесть. Это ты правильно отметил. Я уже позвонил в райотдел, поинтересовался. Сказали, что это ежегодный День пива проводит шведская компания, что наш пивкомбинат к рукам прибрала...

— А как же тишина после одиннадцати часов?

— Погоди, Гена, не торопись. Конечно, спросил. Рекомендовали закрыть окна, вставить вату в уши и выпить снотворного... лучше — водки. Судя по всему, этот дежурный ментовец в высоком градусе веселья. Оттого словоохотлив; пояснил, что пивкомбинат теперь градообразующее предприятие, ибо все остальные заводы ржавеют. «Вы что, гражданин, газет местных не читаете? Возьмите любую, так там на первой странице все высшие чины наши обнимаются с владельцем пивным, половину бюджета области ему в кредит дают! А что касается ночного времени, так сейчас демократия: хочешь — спи, если заснешь, а нет — так слушай».

Поинтересовался моим социальным реноме. Повежливее стал разговаривать, а под конец душу свою раскрыл, дескать, осточертела ему вся эта бестолковщина и копеечная зарплата. Подал сегодня рапорт об увольнении из рядов, потому на радостях и выпил: последнюю смену дежурю. Подыскал себе место в частном охранном предприятии. На том и распростились. И мы с тобой давай пожелаем друг другу если не спокойной ночи, что явно нереально, то хотя бы окончания пивного праздника до утра. Пойду читать третий том Карамзина. Ты, конечно, с его так называемой русской историей по причине образования знаком, а я вот только сейчас добрался: как говорится, врет и не краснеет, выполняя соцзаказ романовской династии...

Сигаретный огонек потух, и вроде как музыка, или как там это называется, со стороны парка поутихла. Или уже уши привыкли, как привыкает цеховой народ к верещанию станков и уханью

многотонных прессов.

Геннадий присел на балконную табуретку. Мигом вскочил ему на колени Сократ, выгнул спину, зевнул, покрутился и, свернувшись и прикрыв хвостом нос и глаза, успокоился. Мысли снова вернулись к той вечеринке с Лерой и американским гимном.

Нет, в августовскую ночь без женщины под боком не заснешь, даже если пивзавод сгорит и прекратит свои вакханалии. А если и заснешь, то всякая чушь в голове всплывает: то — тюркские языки, то — гимн бывшего стратегического противника, а ныне заклятого друга. По-ночному ясный мозг сразу же услужливо подсказал продолжение:

Там вдали, где берег еле виден в тумане,
Где надменный враг наш от атак отдыхает,
Что там утренний бриз в вышине развевает,
То скрывая от глаз, то опять открывая?
Вот он снова сверкнул, завесу туч прорвав,
В полной славе своей гордо миру предстал.—
Это звездный наш флаг! О, пусть же реет он
Над землею свободных, родиной смелых.

* * *

Хочешь научиться плавать — пусть тебя, верещащего, бросят на середину реки! Так же таинству, технике и завораживающей страсти любви Геннадий научился за одну зимнюю ночь, бросившись в объятья Леры-Валеры, как уже звал прелестницу Женька весь вечер. Еще Женька, зная о мизерной любовной практике приятеля, со второй половины вечеринки, когда он орлиным взглядом отметил жмущихся в танце Геннадия с Лерой, все советовал тому не налегать на напитки: «Не переборщи с этим делом, а то не словишь кайф в более приятном. Вино вообще не пей, а раз в полчаса по рюмке коньяка. И побольше оливье, поперчив от души, шамай. Лерка на тебя глаз положила, а она заводная; по отзывам знаю, хотя и не потаскуха еще. Так что за полудевственность свою не

опасайся и о неизбежности поездок на *КВЖД*[*] не задумывайся».

Беспрекословно доверяя Женьке во всем, что касается практических сторон жизни, тем более половой, Геннадий старательно последовал его советам, тем более, что всегда уважал подперченные мясные салаты, а в алкоголе, не задумываясь об этом, как само собой разумеющееся, соблюдал меру. Нет, конечно, приходилось и до положения риз надираться, но, во-первых, практически отсутствовал синдром похмелья — в смысле «продолжения банкета»; во-вторых, пил он не от потребности, но исключительно для взбодрения и преодоления слегка задержавшейся в нем толики юношеской инфантильности. В итоге получалось и хорошо, и не ханжески, и в физиологическую меру.

Это отметил еще постоянный гость их семейных торжеств, оставшийся к старости одиноким Лев Исаевич:

— Правильно, Гена, от доброй рюмки никогда не отказывайся, но на донышко бутылки не гляди. Это в тебе предполагаемые гены, хотя и через много поколений, мусульманства,— Лев Исаевич шутливо подмигнул Борису Аверьяновичу,— и, уважаемая Мария Антоновна, наших с вами общих ветхозаветных предков сказываются!

...Иную трактовку столь уважаемого ею в зяте качестве дала много лет спустя Елена Авдеевна; понятно, с медико-биологической позиции. При стечении гостей она горделиво, словно сама породила и воспитала, хвалила Геннадия:

— Это вполне разумно и благопристойно, когда человек отвечает присказке: пьян да умен — два угодия в нем. (При этих словах Света вскинула глаза на мать, вроде как даже желая что-то дополнить к ее словам, но тут же внутренне осеклась, глазки опустила и по-девичьи покраснела. Геннадий перехватил эту мимику супруги, все понял и усмехнулся: про третье угодие забыла теща упомянуть!). Но здесь, конечно, не только заслуга дорогих Марии Антоновны и Бориса Аверьяновича, столь замечательного сына, моего уважаемого зятя, воспитавшего. Хотя на девяносто процентов эта заслуга, несомненно, их. Но Гене повезло и в плане, так

[*] На сленге тех времен: кожно-венерологический диспансер.

сказать, биологическом. Нам в мединституте повезло с профессором Башилиным, учеником самого Ганнушкина, который вел курс психиатрии и по многим сложным, спорным вопросам этой науки имел свое, неординарное мнение. Главное — никто из его коллег, даже с мировыми именами, и возразить-то не мог!

В частности и об источниках, этимологии, как говорят у нас в медицине, алкоголизма его мнение явно не совпадало с каноническим толкованием, как об этом в учебниках пишут. Согласно мнению Башилина, тяга к спиртному не является каким-то моментом, связанным с психической конституцией конкретного человека, но исключительно обусловлена неполадками с общим обменом веществ в организме; вообще говоря, от нарушения этого обмена и все, без исключения, болезни.

Люди вы все, уважаемые гости, очень даже грамотные, поэтому не буду пояснять, что этиловый спирт участвует во многих процессах жизнедеятельности, в особенности, в пищеварении. Соответственно и производится он постоянно и в нужных количествах самим организмом. А вот если в этом плане организм дает сбой, то и возникает потребность во внешнем алкоголе. Но совсем необязательно, чтобы это развивалось в клинические стадии заболевания; вот здесь уже работает психика и воспитательная роль семьи и общества в целом. Увы, это часто дает сбой, и мы имеем больного алкоголизмом человека. Эта теория, в частности, и объясняет эффект так называемого наследственного алкоголизма. Не он наследственен, но есть генетическая предрасположенность — передающаяся по наследству патология органов, не вырабатывающих должное количество внутриорганизменного этилового спирта.

А вот Геннадий и относится к счастливой категории людей, у которого с организмом в части выработки C_2H_5OH все в порядке. Организм же таких людей толерантен к внешнему алкоголю: хочешь — пей, хочешь — не пей, но привыкания никогда не наступит. Конечно, надо помнить уже самому о печени и сердечно-сосудистой системе. Значит, природа избрала тебя, Гена, для полезных обществу и семье дел. Твое здоровье! (Праздновали как раз его день рождения, почти совпавший с защитой докторской диссертации).

...В воспоследовавшую затем ночь Геннадий очень даже уве-

ренно доказал совсем разомлевшей от ласк Свете наличие третьего угодия, а засыпая, подумал: «Что-то у тещиньки этот профессор Башилин палочка-выручалочка в любых объяснениях и обоснованиях?» Заодно припомнил, что похожее обоснование и со ссылкой на психического профессора Елена Авдеевна давала своему курению — единственному носителю этого порока в семье. Понятно, что объясняла хроническим недостатком в своем организме никотиновой кислоты, столь необходимой для функционирования его, кстати, до сих пор удивительно стройного и подтянутого: Света как-то раз, краснея и несколько смущенно, сказала ему, что мать умудрилась сделать аборт в пятьдесят два года...

* * *

Но менее всего размышляла о различных физиологических предпосылках и, увы, возможных последствиях девушка Лера, хотя и одногодка его, но, как она без обиняков сообщила, больше всего на свете ценящая секс без предрассудков и ограничений и активно отдающаяся ему с недавних лет. «И до шестидесяти факаться* буду!» — засмеялась дóбро на удивленный, немой вопрос партнера.

Глядя на Леру, деловито застилающую постель, Геннадий вспомнил свой первый опыт в предстоящем деле: первый курс, встреча Нового года всей их группой за исключением умчавшихся в свои райцентры и деревни иногородних-общежитских. Староста еще загодя заказал в кафе-стекляшке столики. Какая-то бестолковая встреча получилась: может, оттого, что еще не сдружились-слюбились за прошедший семестр? Может быть, а скорее всего, в тревоге ждали первой сессии, особенно девчонки трусили, потому им еще не до любовных делишек было. Поэтому-то, скорее всего, Геннадий, решивший, что пришло и его время приключений без какой-то особой любви, и познакомился с совсем не ихней компании посторонней девицей лет двадцати пяти. Видно, и она как-то обособилась от тех, с кем пришла, а может, и просто на огонек зашла,

* На сленге 70-80-х гг.— до введения в обиход «трахаться» — кальки с соответствующего американского словечка.

оставшись на Новый год одна? Кто знает, она же — имени сейчас он не помнил — душу свою не раскрывала. Но ей был нужен мужчина, вот и увела Геннадия с собой, благо жила через два квартала в квартире с подселением.

Женьки рядом не было, подсказать некому, поэтому Геннадий в том кафе для храбрости хватил лишку, так что ночные дела особо и не запомнил. И по утреннему выражению лица своей новой знакомой было видно: не совсем того она ожидала. На втором и последнем их свидании — в той же комнатке и через неделю — Геннадий вроде как уже и разохотился и даже возгордился в душе: «Чувиху с хатой завел!» Но на вопрос о следующей встрече та неопределенно пожала плечами, дескать, позвони через неделю-другую, мне надо к сестре в район съездить, то да се...

Он звонил несколько раз, трубку всегда брала, по всей видимости, ответственная квартиросъемщица, отвечала, что жилички нет. Но как-то позвала ее, и Геннадий сразу охладил свой пыл: «Знаешь, Гена, я тебя хорошо понимаю, но и меня пойми. Мне замуж надо, или, в крайнем случае, иметь постоянного, крепкого мужика, чтобы удовольствие-то хоть, раз не семью и все прочее, в полной мере, до обморока, как бабы у нас в магазине говорят, получать. А у тебя, извини, конечно, еще той хватки нет. Так что, отрабатывай, дружок, свою женилку пока на своих студенточках. По возрасту им это будет в диковинку, в интерес, и ты опыту наберешься. Извиняюсь, конечно».

...Года через два, забежав по пути домой из института в первый попавшийся магазин, куда он раньше и не заходил — что-то мать просила купить по дороге,— увидел ее за прилавком бакалейного отдела, явно изменившуюся к лучшему, одновременно как-то и пополневшую, и постройневшую, просто молодую и следящую за собой женщину. Она его зорко заприметила, никаких эмоций не выразила, снова повернувшись в сторону старушки-покупательницы, но как-то ловко и ненавязчиво показала кольцо на безымянном пальце правой руки.

А между тем Лера, расправляя одеяло, нагнулась и подалась корпусом и руками к стене. У Геннадия кровь прихлынула к щекам и вискам, не говоря о других частях тела при великолепии этого

зрелища: туго обтянутые коротенькой юбочкой ягодицы, обнажившиеся выше чем наполовину бедра в ажурных колготках и все это балансирующее на стройных ножках в туфлях на высоченных каблуках. Не размышляя, он подошел к Лере, на ходу вытягивая чуть задрожавшие руки... но в этот момент дверь в комнату деликатно, на ширину двух ладоней, приотворилась, раздался хихикающий Зинкин голос:

— Еще не начали, молодые? Ванна уже свободна, идите. Хотите — порознь, а лучше вместе — времени больше останется для дел праведных, ха-ха-ха! Мы пока с Женечкой на кухне покурим, чтобы вас не смущать.

— Спасибо, Зинуля! — Лера, отпружинив на руках, распрямилась, повернулась и, увидев застывшую позу Геннадия с вытянутыми и разведенными явно по ее фигуре руками, шаловливо щелкнула по его носу пальчиком,— пошли, освежимся,— уже деловито сказала она, взяла совсем оторопевшего парня за руку и вывела из комнаты.

— Лера! — опять голос Зинки со стороны кухни, окончательно вошедшей в роль хозяйки,— там на батарее два халата, разберетесь — кому что впору.

* * *

Уже пять лет спустя, развлекаясь ради начала знакомства с Наташей на кухне, Геннадий, несмотря на серьезность минуты (в кухню кто угодно мог вломиться), все же усмехнулся, вспомнив Леру, которая к этому времени уже играла на вторых ролях в драмтеатре: «Осваиваю Женькину квартиру последовательно: ванная — кухня — ... далее спальня!» Все должно следовать своим чередом.

Помня определенную неловкость и ступорность в давней ситуации с бакалейщицей, он и сейчас, оказавшись за запертой дверью в ванной с Лерой, заволновался. Но недаром она практиковалась и училась на актерку: что-что, но хара́ктерные выражения лиц читать уже научилась, а потому погасила все сомнения партнера:

— Геночка, давай договоримся: никаких смущений и стесне-

ний, полная раскрепощенность. Я тебя съесть не собираюсь, ты мне живой и веселый нужен. Парень ты здоровый головой и телом, какой-никакой опыт общения с девушками имеешь, а об остальном я сама позабочусь. Отсутствие скуки и монотонности гарантирую. Иди ко мне, милый, будем друг друга раздевать и — под душ!

То ли Лера была такой искусницей в свои девятнадцать лет, может, он сам застоялся в холостяцком стойле жизни после малоудачных опытов с булочницей, или подействовала подсказанная Женькой любовная диета с переперченным оливье и умеренной коньячной дозой... а, скорее всего, краткая словесная установка Леры подействовала? Во всяком случае, уже в ванной, распрямившись после десятиминутного пребывания, хотя и весьма динамичного, в не совсем удобной позе — ведь не бассейн же! — и прильнув затвердевшими грудями и пылающим от спадающего возбуждения лицом к телу тоже расслабляющегося партнера, она, отняв лицо от его торса и чуть снизу вверх посмотрев с явным интересом в его глаза, сказала: «А ты ничего: в меру нахален, не груб... Толк из тебя выйдет со временем, обкатаешься! Ладно-ладно, это я в шутку, хотя и всерьез тоже. Давай, мой повелитель, все же постоим под струйками — и в постельку. Зинка с Женькой небось уже обхохотались; мол, сауна каждые полчаса для профилактики тепло выключает! Да, еще не вздумай демонстрировать свою врожденно-воспитанную интеллигентность и задавать глупо заботливые вопросы типа «не забеременею ли я?».

Нет, дорогой, сегодня, завтра и послезавтра никак не забеременею, ибо цикл только начался. А потом в нашем роду все женщины беременеют и рожают только от законных мужей, а замуж выходят где-то под тридцать. Перед этим же стремятся получить максимум удовольствия от жизни, в том числе и той, по сценарию которой мы сейчас с тобой общаемся».

В постели Геннадию совсем хорошо стало, даже подумал в коротком перерыве-дреме между соитиями: «Вот и стал я мужчиной, а не неоправдавшим надежд учеником бакалейщицы...» Они лежали с прикрытыми глазами, оба на спине, даже на какие-то миллиметры разъединившись. Полное блаженство короткого отдыха. Но верно говорят, что черт или мелкий какой бесенок всегда вертится за ле-

вым плечом и старается по мелочи напакостить. Вот и сейчас, в минуту полного довольства жизнью и любовной неги завертелась под черепушкой опасливая мыслишка: в читанной недавно книге, переводной, профессора из *ГДР*, руководстве для вступающих в брак (как гласило предисловие) было написано, что оргазм у женщины, в отличие от семиминутного у мужчин, *как правило*, наступает на двадцать первой минуте полового контакта. Он тогда даже восхитился: ну и скрупулезные же эти немцы! Все вычитают, наверное, каждый из них, ложась в постель с женой или аспиранткой — не для удовольствия, конечно, для научного эксперимента — наверняка кладет под подушку секундомер и калькулятор... А вот Лерочка-Валерочка за его законные семь-десять минут, отведенные ему немецким профессором, успевает два-три раза... от нежности к подруге, распиравшей его, он даже в мыслях постеснялся произнести жаргонное слово.

И тут же чертенок или бесенок мигом напомнил слова Женьки, после пятой рюмки иногда начинавшего консультировать приятеля впрок по технологии общения с противоположным полом: «...Здесь все сугубо индивидуально, разброс по времени может быть значительный, но если деваха, а особенно зрелая женщина, если она, конечно, перед этим не застоялась без мужика, кончает по нескольку раз за обычную, то есть без твоей пьяни, процедуру, то, *как правило*, у нее не все в порядке под юбкой, в том числе и по линии *КВЖД*. Помни это, но сразу в псих не впадай, а то повиснет. Может, и натура такая у нее!»

Чертова мыслишка заставила заерзать: «Дурак, мог бы у Женьки резинок попросить!» И уже не удивился, что Лера совершенно правильно поняла его дерганье:

— Не волнуйся, милый. Я же тебя просила не задавать глупые вопросы, в том числе и себе. А самому поутру, потом еще три дня и — если совсем глуп — еще месяц в нестихающей панике искать у себя симптомы на радость Алибеку. Понимаешь, во мне достаточная рассудительность — от не совсем уж безоблачной жизни — сочетается со страстностью. Отсюда и темперамент, который вызывает у тебя всякие дурацкие мысли. А рассудительность только у матерых, прожженных стерв заменяет страстность, отсюда и имитация темперамента. То есть я не из той оперы, роль в которой ты мне стараешься отвести. Ничего, милый, пройдет еще немного времени, научишься безошибочно определять: с кем можно в постель, как в омут, не думая ни о чем, броситься, а кого и по-

остеречься.

В темноте не было видно, каким переваренным раком покраснел Геннадий. Бесенок-чертенок с визгом улетел от мысленного пинчища хозяина головы, да еще пинчища ногой, обутой в пудовые, яловые флотские сапоги с фунтовой подковой. Как у лошадей. И уже зная, что в постели перед женщиной извиняться следует вовсе не словами, резко развернулся на локте левой руки, упал в проем гостеприимно раздвинувшихся бедер и впился в ее губы, еще хранившие запах былой помады, долгим, иссушающим поцелуем, предоставив остальным частям тела заниматься уже привычным мужским делом.

— Все-все, милый, простила,— непривычным, зыбким и грудным голосом сказала она освободившему наконец ее тело Геннадию, — давай чуток подремлем, а то опять тебе что-то померещится! Шучу, шучу, давай баиньки.

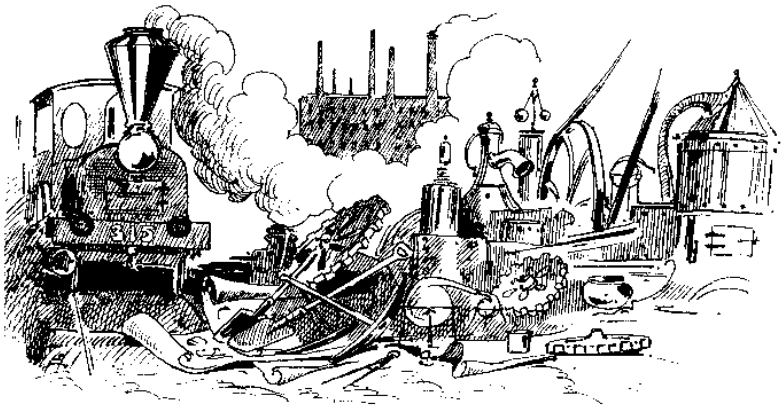
Ближе к утру, кода уже начал оставаться просвет времени для разговора, он все же поинтересовался личностью таинственного восточного человека Алибека, который радуется страдальцам от любовных утех.

— А Женька разве не говорил? Странно, ведь его дружок и пару раз врачевал его...

— Понял тебя, вроде как и от Женьки это имя слышал в связи с его визитами в *КВЖД*.

— Опять-таки не вбей себе в голову, что и я этой дорожкой бегала. Просто в актерской нашей среде, где в целом-то нравы не монастырские, Алибек достаточно популярен. Я его пару-тройку раз встречала на театральных посиделках. Как почетного гостя. Хороший мужик, осетин или дагестанец. Говорит, что княжеского рода, а к нам попал несколько лет назад по распределению после окончания мединститута в Орджоникидзе. Так что имей в виду, хотя от души не советую тебе даже с таким приятным человеком встречаться, кроме как за столом на нейтральной территории. Все, давай еще с часок поспим, у меня завтра, то есть уже сегодня, суматошный день: с утра массовая примерка-подгонка костюмов под новый спектакль, а вечером я — в массовке.

Литератор Дементий Анатольевич Омшанников, как человек алчно лавролюбивый, в период сумятицы 90-х годов ловко сумел выхлопотать квартиру в новопостроенном престижном доме, выправил себе чин полковника интендантских войск в запасе, полный набор отчеканенных в эти годы юбилейных медалей, купил по переписке за 500 USD почетный знак «Гражданин мира», которые фабрикуют на Сандвичевых островах веселые ребята из Одессы, словом, многого достиг. А когда подняли в городе плату за квартиру, то замахнулся Дементий Анатольевич на звание тож гражданина, но не мира, а почетного гражданина города, которым квартплата отменяется. Обратился он за представлением в местный союз писателей, к которому приписан, но там его грубо послали подальше: сами, мол, еще не все почетные. Стал он похаживать по разным инстанциям, доказывая, что раз он уже гражданин мира, то, следуя правилам Аристотелевой логики, по закону импликации он автоматически должен быть признан и гражданином города. Везде его почтительно выслушивают, но разводят руками: дескать, нет на то инструкции с в е р х у. Бюрократы! Только в милиции отнеслись по-деловому, сказали: еще раз придешь к нам, так мы повесим на тебя все нераскрытые дела за год и сделаем почетным гражданином Магадана. Лестно, конечно, но далековато.



В Советском Союзе кроме обычных неудобств для свободолюбивого человека, как-то: отсутствие частной собственности, значительные ограничения на собственность личную, запрет на пользование общечеловеческими ценностями, то есть долларами, негативное отношение, вплоть до судебных статей, к толерантности (гомосексуализм, зоофилия, педофилия и пр.), отсутствие легальной проституции и публичных домов, нездоровый интерес органов к гражданам с доходом свыше 1000 (одной тысячи) рублей в месяц, зона, а то и выстрел из ПМ в голову за воровство — выстрел за сумму свыше 50 000 рублей... словом, кроме всей этой мелочевки, самым ужасным являлась обязанность трудиться. Да-да, именно трудиться, а не просто делать то, что именуется и сейчас словом «работать». Различие здесь кардинальное, даже из этимологии это видно: коренные слова суть труд и раб. Пояснять вряд ли требуется даже для идиотизированной масс-медиа толпы. Трудиться — это создавать заводы, паровозы, примусы, лопаты и так далее, то есть все то, что раньше мы сами производили, а теперь, только дерьмового качества, привозят из Китая. А работать — это тянуть лямку добровольно или принудительно, где интерес только один: в конце недели или месяца подойти к кассе и получить конверт с некоторой суммой. И все.

И никаких хлопот с паровозами, электростанциями, даже с лопатами. Идеальной здесь представляется ситуация в недавно услышанной с эстрады песенке:

Вроде все нормально, все вроде хорошо,
Заголовки газет уверяют в обратном,
Есть маза отдохнуть непонятно от чего,
Мы и так отдыхаем с тобой постоянно.
Я лежу на диване и накапливаю жир,
Ничего хорошего не делаю для общества.
Никому не должен, и никто не должен мне,
Делаю только то, что хочется.

Глава двадцать первая.
АПОЛЛОН РАССУЖДАЕТ И АНАЛИЗИРУЕТ ДИОНИСИЙСКИЕ ИГРЫ ПЕЙЗАН

Нет, не всходил он на одр, никогда не
сближался он с нею,
Так, как мужам и женам свойственно
меж человеков.
Все то получишь ты ныне; еще же,
когда аргивянам
Трою Приама великую боги дадут
ниспровергнуть,
Целый корабль ты и медью и златом
обильно наполни...

«Илиада», песнь IX, ст. 275—279

На первый же его телефонный звонок, а она охотно и не кокетничая, дала свой домашний номер, спустя три дня после бурного знакомства, Лера сразу согласилась встретиться. Это Геннадия даже несколько озадачило, ибо в то утро распрощалась с ним излишне деловито, не отказавшись от провожания до самого драмтеатра.

И на свидание не опоздала, пришла минута в минуту, явно не набивая себе цену, хотя и вполне имела право на эту обычную женскую слабость. Встретил ее опять-таки у театра. Была она удивительно хороша в этот неморозный зимний вечер, а перетянутая в поясе дубленка своеобразно подчеркивала все прелести фигуры. Она взяла Геннадия под руку и повела через проспект в небольшой скверик в углу двух исторических зданий, ныне техникума и школы, напрочь и молча, отрицательным поворотом головы отказавшись от какого-либо модного места: кафе, ресторана... что-то он еще Лере предлагал. Во всяком случае, не Женькину квартиру.

Он сразу все понял, сник, стало грустно. Она коротко взглянула на его лицо, кивнула:

— Ты все хорошо чувствуешь, милый мой дружок, давай присядем на скамейку. Здесь наш дворник подрабатывает, аккуратно

все чистит от снега. Надо все по-человечески начинать и завершать, потому телефон с его телеграфным стилем не годится. Тем более что, бабуля моя очень любопытна.

Обижаться и дуться на меня не следует. Мы ведь взаимных обещаний не давали? Не скрою, что мне было чрезвычайно приятно с тобой, но и только; на этом наши дорожки сворачивают в разные стороны. Не потому, что я какая-то не такая в общежитейском смысле, или ты. Нет, можно, конечно, еще полгодика или год встречаться у Женьки, ибо других вариантов нет — пока друг другу не надоедим, но, скорее всего, прискучит такая неустроенность, отрывочность... ведь мать его имеет все же привычку между очередными поездками в санатории дома пребывать! А отсюда два пути: либо пожениться, причем именно по любви и быть счастливыми, либо же, увы, разбежаться.

Но жениться... Ты еще в жизни не устроен, равно как и я, но главное опять-таки не в этом,— здесь дело уже именно во мне. Я говорила тебе тогда не шутя, что в нашем роду женщины связывают себя семьей только в тридцать лет, а я тем более намереваюсь актрисой быть — все стороны жизни надо узнать. Нет, не подумай, что это как кошка в марте: пока не перезнакомится со всеми котами во дворе, так и не успокоится. Это что-то другое, может, надо сбросить излишек чувственности в нашем роду? Кто знает?

...И в тебе, милый, тоже дело. Я ведь присмотрелась к тебе, несмотря на столь короткое наше знакомство; это уже женское качества насквозь видеть своего партнера. Не думай, что я такая уж любительница чтения пыльных томов, просто только что сдала в своем *МГИК'е* зачет по античной драматургии, потому скажу образно: в тебе, Гена, сейчас противоборствуют два начала, что в мифологии и литературе древних греков условно ассоциируются с именами Диониса и Аполлона, ну... что это я тебе, историку образованному объясняю, ха-ха! Совсем заумничала. И самое-то главное, что еще долго будут противоборствовать. Может и всю жизнь.

А это, в свою очередь, означает, что и тебе еще надо попрыгать, побарахтаться в этой жизни, а не тотчас останавливаться и

монотонно, размеренно утром идти с удовольствием на работу, вечером же с еще большим возвращаться к жене и детям. Это неизбежно, это все хорошо и отлично, но сейчас тебе туда не время еще.

То есть остается разойтись через полгода или, в лучшем случае, через год. Но зачем эти полгода-год ждать, если все можно и нужно окончить сейчас? Пока мы мыслями не привыкли друг к другу, а главное — не привыкли физиологически, биологически, как любит говорить моя бабушка — очень ученая, хотя так и не ставшая профессоршей...

— Сколько же лет бабушке? — Совсем некстати перебил ее Геннадий, скорее лишь что-нибудь сказать.

— А уже из моих слов можешь подсчитать: наши женщины замуж выходят в тридцать лет, сразу рожают, а мне двадцатый год идет; значит, чуть за восемьдесят. А физиологическая привычка — страшная в своей независимости от разума вещь, здесь уже действуют те гормоны, которыми взаимно обмениваются в постели. Извини за натурализм. Поверь, тогда даже при самой очевидной необходимости расставания будет сделать это трудно и мучительно.

Резюме, как говорит на репетициях наш главреж: завершим наше короткое, но бурное любовное знакомство достаточно пошлой фразой: останемся друзьями. Во всяком случае, я дружбу ценю. При этом не исключаю и, так сказать, дружеское утешение друг друга в интимной обстановке, когда либо пожалеть другого хочется, либо самому утешиться. Но — это все по прошествии некоторого времени, чтобы опять мне не пришлось, как сейчас, повторять с тобой сцену переписки Татьяны Лариной с Евгением, понятно, Онегиным. Только — поменяв женскую и мужскую роль. Ты — мальчик умный, думаю, все понял и на меня обижаться-дуться не станешь. Так что сейчас мы с тобой очень крепко поцелуемся, задумав каждый в своей голове возможную встречу когда-то, проводишь меня через проспект — я снова в театр, сегодня в массовке играю, а потом ты пойдешь к Женьке и умеренно напьешься: будет легче, а с утра и вовсе успокоишься. Да, пожалуйста, не становись из-за меня театралом, не ходи каждый вечер на спектакли: я ведь не очень часто на сцену выхожу. Да и в толпе статистов

ряженых еще и не найдешь меня.

Лера положила ладони ему на плечи и прильнула к его ссохшимся губам.

* * *

«Нет, определенно в августовские ночи надо спать с женщиной,— чуть не вслух сказал Геннадий,— все мысли на них фокусируются». Парковые тамтамы уже звенели приглушенными бубнами. Видно, все запасенное в ларьках пиво выпито. Кстати или некстати, вспомнилось возмущенное лицо шапочно знакомого доцента Язвишина с новомодного медицинского факультета. Тот, по его словам, имел несчастье проживать в доме прямо напротив центрального входа в парк со стороны улицы имени товарища Фейербаха, поэтому после очередного, столь частого дня пива весь двор дома буквально тонул как после дождя, в лужах пивной мочи. Каждый выходящий из парка норовил завернуть в первый попавшийся двор, то есть в гости в Язвишину и его многострадальным соседям.

Геннадий поерзал на балконной табуретке, разминая ноги от жесткого сидения в созерцательной неподвижности, чем потревожил окончательно разоспавшегося на его коленях Сократа. А он и забыл про кота, предавшись греховным воспоминаниям.— Но и нравоучительным одновременно. «Хорошо вам, кошкиным детям,— подумалось ему тотчас,— отмучались недельку в марте и еще столько же в июне, подрались на улице, или, как ты, бедолага, поорали-повздыхали в квартире, и свободны от гипертрофированных забот о продолжении своего обжорно-полосатого рода!»

...Даже мелькнула шальная мысль, вернее, все — одна глупее другой: позвонить в начале ночи Наташе, благо ее усатый содержатель-супруг гарантированно отсутствует, и просто, прямо и по-мужски настойчиво приказать ей взять тачку и мчаться к нему, в крайнем случае, он сам заедет за ней и далее на Серебрянскую, в резервную Женькину-Зинкину квартиру, ключ от которой он давно уже полагал составной частью свой связки-кольца с серебряным брелком с витиеватой арабской вязью, дежурного презента тестя из

служебной поездки на Ближний Восток. Что-то часто тестюшка разъездился? Оно и понятно, хотя Авдеевна — по секретным словам Светы — и делала аборт в пятьдесят два года, но у него ведь предпоследний всплеск молодости (последний у мужчин бывает на 75-летний юбилей, как смеялась Елена Авдеевна при шутливых разговорах «на тему» за праздничным столом); девки сейчас в любом банке как с подиума сошли, а все женщины сейчас, раскрепощенные СМИ, от двенадцати до семидесяти лет за малую толику баксов и даже рублевичей не то что сопровождать в деловую поездку на Канары или Тринидад-с-Тобаго с охотой возьмутся, но готовы услужить «папику» в любой позе в его кабинете, а для экзотики — и в лифте, на крыше офиса и так далее, вплоть до преисподней. Ведь и не боятся, Евины дочери, особенно нашенские, православного корня. Это католичкам хорошо; у них и индульгенции тебе, и чистилище... А тут одна дорога греховодницам. А там ссылки на дефолты и чубайсов к статьям не подшиваются, ибо воздается-то, конечно, всем, но отвечать каждый единолично будет. И верховному судие до лампочки, что ты жертва царизма, троцкизма-ленинизма, сталинизма, расплывчатого тоталитаризма эпохи Брежнева, демократизма-дефолтизма и чего там еще напридумывают? Ибо ответит тот на вопли и стенания: и царей накажет, хотя их, несчастных, обычно на грешной земле уже наказывают бомбой, револьвером в подвале екатеринбургского особняка, а то и изобретением доктора Гильотена; тож Троцкий и Владимир Ильич отчасти. Генералиссимуса, поговаривают люди верующие, уже монахи наполовину отмолили, учитывая величие его творений и жесткую, диалектически обусловленную роль, которую ему предложила история. Дефолтчики же и иже с ними пока относительно молоды, путь погуляют пока! Но ведь и с тебя, голубушка, строго спросят: ведь какой-то разум тебе при рождении был дан? Так почему ты, такая вся исконно русская и красивая без косметики, с отменно здоровым для продолжения рода организмом, длинноногая и бедрастая, с таким восхитительно-соблазнительным животиком, с формой грудей, от одного полуприкрытого вида которых у матерых мужиков носы синеют и слюны текут, с роскошными от природы — не от фаберликов всяких химических — русыми или кашта-

новыми прядями волос, что густым веером покрывают плечи и полспины... Почему же ты, не уродка, не колченогая хромунья, не косая на две стороны, не грязнуля или клиническая психопатка, почему поверила дьявольскому наущению телевизора и забыла о своем предназначении, для исполнения которого бог и создал тебя: продолжать род людской, причем, не инстинктивно, как все другие животные, но в радости любви, в счастье материнства, наконец, в долгом и постоянно возобновляемом каждую ночь сладострастии тех пяти-десяти тысяч соитий, что природа гарантировала тебе?

И вот до начала четвертого десятка — не бесконечной же, заметь, но очень даже конечной жизни — ты ухаживаешь за своим восхитительным телом, но не влюбляешься, сама холодом своим отриная мужчин, даже не блудодействуешь, лишая себя удовольствия, а все выискиваешь виртуального, созданного коварным лукавым и рогатым от *ТВ* «миллионера своей мечты». Увы, миллионы делаются сейчас у нас только на торговле бананами, а миллиарды — на перекачке нефти. Но бананов и нефтетруб на всех далеко не хватает. И что дальше? Малое число вас опомнится на этом сороковом десятке и в муках, с кесаревым сечением становится матерью-одиночкой, что есть идеальные условия для воспитания такой же дочки — общественной эгоистки. А не решившиеся же воспоследовать императиву материнского инстинкта, идут в содержантки к папикам и «бобрам», удовлетворяя их причудливую застарелую похоть за умеренную плату и в неестественных для природы позах и фактотумах.

«Нет,— вернулся Геннадий от горячительного, обличительного тона на грешную землю,— Наташа — кремень: если сказала «нет», так оно и будет. Правда, компенсацией является ее всегдашняя, если форс-мажора нет, безотказность».

А вторая шальная мысль: взять и позвонить Лере. Но здесь он только рассмеялся. Да, виделись они несколько раз и не просто виделись, но это-то почти за пятнадцать лет? Считай, что и не виделись...

* * *

Рассмеялся еще и потому, исключая нелепость ночного звонка женщине, с которой он последний, вряд ли даже пятый раз в жизни виделся почти столько же лет назад, что Лера оказалась в эту последнюю (может быть, *пока* последнюю?) встречу активной участницей своего рода постельного джокера, который до сих пор только единственный раз выпадал ему. А тогда он очень возгордился своей мужественностью: как же, за неполные полусутки переспал сразу с тремя — и все разной масти: блондинка, брюнетка и шатенка! И с каждой дважды! Причем уже солидным тридцатилетним человеком — не солдатом, молодым зэком или кругосветным героем-подводником, дорвавшимся до женской ласки, а наоборот, женатым на молодой красивой женщине, только-только преодолевший комплекс задержавшейся с юности инфантильности, а от того темпераментно наверстывающей упущенное...

Все произошло с кинематографической калейдоскопичностью. Первые его, раннеутренние, чисто биологически обусловленные ласки («всем млекопитающим присуща утренняя, приуроченная к условно-летнему восходу солнца, безусловная сексуальность»,— как пишет в давешней книге немецкий профессор по постельным делам) Света уже давно привыкла принимать в сладостном полусне, почти механически, но с готовностью, а потом продолжала досыпать до положенного распорядком дня времени пробуждения. Так все началось и в тот достопамятный день, но видно Свете приснился некий грешно-счастливый сон, поэтому-то она повторно уже не заснула, просто затаилась на четверть часа, а затем, хихикнув, стала возбуждать супруга, задремавшего с чистой совестью, явно отдающим парижскими нравами способом. Понятно, что Геннадия это мгновенно завело.

..Уже за завтраком, где Света сидела с притворно скромно опущенными ресницами глаз, он вспомнил: вчера по телеящику в который уже за этот год раз показывали очень нелюбимый им, паскудновато снятый под советский римейк фильм, в котором типичные интеллигентные совки смотрят по дефицитному видику контрабандно привезенную из-за бугра кассету. Правда, в этом фильмеце возбуждается мужик.

Как бы там ни было, но вышел он из дома в приподнятом настроении, сказав, что придет, может быть, позже обычного, так как на кафедре официальное мероприятие: Енукидзе по причине полукруглой даты выставляет от себя дастархан. «Не пей много», — вдогонку озабоченно сказала Света, вроде как даже со смыслом, ибо чуть порозовела. «Вот бабы! — восхитился, уже выходя из подъезда, Геннадий,— то у них мигрень, либо на работе сидячей устала, а как стукнет тридцать лет, да еще под всякую похабщину в телевизоре, так и понесет их в разнос, словно в последний раз и до климакса еще два десятка... Впрочем, климакс-то как раз не помеха».

Но после первой лекционной «пары» секретарша кафедры Марина, кстати, удивительно длинноногая даже для нынешнего, доминантного по этому антропометрическому показателю, поколения, всех оповестила: большого вечернего сабантуя не будет, только совмещенный с обеденным перерывом фуршет. Еще она доверительно сообщила ему, ибо оттачивала на шефе свои юные чары и понимание тонкостей жизни, что Енукидзе накануне повздорил со своей супругой, а Нина-ханум, очень строгая по части малоумеренного употребления спиртного, велела благоверному быть дома вовремя и трезвым. Видно было по всему, что и на Енукидзе Мариночка совершенствует свое искусство невинного обольщения, которое прямолинейный доцент от философии как-то назвал чувственным онанизмом.

После дежурных, а потому скучноватых и скомканных посиделок дел у Геннадия в университете вроде как никаких не было, а вовсю растеплевший поздний май-месяц тянул на волю. Пробовал было зазвать именинника заглянуть на часок-другой в приличную забегаловку и скрасить скуку официального фуршета, но Енукидзе был стоек как гранит кавказских гор (сам доцент уже в третьем поколении жил в этом среднерусском городе): «Себе дороже обойдется, Нинель моя предельно недовольна моей зарплатой; это, конечно, уже хроническое, но вчера она навещала свою мать. Вот и действует катализатор».

— Во всем виноват Чубайс,— дежурно посочувствовал коллеге Геннадий и решил гуляючи пройтись по тротуару вниз по проспекту.

Но видно разгар весны и утренний темперамент Светы расшатали до предела его чувственность, если ноги сами понесли его в сторону стадиона, а точнее — в спортивно-оздоровительный центр и прямиком в служебную комнатку Наташи, забыв об обычной осторожности компрометации подруги. Та непритворно изумилась, но не рассердилась; видно, и на нее май-баловень и нарисовавшийся в дверях Геннадий, с которым не виделась почти месяц, подействовали адекватно, ибо она коротко кивнула вошедшему, подняла трубку телефона, набрала номер:

— Пал Евгеньич! Я часа на полтора отлучусь в санэпидемстанцию, знаете, по какому делу. Нет, не надо, меня подвезут.

— Закрой дверь, там ключ, поверни на два оборота и оставь в скважине.

— А что, дорогая, пасут?

— Не говори глупостей, просто в дежурке имеется запасной, а береженого бог, точнее, амур бережет. Ну-у, пропащий, здравствуй!

— Еще неизвестно, кто пропал...— Но Наташа, на ходу расстегивая свой белый халат, обняла его и теплыми, мягкими губами прекратила игривую перепалку, одновременно увлекла на кушетку с положенной поверх сложенной в два раза, чисто-крахмальной медицинской простынью. И эта чуть отдающая хлороформом простынь, и жесткий топчан-кушетка — все было в их встречах впервые... во всяком случае для него, и, как ни странно, очень возбуждающим.

...От «продолжения банкета» в другом месте, когда, спустя час с лишком, она приводила было в порядок простыню на кушетке, но затем скомкала ее и забросила в шкаф, твердо отказалась:

— Меня Пал Евгеньич ждет с докладом о поездке в санэпидемстанцию, сам слышал. Потом, мне все одно будет мало, так что дождемся выходных, а ты и так сегодня уже двойную порцию получил... я не только себя имею в виду!

Ох, бабы, вроде и повода-то не даешь, а всех штирлицей вместе взятых переплюнете.

* * *

Не отказавшись от рюмки приличного коньяка — все из того же шкафчика — в качестве «отвальной», Геннадий с чувством обнял разгоряченную подругу и был таков.

Солнце, перевалив за зенит еще пару часов назад, казалось, решило в этот ударный для Геннадия день своим теплом растопить хилые остатки затяжной зимы. С улицы не хотелось уходить, потому он, совмещая приятное с полезным, решил спуститься по проспекту еще ниже и зайти в букинистический магазин, куда давно уже не заглядывал: все не по пути. И здесь судьба ему сегодня улыбалась: за сущий пустяк купил книжку Деборина тридцатых голов издания — и именно ту, в которой этот штатный академик-отзовист из Комакадемии всячески поносил великого ученого Владимира Ивановича Вернадского, создателя учения о биосфере и ноосфере. Такой не имелось даже в опекаемом Светой спецхране облбиблиотеки. Тут же усмехнулся: в духе времени ее из «имени Ленина» переименовали в честь некоего купца Злоказина — по инициативе Славы Ломакина; тот сам ему это поведал.

Понятно, что, истребляя остатки тоталитаризма, Ломакин первым делом предложил дать библиотеке имя Георгия Валентиновича Плеханова, но дающий на это санкцию зам. городского головы по культуре и историческому наследию в свое время окончил пединститут по специальности начальной военной подготовки, а потом, дожидаясь эпохи демократии, работал официантом, поэтому о личности теоретика социализма имел смутные представления. Даже слегка путал его с более известным по экранизации романа Ильфа и Петрова лейтенантом Шмидтом. К тому же он знал склонность Ломакина к неординарным шуткам: а вдруг подставить хочет?

Прямо возражать намного более старшему по чину Вячеславу Гавриловичу он не мог, потому уныло ссылался на отсутствие утвержденных наверху списков революционеров, допущенных в демократический обиход.

Однако перешли на Злоказина, ибо накануне в «Губернских новостях» была опубликована большая, на целую полосу статья-очерк известного краеведа Бокина о купце второй гильдии Амосе

Харлампиевиче Злоказине, который организовал при своей москательной лавке что-то вроде первой в городе общественной библиотечки; во всяком случае давал читать книжки — приложение к журналу «Нева» — своим и окрестным приказчикам.

Узнав первоначально о переименовании от Светы, Геннадий поморщился:

— Это кто же такой умный идею подал?

— Да твой дружок Ломакин, а ему наша директриса нашептала: дескать, вот и московскую Ленинку переименовали, негоже и нам отставать.

— Хм-м, насчет Славки-то понятно, холостяк застарелый, больше нечем заняться, а ваша-то мадам, судя по твоим рассказам, цветет и пахнет, а мужика ее я как-то видел, уж не помню, где, но прогонистый такой, голос зычный, и шея кадыкастая. Такие бабам не дают в постели без дела залежаться. Чего ей еще не хватает?

— Фи, ученый философ, а выражаешься... Не хватает ей звания Заслуженного работника культуры, вот и скачет впереди лошади. Потом, секс — одно, а карьера — совсем другое...

— Нельзя женщине раздваиваться, а если успешно совмещает то и другое, так непременно стерва. Хотя вы с ней сейчас вроде как и подруги, правда, с перекосом возраста в твою пользу.

Выйдя из магазина и от нетерпения перелистывая пожелтевшую книжку в дешевом картонно-бумажном переплете, чтобы еще раз убедиться в наличии той статьи о Вернадском, Геннадий по инерции предыдущего направления движения еще с десяток метров прошагал вниз по проспекту, и тут его окликнул женский голос с хорошо узнаваемой контральтовой хрипотцой, что приобретается у молодых женщин от курения или усиленного применения оральных контрацептивов, но профессионально присущ даже самым воздержанным драматическим актрисам:

— Гена? Замедли, пожалуйста, свой бег.

Это была Лера, явно шедшая из своего драмтеатра, что располагался прямо направо за углом от старинного дома с букмагазином на первом этаже, если идти обратным направлению Геннадия ходом. Он уже не помнил: сколько лет не видел ее, исключая театральную сцену, где Лера достаточно уверенно подвизалась на вто-

рых ролях. Сам Геннадий крайне не любил драму, но Света, истовая поклонница «ванильных кривляний и истошных воплей дурными голосами, явно с перепоя», как он однажды выразился, не менее раза в месяц-два утаскивала супруга на спектакли. Но даже на сценическую Леру он старался смотреть непредвзято, как бы отделяя костюмированную красотку или бой-бабу за линией огней рампы от той, что так редко, но метко — по словам Женьки — метеором пересекается с его жизненным путем.

Иногда ему казалось, что Лера со сцены узнает его, ибо склонная к близорукости Света брала билеты не выше пятого-шестого ряда, но не выдает этого даже мельчайшим движением мышц лица, тем более театрально перепудренного. Понятно, что и никаких попыток хождений за кулисы не предпринималось: «Здравствуй, Лера, вот моя Света...» Да и сама она в одну из редких встреч, услышав про кулисы, расхохоталась:

— Какие хождения к актеркам за кулисы? Бог мой, как же все мы раз и навсегда воспитаны на классике гусарских времен! Никаких кулис давно и в помине нет. Есть служебные гримерные, куда и в голову никому ходить не придет из посторонних, а непосредственно за задним занавесом сцены электромонтер с пожарником тайком от директора и режиссера «давят» чекушку на двоих и закусывают, опять же на двоих, одной карамелькой.

Он шагнул навстречу ей, и она тоже через пару шагов поравнялась с Геннадием. Только вблизи он рассмотрел: ее лицо хранило наспех припудренные следы злых слез; казалось, даже личико ее слегка удлинилось, так она зло же, обидчиво поджимала щеки; была у Леры такая привычка. Как потом выяснилось, со вновь проявившимися слезами была выплакана ею сегодняшняя обида, если и не смертельная была, но выше которых в театральном мирке трудно и представить: главреж по наущении своей стервы-любовницы, толстеющей примы в амплуа дамы полусвета снял ее, Леры, кандидатуру, ранее уже худсоветом утвержденную, на две главные роли в следующем театральном сезоне.

— Пойдем ко мне,— глухо и безапелляционно сказала она, взяв Геннадия под руку.— Не беспокойся и не опасайся домашнего скандала: к ночи отпущу, а сейчас мне надо снять тяжесть с

души. Пить и марафетиться, слава богу, не научилась, а с тобой и кризис черномеланхольный пройдет. Извини, что так технически тебя использую... это не совсем так. У нас отношения непонятные для кого-либо, но мы-то друг друга прекрасно понимаем. Это главное; не обращай внимания на сбивчивость мысли и речи. Все пройдет.

— Лерочка, о чем ты говоришь? А как же у тебя...

— Дома? Сегодня до полуночи я и кошка Машка сами-двое. Мама моя после кончины бабули, которая ее в строгости держала до последних своих дней, вдруг вспомнила, что в нашем роду старение женщин замедляется на десять-пятнадцать лет. То есть ей по паспорту шестьдесят, а по фигуре и всему прочему она еще бальзаковка в соку. Короче, нашла себе вдового полковника в отставке, ее же возраста, но крепкого и при деле: чем-то по охранной части мелко командует. Живет, правда, в пригороде, но не дальнем. Маман еще стесняется — не меня, скорее всего, но бабушкиной памяти — потому раз-два в неделю, как сегодня, на его машине укатывает к нему же, а к полуночи так же прикатывает: мне в окно видно. Но соглашаюсь с ней, озабоченной здоровьем подруги, которая живет на другом конце города и требует ухода. Смешная моя мамка! Все. Пошли, вот мой троллейбус на горку взбирается.

* * *

Геннадий вернулся домой на такси в первом часу ночи, для убедительности просил водилу притормозить у ночного ресторанчика со стриптизом, где дернул в буфете два-по-сто виски (другого пойла там почему-то не держали), передал еще не спящей Свете привет и извинения от Енукидзе, сказал, что утомлен и сразу заснул. Да и напрасно он предостерегался: утром Света сказала, что смотрела на сон грядущий «очень тяжелый фильм, после которого и жить-то неуютно». Но — береженого бог бережет, а излишняя нагрузка даже в тридцать лет на пользу не идет...

Сократ, решив, что хозяин всю ночь будет кого-то, наверное, виртуальных мышей, сторожить на балконе, мягко соскочил с колен и пошел искать для продолжения сна самое мягкое кресло.

Наконец и его стало клонить ко сну. Уже спутано поразмышлял — в тему основных раздумий — о необычной верности Зинки своему приятелю, а особенно, понятно, не верности, но привязанности Женьки к ней, а также о том, что темными, глухими провинциальными зимами только в любовных играх и спасение.

Кстати, тогда он все же не утерпел, хотя это и совсем не по-мужски, и похвалился Женьке своим подвигом. Тот снисходительно похвалил, затем задумчиво что-то вспомнил, начал загибать пальцы сначала на левой руке, потом продолжил на правой. «Да, было у меня и побольше, правда, не поочередно, а в групповухе. Потом всем коллективом к Асланбеку по утрам в *КВЖД* ездили трепак залечивать».

...Хотя Геннадий и был истовым философом, но в сообщение душ на расстоянии не верил. А зря. Именно в те минуты, что со смехом отгонял от себя шальную мысль позвонить Лере, даже не зная — замужем ли она, родила ли в положенные в их роду тридцать лет, она металась по пустой квартире, накануне проводив мать с ее полковником и рожденной пять лет назад, в год своего тридцатилетия, дочерью — *ее и Геннадия дочерью* — на отдых в Крым.

Непонятная сила оторвала ее от сна, а вроде заснула крепко? И на душе вроде все спокойно, в отпуске после укороченных — веяния новых времен — гастролей отдыхает. И что ей неймется? Как говорила некогда бабушка, человек начинает непонятно от чего беспокоиться, если кто-то, хоть на другом конце света, о нем думает. Причем, думает хорошо и желает его видеть. «А кто же обо мне думает? Мать и дочка? — Так они постоянно обо мне думают, как и я о них. Сюда же можно смело отнести и полковника, который по простоте душевной, того и гляди, меня дочкой покличет! А если *он*? Вряд ли. Вот случится чудо — пройдет сейчас звонок от *него*... нет, не случится. Значит, не судьба пока *ему* все рассказать. А придет ли она, эта судьба? Гена, ну, проснись же и позвони мне... эх, ты, Гена-Геночка, забыл, наверное, нашу странную любовь: одновременно умозрительную, но иногда, редко-редко, и самую что ни на есть страстную. Или это я, актерка в жизни, все себе напридумывала? Ну-у, позвони же, Гена!»

* * *

Даже знамение Геннадию явилось: непонятно зачем встрепенулся с ветки дерева спавший там голубь, суматошно замахал крыльями и, сделав круг во дворе, пролетел почти над головой ночного страдальца. Теплое перышко упало ему прямо в ладонь.

Перед тем, как улечься на холостяцкое логово, Геннадий зачем-то зашел в свой кабинетик и скорбно усмехнулся: все та же 157-я страница рукописи смотрела на него с укором.

...И уже окончательно засыпая, Геннадий — по принципу «бог троицу любит» — вспомнил и заключительную строфу звездно-полосатого гимна:

А иначе никак не может и быть
Там, где выбор идет вновь о деле свободы.
И пока будем жить, будем благодарить
Силу, что сотворила нас единым народом.
Этот выбор священен, выиграть мы должны.
Наш девиз неизменен: лишь богом мы живы,
И победный наш флаг будет также все реять
Над землею свободных, родиной смелых.

...И еще напоследок подумал: о каком же форте шла речь в самом начале? Наверное, о форте Нокс, где теперь почти все золото мира складировано.

Пришел поутру главный редактор городской газеты «Тишь да гладь» Акакий Акинфович Вахмистров на работу, глянь, а над дверью редакции, рядом с родной вывеской, стоит на стремянке мужик и приколачивает другую, винно-торгового профиля.

— Мил друг,— интересуется Акакий Акинфович, — ты чего-то своевольничаешь?

— Никак нет, полупочтенный, выполняю приказ своего хозяина, купца Громыхалова. К нему извольте за объяснением.

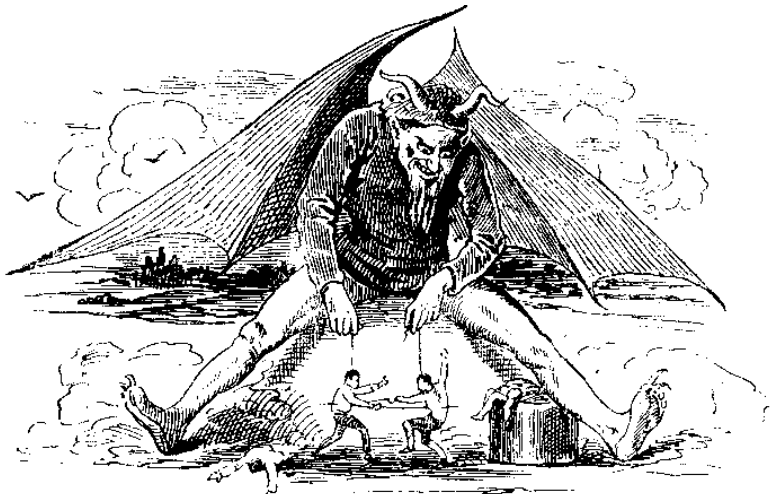
Пришел Вахмистров в свой кабинет, нашел в телефонном справочнике фамилию купца, позвонил, а тот сходу и огорошил:

— За неуплату вами аренды здание было вчера выставлено на торги от горкомимущества, вот мы-с и откупили под винные погреба и распивочную. Так что, извольте в двадцать четыре часа освободить помещению!

— Что же нам делать, закрывать газету нельзя, одной неустойки подписчикам хватит на долговую тюрьму; помилосердствуйте, Милентий Вахтангович!

— Нд-а-а, что же мне с вами делать, ведь сам грамоте знаю, не враг ведь просвещению. Вот что, оставлю вам две комнаты, печатай свою газетку, но только чтобы в каждом номере мой поясной портрет был и рубрика тостов. И название газет смени, путь будет «Пьян да умен».

Вздохнул Вахмистров: чего не сделаешь ради сохранения рупора городской демократии!



Князь тьмы Вельзевул в свободное от управления миром время любил часок-другой отдохнуть, поразвлечься с людишками из числа тех неразумных, что никак не могут освоиться с новыми реалиями этого не лучшего из миров под солнцем и луной. Смеется рогатый и крылатый бестия, слушая вопли несчастных. «Так вам, голубчики, и надо, все одно не поумнеете, так хоть меня, старика, порадуйте своими мучениями»,— бормочет матерый садист. Отдохнув, возвращается в свой рабочий кабинет, садится за стол, раскрывает ноутбук, подключенный к Интернету: «Так, так, сначала доклады от территориальных главноуправляющих, потом сводка суточных новостей. А ночью, когда мозг наиболее остро работает, время указаний на следующие сутки». Иногда, заработавшись, напевает князь тьмы на мотив из известной оперы Шарля Гуно, но со словами от старорусского поэта Федора Сологуба: «Ах, боже, сколько скуки в искусстве палача, не брать бы вовсе в руки тяжелого меча». Прислужник, время от времени приносящий в кабинет для проголодавшегося шефа кофе на серной кислоте и бутерброды с копчеными соловьиными языками, слы-

шит это напевание и радуется за хозяина: «Ого! Опять какую-нибудь пакость придумал для блага человечества»... А наутро все мировые информагентства первой строкой сообщают, что лопнул крупнейший транснациональный банк, начали братоубийственную войну два африканских государства, выливается в пандемию ранее неизвестный смертоносный вирус...

Совсем не спит Вельзевул, некогда ему спать, ведь хозяйство-то у него какое огромное? Только и позволяет себе часок-другой поразвлечься с людишками — марионетками своей глупости и общечеловеческого порока.

Глава двадцать вторая.
МУЗА МЕЛЬПОМЕНА, ДОЧЬ ЗЕВСА И МНЕМОСИНЫ

...Все почивали зятья у цветущих супруг
их стыдливых,
Там повстречала его милосердная матерь
Гекуба,
Шедшая в дом к Лаодике, своей
миловиднейшей дщери;
За руку сына взяла, вопрошала и так
говорила:
«Что ты, о сын мой, приходишь, оставив
свирепую битву?»

«Илиада», песнь VI, ст. 250—254

Лера проснулась ближе к одиннадцати часам — и в прекрасном, неосознанно счастливом расположении души и тела. Но все же вспомнила о ночном чудачестве: долго не ложилась спать, размечталась о внезапном звонке... Добро усмехнулась своим фантазиям: все это от душного августовского вечера, раскаленного асфальта в самом центре города — не историческом, а деловом, как сейчас принято говорить — а главное, от внезапно навалившейся свободы отпуска от всего и всех. Свои укатили в Евпаторию, включая полковника, которому смело можно доверить всех домашних, исключая ее самою, ибо в свои шестьдесят пять Семен Ефимович еще смог бы позировать местному скульптору Рудольфу Черноротову, закажи тому городская администрация, не желающая отставать от столичных затейников навроде Зураба Константиновича, сорокаметровый монумент «Губернатор Стерлядкин открывает эру демократии в городе *N*.».— Она не помнила, от какого остряка слышала про скульптора, да и самого Стерлядкина уже дружно провалили на выборах, да еще статью влепили по взяточничеству. Был человек, причем толстый и солидный, и нет человека...

А главное — отпуск в театре. Правильно покойная бабушка, разменявшая десятый десяток в самом начале бардака в стране, с

серьезным юмором говорила, что единственное достижение наступившей эры демократии — на фоне всеобщего разрушения — это появление в свободной продаже туалетной бумаги... хотя бы и бразильского производства. Так и у них, служителей Мельпомены: система летних гастролей напрочь разрушена, хорошо директор театра в этом сезоне исхитрился сделать небольшой вояж в Курск и с половиной труппы по обмену в Калугу. А больше не востребованы, зато актерам отпуск в самый что ни на есть бархатный сезон!

В полном блаженстве и вставать не хотелось: валяться, валяться и нежиться. И кто это придумал, что без мужика и постель не греет? Наверное, они сами и сочинили для охмурения несовершеннолетних по уму или перезрелых по телу бабенок. Нет, конечно, и мужик определенную приятность в жизнь привносит, но главное, чтобы каждодневность, рутина не наступала. И чтобы мужчина был чист, выбрит, не садист и не извращенец... Еще что пожелаете, мадам? Ах, да, чтобы спрыснут был обязательно одеколоном «Консул», желательно египетского ро́злива. Рассмеялась, вспомнив присказку Верки-травести: чтобы сорок раз по разу от души, как в первый раз. «Только не для него, конечно, в первый»,— добавляла она с нарочитой порочностью гримаски на очаровательно-круглой мордашке. «Ох, Ве-ерка, доиграешься ты со своими сценическими переодеваниями,— укоряли ее актрисы постарше,— в голове что-нибудь сдвинется, и будешь ты не заслуженная травеститка, а заурядная новомодная трансвеститка!»

Непривычная свобода поздним утром, Машка вторая не лезет тебе под бок, а сейчас, наверное, уже по пляжу носится, прячась от своей бабушки и хлопотливого полковника... Ну, вот, сглазила, истинно сказано: никакое имя всуе не упоминай! Только о дочери подумала, как на пороге комнаты явилась чудо расписное и лохматое: Машка первая; здесь все справедливо, по годам: дочери почти пять, а кошка уже отметила свое семилетие. «Не было у бабы хлопот, завела порося»,— в голос весело произнесла Лера, а Машка согласно дважды мотнула хвостом влево-вправо.

Откинула махровую простыню, которой укрывалась в жаркое время, спустила ноги на пол, сладострастно потянулась, подумав: еще одно достоинство временного одиночества в квартире — спать

голышом, когда и ночью на улице столбик за двадцать с лишком. И даже легкий халатик не набрасывать по пути в ванну. Машка шла следом, но по инерции дверь туда Лера за собой закрыла на щеколду. Внимательно осмотрелась в узком, длинном зеркале «в рост», отмахнула рукой короткую челку мелированных волос, повернула голову, как Машка хвост, вправо-влево, поднимая подбородок, чуть тронула указательными пальцами, поглаживая веки глаз. Затем опустила ладони на уровень ключиц и медленно заводя их вправо и влево, провела по округлостям грудей еще («Еще!» — вздохнула она) крепких, оформленных, задержалась на твердых сосках и снизу, уложив груди в ладошки, чуть приподняла их. «А знаешь, ничего! — комментировала она свои действия,— если завтра война, в смысле если откуда-нибудь из Парижа или Голливуда докатится мода не носить бюстгальтер, то вполне смогу конкурировать с малолеткой... если они, конечно, с восьмого класса школы не трахаются и уже не отрастили себе пушечных ядер». И в контексте рассмеялась: присутствие, хотя и эпизодическое, в доме полковника начинает сказываться на образности мышления и языка в части военно-пехотной конкретики.

Мягко ущипнула себя за бока, округло провела ладонью по маленькому, не от родов, но природой данному животику с аккуратной пуповичной ямкой: нет, такая и все что при ней такое же, как и пять, десять лет назад. Для осмотра нижней части икр и лодыжек длины зеркала на хватало, но все остальное за прошедшие сутки изменений не претерпело: бедра атласны и округлы, коленки «не колются», интимные места белеют положенным им треугольником спереди и сзади. Никакой кривоногости и косо-копытности, только естественная, в рамках всех физиолого-анатомических норм подпружиненность! С огорчением подумала, что уже вплотную надвинувшаяся идиотская мода брить ноги все же не мытьем, так катаньем заставит лишиться этих золотистых волосиков на внутренней поверхности бедер и икр. «Нет,— громогласно верещит Верка-травести, после второго фужера «мартини» на дармовщину,— пусть я последняя останусь в театре и в городе вообще небритая, зато все мужики будут моими! Ведь они, усладители нашей нелегкой жизни, втайне ненавидят эту бритоногость. Мне мой предыдущий папик так и ска-

зал, что это отбивает возбуждение на семьдесят пять процентов — он из коммерсантов, привык все на проценты переводить — и это прямое покушение производителей техники и химии для женского бриться на естественную красоту женскую. И еще говорит, что когда он, кобель этакий, гладит бедра обритой женщины, то возникает ощущение дотрагивания до лягушачьей шкуры. А? Здорово сказал, даром что офисный спекулянт. Так что, девки, будем, как говорится, голосистыми и волосистыми!»

Посмеялась тихонько, вспомнив реплику Верки, еще раз осмотрела себя вкупе со всеми прелестями в зеркале, поворачиваясь то правым, то левым боком, то спиной и заглядывая через плечо, и уже становясь под душ и всерьез, но и шутливо в то же время подумала: до чего же я прелестна в свои тридцать пять лет? И разве не обидно такую красоту даже на время отдавать в клешкастые объятия грубо сопящему от вожделения, с округлившимися от животной страсти глазами мужику? «Да-да,— уже вслух произнесла Лера,— вот с такой горделивой обидчивостью и ждут потом среди ночи звонка неведомо от кого!» — И тут же жестко поправила себя: «Сама знаешь что ведомо: от отца твоей дочери, а ситуацию поведения сама содеяла. И непонятно для чего...»

Включила душ. Кошка Машка тоже в унисон затеяла умывание перед дверью ванной.

* * *

...Хотя
буржуй
и лицо перекрасил
и пузо не выглядит грузно —
он волк,
он враг
рабочего класса,
он должен быть
понят
и узнан.

Лера причесывала свои жестковатые, коротко стриженые (актерка, парики!) волосы перед старинным трюмо в просторной прихожей «сталинского» дома, в бессчетный раз с улыбкой читая эти строки, выполненные почти каллиграфическим почерком черными чернилами, слегка уже выцветшими, на тетрадного формата прямоугольнике ватмана, пришпиленном по уголкам кнопками к стене — на уровне глаз и чуть вправо от зеркала. «Бабулечка моя, революционерка почти со столетним стажем, самолично написала и прикрепила, когда в городе первые кооперативы завелись»,— пояснила Лера впервые приходящим в их квартиру. Правда, таких и раньше за год не более двух-трех набиралось, а теперь и этот ручеек иссякает...

И словно издеваясь, прямо над головой, в высоком углу прихожей раздался сначала короткий, потом чуть подлиннее звонок. Лера никого не ждала, потому не торопясь еще пару раз взмахнула расческой, повернулась к двери, подошла и посмотрела в глазок: через увеличительное стекло оптически распузырились фигуры двух молодых парней, скорее всего старшего школьного возраста. В руках они держали парусиновые сумки, чем-то угловато набитые, впрочем, не очень-то тяжело наполненные. Усмехнувшись, она язвительно хмыкнула и нажала кнопку на правом косяке дверной коробки и, забыв тотчас о визитерах, пошла из прихожей вслед за голодно мяукающей Машкой: пора кормить животину! Но все равно услышала из-за двери механический голос полковника с раскатами и нарочитым хохлацким говором: «Усе, хлопцы, вы сфотографированы и актированы. Карточки на память получите в Центральном РОВД у майора Храповика!» Еще она представила на миг растерянные физиономии парней, услышавших командирский голос из закамуфлированного динамика и ослепленных яркой фотовспышкой.

Семен Ефимович хотя и являлся настоящим полковником в отставке, но обладал выраженным чувством юмора. Ребята из его охранного агентства «Спартак» за час с небольшим установили всю эту механику после того, как в опрометчиво открытую Инной Васильевной на звонок — тяжелое наследие советской доверчивости — дверь быстро вошли двое молодых людей в каких-то стилизованных спецовках, представившихся «горгазом». После их ухода

на кухне не досчитались десятка серебряных ложек из бабушкиного наследства и опрометчиво оставленного Инной Васильевной на холодильнике кошелька. Правда, в нем находился только месячный проездной, срок действия которого накануне истек, и какая-то сущая мелочь.

В дополнение к технике полковник провел часовую беседу с обеими дамами, причем Инна Васильевна доклад законспектировала. В частности, Семен Ефимович рекомендовал особо остерегаться молодых ребят, якобы торговцев книгами в разнос: «Вы, девушки-женщины, шибко грамотные. Я тоже в свое время, когда комроты был, за ночные дежурства всю полковую библиотечку перечитал. Так вот, у Диккенса есть роман, где очень даже подробно и со знанием дела описана воровская школа, что-то навроде специализированного *ПТУ*. Сейчас время наступило архивороватое, причем представители этой древней профессии хорошо организованы. И у них есть свои профтехшколы по различным специализациям: домушники, форточники, щипачи, ну-у, не буду вас утомлять специальной терминологией. Но все воровские ученики кроме теоретических занятий на своих базах-малинах набираются большого практического опыта. Вот, например, у домушников, которые спецы по обчистке квартир и всяких там офисов, первая серьезная практика — разведка. Вот такие шустрые ребята берут в руки по сумке с книгами и обязательно по-двое начинают обход указанного учителем района; кроме потенциально богатых квартир они не ленятся входить в любую встречную дверь, где нет охранников: от депутатских общественных приемных до сапожных мастерских. Наверное, вы в своих трудовых местах таких уже заприметили...

— Я лично ни разу,— хмыкнула Лера,— во-первых, театр в такой нищете, что вор скорее подаст на бедность, чем польстится на пыльный реквизит двадцатилетней давности. Опять же днем и ночью, исключая время спектакля, двери в храм Мельпомены на запоре.

— А вот к нам в «кулек», извиняюсь, в колледж культуры, такие иногда забегают. Вот ты, Семен Ефимович, разъяснил нам, и я сразу вспомнила: какие-то они щупловатые, одинаковые, быстро и без стука вбегают в любую открытую дверь, а глазами так быстро-быстро, как фотоаппаратом, все схватывают.

— Во-во, как фотоаппаратами... И в считанные секунды все осмотрят, оценят обстановку, главное — запомнят до мелочей. А по-двое так это для взаимной перестраховки и быстроты обзора: один правую сторону комнаты фиксирует, а второй, что слева, левую, соответственно. Еще одна характерная примета — книг в сумках немного, чтобы не стесняли оперативность их элоквенций, говоря языком военным. Естественный вопрос: почему столь интеллектуальный товар у них для прикрытия? А просто сейчас людям не до книг, а кандидаты в домушники не будут терять драгоценного времени. Иногда они носят в сумках совсем что-то нелепое, представляясь торговыми агентами американо-канадской компании, типа плюшевых медвежат в летнюю жару или китайских термосов в двадцатиградусный мороз.

...Спугнув книгонош, Лера захозяйничала на просторной кухне — не хуже чем в тех двадцати-с-чем-то этажных «билдингах», что начали возводить в центре московские компании, со временем планируя захватить площадь всего города. Дома эти полковник, впрочем с полным на то основанием, называл бандитскими. И видно его здорово вымуштровали в академии по политэкономии, потому что, начав как-то разговор с этих домов, он тотчас перешел на иллюстрацию третьей главы первого (или второго? — Лера не забивала голову ерундой) тома «Капитала» о вывозе этого самого ростовщического капитала из метрополии в колонии. Или что-то в этом роде; им в *МГИК'е* политэкономию преподносили упрощенно: для культработников и домохозяек.

Дав Машке вчерашнюю вареную рыбу, ошпаренную для сугрева кипятком из чайника, себе же сварила пару яиц всмятку и овсянку. Насчет холестерина она не беспокоилась и вообще считала это выдумкой производителей фармпрепаратов, а вот с овсянкой дело сложнее и интимнее. Несмотря на оптимизм утреннего себя осмотра перед большим зеркалом, Лера не обманывалась: в тридцать пять лет все же жирок понемногу и талию округлял, и ягодицы чуть-чуть, но уже отяжелял... И еще она хорошо, даже без квалифицированных подсказок Верки-травести, понимала: все прибывающие года еще не того калибра, чтобы играть здесь первую скрипку, а причина в другом: жизнь без мужчины... или, правиль-

нее говоря, почти без мужчины. Таким вот жирком при сохранении общей стройности и покрываются даже очень следящие за собой старые и не очень старые девы, равно как и вовсе не девы, но безмужницы и не имеющие дежурных или постоянных любовников. «Вот так-то, девушка»,— невесело рассмеялась Лера. Доела овсянку, яйца без соли и без хлеба, а остатки каши из кастрюльки положила в блюдце кошки, покрошив туда рыбки из холодильника, — «Это тебе на обед, курносая. У меня вот нос классический, прямой, ну и что? Все одно нет у нас с тобой женихов!»

* * *

Лера любила свой дом, одной стороной выходивший на главный проспект города, а другой тоже на главную «интеллигентную» улицу. Не только за просторную квартиру любила и что родилась и прожила здесь три с половиной десятка лет. В доме этом была очень заметная «фишка», как сейчас говорят тинейджеры и идущая на поводу у них пресса и телевидение... или, наоборот, научающая несмышленышей. Ее, Леры, возраст, даже исключая непомнящее младенчество, все равно больше половины истории дома с башенкой, как его знал и звал весь город, отличая от немногих, считаемых по пальцам едва ли не одной руки «сталинских» домов.— Не потому, что город был неважнецкий, куда неохотно смотрели очи Главстроя; наоборот, всегда имел он до наступления новейших времен свою хара́ктерную роль исторического и достаточно специфического промышленного центра. Возможно в силу-то специфики исторически преобладавшего у работяг надомнического труда город до начала тридцатых годов являл собою огромную деревню с десятками тысяч деревянных и кирпичных частных домов с паройтройкой улиц, застроенных двух и трех-же этажными купеческими «совмещенками»: на первом этаже лавка, а выше — собственное жилье или под жильцов внаем.

Перед войной, как рассказывала еще школьнице Лере бабушка историю города не по-писаному, но самолично виденному, довольно активно взялись строить четырехэтажки в тогдашнем стиле татлинского конструктивизма. Правда, все знающая бабуся попутно

поясняла, что этот самый конструктивизм, то есть голые, без балконов и всяких прибамбасов стены под шиферной крышей, архитектор Татлин очень даже просто позаимствовал у Ле-Корбюзье, приехавшего в СССР реализовывать свои модернистские проекты.

...Впрочем, не очень много успели построить. В конце сорок первого года город был фронтовым и на направлении одного из главных ударов на Москву, но оборонился, а после советского контрнаступления устойчиво оказался в тылу, хотя и не очень глубоком, по крайней мере для немецкой фронтовой бомбардировочной авиации. Но его не бомбили; во-первых, все заводы, имеющие военное значение, а других там не было, успели эвакуировать, а тратить фугасные бомбы на избы — это не в характере рациональных немцев; во-вторых, авиация была востребована на других направлениях. Как бы там ни было, но разрушений почти не было, поэтому в послевоенный период город не был включен в число восстанавливаемых, а потому до начала шестидесятых годов, когда первым секретарем обкома стал сыгравший важную роль в новой истории города Иван Харлампиевич, полностью сохранялся довоенный, а правильнее — и вовсе дореволюционный пейзаж.

Их дом был одной из немногих новостроек послевоенных лет. Да еще в двух кварталах по будущей главной «интеллигентной» улице тоже одновременно строили основательный «сталинский» дом. Правда, без эоловой башенки.

Как опять же любила вспоминать бабушка, до самого окончания строительства этих домой было неясно их целевое заселение. Но в городе ходил слух: один из них ангажирует для своих сотрудников обком, второй же предназначается для высших начальников и специалистов военно-промышленных предприятий и организаций. Но кому какой? — На это народный телеграф ответить не мог.

В итоге дом с башенкой по каким-то глубокомысленным соображениям заселили начальниками и начальствующими специалистами, а другой — обкомовцам и железнодорожникам «фифти-фифти». Точно также и дом с башенкой заселили не только директора и начальники-конструкторы, и даже не начальники, но конструкторы с громкими именами, но и значительная прослойка совработников-исполкомовцев и заслуженных людей города. В число послед-

них не без основания была зачислена и бабушка Виктория Ильинична, ровесница века революций и войн, к тому же умудрившаяся появиться на свет в ночь на европейский Новый год, то есть 19 декабря 1899 года по принятому в Российской империи юлианскому календарю. Истовая революционерка, бабушка всегда с гордостью говорила, что родилась именно в этот день, предчувствуя грядущую революцию, которая переведет «замшелое царское время» на календарь григорианский и сделает ее день рождения новогодним... Но предпочитала умалчивать, что имя ей дали в честь бессмертной английской королевы, к тому же заразившей через браки своих дочерей и родственниц по нисходящей линии гемофилией все монархические дворы Европы, царский в том числе. Впрочем, при всей ненависти к тирании Николая Кровавого она чисто по-женски жалела наследника престола, но опять же не по причине его убийства в Екатеринбурге-Свердловске, а из-за «викторианской болезни». «Да, бабуля,— говорила ей уже повзрослевшая и помудревшая Лера, когда Виктория Ильинична начинала излагать ей, за неимением других желающих слушать, краткий курс *ВКПб*,— человек должен жить в одну эпоху и чем дольше, тем для него будет лучше. А вот если детство и юность пришлись на одну, а взрослые годы на почти противоположную, то такому страдальцу приходится постоянно себя контролировать и сопоставлять все явления жизни. А это очень хлопотно и утомляет!» «Умна ты, Лерка, не по годам и тем более не по принадлежности к бабьему полу,— добродушно смеялась та, демонстрируя *свои*, замечательно сохранившиеся зубы,— а я вот имею опасение, глядя на все эти похороны подряд трех генсеков, как бы снова на старости лет не поменять эпоху...» Как в воду почетная революционерка глядела, застав горбачевщину и *ГКЧП*. Может и правда провидицей была, если еще до рождения, по ее словам, загадала революцию? И еще думала порой Лера, что умерла бабуся пять лет назад, не дожив до запланированного ей века целых девять лет, во многом из-за нежелания присутствовать при очередной для нее «смене вех», как она любила выражаться в терминах интеллигентских штампов времен юности. Понятно — революционной.

* * *

Иронизируя в детстве и в юности в глаза и за глаза над бабусей, впрочем, добро и любя, Лера про себя гордилась ею. Действительно, в семидесятые-восьмидесятые года Виктория Ильинична в глазах всего города была личностью легендарной. Впервые это с высокой областной трибуны озвучил Иван Харлампиевич, награждая Викторию Ильиничну в ее 75-летие орденом Октябрьской революции — первую и, как впоследствии оказалось, единственную в городе и области женщину, ставшую кавалером этой высокой награды. То же самое, но уже не задумываясь в поисках слова, бессменный глава области повторил и пять лет спустя. Орден Дружбы народов в этот раз ей вручали не потому, что восемьдесят лет менее «круглая» дата, а просто все остальные гражданские знаки отличия у нее уже имелись, равно как персональная пенсия республиканского значения и редкостный знак «50 лет в КПСС». И еще она была лауреатом Сталинской премии II степени — в составе коллектива. Диплом кандидата исторических наук и аттестат доцента имела. И звание «холодной» профессорши. Много чего имела бабулечка милая, даже счастлива всю жизнь была, хотя и суровым счастьем ее судьба наградила.

Когда восьмиклассница Лера со вниманием прочитала официальную биографию бабули, изложенную в выпущенном местным издательством к какой-то юбилейной дате книге о выдающихся революционерах города, то была достаточно удивлена: по рассказам бабушки Вики, многие факты и события имели другой акцент, либо вовсе отличались в сторону противоположную. И бабушка, сама давшая Лере книжку, внимательно и с доброй улыбкой наблюдала за читающей внучкой. А под конец и вовсе хитро подмигнула: дескать, каково пишут? Чтобы девочка не задумывалась о различии напечатанного и ранее ею не раз и по различным поводам рассказанного, Виктория Ильинична с добросовестностью и обстоятельностью педагога прочитала внучке целую лекцию. Суть ее сводилась к различию между реальным и воображаемым с благими целями. В данном случае целью являлось воспитание подрастающего поколения на примере героических старших поколений. Поэтому

будущий лирический поэт Омшанников, специализировавшийся в местном издательстве по биографиям периферийных знаменитостей, и сгладил некоторые моменты ее биографии, а другие, напротив, выпятил и цветисто расписал. «Я сама Дементию Анатольевичу дала полное согласие на такие вольности,— поясняла бабушка Лере,— а он большой дока в литературизации вроде бы самых обычных вещей».

После этого разговора Лера все поняла правильно: что напечатано — это для воспитания юношества и ностальгических воспоминаний сверстников героев, уже и самих поверивших в свои беллетризованные биографии, а что было на самом деле в большой жизни бабушки — это для Леры. Понятно, что восьмиклассная внучка все это сформулировала в иной, упрощенной терминологии, но смысл ей самой был понятен и одобрен революционной бабушкой.

Конечно, в дореволюционном промышленном городе имелось достаточное число мастеровых-артельщиков, так сказать оптовых надомников от казенного завода, с доходами не меньше иных купцов второй гильдии, не говоря уже о мелких лавочниках. И дети их нередко получали среднее образование. С другой стороны, уже со слов их школьного учителя истории, по совместительству литератора-краеведа, Лера знала: дети зажиточных мастеровых предуготовлялись родителями для продолжения их ремесла и содержания семейных домов-усадеб, они же мастерские-миницеха. Потому мальчиков после начальной школы отправляли в реальное училище, а наиболее способных — в не очень дальний московский Катковский лицей. Последние потом шли в политехнические столичные институты и возвращались в город инженерами на казенный и акционерный заводы металлообрабатывающего профиля. Дочерей же без затей направляли в губернское женское епархиальное училище: это давало приличествующее дамскому полу образование и воспитывало склонность к семейственности и управлению домашним хозяйством.

А вот бабушка к моменту отречения царя от престола окончила вторую женскую гимназию, где учились дочери городских чиновников-дворян вышесредней значимости, крупных промышленников и купцов. В отличие от мужских гимназий той поры, в женских детей разночинного и мещанского племени почти не наблюда-

лось. В советское время Виктория Ильинична как-то привычно осторожно объясняла внучке факт своего пребывания в гимназии и дочери своей, матери Леры, заказывала делать то же самое. Однако когда в самом конце восьмидесятых власть начала спешно меняться на противоположную, бабушка все чаще начала вспоминать слова своего любимого поэта — для характеристики наступившей эпохи и ее творцов:

Там,
где речь
о личной выгоде,
у него
глаза на выкате.
Там,
где можно пролезть
для своих нажив,
Там
его
глаза-ножи.

— И поясняла своей внучке, вплотную приблизившейся к тридцатилетию: «Я эти стихи от самого Владимира Владимировича в Политехническом музее слышала! И еще Бурлюк с Асеевым одновременно выступали». Не вдаваясь в щепетильности прежних своих вариантов биографии «*аля Омшанников*», уже как само собой разумеющееся и всем известное рассказывала о своих родителях: отце, крупном чиновнике, во времена премьерства графа Витте (Витте-Полусахалинского, не приминала язвительно замечать она), даже возглавлявшем губернскую палату, действительного статского советника, то есть «превосходительства», к тому же даже не служилого или просто потомственного, но столбового дворянина, правда, из захиревшего еще до Наполеонового нашествия рода. Может по этой причине он сразу по выходе из Казанского университета по юридическому факультету, получив казенное назначение в наш город, как умозрительно полагала Виктория Ильинична, и женился на дочери довольно богатого купца, владельца оптовой мучной торговлей города и пары крупных магазинов — от колониальных товаров до некоторого подобия современных универмагов. Правда,

купеческая дочь была красавицей и с отличием окончила ту же гимназию, где потом училась и бабушка Леры, что в глазах городского бомонда и служило-торгового мещанства значительно ослабляло бабушкину версию «женитьбы на приданном». Любившая точность, бабушка поясняла: она училась в той же гимназии, что и мать ее, но при маме та была единственной в городе, а номер «два» — это уже при ней...

Бабушка появилась на свет третьим и последним ребенком в семье, когда ее матери исполнился тридцать один год...

— А как же родовая традиция выходить замуж в тридцать лет, выходит, она лишь с тебя началась? — перебивала ее Лера.

— Формально — да, но мои папа и мама поженились в двадцать три года, с разницей в несколько месяцев. Для мужчин это было и тогда обычный возраст, но вот для женщины столько лет к замужеству? — Это «ранний» перестарок, что вполне соответствует нынешним тридцати.

— И почему? Ведь такая красавица, даже по этой пожелтевшей фотографии видно... Или эмансипэ в моде было уже? Феминистки всякие...

— Это все в столицах и университетских центрах. Здесь же проще было: то ли мама моя разборчива была, а может случился в городе перебой с женихами. Я ее не спрашивала, а она сама на эту тему разговоры не заводила. Да и все же, действительно, двадцать три — это не тридцать, хотя и император Александр Третий еще доканчивал свое царствование.

Революционеркой бабушка себя почувствовала в пятнадцать лет. И не гимназия, конечно, ее наставила на этот путь, не либеральные в меру родители, но старший брат Андрей; «менее старший», как она называла среднего Юрия, к политическим бурям в стране и в мире вообще был равнодушен и избрал военную стезю. Тем не менее и получивший естественное университетское образование в Москве Андрей, и только что окончивший там же юнкерское училище Юрий — оба оказались на позициях Империалистической: младший по присяге и первому офицерскому чину, старший, как предполагала бабушка, в шестнадцатом году ушел вольно-определяющимся по заданию эсеровской партии.

Перед самой революцией отец семейства вышел в отставку, причем не со столь уж высокой должности, и в годы Гражданской войны работал тоже на незавидном месте в заводоуправлении. Завод был сугубо нужный Советской власти, военный, управлялся прямо из Москвы, поэтому местным комиссарам разгуляться там не давали, да и ленивы они были в этом политически тупиковом городе: новую власть приняли равнодушно, купцы как-то рассеялись и затаились, а дворян и вовсе было мало. Так что родители бабушки тихо и спокойно жили в своем поместительном доме на бывшей Стародворянской почти до начала сталинских пятилеток. Умерли также тихо и почти одновременно. Братья же Виктории Ильиничны, хотя и по разным причинам и разными путями, уцелели в войнах и революции, но следы их затерялись в эмиграции. Даже в относительно спокойные двадцатые годы — красный террор утих, а психоз повальной подозрительности еще где-то вдалеке только маячил — они не давали сестре о себе знать. Только перед самой войной Викторию Ильиничну вызвали в спецотдел обкома и под очень строгую расписку дали почитать письмо... от Андрея, действующего резидента ГРУ ГШ* «в одной из стран вероятного противника», как он сообщал. Тем же — по его словам — занимался и Юрий, но в другой стране.

И здесь им повезло: уцелели на своей опасной работе, при чистках ежовщины, в Отечественную войну. Вышли в отставку в середине пятидесятых, жили с семьями в Москве, часто общались там и в родном городе с сестрой, но Лера их даже в раннем детстве не застала уже. Впрочем с детьми и внуками их, своими двоюродными дядьками-тетками и троюродными сестрами (братьев таких не было), бывая в столице, общалась по-родственному, а во время учебы в *МГИК'е* во время сессий и диплома проживала у них.

* Главное разведывательное управление Генерального штаба.

Зашли в шапочный бутик купца Шапоклякова чиновники от науки Бормочихин и Формуляров. За стойкой старший приказчик Услужанинов:

— Чего изволите, вашброди? Решили свои цилиндры обновить, так нам только что первосортный товар китайские купцы завезли...

— Погодь, не болбочи, не подмахивай навскидку! Фуражки форменные имеются? Дай-кось примерить... Да-а, в самый раз. Заверни, полупочтенный.

— Рад стараться, а вам тоже?

— И мне тоже такую же, но на размер больше.

— Слушаюсь. Дозвольте полюбопытствовать: чего это седни чиновники прямо косяком ко мне за фуражками идут? Никак в разумении возвращения тоталитаризма?

— Умен ты не по чину. Надо и идут. Прощевай, полупочтенный.

Едва затворилась дверь за покупателями — Услужанинов руки в боки и в хохот. «Ты чего, дядь Федь?» — выглянул из подсобки его племяш, взятый в лавку для прикорму.

— Ну и голова наш Пуд Силыч! Эк, что придумал? Купил за копейки у прапорщика складского грузовик списанных офицерских фуражек старого, совкового образца, а затем подкупил репортера из «Губернских ведомостей», и тот и тиснул в рубрике столичных новостей, что якобы по столичным слухам собираются в целях укрепления дисциплины и ликвидации коррупции ввести для чиновников ношение форменных фуражек старого образца — чтобы с военными не путать. Думаю, до вечера все продадим.

Многие из умных, то есть купивших диплом в ближайшем вузе за углом, тем более законно получивших его в советские времена, полагают, что натуральное хозяйство есть атрибут, точнее артефакт, далеких времен. Но это с какой стороны посмотреть? Ибо если давние времена нельзя притянуть к нынешним, то совсем просто скатиться хоть в Средневековье, а хочешь — поближе, например, в эпоху реформ Столыпина, бывшего вешателя, а ныне выдающегося реформатора.

Если отвлечься от всего, что за забором частного владения, то жизнь в этом самом натуральном хозяйстве, конечно, тяжелая, но веселая и разнообразная, весь народ-семья при деле: кто-то рыбку коптит, другой — овец стрижет, хозяйка раскочегарила русскую печь и щи духмяные с бараниной варит. Можно даже лосей разводить, если имеется у кого тяга к экспериментальной зоологии.

И детишкам-то как хорошо! В школу не надо ходить, незачем им в натуралке-то грамоте и прочим премудростям знать. Глава семьи гордо именует себя по-заокеански фермером, дедовскую балалайку выбросил, а зимними вечерами наяривает плясовую на банджо китайского производства. Благодать! Правда, в оппозиционной прессе досужие писаки что-то бормочут о неэф-

фективности натуралок в российском климате; едва-едва сами себя обеспечивают, а государству от них одна головная боль. Ну и пусть пишут! Кто их сейчас читает? А городское население Европа и Америка едовом обеспечивают; у них химпром хорошо развит. Зима, за окном политические и экономические бури, а Егор играет внучатам на бандже, а со стены, с портретов одобрительно смотрят дед и папаня; оба — жертвы сталинизма: дед в двадцать девятом грохнул из обреза председателя колхоза, а папаня при немцах старостой служил справно.

Глава двадцать третья.
ЖЕНЩИНЫ В РОДУ МЕЛЬПОМЕНЫ

В стане, при черных судах, возлежал Ахиллес
быстроногий,
Гневный за дочь Брисееву, пышноволосую
деву,
Деву, которую взял, во жестоких трудах,
из Лирнесса,
Самый Лирнесс разгромя и высокие
фивские стены...

«Илиада», песнь II, ст. 688—691

Вчерашняя гимназистка-отличница Вика недаром уже два года как числилась в списках губернского жандармского управления по разряду возможно неблагонадежных. Жандармские сыскные, какими бы их идиотами не представляли позже в советских фильмах, даром хлеба не ели, или почти даром не ели. Впрочем, к вольнолюбивой гимназистке они относились осторожно: все же родитель ее не последний человек в городе. А потом, как в своем кругу пошучивали чины из управления, все-таки соседка! Что полностью соответствовало истине: дом Викиного семейства на Стародворянской левой боковиной дворового садика с яблонями и вишнями вплотную примыкала к боковой же, безоконной стене управы - трехэтажного краснокирпичного дома.

С точки зрения строгого исполнения закона Вику можно было, конечно, исключить из гимназии, взять под гласный надзор, ибо на все это «тянули» ее дела: листовки, участие в сходках, непозволительные разговоры и так далее. Но и жандармские ротмистры, и поручики прекрасно понимали: на дворе третий год кровопролитной войны, во всей империи неспокойно, а если строго подходить ко всем печатным статьям закона, то и всю Россию надо ставить под гласный надзор, исключать из гимназий, университетов... а как всех с заводов-фабрик и фронтов исключишь?

Но вот Николай Кровавый отрекся, его сменили «временные» говоруны, а в унисон с ними заговорилась, заболталась вся страна.

И в городе их, где основной народ — молчаливые работяги, и даже торговцы всех разрядов стрезву слово по рублю оценивают, тоже заговорили взахлеб и малограмотно, как выздоровевший больной. Поначалу Вика пришла в юношеский восторг: импровизированные митинги по всем общественным местам, мелкие чиновники и добропорядочные буржуа с красными ленточками в петлицах, без конца и без начала, то есть без смысла, ораторствующие приказчики из лавок, молодые мастеровые, демобилизованные по ранениям и контузиям солдаты в шинелях без погон, гимназисты старших классов, аптекарские провизоры, но более всего какие-то, непонятно откуда взявшиеся ловкие в движениях, быстроглазые, ловко накручивающие слово на слово людишки неопределенного возраста.

Но все же у нее были не то что просто умные, но очень разумные родители, ненавязчиво, чтобы не нарваться на молодой максимализм, в простых по логике, вроде бы сопутствующих репликах и пояснениях, раскрывавших еще малоопытной в практической жизни дочери связь событий и типичных характеров. От революционного энтузиазма они ее благоразумно не отговаривали. Помнили, что и сами в гимназические и университетские годы читали запрещенного Плеханова, эсеровскую и социал-демократическую брошюрную литературу... И еще они хорошо понимали: это не 900-е годы, не девятьсот пятый; нынешняя сумятица обернется коренной ломкой всего уклада жизни, все встанет с ног на голову, да и головы у многих не удержатся и полетят...

Постепенно Вика научилась разбираться в фигурантах всеобщего говорливого вдохновения. А будучи начитанной девушкой, с унаследованной от отца методичностью сопоставляла все происходящее, мелькающее как в калейдоскопе, с историей Французской революции 1789-го года, особенно с книгами любимого ею Томаса Карлейла. И отец все так же ненавязчиво подсовывал из своей солидной библиотеки тома Мишле в тисненных золотом переплетах муарового шелка.

...И пришла к несколько разочарованному выводу: даже в лучших своих устремлениях основная масса народа глубоко пассивна и в своих непритязательных запросах совсем недалеко ушла от го-

родского плебса Древнего Рима: хлеба и зрелищ, желательно кровавых. А еще лучше неразбавленного вина* с приложением непритязательных женщин. Истинных энтузиастов дела можно по пальцам пересчитать, причем и они подразделяются на две группы: идеалисты, к числу которых она самокритично причисляла себя, и прагматики-коноводы. Самое же малоприятное открытие: среди всех этих категорий, исключая выраженных идеалистов, достаточное число держало нос по ветру, проще говоря, в любом деле, даже самом судьбоносном для страны, искало свою выгоду, даже если под выгодой подразумевается просто понятное желание выжить.

Все это немного охладило ее революционный пыл, все больше сидела дома за чтением книг Мишле и Карлейля, по вечерам разговаривала с отцом и матерью. Две-три подружки, совсем недавние гимназические одноклассницы, часто приходили к Вике. А с бесцензурной теперь полевой почтой приходили письма от Андрея и Юрия: советовали готовиться к очень важным, решающим событиям. Рекомендовали сестре держаться поближе к большевикам или левым эсерам. Она и так уже полгода как иногда ходила в клуб «Земля и Воля», что на Пятницкой улице, где собиралась городская секция учащихся левых эсеров-интернационалистов. А ее двоюродный брат по матери, недавно вернувшийся из Москвы, где учился в Высшем коммерческом училище, пару раз водил ее в комитет РСДРП на Железнодорожной улице. Там часто упоминали связного ЦК партии, иногда наезжавшего в город Дмитрия Ильича Ульянова, но встретиться с ним Вике не довелось.

К началу осени семнадцатого года в городе поутихло: то ли общий энтузиазм на спад пошел, или активизировавшаяся полиция с расквартированной в городе сотней донцов отпугнули? — Но скорее всего, все замерли в ожидании развязки, логического завершения уже начавшегося очередного русского бунта. Здесь Вика сразу вспоминала известные слова Пушкина...

---

* В античном мире вино (естественно, сухое АЛК 9...11 град) пили разбавленное водой в пропорции 1:1. Только самые запьянцовские римские мужики употребляли неразбавленное. Сказать про человека, что он пьет чистое вино — это все одно, что сейчас заклеймить: алкаш и пьянь беспробудная!

* * *

В советское время, когда Виктория Ильинична произносила в своих разговорах-воспоминаниях «октябрьский переворот», то тут же поправлялась: «...То есть Октябрьская революция, Лерочка». И словно оправдываясь, поясняла, что-де так официально — в газетах, по радио, с высоких трибун — революция и именовалась до конца двадцатых годов, а потом для поднятия статуса переворот переименовали в Великую Октябрьскую... и так далее. Очевидно, по образцу Французской революции 1789-го года, поясняла она внучке-школьнице. Но когда горбачевщина перешагнула после скандального съезда народных депутатов через все формальные каноны и табу, то явочным порядком демпресса обратно переиначила революцию в переворот. Но теперь и Виктория Ильинична принципиально перестала оговариваться, именуя революцию только полным четырехсловным титлом.

И здесь уже очень даже взрослая, почти тридцатилетняя Лера отметила, сопоставив некоторые черты всех трех женщин в доме, что их роду вроде как наследственно свойственно очень редкое для дамского пола качество. Она не могла поначалу четко и конкретно, как то делают умные мужчины, дать определения этому качеству и обратилась к бабушке. Та рассмеялась:

— Это, Лерочка, по-книжному именуется нонконформизм. Действительно, качество несколько вредноватое, даром что мужское, а их хлебом не корми, но дай чем-либо выделиться. Вот и этот самый нонконформизм, то есть не петь в одном хоре, когда все поют, но давать петуха после того, как все замолчали. Вот и у нас так, как бы мы не самооправдывались. Также и с моей переворотной революцией. Но запомни, милая, что это украшает женщину либо в молодости, либо же в моем почтенном возрасте, а в промежуточные лет тридцать-сорок или поболее его лучше скрывать. По крайней мере вне дома. Это все хорошо по себе знаю. И всякие там тоталитаризмы, как лопочет пятнистый Миша-Майкл с телеэкрана, здесь ни при чем. Просто мужчин в нашей сестре это «шаганье не в ногу» почему-то сильно раздражает. Но

в молодости это раздраженье любовь пересиливает, а в старости и раздражаться некому, увы, у мужиков жизнь труднее, и до мафусаиловых лет только немногие дотягивают. Увы и жаль. Со временем сама все поймешь.

В школьные годы Леру мало интересовали политкорректные уточнения бабушки, но уже умом подрастающей женщины, будущей женщины, она и сама невольно начинала подмечать семейные черты, тот же нонконформизм, только другими словами, немудреными. И некоторые другие. Но опять же не выходя за женские рамки логики. Так, учась в десятом классе, посмотрела она со вниманием по телевизору двухсерийный фильм «Васса» по пьесе Горького — может потому и посмотрела, что на дворе был самый классический, преотвратный вечер позднего ноября, то есть с полным набором холода, дождя вперемежку с липким снегом, черными голыми стволами и ветвями тополей и каштанов в «Дусином» дворе дома, предельно унылыми фигурами редких прохожих, даже на центральных улицах города. Все это хорошо наблюдалось из окон их большой квартиры: гостиной с видом на проспект и кухни, смотревшей на двор.

К концу второй серии подоспела и бабушка, затемно вернувшаяся с какого-то партийно-хозяйственного заседания. Тут, что называется к слову, Лера и сообщила ей: ты, мол, бабуля прямо-таки Васса Железнова. Начитанная профессионально Виктория Ильинична удивленно подняла углом брови:

— Это с какой-такой стати, Лерочка? Вроде как тебя от матери не прячу в деревне за тридцать пять верст, как Васса Борисовна Колю от своей невестки-революционерки Рашель?

— Бабушка, я не в пятом классе уже, не о сюжете говорю. Характер у тебя очень даже властный.

— И тебе, или моим трем дочерям, зятьям тож от этого очень уж плохо?

— Да нет,— юношески досадовала Лера,— дело не в том, плохо или хорошо, просто властность так от тебя и пышет, а в чем-то мама и тетки тебе подражают... не с тобой, конечно, а на меня, сама знаешь, где сядешь, там и слезешь!

В общем в тот вечер договорились млад и стар до логического конца по-женски: каждый остался при своем мнении, но втайне Виктория Ильинична даже погордилась наблюдательности любимой внучки. «Эх, времена,— подумалось ей,— вот бы с таким характером да в гущу революции!» А Лере, притворно признавшей правду бабушки, легко перепала шоколадка, принесенная лже-Вассой. Вообще в малые детские годы, уловив связь между выдачей шоколадок и словами бабушки «опять собрание затянули на четыре часа», Лера искренне была убеждена: собрание — это где совсем взрослым людям беспрерывно раздают шоколадки от имени таинственной и доброй *партии*. Очень она зауважала эту партию; уже взрослой женщиной, слыша или читая это слово, невольно делала глотательное движение, какое обычно если шоколадку не хрумкать, а по квадратикам долго-долго елозить языком по небу, а потом сглатывать. Однако, когда с началом горбачевщины число партий в стране неимоверно увеличилось, а стократ и их изустное и печатное упоминание, уже не то что взрослая, за двадцать пять лет, а «начинающий перестарок» по добро-грустным словам бабушки, ассоциировать некогда заветное слово с шоколадкой перестала.

Впрочем, как теперь она припоминала, если приходилось эту самую шоколадку есть, даже чуть раньше эта некогда замечательная ассоциация прервалась, а именно во время учебы в *МГИК'е*. Во время весенней сессии предпоследнего курса, сдав самый «забойный» экзамен по режиссуре, сборная солянка из нескольких групп их факультета отмечала это благое дело, а заодно и окончание сессии на почти роскошной даче близ Звенигорода. Имя владельца ее было на слуху в околотеатральной столичной среде, но распоряжались и верховодили вечеринкой-ночевкой какие-то другие люди, тоже вроде как из этой среды. Лера, уже пообвыкнув со столичными порядками в сложной смеси ресторанных лабухов, вечных студентов из артистических и литературных семейств, почти явных полубогемных проституток, фарцовщиков и малоудачливых кино- и телеактеров, давно перестала по-провинциальному интересоваться: чья дача или квартира, да где папа-мама?

В этом кругу, каким-то боком затянутом и в сторону их

института, Лера имела устойчивую репутацию «давалки по настроению»,— как ей периодически сообщали, подтверждая это, в общем-то почетное, реноме, московские подружки-однокашницы. Потому и не терпела, как истинная мажорша (термин бабушки), когда в подобных ситуациях дачных или квартирных посиделок к ней начинали грубо липнуть лохматые недоросли «с папиными именами» или спецы по молоденьким дурочкам-провинциалкам — доценты из *МГИК'а* и *ВГИК'а* или второразрядные актеришки. Вот такой-то и нацелил на нее свои блекло-радужные гляделки на той звенигородской даче. Лера скоренько его отшила и с последней электричкой вернулась в Москву, но тот, зорко подметив ее детскую манеру растаивать шоколадку на языке, мигом скинув с себя после резкого отказа нарочитое джентльменство, съязвил: дескать, манера эта ваша, сударыня, невольно выдает пристрастие к французской любви... Доцент был из их института, поэтому Лера, чуть подумав, решила половинкой еще не съеденного торта в него не бросать, только заметила, выходя из гостиной: «Ну-у, это вам, Эдуард Арсентьевич, лучше знать по причине вашей, как говорят наши девушки, мужской слабости. Так что, малоуважаемый педагог, рекомендую поменять, так сказать, жизненную ориентацию. И все будет как в шоколаде!» Дверь она затворила под общий хохот.

На следующую сессию она опасалась мстительного Эдика, тем более за ним числился зачет. Однако, приехав в Москву и зайдя в институт, была она приятно удивлена и несколько озадачена: фамилии Эдика-приставучки в расписании не значилось, а все, как один, молодые преподаватели и даже студенты, четыре года оказывавшие всяческие знаки внимания умной и красивой Лере, на сей раз как-то торопливо, на ходу коротко здоровались и даже чуть отскакивали вбок, словно обегая чумную заразу. Она даже отошла в уголок, вынула из сумочки зеркальце, внимательно рассмотрена лицо: нет, вроде все в полном порядке...

Но уже через четверть часа московская одногруппница Стелла огорошила ее и расставила все по полочкам:

— Ой, Лерок, а я все тебе собиралась позвонить, но летом со своим погорелым театром на гастролях проторчала, а потом роман закрутила с женатиком, докрутилась до аборта...

— Подожди, влюбчивая ты наша, куда Эдик провалился и почему от меня все шарахаются как черт от ладана?

— Так я и собираюсь тебе все рассказать. Эдик-то-приставучка вроде как тронулся, переметнулся в педики и ушел референтом к начальнику главка в Минкультуры, известному любителю мальчиков... в возрасте до сорока лет и чуть выше. Ну, бог с ним, дело хозяйское; в каждом театре половина таких. Но вот о тебе кто-то слух распустил, что ты его сглазила на той, звенигородской вечеринке! И вообще, говорят уже все, что ты из семьи с родовым колдовским занятием, бабка твоя главная по этой части в вашем городе. И ты у любого мужика, что попробует к тебе приставать, запросто можешь евонную гордость в позицию вечного «полшестого» перевести. Лер, а что — правда это? А то мне надо этому чертову женатику отом...

— Не будь дурой больше чем есть,— перебила Стеллу интеллигентнейшая Лера, пустив безадресно крепким матерком, опять же невольно копируя бабушку, которая, в свою очередь, научилась столь народному общению в годы своего комиссарства.— Бабушка у меня заслуженная революционерка, чуть ли не со дня рождения в *нашей* партии и историческая профессорша с марксистско-ленинским акцентом. Какая из нее может быть колдунья? Не мели чепухи.

Чуть подумала отошедшая от новости и явно повеселевшая Лера, потом и вовсе рассмеялась:

— Слушай, подруга боевая, женатику твоему, будь даже колдуньей, ничего бы не стала зловредного делать: во-первых, ему семью, ячейку общества, надо увеличивать; во-вторых, он же не утаивал, что женат? Вот видишь, значит вини только себя и не используй сомнительные польские таблетки от Вальки-фирмача. У меня вот есть знакомый фарцовщик, это у нас в городе, да ты его знаешь — Женька, он в Москве часто бывает, как-то пару лет назад мы с тобой в «Метле», вспомни? — И он там оказался по делам... Так он мне рассказывал, что всю эту «оралку» мимоаптечную в Одессе делают: витамины в самопальную упаковку пересыпают и все дела. Ты вот что... я на выходные домой поеду и от знакомой фармацевтши привезу тебе пару упаковок настоящего

снадобья, а ты, пожалуйста, пусти контрслух, мол, Лерка дала зарок больше мужиков не импотентить, а наоборот — переучилась у своей бабки-знахарки и теперь может понравившихся ей мужиков делать секс-машинами, про которых «*Бони-М*» уже под десяток лет распевают!

— За обещанное спасибо, дорогая, а насчет мужиков зачем? Тебе-то и так и хватает.

— Для интереса; хочу проверить для саморазвития — когда мужик дурнее и доверчивее: если боится или надеется?

* * *

Приехав в субботу домой, Лера прямо с электрички заскочила в аптеку недалеко от вокзала, где работала ее одноклассница, теперь учившаяся заочно на фармацевта, прошла с ней в служебку, обменяла купленные под патронажем Стеллы модные итальянские колготки на пару коробочек таблеток и только потом на троллейбусе помчалась домой; что-что, но качества обязательности и собранности она унаследовала, почти минуя мать, прямо от бабули. А вот на вопрос проголодавшейся с дороги внучки, потому и заданный в перерыве между борщом и фирменным бабушкиным же омлетом с мелко порубленным куриным мясом и распаренным черносливом, Виктория Ильинична почему-то задумалась и повела глазами по кухонным стенам, словно ища взглядом иконку, а быть может поясной портрет Карла Маркса:

— А-а что, почувствовала в себе какие способности к ворожбе или еще чему антинаучному?

— Да нет, так... девки в институте дурачатся. Бабуль! Ты не мямли там про себя, не пришептывай, не качай раздумчиво головой; ответь прямо, по-революционному: имелись в роду колдуны-знахари или нет?

— Я, Лерочка, не мямлю, а все же профессорша и отчасти приближенная к психологической науке: нестыковка ведь получается!

— Какая, бабусь, нестыковка! Ты о чем?

— Вот я и говорю: нестыковка. Не думай: мол, совсем ослабела головой, старая, фольклорные сюжеты из четвертого тома

Афанасьева* перебирает.. Нет, тут дело в другом. Мама моя рассказывала — сама я свою прабабушку, конечно, не застала,— что ее прародительница еще не купеческого звания была, но из заволжских крепостных крестьян, даже вроде как из староверов. Я это давным давно уже забыла, да вот ты напомнила: да, и была она после овдовения профессиональной, как бы сейчас сказали, знахаркой, лекаркой деревенской и даже вроде как колдуньей. Во всяком случае их приходский поп отпевать ее отказался...

— Ну, значит есть у меня, то есть у нас с тобой колдуньи в роду? Какая же здесь нестыковка?

— А такая, внучка, что по всем законам психологии, физиологии и генетики особые склонности и способности передаются по наследству через поколение; отсюда и выражение: природа на детях отдыхает! Не на внуках, а именно на первом послепоколении. А здесь считай сама: способность к ворожбе и прочему чародейству должна была бы по этому закону проявиться у моей мамы и у твоей. Между тем, прекрасно зная обеих, а Инну и двух твоих теток и вовсе самолично родив и вырастив, ничего в них даже близкого не находила и не нахожу. А вот, признаюсь все-таки тебе, раз речь такая зашла, что нечто замечала за собой в молодые годы, но революции, войны и индустриализация с коллективизацией, а более всего парткомы с райкомами самодисциплинировали. Да так самодисциплинировали, что Нечистый, который по поверью у колдуна за левым плечом тенью ходит, в ужасе бежал...

— Да-да, я уже от тебя что-то похожее слышала: бежал черт, чтобы партвзносы не заставили платить. Вот чувства юмора у тебя не отнимешь!

— А ты сама без юмора проживи почти век. Нет, я уже на серьезный лад настраиваюсь. Значит все же и в тебе что-то этакое проявилось, хотя ты и открещиваешься. Значит где-то между моими прабабушкой и бабушкой законы биологии дали сбой, вся чрезпоколенная наследственность сдвинулась на одно колено вперед. Бывает...

---

* Четвертый том собрания русского фольклора А. Н. Афанасьева содержит пословицы, поговорки и пр. о церкви и ее служителях и их антиподах — нечистой силе (издавался «Для служебного пользования»).

— Бабуся! И ты, член партии с Куликовской битвы, веришь во всю эту чертовщину! Еще сознайся, что свою научно-партийную карьеру делала внушением райкомам-обкома... ой, что я говорю, извини, бабулечка, без умысла и не со зла — от глупости.

— Ладно, Лерочка, проехали. Внушение — не внушение, а вот предчувствие никогда не обманывало. Вот и когда дед твой Василий Игнатьевич, с которым мы и прожили-то всего десять лет вместе, а два военных года и не виделись, погиб в сорок втором под Воронежем*, командуя дивизией, то мне все это в ту же ночь с подробностями приснилось. Потом, в середине сорок третьего проездом был у нас в городе подполковник Трофимов, его сослуживец и очевидец гибели, все так же рассказал как мне привиделось. И вот твои родители вместе тоже столько же прожили; опять у меня точное предчувствие было... ладно, внученька, об этом не буду. Вот ведь какая я бесчувственная, до слез тебя еще доведу. Что ж ты поделаешь, не живут у нас мужчины долго: то война, то авария... Уж лучше ты замуж не выходи, а мужики мимо тебя и так не пройдут. Ведь это самое тяжкое — привыкнуть к мужу, во всем сродниться с ним, а потом целый век одной куковать. Господи! Как это тяжело.

Вернувшаяся с работы Инна Васильевна, увидев зареванных мать и дочь, даже не задав ни единого вопроса, присоединилась с ним.

...Возвратившаяся с сессии Лера обнаружила на письменном столе в своей комнате стопку книг по научному объяснению явлений экстрасенсорики и парапсихологии, которые затем в течение месяца с интересом читала.

По всей видимости, Стелла выполнила поручение подружки на «пять с плюсом», ибо все нормальные студенты и молодые преподаватели института сделали Леру центром внимания и восхищенного обожания. Причем безо всякой назойливости, нахальства и прочих атрибутов «бури и натиска»: достойно, предупредительно-вежливо, по-джентльменски, без ухарства. И она потеплела душой. Но всякая медаль имеет обратную сторону, ситуация аверса-реверса:

* Западный фланг Сталинградского сражения, оборона Воронежа, где Красная Армия полностью уничтожила 2-ю Венгерскую армию.

теперь она уже просто не могла позволить себе никакой поблажки по женской части — положение обязывает! Хорошо до окончания института осталось совсем ничего.

* * *

Овсянка и яйцо без соли и хлеба — самая еда для полуюной бальзаковской женщины, как именовала Леру Верка-травести, по причине своей мальчишечьей фигуры добродушно завидующая всем «стопроцентным», то есть женственно-красивым актрисам театра. — «Самая еда для августа-месяца и расслабляющей домашней малоподвижности»,— уточнила про себя, явно копируя стиль бабушки с ее революционно-философской логикой, Лера и с заученной дисциплинированностью убрала со стола следы пуританского завтрака, помыла тарелку с ложкой, заварила в турке предотъездный презент полковника — загодя, еще вчера помолотую в ручной мельнице «арабику», чуть подержала смешную посудину с ручкой на самом малом газе, налила первую чашку.— Пила она по утрам строго две, по возможности избегая всякой быстрорастворимой дряни без запаха и, естественно, кофеина, а единственно уцелевшая за целый век революций и войн из богатого купеческого приданого бабуси — севрского сервиза кофейная чашка чуть не со школьных лет была «закреплена» за ней. «Ну-у, милая девушка,— часто повторяла Виктория Ильинична,— ты хотя с трудом переносишь мои рассуждения о генетической предрасположенности, но вот и еще одно подтверждение: моя-то мама уже в кондовом, так сказать, православии была крещена, но все ее пращуры из калужских старообрядцев-поповцев. То есть классические купцы — по Островскому. А у них эта дурь церковная до абсурда доведена была: каждый, даже в семье, ест-пьет из своей личной посуды. Так вот и ты с чашкой...»

Если обстановка не позволяла Лере улизнуть от бабушки после этих вводных слов, то приходилось выслушивать ее получасовую лекцию, построенную по принципу: начала за здравие, а окончила за упокой. То есть сначала с неистребимым временем и личными годами революционным пылом то обличала церковные

предрассудки, попутно на память цитируя Розу Люксембург, классиков пролетарского атеизма и особенно «Женщину и социализм» Августа Бебеля. Затем, видно вспомнив, что она не на митинге губкома, посвященном пятой годовщине создания Общества воинствующих безбожников пламенным революционером Емельяном Ярославским, мягчела голосом и выражением лица, что-де да, предрассудок этот — есть из личной чашки-миски — имел в прежние времена, когда отсутствовала гигиена и горячая вода на кухне, и свой положительный момент, особенно при эпидемиях холеры и других инфекционных заболеваний. «Конечно, своя зараза к своей же не прилипает»,— прерывала Лера бабушку, убегая с кухни или из-за свято соблюдаемого воскресного обеденного стола в гостиной комнате.

Грустно улыбнувшись теперь такому теплому, родному воспоминанию, Лера отпила пару глотков, рассеянно посмотрела через распахнутые половинки окна на пустоватый еще в этот час Дусин двор, повела глазами на боковую стену, к которой прислонился холодильник, а над ним пришпилен все того же тетрадного формата прямоугольник ватмана:

Не тешься,
товарищ,
мирными днями.
Сдавай
добродушие
в брак.
Товарищи,
помните:
между нами
орудует
классовый враг.

«...Интересно,— в бессчетный раз подумала она, впрочем, совсем отстраненно, по давней привычке,— неужели все же правда, что все эти революционные и дореволюционные футуристы-модернисты начали пользоваться стихотворной лесенкой потому, что тогдашние издатели платили гонорары построчно?» Как всегда, здесь

авторитетом была бабушка, пару раз бывавшая в Москве на публичных выступлениях Маяковского, а во время приезда поэта революции в их город где-то в начале двадцатых годов и вовсе имела беседу с Владимиром Владимировичем после выступления того вместе с Ассевым со чтением новых своих стихов в зале бывшего Дворянского собрания — на правах и по обязанности члена губкома комсомола. Попутно бабушка в который раз вспомнила, что и в Москве, в Политехническом музее, она слушала Маяковского так же бывшего в компании с Асеевым...

Опять же по порой надоедавшей Лере, особенно в юности, профессиональной педагогической привычке Виктория Ильинична любое свое воспоминание сопровождала дидактическими рассуждениями. Так и в этих рассказах: «Запомни, Лерочка, с людьми творческими, особенно с поэтами, лучше лично не общаться, а читать или слушать, так сказать, на расстоянии, отвлеченно от личности автора. Иначе весь настрой, впечатление будет принижено».

По ее словам выходило, что в тот приезд Маяковский был сильно простужен, а потому и зол. Да тут и коса на камень нашла: публика собралась разношерстная, преобладала интеллигенция и учащиеся, немало и девиц бывшего, но еще столь недавнего купеческо-мещанского сословия пришло. Поэтому когда явно температурящий, с красно-отечным своим хрящеватым носом поэт, прервав чтение и, вытащив из кармана клетчатый носовой платок, громко и тщательно засморкался, то в зале поднялся достаточно громкий смех. Скомкав злополучный платок и сунув его обратно в карман, Маяковский совсем разозлился и бросил в зал простудным голосом:

— Вам, граждане-товарищи, конечно, странно видеть, что воспитанный человек сморкается в платок, а не оземь бьет?

В зале зашушукались было, но попритихли.

Бабушка же четко разделяла революционное и художественное содержание стихов Владимира Владимировича; проще говоря, как понимала Лера, в изящной поэзии у выпускницы классической женской гимназии были явно другие кумиры, в том числе и не менее скандальные — тот же горячо ею любимый Игорь Северянин... Но — другие.

Видно и в беседе после выступления Виктория Ильинична даже по обязанности к революционному компатриотству она чем-то не понравилась Маяковскому. Сама бабушка рассказывала об этом сухо и коротко: «Всем нашим губкомовским дал по своей новой книжке-брошюре, подписав пожелание имярек, а мне только инициалы свои «*В.М.*» небрежно черканул и протянул не глядя».

...Видно и Виктория Ильинична не особенно дорожила этой книжкой, раз не сберегла ее:

«Должно быть кто-то из этих сумасшедших книгособирателей украл»,— равнодушно говорила она. Действительно, Лера помнила времена, кода в их гостеприимном доме много разного народа толпилось. Сама она подозревала в краже известного в городе книголюба Кириллова, чья нелепая смерть в свое время шумно обсуждалась в городе. Тот же раза два приходил к ним в квартиру что-то уточнять у Виктории Ильиничны в части раннереволюционных событий в городе — якобы по поручению редакции заводской многотиражки, в которой он вел раздел культурного досуга. Виктория же Ильинична, которой не понравились бегающие алчные глаза интервьюера, не поленилась в эту многотиражку позвонить. Узнав же, что там такого не знают, на третий приход Кириллова дала от ворот поворот, пригрозив милицией.

...И на прямой вопрос Леры об оплате стихов построчно в связи с «лесенкой» пролетарского поэта бабушка в целом отвечала согласительно.

* * *

Поумнев, Лера старалась не наводить воспоминания бабушки на все, что касалось гарнизонного Дома офицеров — бывшего Дворянского собрания. Понятно, что не в связи с тем простудным выступлением Маяковского. Виктория Ильинична не любила рассказывать о случившемся в новогоднюю ночь сорок третьего года. Только однажды, причем явно в поздневоспитательных целях, не одобряя увлечение двадцатилетней уже внучки буйноватым актером драмтеатра на амплуа первого любовника под сценическим псевдонимом Печенегова, она и поведала ту печальную историю.

Кстати, короткая связишка Леры с Печенеговым закончилась по ее инициативе из-за откровенного хамства избалованного женским вниманием непритязательных городских дамочек и глупышек-малолеток. Может и она сглазила — в свете генеалогических изысканий бабушкой колдовских корней,— а скорее и сам Печенегов совсем утратил от баб и водки с коньяком чувство реальности, но «попался» на несовершеннолетней с чиновным папашей. Вышел большой скандал; до суда благоразумный отец дело не довел, но след Печенегова в городе пропал тотчас и навсегда. До Леры доходили неясные слухи: то спился окончательно и не вылезает из ЛТП* в своем родном Смоленске, а Веерка-травести уверяла, что, «как тебя сейчас вижу», наблюдала Печенегова, точнее, его сильно потрепанную тень, в роли официанта в дешевом сочинском кабаке. Как она сама там оказалась — Верка умалчивала. Но в Сочи в тот год она действительно была с очередным «папашкой» на амплуа «гимназистки». А бабушка поведала:

— Остерегайся, Лерка, таких вот красавцев без царя в голове. Телесное удовольствие, что приличествует, конечно, твоему возрасту, ты и от приличных мужиков сколько хочешь получишь. А от этих... кроме — не дай, конечно, бог,— абортов и заразы всякой еще и душевную травму на всю жизнь заработаешь. Вот как с моей давней подругой. Ее уже два десятка лет как нет на этом свете, рано от болезней умерла, поэтому оттуда не обидится на меня, что тебе расскажу. Тем более что в свое время об этой истории весь город шептался, несмотря на военное время.

В войну люди таковыми и оставались, только горя и труда намного больше, чем в мирное время, а праздников, соответственно, меньше во столько же раз. Город наш, как сама из той же школьной истории знаешь, с декабря сорок первого стал устойчиво тыловым, но в последующие полтора года не в очень-то глубоком тылу, поэтому всякого военного народа много было: на переформировании частей, интендантские службы, на отдыхе при пересменке частей... Особенно много летчиков фронтовой авиации, что базировалась около города. Потому и они, соколы краснозвездные, были

* Лечебно-трудовой профилакторий; этот тот тип исчезнувших учреждений, что сейчас, судя по сообщениями СМИ, пробуют возродить.

первыми кавалерами на больших праздниках, что устраивались в Доме офицеров — тогда Доме комсостава.

У меня, понятно, и глаза от забот по работе и ожидании писем от Василия Игнатовича, да трех дочерей на руках — пионерского возраста — не в ту сторону смотрели, но молодки, особенно незамужние, так и висли на лихих ребятах с голубыми петлицами. Да и глаза-то у них, как на подбор и в цвет с петлицами, были синими, васильковыми. Как и гусары прежних времен, ребятки эти героические торопились жить, у них и за час вперед не было принято загадывать: сравняется вот сейчас число взлетов и посадок?

...А в ту новогоднюю ночь и вовсе наши девушки-женщины обомлели: такой красавец залетел? — В сажень ростом, голубоглазый, что называется в синюю искру, с есенинской каштановой шевелюрой, плечистый и мускулистый в ловких танцевальных разворотах, лицом красавец и в двадцать с самым малым лет уже с тремя орденами и звездой Героя! Самая наша обкомовская красавица, его однолетка Татьяна Лихвина, тогда ведавшая городским комсомолом, мигом в него втюрилась, совсем голову потеряла. Ну, думаю, может и потянется меж ними серьезное. А через пару часов отыскала меня в библиотечной комнате, куда, я от шума и веселья укрылась чуть всплакнуть о своем Василии Игнатовиче — под Сталинградом и Воронежем самые бои, и давно писем и звонков по обкомовской нашей связи нет,— так вот, вбежала в полной панике наша Татьяна: выручай, Виктория Ильинична, не знаю, что и делать! Уведи меня отсюда в обком... И сбивчиво рассказала: после второго танца летчик заговорил о вспыхнувшей к ней любви, ни на шаг от себя не отпускает, обнимает прилюдно. «Страшно мне, Виктория Ильинична, глаза у него какие-то бешеные стали, и выпил он много. Вот я и улучила момент, когда он к столу с бутылками и закуской подошел, и юркнула в служебную дверь зала».

Как могла — успокоила ее чуть и боковыми коридором и лестницей довела до гардероба. Только успели одеться — и он тут как тут с парадной лестницы сапогами грохочет. Мы в дверь, наружу, перебежали через улицу и к двери обкома, где я в войну заворготделом работала. А летчик за нами — сам саженный и такими же шагами, без шинели, с непокрытой головой нагоняет.

Пока на звонок дежурный милиционер нам дверь отворил, парень этот уже схватил Татьяну на плечи: «Со мной пойдешь, Танечка! Не отпущу тебя никуда». Здесь дежурный Митя, совсем молодой, по контузии на фронте в милицию попал, живо все сообразил, скоренько втолкнул меня и Татьяну, сняв с ее плеч руки летчика, а перед ним в проем двери встал: «Не положено, товарищ старший лейтенант», а сам все заворожено на звезду Героя на его гимнастерке смотрит. И даже поправился: «...товарищ Герой Советского Союза».

«Ах, меня? Меня? — Героя Советского Союза не пустишь, крыса тыловая!» Митя от греха утягивает на себя половину входной двери, уже почти закрыл, но тут летчик, продолжая бешено кричать о тыловых крысах, выхватил из кобуры пистолет и выстрелил в него. Мы с Татьяной в полуобморочном состоянии — не столько из-за страха, сколько от калейдоскопичности происшедшего и вида крови на гимнастерке осевшего Мити.

Вот так-то, Лера; а Татьяна потом всю жизнь мучалась, считая себя виноватой. Может потому и замуж так и не вышла, хотя до сорока лет на нее на улице даже молодые парни оборачивались.

— А чем дело закончилось?

— Дальше неинтересно. На выстрел бойцы из охраны обкома прибежали. Летчик в ступоре: стоит, сам не понимает, что сделал. Хмель на глазах из него выходит. Пистолет в руке зажал — даже пальцы побелели. Тотчас сообщили коменданту и второму секретарю обкома, первый накануне был вызван в Москву. Время военное. Танька в моем кабинете у меня на плече рыдает. А тут со двора заглушенный стенами выстрел. Нет больше лихого летчика, даже если и звезда Героя на его гимнастерке.

— Да, бабушка, не весело. Две совсем нелепые смерти в тылу.

— Почему две? А-а, ты про Митю думаешь. Нет, рана сквозной оказалась; летчики хорошо из пулеметов истребителей стреляют, а из табельного оружия опыта маловато. Уже через месяц снова на посту стоял, да так на всею трудовую жизнь до прошлого года, когда ему исполнилось шестьдесят, и остался в милиции. Последние двадцать лет, как мужик видный собой, в буде-

новских усах, что после войны отрастил, дежурил уже на входе в областное управление МВД...

— Да-да, видела, конечно, не раз, когда в спортсекцию на стадион ходила: все время по весеннему и летнему времени стоял у входа на улице прапорщик и курил.

— Ну да, дымить он мастер. Я с ним поболтать часто останавливалась. Сейчас с мая по сентябрь на даче пропадает, а в неурожайное время года смотрит телевизор вахтером в общежитии нашего института.

Главный редактор провинциального литературного журнала «Речные зори» Яцышен Андреян Макарьевич совсем отчаялся заинтересовать губернские власти полезностью своего издания для поднятия культуры и образования вверенной этим властям губернии. Вроде как все власти — и законодательная, и исполнительная — не отрицают этой полезности, но участвовать финансово в издании журнала все как-то не получается: администрация кивает на думу, а думцы, ссылаясь на укрепление вертикали власти, все на администрацию валят. Словом, круг замкнулся, никто не хочет помочь инициативнику Андреяну Макарьевичу. Ладно, власти, у них забот полным полно: как, не отвлекаясь на капитальное строительство и ремонт коммуникаций, что хлопотно, долго и не броско для высоких проверяющих комиссий, поскорее истратить спущенные сверху от нефтедолларовых щедрот. Но даже собратья-литераторы в лучшем случае не замечают журнала, чтобы, не дай бог, Яцышен не привлек их к редакционным работам, а другие и вовсе вредительством занимаются. Политико-эротический романист Сухариков пасквили на журнал и на Яцышена в заводских многотиражках тискает, а историко-порнографический сочинитель Омшанников все обижается: дескать, не упрашивают его опубликовать в журнале трехтомную «Песню о коршуне». И вообще какие-то явно клинические личности, члены писательского союза, надоедают.

Тяжелое это дело, современную литературную ниву возделывать!

По каким внешним признакам отличаются демократия и тоталитаризм? Конечно, сразу можно назвать резиновую дубинку: при тоталитаризме их нет, а начало всякой демократии знаменуется появлением оных; потому и расхожее их название — демократизатор. Еще заметнее второй признак: при тоталитаризме (СССР, Третий Рейх, социальное итальянское государство (САЛО) при Муссолини) в сезон из городов на село едут миллионы инженеров и рабочих: крепить продовольственную базу страны. При демократии, особенно в современном российском варианте, движение обратное: последние, еще не спившиеся и не совсем состарившиеся сельские жители любой ценой и возможностями бегут в города на заработки.

Мы не ставим здесь никакого политического или иного акцента. Пригласите марсианина, который не знает ни о коммунизме, ни о капитализме с фашизмом и так далее. Прокрутите ему реальные, не запиаренные кадры кинохроники и задайте тот вопрос, с которого начинается эта сентенция. Стопроцентная гарантия, что ответ будет аналогичным (см. выше). Как говорится, куда ни кинь — всюду клин.

Даже не в том дело, что люди бегут в города, но это стимулирует иждивенчество и потребительство и у остающегося коренного населения. Для примера слышанный в деревне разговор двух местных женщин:

— Тимофеевна, ты сколько седни грядок огурцов-то посадила?

— А я их и не сажала. Вот еще возиться с ними! Я в сезон их у Ахмеда куплю подешевле; он ими полгектара засадил, да еще у двух наших огородные наделы аряндует...

Глава двадцать четвертая.
МЕЛЬПОМЕНА И МУЗА ЭПИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ КАЛЛИОПА

Так изрекла; улыбнулся отец и бессмертных
и смертных
И, призвав пред лицо, провещал ко златой
Афродите:
«Милая дочь! Не тебе заповеданы шумные
брани.
Ты занимайся делами приятными сладостных
браков...»

«Илиада», песнь V, ст. 426—429

Но вот в чем бабушка не упрекала коварную природу наследственности, так это в «правильной», черезколенной передаче от нее самой к Лере приязни музы поэзии.

— В мое гимназическое время, Лерочка, стихи писали все, тож и в мужских школах; я имею в виду гимназии, городское реальное училище. Только епархиалки, поповские и купеческие, мещанские девицы, по своему домашнему обиходу и воспитанию привыкали смотреть на жизнь без романтических иллюзий. И я, конечно, к шестому классу уже имела две исписанные тетрадки: первая, как положено, про розы-морозы, а вот вторая — уже все на мотив «Варшавянки». Как мне и сейчас кажется, вполне приличные вирши были — для тогдашнего времени, моего возраста и образования-воспитания и всего прочего...

— Чего прочего, бабушка?

— Как тебе поскромнее сказать... судя по тогдашним же отзывам гимназических учителей-словесников и вообще людей пишущих, не только местных, но и московского круга общения, получается, что если бы продолжила это занятие уже в сознательном возрасте, то может мое имя и сейчас бы литературоведы в своих трудах упоминали как «поэта второго ряда первой четверти двадцатого века». Так они суконным своим языком классифицируют трепетные души поэтов.

— И что тебе помешало?

— Время такое было, что юность и молодость пришлись на эпоху еще более притягательного творчества: строительства нового общества, создание нового человека.

— Ну, это мы в школе проходили.

— Да-да, вы в школе, а я на личной практике. И чтобы «закрыть» вопрос, судьба решительно вмешалась. Вроде как уже рассказывала? — Ладно, повторюсь, память-то у тебя девичья. Где-то в самом начале *НЭП'а*, когда нашим горячим головам казалось, что все летит в пропасть нового буржуинства, что, пользуясь болезнью Владимира Ильича, Троцкий и Зиновьев рушат все дело революции... словом, и я впала в депрессию, несколько охладела к партработе, снова потянуло к стихотворчеству. Тогда-то разыскала на антресолях две те пухлые тетрадки, решила: перечитаю и начну третью. А так как чистоплюйкой была воспитана с детства, то решила повременить день-другой и отнесла в частную переплетную мастерскую. На другой день пришла: от домика переплетчика только труба печная торчит в небо да головешки дотлевают. Соседский народ толпится, лицемерно сочувствует, а в душе радуется несчастью несостоявшегося нэпмана. И поняла: то — указующий перст! Про стихи забыла усилием воли, вообще взяла себя в руки и на все время торгашеского, частнособственнического шабаша по направлению губкома уехала в Москву учиться на историческом факультете университета. Так-то!

— Да-а, жаль. А ты как-то показывала вырезки из старых газет со стихами революционными? Еще со смехом говорила, что твои, а там мужская фамилия стоит?

— Мои, мои — в губернской нашей газете. А такой псевдоним — это как у Жорж Санд, с виртуальной сменой полов. Когда товарищи по губкому, которые из образованных, и редактор газеты почитали мое, то все в один голос заявили: ты, уважаемая товарищ Виктория, девушка собой видная и партиец надежный, даром что из дворян-купцов, но направление и логика ума у тебя — дай бывший бог любому трезвомыслящему мужчине. Вот и стихи у тебя не женское лепетанье, но твердая установка и революционная беспощадность! А редактор и посоветовал псевдонимом подписываться.

...Да, права была бабуся насчет наследственности на сей раз. Лера, вспомнив давний рассказ ее, вышла с кухни, захватив вторую чашку кофе, а у себя в комнате из самого нижнего, заветного ящика письменного стола достала свою тетрадку, уселась поудобнее в кресле и начала перелистывать ее, не забывая подносить чашку к губам.

О, канцелярский стол четвероногий!
Покрытый лаком, все угодья в нем.
Он ночью пуст, но перегружен днем,
Как кабинет, ревизией встревожен.

Дела, отчеты, папки, календарь
И мысль... А голова, охваченная тленьем?
Нет, не унылым времяпровождением,—
Здесь Человек творит, а с ним и инвентарь.

О, двуединство — стол и человек!
Тебе хвала, Петром открытый век —
Параграфа, порядка вдохновенье!

Преград стремительной природе нет,
И вот ее сочувственный ответ:
И человек, и стол слилися в единеньи.

...И тихо рассмеялась десятилетней давности опусу. Тогдашний директор их театра, попавший на эту должность по партпротеже прямо из кресла, или как там у них в армии называется, замполита расквартированной в городе дивизии по выходу в отставку полковником, приступил к новому месту службы со рвением. Все понимали, что это ненадолго, ведь надо новому директору показать свою инициативность, а уже через полгода успокоится, не дурак, понимает, что директор в театре — это завхоз. Но когда он самолично указал Лере на недопустимость вне сцены носить юбку выше колен, то она и пустила по рукам свое язвительное стихосложение. Самое интересное: именно на нее никто не подумал, любопытствуя авторством. Действительно, вся в бабушку, по-мужски все в стихах получается...

Лера перелистнула пару страниц:

Начальный день отрезка бытия,
Тягучим словом названный «неделя»;
Когда проснешься, сам себе не веря,
А жил ли в времени прошедшем Я?

Но — жил. В течение седмицы дней.
Недобрым словом начат понедельник.
Не горький пьяница и не бездельник,
Я до среды жил, в общем, без затей.

Четверг — веселый, переломный день,
С утра улыбка прогоняет тень:
Ведь пятница — закатный день недели.

В субботу, банным паром размягчен,
Смотрю в окно на галок и ворон.
А завтра — глядь: семь дней и пролетели!

Судя по хронологии следования опусов в тетрадке — это того же времени. Полковник-директор угомонился и уже с непритворным удовольствием смотрел на замечательные круглые коленки Леры, а совсем тогда юную Верку-травести все норовил игриво ущипнуть за бочок. А судя по тону стихотворения — это всеобщая усталость в конце театрального сезона, а впереди еще гастроли в какую-нибудь Тьмутаракань! А главное — золотые женские года, словно недели, бегут и бегут, все ускоряясь. Хватишься — уже и молодые актерки по отчеству зовут...

Для всех людей спасительное знанье —
Себя самодостаточным считать
В пределах конуры иль мирозданья
И сонм заслуг из мелочей слагать.

А в жизни нашей цикле быстротечном
Седое Время набирает ход
И нам, гостящим в этом мире вечном,
Безжалостно приписывает год.

Ужель с годами свыкнемся с покоем?
Но, видно, так уж человек устроен:
Доступны и привычка, и покой.

Философов исканья, стратегемы,
Метания, вселенские проблемы...
Да ну их! Все проходит чередой.

...Все из той же оперы. Ан нет! Лера вспомнила: это после встречи с Геннадием. Она уже и забыла почти о давней шалости, но, столкнувшись лицом к лицу веселым морозным январским днем около входа в парк, оба — в унисон едва не первому за начавшуюся зиму явлению солнца — обрадовались. Чувствовалось, что Геннадия одолевает некоторое, непонятое ей смущение. Лера же на правах давней приятельницы взяла его под руку и уверенно повела в растворенные чугунные ворота, не поинтересовавшись: а куда он, собственно, направлялся? У нее же полный свободный день, ни утренних репетиций, ни вечернего спектакля. А мимо парка в этот полуденный час она неторопко возвращалась домой от Верки-травести, жившей на Железнодорожной. Та всегда умудрялась первой в театре ухватить раннюю гриппозную заразу. «Реже поклонников меняй!» — ворчала главбух, подписывая ей больничный, на что выздоровевшая Верка смеялась: «Так грипп — не венерическое заболевание». Теперь же шла на выздоровление и проболтала с подругой три часа кряду. Трепотня с любвеобильной подружкой всегда снимала с Леры душевный муар, коль такой имелся, и настраивала самою на игривый лад. И теперь в ней прыгала-скакала веселая сумасшедшинка. Сразу было настроилась позвать Геннадия к себе домой, где до позднего вечера никого не ожидалось: сама-одна. Но озадачивало явное смущение его. А Геннадий даже как-то невольно пару раз скосил глаза вправо-влево по дорожкам парка, словно предупреждая себя о появлении кого-то нежелательного здесь. Нес же всякую отстраненную чепуху о школьной своей тягомотине, увлечении философией и намерении перейти работать в институт... И, как показалось Лере, вроде ему мешала свободная рука. «А ну-ка, что тут у нас?» — засмеялась она и стащила с руки перчатку. Блеснуло на солнце новенькое золотое кольцо.

— О-о! Тебя можно поздравить? Давно?

— Да нет... вот, видишь, женился.

— Вижу-вижу. Чего тут смущаться? Дело житейское, все идет своим чередом. А нормального мужика наша сестра холостяком до двадцати пяти лет не оставит. Ладно, еще с полчасика погуляем, потом отпущу тебя к супруге.

В поэтических шалманах, горячительных мирках
Возлежали на диванах, восседали на коврах.
Пили пепси и иссинди, реже — вина и коньяк,
Распалясь, плясали-пели, попадая редко в такт.

Поначалу, лицемеры, обращались к N. на «Вы»,
Но не творчества проблемы занимали их умы.
И бубнил в углу дивана присмотревший «тет-а-тет»
Приглашенный и известный всей губернии поэт.

Все смешалось очень скоро: N. кричал, что он эстет,
И калил стрелу Амура бесом дернутый поэт,
А на кухне М. и М-у волновал вопрос измен.

Кто-то звал себя талантом, был захвален Мандельштам,
И цитировала Блока кто-то из сердитых дам:
Да, скифы мы, но также каждый — джентльмен!

«Дурную бабскую натуру никакой наследственной логикой ума не перешибешь!» — так подумала Лера, перелистнув тетрадную страницу и перечитав разухабистые строки, написанные через два дня после той злополучной прогулки в парк. Действительно, при чем тут Геннадий, к которому она давно никакого отношения не имеет? Ну, женился человек... А что — он должен был у всех, с кем по жизни хоть раз поцеловался или переспал, предварительно разрешения и благословения получить? Абсурд полный. Но домой она вернулась воинственно-злая, а когда ближе к вечеру, явно с подачи дохварывающей Верки-травести, заботящейся о хандрящей подруге, ей позвонил смутно припоминаемый местный писатель Омшанников, все напрашивающийся поставить в театре свою пьесу

автобиографического характера и платонически влюбленный во всех актрис сразу, она охотно согласилась принять участие в «литературно-артистическом междусобойчике», как отрекомендовал мероприятие сластолюбивый Дементий Анатольевич. Лера даже не поинтересовалась поводом вечеринки и через час вышла из дома, оставив на кухонном столе записку.

Сборище, где Лера обнаружила несколько своих коллег, включая главного режиссера, проходило в большом, старинном купеческом или дворянском доме с паркетом и изразцами. Чей дом? — Она также не поинтересовалась. Несколько удивив знавших ее, скоренько напилась, дерзила нахально-трусоватому с женщинами Омшанникову, пела на два голоса с литератором же Сухариковым песни о Сталине и Первой конной на музыку сразу всех трех (или четырех?) братьев Покрасс, даже пробовала панибратски массировать плечи скрюченному приступом — по погоде — артрита главрежу. Тот, несмотря на боль, все пялил глаза на ее коленки и все остальное и громкогласно хвастался, что совершил сегодня трудовой подвиг: добился «в верхах» статус-кво в отношении бюджета театра, который пытались уполовинить...

Лера уже на себя смотрела как бы со стороны и не удивилась, что мчится в такси с молодцеватым и черноусым «партайгеноссе», как он всем дурашливо рекомендовался, отвечающим, но не на первых ролях, в горкоме за культуру. Такси же довезло их до загородного обкомовского пансионата, а утром оба молча на вызванной черноусым служебной «волге» вернулись в город. Как ни странно, но Лера от чего-то отрешилась и успокоилась, а заговорщицки подмигивающему ей главрежу преподнесла сонет, который тот в целом одобрил, хотя и нашел его «выраженно бюрократическим».

Как измельчали темы у поэтов!
Огнем рифмоплетения пиит
Сгорает, но огня в творенье нет

И нет души. Сколь тошнотворно это!
«Воспой, о, Муза», подвиг неприметный*
Главрежа во спасение людей!

* «Илиада», песнь I, ст. 1.

Недугом скован, будто Прометей,
Он превозмог, добыл огонь заветный.

Он спас театр, нетленный дивный цвет,
От богоборца восприняв завет:
Нести огонь спасенья, счастье людям.

Твой подвиг молчалив, не для афиш:
Вновь жив театр, он дышит! О, услышь:
Хвала тебе, мы это не забудем!

«Отчего это вы, Валерия Игоревна, все сонетами пишете?» — поинтересовался главреж, которого артрит покинул, а потому благодушный и счастливый. Лера и сама этого не знала: может оттого, что бабушка выше всех поэтов ставила Петрарку? Опять эта наследственность...

Спокойствие и внутренняя веселость не покидали Леру целую неделю. «Как кошка после мартовской гулянки»,— морщилась она. Но ведь легче было? И от этой веселости тянуло на проказливые стихи, которые так и выпекались по вечерам из-под пера. Зачем-то довела до бешенства добрую бухгалтершу, через Веркутравести с ее больничными подсунув почтенной даме стишок:

Идейно-исполнительный бухгалтер
По коридору как-то проходил,
Но вздрогнул и, как вкопанный, застыл:
Там, на полу, потерянный бюстгальтер!

Не по-советски сшитый,— буржуазный,
Он намекал: предатель среди нас!
За шмотки, гнида, Родину продаст,
За лифчик белоснежно-гривуазный!

Как? Здесь? В стенах театра? Хозотдела?!
Диорский лиф продажная надела,
Душа змеи изменою полна!
Четыре дня велись у нас дознанья,
Полет ума и рвенья и дерзанья,—

Был пойман враг, Отчизна — спасена!

...Здесь Лера припомнила случай двухгодичной давности, когда добродетельная главбух искренне возмутилась, случайно наткнувшись в какой-то служебной подсобке на полиэтиленовый пакет с импортным бюстгальтером, видимо, кем-то припасенный для перепродажи и оставленный без присмотра. Она же связала эту находку со вчерашним сабантуем — отмечали наскоро чей-то день рождения — группы молодых актеров-стажеров. Она шумела на весь театр, пока ее не урезонил полковник-директор. Но и ему дернутая бесом веселой поэзии Лера припомнила давнюю попытку — при вступлении в должность — ликвидировать актерскую «черную кассу», а все нелегитимные расчеты вести через него, как человека, профессионально умеющего хранить любую личную тайну:

Содержит тайну каждая песчинка
(Прости — любимый образ мысли мой).
Пять- тридцать: не спеша идешь к пивной,
А на работе — тайна, не чудинка.

В чем тайны суть? Ты часто в размышленье?
Однако ж в мире тайн и полутайн
Ты с самого рожденья, почитай.
А участь тайноносца — поношенье.

Для тайны тот охрана из охран,
Кому язык не из болтливых дан,—
Его сыщи-ка в человечьей массе!

Вскричали все, единым был порыв:
Вот он! В молчанье он, как сотня рыб,
Кристально чист и предан «черной кассе»!

Лера посмеялась давним дурачествам, стараясь не вспоминать черноусого партайгеноссе, но не по самому факту той поездки в пансионат. По всей видимости, тот решил, что красивая актриса автоматически становится его «деловой» партнершей, потому был

взбешен, когда на его телефонный звонок ей домой — дом заприметил, отвозя ее утром на служебной машине и по фамилии нашел в справочнике, а может и главрежу позвонил — услышал явно перенятое генетически от революционной бабушки: «А пошел ты, кобель...! Еще раз позвонишь — заколдую, и будешь петь в хоре мальчиков-кастратов». Более всего партийца-культуртрегера отрезвил не мат-перемат, ибо артистическую среду он уже изучил достаточно, чтобы удивляться, а веселый голос Леры.

...Она никогда не ставила год написания, но по разнице степени выцветания чернил, то есть шариковой пасты (опять по привычке поправилась она мысленно), в записях явно имелся двухтрехгодичный перерыв:

Стояла ночь неясных побуждений.
В душе преступной сгинь или волнуй,
Украденный случайно поцелуй
С цветущей ветви, ветви наслаждений!

Сырой котельной бункер парохода,
А ночь пришла, беззвездна и темна.
Пылает сердце, мозг, и не до сна,
И душат растворившиеся воды.

Томленье страсти длится до рассвета,
И, верно, мудрость Ветхого Завета
Живет среди сырого бытия.

Грозу бы, ломаные пики молний;
Мольбу мою, внемли, господь, исполни!
Сними удушье, грозный судия!

«Ну, Лерочка, это ты прямо к Ивану Алексеевичу подобралась»,— похвалила бабушка, большая почитательница Бунина, которой Лера иногда читала свои нехулиганские сонеты. Внимательно Виктория Ильинична посмотрела на внучку, вздохнула. Лера все давно понимала без слов: «Когда же ты жизнь-то свою, милая, устроишь?» Иногда ей приходила мысль все кардинально поме-

нять, уехать в ту же Москву, куда ее давно звали многочисленные родственники — по братьям Андрею и Юрию бабушки. Действительно, что ее держит здесь:

Смурной и дымный город, пыль и скука,
И кактусы кирпично-грязных труб.
Его творя, господь был явно скуп.
Угрюмых фабрик ноющие звуки...

Сплюнь — всюду пыль тотчас в комок свернется.
Трамвая полный круг — под двадцать верст.
Он летом мертв, а зимами — замерз.
Поэту здесь работы не найдется.

Отравлена зеленая река,—
«Проклятый город!» — скажут без греха:
Плевать в колодец? Грязью не напиться!

Однако здесь живут под тыщу лет,
В открытках пишут: «Из NN — привет!»
А город будто облетают птицы.

Ведь до житейской привычки-застарелости еще далеко? Но что-то держит цепко, не все она взяла в жизни от этих мест. А что именно — здесь как «собака в квадрате»... кажется, так называлась пьеса сочинителя Омшанникова, что тот безуспешно несколько лет пытался свалить на их театр. Больше всего ратовала за постановку Верка-травести, поскольку по сценарию главной ролью полагался «голый чертенок неопределенного пола» — так стояло в рукописи в разделе характеристики персонажей. В применении же к себе Лера понимала собаку в квадрате, как нечто невысказанное, причем невысказанное по причине не столько отсутствия языка говорящего, сколько и побудительной мотивации к такой высказанности... И даже в кубе, поскольку Лера окончательно запутывалась, задавая себе этот вопрос.

Раздался звонок — на этот раз телефонный. Почему-то вспыхнула лицом, сердце явственно забилось чаще, она почти бе-

гом устремилась в прихожую, рывком сняла трубку, но уже через пару секунд раздраженно бросила ее на рычаги: какая-то парфюмерно-торговая контора устраивала экспресс-опрос... Зашла на кухню и доцедила еще полчашки совсем остывшего кофе, снова вернулась к заветной тетрадке.

Болеть Лера страсть как не любила. Даже одна из немногих в театра сама, еще до начала нудных увещеваний «сладкой» парочки главреж-директор, он же полковник в отставке, о необходимости делать противогриппозные прививки, чтобы не трепать всем же нервы бесконечными заменами ролей, шла в начале ноября в «обкомовскую» поликлинику, куда бабушка ее записала чуть ли не со дня появления на свет, на процедуру. Опасалась не общей эпидемии, а Верки-травести. Но, как невесело пошутила по поводу случившегося бабушка, кому суждено быть повешенным, тот не утонет. И вот восемь лет назад поскользнулась в гололед и сломала какую-то второстепенную косточку близ запястья левой руки. Уже на второй день боль прошла, а на четвертый она и вовсе лангетку сняла, одевая ее только для визита к врачу-травматологу. Тот же, видимо, желая подольше лицезреть красивую женщину, тем более актрису, держал ее на больничном целый месяц, чему она не препятствовала.

Время это она провела с пользой: внеплановый отпуск! Сама себя уговорила залениться, читала и перечитывала все свои любимые книги. Как-то сами собой полились строчки стихов. Бог-то шельму метит, но, видно, стихотворцев уважает, потому, наказывая Леру за какие-то грехи, оставил ей правую руку исправной...

Кумир мой добрый — Игорь Северянин.
Его поэзы в памяти лежат.
Они скандалят, дразнят и... грустят.
Он — музы господин и полонянин.

Искусство покорив шестью томами
Напетых небом, улицей поэз,
Из благ земных не сделал он протез,—
Бродя в стране поэзии ночами.

Здоровый русский дух в век катаклизмов
Под лозунгом эго- и футуризмов
Он выплеснул, иронии дитя!

Ненужной стала маска Шантеклера.
«Стареющий поэт» с особым флером
Он написал, совсем уж не шутя.

Северянина Лера читала по прижизненным изданиям его книг, а одна из них была с автографом короля поэтов: «Юной Виктории: победи жизнь!». Бабушка очень гордилась, что в тринадцать лет хотя и мимоходом, но разговаривала с Северяниным, на выступление которого ее возил в Москву брат Юрий, каким-то боком с ним немного знакомый. Рекомендуя еще восьмикласснице Лере почаще перечитывать поэзы Северянина-Лотарева, как была подписана та книжка, бабушка, правда, оговаривалась: «Читай не вразброд, листая, а последовательно по годам. Тогда проследишь весь путь становления из великолепного стихотворного хулигана выдающегося русского поэта». И, чуть помедлив, добавляла: «К сожалению, не ставшего поэтом советским. А жаль».

Много о чем жалела бабушка, а будь сейчас жива, так для нее повторился бы кошмар НЭП'а, только многократно усиленный. А всего хуже, полагала Лера, что на этот раз и в Москву учиться в университете, пережидая сумятицу, поехать было бы ей нельзя: во-первых, в столетнем возрасте учатся в Америке, чтобы в книгу Гиннеса попасть; во-вторых, бабушка и так все на свете знала, исключая точные науки.

И круг чтения школьницы Леры как-то ненавязчиво бабушка определила. И так определила, что в часы и дни ничегоделанья, как в тот «больничный месяц», Лера предпочитала модным новинкам общение с староизданными книгами, которых бабуля все же много сохранила, несмотря на революции и войны, как она любила повторять. Причем книги классиков по-преимуществу были представлены изданиями типографий А. Ф. Маркса и С. О. Вольфа и многотомными собраниями сочинений — приложений к «Ниве». Самое интересное, что почти все эти классики имелись в доме и современного издания 60—70-х годов, когда Гослит полумиллион-

ными тиражами утолял читательский голод страны, заодно породив и эпидемию «книгособирательства». Опять на память пришел идиотизировавшийся на этом деле Кириллов...

Не менее любимого, чем Северянин, Лескова Лера, понятно дело, читала по изящно переплетенному «нивскому» изданию, но постоянно держа в зрительной памяти первое и последнее современное издание в одиннадцати томах в очень интересном оформлении. Она так и назвала сонет «Н. С. Лесков. Обложка»:

Оттенком красным книжный том тисненный.
Обрез пульверизован крапом был,
Как будто кто с усердием помыл
Щербатый пол, лениво подметенный.

Могучий бас диакона Ахиллы,
Жизнь гостомысльских баб — тисненья рябь,
И плотная Елецких улиц хлябь,
И «Странник», что чарует с дивной силой.

Левша творит, и жар пылает горна.
Жизнь в захолустье тихом непроворна.
В столицах — «Нигилисты» «На ножах».

Тебя полсотни лет читали в «ятях»,
Но, поумнев, решили все же снять их,—
Без них читаем будешь ты в веках!

Как все же тесен мир во времени и в пространстве! Может, и интерес к Лескову у Леры, с детства полюбившей семейные воспоминания бабушки, во многом объяснялся — опять же из ее рассказов — тем, что дед Василий Игнатович, погибший под Воронежем от мадьярской пули комдив, был родом из орловских однодворцев, давно уже забывших о былом своем служилом дворянстве, и являлся дальним родственником Николая Семеновича.

Понятно, что и Кнута Гамсуна, всемирная известность которого пришлась на старшие гимназические годы бабушки, Лера перечитывала все по тому же «нивскому» изданию, заодно вспоминая,

что имелся у них некогда и двухтомник выдающегося норвежца — опять же первое советское издание. Но тогда же, а Лера еще школьницей была, случился казус. Из-за обилия книг в доме стеллажи занимали одну из стен прихожей. И как-то проводив большую группу гостей — отмечали по-домашнему 75-летие бабуси — наутро обнаружили, что на этих стеллажах вместо двухтомника зияет аккуратно очерченная соседними книгами пустота... Виктория Ильинична дознания вести не стала, но тотчас нашла логико-психологическое обоснование: дескать, в интеллигентной среде, где и копейку украсть — преступление перед всем миром и, главное, собственной рафинированной совестью, но на книги это подсознательно не распространяется. Она привела попутно массу примеров из ближней и дальней истории, закончив цитированием психологов Карла Густава Юнга и Ломброзо. Попробовала было связать и с учениями Лебона и Фрейда о массовом психозе и помешательстве, но Лера опаздывала на первый урок и не дослушала. Кириллова среди гостей не значилось, поэтому хоть на сей раз его не помянули всуе...

«Нивские» книжки печатались тетрадями, которые затем подписчики журнала складывали в тома и переплетали по своему вкусу. При этом рисунчатые обложки тетрадей переплетчики обычно срывали и выбрасывали. Но в бабушкином экземпляре таковые сохранились — видно мастер в переплетной мастерской обладал тонким художественным вкусом:

До горизонта тянется фиорд
И ломаная цепь нагих березок,
Скрученная в бореях и морозах.
Тяжело дышит стужей синий норд.

Над фьордом, над пучиною седой,
Вцепившися в березы ствол крученый,
Куда-то смотрит викинг, удрученный:
Невзятою добычей иль бедой?
Могучий стан, а волосы в косу.
Бедна одежда, но несет красу
Узор рубахи ромбом у норманна.

Лихою славой он овеян был;
Приник к скале и навсегда застыл.
Он и скала. Два гордых великана.

Перечитала Лера еще несколько своих стихотворений о любимых авторах Волошине и Бальмонте, Оскаре Уайльде и Бунине.— И подобралась к «черной полосе» своей тетради. И здесь время точно помнила: ровно за год до рождения Маши, когда и вся-то ее жизнь стала казаться напрасной и бессмысленной. И сейчас думала: не будь той случайной встречи с Геннадием, не родись «незапланированная» дочь — что бы с ней было? Лучше и не вспоминать ту полосу жизни. Какой-то ступор душевный тогда настиг ее, даже разговаривать с кем-либо не хотелось, потому и вылилось в стихотворный апокалипсис.

Когда писать не хочешь — не пиши,
Коль скоро нет в тебе стихопорыва;
Не мучайся неискренним надрывом
В отсутствие томления души.

Затасканную рифму не терзай,
В сто лет полуживую потаскуху;
Раз нету вдохновения — по суху
Не волочись и не надоедай.

Тебя не ждет нанятый грузовик,
Под мебель подряженный ломовик,
Не платишь ты «простой» стиху, поэме.

Пока ж займись соленьем огурцов,
Посуду перемой, в конце концов,
И, может быть, тогда ты будешь «в теме».

Увы, это было бы слишком просто: не говорить, не писать и солить капусту. Все же тридцать лет — не пятьдесят, не шестьдесят. И не уродка убогая, а счастья не было и нет? Особенно тя-

гостными казались выходные дни: куда-либо идти никакого желания нет, дома пустота: кошка Машка спит по дождливой хмурой погоде, мать в своем культпросветучилище пропадает, а бабуля, только что встретившая начало десятого десятка, как-то сразу сдала, все лежит в своей комнате, дремлет. Включила телевизор, а там по дневному, «не рекламному» времени тупая голливудская фантастика или популярные лекции по астрономии...

Взрыв пустоты (сверхразряженный вакуум),
Забегали спиральные миры.
Вселенная пролитым в воду лаком
Вся растеклась на зыбкие шары.

И поле уравнений гравитации
Переместило линии орбит.
Спокойной быть иль просто ужасаться?
Планетный комплекс — вдребезги разбит!

Шипят в безумье дьявольском кометы.
Апокалипсис. Мы давно отпеты:
Нет веры в нас ни к Канту, ни к Христу.

Но гелий синтезирует Ярило
И теплым светом дарит, как дарило,
Чтоб каждый май лес надевал листву.

Вроде и весна, а облегчения нет. И лето не приносит даже обманчивой радости очередного воскрешения жизни. Вот и бабусю милую похоронили — опустела квартира. Даже в своей и матери речи наблюдательно отметила Лера: если раньше говорили, не задумываясь: «наш дом», то теперь — «квартира». Все верно. Атмосферу своего дома создавала бабушка, а ушла она — осталась только бабушкина квартира: как говорится, де-юре... И де-факто никуда от этого не денешься. На сердце уже непроходящая тяжесть, на улицу хоть и не выходи: ко всегдашней серости исконно пролетарского города добавилась мерзейшая торгово-спекулятивная колготня; все неряшливо, крикливо, скороспело — наспех.

На сердце будто брякнулся сундук,
Тяжеловесным грохотом набитый.
В груди ладонью ощущаю стук,
Отчаяньем и болью перевитый.

Так чувствуешь всегда себя с утра
В асфальтовом и дымном людосборе.
В своем природа мщении мудра,
И населяют город гарь и горе.

В трамвайной давке каждый изнемог,
И только запах зелени помог,
Что на базаре покупают бабки.

Вздыхает город в душном полусне;
Пылит кустарник тусклый; в стороне
Брезгливо кошка отряхает лапки.

Бабушка все перед смертью библию читала, смирив революционную гордыню. Книга староизданная, тяжелая, а потому она полусидела в постели, опираясь спиной на пару вертикально прислоненных к спинке подушек, положив десятисантиметровой толщины том на колени. «Прямо как на картине «Некрасов в период «Последних песен»,— силясь скрыть слезы, горько думала Лера, помогая бабусе поудобнее устроить книгу.

Оставшееся от него наследство —
Истлевшие пергамента листы,
Слов арамейских тесное соседство,
О благе человеческом труды.

Напрасно виноградники садимы:
Минует все, все суета сует.

А мысли о богатстве — те судимы,—
За это после, там, прощенья нет.

Израиля унылый пессимист,
Ты в скорби ясен, честен, прям и чист,
Зари людской высокое мышленье.

И ныне в горьких испытаний час
Стихами душу жжет Экклезиаст.
Им нет замен и недоступно тленье.

...Но не о себе в те часы и дни думала притерпевшаяся ко всему в жизни Виктория Ильинична, а тревожилась за внучку. Безукоризненная память также внезапно начала ослушиваться ее, потому не раз и не два подзывала Леру, говорила что-то успокоительное и снова просила: «Читай, Лерочка, в тяжелые минуты книгу Экклезиаста. Не думай о религиозной стороне, а постигай вечную истину слов этого проповедника: все суета сует, а только человеку дано возвыситься над скорбью. Здесь вовсе не надо что-то в характере переламывать и впадать в отчаяние. Суета пройдет, проглянет радость и смысл жизни. Будешь и ты, Лера, счастлива, попомни мои глупые слова вроде как умной женщины».

Вспомнив о бабусе, Лера отыскала и стихотворение, специально сочиненное для нее в последний год жизни Виктории Ильиничны. Тема явно не подходила для сонета, поэтому Лера и отступила от любимой ею (и Петраркой, конечно) формы:

Зачат в утробе матери чертенок.
Не папа черт, не дедушкин посыл.
С остатков пуповины сняв отонок,
Сказала акушерка: «Вот так сын!»

То предвещала пьяная комета,
Конвент о чем предупреждал Марат.
Сбылось: явилась каинова мета
На лбу того, кто дьяволу собрат.

Им ловко управляли кукловоды —
Париж, Женева, Лондон, Вашингтон,
Отчизну в атлантические воды

Давно столкнул в своих мечтаньях он.

А обок — востроглазая ведьмица
Скакала и вертелась, вся в мехах,
И подпевала мужу райской птицей:
«Консенсус!.. Перестроечный размах!..»

Пипл хавает, как скот, дорвавшись к жвачке,
Предателя косноязычный бред,
Заморской в скудоумье рад подачке,
Что заработал вражеский клеврет.

Подгнило что-то в наших палестинах.
В полях бурьян, на полках суррогат,
Стоят заводы, родина в руинах,
Аулы самостийность городят...

...Здесь стихотворение дошло до нижнего края тетрадки, который был некогда оторван резвившейся в младенчестве, еще котенком, Машкой-старшей. Пропали две строки, но сохранилось окончание в начале следующей страницы:

...Для Запада он — славный реформатор,
А для Руси — иуда, тать и вор!

Виктория Ильинична уже не выходила из дома, но через секретаря своей парторганизации, пришедшей навестить болящую активистку и заодно взять партвзносы, передала стихотворение в редакцию областной коммунистической газеты. Почему-то там не опубликовали, но через пару месяцев Лера сама видела на столбах листовки с этими виршами, правда, автором там значился некий виртуальный Марат Железняков...

В виртуальном мире навроде того, в котором мы сейчас имеем счастье жить и творить, все делается наоборот — от противного. Как в математических доказательствах. Особенно ярко это видно в провинции. Ведь теперь в каждой губернии куча департаментов, а то и просто местное министерство, и все они уже полтора десятка лет занимаются местным же законотворчеством. А люди-то разные в творцы губернских законоположений попадают, разными путями. Потом надо учесть, что при каждой смене губернатора обновляется и состав законотворцев, хотя они вроде как по линии думы идут, но... противостояние законодательной и исполнительной властей — это уже далекие 90-е годы. Народ и партия вновь едины! И так получается: чем больше губернаторов сменяется, тем меньше простора для законотворчества. Куда не кинешь взор — уже предшественник целых десять законов на одну тему насочинял!

И вот сидит, дымится-парится молодой чиновник-законник: надо до конца месяца выдать на-гора хоть один закон, а то переведут на нижеоплачиваемую должность. И придумал-таки, сам часто гуляя в выходные по парку. И ввели должность паркового кормителя парковых же птичек, а в отчетных ведомостях для финорганов получили эти птички статус муниципальных уничтожителей насекомых.

В прежние времена за такой закон самого бы его сочинителя и отправили кормить птичек. Но его повысили в должности.

Что-то давно не слышали мы от СМИ призывов о всеобщем покаянии: условные «красные» должны покаяться перед виртуальными «белыми», воры-олигархи перед бомжами, да и у обитателей помоек есть поводы бухнуться на колени перед владельцами яхт-крейсеров, зарубежных бейсбольных клубов и всего прочего. Понятно, что и вся эта слезоточивая кампания была обезьянничеством с паранойи, обуявшей в 90-е годы западный мир; там всех перещеголял папский престол: Ватикан от имени всех католиков мира (наверное, исключая гонористых панов из Варшавы и Кракова?) покаялся перед всеми, кто мог услышать: и за крестовые походы, и за средневековые гетто в Европе... только вот перед Россией за тысячелетнюю ненависть к ней, за тевтонские нашествия псов-рыцарей запамятовал. Правда, здесь Александр Невский в сороковых годах XIII века восстановил status quo. Вот американцы молодцы: не каются, а только «томагавками» направо и налево, знай, лупят. Вроде как что-то сквозь зубы «извини, приятель» в адрес негров своих скороговоркой произнесли. Даже ты, Брут!

Весь мир кается, как дервиши в означенные дни месяца рамадан: христиане и мусульмане, буддисты и язычники, правоверные иудеи (как говорят) и веселые кришнаиты; просят снисхождения к своим грехам богачи и бедняки, правые и левые, святые и святотатцы. А покаются — и дальше вероломствуют, взрывают, бомбят, воруют, прелюбодействуют. То есть в итоге-то следуют известному догмату: не согрешишь — не покаешься.

Глава двадцать пятая.
МЕЛЬПОМЕНА И МУЗА ТАНЦА И ПЕНИЯ ПОЛИГИМНИЯ*

Ныне герой Александр и с ним Менелай брано носец
С длинными копьями выйдут одни за Елену сразиться.
Кто победит — и жены и сокровищ властителем будет;
Мы ж, заключившие дружбу и клятвы священные, будем
Троей владеть...

«Илиада», песнь III, ст. 253—257

Инна Васильевна до своего шестидесятилетия, почти совпавшего со смертью матери, двадцать лет отработала в областном культпросветучилище, только-только в духе времени *западнообезьянничества*, как говорила Виктория Ильинична, переименованном в колледж. Преподавала игру на фортепиано, а почти десять лет — до официальной пенсии — была еще и завучем. Ее, без всяких хворостей, тщательно следившую за собой и по родовой наследственности в шестьдесят выглядевшей с небольшой натяжкой «на все сорок два — сорок три года», как ей вовсе не льстя говорила все та же Виктория Ильинична, никто и не задумывал отлучать от полной ставки в «кульке», но через год после кончины матери она и сама стала бабушкой, что навалило на нее массу радостных забот по дому. Все же половинную ставку за собой оставила, учитывая чисто человеческое желание активной жизни, а главное — наступившие тяжелые времена в плане материальном. Разумеется, здесь не грошовое жалованье имелось в виду, но в своем музкабинете заниматься индивидуально с детьми состоятельных родителей. Она четко уловила, что сейчас масса таких нацелилась на переезд на *ПМЖ* в Штаты, Израиль и вообще кто куда. Причем, в отличие от прежних времен, это теперь делалось не на-

* Другой вариант имени, используемый в мифологии — Полимния.

спех, но планомерно: пользуясь бесплатными еще медициной и образованием, смекалистые люди чинили себе зубы, излечивали вроде бы привычные, уже застаревшие хвори, торопились покачественнее образовать и детей — в их светлом капбудущем все это стоило бы денег. А Инна Васильевна, как обучающая пианистка и профессиональный концертмейстер в прошлом, высоко ставилась в кругах городской интеллигенции.

...До того, как бабушка вдолбила в голову Лере все характеры и различия даже в родственной среде объяснять законами и капризами наследственности, последняя с детских лет невольно отмечала несхожесть матери и бабушки Вики: не то чтобы внешней, хотя и это имело место, но вот какой-то... Какой? — У школьницы Леры еще не имелось в голове нужных и конкретных слов. Только повзрослев, она стала понимать: обе они образованные, умные женщины, но бабушка — революционерка из дворян и на всю долгую ее жизнь, а мать, перепрыгнув в своей родословной на несколько поколений, так и осталась простой и доброй, несколько пугливой истинно русской крестьянкой со всеми присущими этому сословию чертами. Так, если городские женщины с возрастом озлобляются, глупеют, вообще, что называется теряют себя, то деревенские женщины, по крайней мере появившиеся на свет до середины этого века, наоборот, становятся мудрее и добрее, главное — безобразно не толстеют и не дряхлеют до преклонных лет.

Конечно, к таким выводам Лера пришла не без помощи бабушки. Она же и указала на архетип такого характера своей дочери Инны и ее двух сестер: по линии ее, Виктории Ильиничны, матери допреждь местных купцов-промышленников ее предки крестьянствовали в Вологодской губернии, а потом в пригородные мещане, то есть те же самые полукрестьяне-полугорожане вышли. «Я вот вся в отца своего пошла, а мои-то дочери потянулись к вологодской линии родства». Еще бабушка все «грозилась» дать почитать один любопытный документ с обычной присказкой: «Когда повзрослеешь и поумнеешь». И настал-таки этот момент поумнения, и дала бабушка старинную запись отчетливым, но сильно выцветшим пером сделанную, так что Лера без труда ее прочла. К старой орфографии с ее «ятями», «фитами» и твердым знакам в

конце слов на согласную она давно попривыкла с чтением бабушкиных староизданных книг.

* * *

«Вологодская я, Пахтусова именем, не здесь, в Вологде, родилась, а двести тридцать верст, в Верховожье,— посад этакой называется. А муж здешний, природный вологодский. Без малого семьдесят лет мне! Трое у отца, у матери было, две сестры еще кроме меня, я старшая была. Стыдно мне уже сказывать-то: баловали меня, и я баловала — отец с матерь. Любили очень. Дралась много и с подругами, и с мальчишками, и мальчишек била, жаловаться ходили. Родители также, спасибо, не говорили, бывало, что и сзади этак, березовою розгой!

Родители наказывали, так я мало ходила в чужие огороды; у нас страх был родителей,— не ломала ничего, не брала, не рвала.

Один раз, маленькую меня оставили с сестрой, а я сестру оставила и пошла купаться... маленькую одну... подружки созвали. Тятенька приходит, ребенок ревет! Тут спрашивает: «Где же, говорит!» — «Купаться, говорят, ушла». Ну, он взял тоже вицу, да и пришел на реку; я одевалась — порол, да и домой-то как бегом бежала, он чуть мало догонит, и хлестнет, и хлестнет!

С годами памяти-то у меня нет, много похоронила памяти-то, муж умер, то дети умерли — нынче худа память стала. Росла не училась, я ленива была, не грамотная. Прежде, в старину-то, за семьдесят лет, в мещанах мало у нас учили.

Бабушка у нас была — зачну ее целовать: «Бабушка милая!» Скачу у ей... Начнет бабушка сказки сказывать. Я с удовольствием слушала, она иное подолгу сказывала, не по одной, у ней сказок такое было сбирание!

Сказки, как вам сказать, деревенские, неученые, баушка тоже неграмотная была.

Вот сказка: «Как-то оборотили одну женщину в рысь, в рысью шкуру обороты все делали, вранье ведь все это — сказка, так сказка и есть. Женщина бегала с рысями; потом у ней был маленький ребенок — только что ребенок захочет груди кушать, а

его баушка, ее свекровь, выдет на дорогу; бегут рыси, она и говорит: рыси, вы рыси, в котором стаде младенцева мать? А рыси и говорят: в третьем стаде за нами бежит, все горы слезами потопила»... уж не знаю как тут сказано.

«Третье стадо прибегает; баушка схватывает эту за шкуру, за рысью — вдруг оказывается женщина. Она держит, ребенка подает ей — она и кормит грудью ребенка. Потом приходит час, она говорит: мне пора бежать, подайте мне мою шкуру. Схватывает шкуру и оборачивается опять рысью в стадо рысей. Плачет ребенок, плачет и баушка...»

Не наврать бы вам, давно эта сказка-то была, тут как-то так было: «Нашелся такой человек, который говорил, что это можно так сделать, что не будет она бегать с рысями вместе. Когда, говорит, прибежит она ребенка кормить, так ты, говорит, повести меня, тогда я, говорит, с ней поправлю».

«Это баушка вышла с ребенком на дорогу и дожидается — скоро ли рыси побегут, а этот человек дожидается, за кустиком сидит. Прибегает, кормит ребенка и хочет бежать — он схватывает ее и держит, заклинательные какие-то слова говорит. Она у него в руках вьется, на все звери, на змей оборачивается, вид этакий делает из себя, в собаку или кошку — он все держит. Наконец она оборотилась в веретено, потом он взял это веретено, переломил пополам: половину перед себя бросил, а половину за себя: перед ним осталась прекрасная женщина, а за ним платья груда. Потом она берет ребенка и платье и отправляется домой. Стала жить-поживать, да добра наживать».

Вот ведь какие неинтересные сказки. Много сказок-то выдохлось из головы — ведь и эта не коротка сказка, долга. У меня книга, хоть неграмотна-то, была сказок-то, древняя, я ее в рынок продала, как деньги нужны были.

Баушка меня тоже баловала, больше других детей любила меня.

Подросла, на гулянья стала ходить с барышнями, стали молодые люди ухаживать, только я все обманывала. Девушке молоденькой не всякий нравится. У вас, у мужчин, любят в близких отношениях, а девицы любят поболтать, поговорить, посидеть, без близких отношений. Замуж собиралась, так как же близкие-то от-

ношения сделать — на какого мужа-то попадешь, всю жизнь укоры будут!

Со своим-то женихом, я вам скажу: мне минуло уже девятнадцать лет, стал ум-то немножко побольше. Смотришь, молодые ребята увиваются, все небогатые; думаю: дай-ко я сама приударю за старичком, поспокойнее жить-то буду. Ему было сорок семь лет, а мне минуло девятнадцать. Сам-то по себе не старый был, такой видный мужчина, было седины, но немного.

Это, вот видите, от Верховожья семь верст, была фабрика, купца Мартьянова, бумажная. На фабрике был управляющий сорока семи лет, холостой, не женивался, а у меня отец машинистом был на этой фабрике; ну, ходили они друг к дружке в гости, я и завлекла его и вышла замуж.

Ну и взял меня замуж без приданого: что в девушках носила, то и принесла. Он больше тысячи рублей получал — сто рублей в месяц, в тогдашнее время большие деньги, завидный был жених, в нашем-то месте. Все завидовали: без приданого берет и такой богатый! Я восемь годов десять месяцев только с ним жила, пятеро детей накопила; вдовой осталась с пятью ребятишками-то, старший-то остался семи лет. Двадцать рублей только деньгами оставил — простой был, жалел своих родных, богомольный был, Богу много молится, давал много, себе не оставлял. Хороший был человек, смирный, не бранился!

Один раз только рассердился на меня, только один раз так и рассердился! Стала я раз песни петь. Правду сказать, хотела я показать как умею песни петь — старалась. А он писал, слушает. И пою я — стало ума-то — «что вышла я за старого, да за немилого и сложила я,— так в песне-то говорится,— все свои красы в руки дураку»,— ведь вот ума-то палата была!

Он слушал, да как кончила я, и подошел: «Что это,— говорит,— за песня такая? Разве,— говорит,— я тебя неволил замуж за меня? Становись,— говорит,— на колени и проси у Бога прощенья за эту песню...» С тех пор я уж не певала песен ни худых, ни хороших.

Как он жениться-то стал, хозяин Мартьянов написал: «Зачем же вам такую бедную брать, когда вам здесь в городе дадут с большим

приданым...» Но только что муж покойный не посмотрел на хозяина, а хозяин ему за это отказал, другого управляющего послал.

Потом мы приехали сюда, в Вологду, уж я тяжелая приехала; там с год только выжили, на фабрике-то.

Потом у его было за купцом Мартьяновым, он этакий был экономный, до пяти тысяч рублей денег, потому он у него лет пятнадцать жил. Не сполна деньги получил, у самого Мартьянова дела пали.

Пожили мы здесь, потом поступил к Николаю Ивановичу Скулябину, в конторщиках пожил пять лет. Николай Иванович умер, а жена, как этакая женщина скупая была, жалованье зачала сбавлять ему.

Потом он затосковал, семейство стало копиться, а жалованья стала Скулябина мало давать, пятнадцать или шестнадцать рублей — двадцати не давала.

У него сделалось что-то такое в груди, не стало пищи пропускать. От августа месяца до января болен был, тут умер — лечили, лечили, не могли вылечить. Главные доктора здешние не могли ничего сделать. Я за визиты-то платила, просила и в ноги-то кланялась, со слезами просила: будьте так добры, примите участие — ничего не могла выпросить: много лекарств переписали, толку-то не было: «Пораньше бы,— говорит,— вздумал лечиться, как почувствовал, надобно было».

Скулябин мне помогал, да Белозерова, ему сноха будет, помогала тоже — покойнички тоже теперь. Ребятишек-то надо в класс отпустить, надобна одежа, надо книжечки и ходила к ним, на праздники ходила, а то когда надо ребятам одежду сделать, или книгу купить, или кошаники — вот они и давали, царствие небесное!

А я жила по Архангельской дороге, в пустыни, в доме пустынского священника Левитского. Тут я восемь лет хлеб пекла рабочим на завод кожевенный,— Немирову, купцу Ивану Афанасьевичу. Хлеба напеку, потом за кружева; кормила детей, не пустила по миру; сбирать не ходила с корзинкой, только вот по благодетелям ходила.

Дети учиться стали. Старший сын способный был: книги, похвальные листы за ученье получал. Ну, а потом трудно стало, за хлебы ведь дешево дают, так с этаким семейством мне трудно

было, а к благодетелям часто не пойдешь. Потом я отдала его по торговой части, в училище не кончил. Учителя говорят: «Способный мальчик, лучше бы ты пустила его учиться».— А у меня средств нет! Ну, я и взяла из училища и отдала Павлу Евстафьевичу к Волкову, ну тут и поправилась немного, стало жить-то полегче: в мальчиках пожил недолго, стал скоро жалованье получать.

Приказчик главный съел его! Он все ездил в Москву за товаром, понял, что парень способный, пожалуй, будет приказчик лучше меня (после-то уж я узнала). Стал говорить: «Вы, говорит, дурачье, здесь живете, здесь хозяева,— говорит,— паршивые, а как в Москве-то, так там лопатами деньги гребут». Так раскрасил Москву-то, такими красками, что мой сын захотел в Москву ехать; как ни уговаривала, не могла уговорить. «Василий Александрович говорит, что там хорошо, а здесь, вишь, худо!» Вот он и польстился на Москву, в Москву и уехал.

В Москве ему не посчастливило, жил плохонько, по торговой тоже части. Стала я писать ему: «Приезжай, уж сама как-нибудь тебе место схлопочу!» Потом он выехал оттуда: я того же Белозерова зачала просить, он был при городском банке директором, не будет ли местечка а банке? Побранил меня, все-таки место дал — он писал хорошо; какие, какие бумаги, так все Васильюшко мой писал.

Потом простудился, тиф схватил, попивал тоже водку, гулял — здесь еще не нюхал, как уехал — где же как не в Москве научился!

Другой сын худенько учился, тоже отдала по торговой части. Четырнадцать лет жил, тоже помер; этот умер чахоткою, от простуды — скоротечная!

Три дочки было: одна семи лет умерла, одна двадцати трех лет, а другая-то вот замуж выдана была за троицкого, за игрушечника. Он от Троицы, из Лавры, родиной-то. Сюда приезжал с игрушками на ярманку, на Крещенскую. Глушицкой, знакомый нам был, и говорит ему: «Что вы,— говорит,— вдовеете, опять не женитесь».— Он вдовый был — а зять-то и сказал: «Давай невесту, Иван Алексеевич!»

Потом Глушицкой домой приходит и говорит жене: «Катя,— говорит,— Трегубов невесту просит, какую бы,— говорит, невесту

ему дать?» — А она и говорит: «А вот,— говорит,— две дочери такие скромные девицы, поди-ка сватай?»

Вот сосватали у Стретеньева дни, и дочка моя была сосватана десять месяцев. Подарки присылал и писал, всякую неделю переписка была. Народ-от меня все сбивали и нивесть что говорили: «Это,— говорили,— он, значит, не возьмет: уж эстолько времени, уж все лета прошло, а он не бывал!»

Я летом-то и говорю дочери: «Маша, кончи переписку, говорит народ, что он обманет нас». А дочь мне и говорит: «Ведь, маменька, он к нам не ходит, бесчестья не принес, только подарки посылает; когда справится, тогда и приедет». Я махнула рукой, не стала и говорить: ну, делай, как хочешь!

Ну и приехал в ноябре месяце, тут и свадьба была. Он замешкался: их два брата, так у них у Троицы дом был — дом они продали, ну и по ярманкам ездил.

Нашел он, что в Харькове хорошо торговать. Как женился, говорит, туда поедем вести торговлю. Вот и живут семнадцать лет. Детушек, внучат моих было четверо — примерли все. Живут ничего, не то что богачи, а сыты, ведет торговлю.

Харьков город обширный, не больше нашего, только торговый город, четыре ярманки там: Крещенска, Троицка, Успенска и Покровска. Приезжают туда на ярманки из Москвы, даже из Нижнего Новгорода купцы.

Я ездила туда жить, да свекровь у них московска, старуха бойкая: полгода жила — два медведя в одной берлоге не лежат — назад приехала и стала я хлопотать в богадельню. Года полтора хлопотала — не скоро ведь тоже попадешь! Мало умирают в богадельне у нас, как нарочно не умирали старухи-то, а полный комплект был.

Вот и живу в богадельне, заработка небольшая, копейки по две в день, на кружевах. Да дочь посылает на чай, на Рождество, да на Пасху — на своем-то ремесле, на кружеве — по четыре копейки за аршин продаю — не пропитаться чайком...».

* * *

Несколько недоумевая, Лера задумчиво смотрела на лежавшие перед ней на столе несколько листов старой, сильно пожелтевшей,

чуть самую малость размахренной по краям, но плотной бумаги форматом чуть поболее в ширину, чем современный канцелярский писчий лист. Размазывающие буквы центральные полосы — вертикальная и горизонтальная — указывали, что листы эти долго хранились сложенными вчетверо, но затем были тщательно, скорее всего утюгом, разглажены. А на просвет четко читались калейдоскопически повторяющиеся в шахматном порядке водяные знаки: овал, а в нем надпись, конечно с «ятями» и латинской «и»: «Бумажная фабрика М. О. Белянинова». Судя по старательности писавшего и использованию бумаги высокого класса, листы эти имели какое-то специальное назначение, то есть не были частью бóльшей рукописи, служебного документа и чего другого прочего.

— Ну, какое у тебя сложилось впечатление? — Бабушка деликатно оставляла ее *тет-а-тет* с записью на время чтения, но точно угадала и его окончание, появившись в двери Лериной комнаты.

Лера кивнула ей, что-то припомнила и еще раз сверилась с предпоследним листом:

— Тут фамилия Трегубовых есть, по мужу дочери Маши рассказчицы, а ведь это, как ты говорила, и девичья фамилия твоей мамы, то есть моей прабабки. Это что — совпадение или что-то родственное?

— Самое что ни на есть родственное: Маша — это уже моя бабушка, а ее поздняя дочь — моя мама.

— Постой, постой,— Лера раздвинула листы веером, ища нужную страницу,— тут же написано, что... вот: «Детушек, внучат моих было четверо — примерли все». Это как понимать?

Бабушка улыбнулась добро, села в кресло обок стола, взяла в руки и аккуратно подровняла разворошенные Лерой листы старинного письма, призывая внучку к вниманию:

— Умерли, да не все. В то время как рассказчица, моя прабабка, а твоя... сама сосчитай все «пра», все это под запись рассказывала в вологодской богадельне, у Маши Трегубовой, сходившей по обету на богомолье в Киев, в Печерскую лавру, родился-таки поздний, пятый ребенок, девочка. Вот и не верь, даже будучи научным атеистом, в божье предрасположенье! За все горести жизни четы Трегубовых, особенно Маши с ее четырьмя умер-

шими в младенчестве и раннем детстве детьми, судьба повернулась к ним лицом, да еще и как повернулась? Маша нарадоваться не могла на позднюю дочь — да и как не радоваться, если родила-то в годы за тридцать, что тогда в простонародье редкость было. А супруг ее — точно знаю, не воровством или разбоем, чем-то предосудительным — вдруг в гору по торговой части пошел: то ли простое везенье, что часто в таких занятиях бывает, впрочем, как и разорение полное, а может и энергично самомобилизовался по рождении дочери. Сделал два-три удачных подряда по пшеничной, зерновой и мучной, торговле, потом и вовсе учуял конъюнктуру в нашем городе и сюда из Харькова перебрался. Дальше сама знаешь, не раз рассказывала. Мама моя первой в роду гимназическое образование получила, да к моему появлению на свет и родители ее уже ничем не напоминали нищих мещан и торговцев-коробейников по ярмаркам: и внешне, и по достатку, но самое интересное — даже в определенной степени пообыкли мыслить другими категориями, хотя, понятно, никакого образования, особенно Маша, не получили. Так что здесь права народная присказочная мудрость: не место красит человека, а совсем наоборот. Дедушку-то я почти не застала, он на пятнадцать лет старше Маши был, а вот ее помню по детским годам: охотница читать была, на каком-то жизненном вираже приохотилась. А дедушка и вовсе приличную для купца его руки библиотечку собрал: и художественное, и по коммерции книги... «Биржевые ведомости» и другие газеты в те годы влиятельнейшие выписывал.

Теперь об этих записях. Когда мои бабушка-дедушка Трегубовы в люди вышли в нашем городе, то забрали сюда из вологодской богадельни совсем уж старенькую — вот истинно она говорила: плохо в богадельне-то помирают, долго живут! — мать Маши. Сама бабушка моя рассказывала мне: «С узелком единым привели — вот и всех вещей! И сложенные вчетверо вот эти самые листы. Стали дед с бабушкой расспрашивать, так поведала, что как-то пришел к ним в богадельню молодой человек со своим подручным. Богаделки меж собой зашушукались: дескать, какой-то богомаз-иконник «натуру ищет».— Явно с чьих-то слов говорят. И ее позвала к себе настоятельница богадельни: вот, мол, с тебя худож-

ник парсуну рисовать пожелал. Обходительный такой, разложил свои рисовальные причиндалы, меня усадил и быстро так карандашом чирк-чирк... А мне сказал: пока я тебя изображаю, ты, не торопясь, о своей жизни рассказывай, а мой помощник все это записывать будет. Потом я книжку издам рассказов простонародных людей с присовокуплением портретов рисованных. Тебе еще за труды завтрева писец мой принесет начисто переписанное твое повествование. Что и исполнил, передал через начальницу нашу вот эти листы, а она велела хранить как память.

Фамилию того портретиста старая точно не запомнила, но что-то навроде прозвищем Верещагой называла».

— Верещагин?

— Я, Лерочка, тоже так понимаю. Когда в Москве в университете училась, специально интересовалась по разным места, музеям и библиотекам, о жизни его. Действительно, ездил он одно время, еще до известности своей, по северным губерниям и рисовал разные характерные типажи. А вот книжки с портретами и записями не довелось разыскать; кто-то говорил, что слышал о такой, а кто и вовсе в руках держал, но давно, задолго до революции... И в Ленинской библиотеке ее в каталогах общего пользования не числится. Может и есть в запасниках, но туда трудно было попасть. А потом как-то все забылось, да и не до семейно-исторических разысканий было.

А вот несколько лет назад, приводя в порядок свой домашний архив, снова наткнулась на эти записи и решила порасспрашивать о книжке местных книголюбов; они свихнутые на этом деле, но много чего знают. Мой коллега-профессор по истфаку порекомендовал известного тебе Кириллова, что у нас книжку когда-то стащил. Поэтому попросила зайти не домой, а в институт, на кафедру. Только неприятность нажила...

Как это злосчастный Вадим Валентинович не вспоминал, не рылся в своих записных книжках-памятках, что у него половину портфеля занимали, ничего о книге Верещагина с рисунками найти не смог. А потом тот профессор-рекомендатель, стол которого в преподавательской рядом с моим, несколько дней по всему корпусу бегал и кричал: «Признавайтесь — кто без спроса взял книжку

очерков Шульгина «1920 год» с предисловием Пионтковского — единственное издание двадцать седьмого года в ленинградском «Прибое»? Я ее под честное слово из спецхрана облбиблиотеки взял на пару дней!» Потом признался мне, что еле-еле восстановил свое реноме там, разорившись на коробках конфет и приличествующих дамскому сословию библиотекарш сортах десертных вин.

* * *

— Так что, Лерочка, Верещагин — не Верещагин, который еще не дошел до «Апофеоза войны», но подлинность рассказа о своей жизни твоей прапра... и так далее — она-то сомнению не подлежит. А раз так, то подумай хорошенько над прочитанным. И многие твои наблюдения над некоторой несхожестью характеров твоей мамы и меня, грешной, объяснятся сами собой. Все мы в советское время, так сказать, более или менее сравнялись фенотипически, но... не только во внешности и исторически обусловленном мировосприятии долгая наследственность сказывается, но и в тонкостях характеров. Все это по мере прибавления поколений уравновешивается, усредняется, отбирается, но что-то весьма существенное сохраняется еще долго. Вот твоей матери, как она не хорохорится, относительно ровная жизнь здесь не совсем по нутру: вроде все спокойно, даже почти хорошо, исключая невеликие наши доходы, но какая-то постоянная настороженность в Инне; такое впечатление, что в своем культпросвете, где днюет и ночует, фигурально говоря, она скрывается от реальной жизни. Понятно, и судьба ее пребольно ударила. Словом — думай и мотай на косу, которой у тебя уже и нет с шестого, если не ошибаюсь, класса школы. Может и на некоторые черты своего характера, симбиозного от моего и матери, вроде как со стороны взглянешь... и с пользой для себя.

Чтение старинной записи и «идеологическое послесловие» бабушки — все это было полтора десятка лет назад. С тех пор и Лера явно поумнела, в том числе и чисто женским умом, и жизнь окружающая сделала такой кульбит, что бабусины воспоминания от отчаявшихся во время *НЭП'а* истовых большевиках-революцио-

нерах казались отчаянием гимназиста III класса, оставленного без обеда и на два часа водворенного в темную комнату...

Когда она вспоминала неоднократные бабушкины слова о борьбе в характере и уме каждого мыслящего человека дионисийского и аполлоновского начал, то понимала это именно как и противоборство, и союзничество в себе единой взрывной безоглядности и того качества, что, глядя на мать, определяла как «терпение жизни». Именно — не столько терпеть всевозможные жизненные коллизии, сколько терпеть, особо не возмущаясь и не радуясь, само течение жизненного пути: то ли неким высшим, вселенским разумом запрограммированного, а может и случайно выпадающим каждому конкретному человеку, как при игре в карты или кости — в математически идеальном варианте, без участия «кидалы». В то же время это не было и фатализмом, как его толковала умная бабушка. Уже само это слово не нравилось Лере чисто по звучанию: в нем чувствовалась прежде всего безысходность. А всякая безысходность рождает уныние. Но мама никогда таковой не была и не казалась, в горе и тоске — да, но Лера давно уже не путала уныние и тоску, безысходность и горе.

Обычные рассуждения ее на такие темы чаще всего упирались в некий обобщающий вопрос, ответ на который ей самой не давался, а обращаться к бабушке опасалась: та все одно сведет к какой-никакой философской или педагогической теории. И вовсе не оттого, что личного опыта жизни нет, наоборот, его сверх головы у революционерки Виктории Ильиничны, но ее длительное служение музам политической истории, да еще крепко наперченное педагогической работой,— вот уж точно — запрограммировало.

По молодости, точнее — по молодой вредности, Лера лихо ставила на место всех доброхотов обоих полов и разных возрастов, что сочувствовали ее столь раннему безотцовству и вообще воспитанию и жизни в чисто «бабском доме». Причем откуда-то и фразы штампованные брались относительно самодостаточности современной женщины, равных прав и возможностей и даже чисто мещанское (сама морщилась, произнося): «Если хозяйства с лошадьми и пахотой нет, женщины в доме сами работают, то и роль мужика не очень понятна!»

А вот сейчас, когда возникали эти самые безответные вопросы, как же Лера жалела, что сызмальства искусству философии жизни ее учили однобоко, почти без мужского участия... — При всей мудрости бабушки и стоическом жизнелюбии матери. Хотя ушел отец из жизни, когда Лере уже исполнилось десять лет, но образ его остался в некоей дымке, не успел при жизни конкретизироваться. Понятно, что бабушка, услышав про это от задумавшейся внучки на пороге ее совершеннолетия, тотчас разложила все по полочкам: «Это от того, что будущую женщину своим примером и назиданием до девяти-одиннадцати лет воспитывают, в основном, старшие в доме женщины, а только после подключается и отец, но чаще — дед, если к счастью он имеется. У тебя же, увы, все карты не в масть выпали».

Виктория Ильинична, как опытный педагог, и дальше развивала, углубляла тему, но Лера поняла главное, а от бабушкиной дидактики отключилась; научилась это делать, не обижая наставницу. А со временем и сама поняла, что здесь спасительница и охранительница души человека природа на помощь пришла, оставив ей память об отце как-то в общем — чтобы н терзала себя, предаваясь ежечасно горьким воспоминаниям об утрате. Поэтому при упоминании кого-либо от отце вполне спокойно, с легкой грустинкой она вызывала в памяти его образ, преимущественно внешний, особенно относящийся к табельным дням, официальным праздникам, когда Игорь Алексеевич утром уходил на работу или какое-нибудь мероприятие в черной морской форме, сначала с одной большой звездочкой на погонах, а в последний год жизни уже с двумя. После окончания в Ленинграде военно-морского училища по технической специальности служил в Севастополе «на базе», как он обычно говорил. Как потом узнала школьница Лера от бабушки, неудачно женился, развелся без детей. Был переведен в их город военпредом на оборонное предприятие, имевшее военно-морскую специфику, сразу встретил маму. Дослужился до начальника своей военной приемки и погиб на Дальнем Востоке, около Уссурийска, при испытании опекаемой им военной техники.

Леру тогда по мере возможностей и обстановки старались уберечь от тягостных впечатлений тех горьких дней, опекали ее тетки,

но все одно на несколько лет эти воспоминания ее тревожили, но... время лечит; истина не мудреная, но спасительная.

...На вопросы же подросшей годами дочери о втором замужестве Инна Васильевна ничего не отвечала, или же торопилась свернуть разговор, отвечая как-то безлично. Но пришло и ее время; как с приличествующей ситуации легкой, доброй иронией сама себе и Верке-травести говорила Лера: «Сначала была за морским подполковником замужем, а теперь обозначился бойфрендом полный сухопутный полковник...»

— Не завидуй, подруга,— в тон ей отвечала Верка,— еще не все ресурсы исчерпаны. На твою долю полковники ВВС, МВД, ФСБ и космических войск остались!

— Да, оно к тому и идет, что пора думать о полковнике, коль для начинающих миллиардеров я уже в возрастном тираже. То-то один, с пожарными петлицами, зачастил на спектакли, садится в первых рядах и глаза на меня пялит. Скоро и букеты в ход пойдут...

И еще Лера с улыбкой вспоминала, как мать конфузилась в начале знакомства своего с Семеном Ефимовичем, стеснялась взрослой дочери. «Мама-мама, даже кусочек тихого счастья от жизни оторвать стесняешься, а уж заслужила-то многократ большего. А я вот вроде и не стеснительная, но и подумать не позволяю себе о «легализации» отца Маше».

Лера и не заметила, как произнесла эту фразу вслух — и рассмеялась, увидев вопросительно смотрящую на нее усатую мордочку: Машка-старшая, услышав в неурочный час свое имя, в чутком сне, соскочила с кресла и подошла к хозяйке, явно надеясь на лучшее в своей удобной, теплой, но, увы — безмужней жизни. «Лучшего не будет,— прочла ее мысли Лера,— это только у Алексея Максимовича, как любит говорить бабушка по поводу, идея соцреализма символизирует борьбу лучшего с еще более лучшим. Словом, масло масляное. Иди, Машка, утешение во снах искать!»

Банкирша Агафья Федоровна, родом из бывших райкомовских комсомольских инструкторов, втихую отметила свое 50-летие. И так ей захотелось любви — большой и чистой?! Ужаснулась: как это я без любви до сих пор жила? Да некогда было; в комсомольскую молодость все больше карьеру строила, из постели в постель ответственных партийных шалунов шастала — до высоких ли здесь чувств? А потом бизнес ни одной свободной минуты не давал. Но застоявшееся, прекрасно сохранившееся тело своего сейчас жутко потребовало. Как быть? Замуж выйти — засмеют; платного любовника завести — стремно, комсомольская стыдливость не позволяет; бесплатного — так все банковские авуары из нее вытянет. Одноразовых мальчиков для услуг по объявлениям вызывать — очень она дурных болезней опасалась. Совсем отчаялась и вызвала начальника своей, то есть банковской охраны, большого спеца по интимным делам: так, мол, и так, Семеныч — выручай, найди приличного, главное — интеллигентного, но и крепкого мужчину лет сорока для большой и чистой любви. Почесал Семеныч репу и пошел исполнять производственное задание. А сам внезапно впал в запой. Оклемался — уже все данные сроки вышли. Сагитировал наспех соседа, безработного кучера, видного собой, грудь колесом, ростом в косую сажень. Только предупредил насчет стеснительности и особенно интеллигентности. Привел к хозяйке и представил. Понравился, стала намекать насчет высоких чувств, а кучер вспомнил инструкцию Семеныча да и ляпни для убедительности:

— Кому здесь трахаться надо? Давай скорее, а то мне в библиотеку пора идти книжки читать.

Глядя на эту репродукцию картины Богатова «Мостовщики», живо вспоминаю семидесятые годы века минувшего в нашем провинциальном городе, где трамвайное движение было открыто в годы первых сталинских пятилеток. А в «золотые» времена среднестарого Леонида Ильича трамвайные пути раз в пять-восемь лет ремонтировали в жаркий месяц июль, когда городское население заметно редеет: пенсионеры все на дачах, школьники в пионерлагерях, студенты уехали в Приуралье и Сибирь на практику на серийных оборонных заводах, а остальное самодеятельное население или на юг укатило, либо пивком и портвешком ординарным и «Биле мицне» балуется, отдыхая дома. И вот тут-то вдоль ремонтируемых трамвайных путей выстраивались молодые ребята, преимущественно учащиеся техникумов, крепкие, жилистые, привлекающие своими обнаженными по причине труда и жары, загорелыми и мужающими торсами редких прохожих из числа оставшихся не при деле дам бальзаковского возраста... А на спинах их оранжевых рабочих жилетов гордая надпись: «Корчагинец».

Увы, другие времена, другие нравы: динамически-воровские, пройдошливо-искательские. Это надо же, демо-

кратам «первого призыва» так развратить целый народ! Сейчас нет «корчагинцев» и стройотрядовцев, а здоровенные лбы, и зимой-то редко посещающие занятия, подрабатывают либо халдеями в многочисленных кабаках, но чаще всего, перегородив шеренгами улицы, всовывают прохожим рекламки о преимуществах новых мобильников с минибиотуалетом. Девицы же суют женщинам косметические «зазывалки». Жалко мне их, о, как жалко. А они смеются: учимся бизнесу! Тяжело в учении, зато потом будет легко капусту стричь!

Глава двадцать шестая.
ИСКУШЕНИЕ МЕЛЬПОМЕНЫ МУЗОЙ ЭРАТО

«...Я с похищенной бежал на моих кораблях
быстролетных
И на Кранае с тобой сочетался любовью
и ложем.
Ныне пылаю тобою, желания сладкого
полный».
Рек он — и шествует к ложу, за ним и Елена
супруга.
Вместе они на блистательноубранном ложе
почили.

«Илиада», песнь III, ст. 444—448

Хотя и не в пятнадцать лет, как с вызовом любила прихвастнуть Лера в юности, но уж за год до совершеннолетия точно («Припечатано и запротоколировано»,— смеялась Верка-травести в изредка возникавших между ними бесстыдных женских разговорах) с некоторым недоумением от несбывшихся надежд перешла она в разряд женщин. Чуть, самую малость поразмышляв, Лера решила, точнее — приказала себе, не придавать этому значения, а если вспоминать, то с ехидным юмором: дескать, что хотела, то и получила, а много удовольствий сразу не бывает. А не обнаружив чуть позже никаких малоприятных последствий любопытствующего грехопадения, и вовсе пришла в хорошее расположение духа. «Первый блин комом»,— говорили ее более опытные подружки, вчерашние одноклассницы, ибо и само *оное*, как в дешевом фильме по пьесе штатного драмсочинителя с припиской в учетной карточке Литфонда «*спец. детск.-юн. восп.*», случилось в выпускной день, даже не ночь, а именно наутро следующего дня — с одноклассником, уже года два как мужиковствующим, на подгородней даче, куда и отправились, погуляв до полуночи в центральном парке и напившись теплого шампанского, несколько почти случайно подобравшихся парочек.

Ее партнер на правах хозяина и обладателя уже совершенно сформировавшихся усов и вовсе предлагал «сгруппироваться», но вовремя остановился, вспомнив — по рассказам одноклассниц — о девическом статусе Леры, на которую он серьезно нацелился.

Спустя пару дней он позвонил Лере и предложил «на прощанье, так сказать, ибо завтра уматываю в Киев, где у папаши есть маза, провентилировать насчет поступления в Институт гражданской авиации», пообщаться на той же даче. От неожиданности и нервичности ситуации бойкая на язык Лера растерялась, затянула паузу, потом внезапно рассердилась сама на себя и положила трубку. Второго звонка не последовало. Никакого специального следа в памяти Витек-одноклассник не оставил, только общешкольные воспоминания. В город он больше не вернулся, благо и его родителя-военкома почти в то же время перевели куда-то на повышение. Дошел как-то слух: Витька Цибульник по части бизнеса пошел, весьма успешно, даже полгода в *КПЗ* под следствием просидел, да выкупился от самостийных властей. Лера только пожала плечами на слова случайно встреченной на улице бывшей одноклассницы, даже как-то, не притворяясь, искренне сразу не поняла: какой Цибульник?

Впрочем, разговор этот состоялся в прошлом году, так что любой человек в городе, имевший ранее знакомых с этой фамилией, не сразу бы смог понять: о ком речь идет? Ибо в этом самом недавнем году в городе и области шумели губернаторские выборы. Среди многих реальных и подставных — для отвлечения голосов — кандидатов, о трудовых и иных подвигах которых утром напоминали жителям набитые до отказа листовками и полноформатными газетами почтовые ящики, достаточно активным являлся и Цибульник — до недавних пор директор, а теперь уже владелец контрольного пакета акций местного ликеро-водочного завода, довольно крупного и добротно построенного еще при царе-освободителе Александре II. А бабушка утверждала, что в ее гимназическую бытность завод этот посещали граф Витте и Петр Аркадьевич Столыпин — оба во времена их премьерства. Последнего она называла по «Краткому курсу» «Вешателем, которого нашла-таки революционная пуля». О создателе всероссийского класса кулачества, а заодно о посещении водочного завода, она вспомнила, наблюдая начавшуюся в конце вось-

мидесятых годов в *СМИ* вакханалию превозношения «душителя революции девятьсот пятого года».

— Бабушка! — с наигранным восхищением спросила Лера,— не слишком ли для тебя много знакомств со знаменитостями: Витте и Столыпина видела, с Маяковским и Северяниным разговаривала, Лесков вовсе в родне... И Верещагин каким-то боком примкнул? Про Ленина, Троцкого и Сталина уже и не говорю. А Гитлера не доводилось видеть?

— Смейся, смейся. Может и хотела фюрера в гробу посмотреть и плюнуть на него, да не дошел он до гроба. А то что многих видела, многих знала? — так мир очень даже тесен, это только в раннем детстве он представляется необъятным. Потом поживи с мое, да если это время пришлось на самые яркие эпохи? Наконец, не крестьянкой в глухом углу прожила, а все-таки происхождение — до революции, активная работа на людях — после нее. В определенном смысле это сужает круг общения, но в него и входят все более-менее заметные люди.

А вот про Гитлера,— бабушка хитровато засмеялась,— это ты хорошо сказала, знаю, необидно для меня сказала, а я тоже по ассоциации вспомнила про Сергея Антоновича Величко, ты его знаешь, может...

— А кто же Сергея Антоновича из нашей театральной братии не знает? Он же записной в городе портретист, выпекает парсуны как на конвейере, да и неплохие, в общем-то. Пару лет назад к юбилею нашего театра стахановскими темпами галерею наших престарелых примадонн сотворил, что сейчас в фойе висят. Хорошую деньгу срубил! А он что — Гитлера рисовал?

— В точку попала. Он в советское время помалкивал, а сейчас под сурдинку демократии даже похваляется. В оккупации Величко пацаном пятнадцатилетним был, но уже хорошо рисовал и в своем райцентре перед самой войной подрабатывал при клубе. Немцы же, полагая надолго задержаться, клуб перепрофилировали под офицерское собрание, или как там у них называется, потребовался портрет Гитлера, вызнали через назначенное ими из местных гражданское начальство про юного художника, дали тому открытку с фотографией фюрера и велели исполнить за два дня.

Вот и нарисовал. Немцам понравилось, заплатили рейхсмарками и впридачу две плитки эрзац-шоколада, это навроде нынешних «сникерсов-марсов», и шмат сала. А теперь Сергей Антонович в неофициальном общении посмеивается: «Первый в жизни портрет с Гитлера рисовал!»

Лере пока не доводилось общаться с людьми великими, на худой конец — полувеликими, но вот водочного фабриканта Цибульника слушать довелось. В те предвыборные месяцы кандидаты пошли в народ — отвоевывать избирательные голоса. Что поделаешь? — Кандидатов в губернаторы много, а количество голосов избирателей хотя и несколько побольше, зато какие они капризные? — То им обещать клятвенно, это... Вот и Цибульник в их театр с предвыборной агитацией пожаловал. Директор же загодя через секретаршу до всеобщего сведения довел: чтобы все на собрание как штык! А Нелька-секретарша для непонятливых разъясняла, понятно, по указанию шефа: времена сверхтрудные, Цибульник с директором в старых приятельских отношениях, потому его завод числится в театральных спонсорах. Так что на собрание приходить трезвыми, сидеть тихо и глупых вопросов не задавать, а в день выборов дружно проголосовать за благодетеля.

Но директор — главреж в такие дела не вмешивался — не учел, что избирательное собрание проводится хотя и в рабочий день, но без спектакля, поэтому мужская актерская часть и техническая обслуга явились навеселе. Да и сам номинант на губернаторскую должность начал не с той ноты: перед этим он выступал в обществе «Мартиролог», поэтому решил и здесь прокрутить то же самое. А друг-директор не предупредил, что театральщики хотя и записаны по части либеральной интеллигенции, но не столичной, измучены уже многолетним безденежьем, а в отношении официального этикета — просто свинья на свинье. Еще хуже актерские бабы.

— Я, господа актеры,— начал Цибульник,— как вы сами можете догадаться по фамилии, родом с Украины. Вот судьба привела в ваш город моих родителей, сразу после войны по приказу тирана Сталина выселенных из родных мест.

Как опытный оратор, Цибульник сделал паузу, проверяя по реакции зала: в нужном ли тоне он начал выступление. Реакция не

заставила себя ждать, из задних рядов зала «малой сцены», где проходило собрание, раздался громкий, вроде как констатирующий голос пожилого актера Никонова:

— Понятно. Из бандеровцев, значит.

— Тише, тише, товарищи, вопросы после выступления,— принялся спасать ситуацию засуетившийся директор. Но до Никонова его слова вряд ли дошли, поскольку как раз подоспел его черед выпить стопку из захваченной «для сугрева» бутылки. В зале сдержано пошумели и успокоились привычно под дирижерский жест рукой директора. Цибульник мелко и зло покраснел, завертел желваками, однако, взял себя в руки и продолжил нарочитым щирым голосом. Скомкав опасную тему своего происхождения, налег, как оказалось, на еще больше не понравившуюся капризной аудитории: начал доказывать преимущества частной собственности над государственно-общественной:

— ...Я, гм-м, товарищи, более двадцати лет работаю в ликерно-водочной промышленности, из них десять — директором. Работал неплохо, никто здесь не даст мне соврать, имею государственные награды, автор восьми изобретений на новые сорта водок, которую вы, полагаю, употребляете по праздникам и на семейных торжествах. Но только сейчас я почувствовал полное удовлетворение...

— Производственный оргазм,— вполне явственно произнес кто-то из женской части аудитории, но лектор уже не прерывался:

— ...Полное удовлетворение от своей работы. А все дело в чувстве хозяина. Сами понимаете: когда общее, государственное, то и отношение к нему плевое. А вот когда все твое, личное, тут...

Зал затаил дыхание, словно актеры вновь вернулись во времена своей учебы в театральных училищах и институтах и внимают словам опытного педагога актерского мастерства, голосом и жестами, всем выражением своей фигуры и лица изображающего порочного персонажа пьесы о нравах купцов-выжиг и патологических частнособственников. Так они и воспринимали Цибульника, глаза которого алчно округлились, руки, вытянутые вперед ковшиками ладоней, затряслись, лицо зарделось, на лбу выступили крупинки блестящего пота вдохновенья.

— «Клим Самгин», действие второе, картина первая,— хохот-

нул Никонов. Но ни Цибульник в порыве вдохновенья, ни захваченный его страстностью директор даже не заметили реплики изрядно поднакачавшегося актера.

...В губернаторы Цибульник со своими тремя процентами голосов не прошел, ибо с первого же захода таковым стал кандидат-коммунист. И вообще очень даже скоро совсем плохо кончил: жадность-таки подвела его. Став владельцем ОАО «*Russian Gorilka*», Цибульник скоренько клюнул на наживку московской водочной мафии, перенаправив на них прежних своих поставщиков спирта, резко снизил производство водки, потеснившись на местном рынке ради друзей-конкурентов. Разбухший личный счет в надежном европейском банке вовсе лишил его разума, потому полностью потерял контроль над ситуацией и подвел завод под банкротство. Бандиты поставили его на счетчик, а когда дебет сравнялся с кредитом и впереди маячила пуля в лоб от братков, то решил ускорить расчеты с этим миром. Как у всех чрезмерно жадных людей, у Цибульника пошаливало сердце. Поэтому поступил как римский сенатор: лично в загородном коттедже приготовил жаркое из двухкилограммового куска вырезки и съел его с литровой бутылкой финской водки — своя, по собственному патенту обрыдла, как напоминание о несбывшихся надеждах и утраченных возможностях. Результат римского пиршества не заставил себя ждать...

* * *

Коль скоро после перечитывания своих стихотворных опытов Леру, так уютно расположившуюся в прохладном шелковом халатике — подарок знавшей толк в домашней роскоши бабушки к двадцатипятилетию — на диване гостиной перед включенным на самую малую громкость телевизором, потянула на воспоминания — перемывания косточек самой себе, то она мысленно протянула «нить Ариадны» от простительного по молодости грехопадения с Витькой Цибульником до дней сегодняшних... Тем более, что явно в унисон по телевизору шел дневной повтор сериала, где героиня все искала и никак не могла найти устраивающего ее мужа, то ли просто партнера. И кошка Машка, мигом вспрыгнувшая на диван

к хозяйке, с интересом посматривала на экран, где эпизодически появлялся роскошный персидский кот. Каждому свое.

Да-а, Витька оказался умелым уже бойцом на любовном фронте, коль сумел разбудить в ней чувственность, что, судя по рассказам подружек и множеству читанных романов, достаточно редко случается после *первого* раза. Во всяком случае первые два года после окончания школы в этом отношении Лера как-то не задумывалась о романтической любви, но мужского внимания не избегала. Опять же и среда, куда она попала, располагала к калейдоскопичности чувств... нет, скорее чувственности.

До девятого класса над выбором занятия в будущей, взрослой жизни, понятно дело, владычествовала бабушка Вика: только гуманитарное образование с уклоном в историю или, на худой конец, в литературу, но все с педагогическим уклоном. «Конечно,— светло-задумчиво размышляла вслух бабушка,— самое лучшее, что было бы — пройти путь революционерки, а потом закончить *ВПШ*, но, увы, это все нереально: революций в обозримое будущее не предвидится, скорее — контрреволюция при наших зажравшихся и потерявших из-за старости рассудок политбюровцах и «лично Леонида Ильича», как сейчас принято говорить при всяком случае и без случая. А в *ВПШ* нужен партстаж и пяток лет работы на должности не ниже инструктора райкома партии».

Вот с первой четверти нового учебного года все резко поменялось. Во-первых, старшая тетка, «самая неграмотная в семье», как говорила Виктория Ильинична, то есть не захотевшая в молодости учиться в институте и проработавшая весьма долго закройщицей в лучшем ателье города, по каким-то интригам в бабском коллективе потеряла очень хорошо оплачиваемое место и устроилась старшей костюмершей в драмтеатр. Поэтому Лера получила «вечную контрамарку» на все спектакли, чем и не преминула воспользоваться. А во-вторых, в то же время с ней произошел медицинский казус, малоприятный по собственно медицинской части, но совсем недурной по последствиям. В рано наступившую осень с непрестанными дождями и противным ветреным холодом, что бабушка как-то логично связала с происками «зарвавшегося американского империализма», Лера схватила сильнейшую ангину, кото-

рую очень успешно излечила в обкомовской поликлинике опытная, старая, ровесница Виктории Ильиничны и учившаяся с ней с одной гимназии, врач-отолоринголог. И случилось некое подобие чуда: звонкий, а от этой юношеской звонкости безличный голос Леры переродился в специфическое контральто, несколько грудное, даже с каким-то намеком на ту очаровательную женскую хрипотцу, что так волнует слушателей, особенно мужчин; это как интригует их же в красивой женщине легкое косоглазие, ямочки на щеках, самую чуть вытянутое, «козье» аккуратное личико и немного, упруго-кривоватые ножки — понятно, что при всей общей их и фигуры стройности... Главное — не сухие, не толстопятые и с округлыми коленками. Впрочем, здесь вопрос тонкий, как не переборщить. Верка-травести по этому поводу резонировала: «Им, кобелям, порой и не знаешь что нужно. Поэтому лучше знакомиться при свечах и чтобы в меру пьян был!»

Старушка-отолоринголог, приглашенная по поводу излечения внучки Викторией Ильиничной на домашний ужин, после долгих воспоминаний с однокашницей о годах гимназической учебы, революциях и войнах разъяснила физиологический механизм происшедшего у Леры изменения голоса. Сказала, что в ее практике это уже третий случай.

...Этот новый тембр и тональность все отметили сразу, а с подачи театральной тетки с Лерой поговорил главреж, не кобелистый, серьезный человек, рекомендовал подумать об артистической карьере. А в школе ее мигом вовлекли в драмкружок, которым также серьезно и с полной увлеченностью руководила учительница литературы, беззаветно влюбленная в театр и другие лицедейские виды искусства. Школьный их драмкружок, почти маленький театр, часто отмечали в обеих городских газетах, несколько раз снимали для местного телевидения.

После окончания школы тот же главреж, человек в театральной жизни опытный, не советовал сразу кидаться поступать в театральный институт, разъясняя пришедшей за советом Виктории Ильиничне:

— Понимаете, способности, а со временем может и талант, у вашей внучки налицо. Но соревноваться на равных со столичными

претендентками на поступление ей не резон, нет той бойкости еще. Здесь важен другой момент: возраст ранимый, гордый и пока неустойчивый. Не поступит — разочаруется, махнет рукой, на этом все и закончится. Да при наличии данных и желании вовсе необязательно учиться в престижном театральном вузе. Предлагаю более скромный внешне, но вполне адекватный, проверенный путь для провинциалки с артистическими устремлениями: пусть начинает работать у нас «с гардероба», например, в костюмерной команде вашей дочери; заодно здесь и глаз за ней будет — актерская среда специфическая в части молодых девушек; мы с вами, как люди взрослые, это прекрасно понимает. А так она пообвыкнет к специфике театра, потом начнем ее в массовки включать, а для образования — заочно в *МГИК'е*. Там умопомрачительных конкурсов нет, сама поступит. А понадобится — и я позвоню, есть там у меня пара-тройка знакомцев по жизни. Договорились, Виктория Ильинична? Ну и прекрасно. Не сомневаюсь нисколько, что вы все эти доводы нужным образом доведете до будущей, надеюсь, примы.

...Опека тетки и главрежа, конечно, дело великое, но и театральный климат, тамошние актеры-молодцы тоже немаловажны. И сессии в Москве, даже учитывая, что Лера жила там не в общаге, но у своих родственников. Заведение это, как в очной, так и в заочной части, было залихватским. А через молодых актеров и актрис своего театра веселье начала взрослой жизни толкнуло Леру и в бомондные компашки, спасавшиеся от скуки серого пролетарского города в питье и необременительном какими-либо обязательствами и обещаниями постельном времяпрепровождении. Все это естественным образом переплетенное с легким диссидентством, мелкой фарцой, кабацким завсегдатайством. Верховодили здесь клубные и ресторанные же лабухи. Таким путем Лера и в Женькину компанию попала, где встретилась с Геннадием уже пообученной в любовном деле... пока все еще без любви. Несколько урезонили ее разбежавшуюся чувственность уже в двадцатилетнем возрасте история с «первым любовником» театра Печенеговым и совсем уж санитарно-грязное происшествие, в фигурантки которого ей явно кто-то свыше не дал попасть.

Дело обычное поначалу: компания, что называется, второй све-

жести: пара потрепанных лабухов, притиравшийся к местному книжному издательству полумолодой поэт, еще кто-то непонятный, один и вовсе с тюремными наколками. Девицы подстать, а Леру затащила бывшая одноклассница обещанием познакомить как раз с этим поэтом. Стихи его Лера недавно читала в только что вышедшем под эгидой обкома комсомола сборнике; чем-то они ей приглянулись, разбудив любопытство.

Как оказалось, компания эта гуляла вторые сутки — разошедшийся поэт щедро пропивал накануне полученный в издательстве аванс за готовящуюся книжку стихов, то есть шла откровенная групповуха. Поскольку деньги у поэта иссякли, он слегка от этой мысли протрезвел, произвел определенное впечатление на Леру, которую успели-таки подпоить ликером-«бабоукладчиком». Но и она сумела взять себя в руки — словом, поэт, к которому присутствовавшие потеряли внимание, ушел провожать молодую и красивую актерку. Одноклассница бывшая осталась. На воздухе хмель вернулся к Лере, поэтому она без особых уговоров согласилась зайти «на кофе» к своему спутнику. Но перед дверью своей однокомнатной квартиры в «хрущевке» в ближнем Поречье тот засуетился, забегал руками по карманам. Оказалось, что в двухсуточной гульбе где-то потерял ключ. Начал нести всякую чушь: «Ты посиди в скверике, я на хату смотаю, поищу там...». Лере стало жалко совсем потерявшего свое лицо и натренированное достоинство поэта, а от неудобства ситуации появилась и злость на себя: совсем потаскухой сделалась; так и до ночной парковой скамейки дело дойдет!

Она ничего не сказала несостоявшемуся партнеру, сухо простилась и выбежала из подъезда, а за углом дома, на дороге удачно притормозила такси.

Через три дня ей позвонила бывшая одноклассница, осторожно осведомилась о здоровье и огорошила: все участники давешней посиделки-поспалки, включая ее самою и поэта и исключая фарцовщика с наколкой, со вчерашнего дня всем коллективом, но порознь — от досужих глаз, ездят в *КВЖД* колоться в Алибеку-спасителю. Кто занес «простуду» — выяснять не стали. А фарцовщика пользует, наверное, тюремный венеролог в *КПЗ*. Ему,

стервецу, видите ли, мало показалось своих баб, дескать, старухи все! И отловил в ту же ночь в своем пригороде малолетку и пытался изнасиловать.

Лера с каменным выражением лица выслушала, холодно пожелала выздоровления и свободной рукой нажала телефонный рычаг. Что называется «к сезону» вспомнила, как в прошедшую сессию и ее московский родственник, двоюродный или троюродный племянник, но ровесник ее, студент пединститута, все подбивал к ней клинья, деловито поясняя, что их родственность дальняя ничего не значит: «А потом, Лерочка, мы — дворяне, а у дворян, в отличие от простонародья, кузенные браки не воспрещались. Вспомни «Натали» твоего любимого Бунина? Ведь там Виталий факал свою двоюродную сестру по матери Соню».— «Не успел, Натали помешала»,— механически ответила Лера прыщеватому родственнику и велела ему больше на глаза ей не показываться. Останавливалась же она в тот раз в другой ветви потомков братьев Виктории Ильиничны.

Все так же продолжая прижимать коротко сигналящую телефонную трубку к правому уху, Лера громко и четко, делая искусственные паузы между словами, сказала сама себе с бабушкиной дидактической интонацией: «Пора браться за ум, особенно за ту его часть, что ответственна за раздвижение ног!».

* * *

До той встречи с Геннадием в Ленинграде... а впрочем, и спустя около года после нее, Лера несколько раз пробовала влюбиться. Увы, все заканчивалось скучно и удивительно однообразно. Вряд ли что здесь могла подсказать всезнающая бабушка, а с матерью тема эта как-то сама собой уже с юности стала фигурой умолчания, домашним табу. Однако она четко осознавала некоторое временно́е различие: до ленинградской встречи она ждала и искала любви как ниспосланного свыше откровения, то после — как успокоения, а скорее всего как забвения. Забвения намеренного, забвения того, что вроде и нашла, но не смогла преступить житейские каноны.

Вот послушаешь Верку-травести, так все проще простого:

живи, наслаждайся дозволенным и не очень дозволенным; оно и для здоровья потребно и полезно. Свое же безмужество объясняла откровенно как самоочевидное:

— Тебе, Лерка, оставаться одной западло: и для себя, и для потенциальных кандидатов в мужья. Начнем со второго. Человек, как тебе хорошо известно, животное общественное. Не веришь — спроси у Виктории Ильиничны. А раз общественное, то каждый из нас только волен в своих делах, даже самых обыденных. На самом же деле каждое малейшее отклонение от установленных норм — кому-нибудь да во вред. Вот тебе под тридцать, не замужем. А это значит в некотором общем раскладе, что какой-то, абстрактный для тебя мужик до такого же возраста мается в холостяцком прозябанье. Это хорошо, что ты время от времени укладываешься с кем-то в постель. Значит и тот абстрактный мужик имеет шанс перекинуться, как говорят в пьесах об эпохе Екатерины Второй, с более или менее приличной и красивой бабенкой. Но все это — самообман...

— Вот не ожидала от тебя таких выверенных речей! Даже мороз по коже прошел: прямо бабушка Вика!

— Я в школе отличницей была и в театральном не из последних. Если бы не рост мой и отсутствие московской прописки, то видели бы вы меня в нашей богадельне! Я вообще-то умная, но хара́ктерность моих ролей требует придуряться, а распутничаю по причине врожденной чувственности и опять же малого роста и мальчишечьей фигуры, да еще склонности к полноте. Но все это прекратится в тридцать лет: сама себе найду мужика невидного, но надежного. Ты же птичка высокого полета, тебе сложнее, но вот сейчас обратимся к первой части утверждения о вредности одиночества: вредности для самой себя. А впрочем здесь и говорить нечего. Все и так ясно: личного счастья нет, неустойчивость всего течения жизни и так далее. Но обычно забывают еще один существенный момент: долгая и одинокая старость, ибо даже если женщина становится матерью-одиночкой, то подросшие дети, особенно дочери, очень быстро уходят на сторону. Это не от бесчувствия молодости, но инстинкт самосохранения: не хочется повторять судьбу своей матери.

— Хватит, Верка, о печальном!

— Нет, не хватит. Не привередничай, а выходи замуж. За кого угодно, потом разберешься. Хватит, порадовались вольной жизни. Еще благодари судьбу, что уберегла она тебя от всяких «приятностей» вольнолюбия: абортов, будь они неладны, визитов к Алибеку, сцен обиженных жен...

— Послушать тебя, так я стопроцентная проститутка!

— А вот их-то трогать словесно не стоит. Это совсем другое, это профессия. У нас же с тобой другим, менее благозвучным словом называется. Что хорошо для восемнадцатилетней, то для нашего возраста... а-а, сама все прекрасно знаешь и понимаешь.

Лера совсем развеселилась: в телевизионном сериале как раз героиня, даже чем-то внешне похожая на Верку, только росточком повыше, с челкой до бровей и задом поменьше, разочаровавшись в предыдущих двух десятках серий в мужской привязанности и обязательности, решила пойти в содержанки к семидесятилетнему «владельцу заводов и пароходов» с явно старчески-порочными наклонностями. Как и положено в мыльных операх, на протяжении времени половины серии она сама с собой беседовала, обосновывая психолого-физиологическую допустимость такого решительного шага.

«Вот откуда Верка берет свои умные теории»,— тоже вслух сказала Лера, смеясь. Даже Машка, было задремавшая, подняла на нее удивленные глаза. А вот Верка очень гордилась своей теорией о легитимности проституции, охотно ее озвучивала в подпитых компаниях, правда, ссылаясь в доказательной части на беседы ее с неким профессором, одно время состоявшим в поклонниках таланта и тела Верки. Кстати, как она поясняла недоверчивым, вовсе не извращенец был, даже не старый. К сожалению, накрепко женатый. А Лере по-женски доверительно-бесстыдно наедине поясняла, что нравоучительные беседы с профессором они вели в постели.

— Он что, совсем импотентом был, если тебе лекции в постели читал?

— Никакой не импотент,— возмущалась Верка,— я еще в тираж не вышла, чтобы роль утепленного одеяла играть. Совсем наоборот: жена его, стерва, совсем растолстела и обленилась, поэтому он и с девочками развлекался, отрываясь от ученых заня-

тий. Нормальный пятидесятилетний, малопьющий мужик: все у него в порядке было, даже, сукин кот, потом меня на аспирантку поменял. А разговоры разговаривал по профессиональной привычке: всю жизнь ведь только языком и крутит: та-та-та, та-та-та! И корень квадратный впридачу. Но все же пятьдесят — не двадцать, перерыв нужен. Пьющий мужчина эту паузу естественную использует для дела: пару стопок примет, закусит, покурит. А этому чем время «созревания» занять, как не трепотней?

— Да, подруга, прямо по Бунину: «И, обвеянный мечтами, забываться начинал...».

— Вот, видишь,— засмеялась Верка.

...Суть же присвоенной Веркой теории сводилась к тому, что профессиональная же проституция есть отшелушенная от всяких романтических, условных наслоений изначальная женская природа — природа самки, выработанная в эпоху позднего патриархата. Будучи — по сравнению с предшествующим матриархатом — отстраненной от активного участия в добывании первобытных материальных благ, но в то же время оставаясь ответственной за поддержание домашне-пещерного очага, женщина была вынуждена поставить себя в определенные торгово-договорные отношения со своим мужчиной, который, ссылаясь на занятость по охоте на мамонтов и военные упражнения с соседним племенем, совсем обнаглел и перестал заботиться о домашних делах. То есть завела мысленную хозяйственную тетрадь, куда вносила все дебеты-кредиты, а в качестве своеобразного товара сделала первобытную постель с простынями из звериных шкур. А дальше по истории эволюции человечества пошло и поехало. Словом, «когда казаки плачут».

— Получается, по твоим словам, вернее, твоего предбывшего молодцеватого профессора, что и замужество есть вид цивилизованной проституции?

— Конечно, исключая любовную предысторию, когда женщина временно забывает о договорной основе брака. На Западе, где народ практичный, давно это уже не фигура умолчания, отсюда и ихние брачные контракты.

— Да-а, невеселы наши дела, если вглубь копнуть. Самой-то как такая перспектива?

— Да никак, не мною это установлено. Потом, я жадная до

любовных утех, а к деньгам равнодушна. Главное, чтобы горький пьяница не попался: и в постели пустое место, а денег и вовсе нет...

Когда Лера, опустив описание постельной предтечи, пересказала все это бабушке, то та, чуть подумав, для уточнения отослала ее к первоисточнику: работе Фридриха Энгельса «Происхождение семьи и частной собственности». «Стареет милая бабуся,— грустно подумала Лера,— уже и названия трудов основоположников точно не помнит».

...Вспомнив же свои давешние мечтания о телефонном звонке Геннадия, опять задумалась: что это — наваждение или... Вот это «или» было камнем преткновения. И все знавший о любви Бунин не дает ответа:

Но для женщины прошлого нет;
Разлюбила — и стал ей чужой.

Но не становится со временем чужой, нет. Значит — не разлюбила.

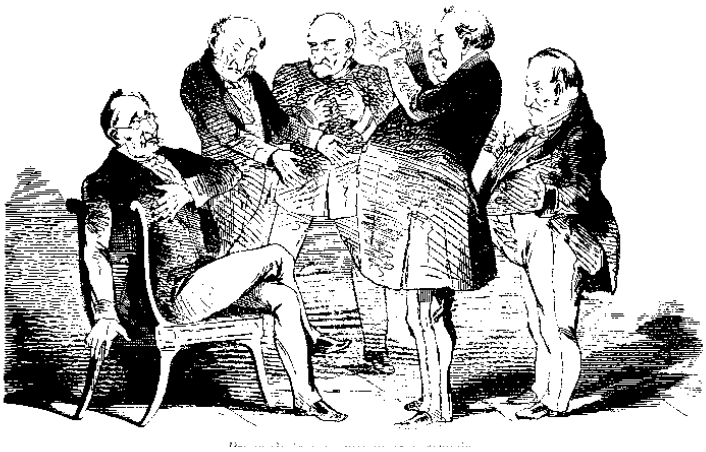
Пришел в губернию грант на два миллиона рублей по линии укрепления отечественного птицеводства. Что делать? Задумались чиновники по департаменту сельского хозяйства; ну, конечно, полтора-то «лимона» можно смело списать на орграсходы и укрепление материальной базы департамента, но ведь отчитываться чем-то надо? Повздыхали и, скрепя сердцем, выдали оставшуюся четверть грантовой суммы единственному в губернии сельскохозяйственному профессору Курощупову. Конкретную тему, мол, сами изберете, на то вы и профессор. Обрадовался Архип Денисович, обзвонил все оставшиеся колхозы и птицефабрики, просил образчики кур-петухов приносить к нему для анализов и исследований. Потянулся к нему в лабораторию народ, а тот левым глазом посмотрит на квочку, правым — в ученую книжку, обрадуется и запись в толстой тетрадке сделает. Полгода, год, уже полтора прошло. Забеспокоились в департаменте, послали за профессором — сами гордые идти:

— Нуте-с, г-н профессор, где отчет о потраченных на научные изыскания деньгах?

— Вот, возьмите,— протянул им Курощупов отчет толщиной в два кирпича.

Раскрыл главный специалист департамента том на титульном листе... и с тех пор он клинически заикается. Тема отчета гласила: «Профилактика потливости кур-несушек».

...И только супруге, очень довольной укреплением бюджета семьи, под большим секретом Курощупов сказал, что его перекупили городские купцы, торгующие «ножками Буша». Вот он, истинный союз науки и бизнеса!



Собрались в купеческом городском клубе виднейшие первогильдийные оптовые торговцы. Пообедали чем бог послал, похвалили особенно паровую осетрину, настоящую мадеру с острова Мадейра и конек шеф-повара Общепитова — лангусты в креветочном соусе «пикан». Опосля вышли в курительную комнату и завели деловой разговор. Всех волновало, но и вдохновляло нововведение городских властей: в целях благоустройства вверенного им народным волеизъявлением города и поддержки малого бизнеса и среднего класса покрыть сусальным золотом крыши всех домов с этажностью более семи. В «Городском вестнике» и народной газете «Толока» пропечатано о том извещение и распределение лотов между потенциальными подрядчиками. Из собравшихся в курительной комнате купцов более всего доволен Акинфий Евстафьевич, главный поставщик китайского сусального золота для городских нужд. Не возражает и Дормидонт Титыч — владелец всех городских билдингов: подряды предусматривают и оплату причиненных неудобств владельцам многоэтажек. Остальные тож что-то по мелочам прикидывают.

— Повезло нам с администрацией города! — восхищается Акинфий Евстафьевич,— не оставит без куска семги и пудовика икры честного предпринимателя.

— Да-а, серьезный народ в руководстве нашем подобрался,— поддакивает Дормидонт Титыч,— главное, правильную тактику избрали: превратить наш прежний, совково-серый город в некое подобие сверкающей ныне на солнце столицы! Это я не в укор вам, достопочтенный Акинфий Евстафьевич, как бывшему начальнику «Горстроя» говорю. То дело прошлое, за то бывшая наша партия пусть отвечает.

— Избави бог, Дормидонт Титыч, обижаться. Вы же, как второй секретарь обкома, меня и призывали к экономии средств и песочили не раз за «украшательство»!

Глава двадцать седьмая.
ЛЮБОВЬ МУЗЫ МЕЛЬПОМЕНЫ: ОЛИМПИЙСКОЕ И ЗЕМНОЕ

Сыну Пелея рекла светлоокая дщерь
Эгиоха:
«Бурный твой гнев укротить я, когда ты
бессмертным покорен,
С неба сошла; ниспослала меня
златотронная Гера;
Вас обоих равномерно и любит она
и спасает...»

«Илиада», песнь I, ст. 206—209

В ту ленинградскую встречу — за два с небольшим года до встречи *той*, что дала жизнь дочери Маше — шел к концу последний год поворотных восьмидесятых: апофеоз горбачевщины, уже дохнувшей холодом скорого отчаяния не только великой страны, но, увы, и всего мира. Лера после той осени и по сей день не сомневалась: это судьба их, ранее знакомых почти шапочно, исключая шалую юную ночь в Женькиной квартире, свела — и с серьезным карт-бланшем на недалекое будущее. Иначе как объяснить, что они без какого-либо намерения, случайно нашли друг друга в многомиллионном городе? Как говорила бабушка: «В бога можно и не верить, а от судьбы не уйдешь».

Как поведал Геннадий в первые же минуты столь неожиданной встречи — а она это тотчас отметила для себя — он и в мыслях до позавчерашнего дня не держал о поездке в Ленинград, хотя город любил и не раз здесь бывал по различным поводам.

...И действительно, в предпоследний день сентября завкафедрой Меркулов через лаборантку срочно вызвал Геннадия прямо с семинарских занятий:

— В Ленинград хочешь слетать за казенный счет?

— Кто же откажется. А по какой части?

Николай Игоревич пояснил, что только что получил через институтский телетайп приглашение на расширенный симпозиум,

совмещенный с форумом:

— ...Словом, вот тебе бумаги, сам прочтешь и разберешься какой там форум с симпозиумом. Вспомнил обо мне давний приятель и однокашник; он после окончания ленинградской ВПШ закрепился там же, теперь член-корр и прочая, прочая... И по телефону позвонил, разъяснил: этот винпозиум* кем-то из нынешних троцкистов-ревизионистов задуман как решительный бой новых либералов ортодоксам типа меня. Вроде как с размахом собрались проводить: целых десять дней, не считая приезда-отъезда, размещение, три банкета за счет заведения...

— А сами почему не хотите съездить?

— Понимаешь, Гена, у меня что-то давление в эту осеннюю пору всегда играет, поэтому сажусь на диету, понятно какую. А там соберутся друзья-приятели, по многу лет не виделись... а я как белая ворона буду минералку скучно пить. А потом, ясно кто там будет шишку держать, мальчиком же для биться быть? — Поотвык как-то. Так что поезжай. Сегодня командировку оформляй, завтра в путь. Приятель же мой хотя и ортодокс навроде меня, но в оргкомитете не из последних. Я ему уже по телефону все объяснил и тебя рекомендовал. На вот, передашь ему пару бутылок нашей фирменной с завода Цибульника; этот хохол начал гнать недурную перцовку с добавлением облепихового и шиповникового сиропов. Вроде как бред, но — вкусно и полезно для здоровья. В широкую продажу еще не поступала, мне сам Цибульник — он мой сосед по дому — презентовал, говорит, что на рецепт выправил авторское свидетельство. У него племяш на строительном факультете учится, так не забывает меня новинками своей винокурни обнести. Давай, двигай, пока все подписанты командировки по местам сидят!

Командировку к концу рабочего дня Геннадий без труда оформил, хотя в последнее время институтское начальство стало часто и пространно говорить об экономии и эффективности использования бюджетных средств. Выстаивая небольшую очередь к кассе за командировочными, он боковым зрением отметил сдружившегося с

* Известная в ученых кругах игра слов: в Древнем Риме симпозиум читался как «беседа с возлежанием и питьем вина».

ним доцента Енукидзе, что выскочил весьма довольный из расчетного отдела бухгалтерии, кивнул ему.

— А-а, командированному привет. Пойдем в ближнюю стекляшку, отметим твою командировку* слегка, портвешком. Я тебе ценную информацию дам.

К обоюдному удовольствию в «Весне» сегодня разливали недурную узбекскую мадеру; конечно, это не «Массандра», но ведь и не аргеевское пойло из пережженных панировочных сухарей?

— Я ведь в Ленинграде учился, если помнишь, и два-три раза в год правдами-неправдами стараюсь там побывать: друзей и подруг былых наведать, от Нины-ханум немного отдохнуть, винца без опаски попить, опять же по женской части, ха-ха! Вот тебе скажу, всем город на Неве хорош, но кроме одного: с проживанием приезжающих сущий кошмар! Гостиниц мало и не пробьешься, студенческих общежитий тоже нехватка, в частный вузовский сектор — клоповники в Озерках и Шувалово. Но года три назад ребята с машфака дали один телефончик ленинградский: хозяйки — бабка с дочерью круглый год на благоустроенной даче в Парголово живут, а однокомнатную квартиру у станции метро «Академическая» также круглый год сдают навроде частной гостиницы. Дело тонкое, поэтому пускают только по рекомендации и земляков — старшая хозяйка из нашего города будет. То есть приедешь ты, убедишься, что поселят в лучшем случае в студенческой общаге, и звони вот по этому номеру; спрашивай Елену Тихоновну или Галю. Пароль — моя фамилия; я там этой весной останавливался. Сервис полный, телефон, мусоропровод, телевизор, две постельки с крахмальными простынями и за все — про все червонец в сутки. Хозяйки контролировать, являться не будут, только раз в два дня звони им; на даче тоже телефон. Кстати, осень не сезон, большая вероятность, что квартира сейчас пустует, но ты вот сегодня позвони, забронируй.

Геннадий поначалу несерьезно отнесся к словам Енукидзе, но

---

* Необходимое пояснение: командировка — это служебная поездка; командированный — тот, кто едет; командировочные — деньги на командировку; в современных безграмотных СМИ и фильмах последние два слова путают.

в оргкомитете на Васильевском острове, в ЛГУ, куда он сразу поехал, выйдя с утреннего поезда «Кисловодск — Ленинград», что проходил через их город, куда Геннадий погрузился предыдущим вечером, пройдя регистрацию, получил направление на проживание почему-то в общежитие Института авиационного приборостроения. На вопрос же о гостинице секретарша комитета как-то необидно объяснила, что он еще не профессор, да и тех с трудом тем разместили.

Она разъяснила, что нужно перейти мост, чуть подняться по Невскому, сесть в автобус-«полтинник» и доехать до остановки «Банный комбинат». При упоминании о бане Геннадий почему-то ассоциативно насторожился:

— А что, там, в институтской гостинице, номера без удобств, так сказать?

Секретарша с грустной улыбкой посмотрена на интересного молодого мужчину, не знакомого с реалиями Северной столицы:

— Помилуйте, Геннадий Борисович! Какая институтская гостиница? Хорошо хоть там, в общаге, под ремонт освободили часть третьего этажа: обычные студенческие комнаты на четыре человека. А вот в июне конференция была по авиационным приводам, так рядовых участников в клубной зале размещали — матрацы на полу в три ряда! Ленинград, что поделаешь...

— Можно? — Геннадий потянулся к телефону и набрал номер дачи в Парголово. Судя по голосу, трубку взяла старшая хозяйка, выслушала про привет от Енукидзе, спросила, где он находится, что-то прикинула и с четкостью полкового квартирьера продиктовала:

— Значит так, Геннадий. Сейчас идите на метро — с тыла университета через Большой проспект, далее едете до «Академической», выход на проспект Науки, не на Гражданский; не перепутайте. Переходите через проспект и налево минут пять-шесть идете до пересечения с улицей Вавиловых. Прямо на углу, по Вавиловых дом. Ждите у последнего — по номеру — подъезда. На все и про все это у вас займет час времени. Примерно тогда же подъедет и Галя; она сейчас на работе, на Петроградской стороне. Номер дома для верности помните? Хорошо, а Галя заселит вас.

Несколько удивив секретаршу, Геннадий вернул ей направление в общагу, осведомился о реальном, не официальном на бумаге, распорядке завтрашнего дня, посвистывая отправился по диспозиции Елены Тихоновны, парголовской сиделицы.

Приятная фигурой, моложавая Галя сразу вычислила одиноко толкущегося перед подъездом постояльца, поздоровалась с приветливой улыбкой. Когда тот галантно попытался отворить перед Галей дверь подъезда, та еще больше заулыбалась:

— Вам, наверное, в диковинку наши ленинградские подъезды на запоре? Сейчас открою,— достала из сумочки длинный плоский ключ, словоохотливо поясняя провинциалу:

— Это только у нас такие порядки со времен революции и войны: от мародеров.

Геннадий посочувствовал, дескать, до нас это вряд ли дойдет. Спустя годы, вспоминая гостеприимную квартиру у метро «Академическая», усмехнулся: сглазил он тогда!

Войдя с постояльцем в квартиру на четвертом этаже многоподъездного девятиэтажного дома, Галя скоренько все показала и пояснила, вручила ключи, приняла четыре двадцатипятирублевки:

— Вроде все. Извините, с работы на час отпросилась. Будете уезжать, позвоните на дачу или мне на работу. Телефоны на всякий случай написаны на бумажке, что приклеена к аппарату. Квартиру заприте на три оборота, а ключи, завернув в газету, бросьте в наш почтовый ящик между первым и вторым этажами. Да, если будете по межгороду звонить, то примерно прикиньте сумму, но обычно телефонистка время сообщает, а на тумбочке распечатка с расценками, а деньги тут же и положите. Хорошо вам отдохнуть! До свидания.

Через час Геннадий, заморивший голод заваренным из хозяйских запасов чаем, принял душ и, все так же посвистывая, вышел из дома, дошагал до метро и вскоре уже входил в дверь Московского вокзала, где оставил в автоматической камере хранения дорожную сумку с пожитками, двумя бутылками презентационной водки и еще парой своих, учитывая продолжающуюся антиалкогольную истерию — чтобы не таскаться с ней по университету с утра.

И лоб в лоб столкнулся с выходящей с вокзала Лерой.

* * *

Лера никогда не была в Ленинграде. В школьные годы не довелось, а гастроли провинциального театра пролегали мимо столиц; если же и доводилось в них выступать, то это были столицы Мордовии или Удмуртии. Впрочем, в один из сезонов загорали на рижском взморье. И бабушка поощряла ее желание: «Как же не побывать хоть раз в колыбели революции? Это просто неприлично, моя дорогая. Опять же БДТ, Кировский театр? Нет, брось свои неотложные якобы дела и обязательно съезди».

Но как-то все не получалось. «Старею, наверное, потеряла тягу к перемене мест, вот и ищу отговорки»,— разозлившись, упрекала она себя. А вот в эту осень звезды раскинулись на небе в нужном порядке. Захотелось хоть на время поменять устоявшуюся обстановку. Сентябрь по всей Европейской России стоял замечательный, прямое продолжение лета, а теледикторы комментировали долгосрочный прогноз на октябрь очень оптимистично. Но главное — текущий плановый ремонт здания театра перешел, как говорил главреж, в неплановый полуканительный, что отодвигало открытие сезона, и октябрь для актеров оказался отпускным месяцем.

Сложным оставался вопрос о жилье, ибо Виктория Ильинична еще со времен курсов Академии красной профессуры в тридцатых годах была прекрасно осведомлена об этой хронической ленинградской специфике. Но она же и взяла инициативу на себя, нашла телефон и созвонилась с давнишней приятельницей чуть ли не по этим самым курсам:

— Вот, Лерочка, Тамара Иосифовна с охотой приютит тебя на неделю-другую. Правда, живет она далековато от центра, в Ольгино на Колодезной улице — это на мысе между Финским заливом и Лахтинским разливом, но по ихним меркам не на краю света. Зато у нее свой домик. Я вот тут записала ее телефон и как добираться от Московского вокзала.

Сообщение о собственном домике в Ольгино несколько огор-

чило Леру, но сказавши «а»... Словом, в предпоследний день сентября она утром села на московскую электричку, до вечера провела время у троюродной сестры Александры, с которой давно сдружилась по родственности профессий, а потом в ночь помчалась на ленинградском скором.

Лера намеренно поехала последним ночным поездом с тем, чтобы прибыть в Ленинград ближе к полудню, а не искать по раннеутренней темноте и холоду домик Тамары Иосифовны по берегам Финского залива. И второй момент: очень хотелось пообщаться с Александрой, одногодкой, певшей в филармоническом хоре, а для полноты сходства — также незамужней при замечательных внешних данных. Они крепко сдружились во время учебы Леры в *МГИК'е*, теперь же виделись не столь часто: раз-другой в год она приезжала в Москву, столько же Александра гостила в их доме. Из столичной родни она являлась любимицей Виктории Ильиничны. К поезду же на площадь трех вокзалов Леру отвез сводный брат Александры; понятно, что и она проводила троюродную сестру до купе. Кстати, именно этот сводный брат еще в середине дня сгонял на своих «жигулях» до Ленинградского вокзала и по своему почину взял билет в купейный вагон, желая сделать Лере приятное. Был он галантен и служил в «конторе», как сам говорил, продолжая семейную профессию.

Вот эта-то галантность и вышла Лере слегка боком: попривыкши за вторую половину сентября к ровной — на улице и в квартире — комфортной температуре ранней, «золотой» осени, в купе с закрытыми окнами и задвинутыми дверями, щедро отапливаемом дармовой поездной электроэнергией, она больше полуночи так и не смогла заснуть с непривычки. Хотя купе-то и было заполнено наполовину: кроме нее на второй нижней полке разместилась молодая женщина чуть постарше ее с двухлетним сыном, так что Лера даже и в мыслях не держала предложить чуть приоткрыть верхнюю створку окна. И только когда под утро соседка с ребенком сошла в Бологом, где по ее словам дожидался муж на машине, чтобы везти в какой-то военный гарнизон, Лера окно приоткрыла и заснула, но все одно не очень-то спокойным сном.

А до того времени то закрывала глаза, то, утомившись насиль-

но сжимать веки, вновь открывала, начинала бессмысленно считать врывающиеся в окно и гаснущие огни встречных поездов.

Утомившись бороться с дорожной бессонницей, Лера полуприкрыла глаза веками и постаралась отвлечься каким-либо осмысленными рассуждениями про себя. Зачем она, собственно говоря, направляется в Питер? По логике следовало, что основания для поездки сомнений не вызывают. Более того, они, эти самые основания, весьма гармонично дополняли друг друга. Но вот если подумать об основной причине? — Здесь вся гармония рассыпалась. В мистику Лера не верила, хотя со слов бабуси и кой-каких фактов собственной жизни не возражала против знахарско-колдовской наследственности. Но не настолько, чтобы уверить себя: в Ленинград ее влечет некая неведомая ей сила с целью, опять же ей неведомой. «Замечталась, девушка... в двадцать восемь лет,— горько усмехнулась Лера, чуть поморщившись от воющего и стукотного грохота набежавшего встречного поезда — сакральные встречи принца в генеральском мундире себе наколдовываешь. А сама еще лет пять тому назад стихами в заветной тетрадке писала: «Не жду уж больше принца, не придет». А если и придет, то Печенегов очередной в генеральском реквизите! Неужели я тогда порчу действительно на него навела? Смешно».

Лера поворочалась, поудобнее устраиваясь, но сна как не было, так и не шел он. Без малого тридцать — это не бабушкины лета, даже не «бабья пенсия», но все равно уже всякое отклонение от привычного ритма выбивает из колеи. А ведь мотаясь в Москву во время сессий, так и в переполненной, галдящей «колбасной» электричке, на рубчатых досках скамеек, стиснутая потными от беготни по столичным продуктовкам бабами, без труда засыпала: промелькнут за окнами Текстильщики, народ поуспокоится — и в сон. Заученно, как по таймеру, откроет глаза: как не было четырех часов и полутора десятков торможений-остановок-троганий на станциях, полустанках и платформах,— уже вечерние огни родного города медленно наплывают. И вообще ты, Лерка, уже к бабьей манере мышления склоняешься, даром что стихи тайком от домашних в заветную тетрадку строчишь и вообще замышляешь... нет, нет, об этом рано и говорить; это как музы распорядятся ее мозга-

ми. «И вообще, думай лучше о практической стороне жизни,— рассердилась она, снова прикрыв веки, пропуская очередной встречный поезд, судя по тяжелому рельсовому перестуку - товарняк,— стихи, принцы... Перед матерью и бабусей стыдно уже; вот старушка наша профессорша и твердит постоянно, что в их роду женщины в тридцать лет замуж выходят. Не от хорошей жизни в доме она это талдычит, а ее, Леру, поддерживает по чуткости и доброте душевной: мол, все у тебя, внучка, еще впереди!»

Она совсем потеряла ощущение времени, маясь без сна, одолеваемая сумбурными мыслями — непременными спутницами глухого ночного времени. Совсем было собралась встать, выйти в коридор вагона, где свободно гуляет неморозкий раннеосенний ветерок из приоткрытого на пол-ладошки окна, подышать свежестью облетающего листьями леса... Но именно сейчас в дверь снаружи постучала проводница, тут же, щелкнув языком замка, чуть отодвинула полотно двери и негромко сказала в сторону мигом проснувшейся соседки Леры: «Готовьтесь, гражданка. Через пятнадцать минут Бологое. Билеты нужны?»

Оставшись же одна в купе, приоткрыла окно, перебравшись с постелью на освободившееся место соседки — заглавное по движению поезда, чтобы не продуло, и тотчас заснула. Спала до начала светлого дня и прихода проводницы с чаем в трогательных с детства эмпээсовских мельхиоровых подстаканниках. На сей раз подстаканник имел датировку «1980» и вытесненный один из предварительных вариантов эмблемы Московской олимпиады. Из этого Лера заключила, что подстаканники этого вида штамповали загодя до открытия спортивно-политического шоу где-нибудь в Кольчугино или Павловске по понравившемуся директору заводика эскизу эмблемы. Она вспомнила, что многочисленные варианты их тогда публиковались в газетах и журнале «Огонек».

Словно в насмешку над ночными, язвительными мечтаниями Леры о принце в генеральском мундире за полтора часа до прихода в Ленинград в купе решительно вошел вскочивший в вагон на полустанке с двухминутной остановкой полковник в черном мундире. То, что это не капеpанг, а сухопутный «моряк», Лере стало ясно с первого взгляда на петлицы и цвет звездочек на погонах:

такой же китель ее отца висел, как память, в материнском шкафу.

Полковник сиял оптимизмом — видно недавно произведен — и здоровьем сорокалетнего удачливого в карьере мужчины, имел гусарскую усатую наружность и лицо тонкого румянца — с осеннего неморозного утренника. Положение обязывает, говорят французы, потому сухопутный Ушаков ловко и привычно повел стремительную осаду крепости Корфу — молодой красивой женщины со слегка хищноватой гривкой густых и жестковатых, стриженных под профессиональный парик волос.

Лера пила чай из стакана с нелегитимным подстаканником и с удовольствием утоляемого утреннего аппетита доедала второй по счету пирожок с восхитительной паштетной начинкой; пока все они трепались с Александрой, ее мать, кулинар от бога, что называется, а по профессии доцент филологии, успела сделать торт к ужину и испекла два десятка своих фирменных пирожков Лере в дорогу:

— Утром, Лерочка, в поезде ими позавтракаешь, а в обед и в Ольгино пригодятся. Я эту Тамару Иосифовну заочно знаю по рассказам тети Вики; она теперь, к старости, сильно религиозной себя почувствовала, тем более одна живет с такой же старушкой-подружкой, дети кто куда разъехались. А по их вере после традиционалистского Нового года* сейчас идет пост. Так что разносолов там не будет.

Полковник за неполные десять минут наговорил саженную кучу комплиментов, рассказал свою боевую биографию и без обиняков пригласил по приезду в Ленинград посетить с ним пустующую квартиру своего друга, самого ушедшего в дальний морской поход на противолодочном корабле, а семью еще не успевшего перевезти из Владивостока — места предыдущей службы.

Лера развеселилась и предложила ему оценить вкус теткиных пирожков. Опытный «ходок», тот сразу оценил реакцию соседки по купе, сам рассмеялся и крикнул в растворенную дверь проводнице принести себе и Лере чая. Разговор перешел на красоты Ленинграда и особенности антиалкогольной компании на Балтфлоте.

...Выходя из вокзала, Лера по ошибке подошла не к правой,

---

* 11 сентября.

выходной, а к левой двери — и отпрянула, когда дверь решительным рывком отошла от ее протянутой было руки, а в каких-то сантиметрах от себя она увидела лицо Геннадия.

* * *

Лера после короткого, не более часа, сна резко проснулась, как всегда делала дома за несколько секунд до звона будильника: физиологические часы, заботясь явно о тишине утренней квартиры, срабатывали с тем, чтобы она успела хлопнуть ладошкой по кнопке на крышке часов. Так и сейчас открыла глаза, прекрасно помня, что будильника справа от постели на низеньком журнальном столике нет, а она в купе поезда. Зачем же проснулась? Ведь всего ничего провела в глубоком, как в темной яме, сне, перебравшись на прохладную, всю ночь простоявшую аккуратно застеленной вторую нижнюю полку из разогретого до тропиков двойной страстью, тесной для двоих, но только не для любовников, ложа. Перебралась, убедившись, что Гену все-таки сморил сон приятной усталости.

Засыпая час с небольшим назад, перед провалом подумала, точнее уловила ускользающее во временное небытие мысль: даже в таком пустяке, казалось бы, как полупустое купе на все время пути, заботливая судьба идет ей навстречу... поправилась: нам навстречу. Навряд ли к добру такая сверхзаботливость! Но тут же вспомнила: и в Ленинград ехала с одной лишь соседкой. Опять же в стране жуткий бардак раскручивается, время осеннее, и вообще жизнь как-то пространственно рассредоточивается. «Во даю! — по-детски весело подумала Лера.— Уже словами Гены говорю». И заснула.

Так зачем она проснулась еще в темный час с ощущением вот-вот зазвонящего будильника? Стоп. Во-первых, вагон словно замер, не так как на остановках, ничто не вибрирует, не вздрагивает, под полом не журчат всякие подвагонные механизмы. Машинально, повернув голову, взглянула на окно: что-то очень знакомое, такое знакомое, о чем привычно не задумываешься, как о цвете домашних обоев... Только сопоставив все это, мигом вспомнила: до-

мой *они* возвращаются кисловодским поездом, от которого два прицепленных вагона уходящий на юг состав оставляет на резервном пути станции их города. А это значит — проспали отгоняемый ею и им в мыслях столь нежеланный момент возвращения на круги своя... окончания медовой десятидневки вспыхнувшей на давних-предавних хилых угольках случайной страсти любви.

— Гена, Гена,— почему-то шепотом принялась она будить его, рывком спустила ноги на коврик купе, инстинктивно прикрывая свою наготу одеялом, затормошила крепко и беззвучно спящего друга за неприкрытое плечо,— вставай, приехали. Сейчас проводница в дверь засту...

В этот момент действительно в дверь постучали, прозвучал приглушенный голос проводницы Нади, достаточно деликатный — за пару червонцев, данных Геннадием, чтобы та не подселяла к ним в купе ночных пассажиров:

— Молодые люди! С добрым утром, просыпайтесь. Приехали.

Лера дотронулась до дверной ручки, чуть повернув ее, давая понять, что услышали. Геннадий меж тем проснулся, но не совсем, ибо расслабленно-капризно заворчал, почему это она не в постели с ним. Сообразив же, мигом поскучнел. Он одевались, уже привыкнув за эти дни не отворачиваться друг от друга, а когда Геннадий механически, не задумываясь, расправил завернувшуюся на плече Леры бретельку бюстгальтера, она уткнулась лицом ему в грудь, обняла и тихо заплакала.

...Выходя из такси около своего дома с башенкой и жестом запрещая ему провожать до подъезда, она, уже открыв дверцу и взяв в левую руку ремешок дорожной сумки, крепко обняла Геннадия правой и впилась в его губы долгим, уверенным поцелуем.

— Все, Гена, поезжай. Помни — это прелюдия, хотя о дальнейшем действии ни ты, ни я представления не имеем. До свидания, милый мой.— Она захлопнула дверь и пошла к подъезду, чуть склоняясь направо под тяжестью не такой уж и тяжелой сумки. Почему-то тоже загрустневший немолодой таксист для вежливости выждал пяток секунд и спросил адрес дальнейшего следования.

...— Ты, Лерочка, вернулась какой-то другой, одновременно спокойная и задумчивая; что ж, Ленинград часто так влияет на людей разумных,— говорила бабушка, разливая чай после завтрака, приуроченного к появлению в квартире путешественницы. Ни Виктория Ильинична, ни мать дипломатично не интересовались такими тонкостями, как местом проживания Леры в Питере, но она мигом уловила подтекст в словах первой:

— Ой, бабуся, я все же Тамару Иосифовну навестила. Оказывается, это самое Ольгино не так уж и далеко от метро «Академическая», где я жила: проехать немного до Кушелевки по Гражданскому проспекту, а там прямой путь, без пересадки, через Новую и Старую деревню и Лахту — без пересадок. Передала ей от тебя привет и презент, а за беспокойство и что в другом месте остановилась, так это я ей по телефону еще в день приезда сказала. А она тебе,— Лера вскочила из-за стола, сбегала легко, по-девичьи, к себе, принесла завернутую в газету, судя по форме, книгу,— вот, бабуся, это алаверды от Иосифовны.

Бабушка с видимым нетерпением развернула газету, раскрыла переплет старoизданной книги, посмотрела на титульный лист и ойкнула, не хуже внучки, от удовольствия:

— Ну, Тамара, ну удружила подруга боевая! Она мне еще в тридцать первом году, когда на Волховстрое встретились на межзональной партконференции, все хвасталась, обещала при следующей встрече дать на время почитать. И смотри ж ты, хотя и полвека с гаком спустя, но слово сдержала: это же первое русское издание «Курса национальной экономии» Дюринга, на которую Энгельс ответил своим классическим «Антидюрингом»! Конечно,— бабушка чуть погрустнела от недостижимости мечты всей жизни, — это не первое издание «Капитала» в переводе Германа Лопатина, но все же раритет большой. В советское время не издавался. Вот спасибо Иосифовне и тебе, конечно, Лерочка».

Ближе к вечеру — мать еще не приходила с работы — Лера все рассказала бабушке.

* * *

После затянувшегося за разговором завтрака старшие женщины ушли по своим делам: то есть Инна Васильевна на работу, а бабушка в свою спаленку: при своей еще относительной бодрости накануне девяностолетия Виктория Ильинична теперь плохо переносила казалось бы замечательную для начала второй декады октября погоду: солнечную с абсолютно ясным небом, свежим юго-восточным ветерком, а к полудню на заоконном термометре все четырнадцать градусов. «Знойная какая-то не по сезону погода, давление высоковато,— говорила обычно она,— на зеванье все тянет, организму кислорода не хватает. Пойду подремлю. Мое теперь время — вечер и начало ночи». Но, судя по тому, как она бережно прижимала к боку заветный дар Тамары Иосифовны, а в правой руке не менее заботливо держала футляр с очками, Лера поняла: не дремать будет бабуся, а Дюринга с его антиподом «анти» будет до вечера сравнивать!

«Счастливая ты, моя бабуся, все страсти и тернии жизни уже прошла, а для меня они с опозданием начинаются...»

Еще Лера подумала, что все же соскучилась за эти десять дней по своим женщинам: резонерствующей бабусе и молчаливой матери, а теперь спать, спать, спать! Сон требовал своей компенсации не только за бессонную позднюю ночь и за все дни любовного безумия. Да еще и физиология дружески подгадала как раз на это утро, даже с задержкой от графика на сутки: чтобы сумели проститься с Геной на неопределенное, но обозначенное молчаливо ими время. Уже засыпая, услышала чутким своим ухом через анфиладу никогда не затворяемых в квартире комнатных дверей тихий смешок бабуси. Видно нашла какую-то контр-каверзу Энгельса по адресу Жени Дюринга: «Переворот в науке, произведенный господином Евг. Дюрингом».* Мне бы ее заботы! И по ассоциации, уже двойной, припомнила пояснения Виктории Ильиничны, что-де статистически мужчины живут меньше женщин именно потому, что у них не обновляется ежемесячно такое-то количество крови.

---

* Подзаголовок к работе Фр. Энгельса.

Лера проснулась только к семи вечера, когда за окном комнаты небо уже стремительно темнело — и то потому, что вернувшаяся из музучилища мать мягко разбудила ее к ужину. Бабушка уже сидела за столом в очках и все не могла оторваться от книги Евг. Дюринга. Настолько увлеклась, что забыла о продолжении расспросов про Ленинград: как богатый революционными традициями Питер реагирует на странную нынешнюю ситуацию в стране?

Зато через полтора часа зашла сама к Лере и приняла ее исповедь, заодно отпустив простительный грех.

Оказывается, по ней за эти недолгие дни соскучились и вне дома. Верка-травести набивалась в гости, еще пара приятельниц позвонили. Она же ссылалась на обычное недомогание, но действительно сегодня видеть никого не хотела. Бесцельно находя себе всякие случайные, необязательные занятия, протянула время до одиннадцати, оставшись одна бодрствующей в квартире. Довлевшее беспокойство, непонятное ей, нарастало по мере приближения ночи. Она словно опасалась, что с ее приходом иссякнет некая, установившаяся было гармония внутреннего и внешнего миров, олимпийского спокойствия и земной сутолоки мыслей и дел. И только старинные напольные часы, естественно, из бабушкиного приданого, стоявшие в гостиной комнате, гитарным тембром пробили одиннадцать — регламентированный «отбойный» час, как что-то тревожное, перемеживое безотчетной тоской, навалилось на нее. Неужели невротиком стала? — За окном как раз крутобокая полная луна струила свой холодный свет, так будоражащий людей с некрепкой психикой... Да вроде такого у нее не наблюдалось, а до возрастных изменений еще столько, сколько прожила.

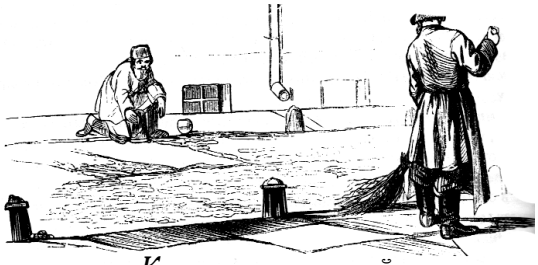
И здесь Лера с ужасом поняла, что всем ее состоянием управляет, верховодит пакостливая мыслишка, все разбухая, окрашиваясь образностью, вытесняя из головы все остальное: ей с ужасающей конкретностью в деталях представилась *его* спальня. Света, которую она хорошо помнила по студенческим временам, готовясь к экзаменам в читальном зале облбиблиотеки, уложив в детской на ночь двух-с-половиной-летнего Тришу, в тонком домашнем халатике, соскучившись по супругу, быстро и ловко, чуть смущенно посмеиваясь, разбирает, стелет постель. Сама раздевается, ради

страстной ночи прерванного, а потому уже и необыденного наслаждения, нарочито забывая о ночной рубашке. Он, чуть смущенный переменой сцен действия, вначале как бы заново привыкает к изгибам ее тела, запаху *других* духов, иной фактуре прически, а потом, уже забыв, изгнав на время (спасибо хоть за это!) образ и облик *другой*, распаляется... и вот уже она издала короткий, облегчающий тело и душу стон утоленной страсти, а он отвалился на спину и редко, глубоко дышит, возвращая пульс к положенному числу ударов. А тихоня Света — в самом разгаре молодой женской ненасытности и поздно пробудившейся чувственности, также смущенно посмеиваясь («Похихикивая»,— уничижительно для *соперницы* поправилась Лера), уже снова ластится к супругу, приоткрыла жаркое одеяло, готовясь бесстыдно возбуждать уставшего...

«Господи! — одновременно со злобой, черной тоской и ... восторгом в полный голос воскликнула Лера,— неужели ревную в первый раз в жизни? Слава тебе, всевышний, и меня любовь посетила!»

Дворник Кизилов совсем почувствовал себя хозяином двора: деньги хорошие коммунхоз платит, доцент философии Енукидзе перед ним заискивает, Нина-ханум халвой угощает. Так возгордился, что даже бороду отпустил, что на родине только ханам и бекам разрешается. Стоит горделиво между опекаемыми им домами № 147 и № 147«а», небрежно заметя мусор и по летней утренней погоде ласкается щеками о солнышко, зорко замечает все происходящее. Вот Енукидзе злой выбежал из подъезда — еще бы, вчера пьяный пришел, небось по полной получил он Нины-ханум! Ага, от Наташки-студентки, что снимает квартиру во втором подъезде, вышел ее содержатель, купец второй гильдии Суконников. Семья алкашей из четвертого похмеляться пошла.

Странно эти русские живут, как будто последний день живут, а завтра чума на них навалится. Не то, что у нас в кишлаке, где аксакалы с утра до вечера в чайхане отдыхают от трудовой жизни, женщины по хозяйству копошатся, даже детишки все при деле. Мужики — которых, правда, мало — все на заработках в Ташкенте или в России. А которые уже вернулись, так крепкие дома строят своим семьям. Да, чудно́ аллах мир под луной устроил? Но грех роптать, у него-то жизнь хорошо наладилась... интересно, что эти неверные в вине находят? Может, попробовать?



Лениво метет Кизилов вверенный ему коммунхозом двор по улице Лассаля меж домов № 147 и № 147«а», и все сильнее распирает его богопротивная мыслишка: может, попробовать этой самой выпивки? Откуда такая напасть, ведь в кишлаке и мысли такой даже во сне не появлялось. Все медленнее двигает метлой Кизилов, напротив на парапете низком расположился Васька Хомутов из алкогольной семьи четвертого подъезда. Только что опохмелился, отдыхает на свежем воздухе. Не вытерпел Кизилов:

— Эй, Василий-ага, тебе плохо сейчас?

— Да ты что! Огнетушитель портвешка заглотил — и хоть в космос отправляй.

— Да-а, Василий-ага, хорошо тебе, а нам вот аллах запрещает вино пить...

— Дык он же вино запрещает, а ты водяры хлобыстни: и весело будет, и газават свой не нарушишь.

— Не газават, Василий-ага, а шариат.

А про себя подумал Кизилов: действительно, ведь мулла по Корану читает, а там только о вине речь. Может, попробовать? И ему ведь хочется космонавтом побыть, пока в России живет, в космической державе...

Вот вернется он в свой кишлак, будет в чайхане, выкурив косячок анаши, рассказывать, как он в космос летал. С уважением седобородые аксакалы будут на него смотреть. Боязно, однако, ох, как боязно! Окончательно же отговорил его от затеи умный доцент Енукидзе, объяснив, что водка во времена написания Корана была неизвестна, а под вином пророк имел в виду спиртное вообще: от пива до технического спирта.

Нет, решил Кизилов, пусть русские все космонавтами становятся, а ему и на земле дел предостаточно.

Глава двадцать восьмая.
МЕЛЬПОМЕНА И ДУНОВЕНИЕ ОСЕНИ: ЛУНА — МУЖ ВСЕХ ЖЕНЩИН

...Но Киприда стенящая пала к коленам
Дионы,
Матери милой, и матерь в объятия дочь
заключила,
Нежно ласкала рукой, вопрошала и так
говорила:
«Дочь моя милая, кто из бессмертных
с тобой дерзновенно
Так поступил, как бы явно какое ты зло
сотворила?»

«Илиада», песнь V, ст. 370—374

Теперь, семь лет спустя после той поездки в Ленинград, вроде как внешне не отразившейся на Лере и течении ее житья-бытья, но круто повернувшей весь настрой души, ума, сердца... всего, что принято именовать внутренним миром, она полагала все тогда случившееся вполне естественным. И то, что внешняя сторона осталась неизменной, вовсе не ставила в заслугу своей добродетели, воспитания и всего прочего. Порой же вообще думала: а может все это из-за нежелания неизбежных хлопот, скандалов, вообще — долгих, нескончаемых хлопот в жизни? Но ведь многие, почти все женщины в ее ситуации возраста «последних лет первой молодости», не задумываясь, идут на это. Но ведь «это» самое не что иное, как примат биологического инстинкта над всеми условностями, выработанными эпохой цивилизации. В свою очередь, это означает биологическую первооснову женского существа. Это, конечно, далеко не новость, но признание такого факта лично для Леры означало одно: не Манька, городская мещанка, запросто отбившая у бывшей закадухи Зинки ее мужика, не посмотрев даже вполглаза на двух детей-безотцовщин, малонормальная и изгой человеческого бытия, но как раз она, воспитанная бабушкой-дворянкой и носительницей лучших черт русской женщины, Татьяной

Лариной нового века, ее мамой — и есть выбраковка женского племени. Как же! Не захотела сиротить при живом отце малыша Тришу... И тихоню Свету оставлять в безмужницах. Хорошо хоть не засохшая ветвь смоковницы, опомнилась и родила Машку... И еще есть пара-тройка лет, чтобы без аномалий для ребенка родить Машке сестру, а лучше брата.

Лера засмеялась, но не горько, а вовсе даже весело. «С ума что ли схожу, благо ночи полнолунные сейчас? Но до ночи еще бóльшая половина светлого августовского дня»,— по выработанной репетиционно-театральной привычке произнесла она вслух своим чуть хрипловатым контральто.

Однако за перечитыванием заветной стихотворной тетрадки и лирическими воспоминаниями миновал полдень. И, как с ней иногда бывало, внезапно ощутила Лера прилив энергии, беспричинный прилив, а она требовала выхода. Появился и сопутствующий аппетит. Разбудив недовольную Машку-старшую, легонько подгоняя ее под пушистый хвост ворсистой тапочкой правой ноги, Лера прошла на кухню, где на скорую руку сгоношила себе и кошке обед, соответствовавший разошедшемуся августовскому дню. Впрочем, к кошке это не относилось.

Поев, Лера вернулась в свою комнату и достала из самого нижнего ящика стола новую тетрадь в твердом клетчатом переплете «шотландка», купленную два года назад в Смоленске во время гастролей. «Вот и заветная тетрадь номер два»,— усмехнулась она,— стихи, выходит, я пишу по-мужски, посмотрим, что даст проза... на злобу дня».

* * *

В далеком будущем, куда сейчас уже все мы, люди рубежа второго и третьего тысячелетий, устремлены, как захваченные водоворотом, тянущем в темную, глубинную воронку неведомых доселе пучин — навроде Марианской или Пуэрториканской впадин мирового океана, где на страшной глубине живут только донные слепые, расплющенные водной толщей рыбы,— в эти далекие для жизни одного поколения, но мгновенные для истории времена все

для нас нынешних непривычно, даже дико. Но ведь и в обратном ходе исторического времени все мы ежимся, читая о сжигании ведьм на Гревской площади по воскресеньям, о Тарпейской скале, с которой сбрасывали в Эгейское море забракованных новорожденных? Здесь, однако, существенное различие: история обратного хода не имеет, но будущее неизбежно. То есть уже известное, к которому можно как-то приуготовиться, никогда не повторится, а неизведанного в ближней даже дали не минуешь.

И где-то через сорок-пятьдесят лет наши потомки, или несчастливые долгожители из нас (здесь Лера вспомнила бабушку), уже будут существовать и сосуществовать в этом мире, который по сути будет *виртуальным* (а это уже из давних разговоров с Геннадием). Попробуем его мысленно представить в части самых естественных человеческих чувствований.

В каждом из **666**-ти мегаполисов планеты, а число это было избрано Мировым правительством, уже не тайным, но явным, в геометрическом центре города располагалась двенадцатиугольная заасфальтированная, огороженная трехметровым пенобетонным забором площадь размеров с нынешнее футбольное поле. Было оно приподнято фундаментом-пьедесталом над землей на высоту десяти человеческих ростов, а рядом не имелось небоскребов и вообще домов высокой этажности — только приземистые торговые центры и автопарковки, перемеживаемые скверами, пешеходными и автомобильными дорогами. Таким образом, никто сторонний от таинства не мог заглянуть на это поле, куда входили через двенадцать входов — по граням фигуры поля — и поднимались вверх на эскалаторах. Во всех городах Земли эти площадки-сооружения назывались одинаково: *Капище мужа всех женщин*,— и было посвящено луне.

Как и для всего грядущего виртуального мира на планете Земля, в обосновании создания и действия института капищ луны сочеталось сакральное и естественнонаучное. К последнему, в первую очередь, относился уже давно, с античных времен по крайней мере, известный фактор физиологической зависимости всех процессов репродукции от лунных фаз: от длительности менструальных циклов и сроков беременности до научно доказанной так называемой

«восьмипроцентной нормы». Опять же в человеческом обиходе феномен этой нормы был известен людям со времен пирамид в Египте и глиняных табличек царя Хаммурапи и понимается так: только восемь процентов людей, независимо от пола, воспитания, расы и национальности, образования и так далее, обладают качеством самодостаточности мышления. Остальные девяносто два процента — есть манекены, управляемые в истории царями, вождями, а со второй половины XX века телевизором. При чем здесь луна? — А при том, что зачатие «восьмипроцентников» приходится на двое с четвертью суток максимального полнолуния.

И даже такой интимный момент, как существование «трехпроцентниц», то есть женщин, у которых девственная плева не разрывается, а лишь растягивается даже при активной половой жизни, до первых родов,— все это связано с фазами луны. (Здесь Лера поняла: ее понесло в другую сторону, а именно в направлении к морганитическому, тайному супругу, философствующие рассуждения которого она принялась перекладывать на бумагу, и зачеркнула половину страниц с обоснованием восьми- и трехпроцентных норм. А как человек педантично-аккуратный, не терпящий всяческих помарок даже в черновой записи, разозлилась, но по женской натуре не на себя, а на безвинного Геннадия: «Яйца бы ему пообрезать! Ладно Света — законная жена, никуда не денешься, но стерву Наташку пора бы и забыть! — Поуспокоилась и поправила себя: «Нет, конечно, взбучку по-бабьи надо бы дать, а ... предметы эти оставить, хотя бы в своих интересах». Продолжила ближе к теме задуманного).

Традиции брака и супружества отмирали постепенно, но все более ускоряясь, а де-юре они были отменены при вхождении во власть восьмой *консулаты* третьей коллективной династии Мирового правительства. У той немногой части земного населения, которой регламентированно оставлено чувство юмора, эта династия получила прозвище «сексуальных фастфудовцев».— Именно за отмену института брака, что носило официальное название реформы регулирования и оптимизации процессов репродукции в рамках постглобальной цивилизации. Первым результатом начала действия реформы явилась установка *666*-ти монументов вблизи городских

кладбищ всех мегаполисов (других поселений на планете не оставалось), посвященных первопроходцам гендерного движения конца XX века — создателям в те далекие времена местных служб планирования семьи. А всего через полтора года закипела работа по строительству мегаполисных капищ луны. По приговору восьмой консулаты все огромные расходы на их строительство и обслуживание инфраструктуры были возложены на *последний народ* — общепринятое, неофициальное наименование зоны *EA-1 media*, включавшей Восточную Европу, Сибирь и Дальний Восток (то есть Евразия — *EA*), смешанное население которой последним, наряду с зоной *ACh* (бывш. Китай), признало под угрозой полного истребления власть Мирового правительства и вошло в состав Всемирного виртуального государства.

Итак, в течение пяти лет с момента начала реформы система репродукции была в корне изменена, а новая ничем не походила на естественно-биологическую и традиционно-социальную. Были использованы самые новейшие достижения биомедицинских наук.

* * *

Совокупление мужчины с женщиной, согласно реформе, признавалось противоестественным, предрассудком прошлого, биологического этапа эволюции человечества. Оно было необходимо до тех пор, пока человек являлся частью природы, субъектом биосферы, как официально пояснялось в базовых документах Мирового правительства. Но в современной ситуации, когда человек выделился из чисто биоорганического мира, стал создателем и обитателем мира виртуального, естественное размножение *человека ноосферного* стало неактуальным, примитивным, требующим нерациональных затрат физической и умственной энергии, а главное — не позволяет строго регулировать всевозможные процентные нормы, крайне необходимые в своем выдерживании для гармонии виртуального мира. Средства массовой информации все это, сугубо официально-научное, переводили на понятийный язык масс-медиа, а эстрадные шоу-куплетисты изощрялись в сценках, где естественный доселе половой акт подавался как случка обезьян, а пресловутая «лю-

бовь» — мартовскими воплями котов. Несколько больше повезло извращенцам обоих полов гомотипа, которые физиологически не могли создавать нерегулируемое и вообще никакое потомство. Гомосекс разрешался, как система поощрения, для передовиков виртуального и реального труда. К первым относилась обслуга вычислительных автономных систем, ко вторым — работники, обеспечивающие полностью роботизированное производство этих самых вычислительных систем, продуктов эрзац-питания, одежды и всего потребного непритязательным людям виртуального мира.

Конечно, при подготовке программы реформы полномочная комиссия при восьмой консулате опиралась на новейшие достижения в различных сферах наук; заместителем комиссии являлся президент Мировой академии медицинских наук, а непременными членами — вице-президенты мировых же академий макроэкономики, толерантности, информатики и академии шоуменства. Последняя представляла весь спектр гуманитарных наук — от посттеатра и постлитературы до виртуальной этики и эстетики, а также ведала эстрадными шоу-куплетистами.

Президент медицинской академии в паре с информационным «вицем» гарантировали восьмой консулате, что уже сейчас возможно направленное продуцирование будущих людей без всякого использования биопредков, поскольку накопленный информационный генофонд и достигнутые успехи биохимии по созданию биологических матриц яйцеклеток и сперматозоидов позволяют при разумных затратах средств производить человеческий материал с запрограммированными свойствами на полностью автоматизированных фабриках-инкубаторах. Однако из восьмой консулаты, единственно располагавшей абсолютно секретными планами эволюции человечества на два столетия вперед, в комиссию поступило отношение, гласившее, что на ближайшие пятьдесят лет полная инкубированность репродукции населения не предусматривается. Таким образом, на этот предположительный период обязательно несколько архаичное, конечно, но обязательное использование биопредков.

...Виртулера имела жизненным занятием шоу-лицедейство, а ее гражданский, что допускалось и даже поощрялось законом, муж Виртугена числился по ведомству филиала института генетики ме-

дицинской академии, располагавшегося в их городе, совсем недавно получившем статус мегаполиса, и занимал должность руководителя отдела логико-философского прогнозирования. Кроме того, что также не противоречило морально-этическому кодексу мирового сообщества Виртугена и Виртулера (это Лера в отместку написала...) имели своих официальных супругов, правда, «второсортных» — гетеросексуальных. И дети у них были — у каждого от обоих браков.

После начала репродуктивной реформы их официальные и гражданские браки аннулировали, но, исходя из принципов гуманизма и исторической толерантности, уже женатым и замужним на момент преобразований дозволялось проживать со своими прежними семьями, но не вступать в какие-либо интимные отношения под угрозой уголовного преследования. Глобальная система индивидуальной идентификации к этому времени исключала любую возможность — и даже мысленную попытку — сделать это тайно. А для предотвращения искуса, то есть полного подавления половых и вообще любовных желаний, была проведена всеобщая биохимическая диспансеризация-евнухоидация населения Земли, исключая «бриллиантовую тысячу» — правящую верхушку общепланетного государства — с их женами и наложницами различных рангов.

Но гуманность Мирового правительства меры не имела: для первого поколения зачатых после начала действия реформы допускалось участие в качестве биопредков бывших супружеских пар, но только для зачатия одного ребенка и в одном из браков на их выбор: официальных или гражданских. Не колеблясь ни минуты, Виртулера и Виртугена выбрали свой неофициальный союз. Понятно, что уже без соития.

Конечно, такая чрезмерная гуманность объяснялась не добрыми душами членов восьмой консулаты, уже со времен второй коллективной династии являвшихся не биолюдьми, но суперроботами, электронный мозг которых занимал объем десятиэтажного дома, но исключительно просчитанной на мегакомпьютерах программой «мягкого», без видимых конфликтов и противодействий вхождения человечества в новую стадию виртуализации планетарного мира.

— Ну вот, милая,— с грустной бесстрастностью говорил уже

евнухоизированный Виртугена своей бывшей подруге и гражданской любови,— были мы доселе *последним народом* на земле, а теперь мы с тобой и в число последних пар вошли. Вспоминай меня хотя бы во сне... впрочем, скоро и на сны запрет введут. В мой отдел в институте уже поступила ориентировка на логическое обоснование этого из головного института. Прощай, моя любимая — именно *как любимая* прощай. Конечно, видеться мы будем, в одной городе живем, даже беседовать... но и только. Биохимия уже начала действовать. Но мы оставим для жизни еще *одного нашего сына*, хотя и мы его никогда не увидим, и он нас не узнает. Но так надо во имя высших целей эволюции.

...Уже химически одурманенная Виртулера непонимающе смотрела на свою первую и последнюю любовь.

* * *

Виртулера и Виртугена послали на сайт лунного капища своего мегаполиса заявление об использовании льготы первого поколения и вскоре — каждый по отдельности — получили разрешение с примечанием, что по лотерее случайных чисел их будущий ребенок вошел в разряд *S.M.— 12*, то есть мужского пола (*sex mann*), не относящийся к «восьмипроцентникам», без наследственных болезней, группы крови такой-то, во взрослой жизни — компьютерный программист, характером сангвиник.

В разрешении Виртугене значилась дата, время и место сдачи спермы для оплодотворения яйцеклетки Виртулеры; сообщались подробные предписания по диете, образу жизни и всему прочему в подготовительный период. А Виртулере — все то де самое (в заявлении по требуемой форме она ранее указала данные своего цикла) и время явки в пятому входу в капище. День действия у обоих совпадал, но у Виртугены указывался дневной час пополудни, а у Виртулеры — без четверти двенадцать ночи. А примечаниях к обоим разрешениям сообщалась точная фаза луны в это время этой ночи и давалась 100 %-ная гарантия ясной ночной погоды.

К назначенному времени Виртулера подъехала на присланной

за ней служебной машине — беспилотном электросабе с заданной программой маршрута — к пятому входу капища, где уже ветвилась женская очередь. Вовнутрь, на эскалатор, она прошла, вставив в контрольное гнездо флэшку с файлом разрешения. Наверху, на огромной площадке капища в шахматном порядке были расставлены *666* пластиковых боксов. Одетые в униформу служительницы капища разводили прибывающих по эскалаторам пациенток по пронумерованным боксам согласно жетонам, которые каждая из них получила на входе из авторегистратора согласно шифру на файле своей флэшки. В боксе служительница попросила Виртулеру приготовиться к процедуре и расположиться на специальной медицинской кушетке. Она же включила прикрепленный к стенке радиотаймер, опять же вставив в гнездо флэшку пациентки. В положенное по программе время таймер подал на центральный пульт капища радиосигнал, продублированный тихим зуммерным пением в боксе. Секунд через десять вошла женщина в белом халате, судя по молодости лет и застежке халата на спине — медсестра. Из принесенного термостата на пару дюжин пронумерованных спринцевальных шприцев она взяла нужный, попросила Виртулеру расслабиться и быстро, натренированно проделала процедуру.

— Пожалуйста, пять минут полежите спокойно, без резких движений, а по сигналу таймера встаете, приводите себя в порядок и через тот же эскалатор на выход и покидаете капище. Если придерживаетесь религиозной традиции — можете дома посетить Интернет-церковь, но лучше сразу лечь спать. О всех дальнейших ваших действиях информация будет поступать по сети на домашний сервер. Ваша профессия позволяет вам работать в обычном режиме первые два триместра. Желаю вам успешной беременности и родов. До свидания.

Дождавшись зуммерного пения, Виртулера встала с кушетки, оделась и вышла из бокса, в проходе разминувшись с входящей следующей пациенткой. Лицо ее показалось знакомым; только пройдя с десяток метров в сторону входа на эскалатор, вспомнила: это Виртусвета, бывшая официальная жена Виртугены. Но вспомнила — и только; никаких эмоций, все подавлено биохимией. И также никак особо не прореагировала, когда у самого эскалатор-

ного входа отметила: на площадку поднялась, сойдя с антипараллельного, восходящего полотна, Виртунадя, как-то мельком ею виденная любовница ее бывшего официального мужа. Еще больше знакомых женщин она увидела на кольцевой дороге у основания капища, пока дожидалась маршрутного электросаба: Виртунина-ханум, бывшая супруга Енукидзе — сослуживца Виртугены, еще кто-то, ей совсем не интересные... Но даже мощную биохимическую блокаду эмоций пробило — лицо ее окрасилось гневом и презрением: навстречу ей шла, направляясь к входу в капище, мерзкая потаскуха Виртунаташа, понуро опустив свои голубые глаза. Виртулера злорадно рассмеялась сопернице в лицо: что, дескать, не удалось тебе напоследок захомутать в отцы будущего ребенка моего Виртугеночку! Но та даже бровями не повела в ее сторону. А Виртулера вдруг почувствовала к ней... жалость? Да, тоскливую, безысходную, скорбную жалость: все там будем... Она резко повернулась, в два шага догнала бывшую ненавистную соперницу, обняла ее. И та ее обняла, успокаивающе поглаживая ладонью правой руки по плечу. К ним уже спешил озабоченный наружный служитель капища, но внезапно обе женщины одновременно разомкнули свои руки, недоуменно посмотрели друг на друга, все забыв из прошлых чувствований, и каждая пошла в свою сторону.

Бесшумно подкатил электросаб ее маршрута. Виртулера вошла в него, а уже через четверть часа была дома. Сухо поздоровалась с бывшим официальным мужем, теплее с матерью, бабушкой и дочерью Виртумашей. Все они не спали, несмотря на глубокую ночь, дожидаясь Виртулеру. Они и сами не знали — почему? Отказалась от позднего ужина и прошла в свою комнату. Через несколько минут она уже спала без сновидений».

* * *

...На этой фразе Лера отложила ручку, встала из-за стола и в задумчивости походила по анфиладе комнат. Все думала: что скажет Гена, прочитав этот опус, вернее, его начало? И тут же опомнилась: «Как это увидит? Они что — каждый день видятся? А

не хочешь ли, подруга, встречаться раз в несколько лет? Нет, Лерка, у тебя определенно к началу бальзаковского возраста тихая шизофрения начинается... Господи, но как хочется его увидеть, хотя бы мельком, хотя бы из окна увидеть идущего по проспекту! Сама ведь табу придумала на свою голову, стриженную под театральный парика — сама и расхлебывай, дура!»

Она уже не ходила, а металась по квартире; бес вселился в нее, уже вслух, настораживая Машку, беспокойно взглядывавшую на хозяйку, когда та входила в свою комнату, повторяла: «Я должна, должна видеть его!» Мелькнула давешняя, ночная мысль позвонить, но как это сделать? Вдруг квартира полна народа, а к телефону подойдет Света? Вне всякого сомнения, тесть-банкир уже подарил ему входящий в моду сотовый, но такие номера справочная не дает, конечно. Как быть, что делать? Где же хваленая бабья хитрость? — И пришла вызванная хитрость: она вспомнила о Нине-ханум, как ее, смеясь, называл Геннадий, да и все ее знавшие. С Ниной она познакомилась еще до рождения дочери, даже до... Лера чуть покраснела, но округлила свою мысль: до того еще, как Маша была задумана.

Дело давнее, но сейчас она и тени удивления по поводу такого знакомства не испытывала: все же действительно их город — большая деревня. Как все его жители говорят. И говорят не без основания. Попытка не пытка, Лера вынула из верхнего ящика стола старую свою записную книжку с адресами и телефонами.

Познакомилась она с Ниной-ханум... вот в то самое время в своей поликлинике; впрочем, в те последние годы горбачевщины она уже изустно начала терять свою прежнюю горделивую приставку «спец». Кухонными делами в доме поочередно занималась она и мать; постаревшая бабушка как-то явочным, революционным путем отошла от жарки-варки, но руководить даже приготовлением яичницы продолжала. Оно и веселее, если на кухне не сама-одна. В тот злосчастный день, свято блюдя заведенную, видимо, еще до рождения не то что Леры, но ее матери, систему немецкой диеты, Лера с утра чистила какую-то ершистую, но не речную, а океаническую рыбу для жарки: среда — рыбный день по правильному, диетическому питанию! И чем-то рыбным укололась. К середине

дня, уже будучи в театре на репетиции, почувствовала уже достаточно сильную, дергающую при движении боль, а на кончике указательного пальца левой руки увидела покраснение и небольшую опухлость у боковой кромки ногтя. Заинтересовавшаяся озабоченным лицом подруги Верка-травести осмотрела злополучный палец и заразила Леру паникой:

— Лерочка, да это же панариций! Какую-то рыбную заразу внесла. Надо срочно к врачу, а промедлишь день-другой, то будешь потом не один год лечить, да не всегда и вылечишь.

Потерявшаяся из-за неприятных ощущений в пальце Лера както не обратила внимание, что Верка в состоянии явного бодуна — где-то вчера бурно гуляла. А в таком виде она склонна к паническому восприятию действительности. Еще Печенегов говорил: «Ты следи за собой, Верунчик, паника с похмелья — это предшественник белой горячки!»

...Поэтому не хуже Верки-травести сама запаниковала и в дневной перерыв между репетицией и спектаклем побежала в свою поликлинику, кстати, всего в полутора сотнях метров от театра. По удачному, последобеденному времени, когда профессиональные больные еще отдыхают дома после трапезы, очереди к хирургу, куда ее направила регистраторша, сказав Лере комплимент по поводу ее цветущей красоты и осведомившись о здоровье Виктории Ильиничны, которую она знала еще с ранних послевоенных лет, не было. Она вошла и сразу, с порога выпалила: «У меня панариций, доктор!» Пожилой врач посмотрел на палец, деликатно хмыкнул, улыбнулся: «У вас, уважаемая Валерия Игоревна, вовсе не панариций, а свежая заноза. Ну-ка, под лампой посмотрим: та-ак, наверное, рыбку утром чистили, блюдя рыбный же день? Вот и занозили чешуйной иголочкой. Сейчас вам Нина ее подцепит, перекисью промоет и пластырем залепит. Так что на вечернем спектакле уже и забудете, так сказать, о травме. Кстати, я — театрал завзятый и поклонник вашего таланта». И врач галантно провел Леру за полотняную ширму, где раскладывала блестящие инструменты миловидная молодая женщина, ее ровесница.

Медсестра, тоже деликатно улыбаясь — слышала предыдущий разговор,— стала обрабатывать палец. В это время кто-то невиди-

мый из-за ширмы заглянул в дверь и командным голосом, по которому сразу угадывается любая сестра-хозяйка, сказал: «Нина, Енукидзе! Приходи сейчас ко мне за расходным материалом».

Лера несколько удивленно посмотрена на медсестру: по внешности, по мягкому говору явно никакого отношения к Кавказу не имеет. Та привычно отреагировала на недоумение пациентки: «Это по мужу фамилия, а сама из Кинешмы. Меня по причине фамилии все Ниной-ханум зовут, ха-ха, смешно. А муж тоже местный, в Грузии-то никогда не бывал. Доцентом философии в институте работает». Лера заинтересовалась: а не знает ли Нина-ханум такого Геннадия Красилина; он тоже по этой части в институте, может вместе с ее мужем и работает? Медсестра ответила утвердительно, даже объявила супруга и Красилина приятелями.

...Лера точно помнила, что телефон квартиры Енукидзе записывала: в тот трагикомический визит к хирургу, разговорившись с Ниной-ханум, она вкратце рассказала о своей бабушке, из дома уже не выходящей. Можно ли ее пригласить, конечно, за плату, если срочно потребуется, не беспокоя «скорую помощь», сделать бабусе угол? Учитывая, что живет Нина недалеко от них. Медсестра охотно согласилась и черканула на бланке рецепта домашний номер телефона. Правда, воспользоваться тогда им как-то не довелось. Но при редких визитах в поликлинику Лера при случайных встречах с Ниной-ханум перекидывалась с ней парой слов.

Найдя в записной книжке с покоробившейся обложкой нужный номер, Лера подошла к телефону, по-женски не задумываясь о поводе и содержании разговора. На том конце трубку взяла девочка, надо полагать, дочь. Она же позвала и Нину-ханум, на счастье Леры (ей всегда везло в малых делах) она уже пришла с первой поликлинической смены. Сразу узнала звонившую и охотно поддержала необязательный разговор. Явно мимо ушей пропустила всякую чушь про дни и часы работы флюорографии, которую Лера хотела бы пройти, опережая обязательный медосмотр по приказу в театре, чтобы не толочься в очередях в сентябре... И так далее. Поняв, что и ее поняли, Лера свернула ближе к теме: небось, вы, Нина, летом работали, а вот супруг-то ваш при двух месяцах преподавательского отпуска тоже в городе в жару мается. Наверное, и

коллеги его, тот же ее шапочный знакомый Красилин... Нина-ханум тотчас сообразила: по словам мужа, Геннадий, действительно, в городе, всех домашних отослал по курортам, чтобы не мешали, а сам в тишине и покое сочиняет какую-то умную книгу. Прекрасно поняв друг друга, обе женщины для приличия обсудили две-три свежих городских сплетни и дружески попрощались, очень даже довольные друг дружкой.

* * *

«Значит, по-крупному стало везти»,— совершенно хладнокровно подумала Лера, положив трубку. Непроизвольно замурлыкала не хуже голодной Машки-старшей. «Самка — она и есть самка, даже если актриса, к сожалению, второго плана, и пытается умные, а скорее полоумные, утопии сочинять!». И рассмеялась, почувствовав азарт охотника и необыкновенную легкость, почти невесомость своего стройного тела, одновременно в полном расцвете женственности, но от природы и профессиональной самотребовательности совсем не потерявшего девических пропорций. Последний термин не нравился своей сухостью, но так говорили бабушка, главреж и преподаватели сценических спецкурсов в *МГИК'е*. «Звери на водопой и за любовными утехами выходят ночью»,— как точку поставила Лера, подмигнула телефону в прихожей и пошла к себе дописывать свой угрюмый опус, уже в душе не веря во что-то слишком скорбное и ужасающее. Но ведь и сказки бывают очень даже страшные! Тем приятнее от них возвращаться к реальной жизни, которая все же, при многочисленных изъянах и травмах души и тела, прекрасна и удивительна... даже на середине четвертого десятка и при безмужестве.

Шаловливо щелкнув ноготком мизинца Машку, наконец-то умостившуюся для позднего послеобеденного сна на постели хозяйки, тихо напевая что-то опереточное, расположилась перед письменным столом. Однако перед серьезным делом следовало все же унять чертенка-бесенка, что не давал сосредоточиться. А унять его можно, как учила хорошо знавшая педагогическую дидактику бабушка, только загнав все лишнее сейчас в голове в подсознание. А в го-

лове-то вертелась диета, сложным образом протянувшаяся по цепи временных ассоциаций от только что состоявшегося телефонного разговора до врача-хирурга, поклонника ее театрального лицедействия, и далее до чистки рыбы с ершистыми колючками. А рыба — это рыбный день, то есть диета, точнее — немецкая диета, как опять же говорила умная бабуля, в отличие от диеты французской.

Вот здесь-то ей вспомнился недавно слышанный от Семена Ефимовича, как всякого отставника живо интересовавшегося текущей политикой, анекдот. Судя то тому, что никто из театральных мужиков такого не рассказывал, Лера справедливо полагала, что Полковник сам его сочинил. Был этот почтенный бой-френд их семьи остроумным и разговорчивым собеседником; такие — украшение любого праздничного стола, его непременный тамада. Хотя, по его же словам, в армии он политработником, то есть «разговорным человеком», не являлся ни по воинскому образованию, ни по характеру.

Получалось по его анекдоту, что в мире с середины прошлого века существуют два вида диет: немецкая и французская. А вот сейчас братья-хохлы, уже и не зная как им стать еще самостийнее и незалежнее в мировом масштабе, объявили, что старейшей во всем подлунном пространстве, то есть намекая и на возможное население пролетающих мимо Земли астероидов и комет, является украинская диета, базовыми компонентами которой являются обезжиренное сало и горилка с перцем, выгнанная из сорбита... на худой конец из химической фруктозы китайского производства.

Лера, как всякая нормальная женщина относившаяся к анекдотам с подозрением — а не затронута ли в нем косвенно ее персона? — все же для приличия посмеялась. Чертенок-бесенок был изгнан, и Лера до начала поздней темноты августовского вечера дописывала свое повествование, но в более оптимистическом плане. Получалось, что Виртулера и Виртугена обманули Мировое правительство и продолжали жить в любви, хотя и тщательно маскируемой.

И еще Лера чуть подумала и в самом начале рукописи в фразе «И где-то через сорок-пятьдесят лет...» поменяла цифры на «восемьдесят — сто». Так-то спокойнее; человеку присуще оттягивать всякие нововведения.

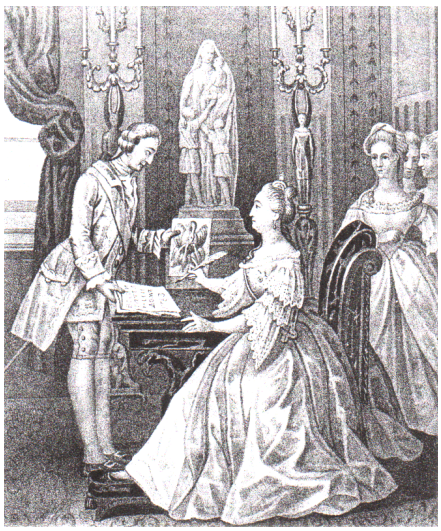
Дописав заключительную фразу, Лера повернула голову в сторону прикроватного журнального столика: на будильнике стрелки показывали без четверти одиннадцать. И хотя августовское солнце зашло час назад, но косые его отсветы еще держали небо в густой чернильной синеве. Машка свернулась клубком на ее постели, опасаясь остальной пустоты квартиры, крепко спала в своем кошачьем безмужестве. Ни на секунду не задумываясь — и вообще ни о чем не думая — Лера бережно, двумя ладонями лопатками перенесла Машку на кресло слева от письменного стола, тихо промолвив: «освобождай ложе, пусть хоть мне сегодня повезет»,— после чего также деловито прошла через гостиную в прихожую, взяла трубку и уверенно набрала номер. Услышав голос Геннадия, а она и не сомневалась, что именно он подойдет, сказала, как бы вчера расставшись:

— Гена, я знаю, ты в доме один. Я тоже одна — нет, вдвоем с кошкой... Ах, да, и ты вдвоем. Иди ко мне. Номер квартиры помнишь? Тогда и код подъездный запомни... Я жду, Гена.

Повесила трубку, не дожидаясь ответа и пошла на кухню готовить поздний ужин. А в бездумной голове вертелось из институтского курса античной драматургии: **τιμεω δαναωσ***... «Надо торопиться»,— вертелось неотступно в голове Леры.

Конец второй части

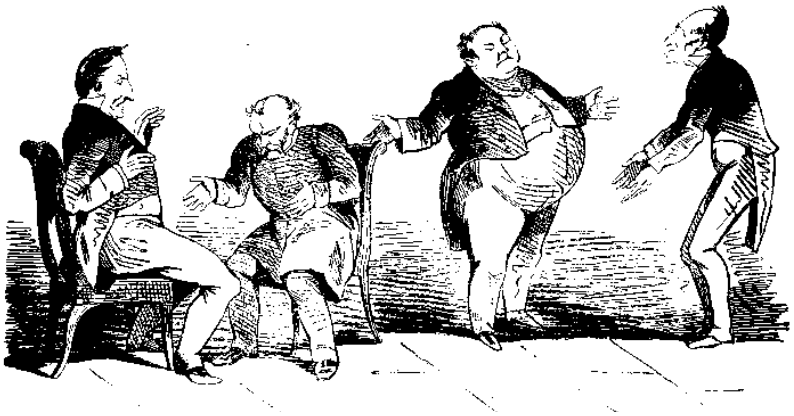
* Бойся данайцев... (древнегреч.).



Когда императрица Екатерина Вторая в 1763 году подписывала указ об учреждении воспитательного дома с полным пансионом для сирот и сироток, она как чувствовала: благое это дело будет жить вечно. Об одном не догадывалась самая умная русская царица, корреспондентша Вольтера: количество брошенных родительницами детей с течением времени окажется прямо пропорциональным степени цивилизованности того или иного государства. Хотя вроде бы и читала труды Жана-Жака Руссо, который и сам приказывал своим любовницам подбрасывать новорожденных от него, и обосновал неизбежность этого с позиций философии общественного договора... Давайте и мы с вами рассуждать философически. Чем образованнее общество и составляющие его человекоединицы (даже если каждый из них, взятый поодиночке, и есть полный идиот), тем эгоистичнее сам дух социума; обратная картина в СССР и некоторых его сателлитах есть то исключение, которое подтверждает правило... А чем эгоистичнее нравы, тем меньше желание и стремление человека к продолжению собственного рода: свой собственный (якобы) разум ревнует даже к детям и внукам. Отсюда и стремление избавиться от гипотетического конкурента. Обычно в этом вопросе принято ссылаться на относительно высокий жизненный уровень в цивилизованном мире, при котором уже нет необходимости рассчитывать на детей в старости. Но ведь это то же самое, но только в сугубо материальном выражении.

Дворник Кизилов окончательно разочаровался в космонавтике по-русски, то есть решил-таки водку не употреблять. А поскольку в предыдущих своих мыслях и уже достаточно долгое время он уже вроде как бы и пил сорокаградусную, то случилась обычная вещь, хорошо известная психологам. Они называют это сдвигом мотива на цель. Так и мусульманин Кизилов, даже не приступая к пьянству, в то же время и категорически отказался от зеленого змия. То есть в его психике случилось то же самое, что происходит с насильно или добровольно излеченными от алкоголизма горькими пьяницами. Наверняка, каждый знает таких людей — они постоянно угрюмы, озлобленны и подозрительны, а главное, что нет бóльших ненавистников невинной услады пьянства, чем бывшие пьяницы. Кстати, то же самое можно сказать и о бывших священнослужителях и особенно их детях: не было на Руси больших святотатцев, нежели разночинцы — демократы 60—80-х годов XIX века, а ведь почти все они из поповичей!

...Совсем в одночасье переменился ранее ласковый и доброжелательный Кизилов: всем грубит, кроме участкового, татарина Файзуллина — не потому что единоверец, а запросто может регистрацию аннулировать. Енукидзе от него трусливо убегает; помните, у Лермонтова: «Бежали робкие грузины». Со всеми жильцами рассорился. «Хоть бы ты в свой кишлак ехал»,— слышит он вослед. Мораль: нельзя резко бросать пить, даже мысленно.



...А в это время в подкомитете по архитектуре и строительству городской думы тоже говорят о благоустройстве города. Мнения разные: от полного сноса уже ненужных теперь заводов, без того захиревших и пустых, и возведении на их огромных территориях в самом центре торгово-промышленных комплексов до полной же сдачи города с пригородами в 100-летнюю аренду крупным московским торговым и банковским компаниям. Тогда, мол, и хлопот нам никаких, знай только арендную плату получай!

— Главное,— говорит осторожный и расчетливый Смышляев,— время не упустить, пока нефть на мировом рынке шишку держит за сто баксов на баррель, пока и нам отчисления из центра идут на ремонт и поддержание городского коммунхоза.

— А вот хорошо бы даже столичные власти удивить и прорыть в городе сеть каналов, как в Питере, одеть их берега в гранит, и чтобы представители малого бизнеса и среднего класса гуляли по набережным в погожие дни. А чтобы все дни в году являли себя погожими, то завести муниципальную малую же авиацию и круглосуточно облака разгонять,— встрял в разговор гласный гордумы, бывший учитель чистописания Манильников.

Разговорились, разгорячились думцы, а тут и время обеденное подоспело, и еще накануне купец Деловитов зазывал на сегодня к себе на обед — отметить и освятить присутствием градоначальства новую ресторацию новозеландской кухни с поварами и обслугой, выписанной из города Веллингтона.

— Да-а, хорошо стало жить, весело и для общества полезно, — резюмировал состоявшийся обмен мнениями председатель подкомитета Мухобоев,— однако, господа, как бы нам не опоздать к Деловитову, а то набегут супрежды другие комитетчики, особенно которые по части образования и просвещения, и всю ушицу из меч-рыбы повыхлебают!

Часть третья

ПОСЛЕДНИЙ НАРОД УХОДИТ В ВИРТУАЛЬНОСТЬ

Так как теперь доказал я уже, что
вещам невозможно
Из ничего возникать и, родившись, в ничто
обращаться,
То, чтоб к словам моим ты с недоверием
все ж не отнесся
Из-за того, что начала вещей недоступны
для глаза,
Выслушай то, что скажу, и ты сам,
несомненно, признаешь,
Что существуют тела, которых мы
видеть не можем.

De rerum natura, книга I, ст. 265—270

Глава двадцать девятая.
ЛЮБОВЬ МЕЛЬПОМЕНЫ ИЗЛЕЧИВАЕТ АПОЛЛОНА ОТ УНЫНИЯ

Это Венера для нас; это мы называем
Любовью,
В сердце отсюда течет сладострастья
Венерина влага,
Капля за каплей сочась, и холодная
следом забота.
Ибо, хоть та далеко, кого любишь,— всегда
пред тобою
Призрак ее, и в ушах звучит ее сладкое имя.

De rerum natura,* книга IV, ст. 1058—1062

— Я живу только поэзией, а ужин — это проза,— своим театральным контральто передразнила Лера известную героиню «Последней жертвы» Островского, прыснула совсем по-девичьи,— пойдем, милый, на аристократический ужин, который уже и готов.

— Почему аристократический? — Геннадий и не заметил, как задремал на полчаса, а Лера тихонько ускользнула на кухню, а теперь, тихо посмеиваясь, стояла перед постелью в своем любимом шелковом халатике.

— Потому что уже третий час ночи. В это время ужинают только аристократы со сдвинутым рабочим днем и...

— Дегенераты,— в тон вставил Геннадий, окончательно проснувшись и попытавшийся захватить Леру и увлечь ее в постель. Однако не учел струящуюся скользкость шелка; она же гибко увернулась и ловко бросила на вытянутые в шутливой борьбе руки Геннадия принесенный откуда-то из недр квартиры безразмерный махровый халат добротной старинной выделки:

— Одевайся и пошли, а то до рассвета совсем ничего осталось.

— А-а что рассвет? — Геннадий насторожился и непроизвольно зябко повел плечами.

---

* «О природе вещей» (лат.) — поэма Тита Лукреция Кара (95—51 гг. до н.э.) в шести книгах.

— Не беспокойся, не то о чем подумал по своей исконно мужской глупости. Просто любовникам по классическим романам положено встречать рассвет только-только заснувшими и видящими лишь первый сон, друг о друге, конечно. А заснуть они должны, сам понимаешь, по причине определенного вида усталости. Все, пошли.

Ночной ужин, сготовленный хотя и на скорую руку, но весьма аппетитный, удачно дополненный принесенным ночным же гостем коллекционным массандровским мускатом «Красного камня» и французским коньяком — из запасов тестя — и черной икрой, пришелся явно по вкусу обоим: и махнувшей временно рукой на диету Лере, и никогда не помышлявшему о ней Геннадию. «Фи, что за провинциальные манеры,— подыграла под капризную барыньку Лера, встречая в дверях явившегося через двадцать минут после ее звонка Геннадия и принимая цветы и пакет с вином и икрой,— это я не про цветы, конечно, а про «выпить-закусить». Слава богу, сейчас не гайдар-голод начала девяностых, а потом у нас есть Полковник, как он сам говорит: содержатель сразу четырех женщин...» — «Почему четырех,— как-то глупо от неожиданности спросил Геннадий,— ведь твоя бабушка...» — «Четвертая — кошка Машка. Не стой в дверях, проходи. Я думала, ты где-то в первом часу появишься, а ты как штык!»

Хитрила Лера, а по причине неожиданности встречи после долгой разлуки несколько заносчиво дерзила. После своего звонка не отходила от окна, из которого в быстро темнеющем свете позднего августовского вечера, на помощь которому зажигались фонари, хорошо просматривался противоположный угол проспекта и «интеллигентной» улицы, где до полуночи торговали тротуарные цветочницы. Увидев покупающего там розы Геннадия, улыбнулась, гордая собой, и поспешила к зеркалу в прихожей слегка подкраситься и открыть дверь тотчас после его звонка: не любопытствующих соседей, конечно, остерегалась, но чтобы скорее, даже на считанные секунды, увидеть его. Уже чутко слыша его торопливые шаги на подъездной лестнице, подумала об ужине, шаловливо улыбнулась и показала старинному зеркалу в прихожей язык: ужин мужику надо заработать!

А сейчас, ставя на кухонный стол тарелки с содержимым с пли-

ты и холодильника и добавив к принесенным Геннадием бутылкам давний презент своим «содержанкам» Полковника — розовое токайское шампанское,— подумала: не перенести ли сюда из комнаты вазу с розами? Однако решила, что это будет комильфо, ибо цветы требуют и ужина при свечах. Свечи-то в доме еще от запасливой бабушки остались, но вот как прореагирует на их зажигание противопожарная сигнализация, которой на дармовщину — от своей охранной конторы — Полковник щедро опутал всю квартиру? Подумав, мысль о цветах оставила, еще раз окинула хозяйским глазом сервировку стола и пошла будить Геннадия. Ужин тот явно заработал...

* * *

— Так. Открывай шампанское и не пялься на мои коленки и грудь, не в первый раз видишь,— маскируя все же проявляющееся смущение нарочитой актерской грубоватостью, Лера кокетливо запахнула опустившуюся полу халатика и свела пальцами края декольтированного выреза,— первый тост молча, за что не скажу, второй, но коньяком — за нас, дебильных любовников. И ешь, пожалуйста. Хлеб в бутербродах с икрой поджаренный, потому что вчерашний... нет, позавчерашний уже, ибо днем из дома не выходила. Давай чокнемся.

— А что целый летний день дома делала?— выпив шампанское, спросил Геннадий, про себя же теряясь в догадках: за что или за кого таинственный тост?

— Да многое. Тебя, милый, ждала. С кошкой Машкой разговаривала. В окно смотрела, подперев кулачком подбородок, как девки голосистые и парни ершистые за околицей выгуливаются. Да, еще бумагу марала. Может как-нибудь и покажу. А что изумляешься? Не одному же тебе трактаты сочинять.

Геннадий поперхнулся икряным бутербродом, некстати вспомнив при словах Леры о своей злосчастной рукописи, уже третий день замершей на сто пятьдесят седьмой странице. Она же поняла это по-своему:

— Извиняюсь еще раз за хлеб, крошится, ешь аккуратно,— она и не заметила, что говорит в той же интонации, что и с Машей,

торопыгой в еде. И он это тотчас отметил, вспомнив как... но внутренне досадливо поморщился, отгоняя сопоставление. И она поняла, что он и в связи с чем понял ее. Поэтому поспешила сгладить невольную взаимную неловкость первым пришедшим в голову:

— Я днем... нет, под вечер уже, поливала цветы, что на окне, выходящем на проспект, и видела, как с синими фонариками, с сиреной сразу пять тюремных машин вверх мчались, наверное, на *МТС**. Такое впечатление, что в нашем сегодняшнем отечестве половина ворует, а вторая — их ловит и сажает. А между ними тоненькая прослойка неумех навроде нас с тобой, да ведь?

— Да, количество автозаков на улицах есть прямой показатель успешности экономических реформ, как любит говорить Николай Игоревич, о котором я тебе как-то рассказывал: мой крестный в «преподской» деятельности. И еще заметь, Лерик, если раньше люди не всегда знали, где их городское узилище располагается, то теперь, благодаря телесериалам, а порой и по личному опыту, имея в виду себя, родственников, круг знакомых, названия и местоположение всех главных тюрем страны знают! Просвещение — велика вещь,— Геннадий также обрадовался отвлеченной теме, мало уместной для ночного свидания, но позволяющей замять возникшую было неловкость, но тут уже Лера развеселилась:

— Это как мы с тобой в «Кресты» чуть не попали? Ха-ха-ха!

При воспоминании о той давней ленинградской осени души обоих потеплели, неловкость ненужных ассоциаций исчезла, зато нахлынувшие видения, словно сейчас это было, а не почти семь лет назад, начала их странной, но от того еще более прекрасной любви, растопили последние остатки неловкости их новой встречи.

Действительно, смешно тогда получилось. На третий день их проживания в Ленинграде ближе к вечеру, когда по-осеннему уже затемнело, занесло их, гуляющих неторопко вдоль Невы, на Выборгскую сторону близ Финляндского вокзала. Шли, шли и вышли вовсе в малолюдное место: длинная краснокирпичная стена, ни души вокруг, да еще зябкий ветерок вдоль Невы понесся. Поравнявшись с дверью в стене, наглухо закрытой, остановились, раз-

* «Милиция — тюрьма — стадион»,— принятое в городе *N*. название квартала, занятого этими соседствующими учреждениями.

мышляя: что это за стена? А тут дверь с металлическим стукотом отворилась, вышел некто военный в камуфляже, явно навеселе, а от веселости этой разговорчивый:

— Что, ребята, к нам хотите? Не рекомендую.— И разъяснил словоохотливо наивным провинциалкам, что это «Кресты» — питерская тюрьма.

...Теперь же и Геннадий, и Лера, когда от скуки или усталости поглядывали по вечерам на экраны телевизора с их милицейскими сериалами, то вспоминали ностальгически эту стену и дверь, откуда по сюжету выходили на волю выкупленные у юстиции братки, садились в ожидающие их «мерины» и отправлялись дружным трудовым коллективом праздновать в «Европейскую» торжество справедливости.

А Геннадий заодно вспоминал и еще одну историю с прежним, совковым незнанием главных тюрем страны. Еще по первому году работы в институте, тогда не университете, собрался он по своим диссертационным делам в Москву. Завизировал командировку у Николая Игоревича и отправился подписывать ее к проректору по науке, замещавшему ректора, уже целую неделю пропадавшего в Новосибирске на малопонятном мероприятии с участием первых минвузовских лиц. Тот командировку сходу подписал, но дал попутное поручение:

— Ты одним днем едешь? Впрочем,— проректор справился в бланке командировки с место назначения,— это в центре, потому и по нашему делу успеешь,— надо срочно переправить вот эту папку с бумагами, это просмотренная верстка книги, что мы с кафедрой ракетостроения издаем в Институте информации Минобороны, без грифа секретности, конечно. Я было взялся сам отвезти, собирался завтра в Москву, да оттуда отбой дали. Так что,— проректор опять справился в бланке,— Геннадий Борисович, не сочти за труд закинуть верстку в институт. Он на Каланчевке; как сойдешь с электрички — в пяти минутах ходьбы, прямо за гостиницей «Ленинградская».

Геннадий, прибыв в столицу с первой электричкой, тотчас нашел здание института характерной постройки конструктивизма тридцатых годов, но там уяснил, что проректор не имел полной ин-

формации: вахтер-милиционер разъяснил, что институт-то здесь, в этом здании, здесь же в дворовом строении и типография, но все издательские службы находятся в другом месте. Нужно выйти из метро «Сокольники» и пройти пару кварталов под горку, в сторону Яузы, а затем на третьем переулке свернуть вправо на Матросскую тишину, пройти по правой стороне несколько домов и... «не заблудишься; увидишь пятиэтажный дом, он там единственный не в линию, а метров на двадцать углублен. Там и издательство».

Поскольку по своим делам ему удобнее было явиться пополудни, то Геннадий, слегка досадуя — хотел пару часов походить по книжным магазинам,— пошел на метро. Видимо, он раньше, чем было нужно, свернул направо, ибо пошел по какой-то криволинейной узкой улочке, в конце концов упершись в приземистое длинное здание с вывеской «Баня». Пришлось расспрашивать встречных-поперечных. И здесь он отметил какую-то странную реакцию расспрашиваемых: при словах «Матросская тишина» мужики снисходительно усмехались, а пожилые женщины сочувственно теплели голосами.

Методом расспросов, проб и ошибок он таки нашел нужный дом, отыскал в нем кого следовало и отдал папку с версткой. Редакторша оказалась словоохотливой, пожилой и доброй, поэтому Геннадий рискнул поинтересоваться столь странной реакцией прохожих на название их улицы.

— Так, молодой человек, вон из окна напротив-то тюрьма, которую по улице все и зовут Матросской тишиной. Так что в следующий раз уж и не удивляйтесь; впрочем, назад сейчас пойдете, так запомните, где сворачивать.

Следующего раза не случилось: его издательские интересы были явно не по линии военной техники и науки, а в тюрьму, тем более такого ранга, не было повода обращаться...

Начиная со дней *ГКЧП*, словосочетание «Матросская тишина» обильно полилось из всех рупоров СМИ, но всякий раз Геннадий с улыбкой вспоминал свои поиски совсем не того, о чем думал добрый народ, сочувственно объясняя бедолаге-провинциалу, как пройти к скорбному месту.

«Вот ведь менталитет этот самый у русского народа,— изустно при случае и про себя размышлял он,— ни на один другой в

мире непохожий: везде тюрьма, преступник — изгойные места и люди, в них пребывающие, а только у нас пелена страдальчества покрывает тотчас всякого, кто переступит приемное отделение заведения подобного профиля. Хотя бы даже убивец со стажем или новейший «олигархер», обокравший полстраны! Как такой *последний народ* не приговорить прагматичному мировому сообществу доллара к ничтожеству и исчезновению...»

* * *

— Ладно, хватит о грустном, которое в то же время веселое, то есть о тюрьмах,— сказала Лера, выслушав рассказ о Матросской тишине.— Я думаю, что хватит нам видеться раз в два-три года, а то и дольше. Ведь я могу и замуж выскочить, а? Не тревожься, теперь не выскочу...

— Из-за меня,— совсем сглупил Геннадий, но Лера настроилась на серьезное «выяснение отношений»:

— Скорее из-за себя, своего характера. Но и ты здесь далеко не последняя фигура; исключая меня — и вовсе первая... И единственная. Подожди, подожди: обниматься на кухне — это у нас с тобой давно пройденный этап. Ты, пожалуйста, слушай меня. Я хотя и женщина, но совсем не глупая. И не пугайся, я вовсе не имею в виду бабское обычное: семье привет — чемодан — трамвай — здравствуй, Лера, я пришел к тебе навеки поселиться! Естественно, я этого хочу, но, как говорится, воспитание не позволяет. Если бы могла, то сделала это еще лет пять... нет, сразу после ленинградской поездки. Я другой смысл своим словам придаю: мы с тобой люди достаточно взрослые, хорошо понимаем, что быть постоянными, давними и верными друг другу любовниками *a moralite* ничуть не ниже, чем любить в браке. Опять же никто не в силах отменить законы биологии; это я о мужской полигамии. В принципе мы, женщины, в душе и даже в сердце к этому привыкаем, чуть поумнев. А ревность, скандалы? — Это все эмоции. Но при условии, что каждая из женщин одного мужчины уверена, или уверяет себя, что тот любит только ее. Второй момент, Геночка, в том состоит, что любовница не должна покушаться на права законной жены. Понятно, речь идет об умной любовнице, которых,

к сожалению, очень и очень мало.

Итак, мое предложение, нет, я уже имею что-то на тебя по праву проверенной годами любви, а именно: бросать семью не смей, если только жена сама к тебе не охладеет. Колдовать здесь я не буду, гарантирую. А Наташку-дрянь,— Лера не на шутку разгорячилась,— забудь. С женой хоть остатки былой любви, или память о ней, а с этой голубоглазой б... у тебя только похоть, говоря высоким штилем. Хватит тебе развлекаться, тем более, что я тебе в этом отношении всех заменю. В конце концов, биология с полигамией пусть таковыми и остаются, но всему есть разумный предел. И здесь я такое колдовство на нее наведу, что мало не покажется. Впрочем, мужская тяга к разнообразию ради самого разнообразия, как отголосок первобытного «осеменителя» рода-племени, должна к середине четвертого десятка затихнуть, перейти к стабилизации привязанности. Так что здесь я почти спокойна.

Давай, милый мой, выпьем по рюмке коньяка на равных — я девушка театральная, тренированная,— так проще о серьезных вещах говорить. Ну-у, что ты как будто все подбираешь слова, все осторожничаешь? Вспомни наш ленинградский медовый месяц, хотя и урезанный, и расслабься.

— Да нет, моя хорошая, какая настороженность? Я еще просто не привык к твоему, как бы это сказать...

— Так и говори: девушка-мажор. Термин сейчас хорошо известный, на слуху. Ничего, кстати говоря, в этом плохого нет. Если, конечно, это не современные старшие школьницы. А и без умных терминов всегда было так: кто каравай на свадьбе бóльшим куском оттянет, тот потом и верховодит всю жизнь. Это так говорится. Либо муж хозяин в доме, но чаще среди городского мещанства — баба. Бой-баба, так и кличут.

— Лера, а что такое очень уж серьезное, как ты говоришь, еще не решено между нами?

— Да вообще говоря, все и сказано, утверждено и печатью скреплено. Только не *ЗАГС'овской*, но на наших грешных и одновременно безгрешных душах. Могла бы и не говорить, а от тебя того же дождаться. Сколько ждала, еще бы подождала, да больше невмочь. Вот храбрюсь, а баба бабой. Ладно, если слезы, то скорее от радости. А если и заговорила, то только затем, чтобы не

смущаться, не смешиваться, наталкиваясь на вроде как «запретные» темы: о женах, о детях... о *наших* детях.

Ну, обо мне и Машке мало чего нового узнаешь, даже если ничего толком и не знаешь. Потом как-нибудь исповедаюсь; опять же греха на мне нет. А как в твоем благоустроенном семействе?

— Правильно сказала: благоустроенном. Это смотря с какой стороны посмотреть. Опасная у Егора Трофимовича профессия. Как он сам говорит: впереди еще два великих передела собственности и не менее трех крахов всей нашей финансово-спекулятивной системы. Все это растянется на непредсказуемое число лет. Но еще хуже будет, когда наступит устойчивое неравновесие, или равновесная неустойчивость, что одно и то же. Это будет уже другой мир, другой народ, где все мы будем мастодонтами почти вымершей эпохи.

— Я думала, так все в городе говорят, что его банк из числа солидных, не шарашка одноразовая. Неужели все так серьезно?

— Думаешь, Егор Трофимович, даром что старой партийной закалки, мне исповедуется? Нет, конечно, для моего же и всего семейства блага. А жизнь его многоопытная многому научила; такие люди лучше всяких мегакомпьютеров расчитывают-предчувствуют на сорок-пятьдесят лет вперед. Как гроссмейстеры свои шахматные ходы. Во всяком случае серьезно к чему-то малохорошему готовится. Во-первых, презрев весь свой въевшийся советизм, купил где-то за бугром виллу. Проговорился как-то в хорошем подпитии. Но где — не говорит. Сами, мол, в нужное время узнаете, хотя было бы лучше и не узнавать.

Во-вторых, зная мою щепетильность, вовсе не показную, тем не менее переписал на меня кучу акций, да каких! — «Норильского никеля», «Газпрома», нефтяные и алюминиевые от братишек Черных... Всех понемногу, но в сумме очень даже прилично получается. И все их, включая накапливающиеся дивиденды, разместил в двух московских банках, которые ни при каких катаклизмах не сгинут, ибо обслуживают семью Самого, то есть и принадлежат им. Сказал: не тебе, конечно, одному. Но всем на всякий-який.

Но главное, что заставляет верить его предчувствиям, так то, что как-то в полной меланхолии распил со мной «по-мужски» почти литровку виски с коньяком и под конец заметил, видно забыв обо мне: «Мне чужого не надо, не той я закалки человек, поневоле

в буржуины подался, но если сволочь всякая насядет, то устрою им кидок по высшему разряду!»

— Пошли, Геночка, спать. Уже светает. Жених ты мой завидный! Шучу. Нам чужого не надо, свой Полковник-содержатель имеется. И сам не унывай; я тебя скоро излечу.

* * *

Заснули они уже при взошедшем августовском солнце и спали сном грешных праведников почти до полудня, пока одновременно, словно сговорившись, не запел мобильник Геннадия — издалека, через анфиладу комнат, из прихожей, из кармана его летнего безрукавого холстинкового пиджака, а проголодавшаяся Машка, поводя слегка раскосыми, как у хозяйки, глазами на чужака, вспрыгнула на постель, на непривычно для нее открытую грудь Леры, в жарком дневном сне отбросившей одеяло в ноги.

Открыв глаза, оба на миг засомневались в реальности происшедшего. Первой вернулась на землю Лера:

— Гена, ты что-то про мобильник говорил, не он ли сигналит?

Геннадий кивнул, как-то по-домашнему прикоснулся сухими губами к ложбинке плеча Леры и поспешил голышом в прихожую.

— Если хочешь, дверь за собой прикрой,— сказала вдогонку хрипловатым с ночи голосом Лера, но тот на ходу только отрицающе взмахнул рукой.

Лера же села на край постели, с чувством невесомости тела сладко потянулась, потормошила расположившуюся рядом Машку:

— Что, курносая, завидуешь? Пойдем на кухню, тебя вне очереди покормлю.

Накинув халатик, она и пошла в сторону кухни, предводительствуемая кошкой, поспешающей впереди и поминутно оглядывающейся на хозяйку: верным ли та идет путем?

Занявшись Машкиной едой, Лера не заметила, как в кухонную дверь вошел уже облаченный в давешний махровый халат Геннадий и вздрогнула от не ожидаемого объятия со спины.

— Твои?

— Нет, Егор Трофимович; не зря его ночью я поминал. Сообщил: перелетает из одного царства-государства в другое, в Бар-

селону зачем-то кривая банковских спекуляций поманила. Это чтобы я знал по какому коду звонить в случае чего.

— Понятно. Как-то ты неуважительно о родственнике говоришь. Слушай, покажи мобильник, я их только в сериалах у бандитов видела.

— Ничего, года через три-четыре у любой школьницы и студиозуса будут. Хочешь, тебе организую?

— Думал откажусь? Не-а! — Лера нагнулась, выкладывая из маленькой сковородки разогретую еду в кошачью мисочку, но скорее для того, чтобы задать вопрос не в глаза, как бы притворяясь равнодушной:

— А-а с курорта когда будут звонить?

— Ближе к вечеру. Не озадачивайся, есть договоренность звонить мне только на «бандитский».

— Предосторожность на случай левой ходки к Наташке?

— Не сердись за прошлое. Просто у нас все уже попривыкли к мобилам. Так сказать, трюфели — роскошь юных лет. По Александру Сергеевичу.

— Ладно, больше не буду. Мои вернутся только к концу лета, а у тебя?

— То же самое. Только отпускай меня два раза в день Сократа кормить, и чтобы не одичал, ибо молод еще, всего полтора года. Может с Машкой поженить?

— Две свадьбы в одном доме не бывает. Потом зачем животное с панталыку сбивать. Я понимаю, что шутишь, но лучше маршируй в душ, а я пока что-нибудь приготовлю из остатков ночного. Затем пойдешь общаться со своим котом, потом поедем за город купаться. Как твоя хандра?

— Нет, Лерок, никакой хандры и уныния.

...Совсем изголодавшийся Сократ, не знающий человеческой поговорки о том, что человек предполагает, а бог располагает, совершенно одичавший и почти смирившийся с наступившим сиротством, только к вечеру дождался хозяина. Съевший с урчанием две дневные пайки, кот уже ни на шаг не отходил от Геннадия. Но сон сытости его сморил, а проснулся он уже в наступающей темноте сам-один в квартире. Смирила его с наступившей странной жизнью только доверху наполненная личная миска с едой.

Как-то сговорились сочинители Сухариков и Омшанников сходить на выступление гастролирующего в городе фокусника Давыда Коперфилова из Одессы: чтобы набраться впечатлений для освежения своего творчества. Как раз Дементий Анатольевич начал творить новую 12-томную эпопею «Через тернии к звездам» («Per aspera ad astrat» — назвал он ее по-латыни), а Андрея Трифоновича посетила муза драмы, племянница Мельпомены, и замахнулся он на пьесу об однополом сексе. Он в пику Омшанникову тоже хотел название дать не по-русски, да не знал иноземных языков еще со времен своего бригадирства машинным доением.

Сели они в первом ряду, смотрят, как Давыд взглядом часы-ходики с кукушкой останавливает, на аптекарских весах булыжники в равное по весу количество серебряных монет превращает. Зачарованно смотрят сочинители, замечтались. Сухарикова все больше серебряные деньги занимают, а Омшанникова, как лирика в душе, красотки в почти без ничего, которых одесский ловкач распиливает вдоль и потом вновь складывает. Вышли литераторы с представления и разошлись по своим домам — творить доброе и вечное. Впечатлений набрались много, так что Сухариков в своей пьесе ввел расчет за однополую любовь в серебряных деньгах, а его коллега в своей эпопее главную героиню во всех сценах раздел догола.

На днях они созвонились и договорились сходить в цирк, куда завезли крокодилов.

Совсем осатанел дворник Кизилов, даже ханскую свою бороду обрил, когда Нина-ханум сделала ему комплимент — что борода делает его лицо добрым. Не желает Кизилов слыть добрым. Особенно окрысился он на дворовых, муниципальных, значит, собак: Жучку и Дружка. Раньше он их подкармливал, когда сам сухомяткой обедал в дворовой же беседке: кусок булки с изюмом бросит Жучке, а Дружку и вовсе порой полсосиски перепадет. Теперь же с метлой за добрыми собачками гоняется. Народ хохочет, глядя на разъяренного узбека; молодые мамаши, что под видом воспитания своих малышей сплетничают о мужиках весь световой день на детской площадке, укоряют: какой пример детям подаешь, Кизилов? Добрые чувства в них глушишь. Возмущаются мамаши в модных кофточках и джинсах с голыми пупками и верхней частью ног, нервно курят и баночное пиво пьют.

Одна Нина-ханум не смеется и грустно посматривает в стону Кизилова: «Да он вовсе и не злой, добрый он в душе. И именно потому, что добрый, заскучал по семье, по родному кишлаку — ведь почти полгода здесь на чужбине трудится». Смеются на ее слова шалавы голопузые и уже вовсе голопопые, когда, сидя на скамейках детского городка, нагибаются от неудержимого смеха. А чего им не смеяться? С детьми их мамаши занимаются, мужей же отправили на заработки в Москву или вовсе в Сургут. Знай себе пиво дуют и тонкие сигаретки по шестьдесят рублей за пачку курят! Смотрит на них Кизилов: вот бы их в кишлак, да в гарем Улемхану, их бывшему колхозному парторгу! Показал бы он им пиво...

Глава тридцатая.
АПОЛЛОН В САДАХ ЛИКЕЯ. ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ ПРОКАЗА ДИОНИСА

Общего блага они не блюли, и в сношеньях
взаимных
Были обычаи им и законы совсем неизвестны.
Всякий, добыча кому попадалась,
ее произвольно
Брал себе сам, о себе лишь одном постоянно
заботясь.

De rerum natura, книга V, ст. 958—961

Если после той давней поездки в Ленинград Геннадий чувствовал себя несколько не в своей тарелке, как бы заново входя в ритм семейной жизни, чего, кстати говоря, он никогда не испытывал после встреч с Наташей, то теперь он как ни в чем не бывало встречал в последние дни августа сначала приехавшего очень озабоченного тестя, а на другой день и остальных курортников. А еще за день до «большого съезда», хотя они и расстались поздним утром, Лера позвонила по благоприобретенному мобильнику и сообщила о приезде уже своих курортников.

— Веди себя, милый, умно, главное — жены не дичись. Вообрази, что мусульманином стал. Надолго терять друг друга теперь не будем. А дальше по обстоятельствам. Пока же буду во сне к тебе приходить. Целую, мой повелитель!

Геннадий перед сбором семейства принял все меры предосторожности. Прежде всего потщательнее упрятал в недрах письменного стола рукопись трактата, остановившегося все на той же 157-й странице. Съездил на ближайшую автомойку на тестевом «рено», чтобы выглядел опрятным и отдохнувшим от дорог за три недели, надеясь, что Егору Трофимовичу и в голову не придет мысль посмотреть на спидометр: накатали они с Лерой за эти почти полмесяца если не до Владивостока и обратно, то уж во всяком случае до Новосибирска точно... Наконец, досадливо морщась,

включил стиральную машину, загрузив в нее абсолютно чистое постельное белье с тем расчетом, чтобы к приезду женской части оно еще сохло на балконе. Поздно, но сообразил: а ведь совсем по-другому могут понять? Но дело сделано. Чтобы снять хоть часть подозрений со стиркой, тщательно вымел и пропылесосил всю квартиру и простирал еще все свои надеванные вещи. С сомнением долго смотрел на Сократа. Даже взвесил его на напольных весах; оказалось, что жизнь в пустой квартире пошла тому на пользу: почти килограмм веса прибавил! «Не донесешь?» — вопрошал он жестко-пушистую масштабную копию тигра.

Но сошло как нельзя лучше. Наивная и далекая от реалий жизни Света похвалила супруга за уборку и стирку. Елена же Авдеевна слегка насторожилась, увидев сохнущие простыни за балконным окном, но, рассмотрев там же рубашки и домашние спортивные шаровары зятя, погасила вспыхнувшую было подозрительность. Даже заугрюмивший после своих поездок по европам Егор Трофимович заметил после первой поездки на семейной машине: «Вижу, что трудился, не отрываясь от письменного стола, в гараж, наверное, и не заходил? Машина даже пылью слегка покрылась». Сказано это было за первым ужином воссоединившейся семьи. Тесть после похвального замечания выпил стопку зубровки «за встречу» и, убедившись, что все заняты своими тарелками, подмигнут Геннадию. Тот опустил глаза, вроде бы не заметив. «Вот, черт глазастый, заметил-таки цифры!»

Как ни странно, чуть не выдал Сократ, демонстративно сторонившийся Геннадия и жалобным мявом всем поочередно докладывавший о мучениях его в пустой квартире и нерациональном, неритмичном кормлении. Однако жалобы кота списали на соскученность по членам семьи и неумеренные восторги Триши, беспрестанно ловившего и тискавшего свободолюбивого зверя.

«Трудно быть ходоком,— философски размышлял Геннадий, — а ведь впереди еще *тет-а-тет* в спальне после долгой разлуки?» Но это-то как раз никаких сомнений у Светы не вызвало. «Тело всегда вспомнит тело, а дальше дело техники»,— скабрезничала в таких случаях Наташа...

Однако у всех домашних, исключая его и совершенно успоко-

ившегося Сократа, очень чувствовалась некоторая встревоженность, явно исходившая от Егора Трофимовича. Но теща молчала, а Света, ровным счетом ничего не знавшая, не ведавшая, интуитивно ориентировалась на мать.

На вопросы домашних — заинтересованные у Светы, равнодушно-вежливые у остальных — об успехах в написании трактата, Геннадий весело врал: «Крепко в тишине поработал, основные две главы вчерне закончил, думаю к началу декабря все завершить». «Дашь почитать?» — спросила Света.— «Нет, нет, только уже в опубликованном виде, есть такая примета: сглазить можно»,— заторопился с ответом Геннадий.

Ближайшую же субботу, в которую в начавшемся учебном году у него якобы был занят в университете весь день, они с Лерой провели на Женькиной жилплощади на Серебрянской.

— С Женькой договорился на будущее насчет его загородной хаты,— сообщил он Лере.

— Подожди, не торопись,— как-то загадочно ответила она, — может и по-другому будет.

— Это как? — забеспокоился Геннадий.

— Как будет, так и узнаешь, а глупости в голове не держи. Все будет хорошо. По этому же поводу пару недель буду занята домашними делами. Так что даю тебе «отпускную», занимайся своими университетскими делами.

* * *

«И откуда она знает про университетские дела? Я ведь ни полслова не говорил... не до того было. Может и правда любовь моя долгожданная колдунья-ведунья?» Так, добро усмехаясь, размышлял Геннадий, вышагивая, миновав попутный центральный парк, в сторону своего учебного корпуса, он же — главный, добротной позднесталинской постройки. А дела и впрямь маловеселые.

Как это любит говорит старый коммунист Николай Игоревич со своим ужасным прононсом, явно из детского прочтения «Гавроша»? *La Commune est mort — vive la Commune*! Действительно, великую коммунию СССР угробили и скоренько на паритетных

началах братки с барыгами и бывшими комсомольскими функционерами новую коммуну сгоношили — по своим потребностям. Вместо законов ввели систему уголовных понятий и на все и всея ее распространили, на образование тож. И без того тошно стало в университет ходить, особенно в первый месяц учебного года.

Чтобы отвлечься, Геннадий прибегнул к испытанному средству: используя дурацкое свойство своей памяти, начал вспоминать по годам, но в обратном счете, всякие достопримечательные события. Начал с десятилетней давности, еще учительской своей поры. Та-ак, со Светой дела к логическому завершению привел, тут и Наташа... А еще эпидемия брейк-данса: как же старшеклассники его вертели-отплясывали на школьных вечерах? В следующем же году ничего героического и чудного вроде не было... На подходе к дверям корпуса дошел до зловещего восемьдесят третьего года, когда летчик Осипович сбил южнокорейский «боинг», провокационно пущенный америкосами без пассажиров, а скорее всего и без летчиков, на автопилоте. В этот момент, уже на траверсе вахтера его нагнал и хлопнул по плечу Енукидзе:

— Здравия желаю, товарищ профессор! Как здоровье тестюшки-банкира?

— Привет, Николай Автандилыч. Егор Трофимович на такие вопросы отвечает кратко: не дождетесь! Сам-то как лето провел? Куда-нибудь с Ниной-ханум и детьми ездили? — Спросил Геннадий, улыбнувшись, вспомнив ухищрения Леры со звонком жене Енукидзе.

— Поедешь тут... С доцентской зарплатой! Нинка порой разойдется, язвит: дескать, все грузины как грузины, сейчас особенно, все при деле — торгуют, заводы с братками захватывают, с образованием в чиновниках, адвокатах, в майорах милицейских... Один ты философией дуришь головы подрастающему поколению, которому твои гегели-фейербахи сейчас на фиг не нужны. Да ты вместо зарплаты пособие по безработице получаешь! Вот такие, брат, дела с летним отдыхом. Это тебе хорошо, тесть бабки подкидывает немерено, актрисы по телефону разыскивают, а-а? Мне Нинка говорила. Написал монографию про логико-философский подход к оправданию Лысенко? Впрочем, понятно, какая моногра-

фия, если актрисы интересуются.

Геннадий никак не прореагировал на болтливость Нины-ханум, хотя Лера уверяла в обратном.

— Нет, Автандилыч, не написал, и актриса здесь ни при чем; кстати, моя давняя знакомая. Просто по ходу работы решил кардинально сместить акценты,— весело врал Геннадий, подымаясь в паре с Енукидзе на свой четвертый этаж, а тот все больше возбуждался:

— Послушай, Борисыч, у тебя сегодня лекции есть?

— Нет. И завтра не будет, и послезавтра. Я теперь умный стал, как все другие завкафедрами одну лекцию в неделю себе оставил. Сам понимаешь, на дворе не социализм, когда имело смысл за высокие идеи работать. Теперь же, как нас уверяют, капитализм. А какой его основной закон, господин доцент?

— Понятно, какой: деньги — утром, причем в зеленых, стулья — вечером. Но деньги вперед! У меня, к счастью, тоже сегодня ничего нет. Противно здесь... впрочем, как и везде, кроме кабаков, в крайнем случае, забегаловок. Борисыч! Давай плюнем на эти серые стены и цинковые рожи и двинем куда-нибудь; все же надо отметить, хотя бы в память традиции, начало учебного года, а?

Геннадий чуть замедлил шаг на самом подходе к кафедре, обдумывая слова доцента, и обреченно махнул рукой:

— Ладно. Только полчаса поруковожу... а вдруг кто сверху дернет?

— Кто, да-арагой? Сам знаешь, Беркутов позавчера укатил на аэроплане в Штаты, якобы осваивать передовой заокеанский опыт по дистанционному обучению.

— А проректоры?

— Да ты, Борисыч, совсем философом в жизни стал, новостей реальной жизни не знаешь. Докладываю: как говорится, кот на крышу - мыши в пляс; все они, голубчики, помахали ручкой Генриху Семеновичу на дорожку и тотчас всем высокооплачиваемым коллективом смотались отмечать бабье лето на речке Оке — под предлогом ревизии нашей базы отдыха. Эх и погуляют там мужики! Студиозусы и преподы в альма матер вернулись, а там тишина, покой и доглядчиков никого. Короче, иди поруководи с полчасика

Мариночкой, больше там никого не найдешь, а я загляну в библиотеку, в зал периодики. Там такая очаровашка на выдаче журналов появилась: лет двадцати восьми, максимум тридцати, без обручального кольца и явно ищущая утешения в любви бескорыстной и большой...

— Ну-ну, познакомь ее с Ниной-ханум. Давай через полчаса, не опаздывая, на выходе встретимся.

Действительно, в преподавательской кафедры что-то тюкала на компьютерной клавиатуре секретарша Мариночка с удивительным летним загаром. Раньше он бы восхитился, но сейчас — на мысленном сравнении с прелестями Леры — она тянула не более как на старшую школьницу, только-только расправляющую свои груди и бедра под женский статус... Она со всегдашним восторгом посмотрела на молодцеватого шефа, прощебетала, что никаких звонков не было, никто не заходил, все преподаватели, видимо, на занятиях по разным корпусам. Геннадий поощрительно кивнул, улыбнувшись, и проследовал в своей кабинет. Досадливо поворошил еще с начала лета завалящие бумаги, фигурально сплюнул. Снова вышел в преподавательскую, сказал Марине, что пошел к Меркулову, а далее по делам. Вряд ли сегодня вернется на кафедру. Та понимающе, несмотря на юный возраст, улыбнулась и совсем уж доверительно пропела: «Пока-пока!».

Кафедра истории и культурологии располагалась на том же этаже, но в противоположном крыле, а в преподавательской сидела полная копия-клон *его* Мариночки. Только отзывалась она на Верунчика.

Первой поздоровавшись, она указала на полуприкрытую дверь завкафедрой:

— Николай Игоревич там; шефа сегодня и завтра не будет, на конференции в педуниверситете или где там еще...

Обменявшись с Меркуловым невыразительными летними впечатлениями, Геннадий откланялся, притворно уже на пороге осведомившись о Енукидзе.

— А бог его знает. Занятий у него сегодня нет. Наверное, сбежал от Нины-ханум и окучивает какую-нибудь красотку. Привет Егору Трофимовичу!

* * *

— Куда пойдем, профессор? Надеюсь, банкуешь сам с тестевых неправедных дивидендов, тем более у неправильного грузина шиш в кармане.

— Может, в парк, в ресторанчик в бывшей спортбазе? Я там раза два бывал: с Ибрагимом Тохтамышевым, что имеет свое *ОАО* при металлургическом заводе; он у нас экзамен кандидатский сдавал. А второй раз и вовсе в занимательной компании со знаменитым академиком-диссидентом нового толка Шафаровичем, председателем Русской партии Корчагиным и еще несколькими видными руссонационалистами из Москвы и Новосибирска. Попал на митинг-конференцию случайно, а там Славка Ломакин чего-то разругался со своими дерьмократами и барски пригласил своих идейных врагов отужинать. Меня заприметил и тоже захватил, как «представителя мыслящей интеллигенции», как он рекомендовал. Сейчас половина одиннадцатого — подойдем к открытию. Там хорошо, прохладно, виски твои любимые неподдельные, шашлыки из осетрины. Бабки есть, летом из обеденных сумм сэкономил...

— Да был я там в июне, знаю. Два оболтуса из торгашеских семеек там мне экзамен по культурологии досдавали. Сам знаешь, взяток я не беру, боюсь вылететь из универа, а то и вовсе под выездную попасть, но ведь просто так нельзя же полным идиотам и бездельникам «*уды*» ставить? Педагогическая принципиальность не позволяет.

— Ну-у, значит идем!

— Да нет, в тот раз тоже с этими тинейджерами спозаранку заявились туда, а там халдеи товар принимали: водяру и прочее пойло. Слышу, как старший у них распинается, что, дескать, в следующий раз привозите болгарские вина подешевле, но и не дерьмо совсем. Мол, для среднего класса пойдет нарасхват. Вот сволочь халдейская! Наслушался по ящику россказней по «средний класс», в политэкономии стал разбираться, рыло приказчичье... А я уже дернул пару стопок вискаря, понесло меня, целую лекцию им прочитал о воровской сущности так называемого среднего класса, ис-

кусственности его создания нынешним режимом ельциноидов, чтобы иметь надежную опору своей власти, а добил моей коронной: «Каждый новый среднеклассец — это два старика-пенсионера, роющиеся на помойках, столько же нерожденных, абортизированных детей, да впридачу недоедание трех нормальных, не блатных студентов, одна новая же проститутка и нищенская зарплата двух доцентов!»

Они как услышали, мигом сообразили, что я не из кавказской мафии пришел поразвлекаться с мальчиками, хотели нас выкинуть, но тут один из студиозусов встрял: «Ша, братва, не видите — педагог разволновался, что в вашем паршивом кабаке нет его любимого «Джонни Уокера» и приходится травиться «*White Horse*». А не нравится вам — так я сейчас дядьке звякну, попрошу своих налоговиков прислать сюда разобраться с ассортиментом и ценами».

И вытаскивает из кармана, стервец, мобильник. Халдеи как мобилу углядели, так сразу заизвинялись и исчезли с глаз в подсобку. Нет, душа моя не лежит снова их рожи лицезреть. Кстати, ты за свой мобильник сколько в месяц платишь? Небось побольше профессорской зарплаты?

— Не знаю, он у тестя как служебный по банку проходит.

— Да-а, вот менталитет советский неистребимый! Хоть вагон денег имеешь, но все одно на дармовщину тянет как пьяницу — не о нас речь — к бутылке. Слушай, Борисыч, вот троллейбус нужный подкатывает к остановке. Садимся — и до большого универмага к Муртазе. Во-первых, земляк условный, во-вторых, настоящая кавказская кухня, наконец, подальше от универа, от лишних глаз. Хотя, конечно, осенняя пересдача еще не началась, вряд ли кого из нашего брата в кабаках можно встретить, но все же береженого бог бережет.

Они вскочили в затормозивший троллейбус и через четверть часа были в свежепостроенном одноэтажном ресторане рядом с универмагом, выдержанном в серогранитном стиле пятидесятых годов. Правда, в троллейбусе Енукидзе успел завести знакомство с вальяжной молодой брюнеткой и все зазывал ее «скрасить пару часов за настоящим сациви и шашлыком по-карски в компании двух молодых академиков, номинантов Геттингентской премии в

области философии». Брюнетка похохатывала, вроде даже как колебалась, но в самый последний момент с сожалением отказалась. Скорее всего ее зоркий взгляд смутили обшлага подержанного пиджака веселого грузина, аккуратного подшиваемого Ниной-ханум к началу очередного учебного года.

* * *

Пока официантка, почти копия неудачной троллейбусной знакомой Енукидзе, исполняла щедрый — с молчаливого кивка Геннадия — заказ с грузинским акцентом, оба посмеивались, опять же в контексте страстных речей Николай Автандиловича, об академическом идиотизме, охватившем столицы и теперь добравшемся и до провинции. Енукидзе уже собрался рассказать на тему дня свежий анекдот, но официантка поставила на стол завершающие бутылки и пожелала приятного отдыха. При разошедшемся аппетите доцент тотчас забыл про академический анекдот. Первую пили за дам — всех на свете, полигамно, включая негритянок и сексуально-холодных.

...К подаче карского шашлыка, а под него «Киндзмараули», оба педагога уже успели обговорить все животрепещущие новости университетской жизни, что накопились за лето: кого взяли за шкиврятку по мелковзяточному делу, у кого из незамужних молодых доцентш совпали во времени и географическом пространстве места отдыха с аналогичным у вузовского начальства. Наконец, посочувствовали профессору Расстегаеву с технологического факультета, из лаборатории которого в конце августа сперли четыре дорогущих компьютера, полученных под грант *РФФИ**. А еще Енукидзе со слов Нины-ханум рассказал об обилии студенток, приписанных по родителям к ее спецполиклинике, которые уже вторую неделю все идут и идут к гинекологу выяснять насчет направления на аборт. Хорошо летом повеселились!

После второй перемены блюд и бутылок разговор обрел обычную в дружеских застольях гармонию, то есть оба говорили, соблюдая очередность, но друг друга почти не слушали, а вели

* Российский фонд фундаментальных исследований.

внутренние монологи сами с собой или отсутствующими здесь. С каждой минутой, тем более с каждой новой рюмкой Геннадия тянуло повидаться с Лерой, хотя это и было невозможно — по ее просьбе дать разобраться с домашними делами. И как положено, эта-то невозможность и вовсе накаляла нестерпимое желание увидеть, услышать, обнять...

Чтобы хоть как-то отвлечься, Геннадий начал осмысленно прислушиваться к словам Енукидзе, походя перепутавшего от обилия грузинского семизвездочного («Прямо с Кутаисского винзавода», — рекомендовал сам хозяин заведения, вышедший поздороваться с незнакомым им ранее земляком) ресторанный зал с лекционным. А говорил он о некомпетентности нового поколения начальствующих персон: от школьных завучей и завхозов до самых верхов. Вот чего не отнимешь у Николая Автандиловича, так это умение сказать длинную речь или тост во здравие, причем его лекции очень походили на затянувшиеся тосты, а последние содержали мудрость и меткость сравнений добротной лекции. «Для этого надо родиться и вырасти на Кавказе»,— обычно, скромно потупясь, отвечал Енукидзе на похвалы слушателей. В такие минуты он совершенно искренне забывал, что родился и вырос в этом среднерусском городе на улице имени Третьего интернационала.

...Совершенно сходное Геннадий не раз слышал и от Егора Трофимовича, естественно, в умеренном подпитии.

Тесть, в отличие от Енукидзе, набиравшегося оппозиционных мыслей из патриотических изданий, все хорошо знал по своей руководящей жизни. «Вот возьмем, Гена, наиболее ответственную, в то же время и относительно многочисленную категорию советских руководителей — первых секретарей обкомов, то есть полных ответственных хозяев территорий размером с иные европейские страны, а то и превосходящих ту же Францию или Германию. Это были великие умницы, трудяги и дипломаты в едином лице. Именно на них все замыкалось: руководящие указания правящей верхушки, с одной стороны, и реальные, насущные потребности в конкретном руководстве снизу. Причем подготовлены они были такими профессионалами своего дела, что впади в полный маразм верховная власть, а это и случилось при «позднем Брежневе», также

при восхваляемом сейчас правыми и левыми Андропове, не говоря уже о Черненко, так они по некоему неформальному мобилизационному плану могли достаточно длительное время по-прежнему уверенно управлять — во взаимодействии друг с другом без всякой «вертикали власти» — своими регионами. Вот так-то!

И все это — сталинская традиция и преемственность. Новая власть с самого начала, с горбачевщины прекрасно понимала опасную энергичность и трезвый ум последнего поколения обкомовских «первых» типа нашего Ивана Харлампиевича. Потому их скоренько освободили от высоких должностей и отправили на пенсионное довольствие, на всякий случай удалив даже с родных мест. То есть собрали их где-то в Москве в казенных квартирах почти что под негласный надзор. Как же боялись, что, не дай бог, в первые годы игры в демократию смогут они вновь вернуться к руководству областями и республиками?

И заметь, Гена, ни единый из них, последних могикан, а о предыдущих и вовсе речи идти быть не может, не являлся пресловутым «блатным». Отбирали их, с учетом выбраковки как сто к одному будущему, с первых трудовых лет. И отбирали не по неизбежной партпринадлежности, а по деловым качествам и уму. Причем чаще не по специализированному в том или ином деле уму, но по комплексу — это как в твоей любимой логике Зиновьева — качеств умного организатора. Естественно с немалой толикой специального образования, личной бескорыстности, увлеченности. Понятно, что ангелов не бывает на грешной земле, но всегда есть люди, для которых власть — не самоцель, а присущий, оптимальный для их характера способ самовыражения как личности, причем личности творческой. Социальное же, коллективистское государство, воплощением которого был наш СССР, нуждалось именно в таких вот людях, с такими вот характерами властных трудяг.

Самое существенное, не мне тебе, философу, здесь Америку открывать, что власть ценится выше личного накопительства. Другое дело, если человек получает эту власть, минуя этап «первоначального накопления капитала». Здесь ведь не деньги, праведно, что сомнительно, или неправедно нажитые, открывают — то есть

покупают — путь к верховенству над миллионами людей, но отобранный из сотен, тысяч претендентов ставится во главу. То есть, говоря языком человека биологического, для которого накопительство и власть есть непременные условия руководства социумом — от пещерного рода до сверхдержавы, здесь сразу удовлетворяется высший инстинкт верховодства, так зачем такому отобранному и избранному спускаться ступенькой лестницы ниже, заниматься накопительством?

Вот такие они были, наши «первые». Нынешние же — явление обратное им, потому и погибельное для страны.

Кстати говоря, именно это качество нестяжательства, а значит и невозможности подкупа, шантажа, склонения к прямому предательству и измене, использовалось в государственных целях, когда «первые» вырабатывали свои ресурсы. Они ведь не пьянствовали, как некоторые свердловские, либо же не лизоблюдничали навроде бывшего ставропольского, а работали на износ. Поэтому ближе к шестидесяти годам сами понимали: укатали сивку крутые горки. Но высшая власть не привыкла разбрасываться бесценными кадрами, и бывших обкомовцев верстали в послы. Это обычная практика тех лет. И это вовсе не почетная отставка... как это у классиков? — «Пора на пенсию, в Сенат». Нет, во-первых, большое повышение в должности, ибо посол — это звание министра; во-вторых, иной посол переходил от управления родной областью к неявному же, но управлению целой чужой страной — в сфере, конечно, нашего влияния, а такой сферой являлся полумир.

И такой новоиспеченный посол, освобожденный от обязанности отвечать за все — от управления областным городом до устранения недоделок в новопостроенном коровнике какого-нибудь сельца Коромыслова в дальнем районе, получал новый импульс, вторую руководящую молодость, а голова его, обремененная гигантским опытом и знанием людей, творила чудеса дипломатичности, оценки ситуаций и проведения политики своей страны. И чаще всего такой матерый посол давал сто очков вперед иному выпускнику *МГИМО*, дипломату в третьем-четвертом поколении от коллег Чичерина и Красина. И страны им не менее умело подбирали...»

На этом зацикленная обильным возлиянием мысль Геннадия резко затормозилась. Умолк и автономно о чем-то рассуждавший Енукидзе. Прямо у их столика во всем своем великолепии стояла и тихо посмеивалась Наташа, а обок ее не менее видная собой, но чуть помоложе, тоже улыбающаяся брюнетка. Одни брюнетки сегодня...

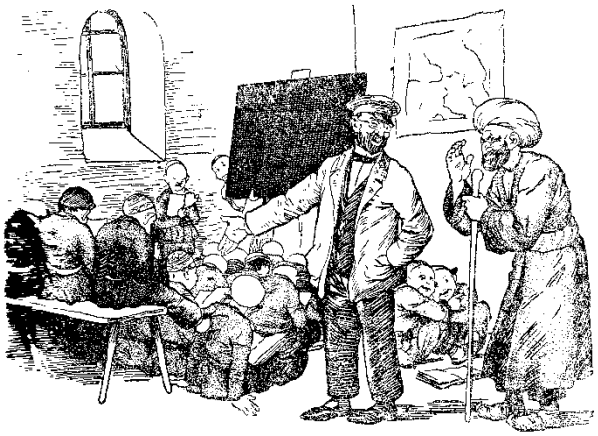
Пока несколько обиженная официантка выполняла новый заказ, Геннадий представлял дамам, севшим с ними в шахматном порядке, Николая Автандиловича, а Наташа свою новую подруга Лену, то есть Елену Станиславовну, нового спортивного врача из их спортивно-медицинского заведения.

«Прости меня, Лера, подлеца, страшной клятвой зарекаюсь: в последний раз. Ведь все равно объясниться нужно когда-то»,— все же пролицемерил Геннадий; взял протянутый Енукидзе, «по-гусарски» наполненный до середины коньяком фужер, чокнулся за встречу-знакомство с дамами и... пришел в себя только утром. Сразу узнал спальню в Женькиной вилле. Наташа загадочно улыбалась во сне, трогательно сипя по-детски носиком. Из соседней комнаты явно доносился веселый голос Енукидзе и смех спортивной врачихи.

— Гена-а,— он повернул голову к проснувшейся, все так же улыбающейся голубоглазой соблазнительнице,— не беспокойся, ты вчера звонил домой и предупредил, что «уехал до завтра с проректорской комиссией актировать университетскую базу отдыха». Господи, где ты таких слов-то набрался? Иди ко мне.

Принято считать, что феминизм и женская эмансипация возникли где-то в начале второй половины XIX века и преимущественно в вольнолюбивых Северо-Американских Соединенных Штатах — САСШ — тогдашнее их самоназвание. А в России первый пик (помните из классики стриженых барышень-курсисток?), наэлектризованный двумя романами — более известным «Накануне» и ныне подзабытым «Подводным камнем», пришелся на последнюю треть того же века; в начале же века двадцатого отечественная э м а н с и п э как-то просто и естественно переросла в обычную половую распущенность... Основные девизы эмансипации: «Нет больше завтра — все сегодня!», «Нет больше мужей!», «Да здравствует только один закон: закон моды!», «Половой акт — как выпить стакан воды!» (Коллонтай) и ряд сопутствующих, но не афишируемых, типа: «Земля — землевладельцам, фабрики — фабрикантам, моря — судовладельцам, но при условии, чтобы они были моими содержателями». Более всего эмансипантки не любят трудиться физически; об умственном труде скромно умолчим.

...Но на самом деле эмансипация, то есть бездумное своеволие женщин, берет начало в библейской поре и следует весь период цивилизации и культуры человечества. Самое существенное, что истоки э м а н с и п э предельно просты: невнимание мужчин к не очень красивым женщинам, к тому же неряхам, бездельницам — даже в постели.



Приехал в город Кокташджуй бывшей азиатской советской социалистической республики, а ныне суверенной державы, по линии толерантности и общечеловеческих ценностей европеец и журналист глянцевого издания Артур Щелкоперов, походил по достопримечательностям, отдохнул душой в открытом недавно американцами свободном гуманитарном университете, позабавился после в кампусе с его студенточками с факультета прав женщин и сексменьшинств — понятно, не местных, а присланных из Панамы и Гондураса для стажировки,— а потом завернул в медресе, мусульманскую начальную школу. Изумился донельзя: ученики смирно сидят, ноги не на столах, а под лавкой, внимательно слушают муллу. А тот рассказывает им о своем хадже в Мекку. Никто жвачку не жует, коку-с-колой на хлещет из горла. Девиц с голыми животами и спущенными до середины ягодиц джинсами и в помине нет. А за оградой медресе ни одного использованного презерватива зоркий его глаз не обнаружил. И торговцев наркотой не заметил. Словом, никаких признаков толерантности, общечеловеческих ценностей и сексуальных меньшинств. О религиозной веротерпимости даже и помыслить нельзя.

Погрустнел Артур Навуходоносорович и горько подумал о том, что нескоро еще до этих мест цивилизация и общечеловеческие ценности доберутся. Вот вроде как обосновались они на бывших советских аэродромах в соседнем государстве — для борьбы с Усамой Бен Ладеном, но и их теперь стараются вытеснить. «Рука Москвы»,— гневно подумал Щелкоперов, коренной москвич в седьмом поколении, исключая 1936—37 и 1941—45 года; были в эти годы его предки в отъезде.

Глава тридцать первая.
ГЕРМЕС ЗАПУТЫВАЕТ В СВОИ СЕТИ РЕЮ И ГЕРУ

Денег алчба, наконец, и почестей
жажда слепая
Нудят несчастных людей выходить
за пределы закона
И в соучастников их обращают, и в слуг
преступлений,
Ночи и дни напролет заставляя трудом
неустанным
Мощи великой искать. Эти язвы глубокие
жизни...

De rerum natura, книга III, ст. 59—63

— Ого, уже девять часов,— сказала Наташа, выпустив Геннадия из объятия и посмотрев на настенные часы,— нам с Ленкой, как говорится, уже вчера нужно было быть в Центре; давай, милый, облачаться. И параллельная группировка что-то затихла, заснули вдругорядь? Надо будить.

Геннадий, весь оцепеневший от осознания происшедшего, молча оделся, подошел к столику, на который заботливая подруга, ложась в постель, поставила захваченную с собой из гостиной наполовину опорожненную бутылку коньяка; не забыла и пару бутербродов. Так же молча наполнил рюмку — выпил; налил вторую — выпил. И почувствовал себя хотя и бесконечно виноватым, но все же человеком.

— Вот молодца! Нет, я не буду, марку на работе надо держать. Кстати, ты не поинтересовался, а я забыла объяснить наше появление у Муртазы: нашей главбухше послезавтра сорок пять — баба ягодка опять; пошли с Ленкой в «Семь ступенек» — дата некруглая, отделаться приличной косметикой, а там какой-то переполох: то ли братки наехали, а может и налоговики, все одно. Решили, чтобы не зазря, дойти до универмага. Что надо купили в Иркином

бутике, а Ленка сама предложила: зайдем перекусить и по бокалу шампанского за мою «прописку» пригубим. Хорошая баба, вся в меня... Сам, ну-у, кто там свыше, тебя мне послал, а Ленке твоего грузина; она сейчас в мужском цейтноте как раз. Вот и стряхнула тоску-кручину. А я тебе звонить собиралась сегодня-завтра.

— Все совпадает, я тоже тебя хотел видеть.

— Ты не понял. Понимаешь, милый, это наше последнее свидание...

— При чем тут Бунин? — Наташа явно недоумевала.

— А это ключевая фраза из его рассказа «Пароход «Саратов». Потом был выстрел.

— Нет, милый, мы с тобой слишком давно и дружески знакомы, чтобы гремели выстрелы и сверкали шпаги. Я влюбилась — и в мужчину, и в его большие деньги, но первое преобладает... хотя бы пока. Я не до такой степени стерва, чтобы не соблюдать хотя бы основных приличий, то есть не спать с другим. Даже по старой привязанности. Так что не поминай лихом... и спасибо за все, милый...

Начальная, невольная радость Геннадия быстро сменилась чем-то похожим на кровную обиду и ревность. «Вот тебе и примат биологического»,— внутренне усмехнулся он и почти мстительно перебил Наташу:

— Знаешь, я тебе тоже аналогичное собирался сказать, только без денежного интереса.

— А я это знаю, Геночка.

— Как? От кого?

— От тебя, милый, от тебя. Ты вот доктор философии, на середине четвертого десятка, баб достаточно перелюбил или просто перетрахал, а ничегошеньки насчет нашего естества не знаешь и не ведаешь. Женщина сразу такие вещи понимает, без слов. Хотя бы даже, извини за натурализм, по некоторым малосущественным изменениям в позах... понимаешь, в каких. И еще — не проклинай себя за только что произошедшее. Ты здесь ни при чем; еще ни один мужик спьяну не мог отвертеться от красивой женщины, если она поставила целью затащить его в постель. Тем более давняя интимная знакомая. Зачем мне это было нужно? Не могу объяснить

по вашей мужской логике. Теперь вот кажется, что отомстила за твою «измену», хотя и сама в таком же положении. Вот узнала только этой ночью, а вчера, значит, предчувствовала. Это не мистика. Так всегда бывает.

А может, что вернее всего, никакая это не месть, а просто расставание по-людски. Значит, снимаем, мой милый, с себя наши негласные, но все же какие-то взаимные... нет, конечно, не обязательства, но что-то в этом роде. И не казни себя перед своей любовью, новой, надеюсь, основной в твоей жизни любовью. Сам понимаешь, что физиологическая сторона любви взрослых людей иная, нежели у юных созданий. Если там даже невольная, глупая и случайная измена все пресекает, ибо телесное высоко парит над душевным, то у нас с тобой, да и женщина твоя это прекрасно понимает,— всем правит как раз душа, сердце, высокое чувство. Не надо стесняться этих прекрасных слов. А интим, при всей его определяющей важности и обязательности, все же вторичен. Извини, путано говорю. Все же десять лет нас связывают. И не пустые, не казенные слова говорю: лучшего друга у тебя на всю будущую жизнь, чем я, не будет. На тебя тоже смею надеяться.

Как ты меня из мифологии называешь? — Да, Гера, вспомнила. А деньгами кто у них ведает? Кажется, Меркурий, да?

— Меркурий у римлян, а у греков, откуда и Гера, его коллега Гермес.

— Ну, хорошо. Не забывай свою Геру, хотя она и подалась к Гермесу, но не содержанкой примитивной, а влюбившейся старой дурой. Надо и мне жизнь устроить по-бабски. Ведь усатый мой, к сожалению, не детородный по какому-то заболеванию с юности, а у меня год-другой для более-менее безопасных родов. Ты что в лице переменился? А-а, нет, конечно. Я как королева: рожать только от владельца престола. Все, вы тут с Никол-Автандилычем опохмеляйтесь, раз вам некуда спешить, а мы с Ленкой помчались. Тут ведь городской телефон имеется? Иди такси вызови, а я пошла сладкую парочку будить.

После отъезда соблазнительниц профессор и доцент молча пили коньяк из Женькиных запасов. Геннадий заварил кофе. Енукидзе все спрашивал, тревожась, без конца: точно ли он вчера еще

из ресторана звонил по его мобильнику Нине-ханум, а затем и Геннадий подтвердил ей версию об «актировании» приокских блудных здравниц, откуда студентки возвращаются и бегут в очередь в поликлинику и женские консультации. В спецполиклинику тоже, где их каждодневно жалеючи лицезрит Нина-ханум.

* * *

В семь вечера, поспав и протрезвев, герои-любовники на вызванном таксомоторе добрались до родных очагов.

Геннадий с аппетитом ужинал с семейством, весело врал об инспекторской поездке, куда попал по разнарядке. На всякий случай упомянул и об участии в процедуре Енукидзе. Егор Трофимович, на сегодня отошедший от ставшей для него обычной задумчивой напряженности, одобрительно кивал головой, заметно поседевшей за последние полгода, интересовался: что нынче пьют на природе университетские профессора и доценты? Елена же Авдеевна больше занималась Тришей, который все норовил выбраться из-за стола и усесться за недавно купленный ему дедом компьютер с игровой приставкой «синклер».

Совершенно непонятно вела себя Света. Но не только сегодня; с курорта она приехала какой-то неуловимо изменившейся. Не внешне, конечно, но в словах появилась непривычная акцентация на бытовые темы, ранее занимавшие ее в гораздо меньшей степени. Причем темы эти явно смещались к заботе о будущем: «Не вечно на шее родителей сидеть... надо Трише серьезное образование давать, а в наших школах бардак». И так далее во вполне определенной направленности.

В первые дни он не обращал внимания на все эти намеки и разговоры, относя их к обычной словоохотливости женщин, давно не видевших своих мужей, вот и говорящих все подряд, лишь бы подольше общаться словесно.

Не особо отложились в его голове, занятой понятно кем и чем, и немногословные рассказы в общих беседах Елены Авдеевны о курортной жизни; каждый там находил общение по своему интересу: Триша «прописался» на детской волейбольной площадке; сама Елена Авдеевна удачно встретила там двух знакомых женщин-вра-

чей, а Света сдружилась с ровесницей, серьезной женщиной, занимающей высокий пост в сетевом торгово-закупочном холдинге.

— Чего же она при таких доходах не на Канарах или Мальдивах развлекается, а в санатории для военных пенсионеров, мелких торгашей и нищих учителей и врачей пребывает? — Это Геннадий поинтересовался. Теща пояснила, что Влада Сергеевна, конечно, уже на многих заграничных местах отдыха побывала, но на этот курорт, знаменитый своими минеральными водами, каждый год приезжает — не отдыхать собственно, но лечить приобретенный еще в студенческие, общежитейские годы гастрит.

— Врет все ушлая бабенка,— резюмировал Егор Трофимович с усмешкой,— знаю этот типаж современности. Не студенчество в гастрите ее повинно, а жратва эта фастфудовая нездоровая, виски и этот, как его... мексиканский кактусовый самогон на корпоративных пьянках, а главное — всепоглощающая алчность к деньгам. Мужа, конечно, нет, детей тем более. Поэтому вся в наживе и... ладно, при женщинах не буду продолжать.

Елена Авдеевна неопределенно вздохнула, но возражать не стала, зная характер супруга по части непоколебимости его резонерства. Но Света почти что вспылила:

— И совсем Влада под твой штамп, папа, не подходит. Очень умная, образованная, интеллигентная и красивая женщина. Несколько суховатая, конечно, в общении с посторонними, но это от профессии; там ведь осторожность и предусмотрительность в общении требуется...

— Наверняка мужа и детей нет. А как она к анекдотам относится? — поставил дочь в тупик Егор Трофимович.

— А-а при чем тут анекдоты, ты, папа, что-то не в строку лыко.

— Почему не в строку, как раз не в бровь, а в глаз. Это известный в этих самых *объ... бизнес* кругах тест для проверки умственных способностей баб, то есть, извиняюсь, женщин, что, впрочем, одно и то же. Ты вот только что рекомендовала эту самую Владу Батьковну очень уж умной...

— Егор! Ты при ребенке-то не выражайся.— Света же хотела отреагировать на слово «бабы», но промолчала.

— ...Так вот, рассказывают ба... женщине на собеседовании пару-тройку анекдотов и смотрят на реакцию: полная дура, полудура или просто дура, то есть вполне нормальная эта самая, как ее... женщина.

— Ну знаешь, папа,— возмущалась Света,— есть же предел даже мужскому цинизму!

Геннадий тихо посмеивался; это с его легкой руки тесть так полюбил переиначивать американское слово «бизнес» — с учетом черноземных реалий.

— А ты как полагаешь? — Тесть обратился к Геннадию за компатриотской поддержкой.

— Я, конечно, не торгаш, как незнаемая мною, но заочно уважаемая новая подруга Светы, всего лишь доктор философии, что в нынешнем табеле о рангах где-то между дворником районной администрации и продавцом в магазинчике с компьютерной дрянью, но думаю, что песенку нашей юности: «*Любите, девочки, простых романтиков: отважных летчиков и моряков. Бросайте, девочки, домашних мальчиков; не стоит им дарить свою любовь*»,— сейчас надо исполнять в зеркальном отображении. Заменив некоторые слова в соответствии с духом времени.

Света никак не отреагировала, а Елена Авдеевна в это время как раз выходила на кухню — уносила полуопорожненный супругом графинчик с его любимой «старкой»; вернее, любимой среди водок... Егор Трофимович чуть погрустнел при этой операции, а Геннадий и сам с интересом стал размышлять про себя: а, собственно, почему это в изначальном тексте девочкам рекомендовалось любить именно простых романтиков? Перебрал все варианты и остановился на самом скабрезном: романтики, как правило, люди энергичные, моторные, что противоречит их «погонялу», а потому зачастую без царя в голове, а значит физически крепкие. Соответственно, у них есть то, что более всего нравится нормальным девушкам, без уклона в бизнес, то есть половая неутомимость и естественные механизмы ее реализации. «Вот чертова Наташка! Так сумеет за одну ночь настропалить, что потом неделю в голове только одно и вертится»,— чуть было вслух не сказал Геннадий.

Света же, явно игнорируя грубияна-отца, обращаясь де-

монстративно к мужу, с ранее ей несвойственной бабской назидательностью продолжила хвалить Владу:

— ...И муж у нее был, и дочери уже четырнадцать лет. Так что все как у других людей.

— Понятно. Мужик-то деру дал от таких ее предусмотрительных осторожностей и сухостей. А дочь бабка воспитывает, чтобы мамочку не отвлекать от торгово-спекулятивных занятий. Угадал?

— Какие же вы все совковые! Нет, конечно. Мужа она сама выгнала: бездельник, хотя и молодой, все никак со своей инженерной нуднятиной не мог расстаться, делом заняться. Зарплата — копейки, да еще и любитель с приятелями, такими же неудачниками, в забегаловке посидеть, порассуждать о высоких материях. А дочь не бабушка воспитывает, а уже третий год Настенька ее в очень приличной школе-пансионе в Германии. Что, у Влады денег что ли на правильное образование единственной дочери нет? Настенька на двух европейских языках, как мы здесь по-русски, свободно говорит, третий учит. А через пару лет там же, в Германии, будет изучать экономику в колледже или университете. Там преподаватели не чета всяким... Енукидзе и ортодоксам Меркуловым!

Услышав фамилию давнего приятеля, Егор Трофимович слегка нахмурился, обреченно махнул рукой в сторону дочери, встал из-за стола и направился в сторону спальни, однако, на ходу передумал и свернул на кухню, разминувшись в ее дверях с Еленой Авдеевной, тоже вмиг огорчившейся. Геннадий же никак не отреагировал на «всяких Енукидзе», ясно поняв намек. Вспомнил как-то оброненное мудрым Львом Исаевичем слова: «Если женщина горох лущить начала, то хоть сам не шуми в доме». Однако не удержался, заметив язвительно:

— Может познакомишь со своей Владой? Хоть из первоисточника наберусь деловых качеств и житейско-торговой мудрости?

— Да пора тебе, а то не от тех «источников» набираешься.

«Ого,— подумал озадаченный Геннадий,— это совсем новые нотки; неужели где-то прокололся?»

За столом они оставались одни: Триша сбежал к своему «синклеру», Елена Авдеевна в прихожей звонила сыну Андрею, договариваясь на завтра навестить их с Тришей: «Давно он не виделся

с братцем двоюродным...» А Егор Трофимович, вернувшись к своим всегдашним угрюмым мыслям, допивал на кухне заветный графинчик.

* * *

Света совершенно зло посмотрела на супруга, явно подражая купчихе Владе, так очаровавшей ее, состроила мину деловой женщины, встала из-за стола и отправилась в детскую, явно намереваясь заниматься с Тришей по школьной части с использованием американской программы ускоренного развития разума. Вернулась от телефона убирать со стола Елена Авдеевна. Лицо ее выражало сложное чувство по поводу случившейся перепалки; видно было, что она в некоторой растерянности: пока что уважение к зятю и понятные материнские чувства колебались на весах на отметке равновесия. Геннадий поблагодарил за ужин и ушел в свой кабинетик.

Даже не помышляя выуживать из ящика стола злосчастную рукопись, где цифра *157* не только намозолила ему глаза, но кажется, уже прожгла таковую черную отметину вверху листа бумаги, Геннадий прилег на «задумчивый» диванчик, как с его слов все в доме называли место отдохновения и мечтаний ныне опального философа.

Все же усталость последних суток, даже несколько более, отсчитывая от вчерашней утренней встречи с Енукидзе на входе в главный корпус университета, взяла свое. Тело разом ослабело, а мышцы почти осязаемо, ощущаемо растеклись по мягкому ворсу пледа, застилавшего лежанку. Но и сон даже близко не стоял: то состояние, понятное перевозбудившемуся человеку. «Значит, надо мечтать ненавязчиво,— решил Геннадий,— с чего только начать?»

Задача и здесь оказалась сложной: Наташа уже в других горячих объятиях — и это уже навсегда. С Лерой договорились: некоторое время себя не распалять. Надо ей дела начать и завершить. Но главное — господи, какой же стыд и отвращение к самому себе нахлынул? И паскудное «в последний раз; не моя вина; все одно должен был состояться серьезный разговор...» подхватывал какой-то веселящийся язвительный чертенок в голове, голосом Светы подхватывающий: «А что, серьезные разговоры толь-

ко в чужих постелях ведутся в перерывах между понятно чем?» Та-а-к, о Свете пусть ее новая бизнес-подруга думает и размышляет.

Нет, «женская» тема явно его сегодня не отпустит. Тогда хотя бы о чужих, то есть абстрактных. И Геннадий с неподдельным испугом очнулся от самой легкой дремоты, на пару минут захватившей его: «Господи, неужели до старости лет половину головы будут бабы занимать?» Как говорит доцент Яцышен с медфака: «В нашей жизни провинциальной ни шагу без баб! Особенно зимой...»

Неужели биологический доцент прав: у нормальных мужиков гормон тестостерон и до девяноста лет исправно выделяется, а значит и мысли вертятся в уже седой или вовсе лысой голове об одном и том же... Что же здесь говорить о возрасте полной зрелости и расцвета тела и ума? Никуда не денешься, если не убогий, идиот... или современный торгаш или чиновник, занятые только наживой.

А если трезво посмотреть на обыденность провинциальной жизни? Впрочем, и столичной. И неважно — в советские ли, скромные на веселье времена, в нынешние расцвеченные вечерним и ночным неоном, с обилием кабаков и кабачков «с номерами», со всякими игровыми клубами и дансингами, куда обычному человеку войти не по карману. Да и стоит ли входить и смотреть на эти морды торгашей и ворья, на идиотизированных тинейджеров и студенток-полупроституток, гуляющих на деньги папаш или содержателей...

Особенно же в самую слякотность поздней осени или нынешней хлипкой, сыроснежной зимы. Куда податься, чем заняться? Просто пить — сопьешься быстро. Наркота — это для новых поколений. Вот и остается единственная отдушина, к тому же полезная для здоровья, взбодряющая при любых жизненных перипетиях: в теплой квартире, наглухо отгороженной от непогоды за окном плотно задернутыми шторами, при яркости включенного на полную мощность освещения — ты и она, не приевшиеся друг другу из-за нерегулярности встреч, столик, ради такого праздника души накрытый, с умеренным количеством бутылок. Но и они больше для снятия усталости долгого ночного, изнуряющего сладостного труда, все для нового и нового возбуждения. И выдвинутое на середину комнаты для удобства всевозможных изощрений

любви ложе — царственный двуспальный, горизонтальный трон торжествующей в бесконечной осенне-зимней ночи чувственности: либо от самой настоящей любви, но может и просто от унылости обыденной жизни.

А как же люди на Севере Крайнем живут, где зима девять месяцев и полярная ночь на три-четыре месяца?

* * *

И здесь Геннадий в полудреме засмеялся, насторожив Сократа, совершавшего вечерний обход своих владений на предмет убедиться в полном порядке одушевленных и неодушевленных предметов квартиры: не завелись ли мыши, которых он ни разу в жизни не видел, но о которых кошка-мать рассказывала, тщательно выгуливая своего самого удачного в этом окоте тигрового оттенка котеночка; успокоились ли, наконец, эти шумные хозяева, странно себя ведущие: то один был и кормил его, а теперь все комнаты заселены? Обязательно надо зацепиться передними лапами за бортик кровати старших хозяев и, вытянув мордочку, тщательно принюхаться к сонному дыханию Егора Трофимовича: ага, все в порядке, пахнет как из горлышка опорожненной бутылки, что старшая хозяйка иногда после ужина ставит в уголок кухни. И Триша, мучитель его, уже заснул. Только молодая хозяйка, прикрыв за собою дверь в прихожую, о чем-то весело говорит уже полчаса по телефону с кем-то невидимым Сократу. Только через каждые два-три слова называя ее кличку: «Владочка дорогая».

А Геннадий, наконец-то открутившийся от бабской тематики, вспомнил веселое, как только произнес про себя кодовые слова «полярная ночь», да ассоциативно соединив их с именем доцента Яцышена.

Было это прошлой зимой, когда, не хуже вчерашнего, только без гусарского завершения с дамами, зашли они с Енукидзе после работы в «стекляшку» чуть пониже Лериного дома по проспекту. Раньше она именовалась «Малышом», а теперь *ООО «Пицца и пастá»*. Поскольку день этот знаменовал официальное окончание зимней сессии, то они с Николаем Автандиловичем вовсе не уди-

вились, заприметив прямо от входной двери нескольких своих коллег по университету, ибо *ООО* с итальянским прононсом являлось ближайшим к университетскому городку заведением с более или менее доступными ценами. А с углового столика им уже приглашающе махал рукой биологический доцент Яцышен, сидевший с неким незнакомцем.

Первую выпили за общее знакомство, то есть с Николаем Андреяновичем, соседом по дому с Яцышеным, работавшим по инженерной части в ракетном *НПО «Меткость»*. Вскоре и воспоминания о курьезах прошедшего семестра и сессии пошли. Енукидзе метко ответил на вопрос далекого от проблем современной высшей школы Николая Андреяновича: отчего это встречаемые им на улице девушки-студентки все сплошь хмурые: «А это оттого, что темно и холодно, поэтому неудобно ходить с голыми животами, как сейчас заведено: и не потому, что холодно, но в темноте вечерних улиц встречные мужики не могут внимательно рассмотреть все достоинства их животиков и пупков. А для кого же их понапрасну обнажать?»

Уловив слово «ночь», Яцышен рекомендовал своего соседа как большого знатока мест, где не просто холодно и темно, но вообще полярная ночь стоит, ибо Николай Андреянович родился и вырос в Заполярье, близ норвежской границы, на берегу Баренцева моря. Внимание всех собеседников переключилось на интересного знакомца. Тот же, подкрепив это знакомство заказом официантке «от себя» новой бутылки водки местного ликеро-водочного завода, тогда еще не разоренного неудачливым кандидатом в губернаторы, вовсе неуместной в итальянском *ООО*, рассказал пару занимательных историй из своего детства и юности на Севере. И так резюмировал перед очередным тостом:

— Вообще-то там хорошо, особенно если там же родился и вырос. Все родное, свое, люди замечательные, ибо без чувства коллективизма не проживешь. Одно плохо — зима долгая, влажность от незамерзающего по причине Гольфстрима моря стопроцентная, туманы постоянные. А дети неосторожны, как им и полагается, часто простужаются. Я вот, пока не поумнел к девятому классу, дважды с воспалением легких в райбольнице лежал почти по месяцу. Лечат там тщательно, потому и долго.

А жил до шестого опять же класса в интернате, где все ребята школьного возраста содержались, чьи родители на маяках-островах, как у меня, на удаленных от города базах атомных подводных лодок — словом, где либо вовсе нет школ, или же только начальные. Поэтому и проведывать меня в больнице особо было некому: разгар зимы, море штормит, даже военные катера не могут причалить к остову посредине Кольского залива, где наш маяк, так что по целому месяцу с острова никуда не выехать.

А в детстве болезнь — не болезнь, а аппетит всегда отменен. Особенно когда никто тебе передачи не принесет. И совсем уж невмочь дождаться обеда-ужина, хотя и хорошо кормили, если на поправку идешь. Вот и маешься около кухни. Приметит тебя старшая повариха: «Чем болеешь, малец? А-а, незаразный, почти здоров. А чем шляться — заходи и помогай картошку чистить. Вы, интернатские, все умеете делать. А там за работой и пирожки подрумянятся. Закусишь перед обедом-то. Давай, Коля-Николай, берись за ножик!»

Чистить хорошо помытую картоху — милое дело. В интернатские дежурства за пять-то лет, наверное, тонну с гаком почистил. Сижу себе на табуретке, чик-чик — и готово. В полуха слушаю разговоры о своем подсобных работниц, жду пирожков, а в голове все оброненное поварихой упоминание о закуске вертится. А-а, вспомнил! Утром, после врачебного обхода один из моих соседей по палате (там нет детского отделения, все вместе по профилю болезней лежат), которого доктор поздравил с полным излечением, вытащил из-под кровати свою сумку, а из нее... *бутылку водки*! Это в местах-то, где до самого Мурманска полный сухой закон!? Ну, говорит, ребята, ночей не спал, но берег до выписки. Перед обедом и хрюкнем на троих, малец еще не пьет. У двоих других аж слезы вожделения закапали. Только один заметил, что и закусить-то такую роскошь нечем — все мои соседи тоже откуда-то с дальних «точек», тоже без передачек живут-болеют...

И вот картошка вся почищена, а повариха вытягивает из духовки противень с замечательными пирожками с рисом и мелко порубленным диетическим мясом и щедро мне аж три штуки, завернув, чтобы не обжегся, в газету, протягивает. А я ей: «Теть Поли-

на, мне бы четвертый, я ведь тоже пирожка хочу!» — «Как тебе, а эти три кому?» — «Так соседи-мужики сегодня перед обедом выпить хотят за выписку, а закусить нечем».

Рассмеялась в голос повариха и еще три штуки добавила: «Только сам, добрая душа, парочку-то съешь. И мужикам чтобы на здравие пошло. Это дело доброе, хорошим лекарство организм подлечить!»

Енукидзе и Яцышен незаметно смахнули с ресниц слезы умиления и восторга, а Николай Андреянович, на правах хозяина разливая из заказанной бутылки, закончил: «Вот такой там народ: и мал, и стар».

Геннадий опять вышел из легкой дремоты. Ого, за окном уже отдавала темнотой синева неба, красиво расцвечиваемая замирающей в полутонах розовыми отсветами уже закатившегося за горизонт солнца. «Красивый заход, завтра день опять отменным будет»,— подумал с возвратившейся в тело и голову легкостью. Но в этот момент полузакрытая дверь совершенно отворилась, а в ее проеме, освещаемая сзади робким светом от настольной лампы в углу гостиной уснувшего дома, возникла фигура Светы. Геннадий нервно помотал головой и для убедительности протер ладонями глаза: на Свете кокетливо струился цветастым шелком короткий, почти до середины бедер, халатик с боковым разрезом и глубоким декольте — почти полная копия Лериного.

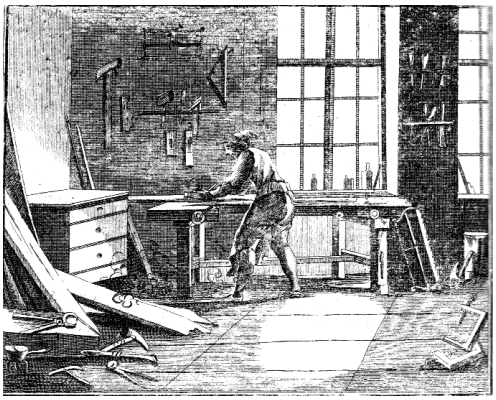
— Что, нравится? Пошли спать.

— С обновкой тебя,— сухо ответил Геннадий, успокаивая напрягшимися мышцами тела гулкие удары сердца.

— Влада подарила в честь знакомства. Сегодня утром я к ней домой заходила. Пошли, пошли, уже поздно, а завтра мне пораньше надо...

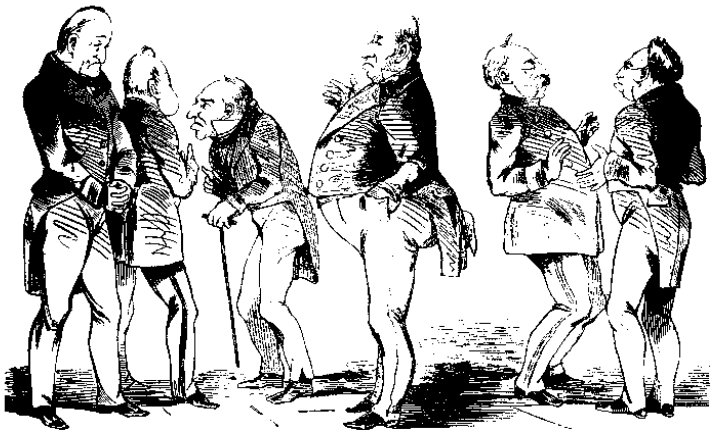
Сердце внезапно успокоилось, перешло в нормальный ритм, кровь бросилась в лицо Геннадия, злые токи защипали виски и лоб:

— А пошла бы ты спать со своей Владой! — И Геннадий завернул таким непедагогическим, мужицким матом, что Света с ужасом ойкнула и вмиг исчезла из дверного проема.



В советское время, когда лозунги и руководства к действию, даже поднимаемое на смех брежневское «экономика должна быть экономной», были абсолютно правильными и логически выверенными, отдыхом человека считалась (временная) смена деятельности. Действительно, так оно и сейчас в общем-то соблюдается: молодой, крепкий телом банкир, офисник, торговец, днем спекулирующий, делающий деньги из воздуха, по ночам осеменяет, правда, вхолостую, потея и теряя накопленный впрок жирок, своих молодых сотрудниц. Естественно, компенсируя им «потерю чести и невинности» повышенным окладом содержания. То же самое можно отнести и к менее везучим слоям населения: еще сохранившимся инженерам, бюджетной прослойке, работягам. Понятно, что платные женщины-мужчины им не по карману, поэтому их деятельность-отдых намного скромнее.

Самое интересное, что и великие личности, государи, ученые и философы, отдыхали за занятием физическим трудом. Петр Первый вытачивал деревянные балясины на станке фабрикации Нартова. Менделеев строил кожаные чемоданы, хотя и не помышлял уезжать на ПМЖ за бугор. Римский император Тартуллиан искусно выращивал капусту сорта «кольраби». Германский, тож император, Фридрих какой-то по счету, увлекался столярным делом. Возникает крамольная мыслишка: а чем занимают свое отпускное и выходное время нынешние наши вершители судеб — миллиардные долларовые олигархеры? А ведь занимают: один книжки фантастические сочиняет об успехах приватизации, другой катается на яхте размером с авианосец и так далее. Но реальным физическим трудом занимается в колонии общего режима только один из них...



В писательскую организацию провинциального города пришла радостная весть: купец Грамотеев, на досуге пописывающий воспоминания о своей боевой бандитско-рэкетирской юности и молодости под заголовком «С нар на Канары», объявил себя меценатом изящных искусств и учредил литературную премию своего имени в четырех номинациях по пять тысяч баксов на рыло. По такому поводу в Доме творческой интеллигенции, где размещается писательский штаб, собрались все претенденты на премиальные, все сорок штатных членов Союза. Не пришел только литератор Яцышен, занятый подготовкой очередного номера литературного журнала, благо все заботы об издании письменники радостного свалили на него...

Понятно, что главные претенденты в номинанты определились сразу: сочинитель Сухариков по жанру прозы и классик губернской словесности Омшанников по поэтическому разряду. Конечно, начали они тотчас интриговать и собирать своих сторонников. Андрей Трифонович при этом ссылался на свое знание жизни рабочего класса, ибо профессия бандита есть исконная трудовая. «Это вам не деньги в офисах из воздуха делать,— ораторствовал Сухариков,— здесь трудиться и трудиться надо. А что такое труд, я, как бывший мастер машинного доения и бригадир бригады коммунистического тру-

да, хорошо знаю! Опять же с премии обещаю накрыть «поляну» и накормить-напоить вас от пуза».

Дементий же Анатольевич, как натура поэтическая, все более апеллировал к тонкостям душевных переживаний Грамотеева, описывающего в своих мемуарах первую, третью и седьмую ходку в лагзак. В качестве отступного обещал Омшанников коллегам по два экземпляра своей новой 12-томной эпопеи в стихах. К концу собрания определили и номинантов по публицистике и краеведению. Уже предварительно обмывали будущие премии, как позвонил трудяга Яцышен и поздравил с 1-м апреля: «Письмо мое получали?»

Глава тридцать вторая.
БОЛЬШИЕ РАЗЪЕЗДЫ ОЛИМПИЙЦЕВ И ПЕЙЗАН

Люди же вместо того устремились
ко славе и власти,
Думая этим себе благоденствие твердо
упрочить
И проводить свою жизнь при достатке
в спокойствии полном.
Тщетно! Все те, кто достичь до вершины
почета стремится,
Гибельным сделали путь по дороге, к нему
восходящей.

De rerum natura, книга V, ст. 1120—1124

Для преподов, как их уничижительно зовут заглаза нынешние студенты, в основном балбесы, укрывающиеся от армии, сентябрь всегда тяжеловат. Во-первых, сказывается двухмесячная отпускная расслабленность; во-вторых, еще в большей степени отвыкли за лето от необходимости что-либо делать, кроме как пиво сосать и девок лапать, и студиозусы. Хотя Геннадий, как умный завкафедрой, свел количество своих лекций к самому пределу приличия, все же облегченно вздохнул поутру тридцатого числа: слава богу, теперь пойдет по накатанному до Нового года!

Затребованные Лерой две недели давно уже минули, но она позвонила и попросила еще фору: «Потерпи, милый; сам повторяешь: удовольствие не в факте, а в его ожидании. И этот «факт» сейчас готовится. Не обижай жену, ее вины ни в чем нет». Геннадий, и без того заинтригованный, совсем терялся в догадках: что там прелестница затеяла? Но в одном у него не было сомнения: никому вреда здесь не замышляется. Поморщился только при упоминании о Свете. Та прямо на глазах превращалась в копию таинственной для него Влады. Уже и Елена Авдеевна жалеючи порой смотрела на зятя, даже как-то сказала: «Потерпи, Гена, это полоса у нее такая; случается у женщин на рубеже второй молодо-

сти. И навязалась же эта Влада на ее шею? Той, видимо, надо кем-то руководить и вне работы, раз мужа нет, дочь за границей, а любовники, так думаю, через неделю в панике убегают! А Светка слаба характером, любую общую панику на себя примеряет, страшится неопределенности всего нашего будущего. Терпи сколько сможешь. Одумается».

Жизнь, как любит повторять первый президент страны, становится все более динамичной. Вот этой правды у него при всем усилии не отнимешь. Такая она динамичная, что не удается подождать и одуматься. Вот и начавшийся октябрь дохнул холодом росстаней. Если раньше разъезды готовились годами, то теперь все происходило со скоростью курьерского. И посыпалось как из ведра; Света в пору их жениховства уверяла, что это от перевранной пословицы: посыпалось в *вёдро*, то есть в сильный, частый и прямой дождь. Самое-то существенное — все относилось и к нему: от безразличного и крайне приятного до очень огорчительного.

Как всегда первой ласточкой оказалась Наташа. Позвонила на сотовый, номер которого не преминула спросить в знаменательную последнюю встречу:

— Ты сейчас можешь говорить без маскировки? Хорошо. Звоню на всякий случай, для полезной информации. Хочешь — поздравь, развелась и вновь вышла замуж. Почему быстро? Развод без детей — в полчаса в *ЗАГС'е*. И там же — следующий ход, для быстроты за отдельную плату.

Ладно, это лирика... что-что? Не беспокойся, мой предбывший усач сейчас в эмпириях пребывает; я не стерва, вместо себя отрекомендовала ту самую, известную тебе спортивную врачиху Лену. Там будет все замечательно: у Ленки есть дочь, младшая школьница, а у усатого то, чего нет у нее: полное материальное благообеспечение. Так вот, я в новом качестве убываю в город-герой Кельн, Германия. Года на полтора-два, а там видно будет. Здесь же буду появляться в отпуск, родителей проведывать, а может и по делам. Тебе чего-нибудь нужно из тех мест?

Здесь Геннадий подал свой голос:

— Да, если не затруднит: книги Зиновьева по математической логике немецкого издания. Это у них просто делается — по заказу

в любом книжном супермаркете.

— Хорошо, милый. Адрес твой почтовый как звучит?

— Шлите, пожалуйста, на университет, кафедра философии. Большое спасибо.

— Поняла, целую по-сестрински. Свой телефон сообщу звонком уже оттуда. Не забывай меня.

— Кто это тебе по сотовому звонит? — Света, забыв ради такого случая о совсем недавней ссоре («Пора, наконец, заняться, как все люди, серьезным делом...»), с интересом смотрела на него.

— Не беспокойся,— холодно ответил Геннадий,— не Березовский и даже не Дерипаска.— Чуть подумал и сообщил безразлично:

— Из Москвы знакомый профессор на конференцию в Германию едет. Достаточно?

Света фыркнула и громко сказала в сторону Елены Авдеевны, занимавшейся кухонными делами:

— Мама! Я на пару часиков к Владе забегу. Она вчера из командировки в Финляндию приехала, что-то мне привезла, и на обратном пути за Тришей в школу зайду.

* * *

Через два дня наконец-то позвонила Лера:

— Ты один?

— Да, да, Лерочка, я через парк в университет направляюсь, а ты...

— У меня сегодня до полудня репетиция, затем свободна. Ко мне домой можешь прийти после двух; я к этому времени уже там буду.

— Но-о, а как твои прореа...

— Не задавай вопросов раньше времени. Мне через пару минут на сцену. Приходи, я буду одна. Все, милый.

Лера отворила дверь тотчас после звонка, впустила, крепко прижалась, целуя:

— Я за пару минут до тебя вошла, видишь, даже туфли не сняла. Спасибо за цветы, пошли на кухню поедим. У меня после

репетиций дикий голод, хотя и диетический.

Уже достаточно зная ее, Геннадий по такому, искусственно «обыденному» приему гостя понял: ей есть что сообщить очень и очень важное. И маневр с кухней нехитрый: можно говорить, стоя к нему спиной и разогревая на плите взятое из холодильника.

— Так что за домашние дела целый месяц заняли?

— Погоди. Случилось то, что и должно было быть,— начала она, но, обернувшись и увидев побледневшее вмиг лицо Геннадия, рассмеялась:

— Нет, это не о нас с тобой. Без преамбулы и увертюры: у матери третья молодость наступила, а Полковник свой подгородний дом от доходов праведных и исправно налогами легализуемых перестроил в двухэтажный коттедж с гаражом, сауной и прочими удобствами. Крымская поездка привела к явно ожидаемому консенсусу. Итак, новобрачные отбыли в свои роскошные апартаменты, а меня, сирую и несчастную, с собой не взяли, ха-ха!

— А как же дочь, кошка?

Геннадий понял, что глупость сказал и сам рассмеялся. А тут с вежливым мяуканьем вошла и Машка-старшая.

— Как видишь, не одну оставили. Но строго-настрого, по-военному, Полковник велел мне в течение года, не учебного, не календарного, но астрономического, то есть до октября следующего года официально или неофициально выйти замуж. Машку-младшую на этот горько-медовый год взяли с собой с моим правом брать к себе в любое время, приезжать к ней, уезжать и так далее. С пролонгацией до школьных лет. Ну, здесь у меня выбора нет; нанимать бонну на деньги Полковника — его обидеть кровно, а потом кто из Машки вырастет при таком равнодушном воспитании? Ничего, все в дворянской традиции: мать «на театрах» вытанцовывает, а дочь бабка воспитывает. Меня вот тоже бабушка всю жизнь воспитывала, а вроде ничего получилась, а? К тому же Машка в полный восторг от коттеджа пришла. Еще упросила кошку на разживу мне оставить, а для Машки на фазенде уже сибирского котенка и кутенка колли завели. А попросит, так Полковник новобрачный и арабского скакуна или ахалтекинца во двор приведет.

— Может, с дочерью познакомишь?

— Попозже. Ты пока на мне особо не зацикливайся, хотя я — твоя женщина, думаю, навсегда. И, как говорится, со всеми удобствами. Только без приданого, не считая кошки. Теперь слушай меня внимательно: тебе в самом скором времени предстоят большие испытания. Постарайся разрешить их не только сердцем, но и умом.

— Лера! Я сам чувствую, что дома все пошло наперекосяк, но исходной причины не знаю. А ты откуда и что именно узнала?

— Предчувствие, Геночка, предчувствие. Я ведь все-таки потомственная ведунья. А потом, мой милый, раз теперь ты мне самый близкий человек, сообщаю: наш Полковник, когда я согласилась на год им Машку отдать, расчувствовался, назвал меня дочкой и показал висящий, как память о боевых годах, в шкафу свой парадный мундир с наградами. И здесь, как Верка-травести на подработке в *ТЮЗ'е* в роли Гавроша пела: «У них мундиры синие и сабли на боку!» А бывших кагебешников-фээсбешников, как говорят в сериалах, не бывает. В том смысле, что более молодые его сослуживцы еще в запас не вышли, потому владеют информацией.

— Неужели так серьезно? И по чьей линии? По моей, да?

— Дорогой мой, твоя «линия» нужна только тебе, ну и мне, конечно, а синим мундирам ты, извини, абсолютно неинтересен. Ничего тебе сказать не могу, ибо Полковник, расслабившись на новоселье, совершенно случайно упомянул фамилию твоего тестя. Понятно, что даже о нашем с тобой просто знакомстве ни он, ни мать не знают. Потому и фамилия прозвучала. Дело, как следует понимать из контекста, коммерческое. И совсем не по линии этого ведомства, но там привыкли все и обо всех знать.

Большего узнать не смогла. Расспрашивать — сам понимаешь, значит раньше времени все рассказать, а это, как мне кажется, нам с тобой ни к чему. Гена, заклинаю: будь очень осторожен и рассудочен, помни, я тебя буду любить в любом твоем качестве. Это искренно, не тривиальная женская хитрость типа не мытьем, так катаньем. Думаю, что многие годы нашего знакомства дают тебе основание верить мне. Есть и еще один существенный момент в пользу... но все это в будущем.

И еще; если дело дойдет до очень серьезного, то Полковник по своей линии поможет, а «линия» эта, сам понимаешь, всесильная. Но все же думаю, Егор Трофимович очень даже умен и не последний в городе человек. Сумеет, что называется, малой кровью все разрешить.

Чтобы сгладить гнетущую серьезность разговора, Лера снова и легко перешла в амплуа гостеприимной домашней хозяйки и любовной подруги со стажем:

— Заранее не задумывайся. Давай обедать, а потом, милый, я по тебе страшно соскучилась за целый месяц. Подожди секунду.

Лера, присевшая было, встала, открыла нижнюю створку кухонного шкафа и поставила на стол пузатенькую винную бутылку с въевшейся в этикетку многолетней пылью.

— Мадера коллекционная. Я уже твой вкус изучила. Полковник мне целый ящик различных марок из Крыма привез. Говорит, у бывшего сослуживца, теперь директора гостиницы в Ялте, реквизировал. Наверное, чтобы я мужика поскорее к себе приводила.

В восемь вечера она со смехом еле-еле подняла, не желавшего в полном разомлении никуда уходить, с постели, заставила одеться и за руку повела в прихожую:

— Договорились. Будем играть, хотя и серьезно, в любовников. Дома скажешь, что отмечали вчерашний день учителя. Я не ошибаюсь?

И уже взявшись за ручку двери, серьезно сказала:

— Знаю. Уехала. Разведка донесла. И слава богу, что мне не пришлось вмешиваться. Больше у меня *здесь* врагов нет.

* * *

Гром небесный, а с ним и третьи, самые серьезные росстани и разъезды, грянул вместе с первым устойчивым снегом, то есть в начале третьей декады ноября. В городе все еще изустно и печатно в многочисленных левых и патриотических многотиражках обсуждали нынешнюю Октябрьскую демонстрацию и митинг, впервые за много лет прошедшие, соответственно, по проспекту и на площади перед администрацией области и города, бывшим партийным

храмом, чем-то напоминающим Парфенон, только намного побольше, построенный радением Ивана Харлампиевича. А главное — необычное многолюдство, чем-то напоминающее советские времена: несколько оркестров в колоннах демонстрантов, обилие красных транспарантов и флагов, даже какие-то веселые, в меру пьяные парни, одетые в матросские бушлаты на тельняшки, в бескозырках, с бутафорными пулеметными лентами крест-накрест и с муляжами маузеров на поясах. И еще милиция, получившая приказ ненавязчиво стоять вдоль дороги на тротуарах, без дубинок, бронежилетов, касок и автоматов, как то практиковалось, начиная с ритуального штурма Верховного Совета на Краснопресненской. Обезоруженная милиция чувствовала себя поэтому сконфуженной, как бы в нижнем белье расставленная кругами вдоль дороги, потому равнодушно ожидавшая окончания мероприятия.

А все потому, что, во-первых, вместо полностью развалившего город и область губернатора Стерлядкина, пьяницы и в итоге попавшегося на взятке, в первом же туре выборов эту должность занял убежденный коммунист, человек со всероссийской известностью. Во-вторых, год оказался пиковым в части разрушения всего уклада и хозяйства страны и знаменовался вторым большим переделом захваченной собственности, так что новой, но уже плотно усевшейся в правящие кресла демвласти было явно не до народа. И руководство профсоюза, видимо, обделенное у кормушки, решило показать свои, пока еще не искусственные, зубы. Словом, впервые за много лет вышли на демонстрацию не одни пенсионеры и интеллигенция, но и «его величество рабочий класс», крайне озадаченный регулярной невыплатой зарплаты. Геннадий с интересом, поотвыкше, смотрел на коренных пролетариев города: коротковатых, плотно сбитых, для храбрости выпивших, нарочито громко ругавших власть и свое начальство. В глазах же их играла лихорадочная дерзость: смотрите, мол, какие мы храбрецы, на рожон поперли!

Геннадий усмехался, прекрасно понимая: через год-два «красный» губернатор, разогнав наиболее коррумпированных чиновников и не мытьем, так катаньем призвав к порядку руководство заводов и бюджетных сфер, как-то наладит регулярность выплат зарплаты, и больше коренные пролетарии на этих демонстрациях-митингах не

появятся: на Октябрьскую будут водку дома пить, а на Первомай их властные жены погонят совмещать водку с копанием грядок на своих шести сотках... Как раз недавно Геннадий прочитал «Марксизм XX века» Роже Гароди, впервые изданный по-русски, да еще присовокупив свои жизненные наблюдения, понял всю справедливость современного французского философа-коммуниста: какой, к черту, сейчас пролетарий гегемон? Трусливое тягловое животное, даже не зверь, а именно утроба, жаждущая жратвы побольше и пожирней, бабу помясистее для похоти, водяры по вечерам в будни и в выходные-праздники с утра до заката. Нет больше класса-гегемона. Впрочем, современная интеллигенция еще гаже.

Одобрение же тестем, кладезем практической мудрости, его доводов было окончательным приговором — со стороны Геннадия — современному пролетариату, которому, как и прежде, было нечего терять кроме запасных цепей и самогонного аппарата, любовно сварганенного из вынесенной со своего завода нержавейки, что руководство не успело спустить через местных и московских барышников в Польшу и Китай.

— ...И удивляться уже ничему не стоит, даже извилины напрягать для этого,— благодушно рассуждал Егор Трофимович за праздничным столом седьмого ноября, слушая впечатления зятя, только что вернувшегося с демонстрации и митинга,— относись, Гена, ко всему как к должному, не теряя, конечно, чувство юмора. Вот лет этак через пять и тебя вызовут к ректору, почтенному Генриху Семеновичу, а мы ведь когда-то по молодости с Беркутовым пересекались по партхозделам, и скажет он, отведя глаза в сторону: пришло, мол, Геннадий Борисович, отношение из минвуза, чтобы всех заведующих общественными и экономико-юридическими кафедрами отправить в столицу на трехмесячные Высшие курсы государственного антикоммунизма! И еще дипломную работу, смеясь и плюясь, напишешь под названием «Великий капиталистический интернационализм как антитеза лживому социалистическому *братству народов СССР*»; последние три слова будут стоять в презрительных кавычках. Вот так-то, брат!

— Все ты, отец, не можешь со своим совковством успокоиться. Все уже по-новому живут, несмотря на временные трудности,

исключая некоторых очень уж умных,— при этих словах Света неприязненно посмотрела в сторону мужа,— забыли про всякий коммунизм-социализм.

Егор Трофимович и вовсе пропустил реплику дочери мимо ушей. Елена Авдеевна чуть поморщилась, притворяясь, что покупной соус к сделанному ею цыпленку-табака слишком горек или кисловат. А Геннадий и вовсе в последние две недели свел разговоры с женой к минимально необходимым после того, как Света месяц назад в одночасье бросила свою библиотеку и возглавила открытое при своем торговом холдинге Владой рекламное агентство. «Должен же в семье кто-то деньги зарабатывать»,— несколько высокомерно объяснила свой шаг мужу. Вдобавок же демонстративно порвала и выбросила в мусорное ведро пачку исписанных листов — черновики к начатой еще два года назад диссертации «*N*-й край в жизни семьи Шаховских XVIII—XIX веков в краеведческом источниковедении». «Хватит в игры играть, никому эти дефективные степени сейчас не нужны; делом надо заниматься»,— с вызовом ответила она на немой вопрос что-то готовящей на плите Елене Авдеевне.

Теперь все чаще Геннадий оставался на ночь в своем кабинетике, деля ложе диванчика с симпатизирующим ему Сократом. «Правильно все,— гладя по шерстке кота, думал он,— кошки льнут к людям больным или обиженным. Интересно, *ей* уже и мужик не нужен сейчас? Все заменило общение с Владой и зашибание денег своей рекламой?»

...За себя же он не беспокоился; их отношения с Лерой вошли в такую ритмическую гармонию, что он порой с оторопью думал: а не сон ли это? Не раздвоение личности?

* * *

И вот логическая развязка — или завязка? — произошла. В субботний день, завистливо поглядывая на уличное великолепие свежевыпавшего снега и прекрасного зимнего солнца за окном, Геннадий со вздохом отводил глаза и вновь принимался писать. И по-серьезному завидовал Сократу, что сидел «копилкой» на ши-

роком подоконнике в метре от хозяина и немигающе, сузив щелочки зрачков, наверное, до каких-то микрон, смотрел на снег, солнце, весело прогуливающихся по улицам людей. Но — охота пуще неволи: Геннадий наконец-то завершал свой трактат, некогда застрявший на злосчастной 157-й странице... впрочем, нет, на счастливой для него странице! Ибо на этом самом листе, фигурально выражаясь, их странная доселе любовь с Лерой перешла в любовь обычную, оттого беспредельно сладостную. Слава числу *157*! — Теперь оно талисман для них обоих, как *777* — для античных народов, *555* — для американосов, *666* — ... понятно для кого.

Число страниц рукописи уже перевалило за полутысячу — вот ведь как любовь вдохновляет! Оставались две завершающие главы, а торопило не столько время, сколько договор на издание с московским издательством. Хотя — в духе времени — и безгонорарный, но ведь могут и передумать?

В квартире приятная тишина: Елена Авдеевна с Тришей на весь день уехали к Андрееву семейству, Света и в выходные не вылезает из своего рекламного заведения: «Капусту девка рубит кочанами,— говорит Егор Трофимович, смирившийся и махнувший рукой,— чем бы дитя не тешилось; одно скверно: уже через год из вроде нормальной женщины превратится в монстра наживы, для которой семья — только балансовые единицы. Вот ведь время какое подлое, вмиг человека, тем более слабую головой бабу, разума последнего лишает. Вот и биология тебе, Авдеевна!»

«Однако, легок на помине»,— чуть поморщился Геннадий, заносивший на бумагу отлично сформулированный оборот, который вмиг как-то скукорожился до простенькой сентенции, вспугнутый размашистым хлопком входной двери, характерным для тестя.

— Гена! Ты дома? — И через минуту Егор Трофимович, предельно озабоченный, вошел к зятю,— разговор серьезный и неотложный имеется. Пойдем на кухню. Такие беседы только под водку ведутся. Хорошо, баб нет, а дописать свое сочинение всегда успеешь.

...И еще видно было, что Егор Трофимович решает: в какой интонации и манере вести разговор. Отметил еще Геннадий: тесть взял с собой в кухню и свой служебный портфель, чем-то туго на-

битый. Выпив, не чокаясь, стопку, Егор Трофимович сходу ошеломил зятя:

— Случилось то, что и должно было быть. Мне же все ясно стало еще весной, поэтому за лето и осень все пути отступления и обороны загодя подготовил: помнишь мои странные летние вояжи по европам, загранпаспорта для всех, еще и визы свежие в этом портфеле, твои акции и прочее. Говорить вам, и вообще никому, Андрею в том числе, было ни к чему, вам же спокойнее было, а сейчас момент истины наступил — не хуже чем в книге Богомолова; кстати, тот был когда-то моим знакомцем, но это к делу не относится.

Егор Трофимович, судя по завязке, все собирался с духом. И собрался:

— Не буду антимонии разводить и тебе первому и последнему всю правду скажу, а бабам — ее четвертую часть и ту, что касается только их. И еще одно, последнее предисловие. В случившемся, коль скоро для всех вас беспокойство исходит от меня, моей же вины нет. И вообще ничьей, исключая наше волчье время. Может и мой идеализм определенный роль сыграл: дескать, решил, пусть лучше я у одной из кормушек постою, зато с полдюжины хапугрвачей с носом останутся. Вот и доидеализировался. Словом, Гена, попал я в ситуацию, когда два выхода — и без намеков на какую-нибудь альтернативу: либо всего, до копейки, лишиться и еще на старости лет схватить пятерик, а то и поболее, отсидки, или же всем нам — о тебе отдельный разговор — уехать за границу и жить на хорошо подготовленной запасной позиции: вилла с садиком-огородиком на Средиземном море, Авдеевне давно пора со своей медициной заканчивать, пусть внука воспитывает, на Светку надежды теперь мало. Кстати, пусть и она там со своим «бизнесом» покрутится, раз ей нравится. Тришке — рядом русская школа, еще с белогвардейских времен. И все это, естественно, лет на двадцать оплачивается со счетов солидных банков Европы, открытых на меня, Авдеевну и Светку. На тебя нельзя; боюсь этим подкузьмить тебе, а потом есть определенные тонкости при оформлении счетов на Западе с учетом степеней родственности.

В этом случае нам лет пять будет закрыт въезд в Россию,

но — дано кому следует и сколько следует — уголовного и бандитского преследования не будет. Обратная картина, как уже сказал, если мы останемся здесь. Я-то ладно, но ведь велика опасность наезда братков на женщин. И совсем уж страшно даже про Тришку подумать. Сам понимаешь, сейчас завершается второй передел наворованного в стране, беспредел полный.

— Извиняюсь, Егор Трофимович,— внутренне похолодевший Геннадий воспользовался паузой тестя, разливающего по второй,— я так понимаю, что вас крупно кинули, как это сейчас говорят?

— Отнюдь, Гена, это я их очень крупно и не менее умно кинул, раз обеспечил себе индульгенцию, если не буду мозолить кому не надо глаза здесь. Они не меньше моего от хлопка банка, да даже и не нашего филиала, а московского, получили. То есть своеобразная воровская круговая порука получается. И не я один за бугром окажусь! А не участвовать в этом паскудном деле я не мог, раз в эту систему попал; это уже закон волчьей стаи. Не согласился бы — вот тебе и первый вариант: нищета, бандиты, а мне отсидка. Теперь все знаешь, а подробности в мемуарах когда-нибудь опишу. Помирать сюда приеду в любом случае. Баб вечером в известность — без всякого согласия и обсуждений — поставлю. Думаю, что только Авдеевна огорчится, но скоро привыкнет. Там. Самый щекотливый вопрос, Гена, с тобой: едешь? Можешь подумать до вечера, пока все соберутся. А выезжать надо срочно. Билеты на самолет уже у меня на среду, а в пятницу во всех новостях по ящику и радио дикторы захлебнутся от радости скалозубной: три крупных столичных банка сдохли; на экранах — скорбные очереди вкладчиков. Но к сердцу не бери — это все нанятая массовка, а реальные вкладчики — крупные воры; они еще стократ наворуют. Словом, вор у вора дубинку украл... хотя бы и невольный вор, как я.

— Нет, Егор Трофимович, не поеду, не думайте, что сына и... жену бросаю, но...

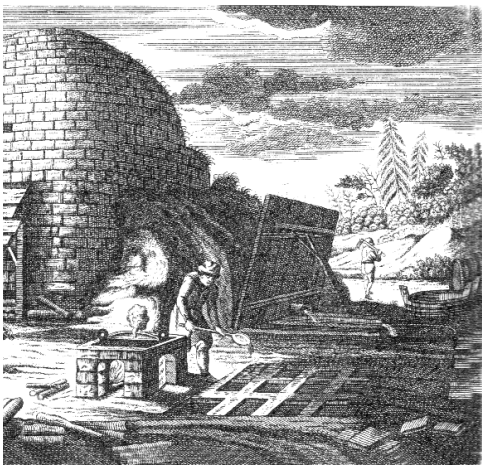
— А никто и не думает. Можешь хоть каждую неделю туда летать, деньгами обеспечу. Тришка под самым что ни на есть присмотром, не безотцовщина, а через пять лет, может и раньше, сюда вернется. Со Светкой сам решай. И не думай, что дочь, то да

се. Для меня вы с ней равны, а в жизни всякое бывает. И я тебя прекрасно понимаю, зачем тебе, взрослому мужику, ломать свою жизнь, если это можно не делать, не отказываться от основного назначения мыслящего человека. Все понимаю. На другой ответ не надеялся, поэтому давай о делах, касаемых тебя.

Егор Трофимович разлил остатки по стопкам, но не выпил, а поднял с пола, поставил на колени портфель, расстегнул замки, начал поочередно доставать его содержимое и класть перед зятем на стол:

— Оформленные документы на квартиру, гараж, машину, дачу. Загранпаспорт твой, помни, надо продлевать. Там сроки указаны. Вот родственная виза во Францию; там же пояснение, как ее отмечать в посольстве при поездках. Это минутное дело без очередей и ожиданий. Еще один мобильник для связи с нами. Прежний пока не используй для этого дела, тем более домашний телефон. Сам понимаешь, почему; любознательных много, хотя это ничем и не грозит.

На твои акции и дивиденды в «семейном» банке никто не покусится. Кстати, базовый капитал я там в пять раз увеличил. Но лучше, чтобы внимания не привлекать, первый год ничего оттуда не бери. А возьми вот,— Егор Трофимович поднатужился и распростертой пятерней вытащил обандероленный «кирпич»,— здесь прямо от печатного станка в Нью-Йорке сотенка тысчонок американских денег. На житье-бытье, не скупись, но и не транжирь. Делом занимайся. На всякий случай здесь не храни, но и в банк какой не клади. Найди схорон. Да, насчет Андрея не бери в голову, он завтра поболее твоего получит. Кстати, в случае чего не стесняйся его услугами по охранной части пользоваться. Но думаю, что до этого не дойдет. Ты в этом моем деле сторона и вообще фигура умолчания. Та-а-к, вроде все. Иди все отнеси в свой стол, а потом займись готовкой, у тебя это хорошо получается. Но прежде сбегай в гараж и принести из багажника баул: там выпивка в большом количестве и разносолы для женщин. Будем с тобой пьянствовать сегодня и завтра. Двигай!



Теперь мало кто помнит о «Великом китайском скачке» 60-х годов прошлого века.— Это была придуманная уже дряхлым Мао Цзедуном программа — навроде тоже уже забытых «500 дней» нашего выдающегося демократа — резкого скачка Китая от аграрной унылости в индустриальную сверхдержаву. В каждой деревне была построена домна средневекового образца, в которой крестьяне, убрав урожай чумизы и гаоляна, вываривали в день до трех пудов пористого чугуна-ректификата. Весь мир потешался... а зря. Мини-домны, наряду с культурной революцией и веселыми ребятами-хунвэйбинами, конечно, в положенное время были ликвидированы, но все это вместе дало старт настоящему, гигантскому экономическому скачку Поднебесной. Аналитики говорят, что здесь маху дали американцы, сделав гешефт вывоза капитала в Китай, чтобы приручить его и натравить на СССР, но ситуация изменилась (ой, изменилась ли? Остерегаемся утверждать это...), и теперь КНР все увереннее противостоит США. Что ж, и на империалистическую старуху бывает проруха.

...Но сама идея «маленьких домен» в Китае прижилась, но только в производстве ширпотреба, которым китайцы сейчас завалили весь мир. То есть стоит где-то в Чуньхане обувная фабрика, где на импортном оборудовании мастерят первоклассные кроссовки Reebok, в которых ходит-бегает вся Америка и Европа. А в соседних деревнях из ее отходов, дешевой формальдегидной пластмассы и бамбукового картона вручную лепят нечто похожее — «до первого дождя», переплавляют через Амур-батюшку и развозят по всем толкучкам России...

— Кто дал вам право печатно клеветать на наш город?

Корреспондент. Мои статьи были пропущены цензурой.

— Хорошо, но как вы смели затрагивать мою жену?

Корреспондент. Я никого не называл по имени, указывал на общественное зло...

— То-то, общественное! А почему вы знаете, что здешние дамы одеваются выше средств? Разве вы можете считать деньги в наших карманах? — Вас за это следует посадить на гауптвахту.

Вышел корреспондент «Первой городской независимой газеты» от видного чиновника градоначальства, распекавшего его за неудачный фельетон, и подумал, что... а ведь прав чиновник! Это он сам по глупой совковой привычке все выискивает зло там, где его нет. Действительно, почему жены ответработников не должны хорошо одеваться? Ведь это в советское время преобладало явление коллективизма, где вы примерно равны, а выделяться чем-то на этом фоне — полный моветон. Сейчас же во всех слоях и прослойках общества господствует принцип тусовки

— прямо противоположный объединяющему коллективизму. Принцип этот прост: быть не хуже, естественно, в материально-вещественном плане, других и постоянно стремиться этот средний уровень превысить. Допустим, у Петьки-школяра мобильник за 15000 рублей (отец — средний торгаш), а у Васьки — за 14990 (папа — мелкий чиновник), и вся стая-тусовка признает Петьку главарем-авторитетом. Поднатужился отец Васьки, взял взятку не по чину и купил сынку мобилу за 16000 рублей: Петька голову понурил, а все девки голопупые к Ваське льнут... То же самое и с автомобилями, коттеджами, женами и их нарядами. А доцент от макроэкономики и обоснование ввернет: мол, это действие третьего закона экономики капобщества: навязывание потребителю ненужных ему товаров через создание психологического климата соревновательного накопительства. Пошел в редакцию корреспондент сочинять правильный фельетон.

Глава тридцать третья.
ВЕСЕЛЬЕ ДИОНИСА И ТЕРЗАНЬЯ АПОЛЛОНА. МУДРОСТЬ МЕЛЬПОМЕНЫ

Жить для того нелегко спокойной и мирною
жизнью,
Чьи нарушают дела договоры всеобщего мира.
Пусть и богов и людей ему обмануть удается,
Все ж утаить навсегда преступления
нету надежды,
Ибо невольно, во сне говоря иль в бреду
при болезни,
Многие сами себя выдавали, бывало, нередко.

De rerum natura, книга V, ст. 11534—1159

Тридцатого декабря на кафедре философии пошабашили к двум часам дня: в предчувствии Нового года даже самые бездельники поспешили с последними зачетами. Геннадий с удовольствием наблюдал, как растет на столе перед ним число сдаваемых преподавателями ведомостей. Наконец и самый неторопкий «препод», семидесятивосьмилетний Иван Васильевич, к тому же принимавший зачеты в самом удаленном от главного пятом корпусе, с легкой одышкой и тающими снежинками на добротном зимнем пальто, купленном к 50-летию Октябрьской революции, принес последнюю, положил на стол, солидно откашлялся и поздравил начальника с наступающим.

Геннадий после ухода философствующего ветерана пересчитал-просмотрел ведомости, крикнул из преподавательской Марину, уже накинувшую на свои стройности дубленку, попросил занести бумаги в сто шестую — названия этой службы он никак не мог запомнить.

— Угу,— мотнула челкой Марина, дожевывая конфетку, врученную ловеласом Енукидзе, что тоже сидел в преподавательской и досадливо заполнял личный учебный план, что вообще-то он обязан был сделать в первую половину сентября. Пришлось ответственной за ведение этих планов секретарше Мариночке сегодня пригрозить доценту: «Николай Автандилович! Все, садитесь и за-

полняйте. Мне за вас выговор получать от УМУ* вовсе не хочется. А не заполните сейчас — в ведомости для бухгалтерии на зарплату вас не упомяну». Енукидзе, конечно, не поверил, но не захотел подводить друга, взявшего его на свою кафедру на полставки.

Однако Геннадий здравую предпраздничную мысль отклонил:

— Я теперь человек холостой, вернее, соломенный жених, сам хорошо знаешь. Поэтому удержать себя должен в трезвости и благонравии; в холодной и пустой квартире никто не подаст утром с похмелья водички испить кружечку...

— Да, да, Борисыч, сочувствую. Я вот вчера утром, завтракая сиротской овсянкой и вареным яичком, из кухонного динамика рекламу пищевой добавки «вука-вука», что для укрепления потенции негры Центральной Африки варят из коры тамошнего дуба-вуки, а потом своих негритянок всю ночь пользуют. Но дело не в том, а в подходе, который шельмец-составитель рекламы использовал: мол, по статистике американской кардиологической ассоциации следует, что у мужчин в возрасте свыше шестидесяти лет, имеющих менее ста половых сношений в год, опасность инфаркта миокарда возрастает в одну целую пятьдесят шесть сотых раза. Мужики — жрите кору африканского дуба ведрами!

— Ну, где уж нам...

— А все там же, сударь, куда вы сейчас направляетесь, а по утрам откуда спешите на службу. И так уже месяц.

— Ха-ха! От родного коллектива не утаишь. Все на кафедре знают?

— И на всех остальных сорока восьми, что имеются в университете. Исключая военную; там женского персонала нет, некому сплетни разносить, а потом тамошнему офицерью не до чужих баб, пардон, прекрасных дам: уже который год с трепетом ждут приказа о ликвидации кафедры. А кому охота с полковничьего жалованья при совсем необременительной службе соскакивать на неполный, невыслуженный по годам пенсион? Но ты не огорчайся, говорят с завистью, ведь актриса твоя, кстати, Нина-ханум ее прекрасно знает по поликлинике, уверенно в театральные примы выходит, и ее уже

* Учебно-методическое управление.

многие первой красавицей города сватают. А раз завидуют, то те же бабы потрепятся и перестанут. Потом в твоей ситуации, раз супружница поменяла мужа на заграницу, я твою версию принимаю, даже советский партком не имел бы к тебе претензий.

Так я к тому, что идти нам с тобой до дома с башенкой все одно по пути, завтра и в последующую пару дней судьба нас не сведет, а не поднять с подчиненным за славный старый, уходящий год рюмку в том самом бывшем «Малыше», что всего на пятьдесят метров чуть дальше твоего нового гнездышка — это чиновная спесь.

Геннадий посмеялся, подумал, что Лера уже в театре, где в предновогодние дни по два спектакля — на малой сцене пораньше, на основной — попозже, а рукопись, слава богу философов всего мира, уже дописана, исправлена и ее сейчас за отдельную плату лихо набирает на компьютере мастерица этого дела, техник-лаборант Нина с технологического факультета.

И вообще жизнь прекрасна, в унисон хорошей, добротной зиме этого года:

— Уговорил. Но без гусарства. Опять же у меня де юре и де факто медовый месяц не закончился.

* * *

Уже в ранней зимней темноте они покинули гостеприимное заведение, которое преподаватели уже успели окрестить «резервным корпусом университета». В советское время это завлекательное название носило кафе-ресторан «Юность» с двумя автономными залами, что по соседству с технологическим факультетом, но в новые времена весь ранее занимаемый нижний этаж четырехподъездного дома новые владельцы разбили на полдесятка разных магазинчиков, собственно ресторанную часть сжали во столько же раз и сделали малодоступным для профессоров и доцентов. Пришлось переориентироваться на бывший «Малыш».

Уже пожав на прощанье руку Енукидзе, которому в сторону дома нужно идти вниз проспекта, Геннадий вдруг что-то вспомнил и задержал приятеля:

— Подожди, зайдем-ка в гастроном за углом.

Енукидзе пожал плечами и последовал за шефом. Зашли в дверь ближе к винному отделу, где Геннадий указал продавщице на самый дорогой коньяк и на выходе вручил его удивившемуся, правда, не очень, доценту:

— Передавай мои поздравления с праздником Нине-ханум, а рюмку этого коньячишки в новогоднюю ночь подними, пожалуйста, за нас с известной тебе актрисой.

— Исполню непременно. И... рад за тебя, дорогой, хотя ты почему-то иногда начал в хандру впадать. Поверь, это временно и всегда сопутствует большим переменам в жизни. Даже если ты и стопроцентно прав. Будь здоров. Иди и готовь вкусный ужин, раз умеешь это делать, и трудитесь вы с *ней* в разные смены, так сказать. До встречи в Новом году!

Распрощавшись с Автандилычем, Геннадий перешел «интеллигентскую» улицу прямо напротив *своего* подъезда, однако, чуть помедлив, круто развернулся, снова перешел улицу и на цветочном углу ее с проспектом купил красиво подобранный букет. Поднимаясь по подъездной лестнице, Геннадий вдруг остро ощутил теплоту во всем теле, но не от выпитого с Енукидзе коньяка, а от осознания того, что он уже привык к новому дому, уже мысленно называет его *своим*, его постоянно тянет туда, причем одинаково тянет: там ли сейчас Лера, в театре ли она или на «полковничьей фазенде»... В любом случае ее присутствие в квартире полное, всеобъемлющее. Это и есть любовь взрослых людей с вечно юной душой. И еще понял, почему даже столь приятная посиделка с умеющим занять собеседника Енукидзе сегодня так скоро завершилась, хотя ничто не препятствовало ее продлению. И Николай Автандилович, тонко чувствующий настрой визави, все прекрасно сознавал и не настаивал на «продолжении банкета».

Подойдя к двери, Геннадий, усмехнувшись, достал из пиджачного кармана связку ключей, оглянулся, проверяя отсутствие любопытствующего глаза и закрывая спиной обзор из глазка противоположной квартиры — опять же на всякий случай, ибо там жили две милейшие старушки, бывшие подруги бабушки Леры,— выбрал указательным и большим пальцами шильце, но затупленное и заканчивающееся кольцом-держателем, и вставил в незаметную

для стороннего глаза дырочку, высверленную в металлической пластинке с номером квартиры. Пластинка была матированная и рельефная, так что он и сам первые дни учился находить эту дырочку под смешливым руководством Леры. «А теперь,— похохатывала она,— осторожно надави шильце до щелчка и считай до пяти, то есть выдерживай пять секунд, плюс-минус одна-полторы. По второму щелчку его вынимай и дальше уже по-человечески открывай ключами верхний, а потом нижний замок. Привыкай к любителю техники и охранного дела Полковнику».— «Все понятно, выпивши приходить — надежда только на твое присутствие в квартире».— «И Полковник говорит то же самое. Поэтому у тебя, милый, двойной стимул всегда торопиться домой, ко мне: любить свою Леру и позволить себе реализовать простительную мужскую слабость, то есть выпить».

...И только где-то через полгода Лера проговорилась: всю эту электрику-механику ребята Полковника спешно установили за день до переселения Геннадия к ней. Полковнику она объяснила свою просьбу беспокойством за квартиру, которая теперь, после разъезда, почти весь день будет пустовать, а сама эта мысль у нее возникла после рассказа Геннадия о причинах «большого разъезда». И хотя он убедил Леру, что лично им никто интересоваться не будет, но женщина всегда боится за своего мужчину, тем более так трудно ей доставшемуся.

Кстати и Геннадий так было и подумал поначалу, но, ознакомившись с голосовым розыгрышем, хитроумной противопожарной сигнализацией и прочими кагебешными штучками Полковника, мысль эту отбросил. Сам человек увлекающийся, Геннадий понимал зуд творчества в любой области занятия делом ума и рук такого человека. Правда, при этом всегда цитировал старика Гегеля Георга Вильгельмовича Фридриха: «Всякая идея, доведенная до совершенства, есть абсурд».

* * *

Уже привычно проделав манипуляции с дверью, Геннадий вошел в прихожую. Уже и не стоит говорить, что свет в ней загорался автоматически при открывании входной двери... Разоблачившись

с улицы, он прошел в гостиную и уже по старинке щелкнул выключателем. Обычная для прихода первым в квартиру картина: на большом диване, накрытом ворсистым пледом, дуплетом расположилась дублирующая двуногих здешних обитателей сладкая парочка — Машка и Сократ. Причем тигрово-полосатое чудище дрыхло, а Машка при включении света проснулась и принялась старательно вылизывать своего благоприобретенного полуторагодовалого котеночка, застревая язычком в его жестко-пушистой шерсти. Вот и курносой Машке на седьмом году жизни повезло!

Как всегда при виде этой идиллии Геннадий одновременно развеселился, но и вспомнил недавнее расставание, с укоризной самому себе поморщился: наступил на больную ногу.

Как ни постарался в своей предусмотрительности Егор Трофимович обустроить отъезд-бегство без сучка и без задоринки, но все же прокол случился. И именно связанный с котом. Как он сам оправдывался, ему и в голову не приходило, что вывоз домашнего зверя за границу есть дело архисложное. В оправдание он приводил неоднократно наблюдаемые им отечественные реалии, когда бабушки, дети и одинокие молодящиеся женщины старше сорока лет преспокойно везут в электричках на дачу кошек в корзинках. Да и сама мысль о коте за серьезными хлопотами где-то на обочинах витала. Просто как само-собой разумеющееся: корзинку с Сократом в приложении к Трише, как личностям бездокументным.

И только Елена Авдеевна в последний день пребывания на исторической родине, уже отошедши от слез и несвойственных ей причитаний и купив в магазине хозтоваров зеленую пластиковую корзинку с крышкой, что-то вспомнила и на всякий случай позвонила своей давней пациентке, работавшей по мелкофинансовой части в областной таможенной службе. ... И, почти сама плача, огорошила все семейство, исключая внука, который уже размечтался о мультимедийных заграничных «компах»; оказывается, на кота документов требуется больше чем на человека, в том числе всяческие справки о прививках. На дворе же стоял вечер, а поутру два джипа из охранного предприятия «Пантера» сына Андрея помчат его родителей, сестру и племянника в сторону Шереметьевского аэропорта.

Поскольку в ожидании западных молочных рек с компьютер-

ными берегами Триша несколько охладел к коту, то Елена Авдеевна, усадив Сократа на колени и поглаживая его шерстку жалостливо подрагивающей рукой, говорила Геннадию:

— Придется вас вдвоем оставлять. А вдруг как тебе в командировку нужно будет поехать, к нам опять же? Потом и отдыхать лето где-то должен... Может, я с соседкой, Валентиной Тихоновной, договорюсь, заплачу, конечно, хорошо, чтобы присматривала при твоем отъезде? Впрочем, это уже для Сократа не спокойная жизнь будет...

— Не надо беспокоить Тихоновну. Сам соображу, вы в голову не берите, и без того забот у вас много. До лета вряд ли куда поеду, если только на какую-нибудь конференцию в Москву, но это все одним днем. А на будущее к родителям относить буду; может и напостоянно туда. Не волнуйтесь, Сократ не пропадет.

...Так Сократ и оказался в новом жилище Геннадия, о чем, вообще говоря, не жалел. Лера даже не обсуждала появление нового жильца, только спросила:

— Ты новорожденных котят топить умеешь? — Понятно. Я тоже не умею. Поэтому придется сразу принять меры и познакомить Сократа с ветеринаром.

— Нет уж, дорогая, я лучше его к родителям отнесу; они в принципе не против, а через пару дней и вовсе членом семьи сделают. Зачем зверю жизнь портить: ни страсти, ни желания, пардон, да еще превратится через полгода в пудовую массу малоподвижную!

— Отстал ты, Гена, от новаций ветеринарии. У Верки-травести тоже пара усатая дома, и без конца женятся. Просто котику безболезненно, безо всяких обрезаний и прочей хирургии пережимают какой-то каналец и все; функции те же, любовь та же, никакие ожирения, кошка довольна, а котят нет. Значит, я сейчас Верке звоню, беру телефон ветеринара — он на дом приходит за двадцатидолларовую купюру... Просто с вами, с мужиками, когда необходимо!

— Ну-ну, ты этот геноцид брось. Второй Индирой Ганди мечтаешь стать? Так та миллион индусских мужиков подобной операции подвергла... Хорошо хоть по двадцатке зеленых с них

не брала.

Итак, вовсе не печальная судьба Сократа была решена, а Машке хотя и не светило счастье многодетного материнства, но — на безмышье и конфетная обертка мышь.

...И пока на застеленном простынкой столе в гостиной веселый моложавый ветеринар делал свое дело, а Лера, отведя в сторону взор, ассистировала — держала спеленатого полотенцем, испуганно мяукающего Сократа, Геннадий в волнении ходил при закрытых дверях по кухне, вполголоса декламировал Федора Сологуба:

Свяжу веревкой руки
У жертвы палача.
О, сколько тусклой скуки
В сверкании меча!

Не выдержав, он взял из холодильника непочатую бутылку «абсолюта», оставшегося от проводов своего семейства и перенесенного в новое жилище вместе с Сократом, откупорил, налил стопку и выпил, зажевав маслинкой. Чтобы не слышать жалобного мяуканья, все же проникавшего через дверь, включил кухонный динамик, налил вторую... Когда бутылка «ноль-семь» опустела на треть, а из динамика послышались рассказы диктора о пользе для россиян лечебного голодания по методике доктора Гайдаренко из Таганрога, Геннадий совсем затосковал: все навалилось; нехорошее ощущение от расставания с совсем осатаневшей Светой, почти болевое чувство разрушенности всего ставшего привычного от разлуки на неопределенным срок с сыном... а теперь вот и кота мучают. Он хлопнул еще стопку, по-мужицки обхватил голову ладонями, упершись локтями в столешницу, и некрасиво-пьяно, плаксиво начал подвывать нечто жалобное о тяжелой доли голодного революционера. Совсем в унисон голосу поскучневшего диктора, размышляющего о методе доктора Гайдаренки. Все это перемешивалось чем-то похожим на галлюцинации: вроде как хлопнула входная дверь, совсем некстати слышался смех Леры, а потом и вовсе чертовщина пошла: кто-то яростно и остро скребся в кухонную дверь, открывающуюся вовне.

А на интригующей фразе радиодиктора: «...Таким образом,

методика доктора из Таганрога может реально помочь миллионам и миллионам россиян «убить двух зайцев» в период наших великих экономических реформ: выжить и войти в светлое капиталистическое будущее поздоровевшими и оптимистичными»,— дверь рывком ушла вовнутрь гостиной, в проеме появилось улыбающееся лицо Леры, уже успевшей переодеться в свой любимый шелковый халатик, но — явно с игривым женским смыслом — «не успевшей» снять накануне подаренные ей Геннадием только-только появившиеся в продаже в самых приличных магазинах женской одежды итальянские чулки с ажурной резинкой. Зашел же в этот, вовсе не относящийся к его полу магазин по ошибке, задумавшись в вечерней темноте и имея желание попасть в соседний гастроном. Захотелось малосольной кеты прикупить.

Но в данный момент не халатик и что соблазнительно-кокетливо едва им прикрываемое, но другое привлекло внимание совсем захандрившего главы новой семьи: в кухню с голодным мявом, подняв столбами распушенные под лису хвосты, ворвались Сократ с Машкой и бросились к своим едовым мисочкам. Ели с прихлюпкой, жадно хватая большие куски слипшейся каши с порубленной печенкой, как словно ожидая накарканный доктором Гайдаренкой голодный реформаторский год, а по спине Сократа волнами ходили нервные судороги — отголоски пережитого.

— Все, все, милый, операция длилась две минуты, а потом я с Машкой еще с четверть часа успокаивали тигрово-полосатого. А ты уже наклюкался? Развернись немного со стулом от стола,— и Лера села к нему на колени, обхватив его левой рукой, чуть откинувшись, а другой взяла наполненную Геннадием для следующего броска стопку и с видимым удовольствием, но по-женски медленно выпила ее.

— Не терзайся по поводу и без него. Я — женщина мудрая, хотя и многоликая Мельпомена. Пойдем, я утешу как могу; а могу я все, что нужно тебе в данный момент. Понятно, я не о кошках-мышках.

...В тот вечер ужинали они поздно и с большим аппетитом.

* * *

— Это даже хорошо, с одной стороны, что хоть таким образом пути Светки и этой стервы Влады расходятся,— говорил Геннадию Егор Трофимович в тот вечер, когда зять сходил в дворовый гараж и принес из машины два здоровенных куля с бутылками и съедобным.

— А может ничего серьезного и не было бы,— возразил Геннадий, но скорее чтобы напряженность момента сгладить.

— Не скажи. Я ведь через Андрея справки-то навел; сам понимаешь, его охранная контора тесно контактирует с разными людьми, авторитетами и братками не в последнюю очередь. Современная специфика этого рода деятельности. Так вот, холдинг этот гребаный, где эта сучка подвизается, принадлежит группировке Николы Карася, в миру уважаемого депутата гордумы Николая Степановича Карасева, в свою очередь, как-то завязанного с московской дагестанской мафией. Основное занятие — отмывка через свою магазинную сеть московской налички от наркоты и проституции, а то и прямого разбоя. А для души — мелкие и средние кидки городских конкурентов от торговли. А при таком деле нужно делиться с ментами и прокуратурой не только деньгами, но помогать им посильно улучшать статистику «правопорядка», то есть время от времени сдавать им шестерок на отсидку. Как раз Светкиного ранга.

Я бы еще и сомневался, но после информации Андрюхи, почти сразу же из очень компетентного источника узнал, что Никола Карась входит в ту шайку, что собирается валить наш банк. Представляешь, как хорошо стервецы всю цепочку просчитали: директор филиала — крупный кидала и вор, а его дочь — мелкая воровка! То есть почти не сомневаюсь, что операция эта задумана загодя, а Влада специально командирована в санаторий охмурять Светку. Она у Карася специализируется по таким делам. Без конкретных доказательств, но Андрюхе удалось даже словить слушок: вроде как эта Влада начинала свою трудовую деятельность в *конторе*, местной, конечно, имеет соответствующую подготовку, в том числе и по технике кодирования, а теперь двум хозяевам служит. Птичка серьезная.

— А почему же Свету не предупредили?

— А потому, Гена, что уже знал о скором нашем отбытии из этих мест. Так и проще, а если правда последнее, то и бесполезно. Сам ученый и психологию в разных ее применениях должен знать.

Еще в тот затянувшийся вечер, уже после прихода женщин, их ахов-охов и тихого плача Елены Авдеевны, когда мужчины, предоставив им спешно собираться, вновь засели на кухне, Егор Трофимович так и этак рассуждал вслух сам с собой в отношении Андрея:

— Здесь все проще и сложнее одновременно. На ногах крепко уже стоит, хотя без году неделя как погоны снял, и явился в наших палестинах. Хватку же в офицерстве приобрел; там это хорошо схватывается, говоря в рифму, или как там правильнее?

— В тавтологию.

— Вот-вот, в нее самую. В прежнее время в армии готовили отцов-командиров — «слуга царю, отец солдатам»,— а сейчас охранников чужого, наворованного у народа добра. Такие вот чудеса, Гена. А в личной жизни вполне хорошо: жена не капризна, ей бы, конечно, офицершей при нем и дальше быть, в генеральши выйти? И сынишка на меня внешне похож. Без ложной скромности — может и характером нашенский будет парень. Как и Триша. Если, паче чаяния, на тебя кто-то наезжать будет... вот, дьявольщина, уже на нормальном русском языке говорить разучился, на феню перешел! Нет, не по моему делу, здесь, как уже говорил, ты не при делах. Но в любом, непредвиденном случае Андрей тебе поможет: и по-родственному, и просто по-человечески. Черная кошка между вами никак не пробегала, со временем и друзьями может станете.

Жаль, не успею теперь заскочить к твоим родителям попрощаться. Так что мой большой привет Марии Антоновне и Борису Аверьяновичу. Объясни, как считаешь нужным, только не пугай. И на полном серьезе: жду их летом к себе, туда. Расходы, конечно, как сейчас говорят, за счет приглашающей стороны.

— Так отца не пустят, у него всю жизнь вторая форма допуска.

— Я узнавал, где надо, сейчас можно все это сделать, ибо никому и ни до чего дела нет. Через пяток лет, конечно, двери захлопнут. Не потому что для дела нужно, а просто для форсу перед

западниками... скорее для фарсу, но сейчас можно. Оставлю тебе пару телефончиков — из *ОВИР'а* и *конторы*. Когда будешь отцу с матерью загранпаспорта оформлять, то по части Бориса Аверьяновича им позвонишь, сославшись на меня. Помогут. Мне и сейчас не откажут, старого закала люди. И я обоим в свое исполкомовское время помог: одному по квартирной части, у другого супругу на работу к себе устроил. Эх, были же времена, когда деньги над нами власти не имели. Не думал дожить до таких, когда песни Пахмутовой и Мокроусова заменят одной, но какой? — «Сатана там правит бал, люди гибнут за металл».

Главное — убеди родителей, что все это временно, хотя и не на год-другой. То есть увидят Тришу уже старшим школьником. А мы с Аверьянычем еще не по одной на родной земле подымем.

Тебе же что пожелать? Вроде себе стезю избрал и движешься по ней. К деньгам у тебя жадности нет, потому в истории дурацкие типа моей тебе не грозит попасть. Но по молодой зрелости желательно — для оптимизма и бодрости — попробовать в публичной деятельности, в депутатстве, например. Все это чушь, конечно, собачья, да и прихлопнут всю эту демагогию-демократию весьма скоро, но это как спортсмен в соревнованиях участвовать — себя показать, опять же для служебного роста полезно. Хотя ты в большие начальники — и что правильно сейчас и для твоего характера — не стремишься, но определенный статус надо набирать. Словом — козыряй, коли козыри в колоде удачно расположились. Тем более — опыт уже кой-какой есть; я имею в виду твою неудавшуюся по причине зимней обуви баллотировку в чины областной администрации, ха-ха-ха! Но на таких казусах и учатся жизни практической.

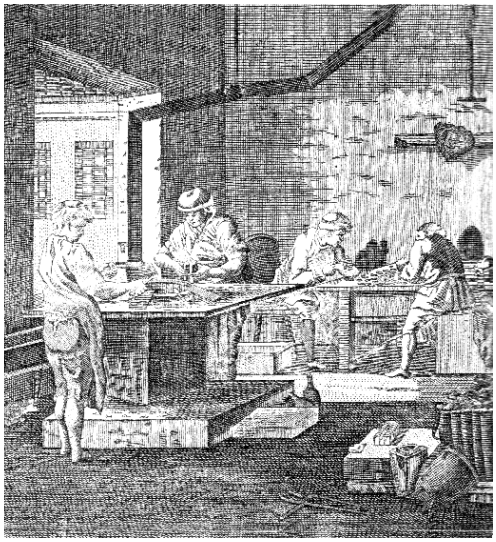
В житейском плане... ну, мы уже говорили. Веди себя разумно, но без зацикливания на этом, прислушивайся почаще к самому себе. Здесь никакие благие советы не помогут, если сам не возьмешь судьбы в свои же руки. Открывай следующую; как говорят врачи, печень при правильном режиме жизни восстанавливается за сорок дней.

...Посреди ночи убаюканный и успокоенный Лерой Геннадий внезапно проснулся. Ему почудился шум со стороны гостиной.

Стараясь не потревожить ровно дышащую во сне Леру, он выскользнул из-под жаркого одеяла, не надевая тапочек, благо пол в спальне и в гостиной застлан ковровыми дорожками, в слабом отсвете уличных фонарей вышел из комнаты, прошел через гостиную и на ощупь нажал кнопку углового настенного бра: по комнате кругами носились поочередно друг за другом разыгравшиеся Сократ и Машка. Причем только что прооперированный кот в полном восторге не просто бегал, но успевал раз за разом подпрыгивать почти на метровую высоту, делать с помощью ветрила-хвоста разворот на сто восемьдесят градусов и мчаться в обратную сторону. Вышла на шум и свет Лера, позевывая сказала:

— Новолуние на них так действует. Новая луна — новый цикл жизни.

Глаза ее, уже не сонные, смотрели добро и трогательно. И очень загадочно. И чуть лукаво.



Работа в маленькой мастерской, а еще лучше — владение ею, историческая первооснова мелкотоварного хозяйствования. В период феодализма этого было вполне достаточно, но уже примитивно-ранний капитализм расширил мастерские до мануфактур... далее хорошо все известно.— Даже нынешним школьникам. И вот случилось вселенское чудо: на исходе XX века в мощной индустриальной стране, где завод с количеством работников менее пяти тысяч, особенно в областных городах, считался небольшим, вдруг в одночасье был сверху провозглашен девиз: только малое предпринимательство, или как принято — бизнес, решит все и вся и сделает государство снова сверхдержавой! Ни много, ни мало... Выше уже говорилось на эту тему. А здесь обратимся, так сказать, к научно-техническому аспекту мелкотоварного производства в современном мире. Чтобы стать сверхдержавой, стране нужны авианосцы, атомные подводные лодки, космическая техника, синхрофазотроны типа только что пущенного в Церне и много-много чего другого. Кое-что из этого в меньшем масштабе и ассортименте делается на артефакте советской науки и техники. Говорить об этом уже скучно и неинтересно, да об этом хорошо знают те, кого это еще как-то беспокоит. Но самое-то главное, что и стихийно возникшие в начале 90-х годов делающие всякую мелочевку артели давно уже развалились. И все сейчас — от гвоздей до автомобилей — привозят из-за речки Амура.

Кузнец своего счастья... Однако, если посмотреть несколько под другим углом зрения, то именно кузнеца можно рассматривать как представителя абсолютного индивидуализма. То есть правильнее сделать акцент: кузнец именно своего счастья. Это видно и из фольклора. Именно кузнец и знахарка в деревне пользуются особым пиететом отчужденности от всех остальных обитателей. Еще следует помнить, что очень часто кузнецы выходили из цыган, отбившихся от своего табора. А даже самый отъявленно-толерантный интернационалист не возьмется утверждать о сугубом духе коллективизма членов этого славного племени в среде инородческого для них населения... Потому они, кстати, и не ассимилировались за те полтысячелетия, что они кочуют по европам и америкам, азиям тож после изгнания их из Индии в эпоху великих моголов. Ну-у, это их личное дело, только желательно бы им так не увлекаться торговлей наркотой.

...А вот кузнец кует именно свое счастье. Но кто его осудит? Ведь полезнее человека на селе не было — понятно, когда село в чем-либо нуждалось из его изделий. То есть, кузнец — тот редкий человек, личное счастье которого полностью гармонирует с общественной пользой. Представители некоторых родов занятий близки к этому, но, увы, не дотягивают.

Глава тридцать четвертая.
ВДОХНОВЕНЬЕ АПОЛЛОНА МУЗОЙ МЕЛЬПОМЕНОЙ

Ты возбуждаешь у всех к продолжению рода
желанье.
Ибо одна ты в руках своих держишь кормило
природы,
И ничего без тебя на божественный свет
не родится,
Радости нет без тебя никакой и прелести
в мире.

De rerum natura, книга I, ст. 20—23

Смысл тех загадочных ночных слов Лера растолковала несколько месяцев спустя:

— В ту ночь, мой милый, я хотела зачать от тебя сына. Даже несмотря на то, что ты выпил. Причем замыслила заранее, приурочив к твоему переезду ко мне. Потому и про цикл намекнула, потому что уже две недели эти самые циклические таблетки не глотала, рассчитала оптимальный день... Пользовалась же очень вредным одноразовым «постинором». И когда мы с тобой на резвящихся хвостатых смотрели, истекали почти что последние минуты, когда еще можно выпить таблетку и все уже сделанное остановить. И здесь пресловутый внутренний голос, как будто бабушкин, очень явственно произнес: «Рано, Лера, рано. Удачу спугнешь!» И если помнишь, я заторопилась на кухню «водички попить».

— Напрасно мне не сказала. Я бы тебя удержал. В смысле — от таблетки.

— Нет, Геночка, я женщина очень даже самостоятельная, к тому же, хи-хи, де-юре незамужняя, поэтому такие решения принимаю только одна. Ты не обижайся. Ведь любишь меня, такую дураковатую? Значит, не обижайся. Все, как говорится, еще впереди. К тому же это в женском характере: сообщать своему мужчине о беременности постфактум. Опять же бабуля здесь мне все четко разъяснила, по всей видимости, вспомнив «Женщину и

социализм» Августа Бебеля, но в общем-то убедительно: это общебиологическое, кода самка вовсе не обязана ставить в известность партнера о своем намерении произвести потомство. Более того, очень часто она должна скрывать это. А у человека дополнительно вступает мощный социально-экономический фактор: нежелание мужчины или рода в сложных ситуациях выживания иметь лишнего иждивенца. А инстинкт толкает женщину на очередную беременность. Вот этот-то первобытный страх в целости и сохранности, но только уже в глубоком подсознании, дошел до наших дней. Вот тебе, дорогой, и цивилизация, она же культура... Запугали вы нас бедных где-то пятьдесят тысяч лет назад!

— Ты, Лера, все на Августа-то Бебеля не вали понапрасну. Я его, кстати говоря, читал и даже конспектировал к семинарскому занятию. Опять же, по предмету твоей бабушки. Что Виктория Ильинична, самый известный в то время профессор пединститута, и ты связаны родством, как ты помнишь, узнал... а когда я узнал, а? Сама-то помнишь?

— Помню,— очень серьезно ответила Лера,— в первое твое явление в этом доме,— и как-то оценивающе, но и нерешительно посмотрела на Геннадия, что-то прошептав про себя. А тому даже послышалось что-то навроде «рано». И тут же спохватилась и уже весело поинтересовалась:

— Так что ты про Бебеля?

— Ладно. Бог с ним, с Бебелем. Так почему раздумала? Или нам *общий* ребенок не нужен?

— Нужен, нужен,— скороговоркой произнесла Лера и рассмеялась,— раздумала, чтобы Машку не огорчать: я вот забеременею, а ей и полдесятка котят нельзя завести!

— Шутки и смех молодят женщину... даже и столь молодую, как одна моя знакомая. По имени Валерия, металлически звучащему. А все же?

— Сам что ли не понимаешь: я же не такая стерва, чтобы поставить перед фактом мужчину, который только-только пришел в дом, и судьба-злодейка столько же счетных дней назад разлучила его с семьей. Словом, плохой я в тот раз оказалась бабой; возобладало в твоей Лере, милый, высокое, человеческое, цивилизован-

ное, перед чем и первородный инстинкт отступил. Вот так-то. Ладно, поговорили и забыли... пока забыли, как у нас в театре говорят — в этом сезоне. Тем более что до конца этого сезона у меня, если не забыл, две премьеры в главных ролях. И тебе со своим депутатством разобраться нужно...

Но Геннадий что-то задумался.

— Ты что это?

— А знаешь, правильно сделала, что тогда... ну, не стала?

— Ах, вот как! Уже и на попятную,— обиделась Лера.

— Нет, ты, дорогая, не поняла. Просто если бы это случилось, то ты бы родила в тридцать шесть лет.

— Ну и что? В нашем роду до пятидесяти можно.

— Я не в том смысле. Просто тридцать шесть — плохое число. Даже хуже чем *666*.

— Впервые слышу. Почему?

— Потому что если сложить все числа от единицы до тридцати шести, то оно и получится: *666* — число дьявола, а что еще хуже — число *36* замаскировано, то есть тайное число дьявола. А вот теперь, хоть сразу сейчас, если мы это самое сделаем, то уже в тридцатисемилетнем возрасте родишь, а это число у древних полагалось счастливым!

— Сегодня не получится,— совсем деловито и поспешно сказала Лера,— день не тот.— Тут же опомнилась, рассмеялась:

— Но я тебя сейчас вдохновлю: у тебя, как мне помнится, сегодня особых дел в университете и вообще где-либо нет, а мне на спектакль идти только через три часа.

* * *

С самого начала совместной жизни, которую они уговорились именовать семейной, равно как и квартиру в доме с башенкой называть домом, Лера взяла на себя роль вдохновительницы Геннадия. «Я же актерка, Мельпомена, поэтому даже в самом сокровенном и глубоко личном я играю роль,— поясняла она,— доступными мне средствами и вполне серьезно. Но это и не лицедейство «на публику», а тот образ жизни, который я вольно или невольно

избрала и от которого отойти уже не могу. Да и не хочу отходить. Потом — я слегка умная женщина, что не делает эту роль навязчивой, прежде всего для тебя, мой любимый. Средства же мои просты и не вычурны: не утомлять болтовней, ибо на сцене выбалтываюсь; с советами не лезть по своей инициативе, тем более — живем уже не в *Стране Советов*; вставлять умное слово, как лыко в строку; утомлять в интиме, чтобы постоянно бодр был и на других баб не глядел; наконец, домашние дела сваливать на тебя по минимуму. Устраивает? Тогда полный вперед... как писал твой авторитет Зиновьев: к «*Зияющим высотам*» и «*Светлому будущему*»! Да, не вздумай интеллигентно лицемерить, то есть сам стирать свои носки. И в отношении кошек сегрегации не допускай: мой Сократ, твоя Машка... Из тряпок мне ничего не покупай, у меня свой стиль. А вот с эротическими чулками у тебя хорошо получается, так что к советским и новодемократическим праздникам дари мне «омсу», «филодору» и «малицу».

Геннадий усмехнулся и с расцеховкой согласился. Для тестирования по женской части Лера зазвала на вечерок Верку-травести, безошибочно вызывавшую у мужиков всех возрастов нездоровый интерес, и внимательно смотрела на реакцию Геннадия. После ухода шаловливой подруги тот спросил: «Меня показать или как?» На что Лера пояснила в том смысле, что театральный мир — весьма своеобразный, но скоро успокаивается, если не играть в загадочность и сходу объяснить: да, живу с мужчиной на правах жены, а не содержанки знатного вора, генерала или вице-губернатора. А Верка, при всей ее скоморошности, женщина умная и все как надо донесет до любознательных. Мне ведь тоже надо свое реноме в театре поддерживать, тем более, сам прекрасно понимаешь: не в темную тебя здесь использовали. Но и ты молодцом держался, на Веркины провокации не поддавался. Она мне при уходе в прихожей шепнула: «Нормальный мужик, то есть умеренный бабник, главное — не извращенец, раз на меня не клюнул!» Это, Геночка, высшая похвала с ее стороны.

...По принципу «брать быка за рога» Лера, отложив беременность на неопределенное время, тем более запуганная сакральностью числа *36*, воспользовалась мельком упомянутым Геннади-

ем пожеланием Егора Трофимовича попробовать, «чтобы кровь в жилах на стыла», себя в публичной, например, депутатской, деятельности.

— Конечно,— помня установку про быка, но все же по-женски чуть издалека, развивала Лера тему в самом начале декабря уходящего года больших в ее жизни перемен,— это либо игры взрослых мужчин, или же шкурный, чисто карьерный интерес. Причем последнее четко делится на два рукава: ньюворы и торгаши со своей корыстью, то есть по твоему и бабушкиному Марксу — срастание финансово-спекулятивного капитала и власти, а вторые — просто люди, которые не нашли себе места в новом мире и не умеют ничего другого делать кроме как демагогию разводить. И, конечно, пополнять личный бюджет посредством высокой зарплаты и бакшишей за лоббирование.

Что же, и ты поиграй, если это не будет утомлять и мешать серьезным делам, тем более, все это продлится еще лет пять, от силы семь-восемь, а потом верхам жупел демократии уже не понадобится... Нет, конечно, для антуража институт депутатства останется, но только для механического «единогласно проголосовали». Как в советские времена.

— Позволь, мой дорогой политолог, с тобой не согласиться. Не знаю, как в Верховном Совете, но на областных и нижележащих уровнях депутаты не совсем простыми пешками являлись. Это достоверно от информированного источника...

— Егор Трофимович? Ну да, спорить не буду. Значит, и по сравнению с прошлым статус понизится. Так что поиграй напоследок. Только с самого начала отрепетируй свой, как говорят сейчас не только в театре, имидж. Здесь тоже два варианта; это уже я, как информированный по части сценического движения источник, тебе говорю. Первый вариант явно не по тебе сшит: цинковая политкорректность, показная толерантность, лизоблюдство и прочее. Нет, здесь ты сразу проколешься, не актер и не толстокожий.

Второй же вариант — *a la* Владимир Вольфович — на провинциальной политсцене не проходит. Поэтому иди со своим лицом, серьезным, но не нарочитым, не переигрывай. Например, с программой возрождения науки. Чушь, конечно, когда ее сверху

уже добивают, но наивных вне *МКАД'а* людей еще достаточно осталось. Кстати, сделай безошибочный шаг: на всю Вселенную объяви, что идешь в законодательную власть не корысти мелкой для, а сражаться за идеалы, и ошеломи: мол, заранее отказываюсь от положенной зарплаты, депутатской. Понятно, что женская часть электората тотчас сочтет тебя дурдомовцем, зато с криком «даешь Геннадия Б. Красилина в нардепы» за тебя проголосуют все бабушки, дедушки с партстажем, нищая трудовая интеллигенция и твои студенты. Да еще часть братков своих шестерок настропалит это сделать; они так тебя поймут, ибо привыкли не только к двурушничеству всех людей, но даже к четырех- и пятирушничеству. Мол, наш кадр, хочет на голосах лохов пробиться в депутаты, а затем в розницу и оптом продаться им в лоббисты.

В целом, наберется солидный процент. Поэтому благословляю и вдохновляю, тем более самое время — вот-вот начнется кампания на выборы следующего года. Только с ботинками не начуди, ха-ха, как этой весной. Ну, да здесь я прослежу.

* * *

Смехотворная история первой «баллотировки» Геннадия во власть была поведана им Лере по время августовского медового полумесяца, как они сообща окрестили воссоединение их любви. Кстати и текущее время тоже получило самоназвание: медовый год притирки.

Ранней, несколько холодноватой весной этого года, когда обезумевший от полного безразличия дорвавшейся до кормушки областной и городской демвласти к их заботам электорат дружно проголосовал за известного не только в области, но и в стране, а после *ГКЧП* и в мире, кандидата-коммуниста, а прежнего губернатора Стерлядкина взяли под стражу за взятку в объеме «дипломата» зеленых, город проснулся и потянулся к политической активности.

Прежде всего воспряли коммунисты, доселе лишенные всех постов, почестей и каких-либо надежд на малосветлое будущее. К величественному зданию администрации, которое по возродившейся

старой привычке иногда стали называть обкомом, потянулись бывшие его члены и вторые-третьи секретари, надеясь получить заслуженные места, примерно равнозначащие в прежней иерархии. Многим это и удалось. Правда, по прошествии начального года «красного» губернаторства новый глава области, мужик с большим опытом хозяйствования и хорошо разбирающийся в людях, почти всех их вышиб с постов, как потерявших всякий нюх к конкретным делам и решивших, что их новый взлет — синекура за обиду прозябания многих годов демвласти. А учитывая, что все эти годы они преимущественно проводили в ближних к их обкомовским квартирам доступных по малым деньгам «стекляшках» — бывшем «Малыше» и соседних «Хантах-мансях» (кафе «Манты — чебуреки»),— где до хрипоты и опустевших бутылок-белоголовок спорили на тему: кто виноват в крушении советской власти, то это явно не пошло им на пользу. Главное, споры и «кирка» их расслабили и приучили к ровному течению пенсионной жизни.

Но все это проявилось потом. А пока же не только бывшие обкомовцы, но и наивные низовые коммунисты-патриоты активизировались. Сами они на высокие должности не претендовали, но старались в меру возможностей задвинуть туда людей порядочных, будучи сами таковыми. И, конечно, малоопытными в высоких политиграх, тем более, что за девяностые годы подзабыли нравы партноменклатуры, стали склоняться к ее идеализации... как на Руси истари жалеют обиженных властью, каторжников и юродивых.

Как-то по хорошей позднемартовской погоде прогуливался в воскресный день Геннадий по центральному парку, размышляя вовсе не о философских высоких материях, но о нынешней смене областных властей и возможных от того последствий. Выходило, что положительное здесь уравновесится, а скорее и перекроется, крайне негативным. Первое — от деятельности нового губернатора, рачительного хозяйственника и человека глубоко порядочного. А природная крестьянская сметливость и хитреца позволяет ему делать полезные дела, в первую очередь, хоть как-то восстановить хозяйство города и области, напрочь разрушенное губернатором Стерлядкиным и окружавшей его сворой. Как человек реальный и трезвый умом, *Новый*, вне всякого сомнения, понимает, что пле-

тью обуха не перешибешь, островок социальной справедливости в море всеобщей коррупции, расхитительства и безудержной наживы не создашь, но хоть что-то можно успеть сделать. Это все положительное от смены власти.

Но тут же попрет сверху негатив, ведь область автоматически становится звеном «красного пояса»; *СМИ* уже приговор подписали и огласили. А это значит, что федеральное финансирование сведут до минимума, чем воспользуется местная торгово-воровская и чиновничья оппозиция и послушно-прикормленные ими местные же телерадио и пресса. Добрый наш народ в массе своей, если дело касается его желудка и возможности умеренно отовариваться, становится полным идиотом, который тем же радиотелевидением легко управляется. А то во всех недофинансированиях обвинит нового губернатора: мол, тот стар уже, малоумен по своей совковости, плохо ориентируется в современной динамичной обстановке и прочая, прочая. Оттого не умеет деньгу для области зашибать, а средства, щедро отпускаемые центральной власти, транжирит на маниловские прожекты. В итоге и получится: минусы уравновесят плюсы, а потом и вовсе их переплюнут...

На этом малоутешительном итоге его окликнул жизнерадостный, крепкий сложением, с окладистой староверческой бородой давний знакомец Кресалов:

— Профессору бывшей марксистско-ленинской философии наше почтение!

— А-а, Владимир Куприянович, с компривет!

Собственно и познакомились они, часто встречаясь на парковых аллеях: как-то оказались за одним столиком в летней пивной. Кресалов недавно вышел на льготную пенсию в пятьдесят лет, благо к этому времени химический *НИИ*, один из двух в мире — второй во Франции,— где создавали мономеры, исходный продукт для синтеза пластмасс нового типа, и где бородач-старовер четверть века слыл известным изобретателем по фторорганике и еще чего-то крайне секретного, полностью ликвидировали. Как сам Владимир Куприянович объяснял Геннадию: первыми задачами агентуры влияния в стране после разрушения СССР, кстати, уже успешно выполненными, были полное разрушение научной инфра-

структуры в части электроники, тонкой органической химии и вооружения. Впрочем, Геннадий сам это все прекрасно знал.

К пенсии Кресалов прирабатывал редким консультированием небольших частных артелей, образовавшихся на развалинах *НИИ* и *КБ* города; эти чудаки всерьез решили, что термин «малый бизнес», который декларативно поддерживается властью, относится вовсе не к торгашам, а именно к ним... А появившееся в избытке свободное время бывший инженер-химик, потомственный староверо поморского согласия, поделил на двух «зайцев». Во-первых, стал казначеем Поморской древлеправославной церкви, потому периодически ездил в Москву по своим церковно-хозяйственным делам. А в городе с собратьями по конфессии добивался от властей возвращения прежних староверческих храмов; один уже отвоевали. Сюда же относились его архивные разыскания и публикации в изданиях Поморской церкви.

Во-вторых, как убежденный и творческий коммунист, он возглавил один из райкомов города, был избран в обком. Первое и второе не мешали ему не менее активно сотрудничать с местным отделением «Мартиролога», как потомка жертв сталинизма. Впрочем, последний термин он не принимал и заменял на «жертв троцкизма и скрытого антисоветизма». С Геннадием он обычно беседовал на темы философии современного коммунизма и истории раскола в русской православной церкви. Обычных православных он именовал никонианами.

* * *

— Слушай, Геннадий Борисович, тебя, наверное, сам ваш никонианский бог мне навстречу послал!

— Я, Владимир Куприянович, научный атеист; потом, со стороны матери я тоже из калужских староверцев белокриницкого, поповского согласия.

— Извиняюсь, давно не встречались, запамятовал. И не мудрено: сейчас весь наш актив по горло занят продвижением коммунистов, патриотов и просто умных людей в областную и городскую власть. Помогаем *Новому* формировать администрацию, не плюющую на народ. Так вот, в связи с этим мы вчера — с моей пода-

чи — говорили о тебе на внеочередном пленуме обкома, а сегодня вечером я собирался тебе звонить домой. Итак, сочли, что твоя кандидатура самая что ни есть оптимальная на свободную пока должность председателя комитета на науке областной администрации. Как ты?

— Но-о, и думать не думал. В *КПСС* я не состоял, в *КПРФ* тоже, да и вообще в этом смысле как кот, что сам по себе ходит. А потом, по характеру не администратор, пронырливости не имею нужной...

— Но ты же патриот! Человек не равнодушный к тому, что происходит со страной, с наукой в конце концов, что вовсе к тебе самому близко.

...Беседовали они часа полтора, дважды обогнув парк по «большому кругу» мимо всех трех каскадов пруда. Сошлись на том, что Геннадий до утра подумает, дело срочное, а то конкуренты мигом набегут, а в десять часов Кресалов позвонит за ответом. В случае согласия они тотчас пойдут в администрацию:

— Товарищи из обкома, что там уже «прописались», в курсе относительно тебя, так что нас примут сходу во всех нужных инстанциях. Давай! Да, с тестем, конечно поговори. У него ума и практики палата в таких делах. Кстати, такой родственник — весьма серьезный положительный момент в твоем продвижении к цели.

Геннадию стало лихорадочно весело:

— А персональное авто и пистолет положены по должности такой?

— Пистолет с разрешением сейчас при минимальных расходах «на представительство» и бомж любой может заиметь. Машина вроде как положена, да у тебя и тестева в полном твоем распоряжении; сам говорил.

Егор Трофимович тренированно не удивился на сообщение зятя. С минуту помолчав, улыбнулся:

— А что? Шансы у тебя есть, учитывая ситуацию безвременья и резкой, почти что полярной смены ориентиров власти. И возраст твой как раз для серьезных авантюр. В хорошем смысле, конечно. Понятно, что для такого рода занятий ты не рожден, но серую нынешнюю жизнь зато разнообразишь, себя покажешь, за-

светишься в местном административном, как Светка ерничает, бомонде. Конечно, это будет твое разовое пребывание у власти, но опыт и вес приобретешь. О тонкостях тамошнего этикета все расскажу подробно, если дело выгорит. Главное, ничего не теряешь: по закону преподавателям вузов и только им разрешается совмещать администрирование с прежней работой. Даже кафедру оставят, ибо в некотором смысле будешь для ректора начальством, хотя университет официально проходит по департаменту образования.

И еще один существенный момент: комитет этот из самых нищих, не мне тебе объяснять, кому сейчас ваша наука нужна... И это от губернатора не зависит, здесь есть установка верхов, они расцеховку устанавливают, которая обязательна для исполнения на местах. Но это и хорошо: если денег в комитете нет и не предвидится, то не будет шантажа, наездов и конкурентов на подсиживание. Наконец, ты пойдешь фигурой умолчания, никто тебя в администрации не знает, ни в каких скандалах не замешан, опять же возраст — сейчас вокруг *Нового* собрались почти старики, что по четверти века рулили еще при Иване Харлампиевиче, а ты им статистику хорошо подправишь! И место это такое, что не жалко молодому отдать: без денег, без власти и так далее. Закавычка здесь одна — ваш ректор. Я этого Беркутова хорошо знаю, по мелочи он даже и обязан мне: помнишь, когда тебе кафедру добывали? Но хитер и по ветру нос профессионально держит, не зря при всех режимах, как говорится, уже тридцать лет ректорствует. А мнением Генриха Семеновича оттуда обязательно поинтересуются. Хотя он в девяносто первом и даже чуть пораньше слишком резво от коммунистов отрекся, но вся эта старая гвардия города к партийности относятся по-деловому. Главное — он был и есть, и еще лет десять будет руководителем вуза всероссийского масштаба.

Ладно, я сейчас кой-кому позвоню, ты пойди на кухню, поешь, женщины все в разгоне, весну, должно быть, почувствовали... А потом доложу обстановку.

Геннадий же пошел в свой кабинетик, чтобы деликатно не прислушиваться к разговорам Егора Трофимовича.

Через четверть часа тесть заглянул к нему и поманил за собой

на кухню:

— Пойдем поедим и граммульку выпьем. Обстановка вполне приемлемая, как я тебе и говорил. Давай, яишенку сваргань с салом, а у меня бутылочка «зубровки» экспортной припрятана.

...К двенадцати часам Геннадий с Кресаловым по заранее заказанным последним пропускам вошли в здание администрации и направились к лифту. Владимир Куприянович пояснял диспозицию:

— Сейчас идем к руководителю аппарата администрации; он ведает заполнением структуры, в смысле подбором и первичным благословением руководителей отделов, комитетов и департаментов. Здесь вопросов, скорее всего, не будет. На пленуме обкома оговорено с ним. Затем к заму губернатора, руководящему блоком промышленности, сельского хозяйства и науки. Мужик несколько корявый, но и не дурак. А уж он направляет к вице-губернатору, или, официально, первому заместителю главы администрации области. Держись спокойно, с умеренным достоинством, на вопросы отвечай кратко и серьезно, в остальном молчи. Я буду говорить.

Руководитель по подборке кадров с молдавской фамилией, лет семидесяти, принял вошедших радушно. Геннадий живо вспомнил его по фамилии: при Иване Харлампиевиче он бессменно занимал пост первого секретаря в крупнейшем промышленном районе области. Приятно улыбаясь, тот сразу подвел Геннадия к разложенному на двух сдвинутых столах склеенному полотну ватмана размером с простыню:

— Вот, Геннадий Борисович, структура нашего будущего правительства. Да-да, решили по-московски и ленинградски назвать администрацию правительством. А за номером пятнадцать клеточка — это ваша должность. Думаю, если не завтра, так через пару дней займете свой кабинет. А мой по соседству будет — вот под номером семнадцать. Заранее поздравляю, а теперь направляйтесь к Николаю Сергеевичу.

Заместитель по промышленности и прочему своей фамилией ничего Геннадию не говорил. Молча слушал Кресалова, равнодушно иногда кивал головой, но при упоминании тем о сочувствии профессора философии идеям коммунизма разнервничался:

— Никакого коммунизма, сейчас главное — экономика.

И наука, конечно.

Поняв, что хватил лишку, Владимир Куприянович использовал заранее запасенный козырь:

— ...Так Геннадий Борисович является одним из наиболее перспективных, молодых ученых университета. А что касается практического опыта руководства, то его тесть, известный вам Егор Трофимович, всегда поможет советом.

— Ка-а-к, Егор Трофимович ваш родственник? Это хорошо, на его советы всегда сможете опереться. Привет ему от меня передавайте. Давно хотел с ним встретиться, поговорить — ведь мы раньше постоянно пересекались по работе, да вот закрутился, понимаешь...

Улыбающийся Николай Сергеевич взял телефонную трубку, набрал короткий внутренний номер, что-то сказал партийной скороговоркой:

— Ну, все в порядке, идите к Григорию Федоровичу, он вас сразу примет.

По пути в ответственный кабинет возбужденный удачами Кресалов наставлял:

— Григорий Федорович при Иване Харлампиевиче несколько лет в обкоме ведал идеологией, потом его взяли в *ЦК* по этому же профилю. Должность не очень большая, но ведь *ЦК*! Потом остался не у дел, а сейчас его рекомендовали в первые замы тоже из *ЦК*, только *КПРФ*. Я его не знаю, но, думаю, и его обломаем.

В кабинете, но уже с предбанником, с секретаршей, молча пропустившей их, ходоков встретил худощавый цекист с бледным, вытянутым лицом, выражавшим одновременно полную апатию и настороженную подозрительность. Еще Геннадий обратил внимание на его серый костюм: аккуратно выглаженный, но явно приобретенный или сшитый на заказ лет двадцать тому назад, по моде тех лет.

Он равнодушно выслушал Кресалова, задал несколько вопросов соискателю должности, тоскливо упирая все на ту же экономику, как стержень современного управления территориями. Одновременно оценивающе осматривал Геннадия с ног до головы, особо останавливая взор на его ботинках. Со словами «мы учтем вашу кандидатуру; дело требует обсуждения по всему кадровому составу руководства, это не одного дня вопрос» цекист встал из-за

стола, давая понять, что беседа окончена.

Покидая здание администрации, Кресалов оставался оптимистичным, но и несколько задумчивым:

— Не могут понять, в чем дело? Как-то он насторожился, хотя ни ты, ни я особых поводов ему не давали. Ладно, пару-тройку дней подождем, а потом пустим в ход тяжелую артиллерию, то есть руководство обкома.

Через три дня Геннадий, просматривая свежие областные «Известия», выписываемые тестем, в официальной рубрике администрации прочитал: председателем комитета по науке назначен хорошо знакомый ему декан технологического факультета их университета. Геннадий весело присвистнул, легонько щелкнул по носу Сократа, заинтересовавшегося шелестом газеты, и подумал, что одной докукой меньше. Сожаления никакого не было, только крохотная обида... на Кресалова, втянувшего в эту авантюру. Даже не жалел о потраченном дне: «Зато хоть на кухню высокой губернской политики заглянул!»

Вечером Егор Трофимович, уже и сам заинтересовавшийся, сделал пару звонков и весел объявил зятю:

— Эх ты, а еще в госчиновники собрался! Ты зачем в зимних, а не в демисезонных башмаках пошел на прием?

— Это вы, Егор Трофимович, серьезно?

— Конечно. Тебя же бывшая шестерка из *ЦК* щупала-оценивала. Вот он обнаружил, что согласно времени года, с поправкой на глобальное потепление, форма одежды должна содержать не зимние, но весенне-осенние чеботы. И все. Отсюда он и делает вывод: в большие чиновники не годится, рассеян в одежде, значит и по службе можно ожидать промашек. И еще твой Генрих Семенович руку приложил: по всей видимости, этот технологический декан будет полностью под его дудку плясать, а в тебе он сомневается. Но — все решили зимние ботинки.

Горнило вдохновения, он же Кастальский ключ, она же Болдинская осень, он же громокипящий кубок от ветреной Фебы... Какие это заветные символы для людей творчества? И сопутствующие им состояния творящей души присущи истинным гениям и большим талантам. Но, увы, высокая трагедия вырождается в пошлый водевиль, когда горнило вдохновения начинают штурмовать люди, хотя и добрых намерений, но обделенные даром самовыражения. Это, конечно, не их вина,— природа слепо раскидала кувшин этих серебряных монет, то есть талантов: кому досталось, а большинству и нет. Но насиловать эту природу — уже грех; не дано — успокойся и займись ремеслом попроще, главное, чтобы оно пользу приносило. А провозглашать себя гением, имея за душой только знание правил стихосложения, кипу писчей бумаги «Сору» и поддельный, китайский «паркер» — по меньшей мере безрассудно, вредно для окружающих, убыточно для семейного бюджета, опасно для здоровья, особенно психического. Тихий графоман вызывает жалость, часто — дружескую. Но буйный маратель бумаги такие дела творит, что его начинают всерьез опасаться. Их нападкам более всего подвержены самые робкие из редакторов — заводских многотиражек и нанятые на сроки выборов второстепенными политическими партиями. Еще буйные графоманы уважают водочку под селедочку на презентациях чужих книг, а боятся только собственных жен.

Дворник Кизилов получил из родного кишлака письмо, что отписал за неграмотностью родни учитель местной школы — и огорчился вельми: повысили цены сразу на все стройматериалы: кирпич, кизяк, половую доску и черепицу. Какой-то дефолт в ферганской долине случился. «Как же быть? — задумался Кизилов,— рассчитывал до ноября нужную сумму собрать и ехать строить дом, а тут...» Но Кизилов — не русский космонавт, не запил, а начал искать приработка. Тут-то и присмотрел огорченного дворника кандидат в депутаты городской думы (как раз случились выборы), мелкий купец Принципов Альфред Агамемнонович, владелец бутика китайской летней обуви. Как близкий к народу человек, Принципов не погнушался общением с дворником и даже нанял его в новомодные «ходячие плакаты». Обвешал он Кизилова праведными лозунгами о прогрессе и реформах, даже на метлу что-то о гуманности прикрепил, а на голову надел рыцарскую каску-шлем со своей звучной фамилией. В полный восторг пришел Альфред Агамемнонович, увидев обряженного Кизилова, ручками пухловатыми всплеснул: «Ай да молодец, ай да Кизилов-ага!» И велел ему не только по своему двору, но и вообще по центру города в таком наряде разгуливать. И жалованье положил: двести рублей в день и премию по положительным итогам выборов.

...Не нарадуется народ на своих избранников!

Глава тридцать пятая.
СОЮЗ АПОЛЛОНА И ГЕРМЕСА В САДАХ ЛИКЕЯ: ИСКУШЕНИЕ

Много вопросов еще остается и многое надо
Выяснить, ежели мы к очевидности полной
стремимся.
Первый вопрос: почему, не успело возникнуть
желанье,
Как уж немедленно ум начинает об этом же
думать?

De rerum natura, книга IV, ст. 777—780

Лера от души хохотала над рассказом Геннадия о его баллотировке:

— Их, прежних партайгеноссе, натаскивали не хуже актеров в театральных училищах. А партийный этикет посложнее придворного времен Людовика XVI.

— Да-да,— соглашался Геннадий,— вот с таким следованием этикету, с доскональным знанием сезонных форм одежды и обуви они и сдали кучке американских агентов всю великую страну и свою четырнадцатимиллионную партию. Без боя сдали и даже без единой попытки, не считая им же подстроенного спектакля с *ГКЧП*.

Разговор происходил за поздним завтраком, после которого Геннадий пошел в свой гараж за машиной, затем подобрал стоящую на углу проспекта и «интеллигентской улицы» Леру, и они поехали на Оку купаться.

— ...В мае все случается, в мае все влюбляются,— улыбаясь, напевала нечто стародавнее Лера, собираясь идти на спектакль. Уже готовая к выходу, заглянула на кухню, где только что убиралась: все вроде в порядке и чистоте. Геннадий через час-другой придет из своего университета, суп сварен, что надо сам из холодильника разогреет, иждивенцы покормлены, а она сама... ура! Беременна! Сегодняшний визит в консультацию, сразу после утренней репетиции, все подтвердил. Пожилая гинекологиня Анастасия

Германовна, пользовавшая ее и во время вынашивания Машки-младшей, поздравила на правах давней семейной знакомой;

— Все у тебя прекрасно, Лерочка. К Новому году будет прибавление в семействе. Я ведь знаю, а кто в городе тебя не знает? — Замуж вышла, да? И возраст для второродящей самый что ни есть. И времени для третьего-четвертого предостаточно!

— Ну, Анастасия Германовна, вы совсем уж меня в кошки записали.

— А что, в стране все рожать перестали, должен же кто-то вымирание народа предотвратить? Вот и возьмись за это боугодное дело. Нет, Лерочка, я не меньше твоего рада. Жаль, Виктория Ильинична рано нас покинула, до ста лет не дожила, правнуков по вашей линии не дождалась. Инне Васильевне кланяться от меня, давно не виделись, как она переехала в свое поместье. Ты вот что, если как с Машей дело пойдет, то можешь и начало следующего сезона на сцене встретить; по твоему росту и фигуре и на восьмом месяце при хорошо подобранной одежде не будешь останавливать взглядов, кроме как на самой себе: мужчин и женщин; первых с восхищением, вторых, понятно, с завистью. Но на летние гастроли ездить все же воздержись. И ко мне регулярно заходи, хотя человек ты дисциплинированный, знаю.

...Лера, продолжая все так же напевать про месяц май, в котором все люди женятся, повернулась перед зеркалом в прихожей и игриво показала язык вышедшей ее проводить Машке:

— Что, курносая, завидуешь? Я с марта уже месяц беременна, а ты нет? — Но тут же укорила себя за бабий эгоизм и, присев, погладила кошку, а заодно и появившегося в сонном недоумении Сократа:

— Все, я ушла. Ждите хозяина и не притворяйтесь голодающими Поволжья: уже дважды сегодня ели.

В марте-месяце для Геннадия и Леры, как из рога изобилия, один за другим расплетались все завязанные в предшествующие месяцы и годы узлы. Причем рог этот сыпал с такой поспешностью и щедростью, что оба задумались: что за везенье такое? А ведь за светлой полосой вполне может последовать и черная... Но может и нет. На том и успокоились.

Под самый женский праздник, к факту существования которого оба относились прохладно, правда, по разным причинам, позвонил по резервному мобильнику тесть. Находившаяся в квартире Лера дипломатично ушла на кухню, увидев, что Геннадий взял именно тот самый телефон.

Через десять минут Геннадий с несколько отстраненным выражением лица тоже вышел на кухню, попридержал за плечи ладонями вставшую было со стула Леру, открыл холодильник и поставил на стол водочную бутылку:

— Посиди, не уходи. Выпьешь со мной?

— Если только чуть-чуть. У меня же сегодня спектакль, я от занавеса до занавеса на сцене. Что случилось? И почему водка, там же коньяк остался.

— Нет, повод требует водки, ибо по второй требуется чокаться, а по старорусскому обычаю чокаться положено не коньяком, не вином, но исключительно ей, родимой. Да-а, «но для женщины прошлого нет. Разлюбила — и стал ей чужой». Но оно и к лучшему. Для всех.

— Объясни же, наконец, что случилось,— Лера не на шутку разволновалась,— и Бунина опять вспомнил?

— Давай выпьем, скажу, конечно. Не чокаясь.

Через пару минут Геннадий глубоко вздохнул и, не подыскивая слов, сообщил содержание телефонного разговора с Егором Трофимовичем:

— Где-то через пару недель ко мне придут почтой документы о разводе. Поскольку инициатива не моя, да и тесть постарался, права на Тришу у нас остаются общими, но до совершеннолетия все решения принимают только опекуны: Егор Трофимович и Елена Авдеевна. Так что, дорогая, готовь подвенечное платье. В месяце мае скрепим наш союз.

— Ты это серьезно? — Лера очень внимательно посмотрела на Геннадия.

— Серьезнее некуда. Давай по второй, но чокнемся за нас. Моя предбывшая с примчавшейся туда же на Лазурный берег бизнес-девушкой Владой скоренько затеяли гешефт, нашли себе американосов восковой спелости, лет под пятьдесят каждому, торга-

шей из Сент-Луиса, куда и убывают на постоянное место жительства.

Геннадий теперь уже внимательно смотрел на Леру, которая чуть побледнела и держала в руках рюмку с водкой на донышке. «Выпьет или не выпьет?» — Одна мысль держалась у него в голове. Прошла минута, другая, третья... Геннадий вздохнул, долил свою стопку доверху, до выпуклого мениска, взял в руку и поднес к губам.

— Стой! — Он даже испугался громкого вскрика Леры,— не смей один пить! — Она поднесла свою рюмку к его стопке. Звякнуло стекло: ее звонко, наполненное у Геннадия — глухо.

— За нас, милый. Завтра пойду искать подвенечное платье и тебе свадебный смокинг. Фамилию оставляю свою, даже разговор не заводи. Мне уже пора в театр. Теперь слушай меня внимательно: сейчас, на пороге при выходе, я тебе скажу одну новость многолетней давности. После чего разрешаю тебе выпить все, что имеется в холодильнике, но потом неделю... нет, нет,— Лера девчоночьим бегом выскочила в гостиную, вернулась со своей сумочкой, вынула календарик,— так, так, десять, для верности одиннадцать дней даже к пиву не притронешься, хотя ты его и не пьешь. Надеюсь, понятно? Да, Енукидзе не зови, разговаривай с кошками. Они внимательно будут слушать.

...Отворив дверь, но не переступая еще порога, Лера обняла Геннадия, но вместо его губ прильнула к уху, шепнула: «Маша — твоя дочь». Тут же выскочила на площадку, захлопнув дверь.

* * *

А спустя неделю, еще до означенного Лерой ее *срока*, во втором часу ночи на понедельник после выборного воскресенья, которое Геннадий провел не выходя из дома, совершенно искренне не интересуясь новостями, не включая телевизора и радиоточки на кухне (Лера под каким-то предлогом с утра ушла к Верке-травести, а оттуда прямо на вечерний спектакль), в тишине зазвонил квартирный телефон. Лера, явно не засыпавшая, делала вид, что во сне не слышит, а Геннадий, спавший, но чутко, встал и прошел

в гостиную, взял трубку, выслушал, поблагодарил и вернулся в спальню, позевывая.

— Кто это? — нарочито сонным голосом спросила Лера.

— Сбылась мечта идиота,— коротко ответил он,— прошел.

— Ну и хорошо. Через четыре дня обмоешь это дело. Спокойной ночи.— И Лера вмиг провалилась в глубокий, спокойный сон без сновидений.

Тесть, то есть теперь уже не тесть, а просто уважаемый им Егор Трофимович... нет, конечно же тесть, если он дед его сына? Словом, Егор Трофимович оказался «на все сто» прав в том прощальном перед отъездом разговоре: весь перечисленный им «электорат» и поставил на Геннадия, как фигуру не надоевшую в избирательных игрищах. Конечно же, всех ошарашило растиражированное в листовках и неизменной газете-однодневке, сварганенной за умеренную плату сочинителем Омшанниковым и беллетристом Сухариковым, заявление молодцеватого профессора философии, заранее отказывающегося от депутатской зарплаты. Разумеется, слово авторитетов было не последним. На всякий случай, хотя Геннадий в своих программных заявлениях и заявлял, что если что и намерен лоббировать, так интересы промышленной и вузовской науки. Братки сочли это обнадеживающим намеком. Ну, это их лично-корпоративное дело.

Впрочем, с поддержкой братков помог Женька в очередной его приезд в родной город. Ему очень понравилось желание друга войти во власть. «Глядишь — и мне чем поможешь; на паритетных началах, конечно»,— сказал он Геннадию. И сам же предложил привлечь братков через своего приятеля, а теперь и его представителя в городе Ивана с погонялом Алтын, державшего в подчинении весь рэкет на Центральном рынке. Тот, в свою очередь, подключил к пиару своих старших шестерок Петьку и Серого, соседей Геннадия по родительскому дому, бывших мелких хулиганов, ныне закодировавшихся и приставленных Алтыном к делу. Активно поработали через своих бойцов, по-родственному бескорыстно, Андрей и Полковник.

Очень умно он выбрал состав своего избирательного штаба, учитывая, что шел он независимым кандидатом, слегка кланяясь

малыми реверансами как коммунистам, так и жириновцам, демонстративно дистанцируясь от всяких правых. Со стороны первых он привлек в штаб все того же Владимира Куприяновича Кресалова, а от жириновцев ему на правах друга детства чем мог помогал бывший одноклассник Сашка Ковалев, теперь руководивший городской организацией *ЛДПР*. Еще удачнее оказалась и руководительница штаба, охотно согласившаяся помочь своему бывшему младшему коллеге по школе, сама бывшая директриса ее в период учительства Геннадия, а ныне заведующая в районной администрации наробразом Римма Васильевна, красавица-полутатарка, так и не нашедшая в свои сорок семь лет спутника жизни...

Лера, с помощью хлопотуньи Верки-травести сделавшая весь театр активным филиалом избирательного штаба Геннадия, не приревновала его к Римме только потому, что была с ней хорошо знакома: наробразовская, роскошно красивая в исходе бальзаковского возраста, начальница от непонятного одиночества жизни сочиняла для души лирические стихи, а лет десять назад они с Лерой парутройку раз встречались на семинарах литобъединения при областной писательской организации, руководимой Сухариковым. Но тот начал заигрывать с обеими, и они перестали туда захаживать. Поженски понимая Леру и чтобы исключить неясности, она все поведала актрисе о давней, патологический приязни ее и Геннадия в стиле возрастного мезальянса, тем самым разоружившись и окончательно подружившись с актрисой.

Но чем Геннадий больше всего гордился в организации своей кампании, так это ее логической продуманностью. Вышло все это случайно. К самому началу избирательной кампании он получил на кафедральный, университетский адрес бандероль из Германии: обязательная по жизни Наташа выполнила его просьбу и прислала несколько книг Зиновьева по математической логике, изданных на Западе, в основном, на немецком языке. Содержание их он вполне понимал по формульному тексту, имея со времен написания докторской диссертации соответствующую подготовку, а текстовые пояснения тоже не являлись камнем преткновения, да и словарь под рукой имелся. В одном из приводимых Зиновьевым примеров он и встретил логическую конструкцию оптимальной избирательной кам-

пании. За пару дней он набросал, пользуясь первоисточником, алгоритм логической оптимизации. Еще пара-тройка потребовалась для росписи банка исходных параметров, в основном, подробного, прикидочного описания электората. Затем созвонился с знакомым доцентом с факультета кибернетики, встретился с ним, объяснил постановку задачи. «Берешься, Вадим?» — И для ускорения ответа того положил на стол пять стодолларовых бумажек — доцентскую зарплату за целый семестр. «Времени в обрез, за неделю успеешь?» Вадим кивнул головой, а через оговоренную неделю выдал распечатку подробнейшего графика проведения кампании.

Геннадий выдал стодолларовую премию, но поинтересовался: отчего на листах пухлой распечатки присутствуют какие-то колонтитулы на английском. Вадим заухмылялся:

— Алгоритм твой, Борисыч, конечно, хорош. Тем более, что я в матлогике и твоего Зиновьева комплексной, маракую. Но составлять и отлаживать программу — месяца не хватит. Поэтому полазил по интернету, нашел концы — похожую, уже готовую программу республиканской партии *США* на прошлых сенатских выборах, понятно не саму программу, а указание на нее, с шифрованным доступом. Есть у меня один студент, профи по хакерству, в двух фирмах этим делом подрабатывает, учиться ему некогда. Ну и за «пятак» по моему предмету лихо взломал и выдал эту совсекретную программу. Дальше просто: вставил твои исходники по базе данных — и вот готово! Голь на выдумку хитра, уважаемый профессор.

Программа сработала блестяще, главное, Геннадию почти не пришлось заниматься нудными выступлениями перед публикой. «Я вам не Цыбульник»,— вспоминая веселый рассказ Леры, отвечал он по телефону на приглашение выступить перед коллективом макаронной фабрики.

Оптимизация кампании, кроме всего прочего, позволила ему свести расходы всего лишь до двух пачек из тех, что оставил на первый год житья-бытья Егор Трофимович. Памятуя его слова, Геннадий их тратил экономно и к московскому банку не обращался.

* * *

В облдуме Геннадий прописался по комитету науки, культуры и образования. Там в основном собрались из учительского сословия, люди дружные, поэтому чужака-профессора к должностям председателя, зама и руководителя подотраслей не подпустили, чем он и остался доволен. А первый же день «присутствия» он не преминул любопытства ради забрести в административное крыло. Судя по дверным табличкам, никого из его крестников по эпопее с комитетом науки в высоких должностях не осталось. Как раз накануне думских выборов новый губернатор разогнал старую гвардию, заменив их более деятельными людьми.

Зашел поздороваться с бывшим деканом технологического. Тот, скучавший в пустом кабинете, обрадовался, поздравил с депутатством:

— ...И хорошо что в это кресло не попал! Ни денег на комитет не дают, ни серьезных дел нет. Видишь — в приемной ни души. А кто придет, раз бюджет комитета копеечный? Вот с моим помощником и сочиняем всякие проекты мифических конкурсов, нищенских грантов. Вся работа и состоит в бумаготворчестве. И бесконечные совещанья-заседанья с безудержной говорильней. Чтобы совсем здесь не отупеть, зову сюда своих дипломников и аспирантов из университета; профессорство там, конечно, оставил за собой — куда же еще через четыре года возвращаться! Ну, успехов тебе. У вас там повеселее. Вот и мои дипломницы явились.

Председательница думского комитета Тимофеева, тож из учителей, накрепко засевшая в этой должности еще при основании думы, на правах бывшей студентки Виктории Ильиничны и ее несостоявшейся аспирантки, потому бывавшей в квартире дома с башенкой, знавшей Леру в юности, а по театру и сейчас, говорила с Геннадием без административного политеса:

— Отвлекать вас, Геннадий Борисович, особенно от университетских дел не будем: раз в неделю заходите сюда; на комитетские, подкомитетские и думские слушания обязательно, но они нечасты. Потому вас и не назначили на какую-либо руководящую должность: это не для вас, трата времени большая... воду в ступе то-

лочь. Пусть этим наши профессионалы занимаются, из учителей. Они к бумажным делам привыкшие, общаться с людьми умеют, да и других занятий у них нет.

Здесь беседу перебил телефонный звонок. Коротко поговорив, Екатерина Федосеевна продолжила:

— Конкретно по работе от вас, как члена подкомитета по науке, тем более единственного в думе профессора и завкафедрой главного вуза области, требуется следующее: участие в подготовке повестки дня очередных комитетских слушаний; то же самое в отношении слушаний думских. Все — по своей линии. Исходные материалы секретариат готовит. Также участие в подготовке вашим подкомитетом пары-тройки законодательных инициатив в год. Можно и желательно раз в год свое предложение сделать, естественно, обоснованное. Если есть желание куда-нибудь прокатиться, например, для представительства или по обмену опытом, можете примкнуть. На повышение квалификации профессора негоже задействовать.

Это все об обязанностях. Теперь о правах. Они расписаны в соответствующих законоуложениях, ознакомьтесь, может что заинтересует. Обычно к нам обращаются от организаций и отдельные лица по поводу представлений к почетным званиям. Это специфика нашего комитета, понять можно: опекаемые нами люди науки, образования и культуры на что-то материальное рассчитывать не могут. Ситуация понятна, не от нас зависит. Поэтому как-то скрасить все это мы и стараемся званиями заслуженными. Конечно, все это в ведении администрации, но право инициативы у нас имеется, потом есть и неофициальный «бартер» с родственными комитетами и департаментами администрации. То есть, и вы можете одну-две кандидатуры в год намечать.

Вас бы самого на заслуженного деятеля науки... защищенные аспиранты имеются?

— Да маловато пока, Екатерина Федосеевна, двое защитились, еще одного кандидата и одного доктора готовлю.

— Ну-у, это вполне достаточно, но на это звание, как наиболее престижное среди «заслуженных», есть достаточно строгий возрастной ценз — не моложе сорока. Но к концу депутатского

срока постараемся это провернуть, так сказать. Демократия демократией, но о своих тоже надо думать. Ладно, это дело будущего, но вот о Валерии Игоревне — я ее хорошо помню школьницей Лерочкой, бабушкиной любимицей, еще раз вам с ней мои поздравления — уже сейчас можно говорить; тем более, что фамилии у вас разные, это для публики, а свои такие вещи не делают предметом обсуждения. Как говорится, не плюй в колодец...

Вот и сделаем Валерии Игоревне, раз уж она примой в театре стала и замуж вышла, ха-ха, подарок и сделаем заслуженной артисткой, главное, стаж у нее уже лет пятнадцать? Лауреатства общетеатральные имеются, базовое образование... Словом, я переговорю с директрисой департамента культуры администрации, мы с ней в хороших отношениях.

— Спасибо большое, но как в театре-то... Наверное, как у нас в университете, там уже железобетонная очередь, да все небось шестидесяти-семидесятилетние корифеи?

— Не думаю, здесь есть тонкость, опять же неписаная: ветераны, в том числе и сцены, по одному списку идут, а активно работающие — по другому. А потом я уже, имея в виду ваше сотрудничество в нашем комитете, провентилировала этот вопрос: главреж будет не против, ибо в том году при моем активном участии ему дали «заслуженного» по искусству, а директору уже обещан «заслуженный работник культуры». Они участие нашего комитета в этих награждениях очень ценят, а значит и недовольных в случае с Валерией утихомирят.

Ладно, Геннадий Борисович, идите и встраивайтесь в рабочий ритм. Честно и откровенно говоря: не могу понять ваше вхождение в депутатство? Не скрою, кой-кого из хороших знакомых в вашем университете ненавязчиво, конечно, что называется «под предлогом», расспрашивала, потом и моя стершая внучка у вас учится, ваши лекции в том году слушала, дети наших сотрудников тож. То есть мнение о вас у меня сложилось, а сейчас и укрепилось: не карьерист, не ловец всяких сопутствующих чинов, денежный вопрос вас, думаю, не особо интересует, имея в виду, извините, вашего тестя. Хотя де-юре и бывшего, но Егора Трофимовича я тоже хорошо знаю по облисполкому, очень порядочный и добрый человек.

Вряд ли вас без средств в наше тревожное время оставил, тем более, что вовсе и не ваша вина в происшедшем; я имею в виду бывшую супругу. Видите — город наш маленький, все кому надо известно... Вы к этому привыкайте, здесь почти по должности положено многое знать, по крайней мере на тот случай, чтобы впросак не попасть.

— Если честно, Екатерина Федосеевна, то для общего, так сказать, развития и понимания сегодняшней жизни в эту среду вошел. Но наблюдателем не буду, есть желание и пользу принести.

— Вот и договорились. В сложных ситуациях обращайтесь запросто. Еще раз мои поздравления Лерочке, а я и сама ей позвоню.

* * *

Уже под самый заход марта месяца случилось завершающее в череде посыпавшихся событий, словно набиравших силу в предыдущие годы, а теперь торопящихся выплеснуться на Геннадия и взмутить его доселе почти спокойную жизнь: чтобы не застаивался!

С вечера позвонил Женька: утром приеду, заскочу за тобой и — «с разрешения нашей очаровательной новобрачной, конечно же» — поедем ко мне за город, дело архиважное и тебе хоть и сулит хлопоты, но в итоге придется по душе. «Сразу успокаиваю: твоего депутатства не касается, а скорее ученых занятий».

Женька, по причине дел отсутствовавший на скромном, домашнем «отмечании» бракосочетания (в последний момент Лера рассмеялась на вопрос Геннадия о подвенечном платье: «Сам понимаешь, чтобы нести шлейф платья, нужны две инфанты, а пока в наличии только одна»), явился рано поутру с роскошным букетом и обтянутой бархатом коробочкой с фирменным тиснением известного столичного ювелирного магазина:

— Извини, дорогая прима, но у нас долгий разговор о делах, а посидеть втроем за столом успеем. Отпускаешь?

— Много не пейте, баб не зовите, тем более, что Генку я заколдовала, а тебе Зинаида кудри повыдерет.

На вилле под маленькие стопки Женька, словно на поезд

опаздывал, все выложил кратко и содержательно:

— Что такое дефолт знаешь? А откуда, позволь поинтересоваться?

— Я же сейчас думец. Чтобы не ходить в статистах, прочитал увесистый том американской «Экономикс».

— Ага, понятно. Так вот, через год, максимум через полтора таковой случится в нашем царстве-государстве. Это значит, что доходы, капиталы и все прочее «полегчают» раза в три-четыре. Ты и сам видишь, куда наши мудрецы страну ведут. Я на эту тему беседовал с умными людьми: с Бабуриным, Крашенинниковым, Сергеем Глазьевым, Кара-Мурзой. Имена их на слуху, знаешь, конечно. А я ведь на всякие посиделки иногда хожу, чтобы нос по ветру держать. То есть дефолт этот гребаный предрешен; дело только в сроках: плюс-минус. Поэтому, чтобы не остаться на бобах, люди поумнее, а такие, как ни странно, имеются в нашем торгово-воровском кругу, начинают распихивать неправедно нажитое по пажитям, то есть в недвижимость, в несгораемые активы и, что хотя дико звучит сейчас, и в интеллектуальную собственность. Ее ведь тоже можно при соответствующей конъюнктуре западникам загнать, хотя бы за четверть цены.

В самой Москве, распухшей от свободных денег, уже все прибрано к рукам. Теперь прямо по первому тому «Капитала», а может и по второму, не помню, небрежно политэкономию в институте учил, после первоначального накопления начинается вывоз капитала из метрополии, то есть Белокаменной, в колонии, опять же в провинцию. И у меня, грешного, довольно солидная сумма свободняка образовалась. Вот и примчался в родной город с таким намерением. Кой-какие места уже наметил, с завтрашнего дня буду объезжать, но и тебе хочу подкинуть одно дельце: нет желания, как это сейчас модно, частный вуз организовать? Мои — здание, инфраструктура, оборудование и, естественно, деньги на это потраченные. Твое — все остальное. В случае чего, то есть дефолта,— революции, судя по всему, в этом веке не предвидится,— ни я, ни ты, особенно, ничего не теряем. А завоюем же весь мир, как говорил классик.

Знаю, есть и у тебя небольшой капиталец от уважаемого Его-

ра Трофимовича, но твоей доли не требую. Если согласен — готовь программу действий, смету, здание приискивай. На все про все — неделя, пока я других окучивать буду. Название и направленность заведения меня вовсе не интересуют, главное — вложить деньги, как в надежный банк. А доход пойдет — любая половина твоя. Итак?

— Согласен,— нахально ответил Геннадий, после избрания в думу понявший, что сейчас особо обдумывать и задумываться дело пустое: на зыбком болоте главное стремительный бег, а не застаивание на одном месте.

— Ну и прекрасно. Чтобы самому организационной бестолковщиной не утомляться, подыщи толкового мужика, а я его в Москве направлю куда надо, в тот же минвуз; есть и там знаемые люди, не отказывающиеся от частных премиальных. Ну а здесь еще проще — сам теперь в одном здании с городской и областной администрациями думу думаешь.

Ладно, ты человек конкретный, через неделю встретимся и набело обмозгуем, а сейчас давай выпьем и о жизни человеческой поговорим. Валерия Игоревна нам позволила. Ты ее еще народной артисткой не собираешься сделать через свое депутатство? А-а, заслуженной только можно. Ну и то хорошо. И я Зинке купил — у нас там все проще — заслуженного экономиста, а себе выправил спьяну полковника запаса по интендантству. Жаль, Наташка уехала... впрочем, ты ведь в завязке. А у меня Зинка на сносях ходит, надумала-таки родить. Она крепкая, выдюжит. Знаешь, старею, наверное, совесть какая-то появилась, дал себе зарок не б... до исхода этого дела. Остается вискарь глушить.

Философический доцент Енукидзе в начале 90-х годов, когда в университете грошовую зарплату выплачивали неаккуратно, по наущению супруги приторговывал пирожками вразнос, отрастив для неузнаваемости знакомыми бороду и стараясь стоять в местах подальше от alma mater. Вкусные пирожки с квашеной капустой и картошкой со шкварками пекла искусница Нина-ханум, а сам доцент имел мужественный вид горца и зычный голос. Торговля шла хорошо. Поначалу все свое внимание он сосредоточивал на работе: боялся передать сдачу, внимательно выслушивал покупателей... Но скоро эту профессию освоил, все делал машинально. Появилось время для высоких мыслей. Думал он: все философии досужие немцы изобрели, но все ли? Вот встретил он как-то на научном симпозиуме профессора Ореховского из Новосибирска — так тот создает философию ответственности. А вот он, Енукидзе, займется философией личной жизни человека. Полгода торговли разрабатывал ее, а уложилась она в три тезиса: во-первых, следует довольствоваться малым, но стараться сделать жизнь комфортнее, однако не ставить это целью самой жизни; во-вторых, нужно «выбиваться в люди», но не расталкивая никого плечами; наконец, желательно всегда любить женщин — конкретно и полигамно, но никогда не слушать их якобы мудрых советов.

...Стоит коломенской верстой Енукидзе на площади между проходными двух заводов, славой бывшего советского военно-промышленного комплекса и зычно рокочет: «Граждане-товарищи! Кушайте пирожки с капустой и картошкой! Ведь на этих овощах тысячу лет Россия стояла и крепла. И вы выстоите в свалившейся на вас напасти!»

Выпускник с «красным» дипломом журфака МГУ Остромыслов вернулся в родной город и сходу отправился в градоначальство. Принял его чиновник по особым поручениям Чичихин:

— Нуте-с, батенька, с чем пожаловали из столичного рая в наш закуток?

— Да вот, сказали-с мне Анна Семеновна, известная и вам, очевидно, как и всему городу, что возникла необходимость в главном редакторе «Городских известий»?

— Да-с, милейший, случилась такая нужда, поскольку прежний редактор пошел на повышение в область. А имеете ли вы стаж службы в газетах или журналах?

— Никак нет, только что вышел из университета-с. Имею диплом с отличием и являюсь лауреатом всероссийского конкурса...

— Да-да, это все хорошо вас рекомендует со стороны, так сказать, образовательной. Но для обретения практического опыта вам следует годика три послужить репортером, а потом еще лет пять чиновником потрудиться.

— А как же Борис Николаевич намедни сказал, что нужно смелее выдвигать молодых и динамичных?

— Ну-у, это про высших управителей; у них тридцать тысяч советников, помогут.

— Но и у меня есть хороший советник — мой дядя, директор банка Кидалов.

— Ка-ак! Это ваш дядюшка? Что ж вы, молодой человек, молчите-то! Немедленно приступайте к обязанностям, а дядюшке вашему привет. Скажите просто, что есть такой чиновник Чичихин.

Глава тридцать шестая.
ДИОНИСИЙСТВО РАЗОЧАРОВАВШЕГОСЯ АПОЛЛОНА И ХРАНИТЕЛЬНИЦА ОЧАГА МЕЛЬПОМЕНА

Сдайся, а если неправ, то восстань и его
опровергни.
Ведь, коль лежащему вне, за пределами нашего
мира,
Нету пространству границ, то старается
ум доискаться,
Что же находится там, куда мысль
устремляется наша
И куда дух наш летит, подымаясь
в паренье свободном.

De rerum natura, книга II, ст. 1043—1047

— Слушаю тебя, Таня из Косолучья, кого бы ты хотела поздравить в этот солнечный день уходящего августа?

— Хи-хи, этта... подружка моя Валька, то есть Валентина, замуж сегодня выходит.

— О-о, это замечательно. И что бы ты ей пожелала?

— Хи-хи, счастья, конечно, а главное — любви и денег во все дырки!

Геннадий оторопело оторвался от свежего номера «Вопросов философии», что десять минут назад, поднимаясь на свой этаж, вынул из почтового ящика. Журнал, раскрытый на собственной статье «Виртуальная доминанта в философской прозе и «Градиве» Йенсена», он держал в левой руке, а зажатой в другой ложкой с аппетитом ел суп с шампиньонами. Неужели ослышался? Но когда, видимо, тоже на миг остолбеневшая ведущая интерактивной программы «Поздравления в нашем эфире», явно собезьянниченной с центрального радио, стала с видимым раздражением выговаривать непосредственной девице из пригорода, что нужно подумать, собираясь звонить в прямой эфир, Геннадий расхохотался: вот тебе и издержки демократии! Вроде бы ко всему за последние десять лет по-

привыкли, но каждый день все новым и новым радуют...

И уже с горьковатой усмешкой подумал о юношеских дурачествах, веселом мелком диссидентстве. Вот и доссидентствовались! Умелая же рука уже тогда их всех вела. Как ясным воскресным днем, надувшись в парковых забегаловках пивом и водкой, при стечении ухмыляющегося праздного народа поочередно садились на корточки перед пьедесталом памятника Ленину, что тогда стоял перед спортбазой, а в новейшие времена втихомолку был снесен, и скандировали: «Я себя под Лениным чищу!» И при этом по-скоморошьи лохматили обеими ладонями волосы на головах. Даже мельком вспоминать неприятно.

— Папа, папа, иди скорее сюда!

Маша кричала из гостиной явно радостным, восхищенным голосом, поэтому Геннадий неторопко положил ложку и журнал, вышел с кухни.

— Папа! Смотри, Игоша сам пошел!

И действительно, смешно выворачивая вовнутрь стопы ножек, этаким слоненком переставляя их и как бы балансируя согнутыми колесом ручками, что-то вычмокивая через пустышку, девятимесячный Игоша, названный в честь отца Леры, делал первые в жизни шажки. А ступавшая за его спиной и страхующая занесенными над плечами малыша руками Маша считала: «Три, четыре, пять...» Игоша занес было ножку для шестого шажка, но потерял устойчивость на мягком ворсе ковра и шлепнулся на попу, изумленно вытаращив глазенки. Маша засмеялась голосисто, подхватила брата подмышки и закружила его.

— Машка, не урони! И у него, и у тебя голова закружится!

— Ты, папа, не разбираешься в воспитании маленьких детей, — интонацией матери ответила дочь, перестав крутить Игошу, подхватила его на руки и унесла в детскую комнату.

Геннадий, предвкушая радостное изумление Леры, все относившей первые шаги сына к одиннадцати месяцам, а то и году, повернулся было в сторону кухни: доесть суп и дочитать свою статью на предмет неизбежных в редактуре и корректуре нелепостей, но услышал звук открываемой входной двери и развернулся в прихожую. Взял из рук Леры, с полчаса назад вышедшей в магазин,

сумку. Лера, загоревшая, как и все семейство, даже и Игоша, скинула туфли на высоченных каблуках — артистическая привычка — прошла вслед за мужем в гостиную:

— Как тут без меня, не передрались?

— Знаешь, Игоша пошел!

— Да-а? — И Лера скорым шагом пошла в детскую. Оттуда до Геннадия донеслись ее восторженные ахи и тетешканье.

Лера вошла в кухню разобрать сумку.

— Это на него крымское солнце и барахтанье в море так подействовало... вот и еще один ходок, пока не налево, в доме появился.

— Тебе лучше знать, раз заслуженная артистка.

— Не язви. Отчего такой хмурый? Какие-нибудь непорядки в «конторе»?

Геннадий всю первую половину дня провел в «конторе», как Лера с подачи юмориста Полковника, который таки сознался, что все свои звезды заработал в другой «конторе» — в *КГБ*, правда, служил по кадрово-хозяйственной части, называла основанный мужем на Женькины деньги неправедные частный институт. «...Так что, голубушки, в джунглях и пустынях этаким Джеймсом Бондом черномазых королей и президентов не свергал и своих не ставил, законспирированной правой рукой премьер-министров в европах-америках не состоял, но стрелять-взрывать и подслушивать обучен хорошо,— благодушно пояснял Семен Ефимович на общих семейных праздниках в своем загородном доме,— а еще, узнав, что я бывший кагэбешник, которые бывшими не бывают, обычно спрашивают, ориентируясь на мое имя-отчество: как это я с моей национальностью в брежневские времена там оказался? Поясняю для непонятливых: я чистопородный донской казак, то есть скорее турок, а не еврей. Как Гришка Мелехов. А имена навроде Семена и Ефима, кстати, в полном соответствии с православными святцами, там очень популярны были. Я так думаю, что из казачьего сепаратизма: дескать, в вашей немытой России все Иваны да Федоры, а у нас каждый лампасы на портках носит и зваться *жалает* Семеном или Ефимом!

— Да так, вроде контора не сгорела пока. И набор студиозу-

сов на этот первый курс имеется; Енукидзе с Яцышеным за лето расстарались,— ответил Геннадий, как-то сразу повеселев и уже с восторгом глядя на загорелую Леру, восхитительно расцветшую после не столь уж далеких родов. И еще этот контраст ровно загоревшего тела и белого платьица с тонким бретельками, по-девичьи до середины бедер?

Она вовремя заметила перемену настроения мужа и шутливо-предостерегающе изобразила отталкивающее движение ладонями рук:

— Остынь, благоверный! Всему, тем более приятному, свое время... время суток. Я сейчас уложу Игошу спать, ему пора, тем более после пешей прогулки, а сама с Машкой на школьную ярмарку отправлюсь. ...Нет, нет, в такую погоду чудесную за рулем сидеть? Троллейбусы пока ходят. А ты занимайся, если есть чем и заходи каждые полчаса к Игоше.

* * *

Вроде как оснований для хандры не было. Вот и Игоша пошел по жизни своими ножками. Маша через несколько дней в первый класс направится. А в Леру он уже в который раз влюбился не хуже старшего школьника — при всем том, что в последние годполтора она еще и раскрылась как истинная хранительница домашнего очага: до самозабвения заботливая мать, отменная хозяйка... Что еще надо? — И никакого намека ни сейчас, ни в будущем на столь обычное детско-кухонное обабливанье. «А что ты хотел, мой милый? Знал, кого в жены берешь: во-первых, актрису не из последних; во-вторых, и в основных — перестарку в тридцать пять лет с семейной, по женской линии традицией. Такой была бабуся, а мама и посейчас. И кто еще тебе будет суп разогревать, вышагивая около плиты на шпильках максимальной высоты?» — Это Лера ему вполне серьезно говорила.

Вот и неделю назад вернулись из Крыма — месяц были в Евпатории, по проторенной дорожке: Машка с видом знатока, бывшая здесь два года назад с бабушкой и Семеном Ефимовичем, показывала местные достопримечательности. Остановились на пол-

ном пансионе в частном санатории высокого класса.

А раньше, в конце июня, сдав на лето все дела по «конторе» Енукидзе и Яцышену, слетал на неделю на Лазурный берег, что делал раз в полгода. Самое существенное, что Лера даже намека не давала на обычную бабью ревность к Трише. «Не дождешься, — ответила она на его острожное «прощупывание» перед первой поездкой,— я не столь глупа, хотя и актерка, чтобы рубить под корень столь долго и сложно выращенное дерево. И это не слова, а мое твердое убеждение. Больше разговоров этих не заводи, а то лишу доступа к себе на месяц, а Наташки-то, тю-тю, и нет поблизости. Вот — единственная, к кому когда-то ревновала, ибо «стерва по бабской части очень даже достойная!»

Триша же, перешедший в пятый класс местной русской гимназии, что открыли пару лет назад для своих отпрысков, не научившихся *парлекать и спикать*, как посмеивался Егор Трофимович, изгнанные или просто опасения ради уехавшие из ограбленной страны нувориши, густо обившие в своих дворцах-виллах этот участок Лазурного берега, был столь бережно опекаем дедом и бабушкой, что понимал отдельное проживание отца и его как необходимость. С оговоркой для себя: временной. Что он думал о матери — этого Геннадий избегал касаться, но и тут Елена Авдеевна с Егором Трофимовичем выработали соответствующую установку. «Ты себя не терзай, Гена,— говорила ему наедине Елена Авдеевна,— парень растет серьезный, слава богу, полностью здоровый. В отношении тебя, да и матери, комплексы у него не сформировались. Раз так получилось... И вспомни русскую классику девятнадцатого — начала двадцатого веков: все дворянские дети чуть не с восьми-девяти лет жили вне своих семей, в кадетских корпусах, гимназиях, что были только в городах, да и то не во всех. А система интернатов в сельских районах пятидесятых-семидесятых годов? И что — разве ущербными все они вырастали людьми? А потом мы с дедом ему полный климат домашней, семейной жизни создали».

К переменам в жизни бывшего зятя оба они отнеслись с полным пониманием; Егор Трофимович и вовсе одобрил: «Не казнись, не оправдывайся. На твоем месте я и вовсе бы не задумывался,— но, уловив укоряющий взгляд жены, добавил уже со смехом,—

правда, к сожалению, Авдеевна как-то повода не давала; маскировалась небось!»

Здесь Геннадий, все же понимая и щадя материнские чувства Елены Адеевны, морально оправданно схитрил, отнеся Машу к удочеренным... На этот грех он имел разрешение Леры: «Это моя инициатива, поэтому и грешна я, а не ты. Ври смело!»

О Свете сказали коротко: год назад приезжала, правда, вместе с Владой и совместив с делами: со своими американскими мужьями явно отмывают деньги из России от все того же торгово-воровского холдинга. Но тут, возможно, и более серьезный гешефт, как заметил Егор Трофимович. Жизнью архидовольна, а сейчас, судя по намекам из переписки с Еленой Авдеевной, собирается родить американчонку. Геннадий на последнее никак не прореагировал, только Егор Трофимович, уже распивший с зятем (он так и называл его за глаза) бутылку, усмехнулся: «Вот вы и квиты!»

На вопрос о возвращении тот ответил уклончиво, дескать, еще пару-тройку лет надо выждать, да если, конечно, *наши* к власти не придут; ведь зюгановцы в позапрошлом году как напугали бизнес-братию! А раз он сам себя перехитрил и примкнул к ней, то и он должен следовать законам стаи...

Геннадий отчитался перед тестем и в делах: квартира и дача в полной сохранности, под присмотром; на даче и вовсе семейство Андрея с мая по сентябрь проживает, жена Андрея любительницей сада-огорода оказалась. Деньги и акции из московского банка, хотя год давно прошел, не тревожил; на жизнь хватает с лихвой из совместного с Женькой предприятия, в смысле — института.

...Геннадий заглянул в детскую: Игоша ровно и глубоко спал, чуть-чуть причмокивая. В гостиной на диване также спали Сократ с Машкой-старшей, которых долго, но успешно отучали от хождения в комнату к младенцу. Прошел в свой кабинет, устроенный по образцу того, прежнего... и тоже в бабушкиной — но другой бабушки — комнате, уселся в глубокое, старинное, кожаное кресло, взял в руки давешний философский журнал, начал его рассеянно перелистывать, но скорее для проформы. Мысли все же вертелись вокруг Лериного вопроса о его недовольстве и хандре.

* * *

Невероятно раздражало Геннадия приевшееся, набившее оскомину словосочетание «средний класс». И тем более, что в городском истеблишменте, в популистских *СМИ*, особенно в праволіберальном «Юном ленинце» и бульварной «Толоке», которую читало все мещанское сословие — от базарных торговок до университетских преподавателей, имя Геннадия как-то вдруг стало полоскаться в качестве этакого губернского эталона этого самого среднеклассца. «Это как из Петра Петровича Шмидта либеральное общественное мнение периода революции 1905-го года и начального советского периода сделало величайшего героя,— посмеивался исторический доцент Енукидзе во время дружеской посиделки в экс-«Малыше»,— но тот был неврастеником, а скорее и вовсе сумасшедшим, а вот почему на тебя, Борисыч, такую тогу торжествующей торговой демократии надевают?»

По смыслу-то все понятно: думский депутат, золотой возраст деятельного человека, директор частного вуза и профессор, доктор туманных философских наук, отец двух ангелочков, муж красавицы — примы главного городского театра, недавно ставшей заслуженной артисткой. При этом, как входной билет в средний класс, молчаливо, не для печати, как лицемерно говорится, прочитывалось: имеет две просторные квартиры в недавно еще самых престижных домах города, дачу по типу коттеджа, доход от директорства, а главное — не мог бывший тестюшка не оставить на исторической родине для любимого зятя изрядный капиталец, не тот он человек.

И совсем уж лавроносным качеством обладал Геннадий для пиар-облика: не торгаш, но представитель классической науки; не чиновник-взяточник, и вообще никакой связи с криминалом, как источника дохода. История с Егором Трофимовичем не в счет: во-первых, недоказанность субсидирования им зятя, официальная, конечно. Во-вторых, все прекрасно понимали: банкира подставили втемную, но он, как человек умный, красиво вышел из этой подставы. А с институтом и вовсе замечательно: деньги дал, радея о научно-образовательном реноме города, крупный столичный предприниматель, их земляк, за что последний по праву получил

звание Почетного гражданина города. На этом месте воспоминаний Геннадий засмеялся. Сама эта бредовая идея возникла у него в разгар устроительства института, но ближе к завершению. По обязанности депутата требовалось читать оба официоза: областную и городскую газеты. Ну-у, не читать, конечно, но просматривать передовицы и казенную информацию, чтобы быть в курсе думских и административных веяний и фактологии. А для души и веселья, что важно для создания утреннего рабочего состояния, он прочитывал помещаемые иногда в городских «Известиях» очерки сочинителя Омшанникова и литератора Сухарикова о героях каптруда.

...А в одно утро в официальной рубрике «Известий» прочитал, что названы к дню города очередные десять почетных граждан города. Также сообщалось, что число последних приблизилось вплотную к цифре *400*. «Ого,— развеселился Геннадий,— скоро и здесь свой юбилей!»

А когда через пару недель в узком кругу новоиспеченных руководителей института — Геннадия, Енукидзе и Яцышена — и ответственного попечителя Женьки отмечали назавтра наступающий новый и первый учебный год, то после седьмого тоста «за здоровье нашего учредителя и благодетеля, крупного бизнесмена *Евгения С. Бородулина*» искра веселья ударила в голову профессору, ставшему в одночасье директором; от титула ректора он благоразумно отказался, чтобы не мозолить глаза и не нервировать Генриха Семеновича. Кстати, тот уговорил его де-юре оставить за собой кафедру философии в университете. Из своих, конечно, интересов.

...Словом, Геннадий закончил тост словами: «Вне всякого сомнения, и меня поддержат присутствующие здесь мои заместители, за весомый вклад в развитие образования и науки нашего славного города уважаемый учредитель достоин почетного звания Почетного гражданина! Хотя и тавтология».

— Отвечаешь за базар? — Женька рассмеялся, но идея ему понравилась, опять же для украшения визитки и вообще на светлое будущее. Для уголовки тож...

К следующему дню города Женька получил искомое звание. И стоило-то это всего ничего: Геннадию зачли «галочку», вторую после заслуженной артистки Лере, в его думских правах, а сам

именинник дал добро на бесплатное обучение «за счет заведения» детей и племяшей пяти видных чиновников администраций: двух областной и трех городской.

Но это все лирика, скрашивающая жизнь. А когда при нем произносилось что-то о среднем классе, исключая сугубо официальную обстановку, Геннадий разряжался тирадой, смысл которой сводился к следующему. Сам этот терминологический уродец двусмысленный. Сразу вспоминается школьный и вузовский «середняк», то есть ни рыба, ни мясо, почти тупица, во всяком случае лентяй. И гордиться своей «среднеклассностью», значит заведомо отождествлять себя с устойчивой серостью во всем: в личной жизни, в общественном мнении, в степени умственных способностей и так далее.

— Позвольте, Геннадий Борисович,— обычно перебивал его кто-то из тугодумных,— но ведь здесь имеются в виду только доходы человека?

— И я о том же; то есть он серый середняк и в святая святых сегодняшних идеалов жизни: в безудержном накопительстве. Это-то и ставит точку в приговоре. Как замечательно сказал Федор Сологуб:

Не опуская взора,
Пойду неспешно прочь.
От скучного позора
В мою дневную ночь.

Геннадий, распаляясь, продолжал монолог-филиппику в отношении среднего класса:

— Другой момент: зачем это власть предержащим так срочно, причем не декларативно, а в натуре, как говорят на современном новоязе, понадобилась целая армия среднеклассцев? Понятно зачем, ибо это есть действительно серая — а значит и самоназвание от школьного «середняка» — биомасса. А эта середняковая биомасса за гарантированную жратву от пуза, доступных для их денег девок и молодящихся бабенок из числа подчиненных им офисниц и продавщиц, возможность жить в «евроквартире» в городском билдинге средней же руки, невеликий, но все же в миллионах исчисля-

ющийся — рублей, конечно,— капиталец про черный день, обучение детишек в вузе за деньги — за все это если не стеной, то уж с явной поддержкой «за» существующий порядок вещей... то есть власти. И вот, если в стране, с учетом толерантного семейного дополнения, установится социальное соотношение *75:25*, где три четверти трудящаяся масса, а четверть состоит из десяти процентов чиновничества, а пятнадцать — эти самые середняки, которые не сеют и не пашут, только... машут, то в этом случае гарантирован мир и покой. Даже при самых серьезных потрясениях типа дефолта.

...Как в воду Женька смотрел: только что случился августовский дефолт этого года. Но в тогдашних разглагольствованиях разошедшегося Геннадия упор делался на третью составляющую среднего класса:

— Вот вы мне, товарищи и начинающие господа, которых наши деды-прадеды уже однажды, в семнадцатом году, одели в деревянные бушлаты, опять спросите с негодованием: «А что плохого в том, что число среднесостоятельных людей в стране постоянно растет? И слава богу торговли Гермесу, он же Меркурий у латинян, что все больший про́цент самодеятельного населения страны становится среднесостоятельным! И люди заняты делом, казна государства от честно выплачиваемых налогов пухнет на опекание нищенствующего народа, наконец, сами они, являя пример для подражания, увеличивают свое благосостояние!»

Что и ответить по скудоумию ведомым телеящиком? Что средний этот класс спешно создается искусственно, не естественно, как в долгом процессе капитализации Запада-Востока. Что создается он государством, которое ни копейки на это дело не дает, а все бывшее советское достояние уже растащено «высшим классом», то есть сомкнувшимися — по Карлу Марксу — олигархерами и высшей властью. И с этой стороны среднеклассцам ни копейки, ни цента... шекеля тем более. А как быть, если эта среднесерая биомасса государству позарез?

А просто быть-стать: создавать его, родимого, за счет окончательного ограбления и предельной эксплуатации всей остальной массы народа, не назначенного в эту актуальную прослойку-гегемон. Технология изумительно прямолинейна и примитивна: из

пяти-десяти работающих, в том числе и торгующих, выбирается мелкий начальник: прораб маленькой стройартели, начальник отдела любой конторы — от нотариальной до вузовского отдела, хотя бы и кадров. И так далее по всем формам и сферам занятости. Конечно, такие «столоначальники» имелись во все времена, советские тоже. Но их зарплата и вообще доход не превышал аналогичный у подчиненных более чем на треть, совсем редко на половину.

Сейчас делается все по принципу «половина-наполовину», то есть тот же прораб получает столько же, сколько в сумме вся его бригада. И так у всех. Вот и штампуется среднеклассец. Необходимое уточнение: жалованье «бугра» бригады — это уменьшенная в два раза зарплата рядового бригадовца, как следствие...

Если беседа происходила в среде университетских преподавателей, то Геннадий и вовсе смеялся:

— А почему с прошлого года отменили прежнюю практику раздачи зарплаты по кафедрам и отделам по единой ведомости, приносимой из бухгалтерии вместе с деньгами лаборантками Неллечками и Мариночками? Теперь же каждый получает в кассе или через сберкассу. А? Правильно, чтобы не знать имен вузовских кандидатов в среднеклассцы.

...Совсем скучно стало Геннадию. Отложил он философский журнал, зевнул и прилег на кабинетную тахту, почему-то перед этим послав ей воздушный поцелуй.

* * *

Дневной, хотя и ближе к условному вечеру, августовский сон чуток, поэтому где-то через полтора часа Геннадий проснулся от тихого смеха. Открыв глаза, он вовсе не удивился, увидев сидевшую в давешнем кресле Леру, читавшую небольшого формата газету. Не удивился по той причине, что еще в начале лета, когда в доме стало по-детски многолюдно, а Лера, отдохнув от родов, обнаружила в себе чудовищную чувственность в отношении своего супруга, а потому как-то раз с очень серьезным выражением лица повела следующий разговор:

— Знаешь, милый, летние ночи такие короткие, а ты много

работаешь... поэтому без всякого стеснения можешь прилечь и днем на часок-другой. Вот здесь, в своем кабинете. А чтобы удобнее было — давай поставим сюда кушетку из гостиной, она почти полутораспальная, *тебе удобнее будет*. Опять же, поставь на дверь щеколду: Машка забежит, Игоша скоро потопает... Могут потревожить.

И, не выдержав серьезности тона, по-девичьи покраснела и прыснула.

— Иди ко мне... Дети как?

— Э-э-эх, ты... Мы с Машкой вернулись со школьного базара, а ты дрыхнешь, Игоша же проснулся и сам с собой играет. Коты на пороге детской с интересом за ним наблюдают. Короче, Игоша покормлен, снова заснул, теперь часов до восьми, до вечера проспит. А Машка в Дусином дворе со своими боевыми подругами почти по-бабьи обсуждают скорое первое сентября; там таких целая бригада собралась со всего квартала. Та вообще с темнотой явится.

— Так иди скорее ко мне, моя ненасытная!

— Сам такой. Подожди, я вот тебе вслух почитаю...

— А что это у тебя?

— Да наша местная «Правда».

Геннадий прекрасно знал, что эту газет еще со времен бабушки Виктории Ильиничны приносят и бросают в их почтовый ящик старушки-активистки. Сам он ее просматривал, но ни разу не видел газету в руках Леры.

— Вот слушай: «На днях выдающемуся, великому российскому и мировому писателю, титану научной и художественной мысли, нашему земляку Дементию Анатольевичу Омшанникову Одесская международная академия всех наук и искусств (*ОМАВНИ*) присудила ученую степень доктора философии с вручением золото-платиновой медали «Мировой уникум мысли». В прошлом же году ОМАВНИ также отметила нашего гения учеными степенями докторов физиологии и экологии.

За эпохальный восьмитомный роман «Я и вселенский разум», только что завершенный Дементием Анатольевичем, Международная академия космической антропологи избрала его своим действительным членом (академиком). Ранее он был избран действитель-

ным членом (академиком) двадцати семи международных и российских академий, включая такие солидные, как Академия фундаментальных искусств, Павловская академия исторических реконструкций, Академия фундаментов и оснований и так далее.

За лучший мировой военный роман XX века «Полководец в квадрате» (в 6-ти томах) Костромское пригородное казачье войско присвоило Д. А. Омшанникову чин генерал-майора от кавалерии. Свыше тридцати платиновых, золото-платиновых, золотых и серебряных медалей, которыми наш литературный гений был награжден за последние два года различными международными...»

— Лерка! Хватит чушь читать, иди ко мне!

— Иду, иду, милый. Только объясни: все знают, что образование у этого «гения мира» — среднетехническое, что все эти медали, звания и чины присылаются по почте наложенным платежом — от ста баксов и выше — из Одессы, Москвы и Нью-Йорка, то есть Брайтон-Бич... Но зачем же вполне серьезная газета всю эту чушь, судя по малограмотности, самим номинантом и написанную, печатает?

— А там главный редактор, как истинный коммунист, человеколюбив. Вот, жалеючи, и публикует. Енукидзе, как член обкома, уже дважды ругался с ним из-за Омшанникова. А-а, черт с ними.

Лера бросила газету на стол, вышла проверить в детскую, вернулась уже в своем любимом шелковом халатике, словно невзначай защелкнула щеколду, прилегла к пододвинувшему Геннадию, прерывисто и страстно дыша. «Страшна в постели баба в расцвете лет»,— даже подумал Геннадий.

— Что-то ты, мой любимый, невесел в последнее время, хотя все в жизни нашей с тобой как нельзя лучше: семья, дети, ты вот директор и депутат... Я не дура.

— Не обращай внимания, милая, когда же и хандрить, как во времена жизненной стабильности.

— Вот-вот, и с Енукидзе и Яцышеным опять напился в стельку. Я понимаю, что спиться тебе не грозит, но все же береги себя: для меня, для детей — наших и твоего. А впрочем, извини, и он уже наш. Береги себя, любимый. Плюнь на свое директорство и депутатство — пусть там все по накатанной мчится...

или во всеобщую пропасть летит. Давно ты философских трактатов не писал. Вот и займись, отвлечешься. И у меня, скудоумной, задумка есть. Ведь роды в такие зрелые годы вдохновляют любящую женщину не только на постель! Ой, что-то я прямо словами героинь романов Омшанникова заговорила; только слов «сударыня, я обожаю вашу «сахарницу» не хватает... Теперь ты иди ко мне... я тебя утешу и успокою.

Дыханье замолчавшей Леры явственно участилось. Сердце Геннадия на миг заполошилось, мелькнуло в голове: «Господи, что бы я делал без нее, моей спасительницы во всем, моего света в окошке этой размахренной жизни...»

Лера, лежавшая на боку, приподнялась на локотке, нагнулась над мужем, а тот, скрывая выбежавшую слезу острой жалости к себе и восторга любви к ней, не потянулся к ее раскрытым губам, а склонил голову, подставив лицо под широкий вырез Лериного халатика, из которого свободно выпрыгивали ее чуть козьи грудки, а свободной рукой притянул ее тело к себе, сверху и так, что лицо его со слезинками плотно охватили эти жаркие, свободно трепещущие холмики. Голова закружилась от счастья.

— Бедный мой, ты плачешь...

Через полчаса, крепко обнявшись и переплетясь ногами, они заснули спокойным и ровным сном.— До звука открываемой входной двери: Машка с посиделок пришла. А Игоша все спал и спал себе.

Кто сказал, что если долго копить денежку, заработанную честным трудом, то можно и миллионером стать? Наверное, сочинитель Омшанников в заказном романе (в 8-ми томах) о жизни и трудах крупнейшего в городе купца Костоломова под названием «Светлый путь». А вот в реальной жизни... Всем жителям нашего города по 60—70-м годам очень даже памятны пять братьев Сырниных и опять же пять дружков под общим прозвищем «п и в о д и л ы». Особенно колоритны были потомственные точильщики Сырнины: крупные деды с окладистыми седыми бородами, они ранним утром выходили из своего поместительного дома, что в Поречье, и расходились, погрузив на себя точильные механизмы с маховыми колесами и педалями, по разным районам города и целый день до темна затачивали кухонные ножи, топоры и ножницы. К середине 70-х годов они совсем состарились и, будучи староверами и бобылями, из дома выходить перестали, затепляли лампаду и читали по очереди вслух от Св. Писания. Накопленного честным трудом им едва хватало на самую скромную жизнь. А вот пиводилы работали монопольно водителями-экспедиторами на пяти имевшихся у пивзавода машинах-пивовозах. Каждый рейс приносил им приличные суммы за перелив и недолив, соответственно, на фабрике и пивларьке, да еще настоятельницы последних платили за первоочередность обслуживания. Так что когда пришли новые времена, то пятеро пиводил стали в одночасье первыми купцами города, поделив его, как и Сырнины, на эксплуатационные зоны. Когда стало им тесно, то разделились: двое уехали в Ригу, став там первыми авторитетами, а оставшиеся трое до сих пор владеют нашим городом: владеют умно, не афишируя себя.

...Вот добрались и до самой животрепещущей темы современной моды; она же и образ жизни. Приходит гласный городской думы Своекорыстнов со службы домой, а супруга его, почтенная Изольда Порфирьевна, уже на звук открывающейся тройной двери горделиво кричит из дальних комнат:

—Венечка! Посмотри, какое я себе платье купила в «Торгсити» к балу у предводителей торгово-промышленной палаты! Ну-ка, оцени, мой благоверный?

Посмотрел гласный на свою супругу, недавно справившую «бабью пенсию», и обомлел:

— Изольда, мне кажется, что у тебя уж слишком все открыто?

— А я и не намерена ничего скрывать — теперь время гласности, вот и мода под нее подстраивается. Небось, у себя в думе-то все глаза проглядел, пялясь на всяких ваших секретарш, у которых и вовсе груди до сосков торчат, животы, спина и попы до половины голые!

— Так то, Изольдочка, молодежь. Им, девицам-то, женихов надо выискивать, вот они голышом-то и скачут, аки козочки стрекопытистые.

— Ах, кобель ты старый, дурак гласный! Так я стара уже для тебя, козочек ему подавай стрекопытистых! Да на себя посмотри, а в постели уже и виагра не помогает...

Здесь и Своекорыстов обозлился:

— А кто тебя тридцать лет назад из работниц швейной фабрики «Чайка» вытащил и в люди вывел? Иди, иди со своей порнографией во двор, пусть тебя дворник Кизилов рассматривает. Вот ему и про гласность расскажешь.

Глава тридцать седьмая.
ПОСЛЕДНИЙ НАРОД И СТОИЦИЗМ АПОЛЛОНА И МЕЛЬПОМЕНЫ

Ты же теперь напряги свой слух и свой
ум прозорливый
Освободи от забот, достоверному внемля
ученью,
Дабы дары, приносимые мной
с беспристрастным усердьем,
Прежде чем их оценить, с презрением прочь
не отринул.

De rerum natura, книга I, ст. 50—53

За минуту до Машкиной стукотни со входной дверью Лера чутко проснулась, как она это делала, несмотря на спокойный и ровный вечерний сон с Геннадием на «кабинетной» кушетке, каждые полчаса. Инстинкт кормящей матери. Да-да, актриса Лера все еще кормила девятимесячного толстячка Игошу своими чуть козьими грудками. Хотя уже всего раз в день, намереваясь к открытию театрального сезона понятие прикорма полностью перевести в разряд основной и единственной еды. Точно также она делала и в младенчестве Машки. Театральные женщины и тогда ахали: «С ума, Лерка, сошла! Вздумала грудью кормить, да ты груди этакими тюфяками сделаешь, да как же затем на сцену выходить будешь?»

Лера было засомневалась, но мать успокоила: «Не слушай никого. Это они завидуют. Любой опытный гинеколог тебе разъяснит, что при первых и последующих родах после тридцати ни фигура, ни форма груди не меняются. Была бы жива бабуся, так все бы по законам биологии и физиологии по полочкам разложила. Может поэтому в нашем роду и замуж все выходят в тридцать, чтобы не расползтись, и чтоб мужики всю жизнь любили. Только вот где они-то, наши мужики... Богу молюсь, Лера, чтобы хоть тебе повезло здесь».

Но окончательную точку в сомнениях поставила тогда же Верка-травести: «Корми хоть до года, ничего с твоей фигурой не случится. Это все одно, что из моей мальчишечьей родами сделать сугубо бабское обло!»

И сейчас Геннадий, любовно дразнивший Леру ее козьими грудками, не мог бы при всем критическом старании сделать отличия сегодняшней, кормящей матери от Леры, какой она была два года тому назад. Только чуть припухшие и несколько увеличенные соски говорили о кормлении младенца.

...И совсем за считанные секунды до явления дочери она бережно высвободилась из объятия мужа, встала, надела халатик, кинула взгляд в темнеющей комнате туда-сюда, хихикнув, махнула рукой на запропастившуюся часть туалета. Выходя из комнаты, замерла на пороге, взглянув на глубоко спящего Геннадия, прошептала: «Старайся, мой любимый, старайся хоть круглые сутки, но все равно следующую ляльку рожу только в сорок пять! Я и тогда буду девочкой выглядеть. И никакие у меня груди не козьи, а классический «аэродром» уютного полуторного размера».

...И показала шаловливо в вечернюю полутьму «бабушкиного» кабинета кончик язычка. И скорым шагом пошла навстречу восторженно кричащей с порога растворенной двери дочери:

— Мама, мама! Из нашего дома и двух боковых целых пять девочек в первый класс идут! И мы сговорились проситься в один класс! Вот здорово, мамочка, да?

— Тише, мужики спят! Пойди руки вымой и приходи на кухню, поедим с тобой, хотя нам, девушкам, на ночь это вредно.

— А папа почему уже спит? И без тебя, да?

— Хватит глупости говорить. Спит потому что устал. Мы вот с тобой по городу гуляли, а он Игошу стерег. А мужчины очень устают от укарауливания маленьких детей.— ...И взрослых девочек,— улыбнулась проказливо про себя.

— А мы с тобой, мамочка, ведь никогда не устаем, правда?

— Правда, правда. Садись, ешь вот салат, бутерброд с сыром и эклер. Эклер в последнюю очередь и с чаем. Потом посмотри немного телевизор — на самую малую громкость, почисти зубы, умойся и ложись спать. А я хочу на завтра пирожки испечь, тесто

в холодильнике с позавчера осталось. А пока ты ужинаешь, хотя это и вредно, и смотришь в «ящик», как говорит папа, я пойду растолкаю слегка Игошу и покормлю грудью. После этого он всю ночь будет спать, как сурок. Да и ты рядом. Не вздумай, как позавчера, дверь закрыть — я буду допоздна возиться, чтобы из кухни или гостиной слышала! А вообще-то учись спать вполглаза и чуть что Игоше подгузники заменить. Проходи женский ликбез.

— А ты с папой где будешь сегодня спать?

— Я же говорю: сегодня вожусь допоздна на кухне, а потом мне надо в своем уголке в гостиной кое-что написать. Папа у себя крепко заснул, пусть там и спит. Какое-то у тебя, Маша, излишнее любопытство. Все, я пошла к Игоше.

Когда через час без малого уже умытая Маша, переодевшаяся в ванной в ночную рубашку, вошла с свою с Игошей детскую комнату, освещаемую через полурастворенную дверь слабым светом единственно горевшей в гостиной настольной лампы в «мамином уголке», то увидела мать, откинувшуюся на спинку мягкого глубокого «дежурного» кресла, очень уютно слившуюся с ним, сама — в улыбчатой полудреме, а уже смотрящий очередную порцию своих младенческих снов Игоша на ее руках с полуоткрытым ротиком почти не касался соска левой, открытой груди, явно им опорожненной...

Маша притворно-смущенно отвела взгляд, тихо вздохнула и легла в свою постель. Лера мигом отошла от сладостной полудремы, осторожно поднялась и уложила Игошу в его зарешеченную кроватку, накрыла легким одеяльцем, чмокнула воздушным поцелуем. Потом подошла к постели дочери, притворяющейся уже спящей, присела на свободный краешек, нагнулась и легонько поцеловала Машу в висок, отодвинув пальцем вьющиеся светло-русые локоны:

— Спи, дочурочка,— почти беззвучно прошептала она,— и у тебя когда-то свои детки в клетке будут...

— И грудки как у тебя? — Машка заинтересованно посмотрела на мать.

— Фу, невоспитанная девчонка, всю обедню испортила,— тихо засмеялась Лера,— все, спи. Будет, будет, если от капустно-

го салата нос не будешь воротить. Все. Я пошла пирожками заниматься. Считай до ста и заснешь, а то перевозбудилась во дворе со своими подружками.

Лера легонько потрепала дочь по кудряшкам и, что-то мурлыча про себя сценическое, вышла из детской, но, прежде чем идти на кухню, подошла к «бабушкиному кабинету» и с любопытством заглянула в проем полуотворенной, как и все в доме, двери: Геннадий беззвучно спал. Даже почудилось, что тихо чмокает во сне. Как Игоша. «Вот поросенок,— беззлобно подумала она,— наделал деток и спит сном праведным».

В какой-то миг даже решила плюнуть фигурально на пирожки и все остальное задуманное, скинуть халатик и прилечь к благоверному, но тут же охолонила себя: «Жирно ему будет! Господи, у меня же тесто на водяной бане уже небось растеклось!»

И, забыв тотчас про грешные утехи, почти побежала в сторону кухни.

* * *

Вынутое час назад из морозильника и поставленное в глубокой тарелке на кастрюлю, кипящую на самом тихом огне газовой горелки, тесто уже полностью разморозилось. За окном, выходившим в Дусин двор, уже царила веселая летняя темень: возбужденные голоса подростков — мирной дворовой шпаны приглушались на петушиных обертонах листвой густо заполнивших огромный, в полквартала двор тополей и конских каштанов, совсем редких высоченных берез и экзотических кленов. Даже два раскидистых дуба шелестели поодаль, в глубине двора, где коробились металлические гаражи жильцов. Окно настежь открыто.

Лера включила «для компании» на тихую громкость стоявший на кухне маленький радиоприемник, раз и навсегда настроенный на какую-то чисто музыкальную программу, где ближе к ночи преобладали блюзовые мелодии и классический джаз. Включив разогреваться духовку, занялась собственно пирожками. Проснувшись для ночной охоты на виртуальных мышей Машка-старшая и Сократ с интересом следили за действиями хозяйки, сидя «копилками» на линии двери и не решаясь продвинуться дальше в кухню, опасаясь

угодить своими хвостами под ноги мечущейся между плитой, разделочным столом и холодильником Леры.

Пирожки «ассорти» ее чуть ли ни в раннешкольном детстве приучила печь бабушка. То есть для начинок бралось из холодильника все, что осталось недоеденным за последние два-три дня. «Это Машке, чтобы, как она пожелала, грудки росли»,— тихонько посмеивалась Лера, заворачивая в тонко раскатанное тесто обнаруженную в холодильнике квашеную капусту — почти половину полулитровой банки. Остатки вчерашнего риса и пара вареных яиц — это все любят в разогретом виде. И совсем обрадовала ее находка в дальнем углу холодильника: с десяток маленьких сосисок. «Это благоверному — пирожки с сосисками, как воспоминание о стандартной закуске в «стекляшках» советских времен; тогда это называлось «сосиска в тесте». Давно просил испечь ностальгическое! Может ночью проснется и еще горячих поест, обжора».

Поставив оба наполненных противня в духовку, убралась на столе и присела в кухонное кресло передохнуть. Дождавшиеся своего часа Сократ и Машка-старшая смело вошли на кухню и симметрично растянулись в полуметре от плиты, вытянув в линейку свои лисьи хвосты. «Жаль, жаль,— улыбнулась Лера,— что вы, зверообразные, брезгуете пирожками. А то бы я вам мигом сварганила что-нибудь с печенкой или рыбой».

— Так, хвостатые, я сейчас курить буду, поэтому дверь затворяю. Поэтому либо здесь лежите, или идите вон. Что, остаетесь? Ну и хорошо. В случае чего на вас все свалю, дескать, коты закурили от полного безделья жизни.

В доме, исключая Леру, никто не курил: Геннадий еще в юности побаловался и отрекся; Маше и Игоше явно рано; котам природой не указано; не курили никогда Инна Васильевна и ее Полковник. Даже отец, как помнила Лера, не баловался травкой никотианой. И сама она не приохотилась к дьяволову зелью ни в богемной жизни во время сессий в Москве, ни в своей театральной среде, где курили все — от уборщиц и кассирш до прим и главрежа. Пожарного при сцене тож. И когда бабуся, выкуривавшая по пачке патриотических *пахитосок* со времен революционной юности и до предпоследнего года жизни, как-то «застукала» внучку, на

двадцать девятом году начавшую баловаться сигаретами, то с восторгом констатировала: «А вот и еще одно, наиболее основательное подтверждение теории черезпоколенной наследственности! От нее, Лерочка, никуда не денешься. Кури, кури, милая, но в очень малую меру и делая перерывы на будущие беременности и кормление грудью».

...Что Лера в точности и исполняла, ограничивая свой грех двумя-тремя сигаретами в поздний вечерний час.— В страшной тайне от дочери, а чтобы Геннадий, естественно, посвященный в это неблаговидное дело, не морщился в первые минуты супружеской постели, она перед сном кроме чистки зубов полоскала горло специальным травяным отваром и сбрызгивала свою короткую гриву с челкой спреем с тонкими французскими духами. Рецепт отвара ей сообщила Верка-травести, одно время имевшая роман с солидным мужиком из бизнес-круга, аллергиком на табачный дым. «Все хорошо в нем,— делилась своим, девичьим с подругой Верка,— про деньги и не говорю, даже не жадина; в постели, если не сильно пьян, то любого двадцатилетнего трахальщика забьет. Самое главное — на меня не извращенчески, «на гимназисточку», как другие папики, глаз положил, а вроде я как нормальная баба ему на душу легла. И я в него втюрилась. Только два недостатка: женат и крепко зажат супружницей, что-то по бизнесу, а потом табачного духа не переносит. Вот так, Лерочка, в жизни и бывает: хорош дядя Миша, да живет не под нашей крышей!» — «Сама присказку сочинила?» — «Нет, вроде как где-то слышала... а может и сама; у меня бабка первой матершинной частушечницей в деревне была».

Лера встала с кресла, чуток увернула горелку духовки, осторожно обходя разомлевших кошек, подтянувшись на носках, сняла с самой верхней полки неказистую, запыленную жестяную банку, из нее вынула початую пачку *Vogue*, чуть подумав, оставила себе две длинные тонкие сигареты, а все остальное вернула на место. Зажгла сигарету, устроилась на локотках на широком подоконнике, вытянув голову в растворенное окно, стараясь как можно меньше напустить дыма в кухню. По привычке осторожности обернулась: Сократ и Машка-старшая, не меняя позы, с интересом смотрели на нее.

«Кыш, полосатые»,— тихо укорила их Лера и снова повернулась лицом в сторону Дусиного двора, темного из-за густоты деревьев, размахренные ветви которых напрочь закрывали огни редких фонарей. Со двора доносились уже не крики подгулявших парней, а шепотные разговоры уединившихся по лавочкам парочек. Отчетливо слышались и поцелуйные звуки. «Вот допеку пирожки и пойду под бочок к благоверному,— опять было настроилась Лера,— какая же это заразительная вещь, которой все возрасты покорны? Впрочем, при чем здесь возраст; это явно не про меня. Мой биологический возраст сейчас, как бы сказала бабуся, двадцать один с половиной год; выводы делайте сами...»

Во тьме родится свет.
*Мы — огоньки болот».**

Резковато подул полуночный ветерок. Замечтавшаяся Лера зябко повела плечами под ставшей вдруг холодной шелковой тканью халатика. А шаловливый ветерок заскочил вовнутрь через просторный ворот халатика, промчался по спине и совсем уже неприлично защекотал гораздо ниже. Неудержимо потянуло в «бабушкин кабинет». Но Лера пресекла разыгравшуюся чувственность: «Ох, самка ты, Лерка, самка. Почище кошки стала; у них хоть два-три раза в год желание возникает, а тут...»

С сожалением посмотрена на недокуренную на треть сигарету, затушила под краном и бросила в мусорное ведро. Посмотрела через окошко духовки на противни с пирожками: уже доходят. Достала из холодильника пару яиц, разбила в чашку, по бабушкиному рецепту всыпала в нее половину чайной ложки сахарного песка и совсем на кончике ножа корицы. И пару минут к явному неудовольствию Сократа и Машки, убаюканных было ровной блюзовой мелодией из приемника, все это взбивала, громко стуча ложной о стенку чашки. Еще через пяток минут поочередно вынула из духовки противни и плоской кисточкой обмазала корочки пирожков «смесью номер три», как говорила Виктория Ильинична, проделывая ту же операцию.

---

* И. Бунин «Трясина».

* * *

«Нет, почему он все спит? Это когда его любимые «сосиски в тесте» жаром пышут,— вдруг весело возмутилась Лера, остудив духовку, накрыв противни льняными кухонными полотенчиками и задав кошкам их еды.— По какому праву? И вообще говоря, почему мужики такие самцы: если трезв, то после соития сразу засыпает сном младенца,— Лера чуть покраснела и извиняюще поправилась,— хотя бы даже и двух подряд; все одно это его не извиняет. Правильно Верка говорит: будить их надо каждые полчаса — и рюмку в рот! Можно без закуски!»

Лера и смеялась сама над собой, понимая, что раззадоривает себя, и серьезно задумывалась: а что это на нее нашло почти в час ночи? — Только ли чувственность, обостряющаяся в этот самый час второй стражи? И вовсе вполголоса рассмеялась, все же докопавшись до причины: ей вовсе не хочется идти в свой гостиный уголок и писать очередную главу своего романа о последнем народе и его стоицизме, но хочется веселья и любви: внешне как в глупой юности, но с любимым и умным мужем, и само́й умной-преумной. Словом, пир во время всеобщей чумы, но с надеждой почти что на вечность этого веселья... Лера совсем запуталась, все же в полуночь моги работают только на четверть, в лучшем случае наполовину. А потому вновь тихо посмеялась, сама себе сказала: «Тс-с» — и на цыпочках вошла в детскую. Все при том же отдаленном свете дальней настольной лампы в своем гостином уголке. С минуту постояла посреди комнаты, адаптируясь к столь малой освещенности, затем нагнулась над Игошиной кроваткой, осторожно пощупала его подгузники, прислушалась к ровному дыханию. Она еле сдержалась, чтобы не растормошить сына, взять на руки, затискать, заговорить его смешными агу-гугуканьями, а затем, плюнув на режим отвыкания, кормить и кормить без конца грудью. И так всю ночь, то плача от счастья, то смеясь от еще большего...

И, смахнув накатившую-таки слезинку, прерывисто и долго вздохнула, расправила на ребенке одеяльце, суеверно и быстро перекрестила Игошу. На цыпочках опять же подошла в Машиной постели, заулыбалась: заулыбалась широко, по-актерски, только

что густой помады на губах не было и вместо сценического наряда любимый (не только ею!) шелковый халатик, пошитый явно на Верку-травести. Заулыбалась, глядя на свое первое счастье, свое первое чудо. Машка-младшая, раскидавшись в глубоком сне, тоже улыбалась, но несколько озабоченно: то ли думала, как ей размер своих пупырышек-грудок увеличить до маминых, а скорее всего перебирала в ночной памяти свои наряды, готовясь не хуже матери на сцене явиться первого сентября в школу в бальном или — чего уж тут мелочиться — свадебном платье на каблуках пятнадцатисантиметровой высоты. «Мечтай, мечтай, мое сокровище, до недавнего времени незаконнорожденное, все у тебя будет: и груди, и платье с фатой,— но в свое время».

С дочерью Лера не церемонилась: и тычками не разбудишь — вспомнила свои наставления о чутком сне в одной комнате с младенцем, поэтому вытащила из-под Машки изжеванное, спеленатое одеяло, поправила на ней ночную рубашку, подвзбила под ее головой полушку, накрыла одеяльцем, по краям подоткнув, особенно в беспокойных ногах, которые даже в провальном сне все продолжали дневной, а особенно вечерний бег с подружками в Дусином дворе... Смахнула пальчиком со лба и щек белокурые кудряшки. В который раз уже подумала: «А может и правда, что у Генки в тридесятой поколенной родне есть потомки то ли Чингисхана, или царя Соломона? А может и царицы Савской, как у бывшего эфиопского императора, большого друга советского народа Хайле Силасие Первого. У Пушкина тоже. Вот и не верь после этого, что все мы от мальчика Адама и саму себя перехитрившей девушки Евы, или, как научно доказывала бабуся, все нынешнее человечество ведет свой род от семнадцати первобытных пар мужчин и женщин. А разве мой дворянский род не от татарских мурз, в одночасье ставших русскими князьями и боярами? Спи, моя эфиопочка, ты еще покажешь миру свою удаль и прыть... Не хуже своей непутевой матери,— и тут Лера возмутилась своей мысли,— как это непутевой? Наоборот, очень даже путевой!» Наклонившись еще раз, чмокнула Машку в щечку и вполголоса произнесла:

— Спите, мои красавцы, а я пошла будить, ублажать и наставлять на путь истины еще одного эфиопа!

И, подогревая и без то не на шутку разыгравшуюся чувственность, сама себя провоцировала: «Небось, поросенок философический, уже четвертый или пятый сон видит, как Наташку-стерву трахает в двести пятьдесят восьмой позе кама-сутры!» Тут же сменила гнев на милость, еще раз глянула зорко на спящих детей и вышла, притворив дверь, но оставив щелочку с пол-ладони.

В гостиной, по-прежнему мягко и неназойливо освещаемой настольной лампой из «ее уголка» (кабинет по званию не положен), Лера, скинув шлепанцы, закружилась в сценическом вальсе, напугав устроившихся на ночь на большом диване кошек, потом тихо рассмеялась и направилась к двери спальни — подбирать наряд ночной любовницы, но тут дико и неестественно для разгара ночи зазвонил телефон, хотя и переведенный ею пару часов назад на самый тихий звук. Она опрометью, босиком бросилась в прихожую, с замершим сердцем схватила трубку:

— Алло, кто звонит?

— Простите, сударыня, за столь поздний звонок, уже скоро одиннадцать...

— Дементий Анатольевич,— сразу узнала Лера характерно-размеренный, явно от долгой службы сексотом в *КГБ*, голос Омшанникова, одно время воспылавшего к ней и степенно выходившего по окончании спектакля на сцену с букетом для нее,— какого черта... извиняюсь, но уже час ночи! Какие «скоро одиннадцать»!

— Э-э, сударыня Валерия Игоревна, умоляю о прощении. Это у меня, оказывается, завод в настольных часах закончился, а на ручные и не посмотрел...

— Вы что,— никак не могла побороть вспыхнувшую злость Лера, напуганная ночным звонком,— счет времени потеряли, да?

— Семижды семи извиняюсь, глубокоуважаемая Валерия Игоревна, но, понимаете, увлекся работой, дописываю третий том своей новой фундаментальной эпопеи двадцатого века «Элеонора Карменова». Это вроде как осовремененный вариант «Анны Карениной», кстати, по объему моя эпопея в печатных листах в шесть раз больше, чем у...

— Дементий Анатольевич! Я понимаю ваше творческое увлечение, но, пожалуйста, будьте кратки, раз позвонили в полуночь.

— Я, сударыня Валерия Игоревна, хотел кратко переговорить с многоуважаемым Геннадием Борисовичем как философ с философом. Вы, конечно, знаете, что мне недавно присудили ученую степень доктора философии? Все газеты России об этом сообщали. У меня здесь в эпопее описывается диспут в собрании академиков, поэтому хотел уточнить у Геннадия Борисовича один специфический момент. А позвонил так поздно, конечно, не зная, что уже час ночи, потому что знаю: ваш супруг тоже допоздна работает над своим новым трактатом по виртуальной реальности... («Да-да, трудится вне всякого сомнения,— повеселела Лера,— именно в этот час, если накануне не выпил с Енукидзе и Яцышеным, уже второй раз за ночь надо мной трудиться... или я над ним. Господи, а я ведь не хуже Верки-травести стала: весь театр знает, что если она утром не трахнулась, то на репетиции от нее никакого толку, голова болит и вялая как вобла. А у меня и того почище, на трехразовом довольствии...»).

Все-таки ночное время своеобразное; задумавшись о житейском, Лера почти забыла о телефоне, лишь по инерции держа трубку около уха.

— ...Гм-м, так я, сударыня, извиняюсь всячески. Я завтра перезвоню Геннадию Борисовичу, а вам — спокойнейшей ночи, сударыня!

— Не дождешься, старый...— грубо выругалась очнувшаяся от ночного ступора Лера, но успев положить трубку на рычаги. Тут же повеселела и деловито направилась в сторону спальни. «Зло добром лечится»,— вспомнила слова бабушки,— действительно, мир-то гармонично устроен; все в нем должно быть уравновешено, все пополам: сколько плюсов, столько и минусов, дурь на ум, зло на добро, хамство на вежливость, мужчина на... Тьфу, словом, баба взбесилась! А ведь скучновато было бы без непутевой, хотя и доброй, Верки-травести, даже без тех же Омшанникова и Сухарикова. Правда, последний любую пакость может сотворить, но вот на Дементии Анатольевиче порой и глаз отдыхает. В этом что-то биологическое, как в парке Юрского периода, которым сейчас является вся страна: столько душевных и умственных уродов вокруг, что глаза и уши поневоле останавливаются на наи-

менее зловредном. На такого и обижаться-то грех, даже ночной звонок в квартиру со спящими детьми допустимо извинить. Скучно жить на свете без чудаков, особенно безвредных, даже без злобного Сухарикова и профессионального сексота Омшанникова!

Другое дело — нынешние времена новоюрского периода, когда нарушен, как говорит Гена, естественный баланс между просто нормальными людьми и людьми явно отклоняющимися от этой нормы. В этом естественном балансе, биологически заданном природой и социально «подправленном», численность чудаков не превышает десяти процентов, а просто клинических сумасшедших — не более четырех. Теперь же картина почти противоположная, Как говорится, прошла зима — настало лето, спасибо партии за это! Ой, опять я в ночной ступор вхожу — пора супружника будить, кормить и в меру поить».

Пока дурманная ночная голова сочиняла апологию Омшанникову и даже Сухарикову, руки Леры совершенно автономно выбирали в большом ее личном платяном шкафу спальни нужные предметы для ночного визита к мужу и сбрасывали на нерастеленную сегодня супружескую постель. «Оденусь, конечно, гривуазной дамой, то есть куртизанкой, то есть б...» — засмеялась она, а вид туалетных принадлежностей сразу рассеял сонный дурман и настроил на деловой лад, как всякая женщина становится серьезной, выбирая себе наряды.

Затем расстегнула метровую молнию халатика и сбросила его, тут же инстинктивно ойкнув, увидя свое, полностью нагое отражение в зеркале обратной стороны распахнутой дверцы шкафа, и даже также непроизвольно прикрылась ладошкой. Тут же хихикнула и мигом вспомнила над чем ломала голову время от времени весь вечер и начало ночи: самый сакраментальный предмет туалета она оставила под подушкой мирно спящего мужа. Ну не куртизанка ли?

Нет, размышляла она, внимательно оглядывая себя, любимую — и не только саму собой — в зеркале, профессия лицедейки специфическая во многом. Как она ни старается, но полностью разделить свой сценический образ и реальную, даже домашнюю, жизнь не получается. И ее это очень заботит. А вот Верку-траве-

сти, давно перепутавшую ту же сцену и свою постель, а также все остальное, нимало не тревожит. Но — это, конечно, от ее, бедняжки моей маленькой, личной неустроенности. Но она-то сама, Лера, женщина трезвая умом и мужественная, почему не может четко все разграничить? Кто даст ответ... Это как любимый Генкин Сологуб в «Нюрнбергском палаче»:

Сурово хмуря брови,
В окошко постучу,
И дома жажда крови
Приникнет к палачу.

«А-а,— махнула Лера рукой,— актерка так актерка, пора переодеваться ко второму, считая от ранневечернего времени, действию вечного спектакля жизни под названием «Любовь», или, как уточняет умный муж с поправкой на сегодняшнюю жизнь: «*Любовь новоюрского периода*». Главное — не переиграть саму себя».

Но все же с минуту покрутилась перед зеркалом, приговаривая:

— Хороша, ох, хороша Лерка: и носик прямой, без крыльев, личико узковатое — самое сексуальное то есть, головка изящной тыковкой, значит, как говорила бабуся, от кроманьонцев произошла... Генка вот со своим лбищем и покатым затылком — прямо от неандертальцев. Ну и хорошо, неандерталец с кроманьоночкой — чем не пара? Про тело и говорить нечего, особенно про ножки; правильно, что Генка, сексуалист этакий, запрещает сбривать эти золотистые волосики на них и вообще... Правда, в стрингах на морях не позагораешь, но — все ведь для него, поросенка любимого. А потом и загорать с голым задом вовсе не комильфо для потомственной дворянки! Ну-ка, ну-ка, что это у нас? Да-а, полтора родовых года непременно что-нибудь, да подпортят,— и Лера с огорчением нащупала-таки небольшую складку в месте перехода талии в ягодицу, но ближе к бочку.— Все, завтра у Генки выцыганю *тонну баксов*, как сейчас говорят на птичьем, новоюрском языке, и оплачу курс в фитнесе. Нельзя себя даже в мелочи распускать, а то мужики... мужик,— поправилась Лера,— разлюбит. А чтобы не начал канючить про летние расходы, хотя и не жадина, надо сегодня ему такую ночь любви устроить, чтобы по-

том целый день только глазами хлопал и норовил вместо тысчонки целых две всучить. Мужики — они существа простые, просто примитивные, женщина всегда их вокруг пальца обведет... даже любя. Как это Верка говорит: для наибольшего эффекта мужика во время оргазма надо слегка придушить, ибо асфиксия на тот же гормональный препарат действует; получается удовольствие в квадрате... как в названии романа Омшанникова. И где набралась ученых слов? — Не иначе, как с врачом состыковалась. Нет, душить не будем, своего мужика жалко. Мы тоже девушки ученые, свои рецепты имеются!

«Из всех удовольствий жизни, исключая, конечно, общение с молоденькими женщинами и девушками, главнейшее — вкусно поесть... И выпить при этом»,— размышлял доцент Енукидзе, возвращаясь с лекций в университете домой. Осень, слякоть, хмурый дворник Кизилов у подъезда что-нибудь о вреде пьянства скажет, сопроводив цитатой из Корана... А вот войдет он в уютную свою, светлую квартирку о трех комнатах — и как хорошо-то! Дети еще не пришли с занятий в бизнес-лицее, а через кухонную дверь так и валит душистый, теплый, прямо-таки ощущаемый кожей пар готовящегося ужина. Нина-ханум в шелковых восточных шароварах священнодействует у плиты, любимая тещинька на разделочном столике свой фирменный пирог с рыбой формует, готовясь поставить его томиться в духовку. И никаких неуместных вопросов о прибавке к жалованью с тещиными язвительностями: «А еще грузин! Другой на твоем месте уже рынком бы владел или сетью ресторанов, либо автозаправок. И в кого такой уродился? Философией он занимается...» Нина же ханум уже доводит до ума настоящий плов из молодого барашка, приготовила и чихиритму из цыплят, а теперь вот и до люля-кебаба дело дошло. А теща, заговорщицки подмигнув зрячим левым глазом, достает из заветного шкафчика початую пузатенькую бутылку коньяка «Грэми» 10-летней выдержки: «Выкушай, зятек, с устатку!»

...Гортанный голос Кизилова о необходимости оттаптывать свою обувь вне двора, вернул к жизни: «Ах, черт, забыл купить пельменей на ужин, надо возвращаться в магазин».

— Прочтите-ка, господа! — Эта газета говорит, что не хочет быть органом нашего сословия; а вам известно, что орган и шарманка одно и то же; стало быть, газета хочет сказать, что мы шарманщики, что мы вертим шарманку... Уж я, право, не знаю, до чего нынче дошла дерзость газет — надо протестовать!

Так возмущенно ораторствовал предводитель городской торгово-промышленной палаты Синичкин Влаиль Поликарпович, ознакомившись со свежим номером «Городской молвы». Члены палаты поддержали его возмущение; сам же Синичкин продолжил:

— Это как же получается, милостивые государи? По мнению щелкоперов, наша палата не координирующий центр всей промышленности и коммерции города, а собрание пустопорожних болтунов, бывших директоров ныне упраздненных за ненадобностью советских заводов и фабрик, которые проводят время за мелкими интригами, чаевничают и награждают друг друга ими же учрежденными медальками «За успехи в предпринимательстве»? — Так эта паршивая газетенка пишет.— И что, дескать, промышленности, исключая шведский пивзавод и немецкую картонажную фабрику, в городе не осталось никакой, процветает лишь торговля и спекуляция. Да и те в руках московских воротил и купцов из Франции и Голландии. А мелочевку держат кавказцы и остатки местных бандитов, что еще не успели друг друга перестрелять. Каково, господа?

В это время в залу вошел буфетный лакей и пригласил всех господ к обеду:

— Вот-вот,— оживились члены палаты,— пойдемте за стол, где продолжим наше деловое совещание. А «Молву» отныне читать отказываемся.

...За обедом обстановка сложилась доверительная и успешно-деловая.

Глава тридцать восьмая.
ТРАПЕЗА И БЕСЕДЫ ОЛИМПИЙЦЕВ И ПЕЙЗАН

И, подорвав основное доверие к чувствам,
низвергнуть
То, на чем зиждется вся наша жизнь
и ее безмятежность.
Ибо не только падет всякий разум тогда,
но погибнет
Самая жизнь вместе с ним, коль ты
вверяться чувству не смеешь...

De rerum natura, книга IV, ст. 505—508

Геннадий, пару раз застав рассматривающую себя в зеркало нагую Леру, стал звать ее шутливо нудисткой и эксгибиционисткой.

— А что, не нравлюсь разве,— отвечала Лера, набрасывая на себя свой знаменитый шелковый халатик,— но ты не забывай, что я все-таки актерка, а этому званию приличествует постоянная забота о фигуре. Так что это вовсе не самолюбование, как ты импортными словами назвал, а служебная обязанность. И вообще, любая следящая за собой женщина должна раз в неделю... ну-у, в месяц, внимательно себя рассматривать. Так меня бабуся еще в школьном детстве наставляла. А она училась в царской женской гимназии, где девиц серьезно к жизни готовили...

— К половой и революционной, да?

— Не груби, тебе не идет. Да, к нормальной половой, в том числе, а про революции помолчим, ибо уже десять лет живем, как сам говоришь, при махровой контрреволюции. Кстати говоря, при этом мужикам, включая собственных мужей, вовсе необязательно врываться, глаза ослепнут. Пошел вон, поросенок!

...Закончив профосмотр, как она именовала это полезное занятие сама, Лера уже совсем деловито, подмурлыкивая что-то опереточное, натянула новенькие стринги («Вот только дома и можно...»), очередной традиционный подарок мужа — чулки с ажурной резинкой-липучкой, самый свой роскошный бюстгальтер

— опять же подарок, но только Верки-травести к полугодовому юбилею Игоши («Заканчивай, Лерка, своего толстячка грудью кормить и надевай вот эту штучку»). Завершила же туалет конечно тоже подарком — от матери к рождению Игоши: расписным японским пеньюаром до пят, но с разрезами по бокам чуть выше середины бедер. Очень жалела, что нельзя надеть стукотные туфли на неимоверной высоты каблуках. Пришлось ограничиться золоченными — в тон японской одежде — татарскими ичигами.

Для серьезного макияжа требовалось большое трюмо и полный косметико-парфюмерный набор, поэтому она скоренько прошмыгнула в прихожую. Через десять минут Лера была в полной боевой раскраске. Хорошо, с ее актерской прической особо колдовать не надо. Маникюр с утра сохранился, а педикюр — жирно будет. Завершив туалет двумя сортами высококлассных духов, Лера отправилась на кухню, где вытащила из посудного ящика стола жостовский поднос, поставила на него овальную плоскую тарелку, в которую выгрузила все пирожки с сосисками, еще обжигающе горячие. Из верхнего шкафчика взяла два хрустальных графинчика, наполнив их французским коньяком из «запасов» и какой-то особой водкой, которую Геннадий все не решался выпить без особого к тому повода. Достала из холодильника стеклянную баночку с черной икрой, отвинтила жестяную крышку. Прижав пальчик к накрашенным по-актерски губам, подумала и добавила на поднос нарезку слабосоленой семги, выложив ее на десертную тарелку. Завершила сервировку подноса посудой из бабушкиного приданого: хрустальные коньячные рюмки и стопки под водку, серебряные тяжелые вилки и ложечки для икры — тоже серебряные с потершейся за век позолотой. «А-а, гулять так гулять»,— махнула она рукой и достала из заветного места давешнюю пачку «*Vogue*», которую вместе с зажигалкой положила в карман пеньюара-кимоно.

Выключила свет на кухне, секунд десять привыкала к освещению-отблеску гостиной настольной лампы в проем двери, затем взяла в обе руки поднос и осторожно пошла в сторону «бабушкиного кабинета», шурша шелком кимоно. Сократ и Машка-старшая заинтересованно проводили ее взглядами, лежа на большом диване. Отодвинув носком правой ноги дверь и расширив проем для под-

носа, тихо вошла в комнату и поставила его на стол, скорее ориентируясь по местоположению, чем по слабенькой полоске света от гостиной настольной лампы, проглядывавшей в растворенную во всю ширь дверь комнаты.

Все же попривыкнув и к этому свету, Лера осторожно прошла между кушеткой со спящим мужем («Муж объелся груш»,— на ходу безлично подумалось с Машкиной интонацией) и столом к окну, настежь открытому и лишь задернутому кисейной шторкой от редких в эти теплые августовские ночи комаров. Отодвинув занавеску, полуприкрыла обе створки окна, снова его завесила, но уже кисеей и ночными шторами из шотландки — под цвет обоев. Затем, стараясь не шуметь, взяла со стола еще бабушкину лампу с «ленинским» абажуром и поставила ее на пол, у стенки между торцом стола и дверью. Но не включая ее пока. Вновь вышла в гостиную, подошла к двери детской, прильнула ухом к оставленной ранее щелочке, на минуту замерла, чутко прислушиваясь. «Спите, мои сокровища, спите и не ревнуйте меня к вашему папе. Я ведь еще очень молодая женщина, а потом нам с ним надо иногда по душам поговорить... и постоянно репетировать, чтобы вы на свет являлись. Иначе никак нельзя. Спите крепко до утра!»

И тихо рассмеялась: вот влюбленная дура! А влюблена она сейчас во всех и вся в родном доме — от кошек до старинной мебели, не говоря уже о детях и муже.

«Ладно, пошла на репетицию приумножения потомства и зарабатывать тысячу зеленых на фитнес. Дело женское, ведь говорила же бабуся-умница, что женщина — биологически обусловленная проститутка. В хорошем смысле»,— улыбнулась Лера и, также на ладошку оставив открытой дверь в детскую, пародируя ламбаду, пошла в «бабушкин кабинет». Еще попутно вернулась к стародавней уже мысли: надо что-то изменять в спальне; там нет такого уюта, как в кабинете с ее старинчатой кушеткой, тесной для двоих, но так там хорошо! А в спальне... какой-то холод от стильной, комплектной мебели, а широченная, квадратная постель словно станок. Во-во, верное слово нашла, как на лабуховском сленге и называли спальню — сексуальное место в семидесятых годах. Нет, надо кардинально все там менять!

Зайдя в комнату со сладко спящим мужем, Лера также прикрыла дверь «на ладошку», чуть подумала, мысленно поблагодарила архитекторов сталинских времен, додумавшихся ставить внутренние двери открывающимися вовнутрь комнаты, и тихо-тихо, почти бесшумно подкатила к двери «стопор» — отдельно от письменного стола стоящую тумбу с ящиками, где Геннадий держал все свои цацки и причиндалы — от подаренных защитившимися аспирантами «паркеров», к которым он питал коллекционную страсть, до Лериных таблеток, которые она не решалась держать в других местах квартиры, поскольку Машка любила везде рыться и уже год, как хорошо знала грамоте... Начнутся любознательные расспросы.

— Береженого бог бережет...— пробормотала Лера, продолжив про себя обычную скабрезную присказку Верки-травести про монашку. Хотя не в характере Машки разгуливать по ночной квартире, но зачем ей видеть пьянствующих по ночам родителей?

Закончив диспозиционные приготовления, Лера остановилась посреди комнаты и призадумалась. Ей вдруг захотелось снять с себя все дареное и недареное, лечь рядом с мужем, поделив побратски плед, которым несколько часов назад сама его укрыла, обнять его, уткнувшись прямым, чуть остреньким носиком в его плечо, и заснуть сладким сном... до утреннего выяснения обстоятельств. Желание было настолько явным и довлеющим, что пальцы сами расстегнули две верхние пуговки кимоно-пеньюара. Шелк его мягко разошелся на плечах, полуобнажив их и открыв груди, поддерживаемые снизу полоской символического бюстгальтера, едва прикрывающего соски.

Но тут залетевший в окно и запузырившийштору-шотландку полуночный ветерок заодно сдул с подноса дразнящий аппетит запах еще горячих пирожков с сосисками. «Как,— возмутилась Лера,— как это спать? А для кого я возилась с пирожками? Их что — коту под хвост? То есть не Сократу, конечно, извиняюсь. Нет, будь добра выполнить программу-максимум!»

— Девушка к разврату готова! — И Лера, забыв о расстегнутых пуговках, весело цокнула язычком и, нагнувшись, нажала кнопку поставленной на пол лампы с «ленинским» абажуром.

* * *

Еще в бытностью своей учебы в пединституте Геннадий с большим удовольствием, даже отказывая себе в удовольствии со своими приятелями «заколоть» пару лекций и до темноты проторчать в знаменитой пивной — избе «Крокодил» в Комсомольском парке (рядом располагалась детская площадка с десятиметровым чучелом крокодила), посещал все занятия по психологии. Вел их местная знаменитость, профессор Цинкерман. И много запомнил, в частности, что дневной сон, беспробудно переходящий в ночной, очень вреден для организмов, а именно: в отличии от нормального, ночного сна, где работает только подсознание, в таком смешанном сне это самое подсознание постоянно переаукивается с сознанием активным, дневным. А от этого и сон невероятно сумбурный, а по пробуждении голова чугунная. «Это что, Аркадий Борисович, проснувшись, нужно таблетку цитрамона выпить?» — поинтересовалась круглая отличница и полная дура Валька Мещеринова. Народ в аудитории зашушукался, а профессор Цинкерман, по-свойски подмигнув всем сразу, слегка откашлялся и сказал скороговоркой: «Аспирин не всегда под рукой может оказаться, а рюмка-другая народного средства пользительнее, хм-м».

Впрочем, дневная часть сегодняшнего сна — до наступления темноты — протекала классически и вообще без сновидений, как бывает после чувственного, неторопливого соития с любимой женщиной. Но зато как началось потом? Для начала привиделась сладкая парочка гениальных мистиков-геополитиков: генерал Карл Хаусхофер об руку с Георгием Ивановичем Гуджиевым, причем последний все выкликал и выкликал свое заветно-таинственное слово *лентрохансанин*, смысл которого так хотел узнать Иосиф Виссарионович... Они в одной семинарии в Гори учились. Затем на первом плане явилась, сияя голубыми грешными глазами, Наташа и увела Гурджиева в отдельный кабинет какого-то шикарного ресторана, причем Георгий Иванович что-то весело рассказывал прелестнице, поминутно упоминая про некие «затеи барских садоводств».

А место этих персонажей заняли пляшущие в кадрильных шеренгах безликие *офисные креветки* и торговые *манагеры*. Число

их росло на глазах и скоро они заполонили всю бывшую 1/6, а ныне где-то 1/8 земной суши.

Далее следовала перебивка, и вот уже Геннадий с эфиопским обликом Александра Сергеевича пишет продолжение «Евгения Онегина», а именно ту задуманную, но не написанную подлинным Пушкиным главу, где Евгения вербуют в масоны-декабристы:

И вот Евгений наш мятежный
В союз масонский, тайный вхож
И произносит клятвы грешной
Слова, на демона похож.
На государеву особу
Его стремясь направить злобу...

Но дальше его зациклило на рифме двух последующих строк.

Снова перебивка в сновидении, и вот Геннадий в облике Карамзина сначала переписывает всю русскую историю по злобным, русофобским писулькам предателя князя Курбского, а затем, радостно потирая руки, вводит в алфавит букву «*ё*», чем на века портит фонетику русского языка. За эти «подвиги» Карамзина вызывают в *ЦРУ*, Лэнгли, штат Вирджиния, и награждают «Пурпурной звездой».

А дальше пошли совсем невероятные фантазии: 11-го сентября две тысячи какого-то года, в канун еврейского Нового года и начала священного мусульманского месяца рамадан, единственно и упомянутого в Коране, на острове Манхэттен по заданию тайного Мирового правительства взрывают ритуально обе башни *WTC*. А в небе над пепелищем высветилась цифра *157*. Откуда она взялась? Ба-а! Да эта та же самая страница его, ныне давно уже написанного и дважды изданного трактата, на которой он застрял накануне начала его великой любви к Лере и Леры к нему.

Отныне для него невзрачное это число стало сакральным, он даже выгравировал — не сам, конечно, а в мастерской — его на внутренней стороне обручального кольца, которое, кстати, надевал только раз в год, в дату их с Лерой бракосочетания, поскольку органически не выносил каких-либо посторонних предметов на руках. Даже часы всегда имел только карманные, которые часто терял.

Внезапно его охватило неуемное чувство голода, пошли запаховые галлюцинации: привиделись и принюхались ностальгические сосиски в тесте, горячие, прямо-таки обжигающие пальцы рук. А к ним — рюмка водки «со слезой». И ударило светом по глазам, и кто-то мягко, но уверенно наступил ногой ему на грудь, и хорошо поставленный, артистический голос с почему-то давно знакомым ему специфическим тембром громко произнес: «Ваше время сна, сэр, истекло. Просыпайтесь и обрящете искомое!»

* * *

«Вот и следующая серия дурацкого сна, как бы собраться с силами и проснуться, надоело»,— на миг активное сознание в голове Геннадия перебороло калейдоскоп фантазий ночного подсознания. Однако легкая, явно женская, ножка на груди требовательно вибрировала, а затем и вовсе, откинув плед, через тонкую ткань майки начала щекотать собранными в гузку пальцами. Медленно-медленно, с большим усилием он приоткрыл щелочки глаз и несколько секунд не мог сообразить: где он? Все вокруг в полутонах и странных изломах слабых лучиков света, как будто снизу, с полу освещающего комнату. Он развернул голову вверх лицом и вовсе испугался: «Все, пора заканчивать вечерние посиделки с Енукидзе и Яцыщеным в экс-«Малыше». Эротические глюки пошли. Скоро и поллюции начнутся — даже при сверхактивной Лере...»

И было от чего так запаниковать: на его груди, обтянутой домашней майкой карминного цвета с короткими рукавами, нетерпеливо приплясывала женская ступня в чем-то шелковистом, продернутом узорчатым люрексом. Поднимая тяжелые с сумбурного сна веки глаз, Геннадий все выше поднимал свой взор: от нетерпеливо притоптывающей ступни — все в том же люрексе по муаровому шелковистому фону — по идеальной формы лодыжкам, икрам... вот и ловкие округлые коленки, и выше в полностью обнажившем ножку едва не до талии разрезе спавшего обок кимоно, вот и чулок окончился ажурной окантовкой, а далее загорелая матовость вершины бедра... Еще выше наклонившийся в нему торс, закрытый

тканью странной одежды, но выше пуговички расстегнуты: прямо на еще не вышедшего окончательно из сна, несколько очумелого от смены картин Геннадия смотрели чуть придерживаемые гривуазным кружевным минибюстгальтером, выкатывающиеся из него столь знакомые аккуратные грудки, чуть козьи, со слегка припухлыми коричневыми сосками. А еще выше — смеющееся лицо Леры в полном сценическом макияже:

— Вставай, лежебока, хочу с тобой выпить и поспать!

— Лера, ты? — Геннадий окончательно выскочил из сна и облегченно, шумно выдохнул,— ты что, новую роль репетируешь?

— Вредно со светового дня засыпать, совсем головой заблудился. Вставай.

Лера наконец убрала с его груди притоптывающую ножку, обув ее в свою золоченную ичигу, взяла Геннадия за руку и подняла; силой ее бог не обидел. Усадила на стул, сама же вальяжно расположилась в кресле обок стола, вписав в него очень даже компактно свои немалые метр семьдесят пять, целомудренно прикрыв коленки и бедра полой кимоно, но опять забыв застегнуть две верхние пуговицы.

— Ну что, благоверный, снилось как Наташку-стерву Гуджиев или Сталин от тебя увели?

— От-от-куда знаешь? — Геннадию показалось, что он и не просыпался: Лера в эротическом наряде, мысли его читает? Конечно, он все еще в том суматошном сне находится, из которого, судя по всему, не так-то просто вырваться.

— Расслабься, милый,— звонко, даже приглушая ладошкой и озабоченно оглянувшись на дверную щелку, рассмеялась Лера,— не во сне ты, а знать все о тебе, даже о снах — это моя профессия, даже две: актерки и жены. Именно не дурочки двадцатилетней, выскочившей абы за кого или за деньги, а жены взрослой, хоть и с ветерком в голове. Потом я — потомственная колдунья. Ты все смеешься, а это так и есть, даже сугубые материалисты, хотя и осторожно, но признают такие факты. С оговорками и всякими вашими философскими обоснованиями. А за Наташку не обижайся, она мне дорогу не переходила. Попробовала бы! Это я так. Можешь считать, что сама себя возбуждаю. Вот ты — молодец, ни

разу не попрекнул меня ранее бывшими невинными увлечениями...

— Хватит соловья баснями кормить... раз разбудила. Это что? Неужели пирожки с сосисками? Ну, удружила, моя распрекрасная. Дай я тебя поцелую.

— Нет, нет, я сегодня гордая и красивая. Впрочем, как всегда. Просто я еще хочу в помаде остаться некоторое время. Стой! Ты что делаешь?

— Как что, пирожок взял, пока горячий съесть.

— Н-да, ну и воспитание у вас в татаро-монгольской орде было. Пирожок положи, налей себе полную стопку водки, а мне в рюмку на мизинчик коньяка. Почти полтора года этого зелья не пробовала...

— А не рано сейчас? Еще Игошу через молоко пьяницей сделаешь.

— Игошу кормить грудью заканчиваю. Уже не раз тебе говорила. Надо к сезону форму восстанавливать. Тебе же больше достанется. А в следующий раз козой Амалфеей поработаю, как мы с тобой и договорились, через восемь лет. Налил — хорошо, я закусываю икрой, а ты своими тестососисками. Позволь мне первой тост поднять: выпьем, мой любимый, за нас с тобой, наших *всех* детей и даже зверей. Я тебя люблю ровно и страстно, все у нас будет хорошо и даже замечательно, хотя время на дворе волчье. Бог с ней, с помадой, давай поцелуемся. Вот так. Будь здоров, милый! А теперь ешь пирожки.

Лера медленно выпила коньяк, зябко повела полуобнаженными плечами с узкими черными полосками бретелек. Геннадий жадно съел подряд три пирожка, сделал замечание:

— Сосиски маленькие, так их надо по две штуки в тесто заворачивать. А что ты имела в виду, дескать, мне больше достанется — это фигурально, да?

— И фигурально, конечно, а первое время, как Игошу отниму от груди, можешь и натурально...

— Ты, Лерка, не заговаривайся! Неужели коньяк так подействовал? И вырядилась так, и к извращению меня толкаешь...

— Между любящими и живущими вместе людьми извращений не бывает. Понятно, в рамках естественной физиологии, без при-

знаков шизофрении. Дело обычно. Не знаю, как у вас там в орде, а у дворян в порядке вещей было. Младенца передавали кормилице, а дворянка-мать, блюдя форму грудей, постепенно снижала лактацию, сдаивая молоко. Я с Машкой так делала: сдаивала в кружечку, а потом на нем кашу ей готовила. А вообще надо уметь приятное с полезным сочетать. Любовь, если разобраться, единственная непреходящая ценность, а дети, физиология и маленькие неожиданные радости — ее украшение и залог крепости. Наливай по второй, мне на два пальца. Не опасайся, не сопьюсь.

* * *

В окне с раздернутыми шторами — чтобы полностью выветрился дым от Лериных сигарет — уже виднелась розовая полоска утренней зари, цвет неба медленно переходил от темной сини к лазури, тоже темной, но уже лазури. Они лежали, не раздеваясь, на тесноватой *для двоих*, но такой *для двоих* уютной кушетке поверх пледа, на боку, лицом к лицу, обнявшись и прижавшись, стиснувшись друг с другом, тихо разговаривая. А на кресле спали Сократ с Машкой-старшей, совсем недавно согнанные с кушетки: пришли еще в разгар ночи на огонек и тихие голоса хозяев. Пейзане пришли к олимпийцам.

— ...Никогда в жизни не пьянела, а вот смотри-ка, подействовало: и перерыв сказался, и время ночное расслабляет. Да-а, милый Геночка, ордынец мой хороший, а может и хазарин — шучу, шучу! Знаю, конечно, что оба мы русаки коренные, из последнего народа на земле, уже превращенной в новоюрский обезьянник. Как дальше жить-то будем, к чему детей устремлять, как в отчаяние не впасть, а? Ты же умный, *философ*, просвети меня, глупую взрослую девочку. Я-то тебя могу утешать только по женской части: телом своим, теплом душевным, уютом домашним... детей дарить сколько захочешь. Но на тебя все мы равняемся общим тонусом и уверенностью, хоть какой, в дальнейшем течении жизни. Хмур ты — и мы, включая кошек, невеселы; тревожно тебе — и нам неуютно в родных стенах, даже Игоша мается, хнычет. А вот весел когда, так и дома словно праздник... Не хочешь говорить, да? Ну ладно, тогда хоть

меня похвали: скажи, какая я красивая и ладная. Я красивая? Ты, мой любимый, тоже пьяненький. А я вот с Игошей себе складочку нажила, вот, потрогай, на бочку, чуть пониже талии. Мне на фитнес надо походить обязательно. Дашь мне тысячу долларов?

— Да хоть две.

— Нет, две не надо. Деньги пригодятся на переоборудование спальни; только что об этом говорили. И детскую тоже надо как-то переоформить, ведь скоро Игоша выберется из своей колыбели, а разделять его с Машкой пока не следует. И вообще год-два она побудет активной нянькой, воспитательницей. Это для нее бесценный опыт на будущее. Ой, не приставай пока, и так хорошо лежать.

— Извини, что беспредметно говорю: разболталась слегка пьяненькая девушка молочной спелости. Ну-у, не спи, пожалуйста, ты и так со вчерашнего дня все спал и спал. Послушай меня. Я ведь два часа слушала только что твою лекцию о Мировом правительстве и ожидающей всех нас виртуальной реальности. Может хочешь еще выпить? Или поесть? Скажи, я принесу. Ну ладно, лежи. И я полежу. Хочешь меня?

— Всегда хочу.

— Наконец-то оживился, но пока подожди; все основное удовольствие в ожидании... впрочем, к любовному апофеозу это не относится. Одно из немногих исключений. Этот сезон, или учебный год по вашему, а попросту говоря осень-зима-весна, будет у нас у всех сложным, учитывая переходный статус Игоши: из младенчества в детство. Будем все вместе воспитывать по гибкому графику, маму подключим. Я уже с ней все обсудила. Будет Полковник привозить на пересменок; ему все равно в свое охранное агентство ездить мимо нас. И на гастроли я два года ездить не буду. Вообще никогда не буду, не хочу никуда без тебя ездить. Вот Машку первого сентября в школу отведу и сразу пойду с главрежем горшки бить по поводу гастролей.

Я тебе не надоела? В смысле совместной жизни, нет? Какая помада на моих губах тебе больше нравится — я цвет, конечно, имею в виду? Не спи же! Ладно, давай целоваться и так далее... только не раздевай меня всю.

Разговор-монолог возобновился через полчаса, когда небо уже

перешло в почти светлую синеву:

— Хи-хи, вот и заработала тысчонку зеленых! Дорого мы вам, лопоухим, обходимся.

— Не ерничай, Лерка, тебе не идет. Опять бабушкину теорию от Августа Бебеля о всеобщей проституитизации женщин вспомнила?

— Утю-утю-утю, мой милый, мой единственный в жизни любимый, мой повелитель, мой самый сильный и мужественный в мире. Поцелуй меня. Только поцелуй, отдохни. Про заработок это я из спектакля вспомнила.

— Из какого?

— А-а, не помню. В прошлом сезоне шел, я в нем не участвовала. Какая-то самопальная халтура.

— Да? Интересно, а как вообще к вам в театр эти современные поделки попадают? Что-то ты ни разу мне не говорила, хотя с твоих слов я полные биографии всех ваших сотрудников знаю, включая билетерш и дворников.

— Очень даже просто, как раньше, так и сейчас. Помнишь, в конце семидесятых — начале восьмидесятых у нас, а впрочем и по всей провинции страны, одна за другой шли пьесы Константинова и Рацера? Вроде как из Ленинграда. Да помнишь, конечно. Я тебя даже пару раз в зале видела; мы уже знакомы были, и я запретила тебе ходить и меня высматривать. А ты, мой любимый, все ходил и ходил... Так вот, эти компаньоны по драмбизнесу приезжают, например, в наш театр, дают на лапу главрежу, может и еще кому по мелочи, а актерскому составу закатывают банкет: пей и ешь от пуза! Я в таких самоделках сейчас, когда звание позволяет, не участвую. Вот в том сезоне главреж примотался: играй в «Чокнутом Чонкине» и все тут! А я ему про принципы и прочее, что в голове вертится. Понял он, рассмеялся, даже пробовал полуобнять: «Так бы, Лера, и говорила, что не хочешь в дерьме изваливаться!»

Что-то я совсем разболталась на сон грядущий. Скоро уже и Игоша проснется, надо будет им заниматься. А Машка перевозбудилась вчера, часов до одиннадцати ее не разбудишь. Да и зачем будить-то? Последние вольные деньки, по крайней мере до бли-

жайших каникул.

Я тебе сегодня понравилась, да? Скажи мне что-нибудь на ушко... Ага, ага. Я тоже. А ты бесстыдник... и я бесстыдница. Но между нами никакого стыда быть не должно, когда мы одни. Кошки ни в счет. Теперь мне сказку про принцессу расскажи. Не умеешь? Так я тебя научу. Жила-была принцесса, не было у нее принца. И детки поэтому не заводились. Тридцать лет уже исполнилось ей, а принц все не идет:

Весна пролетела и лето прошло...

Надоело ей жить в тоске и сама она принца к себе позвала. Побыла она с ним и снова рассталась; так расположение звезд велело. Страшно ей стало, что не вернется больше принц. А потом она родила девочку. И принц пришел, и остался с ней жить-поживать, добра наживать. Вот сегодня принцесса расслабилась, даже со стола не убрала, но сил нет, почти сутки не спала. Тумбу надо бы от двери откатить. Вдруг Машка меня искать будет, придет сюда и испугается. Словом, занавес не опускается, программа спектакля продолжается, хотя уже в минорных тонах.

— Ну и какая у нас дальше программа? Чем еще удивишь своего любящего мужа? Ты же актриса, на выдумки должна быть ох как хитра.

— Вся программа на сегодня, милый, выполнена. Или нет? Сам решай. А лучше — спи. Еще немного и побьешь рекорд: почти сутки перманентно поспишь. Но это полезно. Я так прямо проваливаюсь в сон. Тем более, что мне на него Игоша отпускает всего два часа. Раздень меня, мой любимый. Все у нас будет хорошо. И помни: через восемь лет мы повторим такую ночь — с новой лялькой. А с начала нашей большой любви это через десять лет. Итак — десять лет спустя.

Каждой эпохе соответствуют и свои лица. Если следовать учению Чезаре Ломброзо, то каждое профессиональное сословие выделяется некой общностью строения черепа, а отсюда — и типажом лица. Вывод: лицо эпохи — это лицо класса-гегемона. Действительно, в царевой России в управляющем классе доминировало холеное лицо дворянина и подделывающегося под него чиновника не ниже двенадцатого класса табели о рангах. А в купеческо-промышленном мире сложился тип могучего, бородатого движителя экономики империи с острым умным взглядом, чуть хищным выражением волевого лица, по-своему красивого — от исконных русаков староверческих северных губерний, поэтому без азиатской примеси крови.

В советское время — до начала сталинских пятилеток — в президиумах и наркоматах заседали тоже умные, востроглазые «комиссары в кожаных шлемах», потом их сменили широкоскулые, волевые лица выдвиженцев: новая красная интеллигенция, управленцы — железные наркомы. В брежневскую эпоху черты класса-гегемона как-то расплылись, подобрели с начатками тихой вороватости.

И вот наступили новейшие времена, гегемонствующим классом стал торгаш с задатками бандита, или прямой бандит, к концу 90-х годов легализовавший свой «бизнес». Появились новодельные дворяне, купцы, не вылезающие из Куршавеля, ловко скользящие по паркету чиновники... Но науку генетику не обманешь. Как ни помадь голову, ни примеряй фрак из Лондона, ни заводи штат горничных и садовников, все одно ясно просматривается в персонах V I P мурло бандита, вора-домушника, фарцовщика и цеховика, удачливого комсомольского функционера. Впрочем, не место человека красит...

За окнами холодный в этом году сентябрь. Ввиду тож похолодание наших братских отношений с империей доллара, ответственные СМИ както скупо отметили WTC 9/11, как на рациональном Западе уже зааббревиатурили теракт 11 сентября. Причем на этот раз теле- и радиодикторы отмечали, собственно, не сам факт события, но все больше высказывали «догадки» относительно самолетного камуфляжа и иного способа подрыва этих башен. Правда, до упоминания, что 11 сентября — это ветхозаветный Новый год и одновременно начало священного месяца рамадан (единственного упомянутого в Коране) — дело пока не дошло. Но дойдет со временем и эта ритуальная подробность.

На фоне такого вот политпохолодания живо вспомнили тот самый сентябрь, когда на российском (не американском, заметьте!) ТВ дикторы, хитрющие донельзя и безэмоциональные от профессии мужчины, сообщая о теракте, не скрывали слез, текущих по щекам... А наивные телезрители представляли себе страшного злодея Усаму Бен Ладена, держащего в руке нож типа того «сербосека», которым хорватские усташи в 40-х и 90-х годов вырезали сербов (за что последних потом волокли на суд в Гаагу). И упорно не хотели верить, что Усама — платный агент ЦРУ.

Да, страшная это штука политтерроризм, где разменной монетой становятся безвинные сотни и тысячи людей. Грядущий глобализм создается средствами, перед которыми меркнут орудия всех предыдущих революций и переворотов типа французской гильотины, красноармейской тачанки и белогвардейской петли и маузера. И откуда это все в человеке, если он по Дарвину произошел от обезьяны, очень мирного существа?

Глава тридцать девятая.
ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ: ОПРАВДАНИЕ ОЛИМПИЙСКИХ ПРЕДЧУВСТВИЙ

Если бы даже совсем оставалися мне
неизвестны
Первоначала вещей, и тогда по небесным
явленьям,
Как и по многим другим, я дерзнул бы считать
достоверным
Что не для нас и отнюдь не божественной
создана волей
Эта природа вещей: столь много в ней
всяких пороков.

De rerum natura, книга V, ст. 195—199

Не с любовницей, и не с женою —
Я лежу, воплощенной виною,
Пред тобой, нестерпимо земною!
И вся кровь твоя, плоскость земная
Жаждет не занебесного рая!
А бессовестных рук моих нежных
На изгибах твоих, на безбрежных,
На округлых, литых колыханьях...
Растворяюсь в твоих я желаньях!
Как мы вечны сейчас, как мгновенны!
Наши души вплелись в наши вены...
Весь, до пят — в твоем женственном, спелом...
Трепещу, истекаю всем телом...[*]

Лера открыла глаза, мигом выйдя из сна, и захлопала ресницами, глядя на мужа, что, наклонившись, почти на ушко звучным лекторским голосом читал ей стихотворение.

---

[*] Олег Кочетков. Из книги «Последний народ». М., 2005.

— Что это тебя, Геночка, спозаранку на высокую поэзию подвинуло?

— Сама же наколдовала: будем заново влюбляться друг в друга каждые десять лет; вот первые десять и прошли, седьмой с прибавкой «две тысячи» год позавчера наступил. Новомодные рождественские каникулы, чтобы народ от души попьянствовал. Я все прекрасно помню: бабе сорок пять, баба... впрочем, ты всегда ягодка. Не раздумала? Знаешь, о чем я.

— Нет, конечно. Значит так, милый, в декабре ты не пил — это я заколдовала; одноразовое новогоднее не в счет. Еще неделю держи себя в строгости, но это уже по части моей физиологии, а там и сотворим. Как раз в конце сентября рожу, и в первые месяцы младенчества будет ни холодно, ни жарко. Это самое важное. А зимы и вовсе не будет, как сейчас в природе принято. Понял? Ну и хорошо. А мне пора на утренник в театр. Игошу беру с собой, а днем верну домой. Машка проснется и пойдет в парк; там у них девичник девятого класса «*а*», вернется к темноте. Ты чем собираешься заниматься?

— Так, печки-лавочки, раз пить нельзя.

— Ну, не понимай так буквально уж. Когда все разойдутся, сходи и ты прогуляйся, пару стопок текилы или какого другого самогона где-нибудь прими. Новый год все же. Только не звони Енукидзе с Яцышеным. Нет, а серьезно?

— Не приставай, Лерка, вот стихи из этой книжки читать буду. Может и до парка дойду.

— Только Машку там не спугни. Сам понимаешь, в четырнадцать лет самая ломка характера, родителей на людях стесняются. Впрочем нет, меня не стесняется по причине театрального реноме. Иногда — сама случайно слышала — выдает меня заглаза за старшую сестру. А ты говоришь, что мне сорок пять!

— Во-первых, я этого никогда не говорил и даже не задумывался; во-вторых, мы с ней по парку в различных измерениях путешествуем. Да, мне только что Яцышен звонил, по делам института, не напрягайся, он сейчас верстает на компьютере дома расписание зимней сессии, так он интересовался каким-то предновогодним скандалом в вашем малобогоугодном заведении. Твоя фамилия

там вроде фигурирует. У него кто-то по родне жены в департаменте культуры состоит клерком. Ты чего мне не сказала?

— Милый мой, по определению театр — это сплошной скандал. А что это тебя на бабье любопытство потянуло? Я же этому и значения не придала. Но если хочешь... Хотя все это скучно. Заехала на банкете предновогоднем селедочницей со всем ее содержимым.

— Ого! И чего же о таких подвигах молчишь?

Лера сладко потянулась, сбросила одеяло, спустила ноги на пол, зябко поежилась, покинув нагретую за ночь постель, поправила сползшую бретельку коротенькой, даже до середины бедер не доходящей распашонки. Уловив взгляд заблестевших глаз мужа, энергично помахала перед его лицом пальчиком, сказала, подавляя зевок:

— И не думай. Хватит с тебя. А то опоздаю на утренник, еще один скандал будет. Дело же простое и обычное. На банкет, как водится, главреж позвал наших меценатов. А эти кобели почему-то уверены, что их копеечные подачки подразумевают не только контрамарки для их толстых жен и длинноногих б..., но и соответствующие услуги актерок. Конечно, есть у нас несколько девочек, в основном из массовки и «кушать подано», что иногда подрабатывают на этом, когда шубку купить надо, или на отпуск подкопить... Но эти морды похотливые, как нажрутся, так всякое понятие о субординации теряют. Вот и этот купчик, явно из братков, теперь владелец пары кабаков со стриптизом и еще чего-то, Лавров, кажется, погоняло его, литровку — не меньше — выпил и начал к Верке приматываться; она же, как теперь девушка замужняя и серьезная, отшила его матерком. Так он не успокоился и по контрасту — от самой маленькой к самой высокой — на меня переключился. Наши мужики в это время где-то поодаль столпились, курили с анекдотами, то есть никто его не остановил. А я к десерту торт большой, заказной разрезала. Дело серьезное и тонкое. Наклонилась, а он тут как тут и сразу лапать за ягодицу.

Нет, я бы, конечно, в лучшем случае лягнула бы его каблуком промеж ног, даже не обернулась, но из-за этого сукина сына рука с ножом дрогнула — всю тонкую нарезку испортила. Разозлилась

из-за торта, схватила селедочницу, а в ней весу пара кило, да горбуши малосольной еще столько же, да оливковым маслом для пикантности Верка полила,— развернулась и по роже. Жалко рыбки, мужикам нашим такая закуска не досталась! Вот и все.

— Да-а,— заинтересовался Геннадий,— а оргвыводы, так сказать, какие?

— Никакие. Главреж подскочил к благодетелю, отвел умыться, пиджак с рубашкой из реквизита на смену испачканного маслом выдал. Попутно и объяснил: что к чему и смотреть надо, к кому сзади подходишь. В этом отношении женщины и лошади очень опасны. Попутно выяснили, что его дочурка у тебя учится. Ты не вздумай ей чем-то вредить, тем более, что купчик сразу протрезвел, перевел все в шутку и публично просил прощения.

— И что, соизволила?

— А как же, даже потом танцевала с ним.

— Нд-а-а, ну и нравы у вас!

— Какие есть; надо даже в явном сукином сыне выделять что-то от человека. Ладно, пусти меня, не заводись. Убери постель, а я скоренько умоюсь-накрашусь и что-нибудь на завтрак сгоношу. Да, уберешься здесь, так Игошу поднимай. Он сам напросился на «Белоснежку».

За завтраком на кухне, исключая еще спящую Машку, предельно деловитая Лера уловила взгляд мужа, смотревшего на Сократа и Машку-старшую, старательно евших из своих мисочек кашу с печенкой, резко мотнула челкой:

— Слушай, не заводи ты себя на жалость слезливую. Я тебе сколько раз говорила: ну и что, Сократу десять с половиной, а курносой - семнадцать. Что из этого? Домашние кошки, если их не кормить консервированной вискасной дрянью, живут до двадцати двух — двадцати четырех лет. Это их естественный, биологический возраст. И старости, как таковой, у них не бывает.

Лера покосилась на Игошу, но тот не прислушивался, увлеченный куском вчерашнего торта. Все же воспитательно понизила голос и скороговоркой:

— Не видишь разве, как они по три-четыре раза в год женятся не хуже нас с тобой?

— Да-а, конечно, конечно. Это я так просто.

— Из просто вырастет короста! Ладно, не сердись на меня. Я добрая и ласковая, просто в роль вхожу с утра. Игоша, ты доедай-допивай, а я краситься пошла. Проводи-ка меня до прихожей!

Перед трюмо Лера обняла мужа, шепнула:

— Давай поцелуемся, пока я губы не напомадила. Веди себя хорошо и проследи, чтобы Машка не один только торт хрумкала. Я тебя люблю крепко, нежно и деятельно. И не только раз в десять лет, как ты вообразил, но все эти десять лет, плюс предыдущее десятилетие — тайно. Все, иди и не мешай мне. Гони сюда Игошу, только смой ему крем на щеках.

* * *

Выпив после ухода Леры с Игошей пару стаканов чая, им же и свежезаваренного — Лера по утрам обходилась кофе, а Игоша — персиковым соком,— он заглянул в разделенную еще шесть лет назад детскую на Машкину половину. Понятно, еще час-другой проспит. Снова вернулся на кухню, убрал со стола, помыл посуду и, захватив стакан чая в подстаканнике из мельхиора, пошел в кабинет. Посмотрел по Интернету прогноз погоды на неделю вперед, не удержался от детского тщеславия, открыл сайт издательства «*УРСС*» и с удовольствием убедился, что и в наступившем году его изданный в начале осени трехтомник по виртуальной реальности по-прежнему идет под логотипом «бестселлер». Затем переключился на сайт литературной премии «Новый русский роман» и также убедился, что новая книга Леры также значится в шорт-списке претендентов. Выключил компьютер и занялся текущими делами по институту. Надо готовиться к минвузовской аттестации, что предстояла ранней весной... Руководствуясь извечным, еще с советских времен принципом: на работе говорить о бабах, а в рюмочной и пивной о работе. Время пошло быстрее; он даже удивился, когда в незатворяющуюся, исключая посиделки в Лерой, дверь вошла заспанная, как-то прямо на глазах за последний год потянувшаяся ввысь — под мать и отца — Машка, нарочито капризно спросившая:

— Так, а где остальное народонаселение?

— На дискотеку в танцпол побежали.

— А-а, вспомнила. «Белоснежка» сегодня: мамулька на сцене, Игоша в аристократическом третьем ряду.

— Ты чего не пошла?

— Папа, у тебя возрастной масштаб нарушен, все забываешь, сколько мне лет.

— Ишь ты, набралась умных слов от матери. Кстати, зачем надела любимый мамин халатик?

— Она мне его дала на неделю поносить. Сама на это время в кимоно облачилась. Не знаю, что на нее нашло. Странная какая-то, похоже влюбилась. У них в театре новый актер на амплуа первого любовника появился; из новосибирского драмтеатра. Не в него ли?

Геннадий ухмыльнулся: «Смотри-ка, не только в рост вытянулась, а уже зубки женские на мне пробует оттачивать». Чтобы не позволять ей эту роскошь, перевел разговор на сходную тематику:

— У вас-то в классе еще никто не женился на Новый год?

— У нас нет, хотя две устойчивые пары уже целуются. А вот в десятом «б» Нелька Смирнова вроде как аборт сделала и в семнадцатую школу перевелась срочно. Совсем дура без ума и соображения, все аптеки пилюлями завалены...

— Слушай! Ты говори, но не заговаривайся, не с подружками все же треплешься.

— Не педагогично, папочка, воспитывая детей, употреблять грубые и жаргонные слова. Тебе разве мама не говорила? А про пилюли и прочее это нам в школе на факультативе по планированию семьи и валеологии рассказывают. Что мне, не слушать, да?

— В парк сегодня намы... собралась?

— Ага, вот вопрос по делу. Кстати, дай сто рублей.

— Тебе еще рано пиво пить.

— Фи, какая пошлость. Кроме пива есть мороженое в кафе и пирожные. Фаст-фуда я тоже не употребляю.

— А кто первого сентября пришел с пивным ароматом?

— Это бес попутал, все одноразово; к тому же в тот раз мамуля меня заколдовала в порядке исключения. А ты, папочка, от-

лыниваешь от исполнения родительских обязанностей — в то первое сентября злосчастное меня мама ремнем непедагогично лупила по попе, а ведь это обязанность отцов!

— Ладно, замнем для ясности. Вот тебе сто рублей и еще пятьдесят за благонравное поведение. Пошли на кухню, мне велено тебя покормить.

— Спасибо, папочка. Дай я тебя поцелую.

Смеющаяся Маша, целомудренно стянув пальцами широкий вырез шелкового халата, нагнулась и, щекоча его лицо кончиками распущенных, слегка волнистых волос, чмокнула отца в щеку.

«Господи,— на миг оторопел Геннадий,— истинно яблоко в яблоню растет: тот же все халат, те же кошачьи манеры наигранные...»

— Вообще-то, как ты мог заметить, я и сама уже года три умею не только себе, но и Игоше, и тебе поесть приготовить, но что с вами, с мужчинами поделаешь, вечно вы со своими ухаживаниями вперед паровоза бежите! Пошли. Ну-у, веди себя прилично, — вскрикнула Маша, когда пришедший в полный восторг отец шлепнул ее пониже талии. Тут же сменила тон на деловой:

— Раз сам вызвался, то иди и готовь, а я оденусь, время поджимает.

Ухмыляющийся Геннадий сполоснул в ванной лицо, как-то за суетой в семействе забыв поутру умыться, почистил зубы и направился было из прихожей в сторону кухни, но на глаза попалась на вешалке зимняя меховая куртка Маши. Как-то пару месяцев назад Лера, взяв ее почистить в ванной, продемонстрировала ему тюбик губной помады: «Вот поганка! И тон мой. Все, конфискую и оргвыводы сделаю». Он сунул руку в правый, потом в левый карман — и вынул помадный тюбик. Хотел было положить его в ящичек Лериной косметики в столике трюмо, чуть подумал и положил обратно в карман: все равно перед выходом проверит и возьмет этот или другой из того же Лериного ящичка. А еще хуже, если не проверит и воспользуется помадой подружки, еще герпес подцепит!

«Да, трудное это дело воспитывать дочь в переходном периоде,— озаботился Геннадий, готовя завтрак-скороспелку,— а Лера и вовсе в отчаянии: каждый месяц вырастает Машка из своей оде-

жды!» Хорошо было гомеровским грекам: купил на афинском вещевом оптовом рынке тунику на вырост, на, дочка, носи до замужества, а там тебе супруг из греческих купцов новую купит!

Геннадий выложил в тарелку пару сваренных сосисок, туда же положил тройку ложек утренней гречневой каши и немного зеленого горошка. Яйцо всмятку вставил в деревянную рюмку-подставку, налил в кружку какао. Для компании себе вновь заварил чай. К этому моменту завершения сервировки вошла Маша, одетая в джинсы и в тон им свитер с воротом-воланом. Волосы причесаны и рассыпаны по спине и плечам. С горделиво-независимым видом она демонстративно разжала кулачок правой руки, в котором оказался тот самый помадный тюбик. С легкой гримаской выбросила его в мусорное ведро. «Нет, определенно дежавю у меня, либо они сговорились»,— захолодел Геннадий. Ибо пару часов назад, встав с постели и выходя из спальни, Лера достала из ящика своего туалетного столика полупустую упаковку своих таблеток, демонстративно смяла ее, зажав в кулачке. Выходя из комнаты, безлично пояснила:

— В ближайшие десять месяцев не понадобятся; отдохну от отравы.

— Почему десять?

— Ты глуп, мой милый; вроде как должен знать женскую физиологию, имея трех детей. На досуге посчитай на калькуляторе. Мы же все с тобой только что обсудили...

* * *

— А я и не знал, что ты красишься. Не рано ли?

— Вот и я так подумала... с помощью мамы. Не надо идти на поводу толпы. Потом дворянские женщины до восемнадцати лет не красились.

— Что это ты загордилась своим дворянством, да еще по материнской, не отцовской линии? Это в век-то классового господства торговцев бананами и обслуживающих их чиновников! И много в вашем классе дворян объявилось?

— Кроме меня еще двое: Лина Ципперинг и Сашка Айзумян; она — баронесса, а Сашка — князь.

— Н-да, низковата по нынешним временам процентовка. В столицах уже половина в титулах. Ты, Машка, не отставай, смело объявляй себя татаро-монгольской ханшей Красиулиной, прямым потомком Чингисхана, а по матери графиней Ченстоховской, боковой ветви короля Стефана Батория.

— Угу, обязательно оповещу, ты только мне на бумажке это разборчиво напиши, нет, лучше на компе набери и распечатай. В трех экземплярах.

— Почему в трех?

— А чтобы не забыть: один, контрольный, дома хранить; второй на груди в ладанке буду носить, а третий на дверях школы накрепко приклею.

— Ну, Машка, и монстр из тебя язвительный вырастет!

— Уже вырос, а ты и не заметил за своими философскими упражнениями. А вот мама все замечает, при этом успевая по сцене полдня ходить, романы и стихи сочинять. Смотри, хоть Игошу не проворонь. Пап, а Триша когда в этом году собирался приехать к нам?

— На день Парижской коммуны. И летом на месяц, как обычно.

— Нет, я серьезно, а ты о Парижской коммуне!

— Я и говорю вполне серьезно, правда, решилось все на днях, матери сказал, а тебе еще не успел. Вот и говорю. Целенаправленно, имея в виду Тришу, заключил между нашим институтом и университетом в Марселе соглашение об обмене студентами, пока в течение одного месяца в году, получился как раз март. Вот и Парижская коммуна. А в начале лета с тобой к Трише поедем, с ним и сюда вернемся. А может, пусть он приедет, а в августе мы с ним во Францию, а? В августе-то лучше. Да нет, в августе маму не надо одну, в смысле с Игошей, здесь оставлять, а-а, черт! — Последнее слово он с досадой произнес про себя: как ребенок проговорился... Маша мигом заинтересовалась:

— Что такое, почему нельзя одну оставлять? А-а, конспиратор ты никудышный, все понятно: решили прибавление семейству сделать?

— Да ты что несешь, просто август — школа ваша с Игошей на носу, опять же сезон театральный...

— Нет, папочка, тебе не дано фантастические романы сочинять. Могли бы мне-то сказать, не маленькая. И не дура вовсе. Ладно, не выкручивайся, не напрягайся. Маме ничего не скажу; в мае и само все проявится. Ну, родители, ну, млекопитающие! С вами не соскучишься; опять мне нянькой работать до окончания школы. Хорошо хоть я воспитанная и не ревную тебя к маме по Эдипову комплексу.

— Что, и про Эдипов комплекс на уроках этой... как ее, валеологии рассказывают?

— Нет, просто я все мамины книги, в отличие от тебя, читаю вдумчиво.

— Ага, понятно.

— Ладно, мне пора,— сказала Маша, но как-то неуверенно, явно что-то задумав, но все же встала и сама принялась убирать со стола, явно затягивая время.

— Па, а мне джинсы сейчас идут?

Здесь даже тугодум в женских хитростях Геннадий мигом все сообразил:

— Знаешь, я не мастак в части женской одежды, но, как мне кажется, сейчас, когда ты вытянулась в росте, тебе больше более свойственная женскому полу одежда подойдет.

— Во-во, мне уже Ленка с Галкой то же самое говорят. Но под юбку и колготки у меня нет приличных зимних сапог по моде этого сезона.

— У меня заначка имеется, может, купишь? И маме сюрприз будет; она ненавидит все эти брючки-штучки.

— Ага, хорош сюрприз будет, знаешь ее принцип: не выделяйся, не на панель идешь! Да ты, пап, не суетись, я же сказала: матери ни полслова. Только девок больше в доме не надо; пусть мальчишка лучше будет.

Еще покрутившись, Маша со вздохом вышла с кухни. Геннадий налил себе еще чаю, коря себя нещадно и одновременно восхищаясь: «Надо же, как четырнадцатилетняя девчонка взрослого

мужика раскусила! Я-то хорош, ничего не скажешь. И откуда это у них? Может и Машка — наследственная ведьма?»

Хлопка квартирной двери все не слышалось. Он заинтересовался и встал было со стула, пойти посмотреть, но в этот миг на кухню вошла Маша, уже в куртке, с убранными под воротник волосами — под капюшон.

— Знаешь, пап, Ленка уже в юбке и сапогах с середины декабря ходит. Может и мне все же купить, а? Ты знаешь, как я ценю твои советы, как к ним прислушиваюсь. А я бы после парка зашла в наш, на первом этаже дома, новый обувной салон и примерила. Может сразу бы и купила. Вот только как с мамой уладить? Хотя она мне сама говорила: ступни у меня больше расти не будут. И щиколотки тоже. Я же на всякий случай на размер или полтора больше выберу, так что на два-три сезона хватит. Как ты думаешь?

— Идет. С мамой я сам разберусь. Сколько нужно?

— Три — семьсот пятьдесят,— не задумываясь, выпалила вмиг просиявшая Маша.

— Ты прямо как Шура Балаганов. Откуда такая конкретность?

— Так мы с девчонками перед Новым годом целый час по магазину болтались, каждая себе по вкусу и фигуре подобрала.

— Возьми четыре на всякий случай.

— Нет, у мамы за четыре с полтиной. Если такие же куплю, так она со мной целую неделю будет сквозь зубы разговаривать, еще начинающей проституткой назовет.

Геннадий махнул рукой и пошел в кабинет за деньгами.

* * *

После ухода осчастливленной дочери Геннадий продолжил заниматься с институтскими бумагами, но мысли его витали несколько вдалеке от них, вспомнился ночной разговор с Лерой в новогоднюю ночь, вернее, в те часы, что остались от нее, после того как Инна Васильевна с Полковником уехали в начале четвертого часа продолжать веселье в Андреево семейство — по принципу «каждой сестре по серьгам» (к своим родителям он со всем семейством

ездил вчера). Чуть пораньше позвонили с Лазурного берега Егор Трофимович с Еленой Авдеевной; Новый год дошел до гринвичского меридиана. А спустя четверть часа и Триша, только-только примчавшийся домой из Марселя, где провожал старый год в кампусе с однокашниками. Он и сообщил, что соглашение университетским начальством подписано, то есть ждать его в начале марта. О чем он, пока не афишируя, сказал только Лера, тем более, что Полковник завелся и безостановочно повествовал о своих кагэбэшных подвигах, выдавая одну гостайну за другой, благо Игошу отправили спать, а Маша уже целый час в своей комнате обзванивала по мобильнику подружек, дублируя все это по Интернету.

После ухода гостей и Маша мигом заснула, а Лера переоблачилась в кимоно, так что остаток ночи они провели в кабинете на кушетке.

— Знаешь, милый, надо Машке мозги слегка вправить. Хотя ей скоро и пятнадцать, но невеститься рано. Тем более в отношении брата.

— Это ты о Трише?

— Умен ты не по годам. Понятно, что не об Игоше. Ты что, летом не заметил ничего?

— Ты преувеличиваешь. Это обычная игра девочки-подростка. Вроде как она на дуру не похожа.

— Да вроде как не похожа. Понятно, что все это в фантазиях пройдет, но рано ей еще, хотя ведь все не так просто — детская влюбчивость. И она порой след на всю жизнь оставляет. Ладно, не задумывайся, все равно это не по части мужской толстокожести. Вы и взрослых-то девочек навроде меня понимаете исключительно с их подачи, что уж тут говорить о переходном возрасте. Самом опасном, самом непредсказуемом. Сама займусь, вспомнив уроки бабуси, что она мне в свое время преподносила. Здесь, правда, случай посложнее: разница в четыре года, росли порознь, почти француз диковинный и так далее. Ладно, еще два месяца впереди. Не мытьем, так катаньем верну ее к реальности. Не поленись, милый, встань и с подноса налей мне мартини, а себе чего хочешь, покрепче. Выпьем за все сразу. И завтра у твоих родителей тоже выпьем, а потом...

— Что потом?

— А это тебе послезавтра скажу, если такой недогадливый... Вот хорошо-то. Поставь рюмки на стол и ложись. Заснуть все равно не удастся, мне по крайней мере, поэтому будем любить друг друга до рассвета. Как восемь лет назад, помнишь?

Как гоночный грузовиков между,
Мой любовник мужчин среди.
Мной и полночью восславленный трижды,
Он упрямый любовью сердит.

— Это откуда? Не твой размер стиха.

— «Песнь песней» Вадима Шершеневича. Из имажинистов двадцатых годов. На литературных посиделках в *МГИК'е* запомнила. Иди ко мне, мой любимый; у нас начинается вторая молодость; соответственно, и вторая любовь. А она-то слаще всех предыдущих. И серьезней, конечно. Возьми меня, возьми меня всю: нежно и бесстыдно. Если обратил внимание — я к нашему десятилетию грудки до второго номера увеличила. И все остальное в гармонию привела. Я такой еще десять лет буду. А потом... потом чуть меньше красивой, но ты этого замечать не будешь в постели, а для дневного света есть масса женских уловок, прежде всего массаж, косметика умелая и изысканный прикид, как Машка говорит на новоязе нынешнем. Слушай, закрой-ка дверь поплотнее. Я сегодня очень страстной буду...

Все же под утро они заснули, да так крепко, что их разбудила Маша деликатным стуком в затворенную дверь.

Через час всем семейством поехали догуливать Новый год к родителям Геннадия.

Сейчас, на закате второй пятилетки нового века, только начинаешь понимать: а ведь какое веселое это было время — 90-е годы «без руля и без ветрил»! Плохо, конечно, жили, но ведь с голода не помирали? Обувались-одевались в китайскую картонажно-пластмассовую дрянь, но ведь у большинства для холодных дней еще сохранялись от советских времен добротные, неизносимые габардиновые пальто «гроб с каракулем» и столь же прочные «скороходовские» ботинки. А на что еще малые деньги тратить тогда было? Ведь идиотизма приобретательства, тусовочной круговой поруки мобильников и иномарок еще не существовало. Выжили — и слава богу! Зато какой энергией все вокруг кипело? В понедельник утром включишь радио — Борис Николаевич снова правительство все сменил. На улицу выйдешь за хлебом или бутылочкой «очищенной» — там везде митингуют: налево — под красными знаменами, направо — с трехцветными стягами, а посредине — литераторы Омшанников с Сухариковым гуляючи ходят, интересуются впечатлениями для будущих поэм, стансов и эпопей. Красота! А сколько газет тогда выходило — читай не хочу. А народ еще грамоте не забыл и читал: по строкам и между строк, по диагонали и сзади наперед — это как на арабском и иврите пишут-читают. Читает и все правду ищет человек 90-х годов. А вот она и пришла, правда-то. Правда реальной жизни; тоже недурно живется-можется, но уже скучновато, как в эпоху позднего Брежнева. Что же, нефть течет, газ струится, китайцы одежонку шьют. Лет на двадцать хватит, а там может и рукава засучить придется.

Снится дворнику Кизилову сладостный сон в душном общежитии для гастарбайтеров при коммунхозе города. Будто он заработал чемодан денег и вернулся на историческую родину. А там в это время американцы устроили оранжевую революцию и провозгласили все города, оазисы и кишлаки самостийно-незалежными ханствами, эмиратами и султанатами. Земляки же Кизилова выбрали его своим ханом, как долгое время жившего за границей и знающего иностранный язык — для приема послов. Вот обходит Кизил-хан свой новопостроенный дворец в сопровождении великого визиря, бывшего председателя сельсовета, и зашел на женскую половину. Там встречает его главная жена — выписанная из России Нина-ханум, ханским рескриптом разведенная с доцентом философии Енукидзе.

— Ну, как дела в гареме? Нет ли пьяных из четвертого подъезда? Проводятся ли занятия по толерантности и женскому равноправию?

— Конечно, мой сладостный повелитель. Только вот чужеземный евнух Енукидзе опять где-то ханки достал и громко потом пел песню о победителе басмачества Буденном. Еле утихомирили сковородками.

— Да-да, надо принимать меры, оргвыводы уже не действуют. Чего бы еще ему отрезать?

...Проснулся Кизилов и вспомнил огорчительное: вчера кто-то украл во дворе его метлу, и Енукидзе опять пьяный явился домой.

Глава сороковая.
ВОСПИТАНИЕ ЮНЫХ ОЛИМПИЙЦЕВ

Доблесть, однако, твоя и надежда с тобой
насладиться
Милою дружбой меня побуждает к тому,
чтобы всякий
Труд одолеть и без сна проводить за ним
ясные ночи
В поисках слов и стихов, которыми мне
удалось бы
Ум твой таким озарить блистающим светом,
который
Взорам твоим бы открыл глубоко
сокровенные вещи.

De rerum natura, книга I, ст. 140—145

Однако бумаг по институту накопилось порядочно. Вроде как взял на новомодные каникулы домой малую часть, большую перепоручив Енукидзе и Яцышену, решил побаловаться, ибо в праздники, даже навязанные, серьезными делами заниматься грешно. А вышло и вполне серьезно. Что ж, взялся за гуж... Однако постепенно увлекся, ибо и в бюрократии есть гармония, а она дисциплинирует ум.

С кухни через гостиную и две растворенные двери еле-еле доносились мелодии музыкальной программы. Слова же не долетали, поэтому Геннадий тихонько подпевал, где знал:

Красота актрисы так обманчива...

Заулыбался: врут, шельмы. И вдруг зазвучало прямо за спиной, чуть сбоку, как будто кухонный динамик перенесли к дверям его кабинета; зазвучало сильным, характерным контральто:

Она была актрисою,
Играла за кулисами,
А зрителем был я.

Геннадий скосил глаза влево и увидел улыбающуюся Леру, нераздетую, в шубе, в сапожках на высоченных каблуках, с естественным румянцем на щеках — то ли от легкого сегодняшнего морозца, а может и от ходьбы: от театра до дома десять неспешных минут. Из гостиной слышался голос Игоши, рассказывающего кошкам об увиденном спектакле.

— Не верь таким песням, милый. Дело не в профессии, а в индивидуальном характере. Все, сегодня я свободна, вечерний спектакль заменили: наш новый «главный любовник» из Новосибирска сказался больным. По Веркиной достоверной информации нашел себе богатую купчиху-содержанку, на пятнадцать лет старше. Увезла его вчера после спектакля в свой загородный коттедж, кстати, рядом с нашим, я ее немного помню. Видно, сил не рассчитал наш Боренька, или самка не отпускает. Оттуда и звонил: дескать, простыл и хрипит.

— Я знаю про этого Борьку, Машка говорила.

— Что-о? Машка? Она-то каким боком...

— Сказала, что у тебя с ним роман.

— Ну, поганка длинноногая, впрочем, как и я. В смысле длинноногая. Явится — устрою ей головомойку, совсем распустилась. Как бы там ни было, я бесконечно рада. Хоть отдохну в тепле и уюте. А то трое суток подряд как в скором поезде: днями гости и спектакли, укороченными ночами — ты, мой милый. При всем удовольствии вновь вспыхнувшая любовь матерого мужика — страшная вещь. В физическом смысле. Ладно, это наше, девичье. Уже два часа, пойду обед готовить. Сходи, прогуляйся. Погоды великолепные. Ты же собирался в парк или еще куда сходить? А часа через полтора возвращайся, все будет готово. Да и поганка Машка придет. Пообедаем хоть все вместе, а тебе графинчик будет выдан. Иди, пожалуйста, не мешай мне священнодействовать. Да, на обратном пути зайди в «Семейную копилку» напротив и купи килограммовый пакет королевских креветок без голов. Мне Верка сегодня зашибательский рецепт тайского пирога с креветками и семгой сообщила. Семги кусок в морозильнике имеется, завтра утром, нет, сегодня вечером испеку. Слюнки потекут!

— Понятно, почему на улицу гонишь. Почему сама не купила? Мне, может, тоже хочется дома побыть, на тебя посмотреть.

— У-у, хитрюга. Не зашла, потому что Игоша под впечатлением заболтал. Вспомнила только перед квартирной дверью.

— Хорошо, схожу, только в обмен на твою любезность: Машку не ругать, я ей денег на зимние сапожки дал.

— Так-так, чем она тебя шантажировала?

— Да ничем, я сам ей предложил, сказал, что по ее нынешней фигуре джинсы ей не идут.

— Не ври. А-а-а, понятно, проболтался насчет наших планов на ближайшие девять месяцев, да?

— Понимаешь, Лера, она как-то по-иезуитски меня подставила...

— А ты забыл, с кем дело имеешь? Впрочем, откуда тебе знать. Ну да ладно, дело семейное. По поводу сапог ничего не скажу, сама собиралась ей купить. Если, конечно, она не купит с каблуками типа моих. А вот по поводу любовника Борьки всыплю по полной.

— А что, разве в Таиланде семга водится? — явно невпопад спросил Геннадий.

— Нет, в оригинале какая-то местная красная рыбка используется, но с семгой вкуснее.

Слушай, дорогой, практически воспитывать детей ты не можешь, так хоть напиши популярно теоретическое обоснование с учетом реалий нашего времени. По мере подрастания я их буду заставлять читать и сдавать мне экзамен. Машке уже сейчас нужно читать, поэтому вначале пиши для девичьего восприятия. У тебя хорошо получится. Заодно и новый бестселлер издашь.

— В каком ключе писать?

— А по типу «Писем к сыну» лорда Честерфильда, читал?

— Нет, только слышал.

— Так прочитай, книга у нас имеется. Я точно помню, меня бабушка заставила прочитать. Посмотри в серии «Литературные памятники», где-то конца семидесятых годов издание. Бабуся эту серию почти всю собрала, книга-почтой выписывала, я сама часто на почту за ними ходила выкупать.

— Да я все книги этой серии, что в доме есть, не раз просматривал, читал. Нет там Честерфильда!

— Ну, значит книголюб Кириллов украл. Да и неважно, пиши как знаешь, ты мастер в этом деле. Смысл же писаний Честерфильда, как помнится, в следующем. Сам лорд имел важную государственную должность и жил в Лондоне, понятно. А сын Филипп проживал со своей матерью, разбежавшейся с лордом, где-то вдали. Честерфильд же заочно полюбил сына и писал ему воспитательные письма, которые вошли в сокровищницу мировой литературы, но на самого адресата, то есть сына Филиппа, никакого влияния не оказали. Ничего толкового из него не вышло.

Но ты пиши так, чтобы толк вышел из всех...

— А бестолочь осталась, да?

— Ладно, юморист. Пошли на кухню, мне Игоше надо пару бутербродов срочно сделать, червячка заморить до обеда. Тебе тоже плюс рюмка водки; праздник все же. А потом марш на улицу и за креветками.

* * *

Геннадий замечательно прогулялся по парку, что был в пяти минутах ходьбы от дома. Машку не встретил, зато не успевал отвечать на приветствия своих студентов — по институту и университету. Еще встретил Ломакина, который при новом губернаторе, уже не избранном, но назначенном, за свои передовые демократически-плехановские убеждения впал в немилость у администрации, был лишен достаточно высокой должности и вообще внесен в черный список «запрета на профессию». Теперь же, будучи по диплому юристом, а, главное, зная всех чертей в городе, зарабатывал на хлеб насущный консультацией мелких фирмочек и частных лиц. На предложение зайти в кафе «Лабиринт» и выпить по стопке текилы, малопьющий Вячеслав Гаврилович утвердительно кивнул, но «только на пять-десять минут, ибо торопится к клиенту».

Через оговоренные полтора часа вернулся домой с килограммовым пакетом замороженных и обезглавленных королевских креветок датского производства. «Никогда не знал, что в датском коро-

левстве они водятся,— пробормотал он, выходя из «Семейной копилки»,— у Шекспира Гамлет ими не закусывает».

Дочь уж была дома и вышагивала по центру гостиной в коротенькой джинсовой юбке, темных колготках и отменных на вид сапогах почти до колен и на средней высоты каблуках. Лера и Игоша сидели на диване и комментировали. В общем-то благожелательно.

— А тебе, пап, как кажется? — И Маша, повернувшись к отцу, явственно подмигнула, как соучастнику возникшей между ними тайны.

— Хоть сейчас под венец.

— Да-а, хорошо бы, но за кого? За дебилов нынешних? Нет, я бы замуж вышла только за тебя, папочка, но, увы, должность эта занята. А отбивать — совесть не позволяет, все-таки мать...

— Ты, Машка, говори, но не заговаривайся,— встала с дивана Лера,— шла бы в драмкружок в бывшем Доме пионеров. Все, снимай свои ботфорты и пошли обедать.

За замечательно приготовленным обедом сапоги были обмыты главой семьи графинчиком «старки». После чего Геннадий отправился к себе обдумывать полученное задание, прилег на кушетку и некрепко задремал. Проснулся, видно организму спать надоело. В отсвете гостиного света через отворенную дверь на настольных часах отметил время: начало девятого. Встал с кушетки, в полутьме комнаты подошел к окну, еще незашторенному: на ярко освещенной улице достаточно многолюдно, со стороны двора, огибая дом по крыше, доносился треск петард — пацаны изводят родительские деньги, помогая китайским кустарям-пиротехникам. От стекла окна холодило разыгравшимся под ночь морозом. А в комнате, в квартире приятное, духмяное тепло. И на душе тепло и покойно. Настоящий семейный день. И особенно вечер. И Лера сегодня и всю неделю в кимоно — тайный для непосвященных знак апофеоза их давно устоявшейся, но вечно молодой и страстной любви.

Вышел в гостиную, также скупо освещаемую лампой на Лерином столе и экраном телевизора, единственные зрители которого — Сократ и Машка-старшая — чинно лежали рядком на диване, вытянув хвосты и немигающими, заинтересованными глазами с

расширенными по малому свету зрачками смотрели на жесткоусого Станислава Бэлзу, рассказывающего на малую же громкость по «Культуре» о перипетиях любовного треугольника Шуман — Клара Шуман, его супруга — Иоханнес Брамс. И Геннадий со сна заинтересовался, остановившись посредине комнаты. Вот не знал, что оба великих немецких композитора, почитателем которых, как меломан, он являлся, оказались в такой межличностной связи? А Бэлза своим бархатным голосом все продолжал: как Шуман сошел с ума, бросился с моста в Рейн, а друг его Брамс устроил его в лучшую психлечебницу, где бедолага и пробыл до своей кончины. Но и Брамс подкачал: так и не решился жениться на вдове, на Кларе — при всей их взаимной приязни, а вместо этого за десять лет одну за другой написал четыре великолепные симфонии, завершив ими грандиозную эпоху венско-германской музыки.

«Чудны дела твои, господи,— пробормотал Геннадий,— а где же все остальные? Неужели на дискотеку ушли?» — И здесь Бэлза сделал паузу, а со стороны кухни донесся не менее характерный голос Леры, что-то весело рассказывающей. Двинулся в сторону кухни, где его ждала словно гравюрная картина, сошедшая со страниц дореволюционной «Нивы», под названием «Семейное счастье». Заняв почти всю площадь разделочного стола, Лера, уже в кимоно, раскатывала пласт теста для большого, во весь противень, пирога. А за маленьким, скорообеденным, как его называли, столиком сидели дети: Маша в Лерином шелковом халатике в кресле и Игоша на табуретке. Они отковыривали панцири от уже сваренных креветок, лежавших горкой в блюде, а очищенные клали в тарелку поменьше. Самое занимательное состояло в том, что Маша так и не сняла сапоги и колготки, а рядом с креветками на столике лежала ополовиненная плитка шоколада, от которой они оба время от времени отламывали измазанными креветочной икрой пальцами квадратики и отправляли в рот. Лера же, раскатывая тесто, увлеченно рассказывала содержание «Синей птицы» Метерлинка, с массовки в которой она начинала свою актерскую деятельность. На вошедшего Геннадия внимания никто не обратил, что его обидело:

— Это что за порнография?

— Пусть, пусть,— вступилась Лера,— обувь надо дома

разнашивать, чтобы в первый же выход мозоли не набить. Не мешай нам, дорогой, иди, выполняй задание, а как пирог будет готов — позовем.

Геннадий ухмыльнулся, еще раз взглянул на дочь, которая, исключая распущенные волосы, уже являла копию Леры, и, обреченно махнув рукой, пошел к себе, попутно взяв подмышки обоих зверей, которых и усадил на кушетку — для компании. Присел к столу, раскрыл свежую тетрадь писчего формата, взял в руку «паркер» и начал письмо первое.

* * *

ПИСЬМО К ВЗРОСЛЕЮЩЕЙ ДОЧЕРИ

Дорогая мне и всем, кто тебя любит, Маша! Впрочем, не любить тебя невозможно. И по определению дочери, и по твоему подобию твоей матери, идеальной женщине применительно не только к нынешним, но всем предшествующим и будущим временам. Такой ее воспитали бабушка Виктория Ильинична и мать Инна Васильевна. И наша сверхзадача, прежде всего твоей мамы, сделать из тебя ее подобие по чертам характера, достоинствам ума, красоты. Кстати, длинные распущенные волосы тебе пока идут, но уже через год-другой тебе будет нужно в этой части найти свой имидж. Думаю, что мама тебе поможет; возможно, нелишним будет и мой взгляд — не «со стороны», но по доброжелательству.

Сейчас у тебя сложный, переходный период, и как ты его переступишь,— так во многом определится твой последующий жизненный путь. Особенно учитывая твою начинающуюся женственность. С мальчиками в этот период и проще, и сложнее, но для них достаточно выдерживать логику воспитания. А для девочек первостепенен личный пример матери и мудрая позиция отца. Причем этот пример и эта позиция объединяются в достижении цели полной гармонией, объектом притяжения и приложения которой являешься ты, моя дочурка. И эта гармония «работает» на благую цель только в том случае, если ты поостережешься выказывать свой подростково-юношеский максимализм. Проще говоря: не ревнуй мать к отцу, а то там, в вашей школе, вас активно зомби-

руют всякие «валеологи» и «планировщики семьи», подзуживая придуманным сумасшедшим Фрейдом Эдиповым комплексом. Вообще говоря, современную школу надо разогнать, отправить на швейную фабрику учительш-соросовок, детям устроить внеплановые каникулы, а потом заново открыть, но с учителями в мундирах, как в царской гимназии, и с советскими программами обучения.

Не ревнуй! Впрочем, за идиотскую эту ревность мама может и ремешком пройтись по твоей попе, за, так сказать, формами которой ты следи и меньше мучного и сладкого ешь. Не ссылайся при этом на введенную повсеместно извращенцами и транснациональными компаниями по производству джинсов, к сожалению, устойчивую моду на объемные зады женщин в возрасте от несовершеннолетнего до сорока. Слава богу, после сорока нормальная женщина сама спохватывается, садится на диету... но уже поздно. Здесь я подхожу к животрепещущей и зловреднейшей теме «тусовки».

Тусовка — великое в своей пакости изобретение западного общества потребления, куда сейчас насильно встраивают, не без успеха, нашу страну, наш народ, который мой московский друг, поэт Олег Кочетков образно и метко назвал «последним народом».— В смысле: это последний на земле народ, который еще не до конца превратился в биомассу, лишенную всякой индивидуальности, предназначенную только для жратвы химически произведенных фастфудов, бесконечной покупки ненужных им предметов, безудержного накопления денег, которые им самим лично и не нужны вовсе... и еще кое для чего, о чем умолчу, щадя твой малый возраст.

Принцип тусовки ты сама наблюдаешь на каждом шагу, исключая, быть может, только наш дом и дома мало-мальски мыслящих людей. Например, Енукидзе и Яцышена, которых ты знаешь по гостеванию у нас. Не смотри, что каждый из них выпивает за вечер по *0,75* литра водки; это они расслабляются на фоне всеобщего идиотизма; это про них народная мудрость: «Пьян да умен — два угодия в нем».

...Я несколько отвлекся. Вот простейший вариант действия тусовки. Допустим, пришел в школу твой одноклассник, князь Сашка Айзумян с новым мобильником — другим дьявольским изобретением общества потребления — ценой *14999* рублей. И баронесса

Лина Ципперинг тоже накануне получила от своего дяди-барона, что приехал погостить из Брайтон-Бича, новый мобильник, но за *14899* рублей. И что теперь произошло в классе *9* «*а*»? Правильно, с этого дня Сашка-князь у вас авторитетом. Пока Лине другой дядя, из Одессы, не подарит мобилу на сто рублей дороже Сашкиных. Вот тогда и Лину коронуют в классные авторитеты.

То же самое и в отношении джинсов, сапожек и прочего «прикида». Компьютеров, конечно, тож. И личных банковских счетов родителей, степени престижности их квартир, домов, коттеджей и вилл, должностей и прочего.

Но самое страшное не в этом. В школе тусовка, в разумных пределах, конечно, допустима и социально-биологически, так сказать, оправдана. Во всяком случае, неизлечима. И мы в свое время в школе похваливались редкостными тогда джинсами: «левисами» и «монтанами», что покупали у фарцовщиков. Кстати, очень качественными, в Европе пошитыми из настоящего хлопка, а не пластмассовым дерьмом нынешним, изготовленным на Суаньчжоуском комбинате фенолформальдегидных смол, Китайская Народная Республика... Но все было именно в меру. А в сталинские и раннехрущевские годы вообще полагалось носить школьную форму — полную копию царских гимназистов. Это мне родители рассказывали. Так что и вовсе никакой тусовки не было. Один только ее вариант, правда, самый полезный, был: соревновательность в учебе и общественной жизни школы.

...Опять, дочурка, отвлекся. Так вот, самая подлость тусовочного принципа — ее распространение на все сферы жизни, причем, в самых нелепых, уродливых и прямо вредных здоровью проявлениях; вредные и с позиций нравственности: эти огромные, нарочито отращиваемые зады, демонстративно обтянутые джинсами, еще кое-что так же демонстрирующе обтянутое; эти же зады, до половины сверху обнаженные, голые талии и тазы, торс почти до грудей... Даже в первые морозы девицы и дуры постарше по улицам так разгуливают. Все началось с обезьяннического подражания эстрадным безголосым певичкам — голоса нет, так хоть телом полуголым публику удержать,— но те в тепле приплясывают и задами вертят, а эти-то чуть ли не в мороз! И очень быстро ста-

ло тусовкой: «Ах, ты, Катька, юбку всего лишь до середины бедер носишь, пупок и все что вокруг и пониже не открываешь, значит там уродство у тебя какое-то!» Глядь, назавтра проплакавшая всю ночь от обиды, строго воспитанная Катерина приходит в школу или в университет всего с двумя полосками ткани на теле: набедренная повязка шириной пятнадцать сантиметров и на неокрепших грудках чуть поменьше... Сработала тусовка!

Распространено среди таких голопопопузых мнение, что таким видом мужики конкретные, при деньгах «заводятся». Увы, от постоянного мельтешения перед глазами этих голых частей тела у мужчин... впрочем, это тебе тоже рано.

Дальше — больше. Принцип тусовочный победно шагает по стране, по всему миру, исключая пока мусульманский традиционализм. Машины, вовсе не нужные 90 % их владельцев, миллион или миллиард на личном счету — все это тусовка, организуемая по принципу уголовной шайки.

Чем взрослее ты будешь, Маша, тем сильнее окружающая потребительская среда станет затягивать во всеохватывающую тусовку. Но ты не поддавайся, ибо при всех ее соблазнах и угрозе того, что вне тусовки ты изгой, помни: в тусовке человек винтик, лишенный личной свободы и права голоса, а вне ее — ты личность. А быть личностью — это самооправдание жизни человека.

С тусовкой очень тесно связана жажда накопительства. Запад поражен ею со времен реформации католической церкви: с Лютера и особенно Кальвина, а для нас это опять диковинка, на которую клюнули прежде всего женщины, как слабый пол — слабый, ты не обижайся не меня, в смысле логики мышления и биологически обусловленной жадности. Исключений здесь мало и образец таких исключений — твоя мама и весь ее по восходящей и, надеюсь, по нисходящей — через тебя — род. Таких женщин, равно как и мужчин, не более семи-восьми человек на сотню.

Итак, с приходом изначально криминального капитала в Россию, а сейчас сросшегося с предельно бюрократизированной властью чиновников-взяточников, возрожденный искусственно инстинкт накопительства ради самого процесса накопительства стал основой, императивом — говоря по-научному, стиля жизни совре-

менных людей в России. Повторюсь: наиболее сильно этот возрожденный инстинкт ударил по женщинам, как наиболее слабому звену. Они не виноваты в этой слабости, тем сильнее этот удар сейчас корежит их судьбы и делает жизнь мучительной.

Маша, остерегайся быть пораженной этим недугом, ибо это прямой путь к безмужеству, поскольку миллионеров на всех явно не хватает. А если нет возможности для подавляющего большинства женщин этим путем удовлетворить инстинкт накопительства, то на сцену жизненного действия выступают явная и замаскированная проституция, угодливость и подлость, и так деле вплоть до примитивного воровства. Самое главное — деньги-то женщине, как таковые, вовсе не нужны, исключая, так сказать, прожиточно-косметический минимум. Женщине нужна семья, семья с мужем, но никак не карьера и, особенно, деньги. Ибо за деньги, коль они появились тем или иным путем, детей и мужа не купишь... если только альфонса (если сама нечетко представляешь значение этого слова, то спроси у мамы: в театре альфонс — одна их хара́ктерных ролей).

Подходим к самому главному для взрослеющей девочки-подростка. Это о тебе, Маша. Как вести, как держать себя с представителями противоположного пола? Понятно, о взрослых мужчинах рано задумываться; речь пойдет о мальчиках, юношах, словом, сверстниках. Как знакомых, так и не знакомых в различных ситуациях общения.

Как современные подростки, девушки и относительно молодые (до 35 лет) женщины смотрят на встречных мальчиков, юношей и мужчин вообще — без ограничения возраста? Смотрят свысока, изображая полное равнодушие и даже презрение. Очень часто демонстративно фыркают. Как и все остальные, этот массовый стереотип пришел с телевидения, из идиотских телесериалов для массового дебила, то есть почти для всего населения страны победившего эрзац-капитализма. И как всегда, этот имидж взят с проституток, главных героинь нашего времени, заменивших комсомолок, учительниц и врачих советского кино.

Типовой образ и профессиональные навыки этой древнейшей профессии сложились еще в Древнем Риме. С тех пор неизменны. Основной рабочий их метод подчиняется принципу «холодно —

жарко». То есть до того момента, как она, так сказать, начнет работать с клиентом, жрица любви изображает на своем лице и в манерах этакую холодность, полное пренебрежение к мужчинам. Это его несколько обескураживает, но он-то знает, что наедине, при условии предоплаты, конечно, ни в чем отказа ему не будет. В рамках оговоренного прейскуранта, конечно. Это и есть названный принцип.

Поэтому-то уже более десяти лет, как на улицах городов и сел страны исчезли улыбающиеся девушки и женщины. Остались только смотрящие с вызовом и фыркающие. Маша! Улыбайся чаще, хотя, конечно, сейчас улыбающуюся девушку могут принять за пьяную, а женщину и вовсе за дуру. Уточни этот момент у мамы. Насчет улыбок.

Уже сейчас, дочка, задумывайся о выборе будущей профессии. Здесь важно, чтобы в ней сочетались востребованность, определенная финансовая независимость, самодостаточность, женская адаптация. А главное — желательно, чтобы она имела творческий характер и реализовывала природные задатки. Модные ныне торгово-воровские и бандитско-милицейские экономисты-юристы — полная чушь и принцип тусовки. Во-первых, никакой экономики в стране нет и не будет в обозримом будущем. В лучшем случае эти «экономисты» будут составлять всякие ведомости и отчеты для налоговиков в крохотных фирмочках, торгующих гнилыми бананами. Во-вторых, женщины-юристы даром никому не нужны. Опять же в лучшем случае они будут перекладывать со стола на стол бумажки в прокуратуре или суде, а чаще всего при ментовках, пока молоды и смазливы, служить подстилками милицейским чинам от старлеев до похотливых полкашей.

Избави тебя, Машенька, бог ориентироваться на работу «офисной креветкой» или «манагером», это не жизнь, а биологические существование, ибо пресловутая корпоративность офисников — это не человеческий коллектив, а замкнутый муравейник, точнее, паутинник, паучник.

Если проявится талант, то ни на минуту не сомневайся, дерзай по указанному природой пути. Только посоветуйся с мамой и со мной. Если, увы, не проявится, во что я не верю, то становись

врачом. Только не зубным или фармацевтом; там круговая порука по выбиванию из людей денег. Школьной учительницей не рекомендую. Контингент не тот, опять же женский коллектив... Здесь другой характер надо иметь — и все одно большая вероятность остервозиться. Потом у учительниц (не у мужчин-учителей!) со временем происходит сдвиг мотива на цель, а попросту говоря, школа начинает им заменять собственную семью. Избави бог идти в вузовские «преподы», как сейчас говорят. Ни денег (хотя из них и не следует делать культа), ни уважения со стороны стуозусовлентяев, хамов и прохиндеев. В социальном плане современный профессор и доцент — самые презираемые в общественном мнении масс-медиа люди. Значит, это кому-то надо. Надо искоренить науку и образование в стране, поэтому удар верен: по высшей школе, по «преподам»! Здесь, Маша, маму спрашивать не надо — я сам на этой кухне верчусь.

И под конец первого письма поговорим о внешнем виде подростка-девушки. Никакой косметики; это вредно для молодой кожи лица, а главное — обезличивает ее: все становятся похожими друг на друга, как креветки в пироге, что сейчас печет мама. В одежде, чтобы опять же не стать креветкой, должны сочетаться индивидуальность и умеренная... гм-м, об этом тебе мама расскажет более педагогично. Старайся все же с голым пупком не ходить.

В последующих письмах будут подробно разбираться все те тезисы, что сформулированы выше. А пока, моя дорогая дочь, прочти написанное со вниманием, а по всем возникшим вопросам обращайся ко мне, но лучше к маме.

Провинциальный сочинитель Кулачный, не умея ничего делать, кроме как писать книги о любви и трудовых буднях, в новейшие времена потерял источник дохода и бедствовал на мизерную пенсию. Хорошо, дети выросли и определились, а супруга мужественно переносила тяготы быта. Махнув рукой на моральные предрассудки, решил он продать бессмертную душу дьяволу. Сказано — сделано, тотчас прибыл Мефистофель, подписали они кровью договор об уступке авторских прав, сделал обитатель преисподней магический жест над головой Кулачного и — был таков. На другое утро сочинитель позвонил по указанному в договоре номеру телефона, узнал адрес и вышел из дома. Денег на транспорт не имелось, потому дорога оказалась дальней, располагающей к тягостным размышлениям. «Да-а, вот и ты, Брут, продался дьяволу, будешь, наверное, писарем у сатаны, когда он прилетает в командировку в наш город... А может, заставят доносы на честнейших и милейших людей сочинять? Нет, лучше уж предвыборные листовки и газетки-однодневки для партии темных сил тискать. Интересно все же — почему в договоре конкретная работа не прописана? Эх, дал я маху! Вот и нужная улица, ба, да это в самом центре. И номер дома что-то слишком знакомый...» И остолбенел, подойдя к нему, вывеска гласила: «Редакция газеты «Ганимед» (орган союза сексуальных меньшинств).

Мирно беседуют два профессора философии о смысле жизни, цитатами из классиков друг друга угощают. Любо-дорого со стороны посмотреть: ни водки им с висками, ни баб налитых не нужно, только дай чужими мыслями из пыльных книг пощеголять.

Можно и по-другому повернуть: увлечение философией отринает в человеке все мелкое, суетное, корыстолюбивое и вообще богопротивное, а все мысли и слова сосредотачиваются исключительно на высших материях. И все же вкупе оправдывает само существование человека разумного.

Но в любом из этих вариантов всегда недовольны дородные супруги философских профессоров: в доме мало мебели и денег, а главное — нет уважения соседок-сплетниц. И дети в жизни кое-как пристроены, ибо не дал им папаша стартового капитала. Без этого же даже торговлей бананами не займешься.

Однако здесь коса на камень нашла. Женское недовольство мужьями питается исключительно реакцией последних на это дело. А с философа здесь как с гуся вода: ко всему философски же относится. Здесь они берут пример с Сократа, у которого жена была злющей-презлющей. А он мимо ушей все пропускал и стал главным философом всех времен и народов.

Махнут жены на них руками, а те и рады продолжить бесконечный разговор, ибо у каждого в квартире под две тысячи томов философских сочинений.

Глава сорок первая.
ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ АПОЛЛОНА — ДИОНИСА И МЕЛЬПОМЕНЫ

И, наконец, когда страсть, накопившися
в жилах, прорвется,
То небольшой перерыв наступает в неистовом
пыле.
Но возвращается вновь и безумье и ярость
все та же,
Лишь начинают опять устремляться
к предмету желаний,
Средств не умея найти, чтобы справиться
с этой напастью.

De rerum natura, книга IV, ст. 1115—1119

С удовлетворением поставив точку в письме № 1, Геннадий вдруг опомнился: «Господи! Для кого же это я писал? Нет, не быть мне Честерфильдом». Решив упрятать тетрадь подальше от глаз всех, он нагнулся и выдвинул самый нижний, «долгий» ящик стола, но что-то заело, а ящик застопорился... В этот момент теплая, слегка пахнущая креветками ладонь легка на его плечо. Геннадий поднял лицо на бесшумно вошедшую Леру. Ее же лицо выражало некоторую задумчивость и рассеянность.

— Ого, уже первое письмо написал! Молодец. Знаешь, с пирогом *задержка* получается. Я в самый последний момент, перед посадкой в духовку позвонила Верке, уточнить чем горячий посыпать, а она мне: ой, дескать, забыла, Лерочка, главное сказала днем: выпекать надо при самой малой температуре часа полтора. В этом весь смысл. Так что сейчас без двадцати одиннадцать, а в одиннадцать ровно приходи к готовому.

— А ребята как?

— Игоше компенсировала конфетами и отправила спать, а Машка смотрит какой-то сериал, вроде о любви милиционера и

проститутки, но пирог есть не будет на ночь, боится потолстеть... верста коломенская. Да и наследственности здесь у нее нет никакой. Ну, господь с ней.

— В сапогах смотрит?

— Нет, сняла. Ты пока чем-нибудь займись, а я пошла за пирогом досматривать и заодно тетрадку твою почитаю.

— Но там...

— Не суетись, сама разберусь. А к пирогу тебе графинчик. Спать будем здесь.

— Постой, постой, какой графинчик? Ты что — раздумала? Сама велела неделю воздерживаться. И что это ты какая-то недоуменная?

— Потом все объясню. Я пошла.

Теперь недоумевал он. Прилег на кушетку, взял в руки недавно купленную книгу Гурджиева «Беседы Вельзевула с внуком», увлекся, даже на какое-то время забыв о странностях Леры.

— Гена-а, иди на кухню,— вернул его к реальности отдаленный голос Леры.

Проходя через гостиную, мельком посмотрел на сидящую на диване с поджатыми ногами дочь и на экран телевизора. На него никто не посмотрел. «Сеанс зомбирования»,— пробормотал он. А на кухне под тихую мелодию из приемничка Лера, сама подмурлыкивая, любовалась большим пирогом, выложенным уже с противня на поднос; другой посуды под него не подобралось. Сложный, чуть резковатый, но очень аппетитный запах заполнял всю кухню.

— Хорош, да? Маш, может съешь кусочек горячего,— выглянула в дверь Лера.

— Нет, мам, не мешай смотреть.

— Ну, была бы честь предложена. Садись хоть ты и возьми графинчик из холодильника.

Лера нарезала с одного края треть пирога тонкими длинными полосами, разложила по двум тарелкам. Налила мужу рюмку коньяка, чуть подумав, себе наперсток капнула.

— Давай чокнемся. Вот так. И поцелуемся, а то потом креветками буду пахнуть.

Лера съела полоску пирога, сама себя похвалила, кивнула на

положенную на крышку холодильника тетрадь:

— А знаешь, ничего. Пиши и дальше, особо слов не выбирая. Как первую тетрадку допишешь, дашь ее мне. Я переведу на нормальный, разговорный язык и буду давать читать Машке — с приемом от нее зачета. Потом издашь отдельной книжкой.

— Нд-а, а что это ты вроде как мыслями далеко от пирога и нравоучительных писем? И пить мне разрешила.

Лера потянулась рукой к маленькому карманчику кимоно, достала обычный календарик, протянула мужу:

— Посмотри-ка внимательно этот календарик за прошлый год. Надеюсь, назначение его с отмеченными мною крестиками-ноликами понятно. Кстати, помнишь, что и Машка недавно такой же завела?

— Как, Машка? Ей-то зачем?

— Да не за тем, конечно; просто наша семейная гинекология рекомендует первый год отслеживать циклы. Надеюсь, конечно, что у нее по моей наследственности не только дни, но и часы можно будет проверять. Ладно, не отвлекайся, смотри на даты ноября-декабря. Ничего странного не замечаешь?

Геннадий посмотрел и захохотал:

— Ну и искусники, ну и кустари-одиночки с мотором! Ведь даты и дни недели полностью совпадают и вообще, как мне помнится, никакого отношения ни к ноябрю, ни к декабрю прошлого года не имеют.

— Вот-вот, именно что не имеют, а я по ним отмечала свои девичьи дела...

— И что, моя дорогая девочка, не могла подвох усмотреть?

— Знаешь, когда это делаешь четверть века, извиняюсь, но будем считать — со дня нашей первой встречи; дай я тебе поцелую... Так вот, появляется автоматизм, ориентация только на числа. Вот и попалась.

— Это в каком смысле?

— В том самом. Я тебе потому неделю отводила, что вчера вечером мой часовой механизм должен был сработать, а через эту самую неделю задуманное осуществить... Время пойдет. А суточной *задержки* у меня никогда не было. Вот я и посмотрела на ка-

лендарик; все стало понятно. Понятно, что на днях покажусь нашей гинекологине, но на сто процентов по состоянию организма уверена. Так что, мой милый, я тебя поздравляю с внеплановым, так сказать, а сентябрь на август переносится, что тоже неплохо. Не забудь поблагодарить хозяина ООО «Бобрус-Инвест», как значится на календарике. Кажется, ты у них что-то печатаешь для института?

— А-а, вот шельмец, Витька Боборыкин! Ну, я ему прямо сейчас, небось не спит еще, водку пьянствует по-праздничному, позвоню и все выскажу.

— Все не надо. Говори и возмущайся по факту, например, из-за его полиграфбрака бухгалтерия «твоей» конторы заново переделывает годовой отчет.

— Не учи ученого.

— А меня поздравить и поцеловать? Вот так-то. Считай сегодняшний день началом нашей с тобой второй молодости.

Геннадий вышел в прихожую, затворив за собой дверь, чтобы не мешать Машке досматривать слезливую историю про милицейско-куртизанскую любовь-морковь.

Когда через пять минут Геннадий вернулся на кухню, то Лера уже тихо смеялась, повторно листая злосчастную тетрадь:

— Слушай, а вообще-то складно получилось. Я всего самую малость поправлю. Только твои намеки на толстую попу у Машки уберу. Все у нее в норме, а эта видимость; во-первых, остатки обычной детской пухловатости; во-вторых, она сейчас очень быстро вытянулась, что нарушило пропорции. Ну что твой Боборыкин?

— И смех, и грех. Он уже уволил двоих: дизайнера-макетчика и печатника. Из городской администрации звонили еще в декабре, грозились похлопотать насчет лишения лицензии. А какой-то фирмач исковое заявление в суд подал, ссылаясь на убытки, проистекшие из-за неправильно проставленной на контракте даты. Самое интересное: две женщины, как и ты жертвы, звонили и угрожали его алиментщиком сделать. Тоже по суду.

— Надеюсь, ты, как враг частной собственности, тоже с Витьки гешефт поимел?

— А как же. Отпечатает задарма, в разумных стоимостных

пределах, конечно, учебное пособие для института. Как раз тебе, если не на шубу новую, но на что-нибудь укороченное из норки хватит.

— Чем же его запугал?

— А я и не запугивал. Сочувствовал даже. Сын его в университете учится и мне экзамен в эту сессию сдает.

— Да-а, мой любимый и заботливый ты наш, а еще коррупцию изустно, письменно и печатно не устаешь обличать.

— Чего не сделаешь ради такой же любимой и заботливой! Опять же государство наше живет не по законам, а по понятиям. Братковский же принцип: если барыга, то делись с малоимущими. Ладно, посмеялись и... слушай, я возьму графинчик и пойдем спать на кушетку.

— Нет, я развеселилась и другую диспозицию предлагаю.

* * *

— Значит так. Надо нам новогоднее празднество продолжить и отметить все скопом: следствие календарной ошибки, гипотетическую норковую шубейку, глядишь, и до шубы дорастет... А также начало второй молодости, начало опять же твоей «Педагогической поэмы», Машкины сапоги, креветочный пирог. А главное — ты давно не водил меня в ресторан, тем более в ночной. Возражения не принимаются, ибо это уже демократия, а ты сторонник тоталитаризма. Далеко не пойдем — через дорогу в «Барсучью нору». Бывал там?

— Да как-то забрели с...

— Понятно. С Енукизде и Яцышеным. Что там за публика? Твой любимый средний класс, очевидно?

— Знаешь, раньше, если внимание обращала мимо проходя, там располагалась пивная «Толстяк Мюллер», где обреталась на ночь глядя братва. Это лет десять назад было. Ну, а им по роду избранной любимой профессии особо нажираться, извиняюсь, напиваться, нельзя, вот они и баловались там пивком, чтобы утром как штык на трудовые будни быть-стать. Девок своих и чужих туда захватывали; не платных, а именно своих. Словом, корпора-

тивные вечеринки-ночнинки.

К началу этого самого «миллениума», как сама прекрасно знаешь, авторитеты перешли в класс легальных хозяев жизни, а их братки-приказчики в предприниматели, депутаты народных хуралов. Один из них к тому времени захватил «Мюллера» и, учитывая, что теперь коллегам пить можно, а бывшие братки люди простые и сентиментальные ностальгически, перепрофилировал в ночной ресторан с русской кухней. И состав публики расширился, учитывая...

— Все, достаточно, сфотографировала.

— В смысле,— Геннадий поднял уголком правую бровь.

— Я для того и поинтересовалась, чтобы выбрать свой и твой имидж. В одежде, конечно. Та-ак,— Лера поднесла указательный палец к губам,— значит, ты наденешь кожаный пиджак, кремовые брюки и такой же тонкий свитер «под горло». А я сама соображу что. На сборы десять минут, включая мой макияж.

Увидев засновавших по квартире родителей, как-то быстро принарядившихся, Маша, уже выключившая телевизор, отчаянно зевающая на пути в свою полукомнату, поинтересовалась:

— Куда это вы на ночь глядя намы... собрались?

— В ресторан напротив. Ты за старшую с тремя подопечными остаешься. Иди и спи, но — чутко! Хотя Игошу до дести утра и пушкой не разбудишь. Как и тебя. Если только царь-пушкой, но она не стреляет. Иди, не мешай мне краситься.

— Ладно, мам, много не пейте.

— Брысь!

Уже выходя из квартиры, Геннадий искоса взглянул на Леру в мутоновой шубе:

— Там уже, судя по градуснику за окном, под десять мороза. Одень что-нибудь на голову.

— Кость не мерзнет. По крайнее мере на таком пути. Пошли к заматеревшим браткам.

Выйдя из подъезда во двор и направившись к дальней арке — прямо через дорогу напротив «Барсучьей норы» — под редко посыпавшимся снегом, Геннадий, заприметив в беседке их дворника, гастарбайтера узбека Назимова, судя по прислоненной метле убиравшего вечерний снег, привычно поздоровался. Тот, веселясь

бодрой погодой, улыбнулся под фонарным светом:

— Здрасьте, здрасьте Генаборисыч!

Геннадию почудилось, что говорят двое в унисон. Он чуть приостановил Леру и всмотрелся в беседку, очень удивился: рядком с Назимовым сидел хорошо ему знакомый дворник, работавший уже пару лет во дворе дома Енукидзе:

— Селим! Ты что, в наш ЖЭК перешел?

— Нет, Генаборисыч. Я свой участок уже расчистил и зашел к земляку с новыми годами поздравить. Мы с Назимом из одной кишлака ведь.

— Ну-ну, а мы вот погулять вышли.

— Селим, привет Нине-ханум от ханум Леры завтра передавай,— и Лера, засмеявшись, помахала тоже ей знакомому дворнику Кизилову рукой в перчатке.

Встреча со знакомым Лере и Геннадию дворником Кизиловым, у которого имелись сложные отношения с доцентом Енукидзе, на пьяное появление которого непьющий узбекский гастарбайтер нередко жаловался Нине-ханум, особенно развеселила Леру. Тем более, что с позапрошлого года Нина-ханум работает в бывшей спецполиклинике медсестрой в гинекологическом кабинете.

— Вот ты, мой дорогой,— дурашливо щебетала Лера, по-девичьи прижимаясь к мужу, повисая на его руке,— в житейскую мистику не веришь, только в свою виртуальную реальность, а вот сегодня как раз начались совпадения, и все имеющие отношение к моей... нет, конечно, к нашей «нечаянной радости», как говорят в плохоньких пьесках. Во-первых, собственно беременность выявилась. Во-вторых, Кизилов на нашем дворе объявился, чего раньше не было, а через него связь по цепочке: дворник — Енукидзе — Нина-ханум — гинекологический кабинет, куда мне на днях визит предстоит. Поскольку же бог, или как вы с Яцышеным называете его фундаментальным кодом Вселенной, троицу любит, то не удивлюсь, если в «Норе» еще какого-либо причастного сбоку персонажа встретим.

Геннадий хмыкнул, а тепло тела Леры, прижимающейся к нему, проникающее даже через ее шубу и его пальто, вызвало сожаление: куда тащиться? Сейчас бы на кушетку нашу знаменитую... как это у поэта: «Для возлюбленных каждая ночь новобрач-

ная». Вроде так, хотя рифма у меня получается сомнительная.

Уже перейдя не по правилам улицу и на подходе к «Барсучьей норе», Лера спохватилась:

— Слушай! Надо же было из дома позвонить и узнать: есть ли свободный столик на двоих? Тем более праздник в разгаре!

— Не бери в голову. Тебя и братки знают, у них сейчас второй этап периода первоначального накопления, то есть легализовавшиеся воры и бандюганы к высокой культуре приобщаются. И у меня безотказно срабатывает принцип: не имей сто долларов или евро, а имей сто опекаемых студентов. А их у меня за десять тысяч в университете, что все через философию проходят, и полторы тысчонки вообще полностью зависимых в институте им. Женьки. Это я к тому, что у Жорки Самопалова, владельца «Норы», сын и племянница учатся. Поэтому и звонить не стал. Все, спускаемся, осторожно — здесь ступеньки нестандартные, а лестница крутая...

— Ох, как я люблю эту мужскую заботу, когда она совершенно излишня! Тем более, что я и на девятом месяце на шпильках за троллейбусом пробежаться могу.

* * *

Лера никогда не ошибается. Эту домашнюю истину Геннадий уже давно полагал непреложной и обсуждениям не подлежащей. Поэтому почти и не удивился, когда ее предсказание о любви Всевышнего к троице сбылось даже не в «Норе», а едва только Лера, произнеся язвительную фразу о лицемерии мужской заботы, протянула правую ногу в ботфорте на высоченном каблуке, готовясь поставить ее на первую сверху лестницы ступеньку.

— Эй, ребята, нас-то подождите,— звонко в тишине полуночного города, разреженной уже ощутимым морозцем, со стороны улицы, отделенной от дома тротуаром и нешироким палисадником, прозвучал... голос Женьки.

Оба разом посмотрели влево, на дорогу: на ближней обочине, подрулив впритык к оградке палисадника, только-только и резко затормозила знакомая Женькина машина — его любимый «городской трактор» с двумя рядами фар на крыше, наследие полу-

бандитских времен его хозяина, который тот ни за какие коврижки — от Зинки — не хотел менять на нынешние фишки навроде «бентли» и самых крутых «меринов» и «феррарей»!.. И вообще Женька любил вполне искренне повторять: не случись такого бардака в стране, он бы, как герой старозаветного анекдота, на работу ездил в трамвае, к любовнице ходил в соседний подъезд пешком, а за границу выезжал только на танке *Т-90*... «С активной защитой брони, конечно»,— добавлял он рассудительно.

— Стойте где стоите, ни шагу вперед без нас! Уволю без выходного пособия,— орал дурашливо Женька, сам уже выбравшийся из распахнутой двери лакированного джипа и за руку вытаскивая кутающуюся в длинной шубе и за что-то внутри цепляясь такими же, как у Леры, но только белого цвета ботфортами-лосинами на высоком каблуке Зинаиду.

Геннадий, попридержав инстинктивно было шагнувшую на ступеньку правой ногой Леру, сделал рукой отмашку. Дескать, слышим и видим. Женька-таки вынул Зинку из машины, невнимательно сделал рукой круговой жест водиле, показывая, что припарковаться можно за домом, во дворе, прямиком, через палисадник, ведя за собой все путающуюся в шубе супругу, скорым шагом двинулся в сторону Геннадия и Леры. Джип неспешно тронулся и начал делать разворот в проулок со стороны торца дома с «Норой». Менее броская, но явно намного более дорогая машина с дармоедами, как Женька называл своих охранников, впритык следовала за хозяйской.

Лера расцеловалась с Зинкой, а достаточно пьяный Женька, обняв приятеля, потерся своей щетиной о его. Эту, пришедшую еще с начала девяностых годов в новый век «трехдневную щетину» *a la* Абрамович, Женька имел на лице по причине принадлежности к классу-гегемону, а Геннадий — потому что Лере так нравилось.

Женщины, отойдя на шаг о входа, тотчас затеяли разговор по интересам, а Женька, достав из кармана широкополого пальто початую пол-литровую бутылку «Наполеона», протянул ее Геннадию...

— Уф-ф, минутку постоим на свежем воздухе. Глотни. И я вослед. Мы ведь даже не от бывшей Белокаменной, а из Сергиева

Посада мчимся...

— Что, грехи ездил замаливать?

— Да нет, грехов наших на этом свете не замолишь уже, а иного для атеистов и нет. Зинка на богомолье к Троице велела свозить.

— Это к чему такое рвение души?

— Скорее, тела. Сейчас зайдем в кабак, сама расскажет; вот Лерке, наверное, уже шепчет. И, как обещал по телефону в Новый год, видишь — прикатили: вас навестить, с тобой попьянствовать, маман с теткой проведать. Заодно прихвачу их с собой и отвезу в санаторий под Звенигородом. Специально для них на паях с деловым партнером приобрел недавно. Пусть старушки побарствуют. Давай для разминки еще по паре глотков... а лучше допьем; ведь в кабак со своим пойлом входить нельзя, да? Ха-ха-ха!

— Это все понятно, но почему не позвонил и как вычислил?

— А-а, это все просто. Хотел сюрпризом нагрянуть, уже на проспект выкатились, да Зинка заталдычила, дескать, совсем про время забыл, уже за полночь, а в доме дети... Кстати, наш Сашка в том же звенигородском заведении вместе со всем своим классом на каникулы помещен. Возрождаю, так сказать, добрую советскую традицию зимних пионерских лагерей. Ну да, позвонил тебе на домашний, а трубку Марья свет Геннадьевна взяла и доложила: предки, мол, похиляли в «Барсучью нору»...

— Голос сонный?

— У кого? А-а, у Марьи. Да нет, очень даже бодрый. Видно телик смотрит, в трубу слышны какие-то вопли; наверное, *Дом-2* или какое похожее уродство.

— Вот зас... Ладно, Лере про Машку бодрствующую не говори. Ну что, коньяк допили, разбираем дам и вниз, в логово это.

— Двинули. Девки! Пошли.

* * *

— Итак, господа-товарищи и их дамы, позвольте первый в этом году совместный тост опрокинуть за нашу общую наступившую вторую молодость, символом которой являются твоя, Гена, и

моя жены. Я имею в виду то, что уже является секретом полишинеля — их наступившую бе...

— Тс-с,— змеей зашипела Лера,— Женька! Постарайся об этом факте говорить как-нибудь эвфемизмами. Тут ползаведения друзьяки нашего главрежа. И уже завтра меня в театре хорошо поздравлять будут. А я же хочу сезон в непризнанке доиграть.

— Миль пардон, дорогая и бесценная ты наша. А раз необходима маскировка, то придется тост, надеюсь, друг Гена позволит, закончить по-гусарски: каждый расцелует и шепнет на ухо нужное пожелание. Возражений нет? Ну и славненько, приступаем. Пусть нам все здесь завидуют.

После взаимных поцелуев проголодавшийся с дороги Женька жадно ел пельмени — «коронку» этого заведения. Глядя на него и Геннадий, съевший дома почти треть креветочного пирога, да еще и подбодрившийся коньяком на улице и текилой здесь, почувствовал прилив аппетита и отвалил из большой посудины с крышкой себе на тарелку изрядную горку пельменей. Действительно, пельмени были «от шеф-повара»: тесто замечательное, а начинка по правилам: баранина — свинина — говядина в равных пропорциях. Лера в публичных местах никогда не ела («Я играю роль на сцене,— объясняла она новым знакомыми или случайным интересующимся,— даже здесь, в кабаке»), а Зинка, как сама со смехом призналась, проголодавшись в машине, наелась какого-то фаст-фуда в придорожной харчевне перед Серпуховом. Теперь же она изображала заботливую хозяйку и подкладывала большой деревянной, аляповато расписанной ложкой пельмени мужчинам. Женька не забывал наливать в стопки водку себе и Геннадию. Текилу он приказал халдею «отнести на помойку и вылить, а стоимость внести в счет».

Как и говорил Геннадий, Жорка Самопалов, околачивавшийся у стойки в дальнем конце ресторана, зорко заприметив вошедшего Геннадия Борисовича с роскошными дамами и солидным господином, явно бизнесменом высокого полета, да еще узнав в высокой спутнице приму драмтеатра, мигом отрядил метрдотеля переселить из зальной ниши типа полуотдельного кабинета каких-то купчиков второго разряда с девицами, убрать вместе с ними оба небольших

столика, а из резерва принести дубовый овальный стол и мягкие полукресла.

Пока метр с официантами делал пересценку ниши, Жорка выскочил к гардеробу, поздоровался и, услышав от Женьки про «жрать хочу, давай пельмени», умчался на кухню. Сняв шубы с Леры и Зинки, отошедших к зеркалу поправить прически, мужчины сами скинули пальто, невнимательно бросив их в руки гардеробщика.

— Ты думаешь, это он из-за меня, из-за препода, хотя бы и директора института, которых их братия и за людей не считают, суетится? Нет, он Лерку узнал, благо ее фото, принимающей на сцене цветы от первых лиц губернии, часто в местной «Толоке» появляются. Но главное — он тебя мигом оценил не в одну сотню «лимонов» в валюте. У них, сукиных детей, это профессиональное — тот знаменитый третий глаз на лбу, о котором уже под сотню лет лепят лапшу на уши идиотам. Ладно, девицы наши уже готовы к бою, мы тем более. И подиум, как бы сказала Лерка, готов: вон халдеи скатерку с люрексом и кистью, как на гробу, постелили, подсвечник поставили и приборы раскладывают. Нет, Женька, как я ненавижу эту власть фиктивных «зеленых» над душами человечкиными, но порой вот хочется барином побыть — и чтобы тридцать тысяч лакеев с тебя ворсинки снимали!

— Сам ненавижу, но единожды вступив... Ладно, пойдем пельмени лопать, не все один коньяк жрать, пора и о душе, то есть желудке, подумать.

Лере очень понравилась ниша, к тому же полузакрытая от зала и других таких же уголков и отдельных комнаток с арками новогодней елкой.

— Действительно, подиум наоборот: мы всех видим, а нас почти никто. Та-ак,— Лера чуть призадумалась,— мы с Зиной спинами к стене и рядком, а по бокам, на овалах вот эти небритые личности. В случае драки вам так удобнее будет в бой бросаться, а нас и стол защитит. Тем более, настоящий дубовый, тяжелый. Жаль, что здесь мужики обслуживают, а то бы вам еще удобнее было официанток по заду хлопать. Ну — слишком хорошо тоже

не хорошо. Когда заказывать будете — мне только бокал «асти» итальянского, не французского. И еще заливной язык; он у меня дома почему-то не получается. Хочу на вкус секрет приготовления определить.

Женька, выпив с приятелем по разгонной рюмахе текилы, поморщился, что-то вспомнив, вынул из бокового кармана что-то типа мобильника и положил на стол перед супругой. Геннадий поинтересовался назначением прибора. Зинка засмеялась:

— Это тревожник. Как только мой суверен напьется, или на него более трех человек полезут драться, я нажимаю на кнопку, и через минуту дармоеды прибегут. Собственно, для этого он и таскает их за собой.

Женька хмыкнул и поднял было руку — щелкнуть пальцами. Но к столу уже мчался сам шеф-повар с дымящейся пельменной посудиной и два официанта: один — с переплетенным меню, другой — с картой вин.

«Ах, заграница, ах, Европа!» — восхищенно и завистливо всплескивал руками рядовой советский обыватель, лениво маскирующийся под активного строителя светлого коммунистического далека, — там молочные реки Сена, Темза и Рейн текут в кисельных берегах, улицы там импортным медом навощены, в магазинах двести сортов колбасы и сто сыра. А виски с содовой, пива баварского и бургундского с мозельским — залейся. Вытрезвителей там и в помине нет, как и очередей за чем-либо. Там не генсеки правят, а президенты и королевы английская, датская и голландская. И еще короли бельгийский, норвежский, шведский и испанский. Полицейские там как ангелы во плоти, а для плотских утех масса гостиниц и дешевых женщин. В Европе не дают статью УК за валюту, мужеложество, а кое-где и за наркоту. Там...там-там-та-ра-рам! Хорошо там, где нас нет!

Сейчас у нас все как в Европе, исключая грубых милиционеров, но отчего же не весел заметно постаревший обыватель? Почему активно не строишь светлое капиталистическое будущее? А оттого, что славны бубны за горами, а когда они над ухом гремят день и ночь, то приедается любая мелодия, даже ранее недоступные битлы, роллингстоуны, квины и прочие, ныне тоже сильно постаревшие, назареты...

Вот и подходит к логическому завершению основной сюжет нашего романа. Пора и в параллелях-иллюстрациях прощаться с постоянными персонажами, тож с дворником Кизиловым. Задул холодный среднерусский октябрь, пора ему в кишлак по Турксибу возвращаться, дом свой строить, а то загостился-заработался у добрых душой гяуров. Получил Кизилов в ЖЭК'овской бухгалтерии полный расчет с премиальными, обменял в ближнем банке рубли на доллары, упаковал нехитрые пожитки в кованый сундучок, с которым и приехал сюда. Еще справил себе отменные сапоги — какой же узбек без сапог? И в России их стало трудно найти, а в родных местах и вовсе только китайские из пластмассы на картонных подошвах. Вышел на прощанье во двор, держа по инерции метлу подмышкой, даже по привычке собрал и запихал в карман обрывки газет, валявшихся на газоне. Стоит, задумавшись, смотрит на юго-восток, где его родной кишлак. Сложные чувства в нем: и домой страсть как хочется поскорее добраться, и жалко оставлять беспризорным двор, не видеть больше Нину-ханум, сдружившегося с ним доцента философии Енукидзе, даже пьющую семью из четвертого подъезда... Вовсе надвигающаяся зима не пугает: холодно в России зимой, а... тепло. Сам того не зная, повторил Кизилов слова одного трогательного русского писателя.

Глава сорок вторая.
ДИОНИСИЙСТВО АПОЛЛОНА, ПООЩРЯЕМОЕ МЕЛЬПОМЕНОЙ

Ибо сомнения нет, что душой возбуждается чувство
В теле у нас, а когда усыпленье его пресекает,
То безусловно душа пребывает в смятении наша,
Выгнанной вон из него, но не вся, ибо иначе тело
Вечно б осталось лежать, объятое холодом смерти.

De rerum natura, книга IV, ст. 920—924

— Вот пора пришла и для второго тоста. Ген! Давай на правах принимающей стороны.

Перед этими словами Женька доел все пельмени, что имелись в посудине, а официант закончил сервировку стола по заказу Зинки, все продолжавшей играть роль заботливой хозяйки.

— И зачем столько жратвы заказала? — Женька сытно икнул, извинился перед дамами, но продолжал огорченно качать головой, глядя на тарелки, селедочницы, соусницы, одобрительно только кивая на батарею бутылок разнообразной формы, уставившей середину стола, рядком с цветочной вазой и подсвечником с кадящими свечами.

Геннадий, разливая по стопкам и рюмкам для ответного тоста, ухмыльнулся на слова приятеля. Со студенческих лет он прекрасно знал эту черту его характера, явно унаследованную — Женька сам об этом в подпитии говорил не раз — от скуповатых малочерноземных предков-крестьян.

Фарцой импортными грампластинками, дисками на тогдашнем лабуховском сленге, Женька занимался с первого курса пединститута, поэтому умеренные деньги у него водились, что и старались использовать в своих интересах однокашники обоего пола. Правда, девушки тогда прямо «за любовь» не брали, но не отказывались от

маленьких презентов по поводу и посиделок *vis-a-vis* в самом модном кафе-ресторане «Юность», что через проспект напротив самой тогда престижной в городе средней школы № 20, выпускники которой — по тогдашней присказке — днем ходили на лекции в политехнический институт, где учились на ракетном факультете, а «вторую смену» проводили в «Юности». Более того, именно в этом заведении некоторое время функционировал первый в городе публичный дом. Дело в том, что в первые два года после открытия молодежного кафе-ресторана его курировал горком комсомола. По поручению *КПСС* для организации культурного досуга студенческой и рабочей молодежи. Видно, добрейший Иван Харлампиевич на досуге сходил с супругой-медсестрой на новый фильм модного режиссера, где действие с комсомольским диспутом происходит в специально открытом для той цели молодежном кафе.

Обком — горком — комсомол под козырек. Геннадий в новейшие времена торжествующе говорил, что ему еще в студенческие времена золотой советской эпохи было ясно... далее он трансформировал фразу из «Собачьего сердца»: комсомольские функционеры на зарплате из всех партийных — самая гнусная мразь. Так оно и получилось: все публичные дома в городе в девяностые годы были открыты этими самыми комсомольскими начальниками; они же стали основными авторитетами и рейнджировали все предприятия города и области. А опыт заранее нарабатывали еще в шестидесятые годы.

Во вновь открытой «Юности» под комсомольской штаб, где по вечерам дежурили затейники-кураторы от горкома, отвели маленькую комнатку, имевшую двери в ресторанный зал и во двор дома, весь первый этаж которого и занимала «Юность» с двумя большими залами, двумя же буфетами, кухней и большим обилием подсобных помещений. В комнатке имелся письменный стол, за которым дежурные горкомовцы составляли отчеты о проводимых мероприятиях, а также топчан медицинского типа, обтянутый черным дерматином. На нем комсомольским работникам разрешалось отдохнуть полчасика, завершив написание отчета.

Дальше — яснее ясного. Парочка, разгоряченная танцами и напитками — от интеллигентской «Южной ночи» до профессио-

нальной «столичной» и «экстры» — подходила в оркестровом перерыве к Юрке-барабанщику. Кавалер что-то ему шептал на ухо и незаметно передавал червонец с портретом вождя. Юрка заходил в штабную комнатку и тотчас выходил. За ним следовал дежурный комсомолист, делавший неопределенный жест. Парочка заходила в штаб, а дежурный, заперши дверь на ключ снаружи, подсаживался за служебный столик к отдыхающим официанткам и проводил среди них комсомольскую учебу. Иногда по итогам учебы заходил в штабную со смазливой Любочкой или Верочкой. Через полчаса он подходил к двери, троекратно стучал, выпускал разрумянившуюся парочку и казенной салфеткой, хранившейся в ящике стола, гигиенично протирал дерматин топчана.

Жадность фраера губит. Так говорят не только в Одессе. Не зря тогда еще моложавый Леонид Ильич на комсомольских съездах хвалил молодую, подрастающую смену за инициативность. Чтобы штабная не простаивала во время ресторанных «дней обслуживания» официальных мероприятий, особенно ветеранских и партийно-профсоюзных, комсомольцы начали пускать парочки с улицы. Вот здесь и вышел конфуз, после которого первый в городе публичный дом ликвидировали с оргвыводами для горкома. Как-то во время чествования в зале заглянувшего в город «на огонек» очередного героя-космонавта, причем среди банкетирующих присутствовал сам второй секретарь обкома, дежурный комсомолец впустил через черный вход подгулявшего гражданина с подругой. Что-то там у них не склеилось, но едва герой-космонавт поднялся для очередного ответного тоста, в наступившей почтительной тишине через тонкую дверь штабной комнаты громко зазвучал отборный мат, перемеживаемый глухими ударами и диким женским воплем...

Вот в это самое кафе-ресторан и захаживал Женька с однокурсницами. А ребятам-однокашникам требовалось просто в межстипендиальное безденежье выпить на дармовщину.

Но и те, и другие знали хорошо Женькин характер; в его душе отчаянно боролись два наследственных начала: скупость по крестьянской линии, а по другой — купеческая разухабистость. И здесь главное — перевести Женьку с крестьянской наследственности в купеческую. А этот переход достигался с помощью

обычной стопки водки.

Допустим, заманила мужелюбивая однокурсница Надька славящегося своей постельной неутомимостью Женьку-фарцовщика в «Юность». Тот тщательно изучает меню, морщится. А Надька подпевает: «Зачем салат «Столичный» брать? Вот винегрету лучше за двенадцать копеек. Горячего и вовсе не надо, я сыта. Себе возьми грамм сто «старорусской», она подешевле, а я вовсе не пью». И хотя Женьке прекрасно известно, как и всему факультету, что грудастая, крепкая телом Надька выпьет бутылку водяры и не поморщится, он согласно кивает. Тож если Женька с тем же Геннадием зайдет в парковую «стекляшку»: один винегретик на двоих и по сто пятьдесят самой дешевой плодовоягодной бормотухи.

Но вот выпил Женька стопку «старорусской» или неполный стакан плодововыгодной и... «Эй, официант! Тащи немедля бутылку «Греми», шампанского, оливье и котлеты по-киевски!» И стол ломится от еды и бутылок до закрытия кабака комсомольского; жалко, что давно уже не работает штабная комната, а то бы непременно два-три раза туда за вечер Надьку завел... А потом на такси везет ее «на хату», где бабуся Нюра сдает на ночь комнату в частном доме, по пути просит шефа притормозить у дежурного гастронома, взять закуски. Пару же бутылок взял в буфете, покидая «Юность». Примерно такой же расклад и на мальчишниках.

...Добро улыбнулся Геннадий, вставая для ответного тоста: нет, характер человека не меняет ни время, ни деньги. Вообще никто и ничто. Только вот теперь Женька заматерел, одной стопкой не заведешь, где-то ближе к литровке купец-ухарь проявляется.

* * *

— Дорогие мои! — Геннадий встал, держа по этикету фужер с шампанским на уровне плеча,— всецело присоединяюсь к лейтмотиву предыдущего тоста, особенно в отношении наших прекрасных, красивых и обаятельных подруг и спутниц жизни, тем не менее предлагаю чокнуться и выпить, мужчины по-гусарски до дна, дамы по потребности, за истинную дружбу,— вещь почти немыслимую в наше волчье время. Но мы, собравшиеся за этим столом,

люди старинного закала, наследники другой, нежели нынешняя, эпохи. И самое существенное здесь то, что все мы познакомились в скромной квартире на улице Серебрянской почти в одно время, исключая наше более давнее студенческое братство с Евгением. Нас с Лерой — ну, люди мы здесь все свои, без обиняков и эвфемизмов обойдемся — жизнь то сводила, то на годы порознь держала, видно испытывала на прочность, потом все же смилостивилась и соединила насовсем. Но вот, мои дорогие, перед вами Евгений и Зинаида, которые со дня знакомства не разлучались ни на минуту («Кроме как на недельные запои и кобеляж»,— вроде как адресуясь к Лере, но вполне разборчиво, впрочем, благодушно, произнесла Зинка; Женька хмыкнул, но мысли его явно текли по другому руслу — дозревал)... Не разлучались ни на минутку. Исключая, конечно, деловые командировки нашего дорогого строителя светлого империалистического будущего («И тебя, мой милый, тоже в разнос понесло»,— столь же добродушно подумала Лера). Эт-то замечательно, это прекрасно и в традициях классической русской семьи: от венца до... хм-м, до маститой зрелости рука об руку идти по перипетиям и самым крутым виражам нашей непростой жизни. Ибо жизнь в России, исключая «золотые» брежневские годы, никогда не была медом, но чаще прогорклой патокой. Мой ответный, в то же время и приветный, тост: за моих и Лериных лучших друзей! Пью твое здоровье, Зиночка! Дважды — в силу мужского компатриотства — пью твое здоровье, друг мой Евгений! Честь и хвала вам, вашей семье, сыну Александру и — продолжения рода! Гип-гип, ура!

— Ур-р-ра! — Трансформировавшийся в бас обычный «горловой» баритон Женьки давал знак: дозрел в нем купчина!

Лера меж тем с внимательностью примадонны, проверяющей свою игру на сцене по самым мимолетным оттенкам реакции зала, оценивала публику в пределах видимости справа и слева от елки, по фигурам движущихся пар на танцполе в центре главного зала ресторана, по мимоходящим между залом, буфетом, гардеробом и «служебными помещениями». Узнала с десяток персон обоего пола, так или иначе ей знакомых, в основном, не лично, а что называется «на слуху». Несмотря на маскирующую елку двое-трое и ее

узнали, кивали головой, не решаясь подходить, видя стерегущих женщин двух мужчин явно неробкой наружности. Особенно боксерского вида Женьку.

Танцевали под какую-то электронику, в несколько минорных тональностях. Чувствовалось, что это разминка: мужики еще не напились, женщины и приглашенные девицы не разошлись. Чуть более веселые интонации долетали из стенных ниш навроде их, но находящихся там она не видела. И вообще-то здешняя публика серьезно косила на какой-то стереотип, что называется, на одно лицо. Вспомнились рассуждения бабуси о том, что каждая пара через тридцать поколений потомков дает уже миллион родственников по определяющим генам... Из своих, театральных узрела только Пашку Мурьина, актера второго разряда, но он уже лет пять как ушел на вольные хлеба: где-то подвизался диджеем, а об основном источнике его доходов красноречиво говорила его подчеркнуто смазливая наружность. И сейчас он сидел в глубине зала за столиком с жилистым мужиком, похожим одновременно на полковника и удачливого банкира.

Более всего ее огорчило отсутствие живой музыки. Без нее Лера кабаки не воспринимала. Увидев, что Женька дозрел, она усмехнулась, вспомнив как в годы московской учебы со своей подружкой-однокашницей развлечения ради «выставляла из денег» солидных мужиков, клеящихся к ним, зашедшим на часок посидеть за мороженым в «Метелицу» на Новом Арбате, тогда самом модной московском кафе. «Ну, Женька свой человек, так что за обиду не сочтется»,— усмехнулась лукаво она, наклонилась к ушку Зинки, шепнула: «Зинуль, не надоело киснуть?» Та обрадовалась — и тоже на ушко: «Лерочка, заведи мужиков, а? Надо ведь нам с тобой как следует повеселиться, чтобы потом на полтора года в родильно-воспитательные дела уйти. Давай, у тебя это ловко получается». Лера несколько секунд подбирала нужную маску лица, затем долго и протяжно вздохнула, и так вздохнула, что Геннадий и Женька, занявшиеся было паровой осетриной после подряд схлопнутых рюмок, подняли головы и с интересом посмотрели на нее.

— Вы что, Валерия Игоревна? — «Дошедший» Женька изобразил светскую учтивость,— вас что-то не устраивает в этом

кабаке? Скажите, исправим мигом!

— Музыки, пения живого хочется. И вы с Генкой какие-то квелые. Ну, повеселите же ваших дам!

— Действительно, скучновато как-то. И музыки настоящей нет, зеркала какие-то аляповатые на стенах и потолке, будто на китайской толкучке купили. Рожи однотипные. Да-а, и водка в горло не идет. Вот что... Эй, человек,— подозвал Женька проходившего мимо елки официанта,— кликни сюда хозяина.

Мигом подскочил Жорка Самопалов:

— Что-нибудь желаете?

— Вот что, Жора, у вас в городе цыгане имеются? Не наркотники, конечно, те везде имеются...

— Понял, понял, господин Бородулин. А как же, уже с середины декабря полноформатный хор с плясунами, с запевалами, с гитаристами. Заведение высокого класса обслуживают.

— Настоящие ли? Не подмосковные халтурщики с армянками и нашими крашеными клоунами?

— Никак нет, самые натуральные от барона Федора-тамбовского. Он раньше их в аренду тамошней филармонии сдавал, а сейчас, с возрождением купечества, на оброк посадил по городам гастролировать. Груня запевает, кстати, заслуженная артистка, как вот супруга Геннадия Борисовича, уважаемая Валерия Игоревна. На подпевках у нее смешанный хор из десяти человек. Три гитариста, солирует румынский Никола Дулеску; две пары плясунов. У нас они не были, но все знаю, так как разок их видел и слушал у дядьки своего в «Русской тройке». К сожалению, они третий день в «Папе Бендере» заняты и поэ...

— Слушай, Жорж! Я тебя про факт наличия в городе цыган спросил, а не где они сейчас выступают. Вот тебе,— Женька достал из внутреннего кармана пиджака несколько «золотых» банковских карточек, выбрал по номерам одну, явно похилее, протянул Жорке,— здесь на все хватит: отступное «Бендеру», наше обслуживание, цыганам, ментам, если у нас с публикой конфликт возникнет... За зеркала тоже.

— А что зеркала?

— Да не нравятся они мне. Пора новые, поприличнее поста-

вить. Не дешевку.

— Слушаюсь, пойду звонить в «Бендер».

Лера восторженно мотнула челкой и подмигнула Зинке: «Ура, заработало!»

* * *

Федоровские цыгане пели и плясали уже целый час. Появление их ошеломило и растормошило заскучавшую в начале ночи публику. Лера высоко оценила добротную филармоническую подготовку хора. После двух первых, разгонных песен с пританцовывающими плясунами Геннадий с Женькой представили запевающей хора Груне Леру. Обе заслуженные артистки обнялись, расцеловались, тут же сговорившись спеть дуэтом под подголоски «Выйду ль на улицу», что и исполнили под бешенные аплодисменты зала. Чтобы не диссонировать с хором своими полуобнаженными бедрами в колготках любимого ею люрекса, Лера обвязалась пестрой шалью, переданной кем-то из хористок. В ней же она и сплясала вместе с хором.

— Ох, спасибо ромалы родные, потешили вы мою душу. Но пора и честь знать: я отдыхаю, а вам еще всю ночь трудиться.

Лера протянула шаль цыганке-владелице и вернулась за стол. В этот момент со стороны гардероба со счастливым визгом на нее налетела разряженная, впрочем с отменным вкусом, Верка-травести, час назад вытребованная Лерой по предложению Геннадия: «До кучи!» Чуть выпившая своего «асти» Лера несколько ревниво посмотрена на мужа: он иногда дразнил ее, раззадоривая, патологической тягой к маленьким, мальчишковатым девушкам-женщинам. Тут же опомнилась, рассмеялась и принялась названивать Верке.

За спиной маленькой артистки, усмехаясь, топтался ее муж, хорошо знакомый Лере и Геннадию, явно с «военной косточкой», как намекала Верка. Пока взаимно представлялись, официанты мигом подтащили два полукресла и досервировали стол. Верку усадили у стенки между двумя другими женщинами.

Через час цыганского пения и плясок Женьку понесло с выпитого и лихорадящего оттого веселья. Не отставал от него и Генна-

дий. Веркин муж трудолюбиво закусывал, а три девицы под окном что-то оживленно обсуждали на непонятном для мужиков птичьем языке, а затем все дружно захохотали:

— Еще одна,— с восторгом выкрикнула Зинка.

— Что? Что одна? — В голос удивились Женька с Геннадием.

— Еще одна новобеременная,— взяла инициативу на себя Верка. Муж ее, смущенно улыбаясь, потупился.

— Господи! Эк вас прорвало за сорок лет! Наверное к войне, — рассмеялся Женька.

— За «за сорок» по носу получишь,— обиделась Зинка,— кстати, Верочке еще и сорока нет. Так что самая обычная второродящая. Ишь, разговорился. За сорок! Напился — иди, пляши с цыганами.

Как раз в это время, решив, что публика достаточно разогрета, Никола Дулеску взял несколько задумчивых аккордов, перемигнулся с Груней, кивнул плясунам, сделал жест рукой хористам и завел с остальными гитаристами плясовую.

— Охраняй девок,— приказал Женька Веркиному мужу, вставая с видимым усилием,— засиделись мы, Генок, с тобой. Пошли разомнемся. Помнишь, как в общаге педовской на Новый год, когда Надька Глухарева... впрочем, бог с ней. А мы с тобой и цыганом-уникумом, в смысле цыганом-студентом, Гришкой Пантелеевым всю ночь плясали, а? Пошли, тряхнем стариной! Только давай для разгона по полной хлопнем,— и Женька наполнил, плеща через края, водкой три пузатых коньячных рюмки,— и ты, Валер, давай с нами.

Женька с Геннадием выпили, уже не чувствуя вкуса, как воду, до дна, а Веркин муж, вежливо улыбаясь, пригубил на треть.

— Во, дают,— восхитилась Зинка, а Лера заинтересованно наблюдала за выделывающими уже с полчаса лихие коленца мужем и Женькой:

— И откуда это у них? Действительно, что-то родовое, заметила Лера, - это прямо как у Толстого...

— Графинюшка в «Войне и мире»?

— И графинюшка, но я, Верунчик, имею в виду «Двух гу-

сар», графа Турбина, что с цыганами плясал. Я сколько раз говорила *Нашему*: давай поставим «Гусар», будем первыми, вам же слава обломится. А пьесу я сама с удовольствием переделаю... Вообще-то говоря, еще пару лет назад переделала. Представляешь, какие сцены и массовки можно поставить? Нашумим из своей провинции на всю театральную страну.

— А он что?

— И соглашается вроде бы, и жмется. Дескать, аудитория сейчас не та пошла, к классике прохладно относится, надо внимательно за столичными репертуарами приглядывать, новые веяния, то да се.

— Дело понятное, время экономное. В «Гусарах» размах нужен, массовки по всему действию, хор и плясуны под цыган, вроде этих, выдрессированный. А это все, Лерок, расходы и немалые. Главному и его окружению о своем кармане нелишне позаботиться. Сестер и братьев наших сценических тоже слегка подкармливать; ведь не все, как мы с тобой, с надежным тылом! Вот и суют всякую чушь: говорящие головы на сцене, три персонажа на три действия, вместо декораций какой-нибудь «квадрат» Малевича. А репортеры в газетках для лопоухой интеллигенции распишут новое слово в драматургии, отказ от надоевших схем архаичного Станиславского с Данченкой и прочее.

— Все правильно, Верунчик. Ничего, сейчас вживую таких гусар насмотримся! Настоящий эксклюзивный спектакль. И за большие деньги. Ой, Зинуля, извини, мы тут о своем, театральном вспомнили. Ты что это ищешь?

— Да тревожник скоро понадобится. Где же он? А-а, вот за тарелкой. Кажется, начинается. Ты, Валер, этак вполоборота к залу развернись, чтобы обстановку оперативно оценивать и нас прикрывать.

* * *

Через полчаса непрерывной пляски Геннадий почувствовал, что выдыхается, чего нельзя было сказать о Женьке: тот порхал соколом вокруг пляшущей же Груни. Цыгане-плясуны заученно отошли

на второй план и резали экономную для сил румынскую чечетку с полуприсядкой. Весь подвальный зал содрогался от грузного топота Женьки и чуть менее тяжелого Геннадия. Потянувшиеся из глубин зала, из ниш-кабинетиков зеваки полукольцом окружали цыган и пляшущих. Женька при всей увлеченности пляской с Груней — Геннадию в пару Никола Дулеску кивком головы поставил молодую, прогонистую на вид хористку — зорко отметил состояние приятеля и крикнул в никуда: «Официант! Водки нам по фужеру!» Тотчас подскочил халдей с подносом. Оба плясуна влили в себя грамм по двести. И... Геннадий почувствовал, что тело его стало невесомым, а голова ясная и абсолютно свободна от необходимости что-то думать, размышлять, оценивать, сопоставлять. И потолок с полом стали меняться местами. Но все же четко увидел, как между его и Женькиной парой попытался встроиться тоже изрядно пьяный, здоровенный мужик с наглой рожей. И как Женька с криком «не замай, мелкобуржуазная сволочь» наотмашь врезал по потной роже. Мужик налетел на ближайший столик и не менее громко заорал, выбираясь из груды раздавленных им тарелок, весь перемазанный: «Предпринимателей бьют! Вали их, ребята».

Уже через пяток секунд все в зале перемешалось: Женька бил всех подряд, выкрикивая революционные лозунги. На Геннадия насели было двое офисников, но он ловко саданул их лбами друг о друга и, развернувшись, схватил со стола бутылку с длинным, узким горлышком и запустил ее в ближайшее зеркало от пола до потолка. Кто-то лягнул ногой Геннадия в правый бок, а кулак другого врезался в левую скулу. Невероятная обида обуяла Геннадия, он ринулся в самую гущу скопившегося в центре зала народа и начал метелить всех подряд без разбора. Но и их ответные кулаки порой больно касались его лица и ребер. Зеркала били уже все. И с потолка посыпались сверкающие осколки. Только цыганский хор, ко всему привыкший в новоюрские времена, невозмутимо пел и плясал.

Женька уже бросался столиками поменьше, а Валера, встав в заученную некогда боевую позицию перед столом, обороняя женщин, ловким хуком левши отправлял в нокаут всякого, что приближался менее чем на два метра.

Что-то хрястнуло под кулаком Геннадия, до него дошел восхи-

щенный женский голос: «Во профессор дает!» Дальше все замелькало как в детском, старинчатом картонном калейдоскопе: вопли, крики, звон добиваемых зеркал и опрокидывающихся с сервировкой столов. Появились милицейские чины, но вскоре ретировались. В какой-то момент он уяснил, что в одной стенке с Женькой, Валерой-мужем и двумя вызванными Зинкой «дармоедами» держит оборону своего стола со спокойно сидящими у стены женщинами на первом месяце беременности — против всех остальных. Показалось, что по потолку, головами вниз, пробежали сочинители Сухариков и Омшанников. С восторгом смотрела на него постаревшая, но все еще видная собой Римма Васильевна, бывший директор школы, где он начинал свою трудовую деятельность. А невесть откуда взявшаяся Наташа посылает ему воздушные поцелуи.

Последнее, что он услышал перед провалом в темноту, были слова Леры: «Спасибо, мужики, такое нам, девушкам, удовольствие доставили!»

* * *

Геннадий проснулся внезапно, как и должен пробуждаться хорошо подгулявший, да еще ночью человек. И крепко выпивший. Секунд десять он боролся со спазмами головной боли. Тело нечувствительное, невесомое; левая скула саднила тоже болью, но тупой. И в правом подреберье не все в порядке. И полная ясность, осознание тех веселых и диких картин дионисийского веселья-шабаша от момента первого Женькиного тоста. Что было явью? Что докрасил мертвецкий сон с разбушевавшимся подсознанием?

Но вот спазмы сгинули, он раскрыл глаза и, несмотря на онемелость скулы, повернул голову влево: да, все та же заветная кушетка, а в низких, но безоблачно-ярких лучах солнца через незашторенное окно увидел смеющееся беззвучным смехом лицо Леры, лежащей вполоборота к нему на правом боку так, что не стесняемые откинутым жарким одеялом соски ее грудей касались его плеча.

— С добрым утром, почти днем, мой рыцарь и победитель! — Лера приподнялась на локте и упругим, шелковистым теплом накрыла его торс, словно пригвоздив двумя твердостями сосков к кушетке любви, приблизила лицо, щекоча его лоб челкой

жестковатых волос, и впилась в его нечувствительные губы. Затем вновь отодвинулась, легла и сладко-пресладко потянулась, даже как-то по-звериному, по-добро-звериному, вздрогнув всем телом. Геннадию показалось, что даже чувственно прорычала. И в этот момент тело Геннадия вмиг обрело чувствительность... и чувственность.

— Слушай, Лера,— выбрался он из хрипоты первых слов,— что правда, а что сон? — Он давно понял, что Лера все знает о нем, поэтому счет излишним уточнять: о чем он собственно говоря, спрашивает?

— Слушаю, милый, слушаю. Я уже котов покормила и завтрак приготовила. Машка с Игошей еще спят, но щеколду на двери все же задвинула. О чем это я? А-а, да. Наверное, половина-на-половину наша явь и твой сон. Впрочем, сегодня с Женькой встретитесь и все вспомните. Ну и разошлись вы с ним вчера! Мнительным не будь; за все, как говорится, заплачено. Подумаешь, что придется тебе племянницу Жорки Самопалова бесплатно доучивать, да Женька ей именную стипендию учредит.

А остальные утрутся, да и только. Не будут же побитыми рожами похваляться! Да-а, хорошо погуляли — это про тебя с Женькой. Прямо как в «Чертогоне» твоего обожаемого Лескова. Вот теперь верю, что кто-то у тебя в роду из староверских купцов был. И мы с Зинкой не меньшее удовольствие получили, а я особенно: ведь всегда на сцене сама лицедействую, самой-то спектакли из зала смотреть не доводится. Вот и довелось. Я тебя, милый, искренне благодарю за доставленное удовольствие.

Это тебе понадобилась встряска. Да и мне. Ведь мы с тобой, любимый, как правильно тостировал Женька, вступили только что во вторую молодость. Это прекрасно, ответственно, но и сложно. Но мы с тобой уже накрепко слюбились, и никакой черт виртуальный нам уже не страшен. И детей таких же воспитаем. Я же красивой и желанной буду долго — в породу. И ты мужик жилистый, страстный. А главное — кушетка эта старинной работы, еще лет сто прослужит.

Лера вновь приподнялась на локте:

— Ген, а Ген! Ты ничего не забыл?

— Так я же говорю, что границы между явью...

— Ох, глупыш, совсем забыл, как ты меня приветствуешь по утрам уже десять лет... исключая мои табельные дни,— и Лера откинулась на спину, ногой резко сбросив на пол одеяло, мягко раскрыла губы, сдела шумный, прерывистый вздох, принимая тяжесть тела своего любимого. Земное — грешное — святое.

Конец третьей части

И с литераторами провинциальными простимся... до следующей книги, может быть: очень уж они по-своему колоритны. Вот ведь русский характер! Казалось бы, лавролюбив не по чину, вздорен сочинитель Омшанников; неуживчив и несколько пакостлив по мелочам литератор Сухариков — но как без них представить себе губернскую писательскую братию? Совсем хорошо — уже не хорошо. А без Сухариковых и Омшанниковых совсем замрет внешняя писательская жизнь города, и без того еще тлеющая в маленьких комнатках Дома творческой интеллигенции, из которого в послереволюционные годы правил городом присланный из столицы комиссар в кожаной куртке, а до этого владел маленьким домиком-дворцом первогильдийский купец.

Добрые и хорошие люди эти провинциальные служители писательской музы, особенно если общаться с ними поодиночке и за пивком с вяленым лещом. А еще лучше за водочкой в запотевшем от холода графинчике под рыбное же ассорти и бутерброды с красной икоркой. Думали ли вы, горемычные, что на старости лет никто не будет читать, тем более печатать задарма ваши книги, что лишитесь вы заслуженного летнего и зимнего отдыха в бывших санаториях и домах отдыха Литфонда? Переучиваться же на другую профессию и поздно, и менталитет не позволяет. Мира вам и душевного спокойствия... и продолжайте творить, ибо рукописи не горят.

К сожалению, и веселое время межсезонья подошло к логическому завершению — речь идет о 90-х годах: время митингов и повального воровства, фантастических проектов типа «500 дней» и реального развала экономики, полной потери влияния в мире и невиданного роста долларовых миллиардеров и прочая, прочая, прочая... Простой же народ — по-советски, или обыватель — по-нынешнему, на все это светопреставление реагировал двояко: оптимисты радовались, хоть воду взмутили! А пессимисты угрюмо ждали конца света. Символом тех славных годов оптимизма и полной неустроенности стала газета. Их выходило великое множество, их раздавали на улице бесплатно, а нанятые партиями и движениями подростки по утрам и вечерам набивали ими почтовые ящики. Иные из газет существовали сутки, другие — набирали за короткое время многомиллионные тиражи. Впервые в России в таких масштабах сложился институт желтой прессы: несколько похожее в межреволюционные 1905—1917-е годы было детским лепетом...

Сейчас же тишь да благодать. Вертикаль власти выстроена; чиновники хотя и туповаты, воровaты, но исполняют все досконально, особенно в провинции и там, где надо пресечь и отказать. Словом, все вернулось на круги своя, но какой ценой? А мы — народ-оптимист, все одно — за ценой не постоим!

У людей с вялотекущей шизофренией и стойкими невротическими отклонениями поздней осенью и ранней весной случаются регулярные осложнения, поэтому лечащие их врачи относятся к этим явлениям без паники, прописывая усиленные дозы препаратов. Схожие явления наблюдаются и в некоторых научных дисциплинах, в основном — благодушно-разговорного характера, например, в древней истории. Только здесь обострения возникают не столько у отдельных доцентов и академиков, сколько у ведущих научных школ. На Руси типичнейший пример такого осложнения — это спор о том, откуда она самая пошла: от варягов, константинопольских греков, финно-угорцев или сама от себя (в биологии последнее называется партеногенезом, то есть самооплодотворением). Историки-модернисты Фоменко и Носовский и вовсе утверждают, что никакой Руси в древности не было, а в непролазных лесах обитали только медведи.

Темное и лукавое это дело — сочинять историю тех лет, очевидцев которых уже рядом не оказывается. Тут и набегают переписчики. Немец на русской службе Миллер с К° переписал все в пользу варяжских братков Рюрика, Синеуса и Трувора, а пролеткультовец Покровский создал советский вариант русской истории, которым, в основном, и сейчас мы пользуемся. Но ни с кем и ни с чем не сравнится вред, нанесенный Карамзиным. Он не только по заказу Романовых-царей переписал в угоду их династии всю русскую историю, пользуясь фальшивками наших врагов, да еще заодно испортил всю фонетику русского языка, введя совершенно ему чуждую букву «ё».

Эпилог.

НЕИЗБЫВНЫЙ ОПТИМИЗМ БОГОВ И МУЗ ОЛИМПА

Семени мы, наконец, небесного все
порожденья:
Общий родитель наш тот, от которого, мать
всеблагая,
Все зачинает земля, дождевой орошенная
влагой,
И порождает хлеба наливные и рощи густые,
И человеческий род, и всяких зверей
производит,
Всем доставляя им корм, которым они
насыщаясь,
Все беззаботно живут и свое производят
потомство.

De rerum natura, книга II, ст. 991—997

Директор Института социальной и биологической информатики Геннадий Борисович Красилин в первый учебный день весеннего семестра, пропустив своих заместителей Енукидзе и Яцышена, сам вышел из кабинета, защелкнув замок двери. Енукидзе подмигнул неравнодушной к нему (к шефу нельзя, у него и так жена красивая!) секретарше Нелли, почему-то незамужней в самые женственные тридцать лет. Та незаметно от директора тоже понимающе кивнула: дескать, понимаю, зачем Геннадий Борисович своих замов в первый день семестра спозаранку вызывает в кабинет: традиция, по рюмке налить Енукидзе и Яцышену за успех дела, но себя в этот день обносит.

— Нелли Владимировна! У меня сейчас вводная лекция для третьего курса, а потом сразу, не заходя к себе, поеду представляться официально новому ректору университета. Часам к двум-трем вернусь. Так что командуйте здесь.— И вышел из приемной, отсалютовав рукой замам, повернувшим в сторону своих кабинетов.

— Как бы ребята не загуляли,— думалось ему, поскольку по-

сле традиционных рюмок текилы, почему-то полюбившейся замам, он вручил им по тысяче евро — доллары давно возненавидел — «за хлопоты», а проще говоря за то, что свалил на бедолаг всю зимнюю сессию. Даже угрызения совести появились. Впрочем, теперь *status quo* восстановлено, все остались довольными. Особенно он. Все дело в том, что после его гомерического веселья в «Барсучьей норе», так восхитившей Леру, они с Женькой до конца «рождественских каникул» так и пропьянствовали, правда, опекаемые женами, в благопристойных размерах. Захватив для компании — вне дома — Енукидзе и Яцышена. Зинка, переведшая по компатриотсву новобеременных доселе обычное знакомство с Лерой в нежную дружбу, целые дни проводила в ее квартире, очень понравившись Машке с Игошей и даже кошкам. Ходила на все спектакли с ее участием. Мужчины в доме весь день отсутствовали.

— Совсем разгулялся *мой* Аполлон Дионисович,— играла, как то она всегда делала с недомашним народом, какую-то из своих ролей Лера.

— Пусть погуляют, а то у *моего* Евгения от занятий объ... бизнесом скоро совсем на полшестого упадет,— весело смеялась Зинка в бесстыдном женском разговоре.

Очевидно, по Зинкиной наводке, а может самому в голову пришло, но, прощаясь с приятелем и Лерой в последний день каникулярного загула, уже трезвый Женька, готовясь наутро отъезжать, захватив мать и тетку в санаторий, протянул Лере, как хозяйке семьи, небольшую связку ключей:

— Все, баста. Дела бизнеса, раз в это, извиняюсь, дерьмо влез, зовут. Это ключи от моего «директорского» коттеджа в звенигородском санатории. Поезжайте, отдохните на зимней природе. Зиц-директор уже предупрежден. Обслужат по высшему разряду. Отказа не принимаю.

— Спасибо, Женечка,— вовсе не удивилась Лера,— а как же мать с теткой... это я про коттедж?

— Им, как дама общительным, в особняке скучно будет; люкс в корпусе самое то. Все, ребята, до скорого свидания; мы вас с Зинкой там и навестим.

...Через пару дней Геннадий с Лерой двинулись в сторону

Звенигорода. «Медовый месяц второй молодости своего требует», — вовсе не мучалась угрызениями совести Лера, из-за отсутствия которой главрежу, получившему из рук в руки от Геннадия «на оргхлопоты» пачечку сиреневых евро, пришлось заменить несколько спектаклей январского репертуара. Дети и коты остались под надежной опекой Инны Васильевны с Полковником, на три недели переселившихся в «дом с башенкой».

Подходя к двери большой, курсовой аудитории, Геннадий, вспомнив о звенигородском медовом месяце, что-то вдруг расчувствовался и даже замурлыкал бунинское: «*У меня от нежности и боли разрывалась грудь...*» И даже смахнул покатившуюся по щеке слезинку. «Что-то сентиментальным становлюсь; рано это в сорок пять лет»,— одернул он себя, на пару секунд остановился и применил испытанный прием, пять раз подряд про себя произнес самое ему ненавистное слово «бизнес», после чего лицо его автоматически приобрело явное сходство с выражением такового на скульптуре Шадра «Булыжник — оружие пролетариата». И отворил дверь в аудиторию.

* * *

Уже отчитав половину вводной лекции и намереваясь далее подробно и обстоятельно развить ранее сформулированные тезисы, Геннадий, случайно остановившись на лице лучшего математика третьего курса Коли Дарчия, по ассоциации с ужасом вдруг подумал: «Точно! Но зря — думают, не замечу! — Енукидзе давеча подмигивал Нелли. Как пить дать с устатку зимней сессии и премиальных тотчас замы загуляют!»... А потому решительно подсократил содержание лекции, сразу перейдя к выводам:

— ...Итак, надеюсь, что вам понятно содержание дисциплины «Информационная виртуальная реальность», которую вы будете изучать в течение двух семестров. Согласно учебным планам, этот курс является базовым теоретическим для всех специальностей нашего института.

Главный, центральный момент в этой молодой науке, так сказать, крестным отцом которой является ваш покорный слуга,— Геннадий притворно смущенно чуть опустил глаза и сделал секундную

паузу; так требует педагогическая дидактика,— так вот, в центре здесь стоит диалектически обусловленная взаимосвязь виртуальной реальности и того явления, что сейчас не совсем адекватно принято называть глобализмом. Правильное название этому явлению дал еще свыше ста лет назад великий русский философ-космист Николай Федорович Федоров: *всеединство*. Более того, учитывая множественность жизней во Вселенной, Федоров полагал всеединство фактором космическим. Как и другой великий русский ученый-космист Константин Эдуардович Циолковский называл это *животным космосом*. Поэтому не будем сугубыми «западниками». И без того современный наш новояз с подачи масс-медиа *СМИ* и малограмотных политиков есть невероятное обезьянничество с американской терминологии, да еще с явным нижегородско-французским акцентом. Будем использовать термин «всеединство». И мой вам совет: как только слышите или читаете слово «глобализм», так мысленно переводите его на русский язык. Равно как и в отношении всего множества расплодившихся американизмов. Договорились?

Итак, диалектическая взаимосвязь, более того — зацикленная связь всеединства и виртуальной реальности. Вопрос вопросов нашего времени. И мало кто на него даже в абрис, в нулевом приближении может ответить. Но мы попытаемся.

Всеединство земного человечества неизбежно и прямо следует из философии диалектического материализма, как бы ее сейчас не облаивали в *СМИ* и в псевдоученых трактатах наемные писаки. Мы говорим именно о диалектическом материализме, который зиждется на диалектике гегелевской школы, а собственно материализм в современном, не догматическом понимании, что в СССР также малоумные люди свели к суконному цитатнику «Марксизм — ленинизм», оскорбив этим двух гениальных мыслителей, есть учение о мироздании: от структуры Вселенной до сокровенных тонкостей психики человека.

И с точки зрения такого творческого диалектического материализма, в который, конечно, органически вошел и исторический материализм Людвига Фейербаха, вся эволюция ноогенеза, то есть развития человека разумного, есть перебор всех возможных вариантов всеединства человечества. Понятно, что с учетом историче-

ской степени готовности человечества к этому, своего рода финалу ноогенеза. Проще говоря, разум планеты Земли должен созреть до осознания неизбежности всеединства — и ее спасительности для человечества в целом.

А вот это-то созревание и есть долгий, часто мучительный и кровавый процесс социально-экономической, политической истории. Опять же эволюция ноогенеза здесь использовала последовательную смену общественно-экономических формаций, а сами эти смены подчинялись и подчиняются сейчас, конечно, трем базовым законам диалектики. Надеюсь, вы их не забыли с прошлогоднего курса философских систем и учений. Очень надеюсь. Хотя бы потому, что наш институт — специфический; здесь даже «блатные дети» не относятся к преобладающему сейчас в вашей возрастной среде классу-гегемону дебилов. Хотя их надо только жалеть: не их вина.

Последовательность смены формаций — опять же отсылаю к курсу философии прошлого года — жестко априорна, а некоторое временное сосуществование предшествующей и нарождающейся также диалектически запрограммировано и не всегда идет гладко, хотя новая формация обязательно нивелирует предшествующую. И вот эта «негладкость» создает для участников этого, конкретного процесса эффект, а скорее иллюзию, что старое может и победить новое. И только для последующей истории эта иллюзия ясна предельно. Вам в определенной степени повезло, хотя и горько «повезло»: вы живете вот в такой иллюзорный период якобы гибели передовой формации социальной гармонии и справедливости и возобновления в мировом масштабе формации предыдущей. Это и есть негладкость эволюции и временный откат. Это прекрасно знал Гегель, но в русской, советской истории его мнение на этот счет больше знают по формуле Иосифа Виссарионовича: «По мере приближения к социализму классовая борьба обостряется». Так что пусть новые господа не очень-то радуются и постоянно оглядываются на семнадцатый год и вспоминают про «деревянные бушлаты» от революционных братишков, перепоясанных пулеметными лентами...

История в своем поиске оптимума методом проб и ошибок в двадцатом веке испробовала несколько вариантов социальных, то есть социалистических моделей новонарождающейся формации, при-

ходящей на смену уходящему капитализму: национал-социализм Третьего Рейха, интернациональный социализм СССР, коммунофашизм Италии, который прямо провозглашал целью построение социальной республики. Все испортил здесь социалист Муссолини, укравший эту идею у коммуниста Антонио Грамши. И как показала та же история, оптимальным оказался интер-социализм СССР — великое творение гениального Сталина. Но одряхлевшие наши вожди эпохи «позднего Брежнева» не учли, что мировой империализм перед своим окончательным издыханием еще может нанести последний удар. Так и случилось. Но, как говорится, в истории повторением трагедии может быть только фарс. («Что-то вчера чуть не до полуночи Лера с прибежавшей Веркой-травести, тоже «до кучи» новобеременной, шептались, уединившись на кухне. Наверное, опять в театре какая-то интрига назревает?») ...Да-да, ребята, фарс. Это вы и сами вокруг себя сейчас видите. Ну какой у нас сейчас капитализм? — Курам на смех!

Итак, отступление социальной идеи всеединства, к счастью, временное. Но матушка-история и в этот поганый период времени даром не теряет, а отрабатывает даже на гнилом материале будущие модели всеединства в варианте — вот теперь уже можно без обиняков говорить — империалистического глобализма. И будет отрабатывать на самых сложных ситуациях. В частности, как полагают серьезные — не телевизионные, не думско-говорливые — экономисты, а я имею их достаточное количество знакомых в Москве, где-то через полтора-два года рухнет, как карточный домик, вся система современного, уже глобализованного, финансово-спекулятивного империализма. И кризис этот превзойдет великую депрессию двадцатых-тридцатых годов прошлого века. Прав старина Маркс: империализм — это стадия окончательного загнивания капиталистической формации. Вполне допустимо, что этот кризис окончательно разрушит основание империализма, а в так называемом «третьем мире» приведет, говоря словами величайшего испанского философа Ортеги-и-Гассета, к восстанию масс. Против империализма. И добьет его. К сожалению, по биологическим законам свыше девяноста процентов людей суть идиоты — в смысле отсутствия самодостаточного мышления — и сильны только задним умом, то есть до них доходит все пост-фактум.

А теперь — к виртуальной реальности. Увы, всеединство, но особенно в пробной его форме современного глобализма, давая человечеству гарантию выжить как разумный вид во всевозможных катаклизмах локального, планетарного и космического характера, потребует — и уже требует! — существенных жертв. Прежде всего это коснется снижения статуса автономии личности человека: эта личность будет принесена на алтарь жертв коллективного разума. Иначе всеединству не быть. Но истинное, социально выверенное всеединство, оставит определенную часть гармонии биологического и разумного в индивидуальном человеке. Но вот глобализация, как предтеча всеединства, здесь предельно жестока. Вот здесь и возникает феномен виртуальной реальности, когда человек, говоря словами древних китайцев, теряет свое лицо, становится частичкой, винтиком некоторой бездушной глобальной машины. Причем все эти винтики друг от друга отъединены и дружно маршируют к непонятной им цели, руководимые электронными *СМИ*. Но — об этом мы будем говорить целых два семестра. Не буду забегать вперед.

И еще одна пакость глобализации: исчезают исторические, племенные корни народов. Как говорит герой «Поднятой целины» нашего великого Шолохова: все будут одинаковыми и смугленькими... Не дай бог, но к этому нас сейчас устремляют; фактически из белой расы — о других отдельный разговор — дольше всех этой чудовищной униформизации будем сопротивляться мы, русские, понимаемые не в смысле узконациональном, а расширенно. Мы и есть *последний народ*, как сказал мой друг, замечательный русский поэт Олег Кочетков, который также прекрасно все это понимает. Но — сопротивляется. И как замечательно сказал Олег:

Призываю, молю на твоей горемычной равнине,
Вою волком в овраге, курлычу с небес журавлем —
Чтоб святое твое, незабвенное, светлое имя
Устояло всегда перед всяким мечом и огнем!

Студенты несколько ошалело глядели на препода, которого явно заносило, хотя они еще на втором курсе попривыкли к своеобразной, образной манере его лекционных выступлений.

— ...Сопротивляйтесь и вы, племя молодое, хотя уже и знако-

мое. Помните: дольше всего люди будут сопротивляться переходу в виртуальную реальность в части биологической своей первоосновы — в любви мужчины и женщины. Только в этой элементарной, так сказать, ячейке человечество еще долгое время будет сохранять свою остаточную индивидуальность. Поэтому мой совет: бросайте этот уродский Интернет с бессмысленной перепиской, сдруживайтесь, любите друг друга, а к окончанию института обязательно женитесь, ибо...

На этой фразе Геннадий, имевший обычай во время лекции расхаживать перед аудиторией от стены до окна и обратно, как раз подошел к окну, выходившему на парадный вход в институт, и с ужасом увидел, как только что вышедшие из здания Енукидзе с Яцышеным уверенно направляются по дорожке в скверике к институтским узорчатым воротам. При этом Енукидзе, бурно размахивая руками, все более указывал влево («Ага,— смекнул Геннадий, — к Муртазе на кавказскую кухню зовет»), а Яцышен, как человек военно-морской семейной традиции, по-капитански рубил рукой направо. «Никак решил шикануть в «Русской тройке» и полакомиться блинами с икрой и семгой. Хрен вам! Честно заработанные деньги надо в семью нести, а не халдеям. Пойдем в «Папу Бендера»; только что его хозяин отмолил в универе тройку по философии своему оболтусу».

— Вот что, ребята, мне надо срочно ехать в облдуму, поэтому я вас покидаю. Основное вы успели услышать; кто слушал, конечно. Главное — будьте оптимистами в жизни. И это воздастся вам! До свидания.

Геннадий спешно покинул аудиторию, прошагал по коридору и завернул в небольшой, безлюдный холл, высветил на табло мобильника номер Енукидзе:

— Отставить! Стоять на месте и ждать меня.

И ты, уважаемый читатель, следуя богам и музам Олимпа, оставайся неизбывным оптимистом в нашей современной жизни, заложившей крутейший вираж.

22 июля 2008, Краинка — 22 декабря 2008, Тула

Доцент Енукидзе после отъезда дворника Кизилова в родной кишлак заметно заскучал, а с кем теперь еще поговорить на отвлеченные философские темы? Действительно, в университете это даже в диком сне не приснится: ибо по русской традиции на работе говорят о бабах, а в пивных — о работе. Но простонародные пивные позакрывали, а в пивной ресторан «Партайгеноссе Мюллер», что на Серебрянской в здании бывшего приборостроительного НИИ, не позволяет заглядывать жалованье доцента. Дома Нина-ханум при слове «философия» сковороду в руку берет... Поэтому Енукидзе разговаривать, кроме как лекции идиотам-студентам автоматически барабанить, вообще перестал и за год с небольшим сочинил 500-страничный трактат «Философия индивидуальной жизни», он же — проект докторской диссертации. Как говорится, написать — четверть дела сделать, надо теперь труд «двигать». А куда двигать? — В провинции докторских советов по философии нет, значит — в Москву. Приехал в самый главный философский институт, принял его весьма прохладно зам. главного философа по диссертациям, долго листал рукопись, морщился, почему-то пространно говорил о плохом финансировании философской науки, учитывая колоритную внешность доцента — о кавказском гостеприимстве... Но коренной обрусевший Енукидзе намеков не понимал и вернулся домой несолоно похлебавши. Погоревал с недельку и отложил труд до лучших времен. А Нина-ханум утешает: ничего, мол, идеи — не деньги, не улетучатся со временем.

«Мужики, мужики, принимайте «импазу». Ну все, девчонки — держись!» — Напевает популярный в этом сезоне рекламный шлягер главный редактор «Городской молвы», в мыслях своих готовя передовицу для завтрашнего номера газеты, а попутно варя супчик, ибо супруга с детишками отправились в соседний город погостить по летнему времени у родственников. Вот и домашнее хозяйство на нем! В самый ответственный момент соления и перчения похлебки вошли в квартиру сотрудники его редакции с экстренной новостью: из городской управы позвонили и сообщили, что только что вернулся с охоты градоначальник и всем похваляется: кабана завалил с первого выстрела! Надо бы это знаменательное событие в завтрашней передовице отметить. Нахмурился редактор, ибо к концу суповарки уже продумал передовую статью об отдыхе директора департамента Сукичева на островах Зеленого мыса под предлогом и финансированием обмена опытом с зеленомысцами в части ремонта городской канализации. Теперь все заново сочинять! А не хочется снова мозги напрягать, к тому же время принять рюмку-другую и за супец-молодец браться. Но выход, чтобы не терять лица перед подчиненными, нашел: «Та-а-к, кабана, значит, застрелил. Ну-у, тиснем мы поздравление и идеологическое обоснование... а вы забыли, что сейчас не сезон охоты, партия «зеленых» имеет в гордуме шесть мандатов, а вице-губернаторша и вовсе вегетарианка? Так что поставьте в разделе губернских новостей, что-де градоначальник лично участвовал в кампании по истреблению кротов, заселивших все поля области, которые находятся под парами уже пятнадцать лет...».

ОГЛАВЛЕНИЕ

К читателю (вице-президент Академии российской литературы Л. В. Ханбеков) 3

Предисловие от классиков 11

Часть первая. «От просвещения весь вред» 23

Глава первая. Дионис непонимающий 24
Глава вторая. Дионис и виноградная лоза; Гера вселяет в него безумие 34
Глава третья. Рея излечивает Диониса от безумия 49
Глава четвертая. Оракул Аполлона 64
Глава пятая. Наказание Мелампода, извратившего искусство Аполлона 75
Глава шестая. Аполлон присматривается, или сон 95
Глава седьмая. Дионис и Аполлон бьются за душу Геннадия в космосе 105
Глава восьмая. Аполлон теснит Диониса, насылая не мир предтечу паранойи 122
Глава девятая. Аполлоновы забавы: Смех сквозь слезы 134
Глава десятая. Аполлон спелся с Герой и наслал на мир безумие 147
Глава одиннадцатая. Тайное оружие Аполлона; Дионис сопротивляется 161
Глава двенадцатая. Школа Аполлона им. Сциллы Эребской 175
Глава тринадцатая. Школа Аполлона: Сакральные технологии Харибды 187
Глава четырнадцатая. Праздник Аполлона и жаркое лето 201

Часть вторая. «Бойся данайцев, дары приносящих» (один день) 219

Глава пятнадцатая. Аполлон и Дионис пляшут канкан с мойрами и музами 220
Глава шестнадцатая. Состязание Аполлона и дочери Урана Фемиды 237
Глава семнадцатая. Музы склоняют Аполлона и Диониса к союзу против дочери Урана Фемиды 255

Глава восемнадцатая. Музы Каллиопа, Клио, Мельпомена, Эвтерпа, Эрато,Терпсихора, Урания, Талия и Полигимния предпочли Аполлону Диониса..... 275
Глава девятнадцатая. Музы, предводительствуемые Дионисом, спустились с Олимпа и смешались с пейзанами..... 291
Глава двадцатая. Дионисийские и аполлоновские игры с пейзанами..... 311
Глава двадцать первая. Аполлон рассуждает и анализирует дионисийские игры пейзан..... 329
Глава двадцать вторая. Муза Мельпомена, дочь Зевса и Мнемосины..... 347
Глава двадцать третья. Женщины в роду Мельпомены..... 365
Глава двадцать четвертая. Мельпомена и муза эпической поэзии Каллиопа..... 387
Глава двадцать пятая. Мельпомена и муза танца и пения Полигимния..... 409
Глава двадцать шестая. Искушение Мельпомены музой Эрато..... 427
Глава двадцать седьмая. Любовь музы Мельпомены: Олимпийское и земное..... 445
Глава двадцать восьмая. Мельпомена и дуновение осени: Луна — муж всех женщин..... 463

Часть третья. Последний народ уходит в виртуальность..... 483

Глава двадцать девятая. Любовь Мельпомены излечивает Аполлона от уныния..... 484
Глава тридцатая. Аполлон в садах Ликея. Предпоследняя проказа Диониса..... 497
Глава тридцать первая. Гермес запутывает в свои сети Рею и Геру..... 513
Глава тридцать вторая. Большие разъезды олимпийцев и пейзан..... 529
Глава тридцать третья. Веселье Диониса и терзанья Аполлона. Мудрость Мельпомены..... 545
Глава тридцать четвертая. Вдохновенье Аполлона музой Мельпоменой..... 560
Глава тридцать пятая. Союз Аполлона и Гермеса в садах Ликея: Искушение..... 576

Глава тридцать шестая. Дионисийство разочаровавшегося Аполлона и хранительница очага Мельпомена..... 591
Глава тридцать седьмая. Последний народ и стоицизм Аполлона и Мельпомены..... 607
Глава тридцать восьмая. Трапеза и беседы олимпийцев и пейзан..... 623
Глава тридцать девятая. Десять лет спустя: Оправдание олимпийских предчувствий..... 638
Глава сороковая. Воспитание юных олимпийцев..... 653
Глава сорок первая. Вторая молодость Аполлона — Диониса и Мельпомены..... 668
Глава сорок вторая. Дионисийство Аполлона, поощряемое Мельпоменой..... 683

Эпилог. Неизбывный оптимизм богов и муз Олимпа..... 700

Автор выражает благодарность Тульской писательской организации Союза писателей России (ответственный секретарь Виктор Федорович Пахомов) за частичное финансирование издания настоящей книги из целевых средств Культурной программы Тульской области.

Библиотека журнала «Приокские зори»

Петровская академия наук и искусств
Независимое литературное агентство
«Московский Парнас»

ЯШИН
Алексей Афанасьевич

ЛЮБОВЬ НОВОЮРСКОГО ПЕРИОДА

Философский роман в трех частях с эпилогом

Компьютерный набор: Л. П. Хохлова
Компьютерная верстка
и изготовление оригинал-макета: С. В. Никитин
Редактирование и корректура: В. В. Резцов, А. А. Яшин
Художественное оформление: А. А. Яшин

Издатель — Независимое литературное агентство
«Московский Парнас»
123995, М., Поварская ул., 52, оф. 24,
тел. 8-495-691-63-41

Подписано в печать 07.05.09 г.
Формат бумаги 60×84/16. Печ. л. 52.
Бумага офсетная. Печать офсетная.
Гарнитура «Akademy»
Тираж 1000 экз. Заказ №

Отпечатано с готового оригинал-макета
в ЗАО «Гриф и К», 300062, г. Тула, ул. Октябрьская, 81-а